

А.С.СЕРАФИМОВИЧ

Александр Серафимович Серафимович

Том 6. Рассказы, очерки. Железный поток (Собрание сочинений в семи томах #6)

В шестой том вошли произведения, написанные в канун Великой Октябрьской социалистической революции и в первое послеоктябрьское семилетие. Это период большой творческой активности писателя-коммуниста, который отдал все свои силы делу победы революции. В этот период Серафимович пишет рассказы, очерки, корреспонденции, статьи, пьесы, наконец он осуществляет замысел большого эпического полотна, создает героическую эпопею «Железный поток». При всем разнообразии жанров произведения этих лет отличаются большим внутренним единством, что обусловлено характером задач, которые ставил перед собой и последовательно, целеустремленно решал писатель.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Рассказы, очерки, корреспонденции	0007
Пауки и кровососы *	0007
Трещина *	0029
Как он умер *	0033
В капле *	0042
Море *	0051
Братья-писатели *	0064
Место свято *	0073
Тамбовский мужичок в Москве *	0084
Остров «порядка и свободы» *	0097
На родине *	0107
Не ожидал *	0113
Красный праздник *	0124
Черной ночью *	0129
Из мрамора творящий жизнь *	0157
Как мы читали Карла Маркса *	0161
Без билета *	0167
Чей сад?	0177
Проводил *	0177
Памятник *	0180
Ненависть *	0188
Тающие церкви *	0193
Фабрика *	0198
Кверху ногами *	0201
Самоисцеляющая сила *	0206

Бой *	0211
На позиции *	0223
Три митинга *	0237
Политком *	0249
Львиный выводок *	0261
В теплушке *	0273
Потерянный завтрак *	0293
К. А. Тимирязев *	0305
Под развесистой клюквой *	0314
Дон *	0323
В огне *	0337
На панском фронте *	0351
Белопанская армия *	0355
Тайное станет явным *	0359
Красная Армия *	0363
Ни то ни сё *	0371
Горное утро *	0378
Несите им художественное творчество *	0381
Гниющая язва *	0386
Новая стройка *	0392
Граф Строганов и рабочий Демид *	0397
Тридцать лет назад *	0408
Дети *	0414
Работники земли Советской *	0418
Голодные, холодные *	0424
Долговязый *	0435
Чудо *	0449
У текстилей *	0454

Город рабочих *	0461
Промысел божий *	0466
Две божьи матери *	0472
Животворящая сила *	0476
Навыворот *	0480
Председатель областного суда *	0488
Анисимович *	0495
Бабья деревня *	0497
Таинство святого причащения *	0510
Гуси *	0516
Ежедневно творимое *	0532
Маленькие жизни *	0538
История одной забастовки *	0546
Митька *	0575
Бунт *	0582
Рыжий поп *	0609
Марьяна *	0615
#1	0615
Действие первое	0616
Действие второе	0637
Действие третье	0661
Действие четвертое	0697
Именины в 1919 году *	0729
Железный поток	0773
Комментарии	1088

**Александр Серафимович
Серафимович
Собрание сочинений в семи
томах
Том 6. Рассказы, очерки.
Железный поток**

Рассказы, очерки, корреспонденции

Пауки и кровососы*

Капиталист владеет средствами и орудиями производства. Его дело наживаться на чужом труде, всеми дозволенными и недозволенными способами выжимать прибыль. Ему бы платить рабочему за его каторжный труд как можно меньше, лишь бы рабочий не умер с голоду, мог работать. Рабочие ничего не имеют и, чтоб не умереть с голода, вынуждены соглашаться на условия, Какие поставит им капиталист.

Тут происходит безумная, бесчеловечная эксплуатация человека человеком. Рабом дорожат, как дорожат лошадью, потому что тот и другая стоят денег. Рабочим не дорожат, а выжимают из него все, что можно выжать. И если он упадет, его выбрасывают, а на его место найдутся десятки незанятых рабочих рук.

Посмотрим же, в каких условиях работает,

живет и дышит русский рабочий.

Отчеты фабричных инспекторов, расследование различных правительственных и земских комиссий дают тяжкую картину.

Вот, например, льнопрядильные фабрики. Мастерские грязны, пол липкий, воздух тяжелый, гнилой, а на некоторых фабриках буквально запах помойной ямы.

Где обрабатываются низшие сорта льна, не только трудно дышать, но и трудно видеть, – все в сером тумане, и каждый входящий покрывается пылью, как мукой. В этой пыли, кроме волокон, еще кремне-кислые соединения, разрушающие легкие, – оттого так много чахоточных, – да летит с пылью костра, выедающая глаза, и рабочие ходят с вечно распухшими, красными веками. О вентиляции, о покрытии крышками чесальных машин, отделяющих массу пыли, нет и помину.

На хлопчатобумажных фабриках та же масса выделяющейся пыли, то же отсутствие вентиляции, так же косит чахотка.

На суконных фабриках невероятная теснота; машины набиты в мастерских, и в узких проходах еле пролезешь. Спереди, сзади, с бо-

ков грозно несутся в безумной скорости валы, шестерни, маховики, приводные ремни, вырывая чудовищное число жертв среди рабочих.

Так называемые «мокрые» отделения – холодные, сырые, пронизывающие подвалы; работницы то и дело ходят оттуда в сушильни, в сушильнях сорок градусов жары, а из сушилен опять в подвал.

На табачных фабриках невероятная теснота, скученность, грязь и отравленный табачком воздух. От отравления никотином у рабочих желудочные и головные боли, одышка, нервные страдания. Из махорочных сушилен рабочих нередко вытаскивают в глубоком обмороке.

На фосфорных заводах и спичечных фабриках воздух отравлен массой ядовитых газов, а вентиляции никакой. От паров фосфора чернеют омертвевшие челюсти и вываливаются зубы.

У всех рабочих зеркальных заводов дрожат руки, изо рта отвратительный запах, синие десна распухли, лица серые, вид худосочный, болезненный, – все поголовно отравле-

ны страшными ртутными парами.

На химических заводах, вследствие отсутствия хорошей вентиляции, все рабочие отравлены ядовитой пылью, газами и парами.

На сахарных заводах зловонно, тесно, грязно и невероятная до сорока градусов жара. Задыхающиеся рабочие, чтоб глотнуть свежего воздуха, выбивают зимой в окна стекла, а от морозного сквозняка – ревматизмы, тяжкие простудные и легочные заболевания.

Из этой страшной жары через весь двор в мороз босые и полуодетые рабочие, бегут в отхожие места. Но есть заводы, где таковые совсем не устроены, и рабочие отправляют естественную надобность где попало.

В невероятно темных, сырых, грязных помещениях для мойки бураков рабочие целый день стоят босые в воде, а в паточных – в патоке, которая до язв разъедает ноги.

Крутящиеся маховики, шестерни, мелькающие огромные приводные ремни тесно расставленных и редко огражденных машин уродуют и калечат работающих, – сахарные заводы поставляют огромное количество ин-

валидов.

В бакинском районе ежегодно добываются и перерабатываются сотни миллионов пудов нефти. И в этом громадном производстве, обслуживающем всю Россию, полное отсутствие санитарных мероприятий.

Нефть и ее газы, едкие щелочи и кислоты разъедают кожу, и рабочие поголовно страдают болезнями кожи и подкожной клетчатки. По всему телу сыпь. Заболевания тягостны и мучительны и иногда приводят к смерти. Почти у всех болят глаза.

Человеку, попавшему на металлургический, чугуноплавильный и сталелитейный завод по выплавке из руды металла и его первичной обработке, чудится, что он попал в ад крошечный. Пышет невыносимый ослепительный жар. Рабочие с красными лицами, с налитыми кровью глазами обливаются потом. Пульс учащен, дыхание торопливо. Не выдерживая, они бросаются и глотают ледяную воду. А когда высыхают их рубахи, то становятся как лубок, – так много остается солей от пота.

Разные предохранители: особенная одеж-

да, очки, наличники – либо совсем не имеют-ся на заводе, либо преспокойно хранятся в кладовых.

В этом аду люди изнашиваются необыкновенно быстро, и болезни органов дыхания, пищеварения, ревматизм, заболевания мышц, сочленений плодят массу преждевременных инвалидов.

Но и в тех отделениях завода, где нет такого страшного жара, не лучше. Вследствие отсутствия хорошей вентиляции в отделениях по точке и шлифовке металлических изделий носится тончайшая металлическая и каменная пыль, – ведь сухой точильный камень делает три тысячи оборотов в минуту.

Эта пыль разрушительна и в громадном числе вызывает тяжкие заболевания слизистых оболочек и легочную чахотку. Рабочие доживают здесь только до сорока пяти лет.

Как ни тяжка обстановка всех этих работ, но люди хоть видят дневной свет.

А в рудниках при добыче каменного угля работают в кромешной тьме, слабо раздвигаемой красноватым светом дымящей лампочки. С потолка, со стен бежит вода, и каждую

минуту обвал грозит задавить обрушившейся грудой; либо хлынет и затопит вода, либо страшным взрывом подземных газов завалит рудник, ибо меры предосторожности принимаются слабые.

Рабочий-забойщик, вырубая уголь, даже сидеть при работе не может. Он врубает в пласт кайло, лежа на боку или на спине. Вентиляция так плоха, что воздух насыщен угольной пылью, и она проникает в легкие, в желудок, в кишки. И целыми днями поднявшийся из рудника шахтер харкает черной, густой, как сажа, мокротой.

От вечно мокрой одежды – частые простуды, бронхиты, воспаления легких, плевриты, ревматизмы. Вследствие неудобного постоянно лежащего положения на боку или на спине и плохого освещения – параличи глазных мышц. Пятнадцати лет работы на шахтах совершенно достаточно, чтоб из молодого крепкого деревенского парня сделать к тридцати пяти – сорока годам разваливающегося старика.

Вот в какой обстановке изо дня в день, из года в год приходится проводить в напряжен-

ном труде свою жизнь русскому рабочему.

Конечно, фабрика на фабрику, завод на завод не приходится. На иных санитарные условия несколько лучше, на иных – хуже. Есть даже блестящие, хотя и единичные, исключения по прекрасной постановке санитарных условий и заботе о здоровье и безопасности рабочих. Но общая картина невыносимо тягостна. Люди живут и работают, задыхаясь, без просвета и надежды.

Посмотрим теперь, как и в каких условиях проводят остальную свою жизнь рабочие, – каковы жилищные условия рабочего класса.

Самое отвратительное положение тех рабочих, которые живут, и едят, и спят в тех же мастерских, где и работают.

Вот, например, рогожная фабрика.

Когдаходишь в нее, попадаешь будто в лес – всюду густо висит на жердях и веревках мочала, из-за которой ничего не видно. Пол под мочалами на два, на три вершка затянут липкой вонючей грязью. Доски сгнили; в выбоинах – лужи жидкой грязи. Всюду кадки с водой, между кадкамии ползают дети.

Вдоль стены, против каждого окна, грязно-

го, низкого и тусклого, стоит становина, – четыре стойки с перекладинами, нечто вроде клетки длиной в четыре, шириной в три аршина. А между становинами – лес висящих мочал.

Становина – это стойло, где рабочая семья проводит все двадцать четыре часа суток. Здесь кипит работа, работают рогожники, здесь же едят, отдыхают; здесь же спят, одни на досках поверх становины, другие на куче мочалы – на полу, – о постелях нет и речи. Здесь и рожают на глазах у всех, здесь отлеживаются больные, здесь и умирают.

Гигиена требует на человека 3 куб. саж. воздуха. В рогожных же мастерских на человека приходится иной раз 0,9 куб. саж. воздуха, – такая невыносимая теснота и давка. Как дышат люди, непонятно.

К тому же жарко топят печи, чтоб скорее сохли мокрые мочалы, и стоит тяжкий банный, распаренный воздух, ибо вентиляции, конечно, никакой.

Вся смываемая с мочалы грязь стекает на прогнивший пол, с которого ее в виде толстого слоя сгребают только раз в году, когда ро-

гожники на лето уходят в деревню.

Так живут поколения...

В овчинно-дубильных заведениях рабочие сплошь и рядом также не имеют отдельных квартир и живут и спят в квасильнях, всегда жарко натопленных, полных удушливыми испарениями от квасильных чанов и сушащихся овчин.

В хлебопекарнях тоже нередко рабочие спят на тех же верстаках, на которых размещивается и раскатывается тесто, а случается, спят и на тесте.

Исследователи положения рабочего класса утверждают, что на всех крупных фабриках с ручным производством, как, например, ручные бумаготкацкие, шерстоткацкие, шелкоткацкие, ситценабивные и другие, все рабочие живут в тех же мастерских, где работают, располагаясь на ночь на полу, на верстаках, на становинах. И только переход ручного производства на механическое и почти одновременный и неразрывный с этим переход от дневной работы на непрерывную работу в течение целых суток делает ночевку рабочих в мастерских уже немислимой.

Многие заводы и фабрики строят для своих рабочих казармы или общие спальни. Эти спальни набиваются народом сплошь. Женатые и холостые, дети и взрослые, старухи, парни, девушки спят вповалку без всяких перегородок, тесно и грязно.

Если казарма разделена на каморки, в каждую каморку напихивают по нескольку семей.

Те рабочие, которые не живут в казармах, снимают углы и койки у съемщиц квартир; редкие занимают отдельную комнату. Углы же и коечно-каморочные помещения – гнезда заразы, грязи, нечистоты, болезней и разврата.

Так отдыхает и набирается новых сил для работы рабочий.

Постоянно подвергаясь на работе опасности быть искалеченным, убитым, отравленным, обеспечен ли по крайней мере рабочий медицинской помощью со стороны искалечившей его фабрики или завода?

Или совсем нет, или очень неудовлетворительно.

Еще в 1866 году издан был закон, по которому заводчики и фабриканты обязывались устраивать больницы из расчета одной кровати на сто человек рабочих, но этот закон так и остался на бумаге. Хотя заводские и фабричные больницы и были открыты, но только для отвода глаз.

Заболевшего рабочего, вместо того чтобы класть в больницу, попросту выгоняли из фабрики или с завода, а на его место брали здорового, – для предпринимателя и просто, и удобно, и выгодно.

Так расправлялись хозяева с заболевшим рабочим.

Еще горшая судьба постигала рабочих, изувеченных машинами, тех рабочих, которых фабрики и заводы превратили в инвалидов.

Тут страшные цифры.

Самые лютые войны не давали такого процента раненых, какой дают русские фабрики искалеченных инвалидов.

В русско-турецкую войну русская армия потеряла ранеными 13,5 %. Во франко-прусскую войну 1870–1871 года число раненых не превышало 10,8 %.

А на русских фабриках ежегодно калечится из каждых *ста* человек *четырнадцать*.

По отдельным производствам этот процент еще выше. Так, на фабриках Московского уезда из каждых *ста* человек калечится *тридцать*, то есть треть рабочих выбрасывается ежегодно за ворота калекими. Чудовищная цифра! На всю Россию фабрики и заводы поставляют от *ста* пятидесяти до двухсот тысяч искалеченных людей.

Разумеется, каждый искалеченный рабочий мог предъявить к хозяину иск за увечье, но и тут в большинстве случаев его ждала неудача, ибо гражданские законы построены были так, чтоб оберегать интересы главным образом капиталиста, хозяина. По гражданским законам при иске о вознаграждении потерпевший должен был доказать вину предпринимателя. А доказать вину предпринимателя при обычной обстановке фабрично-заводской работы чрезвычайно трудно, и предприниматель всегда легко сваливает вину на неосторожность рабочего.

Да к тому же надо принять во внимание бедность, темноту, забитость народных масс,

судебную волокиту. Не удивительно, что в лучшем случае дело оканчивалось выдачей калеке нескольких десятков рублей.

Один пример, но типичный, для всех предпринимателей, ярко освещает положение рабочих.

На Ушкинском заводе графа Стенбок-Фермора рабочий Демид Векшин проработал *пятнадцать* лет. За *один* прогульный день все эти пятнадцать лет были вычтены из срока на пенсию. Векшин снова проработал *четверть* века и погиб в турбине. Трое его сыновей проработали на том же заводе в общей сложности восемнадцать лет, и один за другим все трое погибли от несчастных случаев. Осталась их мать, старуха, жена Демида Векшина. Заводское управление назначило ей пожизненную пенсию в *один рубль семьдесят две копейки в год*.

Итак: пятьдесят восемь лет работы, четыре жизни и... 1 рубль 72 копейки пенсии.

Так было по всей России.

Так тяжело приходилось жить и трудиться русскому рабочему. Так беспомощен был он

во время болезни, так не обеспечены были он и его семья в случае несчастья, в случае смерти.

Теперь взглянем, какой длины был его рабочий день, как он оплачивался и каковы бытовые условия жизни рабочего класса.

По отчетам фабричных инспекторов длина рабочего дня на большинстве фабрик и заводов, где работа шла и день и ночь, была двенадцать часов. Такая продолжительность работы без отдыха, такое длительное напряжение силы и внимания крайне изнурительно и разрушающе действуют на здоровье.

Но там, где этот же двенадцатичасовой день разбивается на две шестичасовые смены, причем в течение одной недели смены приходятся на ночную работу, – еще тяжелее. Все сутки рабочего разбиваются на кусочки. После смены ему дается только три с половиной часа на сон. Едва уснул, будят на полчаса, и только затем, чтобы не стояла машина. После этого снова дается три с половиной часа на сон, и опять свисток на работу. И так всю жизнь.

Двенадцатичасовой день был установлен

примерно в 80 % фабрик. 20 % фабрик и заводов устанавливали у себя еще более продолжительный день, который доходит до тринадцати – пятнадцати часов в сутки и даже, как это ни невероятно, – еще выше.

В некоторых крупных ремесленных заведениях рабочий день отличается необыкновенной продолжительностью – без отдыха, даже без праздников, как, например в булочных.

Заработная плата по разным производствам в 80-х годах для рабочего в среднем колебалась от семи рублей в месяц (позументные фабрики) до тридцати пяти рублей в месяц (Московский округ).

Но эту чудовищно низкую плату предприниматели умели всякими правдами и неправдами и еще урезать. Для этого пускались в ход всякие средства.

Одно из них – штрафы. До закона 1886 года штрафные деньги шли в карман хозяину, и предприниматели щедро сыпали на рабочих штрафы, повышая таким образом свою прибыль.

На Никольской мануфактуре Саввы Моро-

зова, например в Орехове-Зуеве, штрафы достигали трехсот тысяч рублей в год и более. Это составляло до 40 % всей заработной платы.

На огромном Юзовском заводе рабочий шагу не мог ступить, чтобы не быть оштрафованным. Опоздал на пятнадцать минут – штраф в три рубля. Покажется мастеру или сторожу, что рабочий вышел, – штраф. Поздоровался недостаточно приниженно – штраф.

Встречаются штрафы за перелезание через фабричный забор, за охоту в лесу, за сборище в одном месте нескольких человек и т. д.

Следующий способ выкачивания из рабочего прибылей – это оттягивание расплаты с рабочими. Так, например, на многих крупных фабриках заработная плата выдавалась только под большие праздники – восемь раз в год, шесть раз, пять и даже четыре раза в год. Наконец, были фабрики, на которых вовсе не существовало определенных сроков расплаты. И когда, например, надо купить шапку, рабочий вымаливал несколько гривенников.

Удерживаемую на длинные сроки заработную плату предприниматель пускал в оборот,

то есть рабочий ссужал капиталиста беспроцентно своей заработной платой, а капиталист, пуская эти деньги в торгово-промышленный оборот, получал на них процент.

Но ведь жить-то надо. Кормиться и кормить семью надо, и рабочий, не получая долгие сроки заработной платы, был совершенно беспомощен.

Тут к услугам являлись фабричные лавки для рабочих, – это третий насос для выкачивания из рабочего его кровного заработка. На многих фабриках забор продуктов в фабричных лавках был обязателен. А там, где не обязателен, рабочий волей-неволей берет в фабричной лавке, так как вследствие долгих сроков расплаты он не может покупать на наличные, а в долг посторонние лавочники не дают без ручательства конторы, а контора, разумеется, не ручается.

Цены же в фабричных лавках гораздо выше рыночных, выше на 20 %, иногда на 80 %. Благодаря этому капиталисты клали в карман десятки и сотни тысяч рублей прибыли от фабричных лавок.

Итак, если из нищенских 4,26 копейки за

час вырезать то, что идет на штрафы, да в фабричные лавки, поедаящие своей безбожной дороговизной, да в беспроцентную, подневольную ссуду хозяину, то... то остается удивляться, как же все-таки ухитрялся жить русский рабочий.

Всю эту невероятную эксплуатацию, обирательство окутывают, как удушливым дымом, бесправие, гнет, полнейшее подавление человеческой личности рабочих, необузданный хозяйский произвол.

Не только труд, не только рабочие руки в полном бесконтрольном распоряжении хозяина, но и на все время рабочего, на все его действия предприниматель кладет свою тяжелую руку.

На некоторых фабриках рабочему в свободное время воспрещалось выходить за ворота, жили как в тюрьме. На других фабриках штрафовали за пение песен на улице, за «многоглаголанье» и проч.

В Смоленской губернии находилась громадная мануфактура купца Хлудова, нажившего миллионы. Но он не только наживал, он заботился и о спасении своей души. Однажды

пожертвовал сто двадцать тысяч рублей на типографию, печатавшую богослужебные книги для старообрядцев. Сделав пожертвование, отправился на мануфактуру и понизил жалованье рабочим на 10 %. Не только о душе позаботился, но и хорошо заработал. В 1882 году громадная пятиэтажная мануфактура его загорелась. Тотчас рабочих заперли в горевшем здании, чтобы лучше тушили пожар. После пожара вывезли *семь возов обгоревших трупов*, а Хлудов получил миллион семьсот тысяч рублей страховой премии.

Такая же история вскоре повторилась в Петербурге на табачной фабрике братьев Шапшал. Фабрика загорелась, а работниц заперли, чтобы... не расхитили как-нибудь хозяйский табак, – масса работниц сгорела.

Фабричная и заводская администрация была обычно крайне груба, придирчива и высокомерна с рабочими. Лица, получившие образование, били рабочих, осыпали их бранью. Про мастеров, вышедших из среды рабочих, и говорить нечего.

«Культурные» представители западноевропейского капитала, основавшегося особен-

но в наших южных металлургических предприятиях, ничуть не отставали от наших доморощенных предпринимателей в эксплуатации рабочего. Они с таким же азартом пускали в ход и отвратительную ругань, и кулаки, и нагайки.

Так тяжело слагались жизнь и труд русского рабочего.

Что же сказать о малолетних рабочих фабрик и заводов?

По закону было установлено, что на казенных горных заводах не могут приниматься дети моложе двенадцати лет. Рабочий день малолетних моложе пятнадцати лет не должен был превышать восьми часов; ночные работы для них были совсем запрещены, и работать они могли только на поверхности, а не в рудниках.

Этот закон потом был распространен на все заводы и промыслы.

Закон, разумеется, постоянно обходился.

Работали наравне со взрослыми по двенадцати часов и более, работали и днем и ночью. Работали и одиннадцатилетние и десятилетние и еще меньше.

В фабричной промышленности детский труд широко был распространен, особенно в таких вредных производствах, как спичечное, где малолетние составляли более 50 % всех рабочих, фабричным инспекторам пришлось выдерживать упорную борьбу с предпринимателями, которые скрывали противозаконно работавших у них малолетних – ниже двенадцатилетнего возраста. Детей прятали на чердаках, в погребах, в отхожих местах. А ведь работали пяти-шестилетние ребяташки.

А отсюда – худосочие детей, анемичность, всевозможные болезни и страшная смертность. Конечно, школы мог посещать ничтожный процент детей. Да и те, кто посещал школу даже после восьми часов работы, засыпал на уроке от переутомления.

Положение женщины-работницы было не менее тяжело. Те же непосильные работы, та же грубость, отвратительные обыски, которым их подвергали всенародно каждый раз при выходе из фабрики, и страшная проституция, на которую их толкали мастера и вся фабричная администрация. Девушка, которая

не поддавалась, всячески преследовалась и выгонялась с фабрики, а если становилась матерью, тоже выгонялась.

Таково было положение рабочего класса.

Трещина*

В Америке, в Калифорнии, как-то произошло громадное землетрясение. С грохотом лопнула земля, и – не окинешь глазом – добежала чудовищная трещина.

Все, что было около, все стало валиться туда: люди, лошади, дома, заборы, улицы, сады, рощи. Так и зияла, чернея, эта трещина, разделяя стену, – и по краям ее было пустынно.

Такая же трещина побежала между социальными слоями русской земли от взрыва великой революции. И стали валиться туда, выворачиваясь: старые порядки, старые формы грабежа и угнетения народного, старые, всосавшиеся привычки подавления народной воли, – и по краям в грозной наготе глянули друг другу в лицо те, кого сосали и кто сосал.

Ахнули все!..

Можно ли задержать опять этот провал? Можно ли засыпать пропасть, перекинуть мо-

стик, замазать, чтоб дыры не видеть было?

Нельзя, ибо бездонно.

«Нет, можно», – хором и хрипло подняли вой те, от кого, отрываясь, повалились в провал и прежняя власть, и сытость, и уж готовы повалиться и земли, и часть огромных прибылей банков, фабрик, заводов, домов; «можно», – хрипло и исступленно кричали они.

Чем же добиться?

Лганьем.

И их газеты, их журналисты, их ученые, их писатели, их ораторы лганьем, клеветой, искажениями, неверными сопоставлениями, умолчаниями, искусно ложным освещением событий стали засыпать роковую трещину.

В поте лица своего эти люди едят хлеб свой – за полгода все оболгали.

И по-разному лгут, соответственно своей специальности и натуре своей.

Иные цинично и нагло, в открытую: с голого, мол, как со святого. Иные – тонко и заботливо, как кружево плетут, по-ученому. Иные – вдохновенно, ибо сами верят своему лганью. Иные – горько и смиренномудро, ибо – иудушки. Всяк по-своему, но все в одно.

Ведь стоит сказать, что крестьянство должно получить землю, как со всех сторон:

– Ага, демагогия! Заискивание перед мужиком...

Достаточно сказать, что рабочему нужен восьмичасовой день:

– Демагогия! Лесть и заискивание перед рабочим...

Достаточно сказать, что солдат – такой же человек, как все, как вой со всех сторон:

– Развал армии.

Достаточно сказать, что рабочие, крестьяне, солдаты могут отстоять мало-мальски человеческую жизнь для себя только своими организациями, как раздается оглушительный вой:

– Возбуждение классовой розни и вражды!..

Что же, искусники неправды, неужто надо крестьянину говорить:

– Ты и помещик – одно.

И рабочему:

– Ты и фабрикант – братья.

И солдату:

– Будь бессловесным, покорным живот-

ным, – начальство все за тебя обдумает.

Нет, так прямо они не скажут. А шесть месяцев стараются обвить паутиной обмана и искажениями народный ум, шесть месяцев капает пот предательства с преступного клеветнического чела.

Но не засыпать вам, лгуны, рокового провала!

Пусть только рабочий, крестьянин и солдат отчетливее различают лгунов, под какой бы личиной они ни выступали.

Грозный провал можно разве только завалить телами расстрелянного народ?.

Но...

Судьба не выдаст, свинья не съест.

Как он умер*

(Быль)

У самого синего моря под зелеными крымскими горами раскинулось громадное имение бывшего царя – Ливадия.

Чего только в этом имении не было: и невиданные деревья, и заморские цветы, и дорогие виноградники, и фонтаны, и диковинные фрукты, – только что птичьего молока не было.

А в белых дворцах, полных роскоши, шла пьяная разгульная жизнь: пьянствовал царь, пьянствовали великие и не великие князья, пьянствовали бароны, графы, иереи, генералы, офицеры, вся свора, которая толпилась около царя и обедала вместе с ним русский народ. А чтоб эту пьяную компанию кто-нибудь не потревожил, все имение было оцеплено колючей проволокой ограждения, а в казармах стояли сводные роты, которые день и ночь охраняли царя с его прожорливой шайкой. Солдаты были подобраны молодец к молодцу. Кормили и содержали их хорошо, но было скучно и тяжело жить. Несли строгие

караулы, целыми часами сидели в секрете и смотрели в бинокли и подзорные трубы на шоссе, на горные тропки, на леса, на море – не покажется ли подозрительный человек, не покусится ли кто на пьяную, но «священную» особу царя.

А если по морю пройдет судно или лодка мимо имения ближе чем на версту, стреляли из винтовок и убивали людей.

В город Ялту, лежавший под боком, отпускали редко, да и отпускают не на радость: ходили командами, строго, подтянувшись, и во все глаза надо глядеть – не прозевать офицера. Чуть замешкался отдать честь или отдал не так уж по-молодецки – карцер, на хлеб и на воду, в штрафные.

В городе хотелось побыть по-человечески, как все, спокойно и свободно, чтоб хоть сколько-нибудь передохнуть, но и этого нельзя было; нельзя было даже поговорить с вольными, – и город, и окрестности, и весь Крым кишмя кишели царскими шпионами.

С офицерами было особенно тяжело. Это все были аристократы, князья, графы, бароны, либо купеческие сынки, большие милли-

онеры – народ все гладкий, холеный, белотелый, отъевшийся. И когда проходили мимо вытянувшихся в струнку солдат, небрежно взмахивали, не глядя, белой перчаткой.

И не то чтоб они скверно обращались с солдатами, а просто проходили мимо солдата, как проходят мимо тумбы, мимо дерева или камня. Но за малейшую провинность наказывали беспощадно.

А солдаты тосковали; тосковали по семьям, по дому, по работе. «Эх, и работнул бы теперь в поле!» – думалось солдатам.

Тосковал и Иван Науменко.

По виду и не признаешь, что у человека день и ночь под сердцем червяк точит. Так же, как всегда, балуются солдаты, играют в чехарду, ездят друг на друге, гогочут, смеются, дуются в три листика. А в остальное время, несмотря на смертельную жару, несут карательную службу в полном снаряжении.

Да и сам Науменко не думал о своей тоске, был всегда веселый, разговорчивый, аккуратный и ловкий по службе, – любили его товарищи. Да и офицеры его отличали, но отличали, как отличают хорошо пригнанное седло

от плохо пригнанного.

Не думал о своей тоске Науменко, а думал, что на хорошую службу попал, хорошо ему живется.

Только, бывало, когда стоит на часах или в секрете и выплывут звезды, да такие крупные, каких он никогда не видал у себя в Воронежской губернии, защемит сердце.

Сзади стоят горы. И лежит от них огромная черная тень. За садом медленно и тяжело всплывает у берега ночное море, а из сада пахнет неведомыми цветами. И Науменко думает: «Мабуть, убралась моя Мотря, коров подоила. Полягалы вси спать... Ээх!»

Курносенькая она у него, круглолицая, чернобровая, ласковая, а работница-то! Девочка у них, четвертый годок. Аккурат родилась, как ему на службу идти.

А тут лежи с заряженной винтовкой и высматривай, как зверь: не лезет ли кто через проволоку в царскую резиденцию. А если приметит, что лезет, свой ли, чужой ли, велено стрелять без оклику.

Однажды Науменко сидел в свободное время под деревом на траве и раскладывал подарки, которые приготовил своим: три шелковых платочка, коралловое монисто и куклу. Один платочек старой маты, один жинке, один дочке. И монисто дочке, и куклу дочке. А кукла, ежели в груди придавить, она говорила: «Ппа-ппа!» И глаза закатывала. Науменко смеялся, глядя на куклу:

– Жива душа, тай годи!..

Четыре месяца осталось, а там и домой.

Науменко и не заметил, как проходил сзади офицер.

Офицер остановился:

– Эй, ты!

Науменко вскочил, держа куклу в руках. Офицер нахмурился:

– Н-не видишь?

Науменко все так же стоял растерянно, забыв бросить куклу.

Офицер шагнул к нему и впился серыми глазами, полными неизъяснимого презрения. Потом ловко и сильно, так, что у Науменко мотнулась голова, снизу ударил его в подбородок. Бриллиантовый перстень на офицер-

ском пальце пришелся в челюсть, и у Науменко во рту стало солоно от крови.

Не впервой это было: били и офицеры и унтеры, били и его и товарищей, и на все покорно, бывало, отмалчивались солдаты; только в казарме, когда останутся одни, отведут душу крепким словом.

А тут Науменко сам не знает, что сделалось: размахнулся и ударил офицера куклой в самые усы.

Офицер побледнел как полотно, отшатнулся, сунул руку в карман, но револьвера не оказалось.

Тогда он повернулся и пошел прочь, прощедив через плечо сквозь зубы:

– Ступай, скажи, что арестован.

Науменко пошел и арестовался.

С этих пор все пошло, как в железном порядке: допрос, кандалы, суд и... столб, а возле свежерытая яма.

Подошел взвод. Науменко завязали глаза и поставили к столбу возле ямы.

Офицер, командовавший взводом, поднял саблю. Солдаты взяли на прицел, целясь Науменко в грудь.

Вдруг послышался задыхающийся крик:

– Стой... сто-ой!..

Снизу по тропке бежал солдат и кричал, без перерыва махая руками:

– Стой!.. Стой!..

Точно мглу отнесло, и все увидели то, чего до этого момента не видели: необъятно-спокойное море, одиноко белеющий в синеве парус, голубое небо, дрожащие от зноя горы; слышали, как гомозились и щебетали мелькавшие в чаще птицы.

Науменко стоял, как слепой, с завязанным лицом, но и он увидел, – увидел свою далекую Воронежскую губернию, белую хату, Мотрю и... и дочку с монистом, с коралловым монистом на шее.

И где-то в ухе у него, а может, не в ухе, а позади уха, в глазу, а может, не в глазу, а... в сердце, в сердце, которое, чтоб не спугнуть, еле-еле билось, где-то в сердце почуялось «помилование... помилование...»

Подбежавший солдат вытянулся и, тяжело переводя дыхание, взял под козырек:

– Позвольте, вашскблагородие, доложить.

– Что такое?

– Так что каптенармус просит, которая одёжа на ём, так чтоб выдать, как в цехаузе у него недостача, просто сказать пропажа, и каптенармусу отвечать, так чтоб...

– Какая одёжа? Что такое? Ничего не понимаю...

– Дозвольте доложить, вашскблагородие, как ему теперича, – он кивнул на Науменко, – одежда не нужна, все одно пропадать ей, а в цехаузе недостача, каптенармус дюже просил.

– Ну, ладно, – с казал офицер и сердито отвернулся. Солдат подошел к Науменко.

– Ну, брат, сымай... все одно уж...

Науменко, не видя и неловко тыча руками, стал снимать гимнастерку, потом, повозившись у пояса, штаны, потом один сапог, потом другой, и все смотрели, как глина сыпалась у него из-под ног в яму.

Солдат взял одёжу и сапоги и, повернувшись к офицеру и держа под козырек, сказал:

– Вашскблагородие, дозвольте и белье, каптенармус приказывал.

– Ну, хорошо, только скорей.

– Сымай, видно, Иван...

Науменко опять неловко и не видя стал снимать с себя рубаху, потом портки и бесстыдно стоял, опустив руки и желтея исхудалым телом, только лица не видать было. Дрожал зной, а тело покрылось гусиной кожей. И когда солдат увидел это беспомощное голое тело, у него запрыгала челюсть, он стал скачивать одёжу, белье, сапоги, но все валилось из рук. Наконец подхватил под мышки и торопливо стал спускаться. Еще не дошел до поворота тропинки – по горам, ломаясь, раскатился залп.

Оглянулся, яму торопливо зарывали, и он побежал вниз, вытирая мокрое от слез лицо.

В капле*

Существует в Москве Литературно-художественный кружок. Это – клуб литераторов, художников и артистов.

В этом клубе в известные дни собираются, между прочим, члены литературного общества «Среда». «Среду» организовали беллетристы и поэты. Собираются они там, читают свои новые рассказы и стихи, потом обсуждают прочитанное. Приходят туда и гости, – доктора, адвокаты, чиновники, художники, артисты, дамы, барышни, вообще народ, так или иначе интересующийся литературой. Я состою членом «Среды» почти с самого ее возникновения. Родилась она лет шестнадцать – семнадцать тому назад. Не раз и я читал там свои произведения.

На днях состоялось такое заседание «Среды». Председательствовал журналист, старый народник Юлий Бунин. Были писатели: Иван Бунин, Евгений Чириков и многие другие.

На этом заседании группой членов было мне заявлено, что я не могу быть больше терпимым в «Среде», что должен выйти из состава

ва ее членов. Было сказано это с неожиданно страстной злобностью и принято остальными с молчаливым злорадством.

Сам по себе случай маленький, но, как в капле, отразилась в нем вся громада событий.

Что же я сделал такого, за что писатели, поэты, артисты, художники вынуждены были исключить меня из своей среды?

Может быть, я обманул, оклеветал кого-нибудь?

Нет.

Может быть, поиздевался над бессильным, обидел беззащитного?

Нет.

Может быть, обокрал, избил, изувечил?

Нет.

Может быть, поставлено было в вину присутствующими социалистами мое участие в буржуазной прессе?

Нет.

Может быть, наконец, я изменил себе, изменил свое литературное лицо, изменил тому сокровенному, что бережно нес через всю свою четвертьвековую литературную работу?

Нет, я все тот же, и такого обвинения мне

никто не бросил.

Так за что же меня исключили из своей «Среды» писатели, поэты, журналисты?

За то, что я принял на себя ведение литературно-художественного отдела в «Известиях совета рабочих и солдатских депутатов», где я сотрудничаю уже восемь месяцев.

Что же я буду делать в этом отделе?

Я буду стараться подбирать рассказы, очерки, стихотворения; буду стараться давать читателям «Известий», то есть рабочим, солдатам и крестьянам, по возможности лучшее художественное чтение.

Но разве это преступно и безнравственно?

Нет, это не преступно вообще, но это становится сейчас же преступным, как только делается рядом с большевиками.

Почему?

Да потому, что литераторы – Иван Бунин, Евгений Чириков, Юлий Бунин и все, присутствовавшие на собрании, заявили, что между ними и большевиками вырыта глубокая непроходимая пропасть: по одну сторону – писатели, журналисты, поэты, художники, артисты, а по другую – большевики.

Но кто же такие большевики?

Большевики – это почти поголовно все рабочее, громадная масса солдат и очень много крестьян; сказать, что большевики – это кучка «захватчиков» в редакции «Известий» да в Смольном – глупо или для всех явно лицемерно.

Но как же могло случиться, что представители русской литературы, распинавшиеся за мужика, за рабочего, солдата, очутились по одну сторону пропасти, а эти самые мужики, рабочие и солдаты – по другую?

Как могло случиться, что Иван Бунин, так тонко, так художественно писавший мужика, очутился по одну сторону пропасти, а эти самые мужики – по другую?!

Как могло случиться то же самое с Евгением Чириковым, который писал мужиков хоть и не художественно, но жалостливо и любовно, и с Юлием Буниным, который в молодости боролся за мужика как революционер? И со всеми остальными членами собрания, которые до революции мужика и рабочего любили, а если и не любили, то были благорасположены к нему и жалели его?

Как могло случиться, что пострадавшие за мужика и рабочего, вплоть до каторги, с ненавистью говорили об этом мужике, рабочем и солдате?!

Это все объясняет одно, но роковое слово: наступила социалистическая революция, и, как масло от воды, отделилось все имущее от неимущего. И стали мужики и рабочие на одном краю глубочайшей пропасти, а имущие и так или иначе связанные с ними – на другом.

И все-таки десятки и сотни раз я слышу один и тот же вопрос: но писатели, писатели-то, это совесть русского народа, как они могли стать на краю пропасти вместе с купцами, помещиками, денежными тузами, банкирами, а следовательно, с Калединым, с Корниловым, Дутовым, как бы они от них на словах ни отрецивались.

Но ведь писатель – человек. Только милые провинциалки, приезжая в Москву и Питер, думают, что писатель – существо неземное.

Писателю нужно есть, пить, одеться, жить где-нибудь, воспитывать детей, не бояться, что под старость очутится на улице. И если он скопил хоть немного денег или приобрел

недвижимость или землицы, он станет на том краю пропасти, где накопленному не грозит опасность, то есть там, где нет ни рабочего, ни крестьянина. Это же естественно.

То же самое и с художниками, с артистами, с докторами, учителями, – с интеллигенцией, которая тоже всегда распиналась за мужика и рабочего.

Позвольте, ну, а как же те писатели, художники, артисты, которые ничего не успели скопить, которые живут заработком?

Но ведь и они кровно связаны с существующим строем, связаны заработком, привычками, культурой, всем обиходом своей жизни, самым воздухом, которым они дышат вместе с имущими.

При коренном социальном перевороте они не уверены, будет ли им лучше. А если и верят в лучшее, все-таки предпочитают синицу и незаметно перебираются на тот край пропасти, где нет рабочего и крестьянина.

И вовсе не нужно представлять себе все это грубо или что люди делают все это лицемерно, втайне думая только, как спасти свое имущество, или социальное положение, или

свой заработок. Ничуть. Люди совершенно искренно думают, что, отстаивая существующее, они отстаивают интерес *всего народа*. Создается определенная психология, в которой нет лжи в самой себе, но покоится она на фундаменте желания оставить по-старому свое положение.

Но почему же, возражают, при царском гнете многие из них боролись, не щадя себя, а теперь точно подменили их?

Да все потому, что тогда добывались политические права, нужные, необходимые имущим. Оттого тогда и из помещичьих и буржуазных семей шли на борьбу, а теперь громадная масса учащегося юношества – студенты, курсистки, гимназисты – идут в демонстрации на той стороне пропасти, где «нет ни одного солдата», нет рабочего, нет крестьянина, которые бы грозили этой молодежи и ее семьям имущественным перераспределением,

И все это естественно и понятно.

Одно мне непонятно, перед одним я останавливаюсь в великом недоумении: отчего затемнились часто зоркие творческие глаза художников? Отчего мимо них, как мимо сле-

пых, проходит красота, грандиозность совершающегося? Как творчество художников не заразится жаждой отображения невиданной общественной перестройки?

Все видят, как солдаты торгуют спичками, переполняют трамваи, ломают вагоны, разбирают погреба, как рабочие вывозят на тачках администрацию, как крестьяне разоряют имения; видят ошибки, падения и злоупотребления; и никто не видит колоссального, невиданного до того в мире созидания народной власти. Даже не в центре, не в Смольном, а по всему лицу земли русской, в каждом уголке ее. После сотен лет рабства, угнетения, мертвой петли, убийства всякого почина русский народ выпрямляется, гигантски организуясь. Тридцать лет и три года без ног, а теперь поднимается.

И пока без ног лежал, как чудесно, как тонко, как художественно воссоздавали его художники! Как проникновенно, любовно писали они мужика, забитого, темного, корявого, бессловесного!

А когда он стал подниматься, когда широко разинул на сотни лет смежившиеся глаза,

когда пытается заговорить не косноязычно: «тае», а по-человечески, – тогда от него слепота перекинулась на художников, и видят они только спички, трамваи, винные погреба.

«Мне отомщение, и аз воздам».

Да, страшное отомщение: слепота творческого духа. Мелкая злоба, мелкая и мстительная, заслонила вещице очи творчества.

Ну, что ж! По ту сторону непроходимой пропасти, где сгрудилось крестьянство, рабочие и солдаты, осталось чудесное писательское наследство – великая русская литература, а русские писатели потихоньку перебираются на ту сторону неизмеримого провала, где нет рабочих, нет крестьян, нет солдат.

Принимайте же, товарищи, это чудесное наследство и готовьте новое поколение, которое бы достойно умножило его!

И берегите, как зеницу ока, то, что родилось среди вас, родилось, развернулось в громадном даровании... и не *оторвалось* от вас!

Море*

Я угрюмо ехал в гремевшем, шатавшемся вагоне и не вслушивался в спор солдат с барыней, у которой качались перья на шляпе. В Лефортове сошло много народу. Окна бывшего Алексеевского училища, изъеденного снарядами, ярко светились. В манеж пропустили, строго контролируя: большевики встречали Новый год и не хотели, чтобы путалась посторонняя публика, и все-таки ухитрились и пробрались не только посторонние, но и враждебные. Митинг-концерт организовал Московский комитет РСДРП(б).

Я глянул: направо, налево – тонуло без конца в синеве море человеческих голов, без конца потому, что манеж тянулся вправо и влево, теряясь.

Сколько же тут народу? Тысяч восемь с лишним.

Не пролезешь. Стоит тяжело вздымающийся, медленно падающий говор людского волнующегося моря.

В середине, у самой стены – эстрада, красная. На ней – красный стол, красные знамена.

Львиная голова Маркса глядит из-за зеленой хвой со стены. И около красного стола – устроители, с растерянными, беспокойно-тревожными, побледневшими лицами.

Ах, что же это! Уже семь, уже семь с половиной, уже без четверти восемь, а главные участники не приезжают. Начало назначено в семь часов. Медленно и тяжело волнуется говор теряющегося в синеве людского волнующегося моря.

Что-то оно скажет? Что-то скажут эти восемь тысяч? Не ближний свет. Зачем же вы нас собирали?

Устроители волнуются. Над эстрадой мечется, как шорох, подавленный, раздраженно-испуганный шепот:

– Автомобиль надо было...

– Но где же его взять?.. Сами знаете...

– Товарищ, начните вы, ради всего...

– Да не могу же я... У меня свое задание. Я на четвертом месте, а тут надо вступительное слово, – надо же ввести публику. Что же это, какой-то взъерошенный вечер будет. Да, наконец, я скажу, а дальше... За мной опять никого, оборвем и будем ждать, – это еще хуже.

– Но ведь это же скандал...

– Да, скандал, – восемь. Вечер сорван.

Людское море потемнело, придвинулось к самой эстраде, и издалека, оттуда, из синей глубины, вздымается грозное неудовольствие. Тысячи глаз смотрят: когда же?

Тогда в отчаянии предлагают перевернуть: начать вторым отделением – литературно-концертным.

Но ведь это же опять скандал. Куда же деваться?

Среди толпы показывается один из участников. С эстрады срывается вздох облегчения – хоть как-нибудь можно начать и кое-как провести митинг.

Открывается собрание.

Седой товарищ поднимает руки, водворяя тишину, взмахивает, и над восемью тысячами человек разливается «Интернационал».

К эстраде протискиваются несколько молодых солдат с безусыми лицами: над ними колыхаются красные шелковые полковые знамена. Их вносят и ставят на эстраду по обеим сторонам Карла Маркса. Солдаты становятся почетным караулом.

– Слово принадлежит представителю во-
семьдесят пятого пехотного полка.

Гром аплодисментов.

К краю выходит бледный-бледный, точно
только что поднялся от тифа, солдат. Говорит:

– Я пришел вас приветствовать... привет-
ствовать, послан приветствовать...

И замолкает. Тягостное молчание. Восемь
тысяч пар глаз смотрят на него, – ни одной
улыбки: понимают – растерялся или просто
не привык говорить перед громадным собра-
нием.

С усилием, с перехватываемым дыханием
он говорит:

– ...пришел приветствовать... приветство-
вать... от восемьдесят пятого пехотного пол-
ка... который... положил тут много жертв...
когда брал это училище, где вы теперь...

Взрывом дрогнуло все от рукоплесканий.
Восемь тысяч нитей внимания, расположе-
ния, любви потянулись к эстраде. Этот слегка
потерявшийся оратор сказал больше чем де-
сяток блестящих речей. И в гуле непрекраща-
ющихся рукоплесканий слышалось: «Мы тебя
любим, восемьдесят пятый полк. Мы прекло-

няемся перед павшими твоими товарищами, благодаря которым мы вошли сюда».

И разом слетели тревога, неуверенность и напряженность внимания, наэлектризовалось все огромное пространство, залитое людьми.

Вышел товарищ и стал говорить. Он говорил вовсе не речь, он просто рассказывал кучке слушателей – даром что эта кучка в восемь тысяч! – рассказывал о далекой Якутке, где всего год назад в это же время встречал Новый год с товарищами, а на дворе трещал якутский мороз. Он говорил своим товарищам по изгнанию: будущий Новый год мы будем встречать среди революционного народа. Товарищи смеялись.

– Смеялись, а я угадал, и пророчество сбылось, – говорит оратор, – и мы с вами сейчас встречаем Новый год в здании, которое имело совсем другое назначение.

Товарищ говорит о протекшей революции, о наших братьях за рубежом, которые тонут в крови. Он говорит о том, что говорилось, что слышали, о чем сам много раз говорил, но почему же в этом старом так много новизны?

Потому, что оно обвееяно далеким якутским пророчеством и пророчество сбылось. И оттого бесконечно синее в напряженном внимании человеческое море и все головы жадно повернуты в одну сторону, к красной эстраде, где в белой рубашке просто и ясно рассказывает человек.

И когда он кончил, из конца в конец заплескалось синее море, гулом наполнив колоссальное здание.

– Товарищ Иоанн, – заявляет председатель, – будет говорить сейчас.

Выходит небольшого роста, в гимнастерке защитного цвета, военнопленный и говорит изломанным, таким странным для уха русским языком, и в глазах его печаль.

– Я плохо говорю по-русски, но я этому не виноват.

– Ничего... ничего... говорите, слушаем... – несетя из зала.

– Вы, русские, весело встречаете ваш революционный Новый год, а мы... мы не имеем права... Мы печальны, мы очень печальны... у наших братьев там темнота... у вас праздник. Вы сделали свое дело, мы – нет, и мы пе-

Чальны...

Что это? Не вздох ли пронесся над тысячами людей?

Нет, это печаль стала, как темно опустившееся покрывало.

И сквозь эту печаль, сквозь этот вздох молчания раздался голос нашего солдатака:

– Ничего, не тужите, у вас то же будет.

И разом просветлело, а товарищ Иоанн улыбнулся.

– Да, борьба, только борьба несет счастье. Есть легенда, очень красивая легенда, и я вам ее скажу. Когда Христа распяли и он умирал на кресте, лицо его было светло – он проповедовал любовь, и всепрощение, и неппротивление. И прилетел к нему сатана, черный и мрачный, и сказал: «Я тебя искушал два раза, и ты не поддался. А теперь я тебя не буду искушать, я скажу тебе правду. Слушай же. Ты всю жизнь учил только любить, только прощать, только подчиняться, гнуть свою шею – это рабам. А я учил: жизнь – борьба, счастье – борьба, свобода – борьба. Хочешь рабом, – прощай всех, хочешь свободы и счастья, – борись». И отлетел сатана, и умер

Христос, а на лице его была отчаяние.

Он замолчал, и секунду стояло молчание, и взрыв аплодисментов покрыл его.

Выступил венгр, секретарь будапештского комитета социал-демократической партии, и на венгерском языке, резком, как орлиный клекот, обратился к синевшим в толпе венграм, а русские слушали, не проронив ни слова.

Выступил серб, и зазвучал мягкий красивый сербский язык, – наполовину его понимали.

И холодно, бесповоротно, как судебный приговор, говорил по-немецки еще один товарищ военнопленный, решая революционные судьбы германского народа, а русские слушали, угадывая сердцем.

Это все интернационалисты. Весь земной шар заселен братьями-рабочими. Уже слышен набат. Уже колеблются стены тысячелетней стройки эксплуатирующих, и восходит из-за них заря нового человеческого строительства, заря социализма – вот смысл их речей.

От Московского комитета РСДРП (больше-

виков) им отвечал по-немецки товарищ:

– Русская революция 1905 года приоткрыла густое покрывало, века лежавшее на лице русского народа. Революция нынешнего года сорвала долой это покрывало, открыла глаза русскому народу и вплотную придвинула его к социализму. Теперь очередь за вами, нашими братьями, за западноевропейским пролетариатом.

И опять русские внимательно слушали. И русские и немцы проводили его долгими аплодисментами.

Перерыв. На эстраду ставят рояль. Но второе отделение отдыха и развлечения никак не может начаться, – выступают с приветствиями делегаты от университета Шанявского, от украинской СДРП (большевиков), от союза молодежи и другие.

Наконец председатель поднимается и говорит:

– Деловая общественно-политическая часть нашего вечера окончена, теперь прослушаем наших товарищей артистов, музыкантов и литераторов. Сейчас будет исполнена легенда Венявского.

К краю эстрады скромно подходит девушка в белом с черным, со скрипкой, с милым девичьим, спрашивающим у жизни лицом: «Что ты есть? И что ты таишь?»

Она прижимает скрипку и медленно, легко и странно изгибая руку в сквозном рукаве, поднимает смычок, а я опускаю глаза:

«Эх, напрасно она легенду... Надо считаться с публикой – не поймут: начнется сморкание, кашель... Напрасно...»

Я стоял хмуро, опустив глаза, и в ту же секунду от эстрады к человеческому морю медленно, звеняще потянулась певучая, не обрывающаяся нить, похожая и непохожая на человеческий голос, то едва уловимая, готовая погаснуть, то густо свертывавшаяся грудной жалобой низкого контральто, потянулась и погасила все звуки, царствуя.

И я поднял глаза...

Видали ль вы остеклевшее море?

И в нем забытые повисли облака, и отразились горы, и берег, и дальний полет белой чайки.

Слыхали ль вы, как перестают дышать во семь тысяч человек?

Так, так вот о чем поет эта черноволосая девушка, вот о чем поет она из-под длинного нескончаемого смычка.

О чем?

И о том, что есть счастье и печаль, и есть прошлое, и подернуто волокнистой синевой неведомое будущее...

Все стало прозрачным: лишь оброненные неподвижно облака, да отраженный берег, да опрокинутые горы, да замерший дальний полет чайки...

Потом смычок тянулся, истомно слабея, и без конца, и никто не заметил, никто не знал, когда он погас. В зале стояла огромная пустота...

...Я не хочу больше печали, я не хочу больше печали, тонко впивающейся в душу... Все помутилось, заколебалось, поломалось... Пропали облака, берег, горы, чайка, и проступило синее человеческое море. Все дрожало, и от края до края неумолчно мелькали руки, блистали глаза.

Девушка принесла свое чудесное искусство, свое творчество; его бережно приняли и теперь благодарили.

А я радостно смотрел на возбужденные лица.

Выходили певцы – пели. Выходили артисты – читали.

Поэты читали свои стихотворения.

Двенадцать часов...

Председатель поднялся:

– Товарищи, на рубеже Нового года даю слово представителю нашей революционной армии.

– Товарищи, – раздается крепкий голос военного, – Новый год начался не сегодня, не сейчас, не в эти двенадцать часов, Новый год начался с Октябрьской революции, когда наконец власть перешла к рабочим и крестьянам. Много еще работы впереди революционному народу, революционной армии, много борьбы. Но прежняя армия состарилась, устала. Ее нужно сменить. Нужно создать новую армию на иных, революционных началах. Мы с вами празднуем сейчас здесь Новый год, а наши братья умирают там, на Дону, в борьбе с Калединым. Ударит час, – и мы пойдем этим борцам на смену.

И опять потрясающе гремит манеж из

края в край.

– Товарищи, – подымается председатель, – вечер наш закончен, заседание закрывается. Наши товарищи, трамвайные рабочие, прислали наряд вагонов, чтобы доставить граждан по домам, больше они не могут ждать: уже начало первого. Надо расходиться.

Но никто не хочет уходить, даже равнодушные, даже враждебные. Хотелось еще и еще продолжать этот необычайный вечер, полный напряженности, точно все было наэлектризовано.

Молодежь сгрудилась на эстраде, уже несется оттуда песня о «кузнецах», кующих счастье народа. В другом месте взмывает «Интернационал». Гремит прощальный привет оркестра.

И я ухожу с радостным сознанием моей ошибки. Если митинги и стареют и делаются шаблоном, то жизнь умеет до краев влить в них новое животворящее содержание и вдунуть живой созидающий дух, оставляя в сердцах неизгладимый след.

Братья-писатели*

Мало-помалу друг за другом общественные деятели открывают свое лицо.

Есть в Москве «Книгоиздательство писателей». Заведует им правление, куда в большинстве входят писатели. Вхожу и я в это правление.

Издательство выпускает сочинения писателей и, кроме того, выпускает раз или два в год сборник рассказов разных писателей — «Слово».

Год тому назад я дал для «Слова» довольно большой рассказ «Галина», листа на четыре с половиной. Рассказ был принят редакцией и был отпечатан в количестве семнадцати тысяч вместе с рассказом писателя Кипена. Деньги мне за рассказ почти все были выплачены издательством. Оставалось прибавить один, два рассказа и выпустить сборник.

Писатели решили иначе. Собралось правление, и в мое отсутствие постановили: исключить из сборника мой уже напечатанный рассказ.

За что же?

Да все за то же: за то, что я работаю в органе рабочих, солдат и крестьян, в «Известиях совета рабочих и солдатских депутатов». За то, что я не хочу лгать, не хочу приспособляться к точке зрения писателей и освещаю события, как мне подсказывают совесть и разум.

Неужели ж это так преступно? И неужели со мной надо было поступать так, как не поступил бы ни один издатель-коммерсант?

Какую же надо питать неподавимую гложущую злобу и ненависть к рабочим, солдатам и крестьянству, чтобы сдернуть с себя последний фиговый листок и перед всем честным народом разгуливать в чем мать родила.

Эту чудовищную несправедливость надо оправдать. Чем же они ее оправдывают?

Ведь сказать, что за год мой рассказ испортился, – не скажешь...

Сказать, что я сам изменился...

Неправда, я остался тот же. И писания мои те же. Что я писал, сдавленный царской цензурой, то я с момента революции стал писать резко и определенно. То, что я писал в начале революции, я пишу и теперь. И нужно быть

только немножко добросовестным, чтобы проследить это по моим писаниям.

Но почему же в начале революции я был приемлем, а теперь не приемлем?

А потому, что в начале революции власть принадлежала князю Львову, кадетам, Шингареву, Милюкову.

Теперь власть принадлежит рабочим и крестьянам, с мукой строящим новую свою жизнь.

А вот как к этому относятся писатели. Один из них заявил в правлении, и все товарищи его согласились:

«Мы выбрасываем из этого сборника Серафимовича за то, что он работает в „Известиях“».

Но дело обстоит еще хуже. Писатели переводят вопрос с принципиальной почвы – верна она или не верна, – переводят на узко личную: я обидел их своею статьею «В капле».

«Из этой статьи выходит, что мы, писатели, – прихвостни буржуазии».

И я возмущенно заявляю:

– Неправда, я этого не писал.

Я говорил о том, что стало истертым ме-

стом. Я говорил о том, что нет внеклассовой интеллигенции, что инженеры, адвокаты, учителя, доктора, писатели связались с ближайшим к себе классом по культуре, по положению, по обстановке, по материальному обеспечению, по самому воздуху, которым они дышат.

Значит ли это, что все адвокаты, инженеры, учителя, доктора, писатели – прихвостни буржуазии...

Ничуть.

Тогда для Лассаля было бы оскорблением сказать, что купцы принадлежат к буржуазному классу, – отец Лассаля был купец. Для Перовской было бы оскорблением причислить к буржуазии губернаторов, она была дочкой губернатора и выросла в аристократической семье.

Дело не только в том, что интеллигент принадлежит к буржуазному классу, а в том, выпадает ли он из него, когда приходится отстаивать интересы рабочего угнетенного класса.

И Маркс, и Лассаль, и Энгельс, и Перовская, и много других, несомненно, принадле-

жали к буржуазному классу, но они выпали из него, оторвались, как только пришлось стать на борьбу за рабочий класс.

Все это ясно и просто.

Проявив такую непримиримую злобную ненависть к власти рабочих и крестьян, к их строительной работе, – куда себя причислили писатели? Фактически они стали в ряды радетелей буржуазии.

Пусть на это ответит всякий, в ком сохранилось хоть зерно беспристрастия. Пусть на это ответят их читатели, сличая их писания и их деяния.

В накаленной атмосфере разыгравшихся страстей, политической нетерпимости, ненависти и борьбы порой и лучшие люди, теряя меру, переступают черты, о которых потом жалеют.

Но одной черты, роковой, нельзя переступить.

Клеветы...

А клевета брошена. В правлении не остановились сказать: «Серафимович продался „Известиям совета рабочих и солдатских депутатов“ за хорошие деньги».

Не надо было этого говорить, не надо. У меня были предложения от несоциалистических органов печати на гораздо более выгодных условиях (могу доказать документально).

Этого мало. Сейчас идет колоссальная борьба, а всякая борьба неизбежно несет риск для обеих сторон.

Если победителями останутся рабочие и крестьяне, – а это будет безусловно, – они сумеют вовлечь писателей в социалистическую работу, и будут работать писатели, как они работали до сих пор.

Если же даже допустить, что наступит реакция, левосоциалистическая печать будет задушена, – вспомните дни Керенского, – и передо мной злорадно и мстительно захлопнутся двери редакций.

Знаю.

И писатели тоже знают.

Зачем же унизились до клеветы?

И опять и опять спрашиваю: но как же так?.. Как писатели с именами, которых мы знали, которых ценили, на которых смотрели, как на учителей, которые пели над младшим братом своим печальные песни, – как

эти печальники горя народного вдруг отступили от этого народа с презрением, со злобой, с ненавистью, с отвращением?

Как?!

Я понимаю: писатели эти не могли сразу броситься в объятия большевиков, но их борьба перешла всякие пределы. Эта борьба начинает наносить вред всему трудовому народу. За эту черту всякий, кто не считает себя врагом народа, не имеет права шагнуть.

Наша интеллигенция в значительной своей массе шагнула через эту черту. Она начала и ведет борьбу с большевиками, когда власть фактически на огромном расстоянии в руках большевиков, за которыми весь пролетариат, громадные массы солдат и все увеличивающиеся массы крестьян.

В этой борьбе интеллигенция слепо, с непотухающей яростью наносит раны целому народу, – кровоточащие, незакрывающиеся раны. Забастовки учителей, врачей, разного рода служащих – это уже впивается глубоко в самое тело народа.

Делают то, чего не делали во время царизма: расшатываются самые основы народной

жизни, народной культуры, народного будущего, лишь бы свалить власть ненавистных большевиков, то есть фактически власть самого народа.

Писатели не отстают от них. Правда, они по самому положению своему не могут проявить себя действительно в этом направлении, — не могут же они забастовать! Но в той ненависти, которую они проявляют к новому строительству, в тех изображениях и освещении, которые они дают событиям и явлениям современности, в той безудержной травле лиц, обслуживающих нужды рабочих, солдат и крестьян, они во весь рост встают врагами этих рабочих и крестьян.

Не сумели писатели выпасть из своего класса.

Отчего?

Да оттого, что писателя давит трагическое отделение от народа. Его заедает самое страшное — профессионализм. Он стал тем, чего, как смерти, надо бояться: он стал профессионалом. Он сидит в своем кабинете, он только пишет и изображает, но не живет в самой жизни, не барахтается в самой гущине ее, не

дышит ее густым ядреным воздухом.

Идут события колоссального значения, трагического содержания, а писатели варятся в собственном соку, переживают эти события только по газетам да по клубным разговорам, брюзжат да изредка на прогулке, в трамвае, мимоходом в кучке собравшихся на улице поймают два-три слова и идут по ним строить свои брюзжащие статьи и картинки.

Кругом кипит колоссальная работа, не хватает рук, не хватает голов, а писатели – сонные и немые, как уснувшие рыбы, и... бесконечно злы.

И это одиночество, эта отъединенность от бурлящего человеческого моря – страшное возмездие, возмездие за то, что писатели не сумели выпасть из своего класса.

Ну, что же, рабочие и крестьянство, создавайте свою интеллигенцию, которая бы с головой вросла в ваш класс трудящихся, борющихся и обездоленных.

Место свято*

И чудесное время было, и тяжкое, и мучительное.

Чудесное потому, что мне было тринадцать лет, солнце было жаркое, небо синее, внизу, под горами, тихий, седой от песков Дон Иванович, а по ту сторону – лес и луга, и чуть синеющие за ними прибрежные горы за Медведицей.

Тяжкое и мучительное потому, что гимназия, учителя, директор – все изо дня в день мучило, терзало, давило, как кошмар, и издевательски надругалось над детской душой и телом. Когда, бывало, шел утром в гимназию, – шел с окаменелым сердцем в ненавистный стан врагов. Так мы росли с нежного детского возраста в ненависти и презрении к тем, кого была потребность и любить и уважать. И это было тяжело.

Зато, когда освобождались от уроков, от самых стен, пропитанных обоюдной ненавистью, наступала счастливая пора. Спускались к Дону, в котором отражались белые горы, часами, не вылезая из воды, купались, удили

рыбу, ловили раков.

А в воскресенье уходили из станицы. Наллево расстилалась степь, бескрайная, волнистая, прорезанная оврагами. На высокой меловой горе мы усаживались. Внизу белел монастырь и тоже, как и горы, отражался в Дону.

Белая высокая стена тесно окружала веселенькие чистенькие кельи. Блестели купола. Из-за стены густо и свежо вылезали деревья.

Тяжко ударит колокол и, дрожа медно-певуче, долго гудит над кельями, над стеной, над светлым Доном, который колеблет в текущем зеркале и белую стену, и вылезавшую из-за нее шапками густую зелень, и живое золото куполов.

И это долгое певучее гудение – должно быть, медь с серебром – говорит о святом, о чистом, об отрешенности от всякой суеты. Недаром монастырь отгородили от станицы целой горой.

С горы видно, как из келий идут монахини, черные, строгие, чинные, с четками, не глядя по сторонам.

Мы спускаемся, проходим мимо огромной,

с зеркальными окнами, монастырской гостиницы, мимо стоящих тут экипажей, телег и оседланных обношенными домашними седлами казачьих лошадей и вступаем в обитель.

Всюду подметено. Ни соринки. Весело и радостно на сердце тихой радостью. Перед чистенькими кельями – цветнички, в окнах – белые занавесочки и тоже цветочки.

Входим в храм – и разом охватывает строгое чувство благоговения и благолепия. Одну половину занимают черные неподвижные, разом кланяющиеся ряды монахинь, другую – миряне; впереди – барыни в шляпах с перьями и цветами, господа, чисто одетые; а дальше – заветренные, сожженные трудовые лица казаков и испитые, изрезанные горем и заботами, непосильными трудами лица казачек.

Впереди, на возвышении, великолепно отделанном дубом, игуменья. Она, как святой истукан, неподвижна и высокомерна высокомерием отделенности, чистоты и молитвы.

У нее посох из черного дерева; на ручке сверкают в огне свечей бриллианты. Вся в черном. Бледное лицо удивительной красоты,

уже тронутое годами. Крест на груди тоже блестит бриллиантами.

Юные, с полудетскими розовыми припухлыми личиками, послушницы торопливо, мягко и беззвучно ходят по церкви и каждый раз быстрым молодым движением, перегнувшись вдвое, кланяются до земли неподвижной игуменье, а она и не глянет на них. Служба продолжается, и согласные, по-детски звучащие, нежные голоса монашенок наполняют храм вместе с синим кадильным дымом до самого купола, на котором огромный господь Саваоф.

Под конец начинаешь уставать. Перестанешь слышать возгласы священника и дьякона; согласное серебряное пение монашенок отодвигается куда-то вдаль, и уже слов не разбираешь, а лица тонут в сизом пахучем кадильном дыму.

Видишь одну игуменью, и упрямо лезет одна и та же мысль, которую никак не отгонишь: у игуменьи в миру был роман с каким-то гвардейцем. Светская красавица и гвардеец – и, кажется... кажется, ребенок. Ушла в монастырь... Я не хочу об этом думать,

трясу головой – и не отделаюсь, как прилипло. Ребенок... Отчего в монастырь? Чуть ли не графиня или княжна в миру...

«Тьфу ты, мерзость какая! Не хочу думать».

Служит приезжий иеромонах. У него великолепная черная борода, бархатный баритон и жгучие черные глаза, а под глазами мешки: выпить и пожить, видно, не дурак.

– Господу по-мо-о-лимся!..

А сам – на игуменью и чуть усмехнется левым глазом. А когда поворачивается, блеснет глазами на клирошанок, которые по-прежнему послушно и согласно звенят чистыми девичьими серебряными голосами.

Я был очень религиозен и, чтобы заглушить это постороннее, врывающееся в мое молитвенное настроение, начинал усиленно креститься.

К концу службы послушницы начинают разносить на серебряных тарелочках просфоры именитым гражданам: прокурору, жандармскому полковнику, окружному атаману, помещику и помещице, купцам, – стало быть, и у бога они на первом месте.

Наконец все выходим из храма. Все имени-

тые граждане приглашены к игуменье на чай. Я знаю, там богатейшие вина, закуски.

Ну, ничего! Все-таки я ухожу с приподнятым чувством благоговения к храму и к службе в нем и с чувством благодарности и преданности к этому месту, откуда ближе к богу.

С товарищами мы выбираемся из ворот, влезаем на гору и смотрим на белеющий внизу монастырь. Он – как на ладони.

На гору поднимаются два маляра, парни лет по восемнадцати; в руках заляпанные краской ведра и кисти. Садятся возле нас, свертывают по козьей ножке, закуривают.

– В монастыре работали. Обсчитала старая хрычовка на два полтинника. Ну, да мы свое взяли!

– Как?

– Фу, да две недели работали, так вот весело было! На ночь-то нас из монастыря выгоняли, – ворота запрут, на скотном дворе должны ночевать. Ну, как за вечереет, мы зараз с задней стороны к стене, а там уж послушницы лестницу спускают. Зараз влезем в келью. А кельи у них двухэтажные: внизу старые хрычовки спят, наверху – послушницы. Натя-

нут они всего из игуменского погреба – и водки, и ликеров, и цимлянского, и шампанского, и закусок разных, сладкого, – ключи подобранные имели, – горы нанесут, и пойдет пир горой. Зараз принесут полстей. Расстелем по полу, чтобы не слышать было, разуемся, и пойдем плясать до самого до колокола, как старым до утрени подыматься. Выпроводят их. Энти богу молятся, а у нас тут свое, мать честна!

Он закрутил от удовольствия головой и от полноты чувств выругался.

– Да-а... А потом детей вон из этого колодца вытаскивают. Каждый год сколько навыволочут!

Я густо краснею. У меня такое ощущение, что на монастырь, на эти золотые маковки, на выпирающие из-за стены густые сады харкнул кто-то густой мерзкой харкотинной. Но я не хочу показаться трусом и говорю легким басом:

– Здорово! Ну?..

– Ну вот тебе. Да ты что думаешь? Мы-то обедами пользуемся. А вот Коньков придет – это генерал, – придет с камердинером...

вон его коляска стоит... фу. Да вот пара вороных под деревом, – так энтот в церковь, отстоит обедню и выберет себе самых молоденьких клирошанок. После обедни – к игуменье. Там только птичьего молока нету. Ну, нажрется, напьется, – и в келью; для него у них приготовлена особая, роскошная. Ну, туда и приведут клирошанок, – ему две, а камердинеру одну. От, жадный крокодил!

– Стало быть, с водосвятием, помолившись...

Оба захохотали.

– А купцы, ух, дела делают! Оттого и жертвуют столько, – ишь набухали храмов.

Мне уже перестало быть стыдно, а подымалась злоба.

– Врешь!

– Чего мне брехать? Пущай кобель брешет. Послушницы нам всю подноготную рассказывают. Ты думаешь, сегодня этот бородатый служил... да он с игуменьей живет. А она его к послушницам ревнует, везде у ней шпионы. Там, брат, дела... Хочешь, ночкой сведем тебя в монастырь? Пятерку дашь?

Я шел домой как оплеванный. Как будто с

горы накатился огромный вал помоев и все размыл и нарушил – и беленький, чистенький монастырь, и золотые главы, и белую стену, и замутил тихий светлый Дон, и унес в крутящейся мути чистые серебряные голоса клирошанок с милыми детскими личиками.

– Как же это так?.. Как же это так?.. – повторял я бесчисленно, не находя ответа.

И на уроке, и в драке с товарищами, и когда сидел без обеда или читал что-нибудь, – вдруг, помимо воли, назойливо и дразняще всплывал златомаковый монастырь у светлой реки над белой горой: серебряные согласные девичьи голоса, милые полудетские личики, строгие клобуки, недоступно неподвижная игуменья и бородатый иеромонах с мешками под глазами, и трупики детей, которых выволакивают из колодцев...

И я трясую головой и хочу вытрясти эту мертвечину, но она стоит и ходит за мной.

...К матери заходили знакомые монашки. Приходила пожилая строгая регентша, с низким, басовым голосом, беспалая, – у нее на одной руке было два пальца, на другой только один, – и замечательная художница – удивив-

тельные иконы рисовала.

Это была прямая, искренняя женщина.

Прежде я не обращал на нее внимания, а теперь невольно прислушивался, что она рассказывала матери. Рассказывала она то же, и все больше рос темный преступный клубок в белом монастыре.

Как-то пришла послушница с грубыми, мозолистыми от работы руками и с заплаканным лицом.

– Господи, да за что же?! – слышал я ее сдавленный плач-шепот. – За что же? За что они меня гонят?.. Ведь работала, не покладаячи рук, жилы все вытянула. Игуменье доложили, что я занимаюсь с парнями. А хочь бы и так? Али мы уж не люди? Ведь не старухи, сердцу не прикажешь... У других своя семья, любят друг друга, а мы – как неприкаянные. Меня-то батенька насильно отдал девчонкой в монастырь, по обещанию: болел, так обещал, ежели выздоровеет, отдаст меня богу, и сто рублей вкладу сделал. Ушла бы, да куда же я теперь денусь? Отвыкла от миру, пропаду я там. Хочь руки на себя наложить!.. Сама-то игуменья в свое удовольствие живет,

тоже в Воронеж ездит, как время придет. Так там для нее все устроено, никто не знает, все шито-крыто... А клирошанок-то сколько портят купцы, да генералы, да помещики! И игуменья знает, да будто не видит. А как, на грех, забеременеет да концы в воду не спрячет – гнать зараз из монастыря. А куда пойдешь?.. Господи, не жизнь, а мука!

С тех пор я никогда нигде не видел чистенького, беленького монастыря с золотыми главками: стояли они тяжелые, черные, до краев затопленные жидкой грязью.

И когда где-нибудь я подъезжал к монастырю, если это был женский; я невольно не мог оторвать глаз от колодцев и никогда не пил воды оттуда, – пахнет мертвечиной, младенцами. Если мужской, я присматривался к поселку, который всегда вырастал около монастыря, причем весь поселок состоял из одних баб и много бегало ребятишек, – это были «прачки», стиравшие на братию, причем на каждого монаха приходилось по одной прачке.

Тамбовский мужичок в Москве*

У Карпа Евтихиевича Красногубова уже четвертый год сын на войне.

Сначала хоть редко, но приходили письма, – жив, здоров. А потом вдруг как оборвало: не то в плен попал, не то убили, не то ранили, не то без вести пропал.

Мать по ночам голосила. Сноха ходила с опухшими красными глазами.

Карп нес горе покорно, как и всегда весь в работе, так же покорно, как покорно ждал сына в начале войны.

– Куды же денешься, – всем горе, и нам горе.

Горе горем, а когда собрал хлеб, вырыл поглубже яму, обжег, ссыпал хлеб, заровнял и притоптал, чтобы не видать было.

Так же покорно ждал от сына писем. Но когда грянула революция и скинули царя, что-то в первый раз замутилось у него и дрогнуло:

– Почему такое?., а?!

Но никто ничего не мог ему ответить. С этих пор тревожная мысль, что есть виноват

тый, который должен ответить ему за сына, не стала давать покоя.

А когда взрывом прокатилась Октябрьская революция и пошли слухи, что войну сделали баре да купцы, он решил ехать в Москву достукаться про сына и разузнать, какие дела, как и что.

Ехать было трудно, тесно, все забито солдатами, а от разговоров еще больше защемило сердце: ничего до конца не мог разобрать, одно только понял – напрасно сына отдал на царскую войну.

«Эх, напрасно сына отдал!..»

И вспомнил, как покорно все три года ждал вестей от сына. Все три года, как бык, шел и бессловесно смотрел в землю.

В Москве всего больше удивило, что народу дюже много.

«И откуда только берется: и идут, и идут, и идут, как мыши суетятся...»

Целый день ходил, все узнавал про сына и ничего не узнал; и вдруг почувствовал себя как в лесу – ничего не понимает, ничего не узнает, все смешалось, как в зимнюю непогоду.

К вечеру еле ноги таскал, шел, пошатываясь от усталости, с мешком за плечами – хлеба с собой привез из дому.

Пошел ночевать на вокзал. В вокзале душно, накурено, из-за людей ничего не видит. Притулился в углу на пол, стал макать в кружку с водой хлебушко, и в первый раз выдалась едкая, горькая слеза:

«Родимый ты мой, не увижу я тебя боле!»

Спал в этом же углу на полу, подложив мешок с хлебом под голову. Через него шагали, топтали ноги.

Утром поднялся весь изломанный. Хотел ехать домой, но к вагонам и близко подойти нельзя было – все забито людьми.

Стал толкаться в тесной гряде людей без цели, – сам не зная зачем.

Были тут рабочие, бабы, солдаты с мешками и без мешков в шинелях. И опять также без дела и, сам не зная зачем, всматривался в лица солдат.

И вдруг стукнуло сердце, и Карп задрожал:

«Неужто сын?!»

Перед ним стоял молодой солдат в шинели.

Всмотрелся, и сердце упало – нет, не сын, а односелец, из одной деревни. И хоть не сын, все-таки обрадовался.

– Миколушко, ай ты?

– Да я же, я, дядя Карп. Либо не признаешь?

Отошли к сторонке. Выждали столик, сели за него. Карп боялся спросить про сына, наконец спросил.

– Не знаю, – сказал Николай, – говорили, будто в плену и будто бежал к французам с работ, а они будто на македонский фронт отправили. Ну, верно ли, нет ли, не знаю. Будут наводить справки в штабе, тогда тебе напишу.

Подали чай. Карп согрелся, распоясался, достал из мешка хлеба и сала. Кругом гомонил народ; за соседними столиками поглядывали и крутили носом – больно уж вкусно пахло салом.

Карп отхлебнул из блюдечка и сказал:

– Што мы знаем? Сына вот следов не соследишь. Как в лесу. Опять же в деревне, – один говорит то, другой другое, разве разберешь. Вот сказывали – Москву всю рушили, церкви божии повалили, ризы растоптали, а, между

прочим, Москва стоит, божьи церкви на месте, не видать, чтоб грабили, а народу – ти – и идут, и идут. Ошшь ты, объясни ты, кто такие злодеи – большевики. У нас священное лицо с монастыря рассказывает, это которые наибольшие грабители, оттого прозываются большевиками. Рассуди ты нас, Миколушко, за чистую душу, как перед истинным запутаемся мы, как баран в тернах, – ничего не разберем.

– Эх, Евтихич, ежели бы да на Руси да все понимали да знали, давно бы устроилась наша земля. Ты дядя Карп, заруби себе на носу и отнеси в деревню, пуцай там расчухают. Судите по делам, а не по языкам. Судите, что делают, а не то, об чем трезвонят. Судите по делам, а не по программам. Программу всякую можно написать, а дело не делать.

– Ну, да это вестимо так.

– Ну, то-то и есть. Какие числятся дела за большевиками и какие слова за другими?

Солдат достал папиросу, затянулся и сказал:

– Другие про землю на весь свет трезвонили, да ничего не сделали, а большевики прямо сделали – передать землю крестьянским

комитетам, и шабаш. Вот тебе – раз! – зачинай на пальцах, Карп Евтихич.

– Теперь дале. Другие про мир языком звонили, аж языки выпухали, а сами ни с места, да не только ни с места, а толкали на наступление, а большевики прямо сказали: ежели хочешь мира, приостанови наступление, и начали мирные переговоры. Вот тебе – два! – и солдат загнул другой палец.

– Положение солдата, положение крестьянина и рабочего в серой шинели, в армии было ужасно. Солдат били в морду, в зубы, били походя, безнаказанно, зверски. Отдавали ни за что под Шемякин суд, гнали в каторгу, расстреливали, с солдатами обращались, как с арестантами, как с низкой породой, так и звали солдат «святая серая скотина». Я, Евтихич, служил, я на своей шкуре все это вынес...

– У меня там сын, – сказал Карп и опустил голову.

– Эх, сердяга, знаю. Не у тебя одного... Там, брат, костями завалены тысячи верст. Вот и говорю: все жалели солдата... языком. Да. А большевики не языком пожалели, а дело сделали – взяли да офицеров отменили, чтоб не

было господских офицеров, а каждый солдат чтоб мог командовать, лишь бы честный да понимающий был.

– Это правильно. Што ж они, господа, из другого теста сделаны, – сказал Карп, глядя за туманенными глазами.

– Во, во! – подхватил солдат, – только таким манером и можно было избавить солдат от страшного положения. И вот никто этого не делал, а большевики сделали. Видал? – Солдат загнул третий палец. – Три!!

– Так, – сказал Карп, – наш батя проповедь говорил, так сказал с амвона – у большевиков рога выросли, только махонькие, под шапкой не видать. Оттого они и кудлатые, хотят, чтоб не дюже отшибало народ. Бабы открещиваются да плюются.

– Нда-а, – проговорил солдат, думая о своем и вынимая новую папироску, – ежели у тебя изба старая-престарая, еще прадедовская, уж все повело, крыша прогнила, стены пузом выперло, пороги вывалились, окна, двери перекосило, вся почернела, так сколь ты ее ни подпирай, сколь ни конопать, сколь крышу ни латай, все одно толков не будет – она будет

все больше заваливаться, гнить, протекать, вся ослизнет. А надо ее к чертовой матери снести, чтоб и звания ее не осталось, да заложить новый фундамент, да поставить новый ядреный сруб, да покрыть свежей соломой, вот ступай живи себе в ней на здоровье на многие веки.

Вот так и большевики: они под самый под корень рубят старые гнилые порядки на русской земле и строят новые ядреные, такие порядки, чтоб рабочий и крестьянин могли вздохнуть. Прежние порядки были построены так, чтоб барам жилось хорошо: пришла пора построить такие порядки, чтоб рабочему и крестьянину жилось хорошо. Вот, к примеру, суды. Легко ль было судиться в прежние времена? Легко ли было добиться правды в судах?

– Чижало, несть числа. Пословица не мимо молвится: с сильным не борись, с богатым не судись.

– Вот то-то и оно-то: да адвокаты, да судьи, которые уж привыкли по кривым законам судить, да присяжные, которые выбирались из богатеньких и гнули свою линию в сторону

богатых. Да как подумать судиться, сколько суммы требуется истратить, будь она проклята! – и рукой махнешь. А теперь большевики ввели простой народный суд, всем доступный, и богатому и бедному, сам народ судить будет, и никакой волокиты.

– Ну, это хорошо, – одобрительно покачал головой Карп.

– Да куды ни кинь, везде большевики новые порядки для пользы народа вводят. Вот теперь они все банки присоединили к Государственному банку.

– А-а, это зачем такое?

– Да ты знаешь, дядя Карп, что такое банк?

– Ну как же, стало быть в банку кладут люди деньги для процент, а банка от этого огромные капиталы собирает и в долг дает, которым нуждающимся, и гладит с них сумму, просто сказать чижолую.

– Ну вот, чужими деньгами торгует, – сказал солдат.

– Как же, видали, как люди под землю у банке брали, – петля.

– Ну то-то вот и есть. Да петля-то от банков выходила не отдельным людям, а всему рус-

скому трудовому народу; банки сосут кровь со всего народа. Они с народа же насобирают деньги, да на эти деньги всего накупят – и сахару, и ситцу, и машины, и ремней, и домов, и кос, и земель, ну всего, всего, чисто склады все завалят, и ждут, и поднимают цены. А когда цены вздуются во как, тогда они и выручают огромные барыши.

– Спекулянты, стало быть.

– Во, во, – сказал солдат, – на наши же денежки кровные, нас же обирают. Кроме того, банки в своих руках держали фабрики, заводы, наводят там свои порядки, требуют, чтоб рабочих и крестьян жали и давили, как ни мога. А ежели их не слушают, они зараз перестают давать в долг деньги фабрикам и заводам, и фабрики сядут, потому что они в долг тоже работают. Так в своих мохнатых лапах и держали банковские заправилы всю Россию и сосали ее, как пауки. Во насосались, аж лопнут; таких миллионов набрали, аж страшно подумать. Так вот этих сосунов рабоче-крестьянское правительство и ускорило, – сделало так, что теперь все эти банки только отделения Государственного банка. А Государ-

ственный банк, пока правительство народное, будет на пользу народа, а не сосать его.

– Ишь ты ведь как! Чего наверху делается, а мы живем в деревне, ничего и не знаем.

– Кабы знали бы, оборонились. И опять-таки большевики сняли этих кровососов с народного тела, а больше никто этого не сделал. Ну, как думаешь, дюже любят большевиков помещики, у которых отняли землю? Капиталисты, у которых прекратили доходную войну? Банкиры, которым не дали сосать народной крови? Офицеры, которых приравняли на солдатское положение?

Карп засмеялся:

– Любят, аж зубами скрегочут, – пополам бы перекусили.

– А ты подумай, сколько народу кормилось возле банкиров, возле капиталистов, помещиков. И все они дыбом поднялись на большевиков, то есть на рабочих, крестьян и солдат.

И начали они бастовать, начали брехать в своих газетах на большевиков. А потом прямо взялись за оружие в двух местах: на Дону и на Украине в Киеве. Побежали туда помещики,

бывшие офицеры, капиталисты, банкиры и все другие, кто сосал народ. На Дону объявился помещик, генерал Каледин. Собрал он полки из бывших офицеров, юнкеров и часть казаков обманул, и они пошли за ним. Вот этот генерал – помещик Каледин не пускает в Москву, в Петроград, в северные губернии и на фронт хлеб и уголь, – пуцай, мол, там вымрут и вымерзнут; с голоду-то народ взбунтуется, а Каледин с помещиками и захватит власть у рабочих и крестьян. Но только помните, тогда помещики, капиталисты, банкиры, бывшие офицеры начнут безумно расправляться с народом: города, деревни завалят трупами крестьян и рабочих, зальют улицы, дома, избы горячей кровью народной, будут расстреливать, топить, вешать, жечь. В Ростове-на-Дону они одержали маленькую победу, так сколько перебили и перекололи народу с зверским хохотом. И не видать вам земли и воли, если вы, крестьяне, и солдаты не поддержите правительство рабочих и крестьян и солдат. Спасайте же себя, спасайте своих детей, спасайте землю, свободу, родину, спасайте, а то будете плакать, да поздно.

Солдат замолчал, полез за новой папироской, – пальцы у него дрожали.

Карп поднялся, взял руку солдата и долго держал в своей корявой, мужицкой мозолистой руке:

– Ну, Микола, спасибо тебе, спасибо! Просто сказать, глаза ныне открыл. Кубыть с колокольни глянул и далеко все видать. Теперича поеду домой, все расскажу старухе. Скажу, чтоб не ревели, потому строится земля. наша, строится, родимая. Эх, кабы эти глаза видели с самого первоначалу, не дал бы сына на войну, ни в жисть бы не дал. Слышь, Микола, вот тебе открытой душой говорю: приеду домой, выгребу из ямы весь хлеб и в продовольственный – пущай в Москву везут али в Петроград, пущай рабочий народ кормится. И всей деревне обскажу, гляди все вывалят хлеба.

Он взял опустевший мешок под мышку, сердито постоял и сказал:

– Рога выросли... Ах ты, идол долгогривый!.. Прямо скажу тебе, Микола, каждый год я ему на духу клал гривенник, прямо скажу тебе, не тая: теперича приду на исповедь, положу копейку, как перед истинным, – не бре-

ши, кобель волосатый. Ну, прощай, будем ждать тебя на побывку.

И пошел к двери, да остановился. Долго стоял у двери и смотрел в стекло, как ходили по платформе, потом опять подошел к солдату и сказал:

– На сына... на мово... похож ты. Давеча его в тебе признал... прошибся... – и заморгал помокревшими глазами.

Вышел и пошел к забитому людьми поезду.

Остров «порядка и свободы»*

Необозримо белеют зимние донские и прикубанские степи. Черными далекими пятнами разбросаны хутора, станицы, и чуть струится синеватый дымок над ними. Медленно тянется там своя хозяйственная жизнь.

А города, – те придвинулись к самому морю. Оно тоже бело и неподвижно, – старое, седое Азовское море.

И в городах спокойно – спокойствием порядка. Дымятся фабричные трубы, посвистывают паровозы. Рестораны ярко освещены. В третьем классе вокзалов чисто и спокойно, и

третьеклассники не кладут в первом, во втором классе ноги на стол. Нет спекуляции со спиртом, не торгуют им по безумным ценам, не отравляются денатуратом, – отперты казенные лавки, и чистая неотравленная бутылка водки стоит пять рублей.

Но – не только внешний порядок и спокойствие, – здесь и внутренняя свобода. Есть печать, собрания, общества. Это как раз то, что так страстно хотела бы видеть буржуазия не в этих только трех приазовских городах и забеленных снегом неоглядных степях, а по всей России: чтоб был производительный труд и плодотворно прилагался капитал, чтоб организующие классы за свой квалифицированный труд по справедливости пользовались и квалифицированной жизнью, развлечениями, удовольствиями, чтоб была «свобода печати, союзов, обществ, стачек» в пределах безвредности.

И все это было. Была и «свобода печати», были и буржуазные и «социалистические» газеты. Буржуазная печать, как ей и полагается, лгала без меры, без конца, без передышки. Социалистическая меньшевистская и право-эсе-

ровская врала умеренно, как с кривизной зеркало, – и будто верно и будто не верно – и чувствовала себя недурно.

По буржуазной печати, советские войска все время, как зайцы, бежали перед алексеево-корниловскими добровольцами, до такой степени бежали, что очутились наконец в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, и сотрудники газет, бросив перья на полуслове, прыснули во все стороны и скрылись. Была и свобода собраний, стачек, союзов для рабочих, но в пределах, за которыми расстреливали.

По улицам стройно, в ногу, с музыкой проходили офицерские батальоны, батальоны добровольцев, юнкера, хорошо вымуштрованные, ударницы и ударники, и «Белый дьявол», целиком состоявший из гимназистов. Стройно пели «Боже, царя храни...», и колыхалось знамя с инициалами императрицы.

Словом, был «порядок и свобода».

Офицерские батальоны представляли отборное, дисциплинированное войско – отлично стреляли, имели стратегически-тактические знания; борьба с ними была чрезвычайно трудна.

Добровольцы – самый разношерстный народ: золотая молодежь, люди, которым девать себя некуда, авантюристы, грабители и убийцы, простоватые солдатики.

Ударники и героические кавалеры были крепки.

Ударницы – истерички.

Наконец, «Белый дьявол» был нестойк, но убивать людей умел.

Все было прекрасно в этом царстве «порядка», строгой, в пределах, «свободы».

И советские войска были не страшны. Не страшны были потому, что были они в поре образования, подбора.

Красная гвардия, так упорно, стойко и мужественно бившаяся в уличной борьбе, в полевой терялась и, что всего страшнее, поддавалась панике: орудийного огня не выдерживала.

Среди солдат, шедших под советскими знаменами, после первого боя из тысячи оставалось триста. Правда эти триста уж были закаленные бойцы и шли до конца, но этот подбор требовал времени, сил и поражений. Нет, не страшны были советские войска Каледину,

Алексееву, Корнилову.

Все обстояло прекрасно на этом российском острове порядка и свободы в пределах.

И вдруг началась червоточина. Паровозов становилось все меньше и меньше, вагонов тоже, – огромная заболеваемость, а ремонта нет. Стали жать рабочих – не идут. Стали приводить под конвоем и ставить к станкам под угрозой расстрела, – но какая же это работа!

То же во всем. Не хватает машинистов. Их приводят под револьверным дулом на паровоз, но стоит чуть зазеваться – машинист исчез. Дошло наконец до того, что юнкерам самим пришлось водить поезда. Но не умели растапливать и стали пережигать массу паровозов. Да и рабочие усердно помогали им в этом и перекалечили целую кучу паровозов и вагонов.

Юнкера все гнали и гнали на Екатерининскую дорогу с Владикавказской паровозы, и они гибли.

Стал чувствоваться недостаток угля. Юнкера забрали с писчебумажной фабрики бумагу и стали топить паровозы бумагой, но это только ухудшило дело.

А в это время советские войска надвигались, подымались казаки.

Не раз и не два стройные, крепкие офицерские батальоны били молодые советские войска. Они отступали, переформировывались, оправлялись и опять шли. Положение их было чрезвычайно трудное: без провианта, без фуража, без возможности реквизиций, ибо население стало бы на дыбы; плохо одетые. Каждый шаг их вперед определялся, будут ли накормлены люди, или нет.

При таких условиях счастливый российский остров порядка мог держаться. Но... и тут червоточина.

В Таганрогском округе крестьяне везли красным советским войскам со всех сторон обозами печеный хлеб, муку, сало, пшено, говядину, гнали скот и за это не брали ни копейки. Мало того, делали между собой сборы и привозили и передавали Красной гвардии по двести – триста рублей.

– Як вы уйдете, паны нас сжують, – говорили крестьяне.

Солдаты, вернувшиеся с фронта, жили у себя дома, хозяйничали и по собственному по-

чину производили разведку. Забирались к юнкерам и привозили советскому штабу ценнейшие данные.

Что же делали в это время генералы Каледин, Алексеев и Корнилов? То же, что и всегда и везде делали генералы и слуги буржуазии, – всячески старались обмануть трудовой народ.

Извне на остров не допускалась ни одна газета, ни письма, ни телеграммы. Обыватель был в блаженном неведении. Ничего не знали о ходе революции, не имели представления об изданных декретах, страшно удивились новому стилю. Кроме бесконечно белеющих степей да городов, прилепившихся к застывшему Азовскому морю, ничего не было.

Вызывали с фронта казачьи части и сообщали им, что большевики грабят и насилуют население.

На Матвеевом кургане казаки раздраженно и спешно выгружали батарею, чтоб разнести «грабителей». Стали расспрашивать:

– Дюже вас грабят большевики?

– Тю вам, та мы сами их кормим, бо воны наши избавители. Кто такой вам брехав?

Казаки постояли, разинув рты, погрузили

в поезд батарею и уехали назад.

А советские войска вместе с подымавшими казаками все теснее сжимали счастливый остров. Красная гвардия стала закаляться в бою – приобрела сноровку.

Заметавшиеся юнкера, офицеры и добровольцы не знали предела своей жестокости. Во дворе штаба юнкеров в «Европейской гостинице» в Таганроге обнаружены двенадцать человек убитых рабочих. Это был цвет пролетариата.

Убивали варварски. Во дворе вырыли яму, на краю поставили лестницу и штыками заставляли рабочего подыматься на несколько ступеней. Потом стреляли. Человек падал в яму еще живой. Когда набралось двенадцать, – сверху бросили собаку и заровняли. Не удивительно, что таганрогские рабочие, как только услышали, что приближаются советские войска, с риском быть всем перебитыми, восстали.

Советские войска были далеко, верст за двадцать пять, но рабочие с голыми руками – у них было десятка полтора винтовок – кинулись на юнкеров. Юнкера осыпали их убий-

ственным пулеметным огнем. Штабу советскому как-то удалось с помощью населения прислать рабочим винтовок и патронов, и на улицах завязалась кровавая борьба. Юнкера, чтоб удержать железную дорогу в своих руках, заняли каменное толстостенное здание, установили пулеметы. Взятие здания потребовало бы колоссальных жертв. Тогда рабочие нагрузили паровоз всякими взрывчатыми веществами, развили наивысший ход и направили на здание с юнкерами, а машинист соскочил. Паровоз с ревом, проломив стену, влетел в здание, взорвался, все разрушив. Уцелевшая кучка юнкеров в панике бросилась бежать. Когда советские войска вступали в Таганрог, юнкеров и след простыл.

Генералы заметались. Каледин был только вывеской для Дона. Дело было уже бесповоротно проиграно: загрохотали орудия, и в туманное утро 9 февраля советские войска вступили в Ростов.

На улицах валялись офицерские шинели, погоны, — очевидно, за ночь переодевались в штатское.

Весь трудовой народ высыпал на улицу и

встречал красных солдат несмолкавшим «ура»...

Буржуа, встречавшие когда-то юнкеров и добровольцев цветами, конфетами, объятиями, попрятались; дамы надели платочки и стали выдавать своих вчерашних друзей и благодетелей, а солдаты вытаскивали корниловцев и расстреливали. Особенно раздражал расстрел калединцами красных войск из-за угла, из окон, когда город уже был целиком в руках советских солдат и очищен от добровольцев.

– Что же это такое? – говорили солдаты. – Из Питера их выбили и не тронули. Они прибежали в Москву. Из Москвы выбили и не тронули. Они прибежали сюда. Отсюда выбили. Они побежали на Кубань. Докуда же это будет? А ведь каждая перебежка офицера стоит с полсотни жизней рабочих и солдат. Нет, с корнем надо теперь уничтожить!

Алексеев и Корнилов выгребли все золото из банков и, грызясь, как два черных паука, побежали через Дон, и с ними офицерские батальоны. Пробиваются к Екатеринодару, где засели юнкера и офицеры.

Относительно Красной гвардии начальники советских войск говорят, что, если ее пропустить через военное обучение, она и в полевой борьбе будет крепка. Пример – петроградские красногвардейцы.

На родине*

В Ростове-на-Дону влезая в поезд, набитый солдатами, и еду в Новочеркасск. Всего сорок две версты – полтора часа езды. Я выехал в двенадцать дня и приехал... в десять ночи.

На вокзале строжайший досмотр документов.

Вот и родные места. Пирамидальные тополи, мягкое звездное небо. Небольшие неосвященные молчаливые домики. Извозчиков нет, поднимаюсь в гору пешком.

Как все изменилось! Или все то же, а в сердце все изменилось.

На горе с мутно-голубоватой мглой подымается громада собора. Золотые точки куполов играют, мешаясь со звездами.

Выстрел, другой, третий, – я прислушиваюсь: не слышно ли где свиста пуль в ночной тишине.

Этот собор строили сорок лет, и трижды, когда сводили купол, он обваливался до основания с грохотом, окутывая всю округу дымной пылью. Зато красиво и крепко по всему городу выростали многочисленные дома строителей собора. Едва ли где-либо так весело, так беззаботно, грациозно умели воровать, как на Дону...

Похрустывает на панели ледок по белеющим лужицам. Здесь весна пахнет иначе, чем на севере.

В гостинице у входа меня встретил казак со штыком.

Утром солнце все залило, петухи поют, почки надулись, голоса у всех звонкие;

Встречаю знакомого.

– Откуда?.. Как?.. Ведь к нам никого... мы никуда... отрезаны были два с половиной месяца – ни писем, ни телеграмм, ни почты. Совершенно ничего не знали, что делается на свете. «Ленин убит... Дарданеллы прорваны англичанами. Немцы дошли до Урала». Правда ли это?

Начинаю расспрашивать о знакомых.

– Доктор Брыкин убит перед вступлением

советских войск. Приехали два офицера на извозчике, попросили одеться, увезли, убили, бросили в колодец. Убили и извозчика, чтоб не выдал. Убивали рабочих. Приговорили к смерти целый ряд лиц. Из офицерства организовалось тайное террористическое общество, которое и выносило смертные приговоры. Завели охранки с жандармами, со шпиками, честь-честью. Генерал Жерве завел систему «троек» для агитации. Ввели статистику, дневник, дела заподозренных, характеристики; чертили кривые неблагонадежности, ну, департамент полиции! Больше всего, что ребяташек – учащуюся молодежь – втягивали в это, – сыск, взаимные подозрения, тлетворная атмосфера.

Ребяташек всячески и по-иному втягивали в борьбу. Начиная с третьего, четвертого класса, их тянули в отряды. Весь город пестрел плакатами, на которых всячески увещевали поступать в добровольцы. Вот образчик:

«У вас две руки, две ноги, неужели вы до сих пор не отдали их на служение отечеству? Позор! Идите же запишитесь в добровольческий отряд».

Дамы, барышни, гимназистки все свое обаяние пускали в ход. На улицах, на вечерах, в театре, на гуляньях подходили ко всем молодым людям, к мальчикам, стыдили, уговаривали, кокетничали. Родители тоже уговаривали детей идти в добровольцы, – слишком были уверены в торжестве Каледина, Алексеева, Корнилова. И учащаяся молодежь ринулась записываться. Целыми классами, целыми курсами. Ведь тут ветеринарный, политехникум, учительская семинария, гимназия, реальное и другие училища. Уверенности в победе тем больше было, что подлые служащие газеты «Вольный Дон» в Новочеркасске и «Приазовский край» в Ростове ввали, не покладая рук. С их страниц сыпались победы алексеевцев и поражения советских войск.

Любопытно, что Корнилова, который командовал отрядом, всячески прятали, говорили, что его нет на Дону, – видно, прославился своим предательством. Всем орудовал Алексей. Он требовал осадного положения, смертной казни, самых жестоких мер, всеобщей мобилизации. Каледина оттерли.

Насчет жестокости алексеевцы охулку на

руку не клали, – за городом найден ряд тел красногвардейцев. Они были взяты в плен, их гнали и рубили им уши, руки, пока не падали; тогда разрубали головы.

Новочеркасцы, отуманенные реляциями о победах, и не подозревали о катастрофе: она разразилась, как гром.

Целую ночь добровольцы под страшной тайной возили что-то. На улицах были расставлены часовые. Показывавшихся убивали. Утром добровольцы со штабом, с генералами исчезли. К ужасу чистой публики и особенно родителей, отдавших своих сынов в добровольческую армию, вступили советские войска.

Нашли семнадцать трупов дрогалей, которых ночью, оказывается, добровольцы заставляли перевозить захваченное в банках золото. Когда они перевезли, их убили, чтобы они не выдали тайны. Думают, что всего золота добровольцы не могли с собой увезти; часть зарыли и скрыли в Новочеркасске, а возчики были убиты.

Отчаяние и ужас охватили родителей, дети которых ушли в придонские степи, распо-

ложились в зимовниках и ждут, чтоб про-
рваться в Екатеринодар, или к горцам на Кав-
каз, или в глубь степей к калмыкам. Против
них послано несколько сотен казаков.

Закипела организационная работа. Уж та-
кая моя участь. Всюду, куда ни попадаю на
юге, люди среди страшной разрухи подготов-
ляются только к творческой жизни. И в Ново-
черкасске среди полной разрухи, оставлен-
ной генералами, в огромном здании бывших
судебных установлений организуются отде-
лы, подбираются люди, налаживается работа.

Кадеты – адвокаты, судьи, журналисты,
крупные капиталисты, вроде Парамонова, из-
вестного когда-то издателя «Донской речи», –
разбежались, как крысы.

Людей нет, работники задыхаются: двадца-
ти четырех часов не хватает. А генералы по-
старались все разрушить; продовольственное
дело разбито до основания – в Новочеркасске
четверть фунта хлеба на человека; народное
просвещение, все учебные заведения стали;
транспорт почти погиб.

Теперь все это налаживается невероятны-
ми усилиями.

А тут голод в северных округах. С областью сношения оборваны; Новочеркасск как остров. Отовсюду требуют семян на посев.

Молодой Новочеркасский совет рабочих и казачьих депутатов из всех сил работает. Крестьяне пока в нем не представлены – не организовались. Как только организуются, пришлют своих представителей.

Выходят «Известия» совета. Принимаются меры к проведению всех декретов народных комиссаров.

Не ожидал*

Крупные майские звезды засыпали бархатное южное небо. Пирамидальные тополя стояли остро и черно, и в настежь раскрытые окна плыл их клейкий запах.

Полицмейстер, с грузным животом, в подтяжках, с красной обвислой женской грудью из-за расстегнутой рубахи, говорил хриплым, привыкшим приказывать басом:

– У роци поставите наряд. У железной дороги. Вдоль берега местах в пяти...

– Людей не хватит, Сергей Петрович, – осторожно вставил помощник, – по городу то-

же усиленные нужны.

– Как не хватит? – и отвислая грудь и воловья шея у полицмейстера еще сердитее покраснели. – Из роты дадут. Весь берег реки необходимо занять. Щелки им не оставить нигде! Пусть в степь выходят, на открытое место – вот тогда потешусь, заporю, вышлю конных, заporю подлецов!.. Эхх!..

Полицмейстер вспомнил, что ему волноваться нельзя, – апоплексическое сложение, кондрашка еще хватит, – и, макнув усы в пенный квас, наклонился над разостланной на столе картой города и окрестностей и тыкал пальцем.

Помощник, в мундире с иголки, предупредительно вкалывал в эти места булавки с флагами, и карта приобретала стратегический вид.

Уже было поздно, зеленоватые звезды за тополями передвинулись. С окраин по-весеннему доносился собачий лай.

– Лупите их, стервецов, лупите, чтоб кожа слезала лоскутьями! И баб лупите беспощадно! Чтоб в городе у меня никаких... А-а, разбойники! а-а, смутьяны!.. в бараний рог!..

Шея у него побагровела. Он опять вспомнил про кондрашку, взял из маленького серебряного тазика со льдом полотенце и вытер лысину, шею и грудь.

– Чтоб у меня в городе тишина, покой... Никаких!..

Помощник откозырял.

В звездном полусумраке смутно чернели плетни, садики, спавшие маленькие домишки. Пахло расцветающими акациями, навозом и весенней пылью. Сон, тишина.

Из-за плетня то высывалась черная голова, то пряталась. По улице на противоположной стороне, всматриваясь и прислушиваясь, прошли двое. Иногда один перемахнет плетень, подберется к окну и, вытянув шею, слушает. Потом опять назад, и дальше крадутся, зорко всматриваясь в каждый домишко.

Когда прошли, голова скрылась, человек согнулся вдвое, перебежал дворик и стукнул осторожно в дверь раз, потом два раза, потом еще раз.

– Кто?

– Бутыль да каланча.

Ему открыли. В маленькой до тошноты за-

куренной комнатке с плотно закрытыми и занавешенными бабьими платками окнами набилось человек десять.

Девки и молодые бабы торопливо сшивали полотнища дешевого кумачу и нашивали белыми буквами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..» «Да здравствует свобода слова, печати, собраний».

– Фараоны зараз прошли.

– Много?

– Двое. Все к Митяеву дому прислушивались.

– Ну, там не поживутся – небось храпят на всю улицу.

Пожилой рабочий сосредоточенно, молча, не обращая ни на кого внимания, строгал рейку, потом резал пилой на части и прилаживал шарниры – складной шест для флага делал.

– Матвей-то Иваныч ловко удумал – складной шест. Налетят фараоны, он флаг в карман, шест сложил под мышку и пошел чистенький.

– Как младенец новорожденный,

– Как облизали его.

– У него все складное.

В комнатке засмеялись.

– Чего ржете? Накликать хотите. Ванька, ступай на стрему.

– Чего все я? Пущай Алешка.

В оконце стукнули снаружи. Все замолчали. Бабы как держали в воздухе иголки, так застыли.

– Кобель.

У всех отлегло.

– Ну иди, Ванька, иди, надорвешься, боров. Ступай, тебе говорят.

День выдался солнечный, жаркий. По улицам тонко висла пыль и проезжали на сытых лошадях усатые городовые, строго поглядывая. Улицы полны обычной толпой.

В овраге, куда сваливают со всего города мусор, дохлятину, стоит толпа рабочих и работниц в цветных платочках. Над толпой неподвижно повисший флаг, и по складкам извиваются белые буквы.

Молодой с черными усиками стоит на куче навоза и говорит негромко:

– Товарищи, сегодняшней день мы празд-

нуем. Сегодняшний день, как окинуть глазом, так по всем странам, по всем государствам рабочие собрались и празднуют и вспоминают и про нас, потому что, товарищи, мы все связаны, трудящиеся всего мира связаны неразрывно. Только забываем мы про это, товарищи. Вот каждый день колотишься на работе, да грызешься с мастерами, да все думаешь, как бы выколотить лишнюю копейку в поллучку, а вечером либо завалишься, либо в трактир. А я бы... я бы... кххе-хх...

Он как будто подавился – тошнота подкапталась к горлу: недалеко глядел на него оскаленными зубами огромный дохлый пес. Кожа с него сползла. Мириады червей кишели в разорванном брюхе. Тучей гудели крупные мухи, сверкая блестящими зелеными спинками. Несло нестерпимой вонью. Бабы и девки затыкали платочками носы.

– Не слышать!.. говори громче...

– Громче!..

– Тише вы!.. пасть распялили, чтоб фараоны услышали...

И опять стоят и слушают, вытягивая шеи и ничего не слыша.

– Так я, товарищи, хотел бы, чтобы не только раз в году, в этот светлый наш праздник пролетарский, мы вспоминали, что все мы – братья-пролетарии во всех странах, по всей земле, во всех государствах, чтобы помнили мы об этом, товарищи, всегда, а не то что по торжественным случаям. Я бы хотел, товарищи, чтоб...

Прибежали, запыхавшись, ребятишки и прокричали:

– Фараоны!

В ту же минуту по верху пронесся топот и над краями оврага показались лошадиные морды.

– Вот они!.. гони их!.. – пронесся хриплый полицейский голос.

Лошади сядились и съезжали на заду по крутому скату.

– Ишь, дьяволы, куда забрались! И не подумаешь... А мы битый час лошадей гоняли; как сквозь землю провалились.

Засвистели нагайки.

Ночь глядела в распахнутые окна великолепного отдельного кабинета лучшего в горо-

де ресторана, и бархатная чернота ее была особенно густа, оттого что в кабинете ослепительно все было залито напряженным светом электрических лампочек. Стоял веселый гул голосов.

Пела певица с низким вырезом на спине. Кудлатый господин ей аккомпанировал.

На мягких бархатных креслах – товарищ прокурора, жандармский ротмистр, кое-кто из адвокатов, певицы из шантана и сам полицмейстер, в сиянии своей власти и силы. Возле него – помощник.

– Я говорю: водворю тишину, спокойствие и порядок – и водворил. Тише воды, ниже травы, – у меня ни-ни!..

И, грузно повернувшись, сказал сладко:

– Ни-и-на! Ну, протанцуй... Протан-цу-й для героя дня.

Нина, светлая, красивая, гибкая девушка, с ленивым и наглым лицом, на котором от густых ресниц тени, сказала, чуть усмехаясь холодными глазами:

– У Броша мне нравится браслет.

Полицмейстер налился кровью.

– Богиня! Все для тебя... В девять часов зав-

тра браслет у тебя.

И, повернувшись к помощнику, захрипел полицмейстер:

– Иван Никанорыч, велите Брошу завтра доставить.

Тот слегка наклонился и сказал вполголоса:

– Полторы тысячи... Как бы скандал не разыгрался...

– Заплачу, конечно, – сердито прохрипел полицмейстер и расстегнул ворот мундира.

– Запла-атит!.. – подмигнул за спиной молоденький адвокат.

Нина поднялась, сквозь тонкой тканью, постояла и вдруг, заложив над головой руки, изгибаясь, поплыла вокруг комнаты в мелкой дрожи, бесстыдно и грациозно, нагло и странной девичьей недоступностью.

Полицмейстер, хрюкая, пошел ей навстречу. Все восторженно закричали, подымаясь с шипящими бокалами шампанского.

Разошлись, когда электричество стало бледнеть в рассвете.

Утро. Полицмейстерша давно хлопчет:

уже приняла от купцов окорока, две головы сахара, конфеты и великолепную штуку тончайшего голландского полотна – купцы полицмейстеру челом били.

Полицмейстерша была в самом радужном настроении и все приговаривала, убирая даяния.

– Все пупырышек мой. Ангелочек мой. На нем весь город держится – ну и благодарят. Покою-то не знает, – сегодня целую ночь у губернатора дежурил. Тот карты устроил, ну, неловко уйти, ну, и просидел до рассвета. И какой нежный пришел. Пусть поспит.

В девять часов пришел помощник с встревоженным лицом.

– Встал?

– Спит ангелочек.

– Мне непременно нужно видеть.

– Н-ни за что!.. Пусть поспит, устал: у губернатора целую ночь сидел, карты были...

Подали письмо. На конверте: «спешно».

Полицмейстерша быстро распечатала и вдруг побагровела. Схватила благодарственный окорок и кинулась в спальню. Сейчас же оттуда послышалась свалка, вопли и испуган-

но-хриплый бас полицмейстера.

Помощник вбежал.

Полицмейстер в одном белье и в колпаке с кисточкой пятился, защищаясь руками:

– Что ты! что ты!.. Белены объелась.

Полицмейстерша махала над ним окороком и исступленно визжала на весь дом:

– Враль подлый, враль! Целую ночь с Нинкой... Да браслеты потаскухам рассылать!.. Старый козел, взяточник подлый, ведь ты...

– Позвольте, Августина Федоровна. Я сейчас от губернатора, требует немедленно вас, Сергей Никанорыч. В городе забастовка.

– Как забастовка? – не понимая и выкатывая глаза, сказал полицмейстер упавшим голосом.

– Все стало: заводы, фабрики, мастерские, даже извозчики не выехали на биржу.

– Это на каком основании?

У полицмейстерши окорок повис в руке.

– Рабочие никаких требований не предъявили, а просто бросили работу.

Полицмейстер побагровел.

– Ах, рракалии!.. Да ведь вожаки арестованы?

- Арестованы.
 - Вчера отпорили хорошо?
 - Да, всыпали...
 - Ну, так какого же им черта нужно! Чего же им еще нужно? Какого же им рожна!
- Он тяжело опустился в кресло и стал си-
зым.
- Всяких подлостей от них ожидал, ну это-
го не ожидал...

Красный праздник*

Как масло с водой, сколько их ни взбаламу-
чивай, упрямо расслаиваются, – так враги
революции угрюмо уходят с улиц, с площа-
дей, давая место рабочим, и начинают широ-
ко взмывать праздничные революционные
флаги.

Автомобиль неустанно несется вперед, хо-
лодный осенний ветер режет глаза, выжигая
слезы. Мимо с обоих боков проносятся серые
колонны революционной армии и без конца
черные фигуры рабочих.

Отчего лица спокойные?

Нет, не весело-праздничные, не смеющиеся,
а спокойные спокойствием решимости,

спокойствием пережитых побед, пережитых и переживаемых боли и горечи. Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат.

Красные полотнища полыхают на улицах. Под серым холодным октябрьским небом красный город.

Ни одного «благородного, чистого господина», ни одной «благородной дамы». Ветер свистит и нижезет насквозь. Не зазнобило ли их?

Чьи же это злые глаза блестят за стеклами домов?

Вот голова нескончаемой детской колонны. У этих лица веселые. Еще не пришло время положить на них печать спокойной решимости, сосредоточенной серьезности. Они улыбаются, смеются, поворачиваются друг к другу, машут нам. И вдруг вспыхивает детское «ура», внезапное и радостное, и катится с нами вдоль их нескончаемой колонны.

Ну, просто оттого, что автомобиль быстро несется, захлебываясь, треплется на нем красные флажки, и мы сидим, мы, — давно знакомые, даром что никогда не видались, — ведь это пролетарские дети, а в красном автомобиле могут ехать только их друзья.

Чьи же глазенки, съедаемые любопытством, блестят за стеклами домов?

Мальчуган стянутыми от холода ручонками несет знамя – красное знамя, а ветер валит его, а он борется, и от этого еще ярче катится, обгоняя нас, чудесное детское «ура».

Автомобиль передохнул и пошел шагом.

Ну, что бы им еще сделать? Ну, подпрыгнуть, шлепнуть ручонкой по кузову или пуститься с нами в обгонки? Да колонна не пускает, да детская дисциплина уже ложится на веселое своеволие.

Автомобиль напрягся, забормотал, и пошли мелькать дома, а за стеклами то сверкающие злобой глаза взрослых, то милые, полные любопытства глазенки детей. И далеко уже теряющимися пятнами чуть краснелись знамена и потухли, и погасло далекое детское «ура».

Вот Введенский театр Лефортовского района вспыхнул красным заревом революционного убранства, и, как черное ожерелье, рабочий народ вдоль полукруглого парапета. Красная трибуна.

Срываемая и уносимая ветром, звучит му-

зыка.

Ближе и ближе. Стройно, молодо идут ряды революционной армии мимо рабочих, ее создавших.

Нужды нет, что не все в форме, – некоторые в шляпах, иные в пиджаках, – ничего, когда понадобится, будут отважно драться вот за тех, кто теперь на них смотрит.

Не мимо генералитета, не мимо князей и сановников – мимо братьев, мимо революционного пролетариата идут красные боевые ряды, и широко реют красные революционные знамена – за социализм.

Автомобиль, напружившись, вырывается с площади, и опять бегут краснеющие гирлянды, остро поднимаются красные, только что выросшие башни.

И каждый район, мимо которого пробегает автомобиль, вспыхивает красным заревом убранства, вспыхивают красные трибуны.

Да, праздник!

И всюду торжественно звучит он, звучит могучим аккордом красного зарева, величавого спокойствия и в молчании тех, глаза которых с немой ненавистью блестят за стеклами

ми домов, – ни одного предательского выстрела.

Величаво и торжественно над красным городом в гуле холодного, волнующего флаги и знамена ветра звучит красный пролетарский праздник.

Красная площадь.

Снимите шапки: могилы тех, кто до дна испил красную чашу страдания за братьев своих!

Василий Блаженный, старенький и седенький, смотрит, не понимая, на проходящие ряды рабочей трудовой и боевой армии, – идут мимо высокой красной трибуны. Громяхают орудия, приземисто ползут автомобили, броневики, плотным шагом идет пехота, сдерживая горячащихся лошадей, проходит кавалерия.

А за цепью, где серые зрители, – ни одного котелка, ни одной шляпы с перьями и... ни одного выстрела.

На Ходынке снова проходят войска. На трибуне комиссар, несколько бывших генералов, полковников.

Солдатик в толпе зрителей говорит:

– Это что же, тетку их за ногу! Что же опять у нас генералы да полковники, по-прежнему?

И сказал рабочий, оборачиваясь к нему:

– Товарищ, они нужны нам, только не по-прежнему: нужны просто как специалисты. А в случае чего справиться с ними мы всегда сумеем: ведь перед ними не прежняя святая серая скотина, а мы.

И, быть может, в раскатистом аккорде великого пролетарского праздника это прозвучало наиболее внушительно – спокойный учет совершающегося кругом.

Черной ночью*

Из окна вагона не видно было надвигавшегося города: необозримо лежала туманная пелена. Ни крыш, ни домов, только концы фабричных труб бесчисленно высовываются над этим дымным морем.

На громадном вокзале неуютно, сыро и серо, и люди, нахохлившись, сосредоточенно и торопливо выливались на площадь.

На площади тот же деловитый сумрачный порядок, незапамятно когда заведенный. Мелкий, похожий на серую холодную росу

дождь неуютно садится на мокрую мостовую, на потемневшие памятники, на громадные дома.

И так же молча все спешат, сосредоточенные и угрюмые.

Небольшого роста огненно-рыжий человек, с выбивавшимися из-под шапки космами, сказал извозчику:

– Мне нужно в гостиницу.

– Пожалуйте, восемь гривен.

Рыжий человек положил чемоданчик, сел, и пролетка, мягко покачиваясь, беззвучно покатила по мокро темневшей мостовой; лишь раздавалось цоканье кованых копыт.

Мимо бежали громадные стекла магазинов, вывески; терялись верхушками в сыром моросившем тумане многоэтажные дома; проносились трамваи, и нескончаемой вереницей катились экипажи.

«Чисто барин, – подумал рыжий, – а в кармане всего восемнадцать рублей. Пропадешь тут... У нас теперь, поди, грязь по колено, утнешь...»

Заслоня многоэтажные дома, и вывески, и стекла магазинов, всплыл в памяти забро-

шенный в степях захолустный городок, – осенью тонет в грязи. Глушь беспросветная, белые гуси пощипывают на улице зеленую травку, свиньи бродят, но почему-то теперь этот далекий заброшенный городок кажется милым, родным, близким сердцу.

В гостинице дали крохотный, но чистенький номерок за целковый. Окно выходило на узкий глубокий двор, обставленный со всех сторон стенами с бесчисленно черневшими окнами. Далеко внизу, как в колодце, темнел мокрый асфальт и чернело, неведомо как уцелевшее среди немых камней, одинокое уродливо искривленное дерево с судорожно вывернутыми сучьями.

Вошел официант и сказал чужим голосом:
– Паспорт пожалуйста.

Он это сказал, а показалось, будто сказал: «Нам все равно, и ни до вас, ни до вашей жизни дела нет, только лишь расплачивайтесь аккуратно. А хоть час просрочите, выставим».

В паспорте было написано: «Мещанин города Черный Яр, 22 лет, Белощеков Алексей Сергеев».

Рыжий человек достал из чемоданчика ру-

кописи, бумагу, перья, все это любовно разложил на столе и почувствовал себя дома.

Мимоходом глянул в рябое зеркало над комодом.

– Фу-у, да и страшный я! Вихры-то огненные чего стоят... Разве могут меня полюбить?..

Он придавил готовый вздох и запел козлиным голосом баркаролле Чайковского:

*...Вый-де-ем на бе-ерег,
Та-ам во-ол-ны бу-у-дут
Нам но-о-ги ло-о-бзать.
Зве-е-зды та-ин-стве-нным бле-
еском
Бу-у-дут на-ад на-ами си-я-ать...*

Потом пригладил вихры, сел на кровать, по-турецки поджав под себя ноги, и стал пересчитывать деньги: семнадцать рублей двадцать семь копеек. Сумма показалась огромной. Ведь всего на несколько дней. Завтра же будет в редакции, и, может быть, завтра же выдадут аванс.

*Зве-езды та-ин-стве-нным бле-
еском
Бу-у-дут на-ад на-а-ми си-я-ать...*

Белощеков встал, прислушался: в гостинице было тихо. Окно мутнело от оседавшего дождя.

Он прижал глаз к стеклу: на дне стояло на асфальте дерево, черное от мокроты, одинокое.

...бле-еском... бу-у-дут си-ять...

Нужно идти в редакцию, но приемный день завтра. Чистенький номер, в коридоре блестит пол, никого, все двери с ярко вычищенными медными ручками молчаливо закрыты. Праздник без праздника.

И на улице за туманом сажащегося дождя – праздник. Праздник блестящих магазинов, украшений домов, чугунных ворот, катящихся нескончаемой вереницей экипажей, красиво и модно одетой, несмотря на дождь, непрерывно движущейся по широкой панели толпы.

Белощеков чувствовал и себя кусочком праздника, и останавливался перед витринами, и шел в толпе, как и все, не обращая внимания на дождь.

Пообедал в столовой, и там девушки пода-

вали ему по-праздничному.

В мутно-туманных сумерках жемчужно вспыхнули фонари.

Вернулся Белощеков усталый той приятной праздничной усталостью, какая бывает по воскресеньям.

Когда вошел, на минутку была какая-то беготня, беспокойный говорок, донеслись всхлипывания, торопливо прошел управляющий с холеными усами, кого-то пронесли; потом опять по-праздничному блестел пол в освещенном коридоре, и были молчаливы многочисленные Двери с ярко вычищенными ручками.

Белощеков потребовал самовар, достал купленную пастилу, инжир, финики – сладко-ежка был, – и праздник продолжался.

Коридорный с одутловатым лицом, когда убирал самовар, сказал:

– Горничная у нас отравилась.

– Это которая тут убирала? Девочка еще совсем? С ясными глазами?..

– Она самая. Матери их присылают, чтобы подсобить, чтоб заработали, а они травятся. Сколько их перепортили жильцы... Положе-

ние наше чижолое...

Ночью снилась девочка, тоненькая, как тростинка, с ясными невинными глазами, и сказала: «Я не отравилась, я – дерево». Он ахнул: в глубине, в сырой темноте с черной отваливающейся корой маячат искривленные, уродливо вывернувшиеся ветви. И молча со всех сторон черно и пусто смотрят на них окна сверху донизу, а кто-то говорит: «выпили, все выпили...»

До самого утра.

В двенадцать часов Белощеков пригласил вихры и отправился в редакцию. Тот вчерашний праздник тянулся и сюда, только по-иному: тут он был в строгости, в том значительном и большом, что здесь совершалось. Прежде, бывало, мальчишкой в церкви он такое испытывал, а теперь уже не заглядывает в церковь, а это чувство перенес сюда, в редакцию, – теперь здесь храм, храм мысли, таланта, благородного творчества.

В небольшой комнате сидела дама с желтым изжитым строгим лицом в очках и писала. За другим столом барышня с длинным лицом записывала что-то в конторскую книгу.

Другая барышня перебирала кипу пыльных газет.

Через дверь второй комнаты виднелись полки, заваленные книгами, и несло щелканье счетов.

«Как будто старой мебелью торгуют», – подумал Белощеков.

– Мне бы секретаря редакции надо видеть.

– Я – секретарь. Что вам угодно? – сказала дама, глядя на него сквозь поблескивавшие очки и говоря строгими глазами: «Ты сам по себе, мы сами по себе».

«А ведь когда-то была молодая и красивая...» – с сожалением подумал Белощеков и сказал:

– Рассказ сюда я прислал, уже два месяца назад. Я – Белощеков. Заглавие: «Голубой край».

Дама, болезненно наклонившись, взяла книгу, ловко перелистала, захлопнула, положила обратно, снова стала писать и, помедлив, сказала:

– Не принята.

Белощеков остолбенел.

«А у меня только девять рублей восемьде-

сят две копейки осталось... на пастилу да финики сколько убил», – подумал он, чувствуя, как ползут мурашки.

– Как же это... ведь я... ведь я у вас в журнале уже печатался...

– Что ж: то подошло, а это не подходит.

Барышня мельком оглядела его и опять продолжала возиться с своими газетами, подымая пыль.

Белощеков тупо помолчал перед столом и, преодолевая хрипоту, с усилием выговорил, глотая слюну:

– Тогда возвратите рукопись.

– Марья Ивановна, передайте рукопись – 32546.

Барышня оторвалась от газет, подошла к пузатому шкапу, порылась и сказала:

– Рукописи нет.

– Как нет?

Дама поднялась, сама поискала, потом прошла в другую комнату, долго там была, вернулась и сказала, ласковее глядя:

– Рукопись затеряна.

– Что же вы со мной делаете, наконец?! Ведь я живу этим. Я, наконец, в чужом горо-

де...

– Что же делать? К нам тысячами поступают рукописи – вышел недосмотр, всегда возможно, извиняемся.

Белощеков шел по улицам, сырым и липким. Туманный дождь влажно садился холодной паутиной на лицо, на руки, на стекла, на стены.

«У фабричных ворот толпятся рабочие, и к ним вот так же выходят и говорят: не надо... И они идут по мокрым, сырым улицам, и дождь садится на одежду, на лицо... Девять рублей восемьдесят две копейки... Перестану обедать...»

Зашел, купил немного сыру и хлеба в пошел в гостиницу. Но когда дошел, не мог подняться в номер, который вдруг опротивел, прошел мимо и без конца ходил по мокрым угрюмым улицам, отщипывая понемножку в кармане хлеб и сыр и прожевывая на ходу.

Уже вечером, в сумерки, когда опять вспыхнули матово-жемчужные отсветы фонарей, отливая в тумане круглой радугой, поднялся к себе в номер, неудобный и тесный. Внизу в темноте чувствовалось искривлен-

ное, изуродованное дерево. На него бесчисленно смотрели с четырех сторон светившиеся окна.

Зажег электричество, подали самовар, стало уютнее.

«Ну что же, нечего нюни распускать. Засяду тут писать, напишу. Сыру только нужно отложить половину на завтра, надо экономить. Напьюсь чаю и сяду писать. Сегодня часа четыре поработаю, много можно двинуть».

Сел за чай, съел весь сыр, и вдруг мучительно захотелось спать, все забыть. Ночью опять стояла тоненькая, как тростинка, девушка с бледным личиком и печально пела:

...там море... будет нам ноги лобзать...

И опять оказалось: это стоит внизу, во мгле и сырости, на холодном асфальте, сдавленное со всех сторон шестиэтажными домами искривленное дерево.

Утром, вместо того чтобы сесть за работу, отправился бродить. Ходил под дождем по улицам, заходил в трактиры, в кафе, в библиотеки и к вечеру пришел в номер такой из-

мученный, что свалился и спал как мертвый.

К ужасу его, такая жизнь потянулась день за днем. Каждый раз он строил планы, как примется за работу, как ярко будет писать завтра.

Приходило завтра, и не было сил засесть за работу, и опять уходил шататься по улицам огромного кипящего города.

Как-то вытащил кошелек, там оставалось семьдесят три копейки. Тогда в страхе рванулся к столу и принялся писать.

Писал, не отрываясь, вскакивал и начинал ходить из угла в угол, быстро поворачиваясь и бормоча вслух.

Коридорный иногда с удивлением останавливался у двери, заглядывал в замочную скважину:

«Чудно! Сам с собой разговаривает. Выпил, что ль?»

И как-то, подавая самовар, сказал:

– У нас жилец был, и хороший господин. Так зачал сам с собой говорить, – отвезли в желтый дом.

Но Белощеков ничего не замечал: нечесаный, косматый, неумытый, с расстегнутой

рыжей грудью, он прямо

с постели кидался к столу, зажигал электричество и начинал писать, вскакивая, бегая, бормоча и опять кидаясь на стул, хватая ручку.

Как-то пришел официант и сказал:

– Соседи обижаются – спать по утрам не дадите: разговариваете, и неведомо с кем.

Официант сказал это грубо и пренебрежительно, – уже третий день на столе Белоощекова лежал неоплаченный по номеру счет. Да не только счет не оплачивался, Белоощеков забыл уж, когда и обедал.

– Хорошо, хорошо... – сказал Белоощеков и стал снимать штиблеты и в одних носках бегать по номеру, шипящим шепотом выговаривая фразы.

Его одолели мужики, которые толпой лезли на бумагу, их нищета, невежество, грубость, несчастье, лошадиный труд, заморенные, как клячи, бабы, хворые ребятишки.

И это была такая мучительная, такая нечеловеческая, страшная, каторжная жизнь, так она кричала всеми своими язвами, что Белоощекову к горлу подкатывался комок. Он то-

ропливо поворачивался в угол, лицом к стене, и, стиснув зубы, не давал воли едко просившимся из-под век слезам, стараясь заморозить их.

«Ффу ты!.. дурак... ну, чего... Ведь это же сам выдумал... А если есть оно, так ведь не тут же...»

Но страшная жизнь, не давая себя ослабить, страданием и мукой ложилась на бумагу.

Наконец, измученный житьем в мужицкой избе, с телятами, свиньями, в грязи, в стружьях и болезнях, Белощеков вырвался в поле.

И уже не было тесненького неоплаченного номера, а лежало голубое утро над росистыми хлебами. Солнце радостно подымалось над затененным еще оврагом. Синел лес. Никли отяжелевшие росой травы. Ребятишки гнали стадо в ленивой пыли, и необыкновенно звонко и далеко разносились голоса в серебряном воздухе. Утро смотрело, словно умытое, и, вперебивку, надрываясь, щебетали, как потерянные, птицы.

И опять из угла в угол бегают Белощеков в

продранных носках и громко шепчет, отворачиваясь и стараясь не глядеть на то место стола, где лежит счет.

Когда бегаешь, поворачивается так быстро на углах, что голова начинает кружиться. Останавливается передохнуть и тогда чувствует, как страшно хочется есть.

Достает два кусочка сахара, хрустит ими на зубах, потом затягивает пояс, загоняя желудок под ребра, и снова спешит к мужику, который тарахтит уже домой, – и прыгает по кочкам брошенная сзади на телеге охапка свежескошенной травы.

И опять нет номера, тесных стен, изуродованного дерева на асфальтовом дне, а – деревня потягивает деготь-ком, петухи кричат, куры в разговорах роются на солнце, скачут верхом на хворостинках голопузые ребятишки, и доносится с другого конца деревни из кузницы – пятаки... пя-та-ки: звонко бьют по наковальне.

Белеет церковка.

Так встает это все на бумаге мучительно, как в родах, бесконечно мучительно оттого, что это не так остро и ярко, как в голове и

сердце.

Раз подошел к зеркалу и ахнул: глянул на него оттуда тщедушный человечек в веснушках с запавшими земляными щеками. Глаза блестели, и даже волосы были какого-то голодного цвета.

– Нет, надо пойти хоть воздуху глотнуть, а то так и сдохнешь по нечаянности.

А на воздухе голова закружилась от движения, от влаги, от звонков и гула трамваев. С проволоки падали, освещая, синие искры.

У всех были замечательно сытые морды, у мужчин, у женщин, даже у бежавших в оглоблях лошадей.

Он подальше обходил те места, где висели вывески чайных и столовых.

А на улицах все та же нескончаемая, вечно движущаяся, день и ночь не замирающая толпа.

Из какого-то ненасытного чрева выливались эти люди, и опять эта же ненасытная пасть их глотала. Шел чудовищный круговорот. И никогда не чувствовал себя таким одиноким Белощеков, как в этом гигантском водовороте.

Не голод, не безденежье давили петлей, а это мертвое одиночество среди движущейся толпы. Ион торопливо бежал в свой номер, схватывал перо, бумагу, и знакомо, приветливо, сердечно обступали его со всех сторон мужики, бабы со своими нуждами, горем, слезами. Приходила радость полей, солнца, медленно шумящего леса.

Иногда в это нездешнее царство приходил официант и заявлял:

– Ежели не заплатите к завтраму, съезжайте – управляющий велел.

«Ведь и он от тех же мужиков, – думал Белощеков, – либо мать, либо отец вот в этой моей деревне. Ведь его мне описывать придется... Нет, не его, а другого, настоящего, не этого, а этот – грубый, черт... Ишь дьявол – „съезжайте“. Без тебя съеду...»

Белощеков еще туже перетянул пояс – пальца не просунешь, – и отнес осеннее пальто в ломбард. Назад легко шел в обвисшем от дождя летнем пальто, и с обвисших полей шляпы бежала вода. Зато на столе не мучил все время лежавший счет – полегчало.

Кончил рассказ и отнес в другую редак-

цию. Там были милостивы и обещали прочитать через три дня.

Снова потянулись полуголодные дни, – пальто живо проел.

«Будь готов к самому худшему, надейся на лучшее», – сказал кто-то, и Белощеков натаскивал себя, – что, мол, не примут: коряво написано, не обработал...

А в глубине души тоненько кто-то пел:

«Вре-ешь! Отчего же сам плакал, когда обступили мужики, бабы с измученными лицами? Разве не живые стояли леса, хлеба, солнце подымается, куры разговаривают, ребятки кричат... Разве все это не стоит перед глазами?..»

– Нет, не примут, – говорил он, строго нахмуривая брови.

Так три дня тянулась с кем-то борьба, тянулось мучительное одиночество среди бесчисленных людей на улице, и отдых и ласковость в голодном номере среди мужиков, баб, сопливых ребят.

На третий день пошел в редакцию, задавив в себе волнение, ожидание, боязнь, надежду. Просто шел, глядя в мокрые спины

идуших, и холодный осенний дождь всюду мокро темнил все.

А в редакции сказали:

– Нет, не подойдет.

Как громом поразило.

Только теперь вдруг почувствовал, что кровью прикипелась уверенность, что будет взято. Ведь эти мужики, бабы – не выдумка. Ведь они – живые, кусочек сердца, кусочек жизни... Они кричат, им больно, – неужели никто не услышит?

Он шел под дождем, держа под мышкой рукопись, как будто шел из деревни, разбитой, разрушенной, и сзади – только развалины.

В номере повалился и спал как убитый, без снов.

А там опять пошел в редакцию. А в редакциях одно и то же:

– Вы просите через три дня прочитать, – не можем. Приходите через две недели.

– Да я с голоду умереть могу к этому времени. Ведь не с улицы же я пришел. Я печатался. У меня хоть маленькое, да есть литературное имя.

– Что ж, что печатались. Помним. Но ведь вы знаете, сколько поступает рукописей к нам, десятками тысяч. И каждый хочет, чтоб сейчас дали ответ. Физической возможности нет это сделать.

Безнадежно пошел в другую редакцию, в третью, в четвертую, – все то же, приходите через месяц, через две недели, через три недели. И он уносил рукопись. А пояс уж некуда подтягивать.

Ему сказали в гостинице:

– Съезжайте, господин. Разговаривать – разговариваете сами с собой в номере, а платить не платите...

Взял чемоданчик и в мокром, холодном пальто стал спускаться с лестницы.

– Ну, что ж...

Долго шел по осенним улицам. Сворачивал, шел по переулкам, переходил мосты через почерневшую реку и пришел на вокзал. Только не на тот вокзал, с которого уезжать домой, а на другой, на чужой.

Сел в вагон.

Куда?

Не все ли равно?

Станции через три кончился билет. Вышел. Хмурое небо. Хмурые косматые ели. Одинокое уходят мокрые рельсы в туманную просеку.

И он пошел по лесной молчаливой дороге. Кругом угрюмо обступили в густевших сумерках сосны. Накрапывал дождь. Последние станционные огоньки сзади мигнули, и надвинулась черная ночь, и, как ночь, надвинулся черный лес. Он стоял со всех сторон молча и невидимо. Шуршал дождь.

Дорога была грязная, ноги разъезжались.

Ни одного живого звука. Неужели тут никогда не жили люди? Вероятно, и дачи есть в лесу, теперь на осень покинутые и холодные.

Но разве было люднее в городе среди людей? Разве там не давили одиночество и заброшенность? И разве все там не говорили ему молча: «Ты – сам по себе, мы – сами по себе?..»

Ночной осенний дождь, упрямый и холодный, моет лицо, руки, забирается за ворот, тяжелит обвисшее пальто и медленно и бездушно шуршит в невидимой хвое.

И Белощеков спрашивает:

«Но чего же мне надо?»

А кто-то рядом, невидимый и черный, отвечает:

«Тебе надо счастья: славы, любви, признания другими твоего таланта...»

«Но кто же мне сказал, что у меня есть дарование? Кто сказал, что я нужен людям? Что краски и звуки моих писаний дойдут до сердца людского и заставят его забиться?»

«Тебя печатали...»

«Да, меня печатали. Но мало ли печатают бездарных? Может, и для меня и для других гораздо полезнее, лучше, если я буду техником, а не писателем?..»

Тот беззвучно засмеялся, блеснув белыми зубами, а Белощеков оборвался и полетел куда-то в глубину. Вода и мокрая грязь брызнули в лицо, и ударился грудью о край.

– Черт!..

Было так темно, что, не разбирая, шел иногда не вдоль, а поперек дороги, и вот врюхался в придорожную канаву.

Не стал и обтираться – бесполезно.

Опять медленно шагает, ноги разъезжаются в жидкой грязи и то и дело влезает в кана-

ву. И опять стоит ночь, черная, сырая, наполненная к нему враждебностью. Стоит

лес, такой же черный, и с холодной настойчивостью, ни на минуту не прерывая своего бормотания, бормочет дождь.

Устал и стал дрожать от сырости. Казалось, не будет этому конца, не будет конца этой тьме, этому пустынному дождю.

И, как в сказке, стал светлеть край над лесом, стал светлеть край неба.

Это не был рассвет – долгая ночь только в середине. Какой-то голубоватый отсвет упруго подымал тьму, лиловато озаряя низкие тучи.

Да ведь сюда же он и идет. Сюда же он, Не думая, бессознательно и билет взял.

Лес поредел, пропал. Залитый светом могучих фонарей, сказочно стоял среди отодвинувшейся ночи большой дом. Уютно и тепло смотрят в два этажа освещенные окна.

Мокрый, с стекающей грязью, с заляпаным лицом, стоял Белощеков в передней. И ему не удивились. Как будто так и нужно было, чтоб из дождливой, сырой, пустынной ночи пришел в этот дом незнакомый человек

и вокруг ног его быстро бы натекала вода и грязь.

Вышел хозяин, коренастый, с изрытым оспой лицом, проседью в космах волос, в неуклюжей блузе, перехваченной тонким ремешком. Курносый, а глаза чудесные, черные, мягкие, смотрят в душу, ничего не упуская, и ни один портрет не передаст их.

Он пожимает мокрую руку Белощекова, как будто давно знакомы, и говорит мягко:

– Жалуйте.

Через пять минут Белощеков в уютном кресле в сухом платье, и на изящном круглом столике дымится крепкий чай.

– Это хорошо, что вы пришли, – говорит хозяин, беззвучно ходит взад и вперед по мягкому ковру, прислушиваясь к напряженному напору мыслей.

– У вас боязнь и сомнения, – говорит он, ходя мимо Белощекова по кабинету, – боязнь и сомнения, нужны ли вы литературе, нужны ли жизни как писатель. Этот вопрос решает только время. Не странно ли: иного судьба вознесет на верхушку славы с такой яркой убедительностью, что нет возражений, а по-

том ни с того ни с сего от знаменитости начинает отваливаться по кусочку, глядь – осталось только туманное воспоминание. Почему? Отчего? Никто не ответит. Как никто не ответит, как нарастает сознание ребенка. Тут стихийный процесс, проходящий через миллионы голов.

Он помолчал, проходя мимо со своею тенью на мягком ковре.

«А ведь теперь там все дождь над черной дорогой...» – подумал Белощеков.

– Но ведь человек-то должен решить, для себя-то решить – отдается он писательству или нет. Тут никто не подскажет, ни у кого не спросишь, тут – сам. Ведь не спрашивает же человек: кушать ему каждый день, или, может быть, только через два дня, или через неделю. Не спрашивает: любить ли ему, дышать ли воздухом, ходить ли по земле, а любит, дышит, ходит. Так и писательство: оно властно само выбьется у человека без спроса.

Но Белощеков уже не слушал – свои мысли шли – и сказал:

– Вот вы... Знаете, меня что всегда поражает, а теперь, при личном знакомстве, еще

больше поражает. Все вам судьба дала, все: огромный ум, громадный талант, величайший дар в жизни; наконец, слава далеко за пределами родины. Вы обеспечены, счастливая семья, чудесный ребенок, – все. Но почему же, почему ваши произведения полны отчаяния, полны мрака, безнадежности? Читаешь ваши книги, и как будто идешь к черному провалу, к пропасти. Вы все, что у человека есть, все косите. Неужели же ни просвета нет в человеческой жизни?

Тот молча ходил, потом, глянув проникающими глазами, сказал:

– Да. У меня славный сынишка, милый ребенок. Вчера я присел отдохнуть. Он вскарабкался, положил голову мне на колени и уснул. Я смотрю на его подрагивающие черные ресницы и думаю: вот, может быть, завтра же в этот час он будет лежать на столе, и эти ресницы будут неподвижны на восковом лице. Да ведь это сейчас может случиться, сию минуту, через секунду. Придет Дифтерит, налетит автомобиль, и нет жизни. Это может случиться с семьей, с заработком, со славой и, что всего страшнее, с талантом. В одну мину-

ту можешь оказаться

в язвах и голый, как Иов. И это со всяким человеком, и так и бывает...

Они продолжали говорить о литературе, об искусстве, о значении писательской работы, а Белощеков думал свое.

Пробило три, четыре, – все – ночь, все – чернота в окнах. Устало клонит ко сну.

Хозяин отвел гостя в приготовленную комнату: постель, чистое белье, уют. Захотелось все забыть, от всего оторваться в этом гостеприимном уголке.

Но когда хозяин, пожелав спокойной ночи, ушел, Белощеков постоял, к чему-то прислушиваясь внутри себя. Потом переделся в приготовленное свое уже сухое платье, взял чемоданчик и осторожно, никого не беспокоя, стал спускаться с лестницы.

Вышел, и его опять встретила тьма, сначала отодвинутая светом фонарей, потом густо обступившая со всех сторон. Опять чернел лес, бездушным бормотанием бормотал дождь, разъезжались в жидкой грязи ноги, то и дело попадая в канаву, полную воды.

Опять холодно затекало за ворот, и от сы-

рости прыгали зубы.

«Нет, – думал он, – не туда попал. Самое страшное – не смерть, не потеря славы; самое страшное, когда отгородишься от настоящей, подлинной жизни семейным уютом, достатком, всеобщим уважением, работой, талантом, славой. Нет, не здесь надо быть. Жизнь не в одиноком номере, не за писательским профессиональным столом, не среди книг, не за разговорами. Жизнь – там, где ее делают те, кого описываешь, делают ее, мерзкую и прекрасную, огромную и мелочную, подлую и великодушную. С ними нужно жить, с теми, кого описываешь, с ними и жизнь нужно делать, тогда только...»

И он продолжал тяжело идти среди мрака, грязи, среди мертвого бормотания холодного дождя.

И стал, будто как намек, едва приметно светлеть край. Просыпающаяся ли заря, или далекий отсвет станционных фонарей, или ошибся?..

Из мрамора творящий жизнь *

Живописью, картинами русский народ давно украшает стены своего жилища. И в избе крестьянина, и в полутемной комнатке городского рабочего всегда встретишь картины, хоть и лубочные, наивные, но картины.

Скульптуры же русский человек не знает. Вы нигде не встретите у крестьян, у рабочих фигур, вырезанных из дерева или вылепленных из гипса.

Странно это, ибо крестьянство выдвинуло из своей среды скульпторов с громаднейшим талантом.

Во главе их Сергей Тимофеич Коненков.

Двадцать лет назад, окончив московскую школу живописи, ваяния и зодчества, в родной деревне среди дремучих лесов Ельнинского уезда Смоленской губернии, в сарае, работал он свою первую крупную работу «Камобоец». Восемь месяцев работал.

Приходили крестьяне, подолгу стояли, смотрели и удивлялись:

– Ну живой, чисто живой!.. А потом, Тимофеич, он зачнет у тебе сам работать? Камни

будет бить? внутре-то машины небось приспособил?

Выставил эту работу, получил серебряную медаль и... и начал голодать.

Буржуазное общество слепо и стихийно. Как и во всем, как и в экономической области, в области искусства оно не умеет планомерно использовать талант и гениальность. Ему подай известность, славу, общепризнанность. Без этого, будь хоть семи пядей, умрешь в нищете.

Судьба «Камобойца» лучше всего отражает судьбу художника. Некуда ему было деть свою работу. Жил в крошечных комнатухах, постоянно перетаскивался из одной в другую. Попросил он знакомых на время поставить к ним своего «Камобойца». Те согласились. Время шло. Коненков бился в нищете. Знакомые переехали на дачу, перевезли и «Камобойца». Потом уехали. «Камобоец» остался. Уходили годы; о нем уже забыли. Дача была перепродана совсем в другие руки.

Случайно на днях нашел заброшенным в течение двадцати лет это произведение в провинции г. Микули и привез к его творцу,

огромный талант которого ценою тяжких годов наконец признан.

Только в социалистическом обществе создадутся условия, когда каждый росток таланта будет внимательно оберегаться.

Хотя крестьяне и ждали, когда «Камобоец» сам начнет бить камни, в их среде все же было здоровое чутье таланта; в лесной, по-зверинному суровой, строгая и крепкая семья Коненковых никому никогда не выдавалась бумага, которая ценилась в этих дебрях лесных на вес золота, – баловство. Маленькому же пяти-шестилетнему Сереже торжественно выдавался лист писчей бумаги, и вся семья, сгрудившись, смотрела, как рисует мальчик-самоучка.

А рисовал он так, что, когда приходил поп, семья радостно просила его освятить рисунок как икону.

Поп, сбывчившись, поглядел.

– Нет, не буду святить: дюже морда страшная у святого, – ишь ты, зверь зверем глядит.

Тогда Сережа нарисовал морду полегче, поп освятил, прибили в угол и молились.

Видно, лесные люди, лесная жизнь, океан

шумящих деревьев сделали Коненкова неподражаемым, неповторимым в творчестве по дереву. Под его резцом из липы выходят подлинные живые люди: «Старичок-полевичок», «Старенький старичок», «Стрибог», «Монах», «Нищая братия»...

Да ведь мы их встречали на полях, в лесах, на дорогах.

Надо подойти к удивительным фигурам из мрамора. Что это: блещут ли кристаллы, или играют мускулы. И не теплеет ли это мраморное тело?

И неужели эти изумительные творческие создания все уйдут в частные руки и, может быть, будут увезены за границу? А русский рабочий? А русский крестьянин?

Как мы читали Карла Маркса*

Недаром и станица-то называлась Усть-Медведица: медведей много водилось в свое время, медвежий угол, непроходимая глушь, – ни железной дороги, ни парохода.

Старая седая река, а над рекой горы, а за рекой леса, а на горе станица. Жизнь в ней текла медленно, сонно и... страшно.

Нас душили в гимназии латинским, греческим, законом божиим, давили всем, лишь бы задушить живую душу. Всякую книжку по общественным наукам отнимали, а нас сажали в карцер. И были учителя нашими палачами.

Когда мы кончили и ехали в университет, мы наконец вздохнули от проклятой жизни. Хотелось знаний, свободы, хотелось общественной работы, – живые ростки все-таки остались в душе, даже палачи не сумели их убить.

Но в Питере оказалось еще хуже, – стояла удушливая тьма самодержавия и в общественной жизни и в университете.

Как это ни странно, мы были социалиста-

ми. Правда, наивными, невежественными; но постоянно кололо в душе жало, что нельзя жить, радоваться солнцу, деревьям, морской глади, человеческим голосам среди нечеловеческой нищеты, тьмы, нечеловеческих страданий народных.

А жить так хотелось!

Верилось в какое-то чудо: вдруг что-то случится, и все переменится, и придет счастье народное.

Иногда приходило отчаяние, и странной казалась эта наивная вера среди полицейщины, жандармов, шпионов, провокаторов, среди тюрем, ссылок, казней, каторги.

Сердце и глаза жадно искали, на что бы опереться.

Студенты и курсистки сбивались в кружки для самообразования. Попал и я в один такой кружок.

Я в первый раз услышал, что есть наука – политическая экономия, что весь строй жизненный в конечном счете определяется экономическим строением, что существует Карл Маркс. Невежество тащило за мной пудовыми гирями.

В кружке решили читать «Капитал» Карла Маркса.

Ну, Маркса так Маркса, – мне было все равно.

Один из старых студентов сказал:

– Что вы! Да разве можно начинать с Маркса, не имея ни малейшего представления о политической экономии? Ведь все равно ничего не поймете, только время убьете. Возьмите любой учебник политической экономии, вызубрите, – ну, тогда, пожалуй, и приступайте к Марксу.

Нас, молодежи, студентов и курсисток, собралось человек пятнадцать.

И начались муки.

И не то чтоб Маркс поразил с самого начала сложностью построений и труднодоступностью. Нет, напротив, в первой главе он сбивал как раз тем, что говорил и растолковывал до смешного очевидные вещи.

«Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая по своим свойствам способна удовлетворить какую-нибудь человеческую потребность...»

Ну, так что ж? Это я отлично понимаю.

«20 арш. холста = 1 сюртуку, или 20 арш. холста стоят одного сюртука».

И это великолепно понимаю.

Так в чем же дело?

А в том, что каждое слово в отдельности отлично понималось. Слова складывались в фразы – и это понималось. Но когда надо было фразы сцепить вместе в одно целое, все разваливалось, и мы, ничего не понимая, сидели опять у разбитого корыта и мучительно начинали сызнова.

По вечерам чтение продолжалось по пять, по шесть часов, а успевали прочесть полстраницы, а то и того меньше. А когда на другой день приходили – и это разваливалось, и прочитанное опять читали, как новое.

Мне было особенно тяжело – нападала необыкновенная сонливость. Вот сидишь, напряженно слушаешь, во все глаза ловишь движения губ чтеца, и вдруг веки начинают наливать, лицо читающего товарища длиннеет, длиннеет, делается журавлиным, да и сам он уже не Макарыч, а шпиц на Петропавловской крепости, качается, качается, да как вдруг...

И я неожиданно качнусь на стуле... Да спохватишься, испуганно разинешь глаза и исподтишка оглядишь всех подозрительно – не заметили ли?

И опять напряженно слушаешь, напряженно ловишь слова, и опять наливаются веки, и опять журавли... Всплывает, как был на охоте... Зайцы на задних лапах развесили уши, ухмыляются... И качнешься. Вот мука-то!

Не то Карла Маркса читаешь, не то с журавлями, зайцами сражаешься.

Так тянулось. И если в голове что-нибудь оставалось, так потому, что одно и то же место перечитывали раз по тридцать.

Понемногу слушатели отпадали, переставали ходить, и нас осталось человек шесть.

Мы не могли уйти: железными зубьями нас захватывал и втягивал в изложение Маркс, и уже нельзя было вырваться.

Что же он говорил?

А говорил, что новые ценности создаются только трудом.

Как вы ни хитрите, говорит буржуазным экономистам Маркс, капитал не создает ника-

ких новых ценностей, он только повышает производительность труда. И только труд, живой труд служит мерилom стоимости вещей.

Так, строка за строкой, страница за страницей, Маркс громит буржуазную науку и на развалинах строит колоссальное свое здание.

Мы подвигались. Пропала сонливость. Точно из болота мы вылезали на твердую, незыблемую почву, и кругом стало светлее.

Прежде мы просто сердцем болели за страшную жизнь трудового народа. Теперь мы понимали, какой бы благородный, какой бы честный, отзывчивый человек ни был фабрикант, – а такие есть, – сколько бы он ни строил для рабочих больниц, библиотек, домов, все равно он – хищник, ибо все это делает на прибавочную стоимость, на отнятую у рабочего часть труда.

И мы впервые не только поняли, но и почувствовали классовую непримиримость.

Заставив нас мучительно преодолеть первые трудности, Маркс дальше разворачивался неотразимо увлекательно, как роман.

Как гениальный художник, он рисовал ко-

лоссальные, потрясающие картины рабочей жизни в Англии, картины первоначального накопления и железный ход вещей, который неумолимо ведет теперешний капиталистический строй к социалистическому.

И среди мрака царского и буржуазного владычества для нас загорелся вдали ослепительный яркий огонь надвигающегося, и кругом посветлело: явился смысл жить, работать, бороться.

Без билета*

Это было в восемнадцатом году.

Мне надо было ехать из Новочеркаска в Ростов.

Вагон четвертого класса, нетопленный и пустой, — никого. Дымится остывающее дыхание.

На платформе обычная новочеркасская публика, много казаков. Не видно только офицерских погонов, которые прежде всюду мелькали.

Протаскивая огромные мешки, гремя винтовками и шашками, пролезают в вагон два казака в черных куртках, с которых течет

масло.

– Ффу-у т-ты, божжа мой!

Сваливают мешки, оттирают, сняв серые папахи, пот.

– Ну, слава богу, добрались. Теперича по-пасть нам на свой поезд, и ладно.

Оба плечистые, грудастые степняки. У одного обвисли по-украински усы, у другого славные серые глаза и ус вьется. Чисто выбритые подбородки, и особенная казарменная выправка.

– А скоро будем в Ростове?

– Да вот я ехал полсуток сорок две версты.

– Оказия! Что тут делать?.. Заморились, по семьям скучились вот до чего....

Я присматриваюсь, – лица усталые, сосредоточенные.

Мы сидим молча, – не говорится, и все чуть дымится у рта холодеющее дыхание. И вдруг толкнуло, и платформа, и люди, и вокзал поплыли мимо.

Казаки оживились:

– Да неужто тронулись? Вот диковина! Это мы живым манером в Ростове будем. А там на свой поезд, и марш. До нашей станицы два

часа от Ростова. Кагальницкая. Лишь бы не загнали нас куда в тупик. Па-ашел!

Поезд, гремя расхлябанным составом, все ускорял ход.

Вошел кондуктор с рачьими глазами, покачиваясь от хода, и строго сказал:

– Ваши билеты!

Казаки замялись.

– Да мы... Кто же ее знает... датмы думали...

– Чево думать? Думать нечего, а надо билеты брать. Эдак все думать начнут, железная дорога сядет. В Аксае непременно возьмите.

– Возьмем, непременно возьмем, – покорно сказали казаки.

Эта покорность смягчила кондуктора. Он присел и стал крутить, слюнявя, папироску.

– Главное теперя – это народное достояние. Прежде, бывало, сколько этого зайца возили, да я сам возил. Разве мысленно на двадцать пять рублей в месяц с семьей?

– Нямыслимо, – подтвердили казаки.

– А теперя сто восемь; хочь и трудно, ну, можно перебиться. Так разве я повезу теперя зайца, когда все это – народное достояние? Чево с вас сало текеть?

– Это не сало, а оленафт с сажей. Были у нас кожаны желтые. Ну, один прахтик говорит: вы сделайте их черными, приятнее, и опять же своим достоинством сурьезнее. Мы послухались, а теперь не рады: все белье в сале, руки, ноги, морда – все в сале. Куда ни сядешь, зад отпечатается салом, лошадь – и та вся в сале.

– Надо было чернилом, а потом олифой, в-варенным маслом, и дожда б не боялась. Да вы откуда едете и куда?

– Едем Корнилова ловить, с его шайками биться. А зараз мы из Мариуполя. Это таким оборотом вышло...

Тот, что с серыми глазами, плечистый и стройный, слегка повернулся к кондуктору, который глядел на безбилетников, не спуская с лица строгого выражения.

– Мы – первой сотни сорок первого казачьего полка, може слыхали?

– Первой сотни, – подтвердили обвислые усы и слегка метнулись.

– Как же, слыхал! – ударил себя по коленке кондуктор и, любопытствуя, пододвинулся к казаку с серыми глазами.

– Да, – продолжал казак, помахивая рукой, – стало быть, наша сотня, – шестьдесят пять человек как один: «Не пойдём до Каледина». Командир полка, ахвицеры так, сяк. «Не пойдём, и шабаш». – «Под расстрел вас, таких-сяких!» – «Хочь под расстрел, ну не пойдём».

– Ах, молодцы! – опять хлопнул себя по коленкам кондуктор, сел на самый край скамьи, чтоб быть ближе к казаку, и выкатил на него рачьи глаза. – Ну-ну-ну?..

Казак, как бы не замечая внимания и помахивая рукой перед кондуктором, продолжал:

– Ну, ладно. Приказ нам выступать, да. Ну, поседлал полк лошадей: садись. Господи благослови! Тронулся полк, а мы налево кругом и марш через Дон. Ну, они покеда то, се. «Стой, стой!» Стрелять не спобашились сразу-то, нас и след простыл...

Кондуктор грузно запрыгал на сидении и так замотал руками, что я слегка отодвинулся, – выбьет глаз забитыми чернотой ногтями.

– Ну, герои... ну, молодцы!

– Да, идем на рысях займищем. Батайск

прошли. Энти сотни и погнались за нами, – велено было расстрелять нас, ну, не догна-ли, – дело на вечер, потеряли след. Ну, хоро-шо. Тронулись мы дальше, прямо степью к се-бе в станицу. Думаем, на большое дело по-шли, надо родительское благословение при-нять. Да. Всю ночь шли. Ну, под утро подхо-дим к своей станице, заря займается, екнуло сердце – мать ты родная сторонущка! Да, при-ходим. Так и так, мол, за народ встала сотня. Вышли отцы наши, прислухались. «Ах вы, иг-рец вас изломай, чево замыслили, – на бого-данное начальство руку подняли! Нет вам на-шего благословения. Ни воды из колодезя, ни хлеба, ни овса, ни макова зернышка. Нет вам нашего благословения. А ежели не кинете ва-шу игру, проклянем». Бабы ревут, ребята ре-вут. Затужили казаки. Сбили круг да стали об-советоваться, ну, ни один казак не сдал, не попятил...

– Раки только пятются, – сказал долгоусый.

– ...Побросали пики, на што они нам те-перь, остались одни винтовки да шашки, се-ли на лошадей и потянулись, непригретые, без приюту, без благословения.

– Эк-к его! – крикнул кондуктор, отодвинулся, втянул померкшие глаза, уронил руки на колени и болезненно глядел на казака, не отрываясь.

– Так и ехали цельный день по степи, только голодные кони головами мотают. Хутора объезжали, – уж ежели отцы нас проводили без корки, без глотка, так чужие и подавно. И жмемся все к морю, а моря все нету и нету. Думаем, своя отечества не примаает, может чужая примет, кубанская, вот и добивались до Ейска добратся. Встрелся пастушок, рассказывает: кадетские войска по железной дороге проехали, казаков ищут. Ночь пришла, туман. Передние наши с коней – шарах! Кадеты впереди...

Кондуктор обеими руками ухватил себя за голову и со стоном потаскал из стороны в сторону.

– Придави их буферами... Ну?

– Ну, мы зараз рассыпали цепь, поползли, ан энто кусты. Тьфу, тетка твоя кукареку!

Кондуктор весь засветился, запрыгал на сидении, как мальчишка, и выпятил глаза.

– Ну?

– Ну, поехали дальше. Знаем, степью едем, голо, а оказывает, либо горы стоят, либо человек, а сам с дерево. Подъедем, ан это курган али дорога чернеет, либо чернобыльник. Стало светать. Глядим – хутор. Заморились и кони, и сами не емши. Мочи нету. Сами не поехали, послали делегатов, четырех казаков. Думаем, все одно не примут, ну, хочь попробуем. Батюшки мои! И курьми, и гусьми, и бараниной, и молока, и хлеба – всего натащили и лошадей накормили, напоили, прямо благо-растворение. «Вы, говорят, за нас, сырых, страдаете».

Кондуктор заметался, пододвинулся на самый край скамьи к казаку и радостно замотал рукамки, выпучив влажные глаза.

– А... скажи на милость...

– Ну, хорошо. Подходим к Ейску. Опять послали делегатов, – кто ж ее знает, как примут кубанские казаки. Ну, они с открытой душой, как братья. Накормили нас, а начальника своего, полковник у них такой уса-а-тый, так его было избили, он все не приказывал нас принимать.

– Вот люди, вот народ! прямо Кубань! –

опять неистово замотал черными ногтями кондуктор, еще пододвинулся к казаку, оперся руками о колени, чтоб не упасть, и изо всех сил поднял брови.

– Аккурат в это время подошел к Ейску военный транспорт. Матросы зараз нас погрузили и доставили в Мариуполь. Ну, хорошо. В Мариуполе центральная рада сидела, а рабочие с ней бились. Собрался народ со всего завода, и которые беднейшие с городу, ну, встречали нас, уму непостижимо. Женщины до нас, прямо – обнимают, детей поднимают к нам. Несут лепешки, да хлебцы, да творожники. А которые платочки с себе симают, нам суют. Лошадям тянут овса, хлебом кормят, просто сказать птичьего молока только не было. А тут вылез оратор, залез на бочку и зачал, и зачал, и зачал...

Казак тоже придвинулся к кондуктору, они уперлись коленями и глядели зрачок в зрачок.

– ...вот, полюбуйтесь, – говорит, – пришли наши братья казаки нам на помощь, трудящему народу. Покинули они дома своих цветущих жен, малолетних детей, своих преста-

рельных родителей, хозяйство свое, обзаведение, которое без них рухнет и оскорбляется, а также степи свои родные покинули, чтоб только дать возможность трудящему народу... – Ну, говорил до того, до самого нутра прошло; бабы режут, сам сидишь на лошади, слезу жмешь. Подымают и дают нам красное знамя. Все: «Ур-ра-а!» – Аж затряслось кругом.

Казак замотал руками перед самым лицом кондуктора.

– Зараз сучку-раду разогнали и утвердили совет.

Кондуктор тоже отчаянно замотал черными забитыми ногтями. Так они с минуту радостно мотали друг перед другом руками.

Поезд замедлял ход. За окном мелькали желтые домики, а с другой стороны свинцово-синий, вздувшийся лед Дона.

Кондуктор поднялся, сурово нахмурился и, не глядя на казаков, сказал строго:

– Аксай. Тут билеты брать. Ну... не берите, небось не сдохнет дорога... еще чего. Страдали за нас, да брать билеты... – и ушел.

– Покорно благодарим.

У казака потухли живые глаза, и лицо ста-

ло безразлично-сонным, как будто сделал дело и больше не нужна была эта живость и напряженность.

Долго стоял поезд, потом долго подымался в выемке к Нахичевани. Уже ночь, черная, сырая, холодная, – и замелькали разрозненные огоньки.

Чей сад?

[Текст отсутствует]

Проводил*

Из Пресненского штаба на Нижне-Прудовой улице вышел ученик и пошел к Москве-реке. Темно и глухо у реки, и жутко, и нет-нет хлопнет выстрел в темноте.

Идет по улице молодой человек, чистенький, аккуратненький, в хорошей шляпе, в новеньком пальто. Идет и поглядывает ласково на ученика. Подошел к своему дому, к дверям, хотел позвонить, да опять оглянулся на ученика.

– Вы напрасно туда идете, – сказал молодой человек в хорошей шляпе.

Ученик остановился.

– А что?

– Да, видите, жутко и темно там. Камни сложены, пустота кругом. Грабежи тут, раздают. Жулье тут гнездится. Да вам куда идти?

– Мне на Большой Трехгорный переулок.

– Ну, так вам лучше пойти по Большой Пресне, – там освещено, люди ходят, за милую душу пройдете. Да пойдёмте, я вас провожу.

Пошли к Пресне, разговорились.

– А я вас где-то видал, – сказал молодой человек в новой шляпе и ласково взял ученика под руку.

– Где же вы меня видели? – спросил ученик.

– Да, кажется, вы сегодня раздавали бюллетени публике. Много роздали?

– Да штук пятьдесят роздал.

– Какой же вы молодец. Какой же вы милый! Вот таких бы нам побольше. Вот такими, как вы, наша партия крепка.

У ученика сияет лицо.

– Да я не только раздавал, я агитировал, – говорит он, – человек десять обратил в свою веру; все обещали подать наш бюллетень.

– Ну, молодец же вы! ну, герой! Я вас расцеловать готов. Какой вы маленький, а какой милый. Из вас вырастет благородный гражданин. Ну, ну, расскажите, расскажите, как вы их в нашу веру обращали?

– Да как, – сказал ученик, – у кого есть честь, совесть и правда в груди, голосуйте за номер пятый...

Молодой человек отскочил от него, как ужаленный, выпучив глаза.

– Ка-ак за пятый?!

– А какой же? – удивленно спросил ученик.

– А я думал: вы наш, номер первый, распространяли.

– Ну, я предателей кадетов не распространяю...

– Это ты – предатель!.. – заревел молодой человек в шляпе, мотая кулаком, – это вы, большевики, предатели, германские шпионы, звери...

– Это вы, подлые кадеты, – предатели рабочих, крестьян и солдат; это вы жир нагуливаете на поте и крови рабочего люда, – кричал ученик, махая руками.

– Ах ты, щенок! Да я тебе надеру уши!..

– На-кось, выкуси!..

– Негодяй!

– Подлец!

Молодой человек погрозил кулаком и пошел к себе домой. Ученик погрозил кулаком и пошел к себе домой.

Памятник*

Стоял погожий осенний день. С березок тихо падали покрасневшие листья. За березками виднелась старая церковка.

У церкви за чугунной решеткой мраморный памятник – старый барин похоронен, а на взгорье барский дом белел в большом темном саду.

После обедни, разоблачившись и надев рясу с синей шелковой подкладкой в рукавах, вышел и стал на паперти поп с попадьей, за ними рыжий дьякон, за дьяконом дьячок, похожий на козу.

Поп огляделся, глянул на желтеющее осеннее жнивье, на гусей, что белели внизу у реки, на барские хоромы в темном саду и сказал:

– Ну, что же, православные, приступим.

Надо, надо и общественным делом заняться.

Толпившиеся у решетки мужики загомонили:

– Как не надоть, надоть заниматься, потому обчество, обчественные дела...

Всё косматый, бородатый народ, хмурый, и морщины залегли от дум, от забот, а руки корявые, как вывороченные корни, от земляной работы. Упираются на палки старики с белыми бородами, вот как на иконах пишут.

Яркие, красные, синие, зеленые девки и молодухи щелкали семечки, подпевали, а к ним жались парнишки, подростки, скалили зубы и заигрывали. Среднего возраста совсем не было – все на фронте.

Церковный сторож вынес два стула – попу и попадье. Попадья села и расправила желтое шерстяное платье. Приковылял на деревяшке и Осип Бесхвостов, – давно с фронта воротился, а ногу там оставил.

– Так вот, православные граждане, – сказал поп, закидывая рукав, – надо нам подумать да подумать, как нам весть себя. Черные времена пришли, запутанные, анархия, непослушание, бога забыли. А уж коли бог забудет, то

быть всем, где и врагу не пожелаешь...

– Как можно!.. рази можно!.. – загомонели мужики.

– Ну вот, то-то и есть, – сказал поп и опять откинул рукав, – то-то и есть. От нас самих зависит, а мы что делаем? Как к людям относимся? Кто вам школу построил? Князь покойный. Кто земли у речки прирезал? Князь. Кто церкву вам построил? Опять же покойный князь. Кто завещал пять тысяч в общественный капитал? Князь. Да куда ни кинь, вся деревня его милостью облагодетельствована. Вот он лежит теперь за оградой за чугунной, памятник на нем тяжелый, а хоть бы цветочек когда кто принес на могилу. Хоть бы панихидку когда догадался кто отслужить, – нет, никто никогда. Как сирота, лежит он тут в своем поместье, посреди своих полей, и тяжело ему, и больно ему: его родные дети терпят от вас. Аренду бросили платить, да потравы, да порубки. За добро – злом.

Мужики зачесали в затылках.

– Верно, надо помянуть, а то нехорошо.

– Ну, как же! чижало ему.

– Тянет его... ко дну же... – сказал древний

белый старик.

– Куда тянет? кто тянет? – с неудовольствием огрызнулся поп. – Так-то, православные: и на вас и на мне все это ихнее, княжеское, все это ихними благодеяниями да щедротами.

– Грех об этом забывать, – отозвалась матушка.

– Хоть бы теперешнюю княгиню взять, – продолжал поп, – и ясли для ребятишек устроила; баба уходит на работу, ребеночка в ясли отнесет, там ему хорошо, и у бабы душа не болит. И школу своими щедротами осыпает, и церковь ее иждивением благолепствует. А сколько на ее счет народу в городе содержится в учении. Да где вы такого по щедрости человека найдете?

– Знамо, добрая душа, – загудели мужики.

– Так что же мы за неблагодарные такие! Что же мы клеймо каиново на себе носить хотим! Так обещайтесь же и клянитесь, – громким голосом закричал поп и поднял руку, – клянитесь, что добром за добро воздадите этому щедрому дому. Вот будут выборы, клянитесь, что подадите за тех благомыслящих, которые не посягают на благодетелей ваших.

Клянитесь, что подадите голос свой за партию народной свободы, которая несет вам мир, волю, ну и землицы там, сколько полагается, а не то что грабеж. Клянитесь, что...

Мужики хмуро и испуганно смотрели в землю, а белый дед подвинулся и сказал, двигая бородой:

– Это ты верно, батюшка, щедрый был князь, веселый, теперя его ко дну тянет. Бывало...

– Вы, православные, отца своего духовного слушайте больше, – хриплым басом грянул дьякон, и с церкви поднялись голуби, – а не кого другого, и исполняйте свой общественный долг. Голосуйте не за разбойников, боготступников, предателей народных, церкви разрушителей, смутьянов, а за людей мира и порядка, правды и совести. Вот и голосуйте за народную свободу.

– Тянет его ко дну... – опять начал было дед, шевеля белой бородой. Но дьячок с козым лицом пронзительно тонко закричал, аж в ушах зазвенело:

– Темны вы, не ведаете бо, что творите. Темны вы, глухи, слепы от рождения. Идите

все за своими духовными отцами, они вас выведут на стезю праведную, на дорогу светозарную...

– ...Потому тянет его ко дну... – опять зашамкал старик.

– А ты бы, чем из пустого в порожнее переливать, панихидку по князю заказал, – с неудовольствием сказала матушка и поправила платье, – а то заладил, как сорока про Якова.

– Этта, панихидку можно в другом месте, – опять зашамкал старик, – а тута жеребец похоронен, жеребец лежит,

Мужики глядят на деда – в себе ли? Сгрудились девки и бабы; подростки из-за них вытягивают шеи. Поп стал багроветь:

– Не богохульствуй!..

Дьякон зарычал рыком звериным, и с околицы испуганно взлетели галки и вороны.

– Не клевети на мертвого!

Дьячок заверещал козьим голосом:

– Мертвы-ых в гробах ворочаете! В могиле от вас покою нету! Ничего святого для вас нету!..

Матушка заплакала, вынула платочек,

приложила к глазам и сказала:

– Не-бла-го-дар-ные!..

А дед посмотрел на всех удивленными, непонимающими глазами, приложил ладонь к волосатому уху и сказал:

– Ась?

Мужики молчали и во все глаза смотрели на деда.

– Жеребец, говорю, лежит тутотка, – сказал он, глядя старыми глазами на памятник, – бы-валыча, как девку отдают замуж, князь велит от венца прямо в свои покои привести. Ну, там ночь первую побудет, а потом к мужу ступай...

– Врешь ты! – закричал поп, махая руками.

– На мертвого ложь возводить! – заревел дьякон, и далеко за речкой отдалось.

– Где же у тебя совесть?.. – заверещал дьячок, – кабы он поднялся, он бы тебе в бороду в твою в седую плюнул за твою брехню. Как тебя земля терпит!

Матушка рыдала.

– Ась?.. – сказал дед, глядя на всех мутными глазами.

Потом вдруг выпрямился, глаза стали чи-

стые, как у молодого, и в них заиграл злой огонек. Стукнул дед о землю костылем.

– Мою жену от венца к себе уволок... Всю жисть я ее поедом ел, – княжеская! Какая наша жисть была! А виновата она, што ли, – в ногах валялась, за сапоги мужиков хваталась, которые ее волокли, обмирала, водой отливали. Христом богом молила, ну да мне легче, што ль, от этого. Так на всю жисть и осталась...

У деда опять потухли глаза, согнулся, оперся на клюку.

Мужики загудели:

– Панихиду по ём!..

– Чего захотел...

– По жеребцам не служат.

– Да я б ему все глаза выдрала, – закричала бабенка.

– Выдерешь, – как тебе на конюшне разложут да шкуры две спустят.

– На то крепостное право было.

– Жеребцовое право.

– А где же поп-то! Что ж он панихиду-то?..

А поп эвона где! спешит, волосы отстают. За ним матушка поспешает, желтое платье

подобрала. За ним дьякон распатлатился, а за ними семенит дьячок, а ребяташки бегут и кричат ему вдогонку:

– Ко-за де-ре-за!.. ко-за де-ре-за!..

Ненависть*

Москва живет болезненно-чуткой напряженностью. Как будто ободрали с нее всю кожу, и малейшая рябь мировых событий хлещет в открытые нервы.

Неизбежно это, необходимо, но... устаешь. И я был очень рад, когда наш прокуренный, заплеванной, черный – свечей нет – вагон остановился и я вылез в крошечную тьму самой непролазной провинции.

Вдали дымит туманом одинокий фонарь.

Где станция, куда идти, никто ничего не знает. Из вагонов вываливаются черной гущей люди и в гомоне и давке текут вдоль вагонов то навстречу друг другу, громоздясь в заторы, полные крика, воплей, брани, то в одном направлении.

Для удобства под ногами навалены шпалы, камни, доски.

Баба кричит как резаная:

– Рабеночка уронила!.. Рабеночка раздавите, анахвемы!..

И среди этой черно ворочающейся каши зловеще-жуткий молодой голос:

– Которые контуженные прожектором, суды!

– Слепые, что ль?

Я выбираюсь из неразберихи по откосу.

В слабом освещении у станции две лошадиные морды в оглоблях. Но на пролетках уже куча ребятишек, – больше извозчиков нет; хлопчут женщины. До города версты две. Куда идти, решительно не знаю.

В мутной полосе из окна, тускло лежащей по жидкой грязи, стоит высокий старик в шинели; в руках белеет чемодан.

Я вхожу в полосу, и он, оглядев меня спрашивающе, говорит:

– Пойдем до города вместе, а то темь, кругом овраги.

– Отлично, только вы идите вперед, я за вами – я близорук.

Он разом становится сторожким.

– Почему же я?! Иди ты вперед, – у меня тоже глаза плохие... Он у меня, чемодан-то – пу-

стой. Вот, – он подымает его легко.

– Да я дороги не знаю, я в первый раз... заведу вас.

Я ужасно рад, что не взял с собою ни чемодана, ни портпледа. Вскидываю за спину свой горный мешок с переменной белья да с письменными принадлежностями и шагаю, разбрызгивая грязь, за мутным, едва уловимым пятном старикова чемодана.

Кромешная ночь идет с нами, молчаливая и пустая.

А старик все спешит, стараясь подальше от меня держаться. Вдруг мутное пятно исчезает. Я останавливаюсь. Куда же теперь!

У самых моих ног из-под земли голос:

– Стой, товарищ, ни шагу – я в яме сижу.

Я щупаю ногой край обрыва. Потом ложусь грудью на него.

– Давай руку, товарищ.

Старик вылезает. Теперь мы дружелюбно идем след в след.

Осторожно разговариваем, придерживая язык, чтоб не прикусить, оступившись.

– Знаете, мне уж шесть десятков, а я добровольцем служу. Старей меня в армии нет. А

почему? Потому, что черное пятно души моей не дает мне покою. Я у них под Симбирском в плену был; я да еще восемь человек. Ну, энтим восьмерым велели лечь лицом к земле, а руки на спине накрест. Легли они лицом к земле, руки выпростили на спину. Подошли восемь беляков, винтовками в затылок – рраз! только вздрогнули.

Спрашивают меня: «Чем был?»

«В железнодорожном батальоне».

«Подрывное дело знаешь?»

«Знаю».

«Ну, отставьте его к сторонке. Ежели вздумашь бежать, ремни из тебя будем резать».

Стою. А тут наши как раз шрапнель пустили, так и осыпали кругом. Начальник ихний упал. Все бросились к нему, а я за дерево встал, перебежал за другое и побежал лесом. Стали стрелять... ушел. Ну, я что? – ничего, я ничего, – они с нами так, и мы с ними, зуб за зуб, тут обижаться не будешь. А вот чернота... Верите ли, я цыпленка зарезать не могу, никогда во всю жизнь не резал, а их, ну – кишки бы выпустил. Трех провокаторов-попов зарезал, в брюхо – рраз! готов. Мужики доказали:

провокаторы. Один и посейчас в деревне, непричинен, ну что ж, оставайся... Я ведь сын крепостных. Вот мамаша рассказывала. Гоняли людей глину месить. Так по кругу гоняют, как лошадей, они ногами и месят. А мамаша тяжелая была старшим братом. Да и опоздай, – и опоздала, может, на четверть часа. Зараз бурмистр: «А-а, такая-сякая!..» Выкопали в глине ямку для живота, положили животом в ямку и стали пороть.

Он остановился.

– А?.. Ямку выкопали! Да я им теперь горлы перегрызаю!.. Так с ямкой и в могилу пойду...

Голос его сорвался. И столько выстоявшей темноте прозвучало ненависти, жутко стало. Казалось, невидимое лицо его дергалось судорогой.

Так вот почему с такой невиданной в мировой истории непреоборимостью ломаются незыблемые тысячелетние неподвижные устои. Проломалась отдушина, и туда хлынул океан классовой ненависти...

...Дежурный помощник коменданта отвел мне ночлег, и я повалился как убитый.

Тающие церкви*

Город пользуется огромной известностью, всероссийской, – настолько огромной, что вошел даже в поговорку:

«Один глаз на вас, другой на Арзамас».

Но этой всероссийской поговоркой и кончается вся его известность.

Где этот город? Какой он? Кто там живет? Что делают? Как думают?

Никто ничего никогда этого не знал и не знает.

...Слабо забрезжил туманный день, и неподвижно, молчаливо, насупленно проступил самый захолустный, заброшенный медвежий уголок.

В центре тяжелые приземистые купеческие ворота на запоре в глубоких нишах каменных давящих стен. Такие же каменные приземистые купеческие дома под железною крышею. Чувствуется, за глухими воротами мохнатая черноротая собака гремит по проволоке цепью.

Базарная площадь обставлена такими же приземистыми, вросшими в землю обомше-

лыми рядами. А за коваными железными дверьми – глубокие подвалы.

Кругом по немощеным улицам ютится в почернелых, покосившихся хибарках мещанство, верой и правдой служившее его степенству ссыпщику, тархану, лесопромышленнику и прочим благодетелям.

И, все это благословляя, неисчислимо стоят церкви, кряжистые, каменные, присадистые, тысячелетние.

Из-за каждого сарая, из-за труб крыш, из-за голых деревьев, куда ни глянь, всюду выглядывает колокольня, зеленеет главка, торчит крест.

Какая-нибудь маленькая грязная свиная площадка на кособорье, а на ней расселось три, четыре, пять церквей, да монастырь в придачу.

Да, тысячелетия каменно сторожили они незыблемый клад святой Руси!

Но почему же теперь в тысячелетиях слежавшийся камень поражает глаз бесплодием? В рдеющем тумане церкви кажутся мглистыми, далекими, тающими. Даже оригинальную архитектуру греческих храмов с

колоннадами, роспись, часто древнехудожественную, не различишь.

Как видения.

И почему молчание всюду, и тяжелые висячие замки на железных дверях, и не бегают по проволоке с гремучей цепью собаки с черными косматыми ртами?

Торопливо продышит, обдав гарью, грузовик, протрещит мотоциклетка. А вместо степенных картузов, кафтанов да поддевок – одинаковые фигуры, где не отличишь красноармейца от командующего.

Идет новая жизнь, невиданная, неслыханная, и сама изумленно ломает в корень сложившееся тысячелетиями.

Недаром тают каменные церкви.

– Была у нас партийная конференция, – говорят мне в совете, – со всего уезда съехались, человек четыреста. Ну, какие же это коммунисты... И условий-то нет подходящих, сплошь крестьянство, рабочих ведь нет. Но, знаете, какое ощущение: обломаются. Обломаются и будут идти в ногу с пролетариатом. Ведь теперь на каждом шагу чудеса. Да вот вам... В совете работает шестьдесят два чело-

века, и среди них только четыре интеллигента, остальные – все крестьяне. А посмотрите, как работают. Сколько здорового, нутряного, черноземного трудового чутья. И как вплотную, по существу подходят к вопросам и решают их, решают смело, не колеблясь, чутьем угадывая принципиальную сторону. Разумеется, не без задоринки, не без промахов, не без ошибок. Да разве в этом суть? Важно, что крестьяне,

только-только от сохи оторванные, идут вместе с коммунистами...

Да, тают церкви!..

– Национализировали торговлю. Конечно, трудно. Даже не перескажешь, как оно пойдет. Частный торговый посредник убит. Надо создавать новый распределительный аппарат. Денег нет. Собрали контрибуции с буржуазии два миллиона и всё убухали на народное образование. Дальше двух верст друг от друга у нас нет школ, а больше – верста, полверсты. Иконы, молитвы, попы – все выметено из школы. Ну, некоторые из-за этого позабрали детей, вернее внуков, – деды позабрали. Только это самый ничтожный процент;

подавляющее большинство крестьянства совершенно равнодушно выпроводило из школы попов с их иконами, крестами, песнопением, со всем поповским хламом. Ребятишки также неподдельно рады – меньше учить надо будет. Старые учителя часто подают в отставку – не могут помириться с новой трудовой школой, а молодежь учительская – та горячо берется за дело. Недохватка учителей большая. Помните, было время, крестьяне закрывали школы после февральской революции, разгоняли учителей. А теперь чуть не каждый день приходят, просят: «Откройте школу». Мы говорим: «Хорошо, дайте помещение, оборудование, сторожа, а мы пришлем учителя». Сейчас же дают, и школы растут, как грибы.

Вспомнишь былые времена, теперь все иначе. Прежде, бывало, где вселяется штаб или какая-нибудь войсковая часть, это значит – как тяжелый туман над населением, вселяется разгул, разврат и насилие. Теперь в тех местах, где штаб или крупная войсковая часть, – военный отдел по распространению литературы, которая широкой волной льется

в население, часто нетронутое и темное.

Тают церкви...

Фабрика*

Иду в штаб.

Было невытравимое ожидание встретить военщину, – не военную обстановку, это естественно, – а именно военщину. Как бы ни изменились времена, вытравить сложившееся веками невозможно.

Мне приходилось бывать в штабах в Галиции. И с тоской, бывало, вглядываешься в офицерские лица: ведь и у них же бьется сердце человеческое, и ищешь человека, и не находишь, – все мертво, задавлено писаной и неписаной субординацией. И дело, разумеется, не во внешних только признаках подчинения, не в эполетах, не в знаках отличия, а в страшном, мертвящем отсутствии человеческого достоинства, снизу доверху. И оттуда – в страшном отсутствии чувства ответственности. И когда я, бывало, входил в блестящий штаб, я будто входил в гробовое помещение, обитое золотом и серебром и переполненное гнилью и мертвечиной.

И как же радостно было теперь, когда я пришел... домой! Это – мой дом. Кругом милые лица товарищей. Ни угодливости, ни заискивания, ни высокомерия, – свое.

Штаб – это огромная фабрика, где командный состав – искусные инженеры, а товарищи-коммунисты – сердце, горячие биения которого отдаются в самых дальних уголках огромной фабрики.

И инженеры, и сердце гонят по фронту пролетарскую кровь, пролетарские дымящиеся мысли, волю, настойчивость, – они спелись, работают дружно. Саботажники изгоняются и караются нещадно. Наверно, все-таки они есть, но все по-собачьи поджали хвосты и работают, не оглядываясь.

Теперь одно можно сказать: партия сумела взять командование в свои руки.

Работу коммунисты несут колоссальную. В данный момент ее даже не учтешь. Они дают Красной Армии газеты, библиотечки, литературу; они агитируют, они охраняют армию от саботажников, от измены.

Днем и ночью, не смыкая глаз, они берегут, как зеницу ока, рабоче-крестьянскую си-

лу.

Воистину, коммунистическая партия несет армии жизнь. Без партии здесь воцарилось бы разложение и смерть.

В группах коммунистов, разбросанных по штабам, есть и неровности. Всякая партия включает в себя работников различной партийной напряженности, различной внутренней значительности. Есть закаленные бойцы, есть побледнее.

Это естественно и неизбежно, и нет в этом ничего ни худого, ни опасного.

А вот что худо и опасно: нет внутри партийных групп взаимной связи, внутренней групповой жизни. Тут каждый за себя. Не собираются, не живут партийной жизнью. А когда делаются попытки созвать собрание, приходит еле седьмая часть.

Это уж опасно.

Надо принять во внимание: работы у коммунистов подавляюще много, отдыха никакого; здесь нет ни воскресений, ни праздников, ни перерывов, – изо дня в день все та же напряженность.

И все-таки партийная жизнь должна быть.

Она всех объединит, подтянет слабеющих, осмыслит всю работу.

Наиболее энергичными товарищами уже делаются в этом направлении усилия.

Великой мукой, великой ценой идет невиданное строительство Красной Армии.

Кверху ногами*

Все кверху ногами. Там, где дома, телеграфные столбы, самые деревья пропитаны дыханием помещичьей жизни, где лошади по улицам бегали как бы с выражением на мордах незыблемости все пропитавшего черносотенства, – там через город протянулась улица Карла Маркса, главная улица. Поднялся на гранитном пьедестале бюст Карла Маркса, и стоит прекрасная пролетарская школа I и II ступени имени Карла Маркса, трудовая школа, – коммуна с мастерскими, наполненная детьми пролетариата. Обучение бесплатное. Воспитанники будут бесплатно снабжаться учебными пособиями, бельем, одеждой, горячими завтраками.

Это – образец, с которого будут делать слепки все другие школы.

Симбирск обогнал Москву. В Симбирске я в первый раз видел стройные колонны учащих среднеучебных заведений со своим оркестром во главе на октябрьских торжествах, на демонстрациях по поводу революции в Германии. И это – за совесть, а не за страх: никто их не тащил, не принуждал.

– Знаете, положение создалось, – говорили мне здесь, – такое, что мы через детей влияем даже на буржуазные семьи. И настроение здесь создалось такое, что если бы сейчас всеобщие выборы по четверохвостке, так выбраны были бы только коммунисты.

Буржуазия бежала при вступлении советских войск массой. Бежали без оглядки, бросая квартиры, мебель, белье, обстановку, горячий борщ на столе. Адвокаты, попы, доктора, инженеры, купцы, домовладельцы, фабриканты, помещики, – тысяч десять убежало, и бросили свыше трех тысяч квартир.

Теперь здесь, где над селением висела удушливая черная мгла невежества, безграмотности, непроходимого бесправия, ныне, жадно захлебываясь новизной, кипит строительство.

Мохнатое столыпинское сердце еще больше бы почернело при виде того, что делается на его родине.

«Благородное» дворянское симбирское земство, одно из самых реакционнейших земств России, не имевшее даже отдела по народному образованию, знало, что делало, – оставило проклятое наследие революции: семьдесят процентов безграмотных на губернию.

Чехословаки с белогвардейцами старались усугубить это наследие – все разрушили, что до их нашествия было сделано в Симбирске.

И как же кипуче забурлила работа после их изгнания!.. Пришлось налаживать сызнова, начиная с технического аппарата, заведение делом народного образования.

В первую голову надо было бороться с ужасающей безграмотностью взрослого населения. И вот раскидывается широкая сеть воскресных школ, вечерних курсов для неграмотного и малограмотного рабочего населения, открываются районные библиотеки.

В самом Симбирске открываются курсы социальных наук (до восьмисот слушателей), общеобразовательные и политехнические

курсы. Организуется пролетарский университет. Организуются учительские курсы: в учителях огромный недостаток.

Губерния покрывается сетью детских садов, яслей.

В Симбирской губернии свыше полумиллиона татар, чувашей, мордвы. И если русский крестьянин был темен, так тут – темь непролазная.

Теперь размашистые удары и тут проламывают вековую дрему. Намечается все покрывающая школьная национальная сеть, библиотеки, лекции, учебники на чувашском, мордовском, татарском языках. Переводятся брошюры издания ВЦИК. На чувашском языке газета.

Изо всех школ устранены попы, изъяты иконы. Теперь смело можно сказать: устранение попов со всеми атрибутами не вызывает противодействия населения и должно проводиться всюду неукоснительно.

Надо заметить, что порой население глухо ропщет под влиянием поповского шипения. Но стоит политическому отделу штаба послать толкового человека, чтоб он ясно и про-

сто объяснил отделение церкви от государства, как крестьяне начинают миролюбиво:

– Ну, энта совсем другая статья. Поп, знамо, тянет на свою руку. Что ж, это ничево – поп нехай свое, а гражданская рука свое, это ничево...

В школьном строительстве большая поеха в недостатке средств. Сызранский уезд вышел из затруднения: ввел школьный налог и двинул дело.

Да, все кверху ногами. Я как-то указывал: старая царская армия, куда бы ни появлялась, всюду несла с собой замкнутость и обособленность от населения.

Политические отделы штабов Красной Армии, куда бы ни появлялись, несут с собой просветительную работу, политическую организацию. Шлют агитаторов, инструкторов.

И кругом растут комитеты бедноты.

Политический отдел устроил ряд оперных спектаклей и концертов в городском театре. Вход для красноармейцев и советских работников бесплатный. И вот красноармейцы, вместо того чтобы бесцельно толкаться по улицам, плюя семечками, или нудно валяться

по кроватям в казармах, жадно слушают прекрасную музыку – «Евгений Онегин», «Пиковая Дама», «Демон» и другие.

Дисциплина в армии – железная. Но дисциплина не голая, а рядом с ней, сколько сил хватает, стараются создать культурную, осмысленную жизнь.

Самоисцеляющая сила*

Чем больше я присматриваюсь к строю и жизни нашей армии, тем радостнее становится на душе.

И не то чтоб не было тут ошибок, промахов, упущений. Есть и ошибки, и промахи, и упущения, и злоупотребления, и иногда в достаточном количестве. Но драгоценна та изумительная гибкость, с которой армия, обернувшись, тут же сама зализывает свои раны, выправляет свои упущения, вытравляет злоупотребления, вытравляет каленым железом.

И не потому, что на это строжайшие распоряжения, приказы и декреты из центра.

Нет, тут не в центре дело, а в том громадном чувстве самоохранения, которое пронизывает армию.

И оттого так быстро очищается всякий гнойник, затягивается всякая рана.

Вот я сижу в комнате политического комиссара и всматриваюсь в тысячи дел, которые обрушиваются сюда, вслушиваюсь в торопливый говор сотен людей, из которых каждый несет свое неотступное.

Прежде в Москве издали мне казалось, что комиссары несут только одну работу – контролируют командный состав.

Ничуть.

Они несут колоссальную повседневную работу, на которой держится вся жизнь армии, ежеминутно тут же на месте, не канцелярски, не бумагой, а живым распоряжением решая самые разнообразные дела.

Великолепный волжский мост от Симбирска рухнул последним пролетом на левом берегу. Уже когда Симбирск был взят и белые отброшены от Волги, небольшая банда их пробралась и взорвала пролет, – губы-то мы умеем распускать.

Инженер долго возился, тянул, а когда дальше тянуть с восстановлением моста стало нельзя, темной ночью бежал. Отдан при-

каз об аресте, – поймают – расстреляют.

Поручили другому. У этого дело пошло скоро, на днях мост будет готов. Но идут бои, нужны переброски сию же минуту; по Волге идет сало, нельзя перевозить пароходами, нужен временный настил на мосту.

И уже комиссар – инженер; уже он втянулся в механизм мостовых построек, он все время напряженно учится в деле. И инженер говорит:

– Хорошо. Как только понадобится, позвоните по телефону, через три часа настил будет готов.

Он знает, что говорит: или настил будет готов, или надо будет бежать.

Но комиссар не только инженер, он – седельник, когда приходят кавалеристы и начинают толковать о седлах; он – санитар и врач, когда решаются вопросы об устройстве раненых, он – специалист всюду, где требует дело.

И это не с кондачка, не с налету, он напряженно учится все время в деле, а если не одолеет, зовет специалиста. Но не спихивает ему на руки дело, нет, он видит в нем только эксперта, он высосет из него все, что нужно.

Санитарное дело, нужно сознаться, поставлено плохо, – ни санитарных поездов, ни оборудования, ни врачей.

Кстати, куда же подевались великолепные поезда земского и городского союзов?

Их с аптеками, с операционными, с сестрами милосердия, с врачами отправляли за... хлебом. Хлеб возили в санитарных поездах. Теперь раненых возить не в чем.

С великими усилиями оборудовали в Симбирске госпитали. Но стояло затишье, и все это оборудование, руководствуясь совершенно неправильной системой, забрали на другие фронты. Симбирск остался голый.

И вдруг грянули бои, жестокие бои. Разом прислали с фронта, и – это было огромным упущением – не предупредив, четыреста раненых.

А для них ни кроватей, ни белья, ни тюфяков, ни места. Хоть на снег клади. Было от чего в отчаяние прийти.

Но в отчаяние не приходили, раненых не бросали в теплушки, не сбывали с рук куда-нибудь в тыл, не написали рапорта: «Выполнить нет возможности, ибо ничего нет», – и фор-

мально были бы правы.

Нет, все поставили на ноги, перерыли весь город. Комендант сказал монахиням: «Вы спите на мягких пуховиках; кельи у вас теплые, положите пуховики на пол, а кровати – раненым». Обошли буквально все квартиры и, где нашлись излишки белья, взяли, не обижая жителей. Одежд совершенно нельзя было достать – у всех в обрез. Нашли солдатское сукно, пригласили безработных, нарезали из сукна одеял.

Через четыре часа четыреста раненых, накормленные, перевязанные, обогретые, лежали на кроватях, с тюфяками, подушками, чистым бельем, под теплыми одеялами, а не тряслись по рапорту в теплушках в дальний тыл.

Это – эпизод. Да, эпизод, но из таких эпизодов строится вся жизнь армии.

Велика творящая и самоисцеляющая сила армии. Ибо армия эта оплодотворена великой силой, великой волей, великой действенностью коммуниста, – коммуниста как представителя пролетариата.

Бой*

То там, то здесь, вспыхивая белыми клубочками, стукнули винтовочные выстрелы. Зататакали пулеметы. И, наполняя осенний воздух тяжелым, значительным и угрожающим, стали бухать невидимые орудия. Неприятель перешел в наступление.

Земля холодная, чуть запорошенная снежком. Ходили туманы, и в цепи, когда лежали, было мучительно холодно.

До этого же три недели стояли красные войска на реке Ик.

Позади лежало до Симбирска четыреста с лишним верст, которые в сентябре – октябре прошли с боем, взяли Мелекес, Бугульму, а потом гнали белогвардейцев, не успевая прийти с ними в соприкосновение: те рвали мосты, полотно, водонапорные башни, а сами в поездах торопливо уезжали по направлению к Уфе.

Но на реке Ик, верстах в семидесяти от Бугульмы, красные войска замедлили движение: надо было подтянуть правый фланг. Армия отдала несколько боевых единиц на дру-

гие фронты. Сказалась и усталость непрерывных боевых маршей.

Враг воспользовался передышкой и стал копить кулак. Стянул отборные войска: чешские полки, польский легион, офицерский студенческий отряд в пятьсот человек. И, что очень важно для гибкости движения, много кавалерии – казачьи полки.

Командование было вручено маленькому Макензену, полковнику Каппелю, специалисту по окружению и прорывам. Это он, когда Красная Армия дралась под Казанью, сделал знаменитый стовосьмидесятиверстный обход под Свяжском и стал рвать мосты в тылу нашей армии, грозя ей полным поражением. Но слишком оторвался от своей базы и был отбит.

Девятого ноября Каппель превосходными силами обрушился на наш левый фланг по реке Ик.

Красноармейцы дрались ожесточенно. По восьми раз ходили в атаку. Тыл разом переполнился ранеными. Снарядов неприятель не жалел.

К сожалению, без указаний центра часть

боевых единиц перед сражением была передвинута с левого фланга к Белебею, чтобы взять его. Победителей ведь не судят. Обошедшее перед тем все газеты известие, что Белебей взят советскими войсками, было тогда ложно, – он взят был позже.

Ослабленный левый фланг стал подаваться.

Неприятель тогда кинул полки на правый фланг и центр – и прорвал. Под густым артиллерийским огнем делались все усилия, чтоб отступление шло планомерно и не обратилось в бегство.

На реке Ик рухнул мост. Артиллерия неминуемо должна была попасть в руки врагу.

Холодной ночью столпились на берегу, чуть белевшем снежком, артиллеристы, орудия, красноармейцы, зарядные ящики. Неприятель нещадно наседал. Тогда политком и несколько человек из командного состава кинулись в реку; за ними бросились красноармейцы, подхватывая орудия и перетаскивая на руках.

В ледяной воде, судорожно замирая, оставалось сердце. Глубина была неров-

ная, – то не выше колен, а то с головой. Брод некогда было разыскивать. Кто попадал в ледяную глубину, тонул на глазах товарищей. Кто удержался на более мелком месте, с нечеловеческими усилиями, борясь, чтобы не застыть, вытаскивал орудия.

Артиллерия была спасена.

Между тем на левом фланге наступление противника развивалось.

Измученные – не спали по несколько дней подряд, голодные – кухни отбились, иззябшие от лежанья день и ночь в цепи, на застывшей земле, еще в летней одежде, – красноармейцы не выдерживали, и полки стали таять.

Продолжая громить с фронта, неприятель бросил массу конницы в глубокий обход тесного левого фланга.

Казачья лавиной обрушилась на глубокий тыл, врубились в обоз и беспощадно стали рубить безоружных обозников. Они заставляли предварительно раздеваться, чтоб не окровавить и не испортить одежды, забирали сапоги, шинели, куртки, штаны, гимнастерки, а потом шашками разваливали головы.

Произошло что-то неопишное.

Повозки, двуколки, люди, лошади – все кинулись беспощадным потоком, давя, ломая, сокрушая друг друга и все на пути.

Пронеслись страшные слова: «Обошли!», «Продали!», «Измена!»

Весь левый фланг побежал к Бугульме. Нависла катастрофа страшного разгрома.

На правый фланг и в центр, в дыру прорыва, была двинута 26-я дивизия.

Под страшной угрозой заразиться разливающейся паникой, под напором превосходных сил противника ринулась дивизия на белогвардейцев.

Снова перетасили в ледяной воде артиллерию и дали удивленному врагу жестокий отпор: отняли орудие, несколько пулеметов и погнали. Но чтоб сохранить остатки бегущих полков на левом фланге, чтоб отвести обозы и выровнять фронт, по распоряжению штаба медленно стали отходить, удерживая противника на почтительном расстоянии. И закрепились верстах в двадцати – тридцати от Бугульмы.

Левый наш фланг не существовал – весь был разбит и рассеян. Неприятелю открывал-

ся широкий простор, совершенно не защищенный, чтоб ударить на Бугульму, перерезать дорогу и отрезать всю армию от Симбирска.

Он это и сделал.

Он пустил великолепный легион испытанных польских солдат и чехов – отборные полки.

Легионеры и чехи шли железной стеной, полторы тысячи штыков, все кося пулеметным огнем и громя артиллерией, даже тяжелой.

Красноармейское командование двинуло навстречу особый социалистический отряд «ЦИКа», как его здесь зовут. В отряде большое число коммунистов. Он нес всего триста штыков. Предстоящий результат сражения для белогвардейцев был ясен; они приготовили доносение в Уфу о взятии Бугульмы и церемониальном марше на Симбирск.

Насколько во вражьем лагере были уверены в предстоящем полном разгроме Красной Армии и восстановлении фронта по Волге – показывает их радиотелеграмма «в Совдепию, всем, всем, всем».

В этой радиотелеграмме они говорят о поражении, которое нанесли нам, перечисляют разбитые полки, – и, надо отдать справедливость, с большой точностью, – и говорят о необходимости сложить оружие, так как сопротивление бесполезно.

И вот триста красных штыков, осененных волнующимся социалистическим знаменем, сошлись с полуторатысячью черных от народной крови штыков наймитов.

Закипел бой.

Уверенные в победе, которая, как спелый плод, сама падала в протянутые руки, упоенные катастрофическим разгромом нашего левого фланга, чувствуя громадный численный перевес, легионеры и чехи ринулись на горсть красноармейцев.

Но «ЦИК» оцетинился.

Его пулеметы строчили страшную строчку смерти. Его орудия методически, не спеша, били врага наверняка.

Люди падали с обеих сторон.

Чтобы раздавить эту горсть, легионеры развернулись цепью и пошли в штыки. Со стороны белогвардейцев – это невиданная

вещь, они сами здесь никогда не шли в штыки и никогда не принимали штыкового удара.

«ЦИК» тоже развернул цепь и тоже пошел в штыки. Сошлись, на секунду скрестившись, блеснули, и полуторатысячная масса отборнейших польских и чешских бойцов отхлынула и побежала.

Их преследовали, били, кололи и гнали.

Сражение не кончилось, а пулеметы и винтовки «ЦИКа» замолчали: израсходованы все патроны и пулеметные ленты.

Легион закрепился в деревне Байряки и стал расстреливать поредевшую горсть социалистического отряда.

Это был критический момент: поляки и чехи готовились, оправившись, снова ринуться и раздавить храбрецов. Предстояло или медленно отходить, отбиваясь только штыками и кроваво устилая поле своими телами, или брать деревню без единого патрона, без единой ленты.

Командиры скомандовали, и «ЦИК», опустив штыки, кинулся развернутой цепью на деревню.

Не дожидаясь, легионеры и чехи кинулись бежать. Они пускали в ход нагайки, вырывая у крестьян подводы, толпами кидались на них и нещадно гнали лошадей, только бы ускакать от страшных, молчащих красных штыков. Десятки возов с мертвецами и сотни с ранеными вскачь неслись из сражения, и все поле и деревня были залиты кровью и забросаны бинтами.

Треть красных храбрецов – восемьдесят раненых и одиннадцать убитых – лежала на кровавом поле.

Неприятель был наголову разбит и бежал так стремительно, что по всему нашему фронту с ним потеряли всякое соприкосновение, – на всей полосе до реки Ик не было врага.

Но наш фронт не продвинули вперед. Что бы дать передышку и подготовиться, «ЦИКу» отдали приказание оттянуться назад на двадцать верст и таким образом выровнять фронт.

Красноармейцы со слезами покидали деревню, – им казалось преступлением отходить с места, где легли товарищи, которое они так блестяще взяли.

Фронт выровнялся закрепился верстах в двадцати – двадцати пяти от Бугульмы. Стали приводить в порядок полки левой группы. Они понесли огромные потери командного состава и политических комиссаров, и те и другие все время шли в первых рядах, беспощадно дрались и гибли. Солдаты, которые во время паники разбежались по деревьям, понемногу воротились в свои полки, и части левой группы восстановились.

Производится расследование причины поражения левой группы.

Встречаются красноармейцы.

– Товарищ, дай закурить.

Другой, сбросив мизинцем пепел, благодушно протягивает папиросу.

– Ты, товарищ, какой части?

Тот, наклоняясь и приготавливаясь прикурить, роняет: – Я, товарищ, такого-то полка левой группы... Первый разом отдергивает руку с папиросой.

– Пшел к черту!.. Еще бегунам всяким прикуривать давать. Накось пососи... резвой!

И это – отношение всей Красной Армии к беглецам.

– Всю армию запакостили. Скидывай штаны, надевай юбку!

Удар для неприятеля был громовой.

Пленные поляки говорят, что ни разу белогвардейские войска не бежали в таком паническом ужасе, как в этот раз.

Взят был в плен денщик одного из белогвардейских офицеров. Денщику приходилось часто вертеться в офицерском собрании. Он слышал, как офицеры говорили, что это их наступление – последняя карта, которая или должна все вернуть – или, если будет битва, с ней все рухнет.

Я ехал на фронт с легким жалом не то что недоверия к тому, что постоянно говорится о внутреннем росте, стройности, крепости и дисциплине Красной Армии, – нет; но я в известной пропорции всегда уменьшал размеры и роста, и дисциплины, и внутренней спайки и теперь с радостью убедился, что дисциплина на фронте растет и что мои «размеры» были приуменьшены.

Теперь, когда доверился своему собственному глазу, скажу: да! У русского пролетариа-

та, у русского беднейшего крестьянства есть армия, есть своя собственная армия!

И есть в этой армии сознание, за что она борется, есть пролетарская дисциплина и, главное, есть животворящая сила внутреннего роста, внутреннего живого развития, сила воссоздания разрушенного.

Не количеством поражений, не числом побед измеряется это животворящее начало, а великой силой самоисцеления.

Разбитая, потрясенная на всем своем протяжении, Красная Армия, судорожно изогнувшись, без помощи извне, откусывает больное место и, выпрямившись, загрызает почти до смерти впившегося в болячку врага.

Одно: есть у пролетариата пролетарская армия!

На позиции*

В Москве все иначе кажется, чем на самом деле.

Вот я подъезжаю к передовым позициям. Глаз ищет окопов, ищет какой-то черты, которая отделяет нас от врага. Ухо напряженно старается поймать короткие и тупые в морозе выстрелы винтовок.

Но стоит зимняя тишина, и белый снег не зачернен ни одним пятнышком.

Деревня. Ребятишки катаются на салазках. Баба с ведром. Медлительно идет с водопоя корова, и у губ ее намерзли сосульки. Предвечерний дым медленно тянется из деревенских труб над соломенными крышами.

Это – передовые позиции.

Странно.

Над деревней вправо и влево тянутся горы. Высотой – примерно в три раза выше Воробьевых гор.

Они молча голо белеют снегами. Только влево по бокам чернеет мертвый зимний лес.

И мне чутся таящаяся угроза в их тяжелом белом перевале, – там начинается враж-

дебная сторона.

Штаб бригады приютился около церкви в поповском доме. Попу отвели комнату, а сами заняли две.

Вхожу. Прихожая вся набита красноармейцами: ждут поручений.

Крохотная комнатка почти вся занята поставленным посредине кухонным просаленным столом. На нем самовар, валяются яичная скорлупа, куски хлеба, сахара, зачитанная книжка. На маленьком столе, в углу, телефонные аппараты.

В другой комнате, чуть побольше, на столе – карты, бумаги, пакеты, а на полу юзжит щенок, оставляя после себя следы.

И, странно все это освещая и придавая гробовой вид, мерцают приклеенные по три к столам тоненькие желтеющие восковые свечи.

Нет керосина, у попа набрали церковных свечей.

Присматриваюсь: на кровати сидит командир бригады, о чем-то резонится с политическим комиссаром.

У политического комиссара серьезное мо-

лодое исхудалое рабочее лицо. Он в первых рядах, с винтовкой в руке дрался во всех боях. Судьба и карьера бригадного в его руках, и комиссар своим спокойным лицом как бы говорит: «Ну, побалуйся, побалуйся, молод еще».

Бригадный еще совсем мальчуган с детскими глазами; чуть закудрявилась черная борода. Это он, когда в страшной панике бежала соседняя дивизия, со своей бригадой все время давал отпор изо всех сил наседавшему врагу, вывел из-под удара обозы, артиллерию.

Он – из аристократической семьи, бывший офицер.

Садимся вокруг стола за самовар.

Меня забрасывают вопросами:

– Ну что, как в Москве? Каково настроение? Как идет работа? Чего ждут?

Я рассказываю, и меня жадно, не сморгнув, слушают. Все сердца, все помыслы тянутся к красной Москве, к красному Петрограду.

Кто-то тянет тоненьким цыплячьим голосом: «Пи-и-и... пи-пи-пи... пи-и-и...»

Начальник связи подымается, берет трубку, – это телефон пищит. У полевых телефонов нет звонков, а пищики, чтоб не слышно

было в поле, например.

– Штаб бригады. Хорошо, пришлем.

И опять садится к нам.

Мы настойчиво опустошаем самовар. У зазевавшихся из-под носу утаскивают чашки, кружки: не хватает посуды.

Сыплются шутки, остроты, взрывами смех.

И поминутно входят красноармейцы, с красными морозными лицами; не снимая пушисто занесенной снегом папахи, подают пакеты ординарцы.

Тогда кто-нибудь встает из-за стола, берет пакет. Лицо делается крепким, замкнутым. Читает. Подает другой пакет или отдает словесное распоряжение.

Входит красноармеец с милым юношеским лицом, а глаза с промерзшими ресницами отяжелели и померкли – печать усталости.

Ординарец.

Он говорит, по-детски улыбаясь:

– Устал, очень устал, и лошадь заморилась, – целый день не слезаю. Ежели пакет несрочный, нельзя ли до завтра, утром ответить?

Бригадный держит пакет.

– Не срочный.

Потом опускает глаза и секунду взвешивает. И, подняв, твердо говорит:

– Нет, надо доставить сейчас. Черт его знает, что за ночь произойдет, – к утру, может, и не доберешься до деревни. – И добавляет ласково: – Завтра отоспишься.

Юноша сразу меняется, лицо становится крепким, берет пакет, и за черным окном я слышу морозно-скрипучий, удаляющийся лошадиный скак.

А у меня легко и радостно на сердце. Встанет далекая Галиция. Приходилось бывать в штабах. Да ведь там – боги. Смел ли подумать усталый ординарец войти к бригадному и сказать: «Я устал».

А этот сказал. Но когда ответили: «надо доставить», он доставит, хоть мертвый.

А меня по-прежнему всё тормозит насчет Москвы, но я даром не даюсь и сам стараюсь выудить из них все об их жизни.

– Да что, у нас дело ладится, хоть сейчас в наступление. Потрепали наш левый фланг, но теперь эта дивизия окрепла, опять будет

драться, как и прежде. Вот горе только, обижают нас газетами. Редко получаем, и разрозненные номера. Почему не наладят, не знаем. Художественной литературы нету совсем; не томами, их некогда читать, а маленькими книжками, – огромная нужда, все красноармейцы спрашивают: нет, не присылают, забыли нас. А еще вот у нас самое главное: нету почты и табаку. За щепотку махорки жизнь готовы отдать. А вот полевой почты нет, это очень тяжело и развращающе действует на красноармейцев.

– Как так?

– А так. Красноармейцы говорят: жалованье получаем, тратить некуда, накопишь, вот бы послал домой, знаешь – нужда там, а без почты как пошлешь? Ну, носишь, носишь с собой. Иные просто говорят, не вмоготу делается, не могут с собой постоянно деньги носить, свербит у них, – ну, и начнут в карты, все и продуют, азарт идет. За самогонкой начинают охотиться. А будь почта, отослал бы, и хорошо. Наконец, тоскуют без писем, ведь тоже люди: у кого жена, у кого невеста, сестра, мать, брат, отец, – не звери. Ни они об нас

ничего не знают, ни мы об них ничего не знаем. Красноармейцы говорят: «Убавьте у нас половину хлеба, совсем не давайте мяса, только дайте полевую почту да табак». Знаете, тут такое огромное душевное напряжение, так все натянуто внутри, что покурить – единственное средство хоть немножко ослабить эту напряженность, хоть немного отвлечься.

Я достаю захваченные два последние номера журнала «Творчество». Как же все кинулись! С какой ласковой нежностью, стали рассматривать рисунки, заглавия статей.

Комнатушка набилась полным-полна красноармейцами, которые немилосердно жали друг друга, вытягивая шеи. Штаб вытеснили в соседнюю комнату.

Я прочел из журнала стихотворение:

*Не верь тишине, второй роты дозор,
Здесь все начеку пуля, ухо и взор.*

Все были в восторге. Вся комнатка наполнилась гомоном:

– Это про нас.

– Ловко!

– Здорово!

– «Все начеку: пуля, ухо, глаза...»

– Чего ж нам не присылают журналов?

– Забытый мы народ..

Сюда совершенно не шлют журналов: нет ни «Пламени», ни петроградских, ни провинциальных.

Кто-то не позаботился об этом.

Журнал пошел по рукам. Мы снова садимся за самовар.

И опять смех, шутки, остроты.

Поет поминутно телефон. Юзжит щенок. Тесно, накурено, и сквозь махорочный дым по-погребальному тускло светят по три желтые церковные свечи.

Кажется, будто легко, весело и беззаботно в этой низенькой, тесненькой комнатке, и то и дело вырывается молодой смех, и не заметно особой важности и тяжести работы. А на самом деле здесь сосредоточена жизнь целого боевого участка, и малейшая ошибка, промедление или промах грозят всей армии.

И у этой внешне беззаботной и смеющейся молодежи постоянно напряженно в душе, как

натянутая тетива. Тут нет восьмичасового и шестнадцатичасового рабочего дня. Тут все двадцать четыре часа наполняют душу непрерывным напряжением, – все двадцать четыре часа работа.

Ложатся спать одевшись, с револьверами в головах. И поминутно поющие день и ночь телефоны поднимают то одного, то другого.

– Одиночный пушечный выстрел? – Хорошо. – С которой стороны? – Хорошо. – Сейчас пошлем разъезд.

– Тревога? – Кто бежит? Какие солдаты? – Это – провокаторы. Непременно арестовать.

– Показались подозрительные? – Послать разъезды в тыл, чтоб захватить. Я сам сейчас буду.

Телефон без умолку пищит, то из штаба, то в штаб из самых разнообразных концов. Поминутно из штаба бригады вызывают штабы полков, рот, мелких частей, просто чтоб проверить, работает ли телефон.

И самое грозное, самая большая тревога в тесной дымной комнатке, когда телефон в каком-нибудь направлении молчит. Значит, оборван провод, значит, часть изолирована,

предоставлена самой себе, и врагу ее легко расстрелять.

Сейчас же туда посылаются конные и посылается отряд телефонистов, ночью ли, днем ли, в бурю, в снег, в мороз, для восстановления сети.

А сеть, как паутина, протянувшаяся по всему фронту и в тыл по всем направлениям, постоянно разрывается.

То крестьянин срежет аршина полтора кабеля «на кнутик», то едет, зацепит колесом обвисший с ветвей кабель и начнет наворачивать. Навертит огромный ком, с полверсты, провода, добросовестно заедет в штаб и скажет, показывая на колесо:

– А который у вас тут ниточками заведует? Вишь, навернуло на колесо. Чать, нужно вам! Еще пригодится.

Его готовы убить, да что возьмешь с дурака!

Но чаще всего режут кабель кулаки. Эти режут неуловимо, осторожно, на большом расстоянии, а концы далеко заносят в лес, и трудно отыскивать для восстановления.

Оттого-то поминутно пищит телефон, и ко-

гда замолчит, воцаряется в тесной комнатке тревога.

Утром мы идем на позицию.

Где же она? Да вот это же и есть позиция. Деревня, где мы спали с револьверами под головами, и эта молчаливая снежная гора, и морозная степь, что протянулась до самого края, где синее мутный морозный туман.

Где же враг?

Нигде и везде.

Степь безлюдна и пустынна, и нигде не чернеется ничего живого.

Не верь тишине, второй роты дозор...

Каждую минуту может пропищать в штабе телефон:

– Налево против урочища показался конный отряд.

И сейчас же по всей сети, по всем частям, по всем штабам запищат телефоны:

– В ружье! Приготовить орудия! Полуэскадроны, в обход!..

Или зловещим цыплячьим голосом пропищит ночью телефон:

– В двух верстах в деревню врубилась полусотня казаков.

И опять все на ногах.

Снова смотрю на пустынную, крепко схваченную синеющим морозом степь, – где же позиция?

Бригадный с красным полудетским лицом объясняет, показывая замерзшей рукой:

– Позиция – в деревне и вот тут, где мы стоим. Днем здесь оставляются только наблюдатели. Они сидят на колокольнях, на мечетях или на верхушке горы и зорко смотрят. От них телефон. Ночью же в крайних избах по деревне и в соседних деревнях располагаются заставы. Человек тридцать, сорок, пятьдесят, смотря по обстановке. Они спят не раздеваясь, с винтовками в руках. Как только караул впереди по телефону даст знать тревогу и начнет отходить, они выбегают, вступают в бой. Их назначение – сколько возможно задержать неприятеля, пока подтянутся главные силы. Впереди заставы ночью ставится полевой караул, это уже в степи. От полевого караула, дальше, вилкой, саженьях в ста, – два секрета по два, по три человека, и от всех тя-

нется назад телефон. Между караулами вдоль линии поставлены патрули и разъезды. Эта система тянется по всему фронту. Получается живая, подвижная, чуткая, непрерывная завеса. Вы видите, это совсем не то, что позиционная война.

Да, я в Москве представлял себе все иначе.

– Особенно тяжело в караулах и секретах. Приходится менять людей через каждые полчаса, двадцать минут. Здесь такие лютые ветры с морозом, что люди больше не выдерживают. Стоит, обняв заколелыми руками винтовку, и стрелять не в состоянии, – пальцы не разгибаются. А какое огромное напряжение! Солдаты понимают – чуть тут не досмотрел, сзади все погибнет. А ведь в морозный ветер, в студеную ночную темь, в метель враг может подобраться, перерезать кабель, снять караул и ринуться на деревню. Поэтому все душевные силы напряжены до крайности, до предела. Ничто живое тут не пропустится. Послали ночью телефонистов восстановить телефон. Как только их фигуры смутно замаячили в темноте, караул крикнул:

– Отзыв?

Они крикнули:

– Граната.

И сейчас же загремели выстрелы, – отзыв был «ударник». Перепутали.

Телефонисты бежать, бросили кабель, аппараты. Один был ранен. Прибежали в штаб, а в штабе им сурово:

– Немедленно восстановить телефон!

Взяли настоящий отзыв и опять пошли в морозную, грозную темноту, быть может, опять на расстрел, если крикнут недостаточно громко отзыв или там недослышат.

Я ложусь в крепко натопленной крестьянской избе на скрипучую кровать с клопами. В соседней комнате детишки подсвистывают носиками. Шуршат тараканы. Рядом со мной храпит на кровати командир.

На полу в разных направлениях спят работники политического отдела.

Каждый из них, ложась, клал под голову револьвер. Кладу и я.

Погас огонь. В темноте лицо начинают щекотно покусывать тараканы.

Как бы еще в ухо не забрались. Я мну бумажку и затыкаю оба уха.

И сейчас же, как ключ ко дну, опускаюсь в черный, все забывающий сон.

Три митинга*

— Ну, идемте на митинг, — говорит мой приятель, коммунист из Сокольнического района, председатель коллектива коммунистов бригады.

— Какой митинг?

— Да красноармейцев собираем. Пока хоть одну роту. Всех-то не соберешь, не влезут в помещение, а на дворе — мороз. Это наша бригадная ячейка работает, надо же их обрабатывать.

— А много у вас коммунистов?

— Человек двадцать. А вот в некоторых бригадах совсем нет.

Мы торопливо идем. Мороз подгоняет.

Часов двенадцать. Ослепительно морозное солнце над соломенной крышей не дает смотреть.

Широко и густо шагая скрипучим морозным шагом, проходит рота, и колышутся винтовки.

— Зачем это они на митинг с винтовками? —

спрашиваю я.

– Да ведь это же позиция, там уж враг, – мотнул он на белеющий гребень молчаливой горы. – Вы думаете, мир и покой деревенский, а каждую минуту может ворваться он. Особенно казаки на это мастера. Глазом не успеешь моргнуть, – налетят, и пошла писать: рубят, колют, стреляют, бросают на скаку в окна гранаты. Пока соберутся части, и деревня пылает со всех сторон, и горы убитых. Были случаи.

Мы поднимаемся в двухэтажный дом. Голые стены, замороженные окна, дыхание стынет.

Помещик сбежал, теперь беженцы живут.

Когда только в первый раз вошли красноармейцы, в доме все сохранилось, как при хозяевах: картины, зеркала, мягкая мебель, ковры. Хорошо жил землевладелец: нескончаемыми десятинами тянулись уголья – пашни, луга, степи, леса; внизу шумела мельница; раскинулся скотный двор, овчарня, амбары.

Служил у помещика много лет сторож. Красноармейцы, как пришли, позвали его:

– Поди посмотри, как твои господа жили.

Поднялся он, вошел в комнаты, да как глянул, пощупал все руками и заплакал.

– Ты чего, дурень? Тебе радоваться.

– Ды нет. Двадцать годов у них прослужил, двадцать годов верой, правдой, а ни разу... хочь бы одним глазком глянуть, как они живут, ни разу не допустили в покои. Придешь внизу в кухню, да и то оглядаешься, а наверх и дороги не знал, а они вон как жили...

Теперь угрожающе гнутся под грузными солдатскими сапогами ступени лестницы и пол верхнего этажа.

– Кабы не провалиться.

– Нн-о, для себя строил!

Красноармейцы плотно, плечо в плечо, с винтовками в руках, занимают две большие комнаты. Коммунист становится на пороге между комнатами и говорит, поворачивая голову то в ту, то в другую сторону:

– Товарищи, мы, коммунисты, собрали вас, чтобы побеседовать нам. Надо нам между собою связь и сознание. Вы знаете, что такое Красная Армия. Красная Армия, она защищает революцию, то есть Российскую социалистическую, это значит – социализм: не будет

бедных, ни богатых, все – равные. Социализм распространится по всему миру, и тогда настанет счастье человечества. Так вот, Красная Армия добивается этого, головы кладет. Значит, защищает Российскую социалистическую федеративную, значит, какие народы в России есть, все будут жить самостоятельно, по своим законам, и никто их давить не будет, и в тоже время все вместе... Теперь же империализм, враг коллективистического строя общества, враг коммунизма, а коммунизм: всем по потребностям, от всех по способностям...

Отклоняясь от темы, постоянно теряя главное, со всякими вывертами и вывихами языка, со вкусом, как дымящуюся яичницу, подавая коллективизм, идеологию, империализм, федерацию, он в то же время рассказал последовательно: о значении буржуазной февральской революции, сбросившей царя (но это, мол, десятая часть всего дела), о гнете помещиков, фабрикантов, купцов, капиталистов, о борьбе классов, о значении Октябрьской революции, о том, что теперь делает Советская Россия для бедняков, и как мировой империализм

лизм хочет сожрать Российскую социалистическую республику, и как мировой пролетариат подымается на ее защиту и на завоевание социализма во всем мире...

Я слушал, и передо мною вставали речи там, в далекой Москве, в огромных залах, речи умелые, ловкие, гладкие.

И... сердце у меня легло к этой самоделковой, неотесанной речи.

Там ораторы идут на готовенькое, по паркету. Перед ними готовая, одинаково с ними настроенная, созвучная толпа, которая непрерывно и гибко отзывается на каждую мысль, легко, с полуслова воспринимая ее, постоянно отражает свое настроение аплодисментами, вопросами, возгласами.

Тут...

Тут тупо стоят и смотрят, стоят с тяжелым молчанием, опираясь на винтовки, неподвижно глядят.

Всматриваюсь: каменные лица, тупо замкнутые, незамутимые. И вот туда надо достучаться.

Больше крестьяне: чувашаи, мордва, татары. Это они дают большой процент дезерти-

ров в маршевых ротах.

И опять гляжу на лица. И вдруг бросается блеск внимательных, живых, ничего не упускающих глаз, ловящих каждое движение мысли. Сухие рабочие лица, такие же сухие, подобранные фигуры.

И все какая молодежь... Часто с полудевичьими лицами и по-девичьи приколоты красные ленты, – этим только и отличают в бою своих от белогвардейцев, одинаково одетых.

– Ну, так как же, товарищи? Здесь представитель московской газеты. Ну, так как же мы скажем, чтоб как передал он красной Москве, нашим братьям, московским рабочим: где будем зимовать – в Уфе или Бугульме.

– В Уфе!.. – грянуло в обеих комнатах.

И каменные лица тронулись легким движением.

Мы весело поспевали за ротой, размашисто скрипевшей по мерзлой улице. Шли в строю, но вольно, и оживленный говор колыбался... Пробовали петь «Интернационал», но ничего не вышло – за исключением нескольких коммунистов не знали ни слов, ни мотива.

Но «Отречемся от старого мира» понемногу наладилось и дружно шло над ротой в морозной синеве, а работавшая мельница, узко черневший между белыми берегами ручей слушали.

И стояли горы с белым гребнем, за которыми дозоры, и затаенно пробирались балками, лесами, оврагами наши и *ихние* разъезды.

– Знаете, много влилось новых, оттого так неподвижны. Особенно эти чуваша, мордва, татары. Бывало, так грянем «Интернационал», что любо-дорого. Перебито много. А эти еще не тронуты. Вот, знаете, из маршевых рот бегут эти чуваша, мордва, татары, а тут побудет месяц-другой, присмотрится, так его из роты ничем не выкуришь. Обрабатываем.

Да я и сам чувствую – «обрабатывают».

Уже сегодня задвигались какие-то колесики за этими неподвижными лицами, зароне-на искорка понимания классовой борьбы, классового строя общества. Вот они где растут, результаты милой самоделковой речи...

И я радостно гляжу в молодое живое лицо своему спутнику, на котором печать беззаветной преданности партии.

Синел зимний вечер.

В старой, тесной, низкой, неудобной бывшей церковно-приходской школе стали собираться крестьяне в нагольных тулупах, в кафтанах, в огромных овчинных шубах, с отвалившимися лохматыми воротниками, в валенках, в лаптях. То входят, то выходят. Никак собрание не собьется.

Наконец собрались, расселись по партам, бородатые, старые, молодые, совсем мальчишки, женщины – ни одной.

И опять коммунист говорит о февральской, об Октябрьской революции, о помещиках, фабрикантах, о трудящихся и эксплуататорах, об идеологии, коллективизме, империализме.

А неподвижные заветренные слушающие лица крестьян, на которых сеть морщин работы и забот, говорили: «Слушаем».

Долго говорил, горячо и под конец спрашивает:

– Теперь понимаете, что такое советская власть? Понимаете, что она вам несет? Так как же, подчиняетесь вы ей или нет?

На заветренных, изрезанных морщинами лицах было все то же – свое непроходящее: сенцо, скотинка, домашность, хлебец. Стояли, молчали и внимательно слушали воцарившееся молчание.

– Так как же, товарищи, принимаете советскую власть или нет? А?

Тогда зашевелили заросшими, как сеном, усами и вяло, нехотя сказали:

– Да мы каждого принимаем, хто над нами, повинуемся.

Коммунист раздраженно хлопнул себя по ляжкам

– Да как же это вы так! Вот это-то и скверно и недопустимо. Значит, кто палку взял, тот и начальник над вами, а сами вы не можете себя устроить? Вот оттого все и пороли: и царь, и помещик, и губернатор, и становой, и сосали все, кому не лень.

– И отпорют, не откажешься.

– Эх, вы, только и слышно вашего, что сами шеей в хомут лезете!

– Лезешь, как надевают.

И вдруг в тесной, в низкой, потемневшей комнатке, – через окно видать: в избах уже за-

жглись огоньки, – разом стало шумно, раздраженно:

– Подводами нас донимают. Каждый день по триста – четыреста подвод. Мысленно разве?

Коммунист сказал раздраженно:

– Эх, подводами! Из подворотни только ноги и видите. Тут человечество жизнь пере-страивает, счастье ищет, а вы – подводы! А красноармейцы не подводы, а головы свои кладут, не скулят же...

Подошел, в хорошем кафтане, с сухим лицом и расчетливыми торговыми глазами, и сказал, понизив голос:

– Подводы – это не расчет, понадобится – и восемьсот выставим. А вот что есть буржуй? Хрестьянин, какой он буржуй? А то буржуй да буржуй. Лишнюю корову тyani, лишнюю лошадь тyani. Мало лодырей. А у меня во! мозоли.

Когда выходили, подошли трое в лаптях.

– Знамо, так, головы кладете за нас же, дураков. Ну, силы нашей нету. Обсилили они нас. Ежели скажешь, заедят. А какая наша жисть? На вас надеемся.

– Ну, ладно, вот постоит денек, комитеты бедноты устроим.

Мы расходимся в густой синей ночи. Чуть обозначились крохотные, замерзшие звездочки, и далеко-далеко шумела обледенелая мельница.

Как-то прибегают бригадный и говорит:

– Гениальный проект. Через две недели война с чехами – кончена.

– Как так?

– Идут наши пленные к себе. А там – чехи. Так вот и воспользуемся. Соберем пленных, хорошенько обработаем их, надаем побольше возваний к чехам, литературы, они там и будут чехов разделывать. Через две недели война кончится.

Послышались голоса:

– А если вместо этого начнут передавать чехам наше расположение, название частей?

– Во-первых, они ничего не видели и не знают: сегодня пришли, завтра уйдут. Во-вторых, если мы их и станем задерживать, никакого толку: они обойдут кругом, проберутся окольными тропками, – местные жители, все

норы знают, их все равно не удержишь. Вот только обработать их нужно.

Вечером в избу набились военнопленные – все исхудалые, с почернелыми лицами, с осевшими внутрь глазами, но вид бодрый, видно мать-родина подкормила, приютила. Как будто спокойные, даже равнодушные лица, но за ними чуялась железная решимость: хоть мертвый, да домой.

Коммунист им сказал о февральской, об Октябрьской революции, об эксплуататорах, и прочее.

Они слушали, качали головами, и вырывалось:

– Во, во, это так... верно!

А когда им дали слово, наперебой заговорили, и, оказалось, были в курсе всего. И стали торопливо, перебивая друг друга, рассказывать о той жажде переворота, которая объяла уже давно зарубежные народы.

Придешь в деревню, где еще чехи, там тебя напоят, накормят, табак дадут, на дорогу всего напхают, но ночевать не пускали, – нас, говорит, ежели жандарм найдет, во! и показывают на шею, повесят. Ну, начальство день

ото дня зверинее. Лютое зверье. В лагерях наших пропало много.

Один сказал:

– Я – уфимец. Ну, не желаю идтить, покеда там белая гвардия. Дозвольте в Красную Армию. Буду биться, покеда не выгоним с родины.

Нет, этих учить нечему, они сами принесут на родину понимание революционных событий.

Политком*

Как из весенней земли густо и туго пробиваются молодые ростки, так из глубоко взрытого революционного чернозема дружно вырастают новые учреждения, люди, новые общественные строители и работники.

И не потому появляются, и живут, и крепнут, и развиваются, что новые учреждения вновь организуют сверху, новые должности вновь создают сверху, а потому, что в рабочей толще и в толще крестьянской бедноты произошел какой-то сдвиг, какие-то глубокие перемены, которые восприняли эти новые ростки и дали им почву.

Передо мной открытое юное лицо политического комиссара N-ской бригады. Чистый открытый лоб, волнистые светлые, назад, волосы, и молодость, смеющаяся, безудержная молодость брызжет из голубых, радостных глаз, из молодого рдеющего румянца, от всей крепкой фигуры, затянутой в шинель и перетянутой ремнями, от револьвера и сабли.

Коммунист – крепкий партийный работник из Петрограда. И, радостно смеясь лицом, всей своей фигурой, глазами, говорит:

– Ведь, знаете, даже смешно. Один ведь, в сущности, среди массы красноармейцев. Все вооружены, часто усталые, раздражены, а слушаются одного. Часто заберутся на подводы и едут. Подходишь и сгоняешь. Это необходимо. Все соскакивают и идут. Есть что-то, что заставляет их слушаться, заставляет слушаться, помимо боязни: признание моей правоты, что правда на моей стороне. В этом сила политического комиссара. А все-таки красноармейскую массу надо держать, и крепко надо держать в руках. Тут уж не ротозейничай, слюни не распускай. Политком должен на такой недосыгаемой высоте, сто-

ять, и – твердость! ни малейшей уступки! Уступил – все пропало! И это не во внешних отношениях. Тут с ними и шутишь и балуешься, а как только к делу, политком для них – бог, на высоте. И чтоб ни одного пятнышка! Другой может устать, политком – нет. Другой захочет выпить, ну, душу хоть немного отвести, это же естественно, политком – нет. Другой поухаживает за женщиной, политком – нет. Другой должен поспать шесть-семь часов в сутки, политком бодрствует двадцать четыре часа в сутки. И так и есть. И в этом сила. А в красноармейских массах – признание правоты всего этого. И от этого та глубокая почва, на которой вырастают побеги железной дисциплины.

Он на минутку примолк, все такой же юный, румяный, крепкий и все с такими же радостно смеющимися глазами от своей молодости, от переизбытка сил.

У меня больно заныло сердце.

«Убьют. Политком, как бог, без пятнышка, стало быть всегда в первых рядах, а пулеметы косят».

– А иногда жуткие бывают минуты, – ска-

зал он, глядя на меня и ласково смеясь милыми глазами, – жуткие, не забудешь. Звонят мне по телефону. «Вторая рота отказывается выступить на позицию». Видите ли, командный состав прежде подделывался под старших, под свое начальство, ну, а теперь под армейскую массу, боятся. Вот ротный, вероятно, под шумок и шепнул: «Товарищи, просите, чтоб соседнюю роту послали. А то все вы да вы. Небось заморились». Ну, рота обрадовалась и уперлась. «Не пойдем, замучились, посылайте соседнюю роту». Ну, тут, знаете, одной секунды упустить нельзя. Беру трубку и говорю спокойным и отчетливым голосом: «Я иду в роту. Если к моему приходу рота не уйдет на позицию, то ротный будет расстрелян, взводные будут расстреляны, отделенные будут расстреляны», и положил трубку, не слушая никаких объяснений. Потом пошел в роту. Шаги делаю коротенькие, и кажется, будто бегу. С четверть версты идти, а мне кажется, будто я их пробежал. Вхожу – никого... Гляжу, из балки хвост роты подымается, – на позицию пошли. Гора с плеч свалилась: если бы застал, расстрелял бы, как сказал, иначе нель-

зя. И вот это напряжение постоянно.

– Устали?

– Да нет, – заговорил он радостно, – чего уставать-то? Некогда уставать-то – день и ночь ведь.

Как молодой конь, выпущенный в раннее утро во весь повод, несся он, и ветер резал его, и травы и цветы ложились под ним, и пена ключьями неслась назад, а ему все мало, он все наддает, все прибавляет, и нет конца бегу. Таким в работе, в строительстве армии, в строительстве дисциплины армии был этот юноша, с залитыми румянцем щеками.

Среди боевой тревоги, среди реющей смерти, бессонницы, напряжения, как непрерывно падающие капли, комиссар непрерывно внушает красноармейцам, за что они бьются, что было прежде и что теперь, и что грядет огромное *мировое* счастье человечества.

Маленький городишко, заброшенный и скучный – в снегах по самые окна. Сверху низкое иссера-снежное небо.

За крайними избами дымятся по пустынным степям метели.

А мы сидим в теплой низенькой меццан-

ской комнатке. Печка столбиком посреди комнаты. На стенах деревянные фотографии с одинаковыми черными точечками в глазах. И, странно выделяясь, как музыкальный аккорд среди уличной шарманки, молча стоит пианино. Дочка-гимназистка играла. Вышла замуж, ну, и пианино не нужно.

Мы сидим за столом. Керосин на сегодня есть, и в комнате светло. На столике у стены то и дело цыплячьим голосом поет телефон.

Комиссар поминутно встает, отдает приказания, запрашивает, проверяет, цела ли цепь, и опять говорим, говорим, говорим.

Ведь я же свежий человек для него – *оттуда*, где он так давно-давно не был, и принес кусочек того мира, той жизни. Приносят пакеты. Он посылает. Иногда на полуслове подымается и уходит. А когда приходит, папаха, шинель, лицо – все занесено обмерзлым снегом.

– Я – литвин, – говорит он, глядя на меня серо-голубыми глазами, – мой отец крестьянин. Знаете, у нас народ такой неподатливый, упорный, идет своей дорогой, его не своротишь. Бедный народ, но твердый. Вот и у отца

бедность тяжелая, но он молча и упорно пробивал жизнь железным трудом.

Я смотрю на него: белолицый, под ушами бачки. Молодой, а фигура железная, видно крестьянский сын, но речь, но движения руки – интеллигента.

– Я ведь художник. А как это вышло? Вот как. Рисовал я хорошо в школе; учитель говорит: «Тебе учиться надо». Я к отцу. А он сурово: «Мы – мужики, жили в лесу да в поле, тут нам и назначено, тут и делай всю свое дело». Но ведь я – литвин, и в отца пошел, и вырос в лесу и в поле. Отец сшил мне сапоги. Это было целое событие. Сапоги! Сапоги – вечно босоногому лесному мальчику. Я готов был их на руках носить. Но я их потихоньку отнес и незаметно поставил у отца под кровать. У отца вынул три рубля, оставил отцовский дом и пошел, полуодетый, разутый, через леса и поля в неведомые города. Только я дал себе клятву, что это не будет воровство, а я из первого же заработка пришлю отцу. И еще дал клятву: как бы туго мне ни пришлось, хоть с голоду буду умирать, но отцу не буду писать, пока не стану на ноги. И клятву сдержал. Где

и чем только я не был: и у сапожника учеником, и у парикмахера, и у слесаря, и у живописца. И всюду пил кровавую горькую чашу ученичества. Наконец я сколотил пять рублей, первые пять рублей, и послал отцу. Получил отец, железный старик, долго смотрел на эти пять рублей, и гордостью засветилось лицо. Не оттого засветилось оно, что сын, которого все считали уже мертвым, нашелся, а что пробился своими руками, пробился сын и вырвал у матери-земли, такой суровой к детям полей и лесов, вырвал у нее первый заработок. «Живи, сын», – сказал отец. Это было его благословение.

В конце концов я попал в художественную школу в Риге. И вот тут-то стал из меня выковыриваться социалист сознательный. Несознательно, как и в отце, как и во всех нас, крестьянах, среди наших полей и лесов, жило постоянное чувство борьбы, чувство всегда готового вырваться отпора. На моих глазах великолепно жили бароны, учившиеся в школе; я нищенствовал. Они были бездарны, меня профессора и художники выделяли как даровитого. Я едва мог сколотить на плохие крас-

ки, на плохие кисти, плотно; у баронов было всего вдоволь, и все великолепное. Бароны презирали меня за нищету, я их – за бездарность. Вы понимаете, я не мог быть не чем иным, как большевиком. И я – литвин.

Он достал несколько своих альбомов. Великолепный, смелый, подчас оригинальный рисунок. И в каждом – свое внутреннее содержание.

Я долго и внимательно рассматриваю альбом и говорю:

– Отчего вы сейчас не работаете? Ведь кругом море, бескрайное море типов, положений, событий, оттенков человеческих лиц. Ведь вы все это можете черпать безгранично рукой художника.

У него засветились возбужденные ласковостью голубые глаза.

– Это было бы для меня такое счастье, такое счастье! Но ведь я... – он опустил потемневшие глаза, – я... комиссар.

– Что же такого? Ведь не пьянствовать же вы будете, не в карты играть, а заносить на полотно то, что кругом совершается. Да ведь эти рисунки, эскизы, этюды драгоценностью

будут. За них вам бесконечно будут благодарны и современники и потомство. Ведь сейчас и революционная и гражданская борьба проходит мимо молча. Это не то, что в буржуазную войну. Тогда на фронте тучи корреспондентов были, журналистов, бытописателей, беллетристов. Ведь тогда всё, как в огромном зеркале, отражали и перо писателя и кисть художника. А теперь мертвое молчание. Разве это справедливо? Вам судьба дала талант и возможность закрепить на полотне все виденное, а вы упускаете время.

Он опять твердо сказал:

– Я – комиссар.

– Ну, так что же из того? Вам еще видней, больше народу перед вами проходит, больше всяких положений.

– Нет. У всех есть время, свободное от обязанностей, – у командного состава, у красноармейцев. Нет его только у политического комиссара, у политкома части. Все двадцать четыре часа он принадлежит не себе, а своей части. Конечно, я мог бы улучшить минутку каждый день, чтобы сделать зарисовку, набросок, этюд без ущерба для дела, но, вы по-

нимаєте, сейчас же подымется кругом: политком только и знает, что рисует. Нет, я лишен этой возможности, этого счастья.

Мы заговорили о Репине. Он так и вскинулся:

– Да ведь это же гениальный художник. Я учился у него.

Мы, забыв обо всем, заговорили о живописи, о судьбе художников, о будущем творчестве. Он весь горел, охваченный жаждою высказаться после долгого молчания в уфимских степях. Но поминутно подходил к телефону, который по-цыплячьи пищал; входили с пакетами; он, на полуслове отрываясь, отдавал приказания. И опять мы, как два заговорщика, в зимние сумерки в мещанском домишке, занесенном по окна снегом, жадно говорили об искусстве и литературе, о человеческих судьбах, о судьбе России и Литвы.

Стояли и слушали молчаливое, на котором никогда не играют, пианино, печка, как белый столбик, посреди комнаты, мещанские портреты, одинаково напряженные, с одинаковыми черными точечками в глазах.

– Отчего вы не закончили вашего художе-

ственного образования?

– На войну взяли, война сожрала. Четыре года на войне да вот второй год в революционной борьбе. Пулеметным огнем ранен в обе ноги. Ноют, подлые. Сильно контужен был. И... и вам только, по секрету – устал. Но никто этого не видит, никто этого не должен знать. Комиссар не знает усталости, ни болезни, ни последствий ран. Он не знает необходимости отдыха, сна. Двадцать четыре часа на ногах, готовый каждую минуту отдать приказание, или впереди цепи идти в атаку, или расстрелять ослушника, и чтоб ни на одну секунду не мелькнул в глазах меркнущий огонек усталости.

А сколько у него жадности жить жизнью художника, жизнью творческого созидания! Все задавил в себе, все принес пролетариату, революционному крестьянству и сказал:

– Натe, берите меня всего, черпайте до конца, весь ваш!

Разумеется, несомненно, есть и комиссары, не отвечающие своему назначению, но я таких не встречал. Политком день и ночь на виду у тысячи глаз, и малейший промах, малей-

шая ошибка, пятно – и он летит с места или идет под расстрел.

Жива Красная Армия, и лучшее, что есть у пролетариата, у революционного крестьянства, у революционной интеллигенции, – все это идет на служение ей.

Львиный выводок*

— **Т**ак идем? Жутко.
Из Москвы я выехал – было тепло, и я очутился тут в одной шинели. А теперь воет в трубе, на полатах тяжелый морозный ветер. И когда отдирает поповскую железную крышу, похоже, будто ухают отдаленные орудия.

Ребятишки забрались на печку и гомозятся, как цыплята.

Делать нечего. Выходим, садимся в сани.

С наветренной стороны у саней и у ног лошади уже горы снега.

Деревенская улица и все избы курятся белым куревом несущегося снега. Все бело, холодно, неуютно.

Мой спутник – председатель коллектива коммунистов бригады. Я вспоминаю, какое лицо у него было в избе. Совсем молодой,

чуть пробиваются усики, круглолицый, волосы в кружок, и одутловатая бледность; хоть и крепыш по виду, а нездоровье.

А тут не узнаешь: нахлобучил папаху, втянул голову в шинель, сколько мог, всунул руки в рукава, весь белый, и, всячески изощряясь, сечет его злой ветер.

Но он жадно говорит, и я с трудом улавливаю слова, срываемые несущимся морозом:

– Я из Сормова. Там моя родина, там и работать стал. В паровозных мастерских. Мать у меня, брат был. Я учиться хотел, до чего хотел учиться! Так и стоит перед глазами: учусь. Книжки читал, учебники были, да это все не то. Вот сбил всеми правдами и неправдами шестьдесят рублей, написал в Москву, в университет Шанявского. Да не вытерпел, не дождался ответа, взял да уехал. Приезжаю в Москву, прихожу в университет, а там говорят: «Да мы вам отказ послали, – требуется среднее образование. Значит, разминулся с бумагой». Я так и обомлел. Видно, очень изменился в лице. Мне говорят: «Ну, постойте. Посоветуемся». Пошли, долго совещаались. Выходят. «Ну, ладно, примем в виде исключения,

можете внести пятьдесят рублей». Я и не знал, что можно в рассрочку. Отдал пятьдесят рублей, пошел комнату искать. Нашел. «Давайте, говорят, четырнадцать рублей за месяц вперед». А у меня десятка на руках. Иду по улице. Что же это? Счастье было вот в руках, теперь куда же мне?.. А? Вы чего?

А я говорю: «Бу... бу... бу...» – стянутыми губами, да вижу, что не слушаются, рукой махнул.

Кругом только дымящийся снег, – ни деревца, ни черточки. Где же дорога?

Лошадь с трудом вытаскивает ноги, и скрипят полозья. Из-за этого снежного дыма могут показаться казаки или чехи. Впрочем, теперь не до них, – вот запрятать бы руки поглубже в шинель.

А он говорит, говорит... Спешит излить свежему человеку из другого мира, поделиться, чтоб не теснило грудь накопившееся одиночество.

«И как его губы слушаются!» – думаю я, изо всех сил подавляя незатихающую внутреннюю дрожь.

– ...Ну, ходил, решил. Пошел в Сокольниче-

ские мастерские. Говорю: «Так и так, братцы, вот что вышло». А они: «Фу-у! Да оставайся у нас. Мы тебя кормить-поить будем, а ты учись. Учись и учись, товарищ, не думай ни о чем». Ну, бегаю к Шанявскому. Записался на одно отделение, а сам на все хожу, жадность одолела, – ну, конечно, зайцем, воровски. А в конце концов бросил Шанявского, стал работать в мастерских. Потом в районе стал работать, в Сокольническом же. Оттуда и в Красную Армию пошел. На военную службу в начале войны меня забраковали по здоровью, а в Красную Армию волей пошел, – надо. Брат у меня был строгий, суровый, не сдвинешь, настоящий коммунист. Он разбудил у меня душу. Бывало, где он, там сейчас же организация коммунистов. И уж требовательный был! Вместе в армии были. Вместе в цепи ходили, стреляли. Я только на него и глядел... Убили...

Наконец-то мы въехали в лес. Между деревьями несетя, меняя очертания, метель. Отчаянно треплется, как черная струна, кабель полевого телефона, протянутого по качающимся веткам.

Гул стоит.

Я делаю попытку разжать губы и издаю нечленораздельные звуки.

Но он понял меня.

– Как убили-то?.. Под Казанью в цепи шли. Белые засыпают. Залегли. Стали окопники рыть. Молоденький красноармеец не так, плохо роет. Брат взял у него лопатку, стал показывать, а пуля – ему в живот. Все время молчал, два дня мучился, помер. А мне все равно стало: хожу как во сне, ружье таскаю, не стреляю, иду на пули, да и все. Три дня так тянулось. Хотелось бросить ружье и идтить, идтить. Ну, потом пришел в себя. Что ж, думаю, брат бы видал – не похвалил. «Надо дело делать, надо работу работать», – только, бывало, от него и слышишь. Ну, тут я взял себя в руки, и теперь одно – работа, работа коммуниста, не покладаючи рук...

Потом мы ехали молча. Потом приехали.

Приехали в особый социалистический отряд «ЦИКа», или, коротко, приехали в «ЦИК».

Насилу из саней вылезли, – примерзли. И долго не могли расправить рук, ног, губ и начать говорить в поповском доме, где помещался штаб.

Комнаты пустые, неудобные. Холодно. А по стенам картины и открытки. Поп сбежал.

На голом столе остывший самовар, кусок хлеба и протоколы коллектива коммунистов: в «ЦИКе» много коммунистов, остальные – сочувствующие.

Председатель коллектива – петроградский рабочий, с неуклюжим, но необыкновенно привлекательным и милым лицом – и секретарь рассказывают нам:

– Бумаги у нас нет. Ну, верите ли, протокола заседания записать не на чем.

А я с товарищем в пол-уха слушаем, – нос щекочет запах свинины. Молоденький красноармеец на корточках перед печкой что-то жарит, шипит на сковородке сало.

Мучительно хочется жирного. Недаром самоеды в морозы просто пьют тюлений жир.

– ...Так мы что сделали: забрали церковные книги, выдрали кто там родился, кто замуж вышел, а на чистом свои протоколы пишем. Вот.

Они показывают. На переплете: «Церковная книга», а внутри – протоколы коммунистической партии. Мы смеемся.

– У нас тут работа идет вовсю. Мы, коммунисты, держим в руках весь отряд. Вот протокол: двоих исключили из партии. Один выпил самогонки, а другой пожалел, что если коммунист – из Красной Армии уйти нельзя. Сейчас же долой его из партии. Несладко с клеймом ходить.

Жареная свинина возвращает нам способность и слушать и говорить. И я с удивлением вслушиваюсь, с какой восторженностью говорят они о партии, о своем коллективе, о партийной работе. Как будто это не старые, годы положившие на свою работу партийные работники, которых ничем не удивишь, а молоденькие, только что вступившие в партию, которые горячо принимают к сердцу всякую мелочь. А у моего товарища глаза разгорелись, глядя на них.

Так вот в чем сила истинного коммуниста: в неувыдаемости, в том, что для него нет будней, все – революционный праздник, нет партийной усталости. Вот почему коммунисты – совесть в отрядах.

– А знаете, – говорит председатель, ласково улыбаясь всем своим неуклюже-милым ли-

цом, и морщинки побежали от глаз, – просачиваются в ряды коммунистов и прохвосты форменные. Только не выловишь, хитрые.

– А это вот протокол незаконченный, – говорит секретарь. – На половине заседания – вдруг: «В ружье!» Все повскакали, похватали винтовки – и в бой. Я схватил в одну руку винтовку, в другую – церковную книгу, выскочил к обозникам. Взмолился им: «Товарищи, возьмите! Ведь это партийные протоколы наши». А они ругаются: «Куда нам вожжаться с ними! В этакой суматохе пропадет, вы нам голову проедите». Бегал я, бегал, – ну, что тут делать? Так и побежал в цепь, – в руке винтовка, а подмышкой церковная книга. Так и перебежки делал, и ложился, и стрелял.. Ну, как в Москве? Расскажите нам про Москву. Как там? Как настроение?..

Понемногу комната наполняется. Пьем чай. Сахар пованивает керосином, но вкусно. Реквизировали у спекулянта, – должно быть, со зла облил.

Кто сидит на табуретке, кто на ящике, кто на связке старых газет, кто на доске, ребром поставил.

– Одно горе – газеты нам плохо доставляют. За полторы-две недели пришлют два-три номера, и опять жди полмесяца. Опять же рассказов хотелось бы почитать – ни одного!.. И тяжко: почты нету, полевой почты до сих пор нету.

Я всматриваюсь. Любопытный народ!..

Вот командир отряда. И не подумаешь: в шапчонке, в замызганной гимнастерке. Юное матовое лицо. Грек. Совсем молодой. Он с железной волей водит в бой своих железных коммунистов.

А вот сидит, тяжело согнувшись, крупный, плечистый, и очень похоже – из купеческого звания. Молодой, безусое лицо, волосы вьются. В поддевке. Точь-в-точь купеческий сынок. Командир отдельной конной сотни, а эта сотня чудеса делает.

Нахмурил белобрысые брови командир роты. Юное голое лицо – что-то в нем мальчишеское – бронзовое, выдубленное ветрами, морозами, солнцем и дождем, а лоб весь изрыт глубокими, старческими морщинами. Шея мускулистая, низко открытая, как у матроса, даром что холодно в комнате.

Он водит свою роту, как будто перед ним не неприятель, засыпающий пулями, а заросли кустарника, которые просто надо раздвинуть плечами – и все.

И все они смотрят немножко исподлобья, кряжистые, крепкие и юные.

У этих мертвая хватка: как вцепятся, хоть за ноги тащи – не оторвешь.

Я гляжу на них: львиный выводок, да и всё. Крепкошее, будто неловкие, а чувствуешь затаенность огромной быстроты движения, поворотливости, волчьей цепкости, и клыки свешиваются.

Сегодня они взволнованы. Жестикулируют, говорят тяжело и страстно, и ложатся на стол бронзовые кулаки.

– Нам отдан был приказ отбить наседавшего неприятеля. Хорошо! Мы вышли. У нас триста штыков, на нас двинулись полторы тысячи отборных чешских и польских солдат. Мы опрокинули и гнали их двадцать верст. А когда вышли все патроны и ленты, молча пошли в штыки, выбили и заняли деревню Байряки. Неприятель бежал, и мы потеряли с ним соприкосновение. Расположились в Бай-

ряках. Вдруг приказ: оттянуть отряд на двадцать верст назад, чтоб выровнять фронт. Да пусть по нас равняются, а не мы по ним! Восемьдесят товарищей раненых, одиннадцать убитых. Понимаете, это – наши товарищи, коммунисты! Их головами мы взяли Байряки. И бросать? Что?! Окружение? Мы не боимся окружения!

Командир роты, с бронзовым юным лицом и со старческими морщинами на лбу, говорит сердито, изламывая морщины:

– Под Казанью мы шли цепью на пятеро сильнейшего неприятеля. Нас засыпали. Мы вплотную подошли. Глядь, а неприятель не впереди, а справа густая его колонна и слева колонна. Мы думали – нас окружили. Ну, что ж! Мы сломали свою цепь, правая часть пошла против правой колонны, левая – против левой, и разбили, разогнали, рассеяли. Оказалось, не нас окружили, а мы прорвали неприятельский фронт, разрезали его на две части, а мы этого не знали. А нам толкуют об окружении.

Они в страстном, негодовании мечутся, как львята в клетке. Я смотрю, люблюсь ими

и думаю: мужественность, не знающая удержу, страстная храбрость и стратегия должны быть в сцеплении, и первая – в подчинении второй. Но к ним и на козе не подъедешь.

А они все рассказывают о своих сражениях.

*Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились
они...*

И когда я уезжал, я уносил впечатление как от огромной книги, – имя ей Революция, – книги, брызжущей борьбой, кровью, слезами, невиданными героизмом, самопожертвованием, и наряду с этим – смехом, предательством, фанатизмом.

И этот героический отряд «ЦИКа», и эти председатель и секретарь коллектива коммунистов, которые совершают свою партийную работу с величайшей серьезностью и напряженностью и в бой идут прямо с собраний с протоколами под мышкой, и мой молодой товарищ, у которого глаза и лицо загораются при одном слове «коммунист», – все это только переворачиваемая страница великой кни-

ги «Революция», – страница, края которой озарены ослепительным светом: человеческое счастье.

В теплушке*

Надо уезжать, и – странно – не хочется. Что-то завязалось с этими людьми, такими различными по развитию, по характеру, по внутренней значительности, и такими одинаковыми перед этим холодным пустынным гребнем (а за ним – враг), перед пулей и шрапнелью, перед молчаливой могилой, которая, быть может, ждет.

Мне ласково улыбаются, жмут руку – и все потому, что я для них просто свежий человек. Свежий, еще не примелькавшийся человек взял да к ним приехал. Рассказал, что делается на белом свете, побыл с ними, и они рады.

– Ну, что передать от вас красной Москве?

– Скажите там, что дело мы свое крепко делаем, кладем головы. Скажите, что шлем мы им, всем нашим братьям, сердечное, горячее братское спасибо, что помнят об нас, не забывают нас. Если можно, скажите там кому надо, чтоб прислали нам рассказов почитать, –

очень хочется душу отвести, только листовками, такими тоненькими книжечками, а то с большими книгами куда тут, на походе. Да скажите, что партийная работа ладится у нас, ничего идет дело. Работы – необъятная громада, – ну, ничего... Не сидим сложа руки.

Пара добрых деревенских маштаков, заиндепевших с той стороны, откуда упорный снежный ветер, уносит меня и старика, который правит и рассказывает свою жизнь.

У него дочь, красивая, ладная. Мужа убили на войне. Ребенок. Жила в своей избе. Корова была. Изба сгорела. Пришла с коровой и ребенком к нему жить. Ну-к что ж, пускай живет.

Красная Армия определила корову на реквизицию, на зарез себе. Вымолили, – али сиротам помирать?

У него еще две девчонки, пятнадцати – шестнадцати лет. Все трое пашут. Сдюжают. Только старик налаживает; сам-то пахать немощный, а они не могут наладить, – умом легкое сословие, а пахать – пашут не хуже мужиков, – ядреные девки.

Много рассказывает старик, – вся жизнь

старикова встает. А я весь оброс сосульками; ежусь от нижущего меня уфимского ветра, который, сколько глаз охватит, бело дымится поземкой. Много народу от нее пропадает.

Суровый край. Пустынно. И леса стоят черные, сквозные, стоят по обрывам гор с круглыми головами.

В Бугульме – на поезд. Отходит в два часа дня. А мы в нетопленном, задымленном махоркой, переполненном красноармейцами и крестьянами вокзале уныло стучаем, голодные, – ничего негде купить, – заколелыми ногами и час, и два, и три.

Бьет пять, семь, девять. В десять нам отводят в длинно чернеющем холодном поезде теплушку, – классных вагонов на дороге нет; угнали белогвардейцы, а доставить из-за Волги нельзя было вследствие взрыва симбирского моста.

Теплушка вся побелела от морозов, и пол неровный от смерзшегося навоза.

Приносят и ставят посредине железную печь. Мы покупаем дрова, задвигаем двери и, столпившись в темноте вокруг печки и постукивая и попрыгивая по замерзшему навозу,

разжигаем дрова. Красное пятно тускло шевелится по нашим ногам. Бьет одиннадцать, а мы все постукиваем да попрыгиваем вокруг печки, – дрова сырые, не разгораются.

Бьет двенадцать. Поезд со скрипом, скрежетом и стоном, точно его разнимают по косточкам, потянулся и стал греметь и неизменно трясти нас в темноте.

А мы все постукиваем да попрыгиваем, жадно приглядываясь к все холодно-тусклому, вздрагивающему отсвету печки.

И слышно, как по другим вагонам постукивают и попрыгивают, вероятно так же жадно присматриваясь в темноте к мертвому, к неразгорающемуся отсвету холодных печек.

Зубы стучат от неодолимой внутренней дрожи. Мутно белеет по углам прокаленное морозом железо.

«Ведь не животные же».

Вон помощник командира бригады, молодой, и перескакивает с ноги на ногу, в такт качая головой.

Вот начальник телефонной связи. Красноармейцы – кто в командировку по санитарному делу, кто по хозяйственной части, кто по

приемке снарядов.

Заранее поставили бы печи, прогрели бы, да не сырыми дровами, вычистили бы отмякший навоз и пустили бы нас в теплый сухой вагон.

Да разве саботажников убедишь!

В прыгающей от грохота и тряски темноте с мертвеющими по углам пятнами прокаленного мороза – голос:

– Да ну их к черту! Бери, товарищи, руби!..

Засветили спичку и при неверном, мигающем свете выдернули из нар доску и шашкой стали рубить ее на куски.

Слышен был сквозь гул стук шашек и в других вагонах. В сущности, рубили вагоны и принадлежности к ним, достояние Российской социалистической республики. Но вина падала не на красноармейцев, издрогших, измученных невыносимым холодом и неудобом, а на тех подлых саботажников, которые загоняли людей в скотские вагоны, не обогрев их предварительно, не вычистив.

О чем думал начальник станции Бугульмы?

Комендант?

Начальник передвижения войск?

Меньше всего – о своей обязанности дать людям минимум удобства.

Сухие доски разом и ярко загорелись. В вагоне потеплело. Навоз под ногами размяк, и стало пахнуть конюшной.

С оттаивающего потолка часто капало на голову, на лицо, на руки.

Лица, на секунду выхватываемые из темноты красным колеблющимся отблеском, потеплели и оживились.

В непрерывный гул качающегося вагона влился оживленный говор. И в этом говоре отвратительно и подло резали ухо грязные и мерзкие ругательства. Люди дышали ими, не думая о них. Просто это был способ образно выражать свои мысли.

И отвратительно и жалко.

Кто ж виноват?

Когда вспыхивающее пламя бросало красный отсвет, я всматривался: какие все милые, молодые лица! Ведь не хулиганы же. Ведь не циники же изъеденные, для которых весь свет залит навозной жижей...

Виноваты, кто не заполнил пустоту этих

людей, кладущих свою жизнь.

Виноваты, кто не принес им творений искусства. Кто не дает им вовремя и в должном количестве газет.

Кто не дает им художественной литературы, когда так мучительно хочется отвести душу.

Кто не приносит им музыки, пения, кто не дает им возможности письмом отвести душу.

Виноваты все, кто не хочет или не умеет сделать жизнь их разумной, наполненной красотой и творчеством.

Я примостился на нарах, на которых впопалку лежали красноармейцы, сунув под голову вещевые мешки.

Спереди от раскалившейся докрасна печки нестерпимо несло жаром; сзади из сквозивших щелей вагона нестерпимо несло морозным холодом. Я всячески изворачивался, стараясь найти среднее положение, чтобы не так жгло и морозило.

Внизу, вокруг печки – распаренные лица, скинутые шинели. Семнадцатилетний мальчик в папаче, с остронаглым лицом, пересыпая руганью, рассказывает:

– Надоело служить, вот и уехал. Жалко, леворверт комендант отобрал, а то бы здорово продал на толкучке... А у нас что было в Ярославле, это как белогвардейцев побили... Стали мы лазить по магазинам. Кто чего успел – в карманы. Ей-богу! На лошадях мы. Двенадцать человек нас. Хотели в банке пожить, только с лошадей слезли, а нас, голубчиков, и накрыли. Восьмерых тут же расстреляли, а меня да троих комендант взял. Ну, отпорол нагайкой, пустил, щенком обозвал. А я думал – расстреляют...

Он рассказывал о своих приключениях весело и задорно, на каждом шагу пересыпая мерзкой руганью. Ждал одобрительного хохота от сидевшей вокруг раскрасневшейся печки компании.

Красноармейцы, тоже пересыпая руганью, к его удивлению заговорили:

– Да ты в каком полку служил?

– В Казанском.

– Служил?! Мародерничал!

– Такие Красную Армию пакостят!

– Один заведется, а всех конфузит.

– Ему на Горячее поле в Питере или на Хит-

ров рынок в Москве.

– К стенке его! Не гадь!..

– Кидайте его, ребята, из вагона на рельсы!

Мальчишка стусевался...

Гремит вагон, качается. Печка темнеет, и тогда во мраке наливается холод, белеющий по углам.

Дежурные начинают кидать дрова.

Печка больше и больше краснеет. Рождаются тени, снуют и судорожно двигаются по стенам, по лицам.

Но иногда тени лежат неподвижно долго-долго, и не слышно гула и качающегося скрипа и грохота, – это мы стоим на станции. Стоим час, стоим два, три, четыре...

Кто-нибудь отодвинет дверь. В пролет глянет синяя морозная ночь. Искрится снег, звездное небо.

Сердитый голос:

– Затворяй, слышь... Холод!

Дверь, скрежеща, задвинется, поглотив прекрасную синюю ночь, и опять неподвижно изломанные по стенам тени, храп и густой, тяжелый махорочный дым.

– Ну, какого черта мы стоим?!

Морозно проскрипят снаружи шаги – и опять молчание. Тоска.

От Бугульмы до Симбирска триста двадцать пять верст. Поезд в пути между станциями делает верст двадцать пять. Значит, сплошного пробега – тринадцать часов. Кладя на остановки даже по полчаса, что слишком много, получим пять часов на простой. Итого – восемнадцать часов. А мы вот уже вторые сутки едем, и конца-края не видно нашей езды.

На станции стоим шесть часов.

Зачем?

А ни за чем. Так!

– Да что за дьявол! Что мы стоим?..

Молчаливому долготерпению вдруг приходит конец.

С руганью поднимаются красноармейцы, со скрипом отодвигают дверь, и вываливаются в морозную ночь человек десять, пристегивая на ходу револьверы. Гурьбой идут к машинисту и приступают.

– Ты чего же, кобелевый сын, так везешь? Этак будешь везть, все стариками сделаемся, покуда доедем. Что вы, шутки, что ли, шутить

с нами? Каждый за делом, каждый в командировку едет...

– Я – за снарядами.

– Я – в санитарный отдел.

– Я – в отдел снабжения.

– Ну, вот! И каждому срок дан – кому три дня, кому четыре, много-много неделя, а вы, ишаки, трое суток нас везть будете триста верст! Товарищи, кидайте его, азията, в топку! Становись сами, которые могут, на паровоз! Сами доведем поезд!

– Есть! Я ездил помощником.

– Да вы чего, товарищи, на меня-то наседаете? Мне дадут путевую – еду, а не дадут приказу, – хоть год будем стоять – не поеду. Не от меня зависит. Артельщик тут везет деньги, раздает по станциям, он и задерживает.

Бурным потоком кинулись красноармейцы разыскивать артетьщика. В вагонах со скрипом отворялись двери, и выскакивали на мороз красноармейцы. Собралась их внушительная толпа.

Разыскали артельщика. У него в хвосте поезда был прицеплен свой вагон.

Артельщик устроил ужин и чаепитие и из-

волил кушать с железнодорожниками.

Он нагло заявил:

– Не ваше дело вмешиваться в железнодорожные порядки.

– Ах ты, материн сын! Ребята, выворачивай его наизнанку!

Артельщик стал сдавать и сказал:

– Товарищи, я ни при чем, – разгрузка держала.

– Бреешь! Мы все время смотрели, не было разгрузки. Да ежели бы и была, двадцать минут на нее, от силы полчаса, а мы шесть стоим.

– Паровоз воду брал...

– Это на каждой станции брал воду? Обопьешься.

– Опять же дрова паровоз брал...

– Бреши – да умеючи. Это как на каждой станции по три, по шесть часов будет брать дрова, весь состав загрузишь... Да что с ним разговаривать, так и вон как! Ломается, как коза на веревке... Кидай его на рельсы! Отцепляй его вагон, без него поедем!

Толпа стиснула. Артельщик струсил.

– Товарищи, ведь я по долгу службы... По

линии три месяца не получали жалованья, вот и развожу.

– А-а, собака! Забрехала... Почему срочные дела Красной Армии должны из-за вас задерживаться? Ведь вот я задержусь на два, на три лишних дня, не привезу пулеметных лент, а там тысячи наших могут погибнуть из-за этой задержки. А ты бы взял паровоз да отдельный вагон и развез, армию не подводил бы. А то ужинать сел, а мы и стоим по шесть часов.

– И какая стерва его родила?!

– Волоки его, ребята!..

Кругом озлобленные красные лица, сверкают глаза.

– Товарищи, не буду задерживать, не буду больше выдавать... Ей-богу, сейчас поедем.

Поезд тронулся и несколько станций действительно шел без задержек. В вагонах, озаренных раскрасневшимися печками, полных всюду сновавших теней, было шумно и весело.

– Ловко!

– Выздоровел!

В Мелекесе часов в десять остановились.

Осталось до Симбирска восемьдесят шесть верст. Часов за пять Доедем.

– Тут пойдет хорошо, тут нормально ходит, – говорили.

Стоим час, два, три, четыре, пять... Черный неподвижный поезд снова наливается тоской. Все тянется бесконечно застывшая ночь над примолкшей станцией. В вагонах тяжело и безнадежно спят, стоят или понуро сидят вокруг печки.

К коменданту станции идет один из едущих в поезде.

– Товарищ комендант, почему нас здесь так долго держат? Ведь все сплошь едут командированные, которым дорога каждая минута.

«Товарищ» комендант грубо поворачивается спиной, он даже разговаривать не желает.

Тогда обратившийся к нему вынимает и подает мандат от Революционного военного совета армии с очень широкими полномочиями.

Комендант сразу становится бархатным.

– Видите ли, задержка из-за разгрузки.

– Таковой не было, мы видели, и во всяком

случае не на шесть часов.

– Э-э-э... Видите ли, паровоз брал дрова.

– Шесть часов?

– Э-э-э... мм-м... Кроме того, паровоз воду брал.

– Шесть часов?

– Мм-м... э-э-э... мм... То есть, видите ли, водонапорная башня испортилась...

Ясно: человек изолгался. И так как лгать больше нечего, он пускает нас дальше.

Поезд, хрустя прокаленными морозом рельсами, трогается. И опять облегченно вздыхает вагон. Мреет красная от жара печь, качаются и снуют тени, поминутно меняя лица сидящих.

Ух ты! С души свалилось. Восемьдесят верст. Как-нибудь доберемся.

Четыре часа утра, а в вагоне все та же темень, наполненная махорочным дымом.

Где-то за качающимися стенками винтовочный выстрел, глухой и неблизкий.

Еще выстрел... третий, четвертый... Пачками.

Подымаются головы, и печка озаряет их.

Что это? Чехи? В тыл зашли?

В вагоне, полном мерцающих теней, поползла тревога.

Гудки торопливые, придушенные.

Да что же это, наконец?!

Гудки не нашего паровоза, а где-то впереди.

Разом, с треском наваливаясь друг на друга, остановились вагоны, и водворилось молчание.

С грохотом откатывают примерзшие двери. В пролет глянула все та же синяя безначальная ночь.

Соскакиваем на хрустящий снег.

Впереди бегают с огнями. Наш поезд стоит мрачный, черный, без паровозных фонарей.

Оказывается.

Со станции Мелекес был пущен наш поезд, а со станции Бряндино по тому же пути, нам навстречу, был пущен боевой бронированный поезд.

И среди синей морозной ночи, среди застывших белых лесов неслись навстречу два поезда. Один – черный, без огней, из бесконечного числа товарных вагонов, набитых людьми, лошадьми. Другой – низкий, огром-

ной тяжестью брони вдавил рельсы, и длинные хоботы тяжелых орудий уносились на платформах, прожорливо глядя в мелькающую морозную пыль застывшей ночи.

Так неслись они с грохотом.

А внутри изгибавшегося, как черная змея, на поворотах поезда сидели красно-озаренные люди, грелись около раскаленных печек или тяжело спали на качающихся скрипучих нарах.

Машинист бронированного поезда вдруг заметил черно несущийся на него громадный поезд и стал давать тревожные гудки, напряженно тормозя. Но черный поезд все несся на него в грохоте. Солдаты стали стрелять в воздух пачками.

Уже совсем почти накатившись, наш поезд остановился.

Мы все высыпали на скрипучее белевшее полотно. Два черных чудовища стояли друг против друга. Еще бы несколько секунд – и тяжело придавивший рельсы броневик разбил бы наш поезд, а к синему, морозно-звездному небу поднялась бы целая гора вагонной щепы. И от раскаленных печей запылала бы эта

гора с мертвыми, искалеченными и живыми.

С нами возвращали почему-то вагон снарядов. В пожаре он покрыл бы все страшным взрывом.

На волоске были.

Но – странно. Близость этой смертельной опасности подействовала на красноармейцев совсем иначе, чем бесконечные стояния на станциях. Посыпались шуточки, остроты.

– Эх, Тишка, а важное бы из тебя жаркое вышло! Одного сала натекло бы с пуд.

– А я, братцы, под Ивана подкатился. Ежели бы вагон раздавило, Иван бы целый лежал, – сам раздавит кого хошь.

И это понятно: такие катастрофы редки, кричащи, ответственность за них громадная.

А вот страшно, когда из дня в день подтачивают железнодорожное движение, когда, как черная гангрена, расползаются по железнодорожному организму саботаж, злонамеренный и ненамеренный, медлительность, халатность, постоянное изо дня в день «наплевать на все», – вот преступление, которому нет имени.

На железной дороге Симбирск – Бугульма

было мало вагонов и мало паровозов. И все железнодорожники, коменданты с злорадством ссылались на это как на причину медленности движения.

Да разве это не должно было служить, наоборот, побудительной причиной всячески усиливать движение, делать его интенсивным, не давать ни одному вагону ни одной минуты лишнего простоя? С этим же самым количеством вагонов и паровозов можно было бы, если добросовестно и напряженно относиться к делу, вдвое больше и вдвое скорее провезти грузы.

Но когда кругом все лгут, поезда, разумеется, стоят на станциях часами без всякой надобности, вагоны используются неинтенсивно. И страдает Красная Армия, и страдает население.

Необходимо с корнем, беспощадно вырвать из тела народного эту железнодорожную гангрену.

То, что продельвается на маленьком клочке Бугульминской железной дороги, встречается во многих местах российской железнодорожной сети.

Борьба должна быть без пощады и милости. Но надо помнить: нет змеи изворотливее железнодорожного саботажника. Как только его прищелят на месте преступления, он сейчас же уползет в тысячи технических оговорок, и никакими зубами его оттуда не вытащить.

Единственное средство – от времени до времени пускать по участку контролера, но так, чтобы никто его не знал, начиная от комендантов и начальников станций и кончая низшим железнодорожным персоналом.

Этот контролер должен на месте устанавливать причины простоя поездов, степень добросовестности работы железнодорожников, и уж тут не только малейший саботаж – малейшая халатность должны караться без пощады, вплоть до расстрела.

Иначе железнодорожники искровенят русскую революцию.

Теперь, когда вагон уносит меня к красной Москве, армия снова двинулась в наступление, снова труды и опасности, снова жестокая борьба, и сулит новый день неведомую долю

каждому бойцу.

И мне хочется, оглянувшись, сказать: счастливых и радостных вам успехов, товарищи, и ярких побед над темным врагом, побед, которые волеют новые силы в нашу революцию!

Потерянный завтрак*

(Из далекого прошлого)

Город был большой, запыленный горячей пылью. И далеко за Доном, в займище, видеть было, как блестят в дыму на высокой горе главы его церквей и соборов.

По центральным широким, прямым, чистым улицам, обсаженным деревьями, стоят пяти-шестиэтажные громады вычурной архитектуры или великолепные особняки с умопомрачительным внутренним убранством – миллионеры понастроили.

А подальше – темные, кривые, грязные улицы, с облупившимися домами, набитыми обывателем. А на окраинах – прогнившие хибарки, полуразвалившиеся трущобы – «дворцы» для рабочих. В ужасающем смраде, тесноте, болезнях, пьянстве, нищете рождались, ра-

ботали, бились, болели душой, томимые думой о какой-то иной жизни, на секунду выплывали на свет и опять сейчас же, как ключ, шли в омут и наконец умирали рабочие. Это называлось – жили на божьем свете.

Черно-рыжий каменноугольный дым из огромных закопченных труб, из паровозов, из пароходов густо душил и детей, и стариков, и жен – всех, кто с ними.

А огромные вальцовые мельницы, писчебумажные фабрики, железоделательные, машиностроительные заводы, ядовитые табачные фабрики душили рабочих, душили двенадцати – четырнадцати – пятнадцатичасовым рабочим днем, неустанными штрафами, подлыми фабричными лавочками.

Апрельское солнце весело рассыпало такой чудесный блеск, какой в Москве не затрепещет на листьях и в июне.

Сквозь копоть, сквозь пыль неуловимо тянуло запахом белой акации.

Когда высыпали теплые южные звезды, за город неслись, беззвучно прыгая на резиновых шинах, пары и одиночки. Лишь цокали по залитой электричеством мостовой, похо-

жей на паркет, кованые копыта.

За городом среди деревьев уже блестели огнями великолепные рестораны. И в отдельных кабинетах закипали расточительные кутежи, заливаемые шампанским, с цыганками, с шансонетками, которых заставляли голыми петь и плясать. Все было позволено, все могли, ибо было царство тузов: фабрикантов, заводчиков, помещиков, конских заводчиков, овцеводов, пароходовладельцев.

Среди закопченных фабрик и заводов в городе была одна многоэтажная фабрика совсем без фабричной трубы. Не было там гудков; вместо рабочих с закоптелыми лицами в верхние этажи поднимались аккуратные молодые люди в накрахмаленных воротничках, в котелках, в мягких шляпах или английских кефи.

Без копоти, без дыму фабрика великолепно работала, и над главным подъездом сияло золотыми буквами: «Редакция газеты».

Фабрика принадлежала акционерному обществу и давала отличные барыши. Главный директор-распорядитель имел на содержании премьершу театра и, кроме того, еще четырех

любовниц в разных частях города, так что из какого бы ресторана ни возвращался ночью, всегда мог заехать в прелестно обставленную квартирку. Здесь его встречала очаровательная женщина в шелковом китайском халатике, услав предварительно с горничной через черный ход молоденького любовника.

На газетной фабрике он занимал великолепную квартиру во весь этаж.

Когда я спускался с рукописью в полуподвальный этаж, я сначала ничего не видел: в страшной тесноте, под нависшим потолком качались над кассами в потных рубахах наборщики, и неслошь неумолкаемо от мелькающих со шрифтом рук: «чилик, чилик, чилик!»

В смрадном, густом воздухе напряженно горели электрические лампочки. И по бледным мертвенным лицам стекал клейкий пот.

Тут у меня был приятель, наборщик Селиванов. Мы с ним условились идти на массовку.

В глубокой балке уже чернел народ.

Молодой человек, с измученным лицом, в очках, говорил, опираясь о плечи товарищей,

все, что в этих случаях полагается: «классовое самосознание», «идеология», «эволюция» и пр. Его слушали упорно и тяжело, опустив головы и глядя в землю.

Потом товарищи подняли на плечи маленького, живого, с ястребиным носом металлиста в картузе.

Он набрал побольше воздуха и закричал:

– Так что, товарищи, сегодня мы празднуем. А по какому случаю? Позвольте узнать, а почему такое попы понаделали себе праздников на целый год? Рождество празднуем – родился. Крещение празднуем – крестился. Пасху празднуем – воскрес. Да кто такое? Христос. Ну, так что ж? А потому, собственно, мир сотворил, твердь небесную, воды и океаны, всякое зверье, Адама с Евой, блох, вшей, ехидну и всякую другую нечисть. А на седьмой день почил, устал, стало быть. Вот оно в чем дело – сотворитель. Экая невидаль – Адама с Евой! Это всякий дурак не хуже. А то еще вшей. Да они и так нас заели. На кой ляд они нам! А между прочим, празднует весь мир, потому – сотворители... Но позвольте узнать: в каком же разе рабочий класс? Али он сложа

ручки сидел? Али он ел, пил задарма? А?

Он вызывающе посмотрел на всех, – и головы, тяжело и упорно слушавшие, глядя в землю, поднялись, и глянули все глаза на него.

– Нет, братцы, рабочий класс в поте лица своего сотворитель, не покладаячи рук! Некогда ему почивать ни иа седьмой, ни на четырнадцатый, ни на двадцать восьмой день; некогда, – бесперечь в работе. И не то, что там Адама с Евой. А сами знаете, Асмоловская фабрика всю Россию табаком оделяет. Шерсть отсюда не только к нам, – за границу идет. А машины, а железо, а бумага! Масло, хлеб? Гляньте-ко, вон они, трубы, фабрики, заводы, вагоны, паровозы. Кто все это творил, творит, будет творить? Рабочий люд! Бесперечь, без передышек... Вот настоящий сотворитель, без обману, без фальши. Так как же его не праздновать? Вот и празднуем великого Первого мая: дескать, день сотворителя всего, чего видим кругом, чем весь народ от мала до велика дышит. То-то оно и есть!

– Верно! Правильно!.. – весело загудело кругом, – и хмурые очи блеснули живым

блеском, оглядывая друг друга.

– Опять же, братцы, неправильно, что мы тут с вами стоим, и все тут. Куда наша железная дорога пошла? На Таганрог, на Синельниково, на Екатеринослав. А потом? На Волочиск, на Львов, на Вену, Париж, Берлин, Мадрид, Рим. А там перекинулась по Англии, а там – по Швеции. А там опять – Питер, Москва. А там – через всю Сибирь. А там – по Японии. А там – по Америке. Тьфу, будь ты неладен, аж голова пошла кругом...

Он снял картуз и отер мокрые от пота волосы.

– Не мы же с вами все это протянули. А кто же? А такие же, как мы с вами, трудящие: французы, негры, англичане, китайцы, турки, немцы – все, сколько ни есть на земле трудящегося люду. А сколько по железным дорогам, на пароходах во все страны везут со всех сторон всякой всячины – еды, одежды, машин, ножики там разные, ложки... Это кто? Все он же, сотворитель, трудящий! Так как же мы одни свой праздник будем праздновать? А они будут в стороне?! Пустой рот жевать... Так гаркнемте, братцы, что есть мочи, аж чтоб

глотки у нас полопались, гаркнем...

Он яростно сорвал с головы картуз и заревел неслыханным, нечеловеческим голосом:

– Пролетарии всех стран, соединя-а-а-йтесь!

Толпа грозно притиснулась к нему самому, и из глинистой балки рванулось к сияющему небу:

– ...стра-ан соединя-а-а-йтесь! Уррра-а!..

А уж там, наверху, на самом обрыве, отчаянно махали платками:

– Казаки!..

Оратор надел картуз и сказал деловито:

– Ребята, не попадайтесь никто!..

Балка сразу опустела. В земле глухо отдавался приближающийся лошадиный топот.

Кто-то дернул меня. Я оглянулся – Селиванов.

– Чего губы распустил. Сам в лапы лезешь! – сказал он злобно, почему-то переходя на «ТЫ».

Мы побежали вверх по балке, свернули в другую бал очку поуже, с невысокими, но совершенно отвесными стенками. Селиванов вскарабкался. Полез и я, а из кармана выва-

лился и покатился на дно пакет с завтраком. Я знал – целый день придется ходить на голые зубы, а в столовку решил не ходить: сегодня везде будет полно шпионов, черт с ними...

Я опять спустился и поднял пакет. Наверху Селиванов, припав к земле, шипел:

– Лезь, идол!.. Раскоряка... Давай сюда... У меня тоже.

Он сунул мой пакет в карман пиджака, и мы, пригнувшись, что есть силы, побежали к видневшемуся недалеко саду. Перемахнули через плетень и вздохнули среди деревьев. Выбежали высокие черноротые, с доброго волка, собаки и принялись за нас.

– Это хуже казаков. Утекай!..

И Селиванов понесся пуля пулей, только полы пиджака отчаянно трепались, и собаки все норовили их поймать.

Рыжий мужик в красной рубахе навывпуск, икая, науськивал, хотя сад был пустой:

– Бери, бери, бери их!.. Кусь, кусь!..

А собаки вдруг странно замолчали и стали лаять только тогда, когда мы перескочили другой плетень.

Обошли огород, вышли на гору и сели на обрыве. Внизу сверкал Дон. За ним, пока еще изумрудное, тянулось в лиловое марево займище, и чуть сиял вдалеке неугадываемый крест, не то стекло блестело.

Под горой набережная кишела пароходами, вагонами, людьми, в звоне, в сверкании, в железном скрежете, в пароходных свистках, и всю ее заволокло дымом, пылью, гарью, не слышно было человеческих голосов.

– Слышь, глянь... – сказал Селиванов, да вдруг вскочил и стал себя обшаривать. – Слышь, никак завтрак твой собаки сожрали.

У меня мелькнуло на миг подозрение: «Уж не ты ли сам слопал, грешным делом. Ну, вздор какой! Конечно, нет...»

– Жрать хочется, – сказал Селиванов.

Ухватил свой ремень и весело перетянул живот, как оса, и растянулся на траве.

– Эх, живи, не тужи: хлеба нет, – до звезды говей; рубашка черна, – вывороти, носи.

Мне мучительно хотелось есть.

Селиванов сел, поджал по-турецки ноги и заговорил, а лицо – голодное, бледное и, как там, в типографии, покрыто больным, клей-

КИМ ПОТОМ:

– Глянь ты, глянь: все наше, все-о-о наше будет, и невдолге. К тому идет. Вот она, живет, набережная-то. Слышь, голосу человеческого не слышать, а теперь пробивается, – вон: гал, гал, гал... Так оно и к тому: и парходы, и вагоны, и вон чугунный завод – все наше, само в руки к нам просится. И редакция, брат, наша будет, – сказал он восторженно.

Я слушал и молчал.

Он вскочил на колени, сел на пятки и кричал:

– Как ты не понимаешь? Директора-распорядителя по шее, а в его этаже – наборную: светло, высоко, просторно... Умирать не захочешь. А ты будешь писать чего захочешь, не то что из-под палки... Цензора на фонарь! Фу-у, брат, ну и весело заживем...

И вдруг, точно облачко наплыло, заслонило от меня все, что я читал, о чем постоянно думал, что цепко держало меня в лапах, и покачнулась вся крепость стоявшего вокруг строя. Ведь не может же все это так тянуться? Ведь нам же мучительно – и мне, и вот ему, и тем, внизу, от которых лишь доносится: гал,

гал, гал... Ведь живые же мы люди! И разве не бывало в истории: «вдруг». Вдруг возьмет да и случится вот-вот совсем скоро.

– Жрать дюже хочется, – сказал Селиванов. Я почувствовал мучительный голод. Поднялся...

– Пойдем.

Все стало на свои места, в своем обычном порядке: стены домов, извозчики, полицейские, валившие черными клубами дыма фабричные трубы.

Я вспоминаю: милый Селиванов! Где-то он теперь? Не мыслью, а нутром, чутьем угадал он то, что произошло потом, через два десятка лет.

К. А. Тимирязев*

Московский совет прав: не покормишь, не поедешь. Если хочешь выжать всю полезную работу из общественного работника, не дай ему упасть от нечеловеческой измученности, от полного нервного истощения, от разъедающих болезней, которые если запустишь, уж не подымешься. Дать упасть работнику – преступно.

Много партийных работников стораёт от туберкулеза, от нервного истощения.

Совет открывает санатории для больных, для истощенных, для измученных. Переведет дух человек, и опять с прежней силой берется за работу.

Бывшие князья, бывшие денежные тузы, фабриканты, крупные помещики разбросали по окрестностям Москвы свои великолепные имения, дворцы. Вот их-то совет и обращает в санатории, отдает трудовым колониям подростков, школьным колониям.

В тридцати верстах от Москвы – прекрасное имение бывшего князя, которого убил бомбой Каляев, Ильинское.

Здесь санаторий.

Чудесный воздух. Река. Парк. За рекой широко раскинулся луг – трава по пояс, а за лугом синей стеной сосновый бор – царство ягод и грибов.

Двухэтажный, старинной стройки, помещичий дом утонул в зелени деревьев. Со всех сторон огромные террасы. А с них отлогий спуск в парк, чтобы со второго этажа без лестницы можно было спускаться в парк. Дом очень напоминает огромный волжский пароход. Живали здесь когда-то Огарев, Герцен.

Потом дом был куплен князем. Чем же занимался великий князь?

В промежуток между противоестественными оргиями этот властитель Москвы вырезал из русских и иностранных журналов картинки и развешивал их. Все стены увешаны.

В парке два небольших изящных памятника – гранитный обелиск и мраморный куб. Это уж дело горестной княгини: сдохла сучка Шпуня, и на памятнике начертано золотом: Флоренция 1880 – Ильинское 1895. В бозе упокоился кобель Сыч, и начертано: 1891–1894.

Это – памятники не собакам, а гнилоств-

ному, разложившемуся труп помещицы-царского самодержавия.

Теперь в этих комнатах, от которых веет стариной, уютом, работники революции. Какие измученные лица, с неизгладимой печатью болезней!

И у каждого позади за революционной борьбой чернеют в прошлом бесчисленные тюремные камеры: у кого мрачно подымается каторга, у кого бесконечно расстилаются снежные пустыни сибирской ссылки, у кого туманно-тоскливыми днями теряется сзади проклятая эмигрантская жизнь.

Мы лежим с моим товарищем по комнате на койках, слушаем, как шепчет через растворенные окна дождь в листве, и он рассказывает:

– Из Сибири, куда я попал на поселение, я бежал в Маньчжурию, потом в Японию, потом в Америку. Исколесил я ее вдоль и поперек. Кем только я не был: и на лесных промыслах, и коров доил на фермах, и в тоннелях, задыхаясь, работал, и кочегаром, умирая от жары, был, – не знаю, есть ли профессия, которой я не испробовал бы. Не одну тысячу

километров сделал пешком, месяцами бродил по бесконечным канадским лесам, где лишь лоси, дикобразы да дикие кошки...

Я слушаю, и у меня перед глазами, как роман, переворачиваются страницы.

Мы знаем биографии наших революционных работников с их внешней, формальной стороны: там-то организован, там-то сел в тюрьму, но мы не знаем их жизни во всех ее ярких и многообразных проявлениях и красочной обстановке.

А жаль: так и потухнет невоспроизведенная чудесная полоса русской революционной жизни, и будущему историку достанутся лишь сухие ее протоколы.

– Отчего вы так чутко спите?

– Видите ли, мне пришлось в свое время пробить в коридоре, где были смертники. И вот мы, все товарищи, напряженно караулили их, – не идут ли за ними, вести на смертную казнь. Все ночи напролет прислушивались к малейшему шороху.

И это так и осталось на всю жизнь: достаточно малейшего не шороха, Ю беззвучного движения, и он уже открывает глаза и внима-

тельно прислушивается, — не ведут ли на казнь. На всю жизнь...

А в парке «в бозе» покоятся княжеские собачки.

В санатории здоровый режим, хорошее питание, своя, не навязанная, не казенная дисциплина. Иногда звучит рояль, женский голос.

Много ребятишек. И эти милые кузнечики вносят ощущение домашнего уюта, нисколько не мешая больным.

В отрочестве, в далекой юности, я был страшно религиозен. Часами стоял и мотал рукой перед иконой, и бог, тяжелый, жестокий и несправедливый бог, давил меня всюду, давил мои помыслы, движения, поступки. Стал я почитать Писарева, Чернышевского и других, и как будто покачнули они мою каменную веру.

Но покачнули формально, внешне. А в глубине сидел все тот же мрачный бог и мертво давил юную душу. И не мог я изжить его, избавиться от его каменной тяжести, сминавшей молодые крылья. И это было мучитель-

но.

Попалась мне книга «Жизнь растений». Прочитал ее, не отрываясь, и, когда закрыл последнюю страницу, радостно почувствовал, как мрачно покачнулся и вывалился из души каменный истукан божества.

Но ведь в книге ни слова о боге. Там гениально рассказана с изумительной ясностью внутренняя физиологическая жизнь растения.

Но позвольте, тогда есть конструкция и моей жизни: и моя жизнь, мои помыслы, поступки, порывы зависят от взаимодействия клеточек, так же, как конструкция растения побуждает его тянуться вверх, а не вкось!

Да ведь я сам из таких клеточек. И каменный бог рухнул.

И вот через много, много лет я встретил в Ильинском санатории дотоле незнакомого мне автора этой чудесной книги. Это – профессор К. А. Тимирязев.

У него европейское научное имя. Еще Дарвин указывал на него как на выдающегося молодого русского ученого.

Редкое и драгоценное сочетание: глубокий

ученый, он в то же время удивительный популяризатор. Он сумел научные положения рассказать широкой публике удивительно простым и ясным русским языком, совершенно не подлаживаясь к читателю, а подымая его до себя.

Тимирязев – глубокий материалист; он верит только фактам, только наблюдениям и ненавидит все, что хоть малейше отдает мистицизмом.

Конечно, русское правительство гнало и преследовало такого профессора. Черносотенный князь Мещерский писал в свое время в «Гражданине»: «Разве не возмутительно, что русское правительство на казенные деньги позволяет профессору Тимирязеву ниспровергать бога?»

А профессор Тимирязев нигде не обмолвился словом «бог», но такова разрушающая сила истинной мысли.

После февральской революции профессор Тимирязев, больной, с трудом передвигающийся старик, шел к избирательной урне подавать за номер пятый (за большевиков).

И какой вой поднялся среди московской

профессуры: одни ухватились за живот и покатывались со смеху, другие возмущались пеною у рта, третьи решили, что Тимирязев сошел с ума, и трезвонили об этом.

К. А. Тимирязев формально не принадлежит к коммунистической партии, но внутренне он целиком идет навстречу всему, что строит большевизм, что строит партия.

Профессор Тимирязев – глубоко искренний человек. И то, что такой человек целиком на стороне строительства коммунистов, показывает всю мелкую, подлую гнусность меньшевистской и буржуазной своры, которые, задыхаясь, неустанно лгут о варварстве коммунистов, об азиатчине и прочем.

– Чтобы судить о людях, чтобы судить об обществе, – говорил он мне как-то мимоходом, – надо посмотреть, как они обращаются с детьми. А вы посмотрите, как здесь, – кивнул он на взрослых, которые шалили и любовно ласкали бегающих ребятшек.

Это крохотное замечание внутренне открыло мне еще раз всего Тимирязева. Еще в семнадцатом году он шел подавать голос за большевиков, когда и речи не могло быть о

том положении для них, какое они заняли теперь. Но и сейчас его зоркий, привыкший к наблюдениям глаз схватывает малейший факт, который служив доказательством верности его оценки и его отношения к большевикам, – он доверяет только фактам.

Климентию Аркадьевичу Тимирязеву семьдесят семь лет, но какой душевной свежестью, какой душевной молодостью веет от этого старика!

– Посмотрите, как чудесно, какой чудесный вид, – говорил он, показывая на озаренные багровым закатом дальние деревни, далеко краснеющий глинистый обрыв Москвы-реки, на багровый бор, точно там вставал огромный пожар. – Такую удивительную картину я видел только за Лондоном на Темзе.

К. А. Тимирязев интересуется всем, что дает художественная литература, искусство. Терпеть не может мистиков, декадентов, кубистов и прочих.

Читает Байрона и приводит интересное место, неизвестное у нас, из одной его вещи. Байрон говорит там о пожаре, охватившем Москву в двенадцатом году.

И предсказывает: в той же Москве забушует иной пожар, идейный, неизмеримой силы. И могучее пламя его забушует по всей Европе.

Разве не сбывается пророчество Байрона, приводимое К. А. Тимирязевым?

Под развесистой клюквой*

Наш товарищ шофер ловко вел по оживленным улицам автомобиль – плавно, бесшумно, быстро и осторожно.

Заведующий отделом советских предприятий, член заводского комитета Рублевского водопровода, товарищ, владевший языками, и я, – мы привычными глазами, думая о своем, провожали проносящуюся уличную жизнь Москвы, не замечая ее.

Что тут особенного?

Англичанин же, корреспондент английской газеты, высокий, прямой, строгий, замкнутый, сидя прямо и не поворачиваясь, ловил острым, не упускающим ничего глазом всякую уличную мелочь: овощную торговлю на Смоленском, толкучку, идущих по бульвару людей, ребятишек, которые всюду мотались.

Особенно ребяташек. Вон несется целая стайка вровень с присмирившим автомобилем, – мальчугашки лет десяти, одиннадцати, восьми. А за ними, пресерьезно надув губы и живот, семена ножонками, трехлетний пузан, зажав в руке, должно быть, смородину. Э-э, да их целая стайка!

Англичанин косо, углом глаза глянул на них... и... что за чудеса! – засмеялся. У англичан, всегда таких чопорных и замкнутых, и за сто фунтов стерлингов не выдерешь улыбки. А тут засмеялся.

Когда-то французы, влюбленные в свою родину, знать не хотели других стран, не интересовались ими, не изучали их.

В те времена о России у них рассказывалось: по улицам Петербурга – о-огромные белые медведи, а русские граждане сидят в тени развесистой клюквы.

Этакая развесистая клюква ныне покрыла своею тенью всю Англию. Вот что там рассказывают о России самые почтенные правдивые джентльмены в самых почтенных серьезных буржуазных органах.

В управлениях страной, в деревнях, в горо-

дах – невообразимая анархия. Убийства, грабежи, голод. Людидохнутпоходя. Полопали всех собак, кошек. Все женщины социализированы, то есть составляют общественное достояние республики. Маленьких ребят совершенно нет, – все дети до десятилетнего возраста вымерли от голода.

Вот почему такой скупой на улыбку англичанин, глядя на трехлетних карапузов, конкурирующих с автомобилем, засмеялся.

Хотя англичанин и говорит, что вся Англия переполнена непролазным враньем о России буржуазных газет, а я, грешным делом, думаю, и у него таилось в глубине души ядовитое зерно сомнения насчет детей до десятилетнего возраста, хоть и не в полной мере, а зернышко таилось. Оттого он так радостно, отступая от английской замкнутости и сдержанности, засмеялся, глядя на трехлетних карапузов, которые лупили рядом с автомобилем.

Англичанин что-то роняет на своем шершаво-узловатом говоре, – мы ни слова по-английски, он ни слова по-русски. Товарищ нам переводит: он удивляется: какая прекрасная

машина, какой мягкий ход, и как великолепно ее ведет шофер, и что наш товарищ шофер похож на доктора.

Да-а, очевидно, под развесистой английской клюквой убеждены, что в такой варварской азиатской стране, как Россия, изуродованной анархией, и близко не увидишь автомобиля, этого свидетельства культурности, а если и увидишь, так на нем будут сидеть какие-нибудь головорезы, будут орать и давить на улице всех граждан и детей, и наконец, въедут в фонарный столб или в стену дома расплющив машину.

– На улицах я совсем не вижу, – говорит англичанин, – милиционеров, а уличное движение спокойно, и не слышно о повальных грабежах и убийствах, а в Лондоне – на каждом углу полисмен, и уголовная хроника богатейшая.

Его цепкий крючковатый глаз все схватывает, англичанин доверяет только тому, что сам увидит или сам услышит.

Его газета – орган радикальной партии. Все время агитировала газета против борьбы с советской Россией, против посылки туда

войск и помощи Красновым, Колчакам и Деникиным.

Боролась против того удушающего моря лжи и клеветы, которое затопляет под развесистой клюквой со страниц других буржуазных газет всю Англию, и послала первого корреспондента. Он очень хорошо пробрался в Россию.

Машина выскакивает из Москвы. Простор. Какой буйный ветер! Какая буйная шатающаяся под ним рожь! Ее убирают.

Автомобиль, как дьявол, несется по шоссе, разрывая закрутившиеся клочки ветра; с во-ем проносятся роци, пасущиеся коровы, лошади, полные дождя тучи, а англичанин, прямой, строгий, замкнутый, цепко все хватает и глотает.

Вот и Рублево.

В нем чудится мощное, громадное, раскинувшееся на многие десятины. Как будто и ничего особенного, – здания как здания, дымят высокие трубы, но, когда глянешь на эти чудовищные водопроводные трубы, раскинутые то там, то тут для замены в случае порчи под землей, чувствуешь всю титаническую

громадность этих сооружений.

Вот и Москва-река. Огромные сосуны сосут ее мутную от дождей, рыжеватую воду. В машинном отделении мягко, плавно, спокойно работают паровые машины, оставляя в воздухе свое тающее дыхание. С трудом слышишь, что говорит сосед. Тут топка дровяная, и запас дров есть.

В другом здании – дизеля, нервные, торопливые, рвущиеся. Это – гордость советской власти, поставлены уже ею, и работа наших коломенских заводов. Они живут только нефтью, и запас нефти есть.

А англичанин все вбирает в себя...

Идем в лабораторию. Вот он, мозг, контролирующий всю работу водопровода.

В графине мутная рыжая вода из реки. В другом – чистая, как слеза, – из водопровода. Англичанин так и вцепился: сколько бактерий? В реке в кубическом сантиметре две тысячи, в отфильтрованной только четыре бактерии. В кипяченой воде, если она чуть постоит открытая, гораздо больше. Если в городе эпидемия, воду хлорируют, и тогда микробов ноль.

Англичанин все наматывает на ус.

Но, быть может, скажут: ведь все это построено буржуазией.

Ну, так что же. Мало ведь построить, – надо вести предприятие. Рабочие ведут прекрасно. Да и при постройке буржуазные строители допустили огромную ошибку: такое грандиозное предприятие построили на отшибе, без железной дороги. Рабочая власть исправила: провела ветку, и ветка стоимостью в девять миллионов рублей в один год окупилась. Если бы ее не провели, Москва теперь в ужасе, в эпидемии, в страшной смертности сидела бы без воды, – при нынешних условиях нет никакой возможности подвезти топливо гужевым порядком.

Англичанин все мотает и мотает на ус. Бедная развесистая клюква...

Нужно было видеть, с какой любовью, с какой трогательной нежностью и с какой гордостью рабочие-комитетчики показывали и рассказывали о своем детище. Отлично разбираются во всех технических тонкостях.

За завтраком товарищ комитетчик, ехавший с нами из Москвы, слегка помотал рукой

перед носом англичанина и сказал:

– Небось не одолеют нас ни Англия, ни Франция, ни Италия. Постоим за себя. В случае чего хлебом их забросаем.

Англичанин отнесся к этому благодушно. Спросил, сколько ребят на водопроводе. Оказалось, что-то очень много. Стали подсчитывать, сколько ребят у комитетчиков. Оказалось, у пяти человек тридцать три. Перевели англичанину, тот покатился со смеху, совершенно по-русски, и говорит:

– Теперь я передам в Англии полную уверенность в непобедимости России – у пяти человек членов комитета оказалось сорок детей.

– А спросите его, – ехидно спрашивает все тот же член комитета, – правду о нас ему позволят в Англии рассказывать?

– Кто же может помешать! – гордо ответил англичанин, не поднимая глаз.

А цензура-то писем в Англии существует. И цензура в печати только недавно отменена....

– Ну так скажите ему – пусть делается лидером английских рабочих и ведет их к рево-

люции.

– До этого уж немного осталось, – любезно ответил англичанин.

Вот мы несемся назад, и автомобиль с воем разрывает бешено крутящийся ветер.

Вот и Москва. Да ведь это же не та обычная ежедневная Москва. Ведь это же новая невиданная Москва, озаренная революционно-багровым ореолом. Ведь это же Москва-праздник, Москва – всемирно-революционный центр.

А я, мы все забываем об этом в повседневной беготне, и редко, редко когда поднимаешь глаза.

Дон*

На южный фронт я попал в одну из самых тревожных минут. В окраинных углах Воронежской губернии пылали дезертирские восстания. Казаки разливались по южным, самым хлебородным уездам губернии. Красная Армия все пятилась. Наконец опасность стала угрожать самому Воронежу. Началась эвакуация учреждений. На север сплошь потянулись бесконечные поезда. Пассажирское движение приостановилось.

Черная туча нависла над Воронежем и Воронежской губернией.

Но постепенно стало проясняться. Казаков оттеснили. Восстания потухали. Население уездов, куда ворвались казаки, поднялось на защиту родных деревень.

Я вглядывался в совершившееся и задавал вопрос, который тысячу раз все задавали себе: как могло случиться, что наше почти триумфальное шествие через Донскую область, наше блестящее положение вдруг сменилось почти катастрофическим положением, почти разгромом, и враг ворвался в Воронежскую и

другие губернии?

Это очень сложно и распутается медленно и трудно.

Я хочу обрисовать только кусочек той борьбы, которую вела Красная Армия на Дону.

Чем объяснялось победоносное, почти триумфальное шествие по Донской области Красной Армии, остановившейся местами лишь в двадцати верстах от Новочеркасска. Красная Армия дралась великолепно в Воронежской и Тамбовской губерниях и в северной части Донской области, – она сломала стойкого врага. А потом в громадной степени оглушительный успех объяснялся разложением в рядах армии противника. Это разложение целиком зависело от настроения населения.

Донское казачество измучилось, истомилось за годы кровопролитной царской войны, а потом гражданской. Ведь это же без передышки.

А тут при всех трудностях в трудовое казачество просачивалось представление о советском строе как о справедливом строе трудящихся, без генералов, без офицерства, кото-

рое так осточертело казачеству.

И вот лопнула внутренняя скрепа в армии противника, и полки за полками стали переходить на нашу сторону или просто расходиться по домам.

Вот с этого момента и кладется начало нашим блестящим победам и нашему поражению: внешне мы победоносно шли все дальше и дальше, внутренне мы все ближе и ближе подвигались к поражению.

Что парализовало наши победы?

Прежде всего самоослепление, самоослепление и в военной области и в области гражданского строительства.

На огромное пространство тоненькой ниточкой протянулся тогда Южный фронт. Сзади не было резервов, в полках не было пополнения, и, усталые, они часто сводились до минимума штыков. Политически армия обескровливалась – в нее перестали вливать коммунистов. Санитарная обстановка – убийственная, иногда целую дивизию приходилось отводить в тыл, – ее пожирал тиф. И тело и душа армии слабели.

А красные ряды все шли и шли вперед, по-

что не встречая сопротивления, и победы за-
слоняли всем глаза.

А население?

Его не видели. Мимо него шли к Новочер-
касску. Победы заслонили и население, его
чаяния, его нужды, его предрассудки, его ожи-
дания нового, его огромную потребность
узнать, что же ему несут за красными ряда-
ми, его особенный экономический и бытовой
уклад.

И никто-никто не крикнул:

– Товарищи, бейте тревогу, нас одолевают
победы!.. Давайте пополнений, а на нас идет
гроза: мы побеждаем! Шлите коммунистов,
объявите партийную мобилизацию в два-
дцать, тридцать, сорок процентов, или нас за-
душат победы!..

Никто в страшной тревоге не крикнул это-
го.

Скажут: как же кричать, когда и без того
все напряжено до последней степени, все вы-
черпано до дна?

Но разве перед Колчаком не было такого
же положения?

Все было напряжено до последней степе-

ни, все было вычерпано. И, однако, когда Колчак очутился у Волги, явились и пополнения и мобилизованные коммунисты.

И неужели надо было ждать, чтоб грянул Деникин, чтоб оказались и пополнения и возможность партийной мобилизации для юга. Теперь все это есть.

Одно необходимо усвоить: при победах не кричать до самозабвения «ура», тогда и поражений не будет.

Население Донской области за то, что мимо него проходили, как мимо порожнего места, жестоко отомстило.

Нужно знать казаков, чтобы расценивать в полную меру. Южане – подвижные, впечатлительные, способные заразиться дико вспыхивающей ненавистью и враждою, иногда упорные и настойчивые.

И вероломства у многих достаточно. С врагом заключит перемирие, целуется, обнимается, а сам втихомолочку сзади и рубанет шашкой, ибо по отношению к врагу все дозволено: так учили атаманы.

И тут же рядом – преданность делу, которое считают справедливым, и в этом случае

настойчивость и упорство.

Веками воспитаны в национализме, обособленности, особенно поддерживаемых при царизме: казак – это высшая порода, а спокон веков поселившийся на Дону великоросс или украинец – это низшая людская порода, к которой казак относится свысока.

Казаки ведут экстенсивное хозяйство. Чтоб добыть количество продуктов, необходимое для жизни, казаку нужно много скота, земли, орудий. Казак-середняк, перенесенный в центральную Россию, конечно, попадает в слой кулаков.

Казак-бедняк – это совсем не то, что безлошадный бедняк в России. У него и лошадь, и корова, и землю пашет, и в то же время это действительно бедняк, кровавым потом отстаивающий жизнь. Бывало, как ни надрывается, не сдюжает справиться сыновей на службу, у него продают последнюю коровенку и отнимают земельный пай, который сдают в аренду, чтоб покрыть справу сыновей.

Казачество, несомненно, экономически расслаивается, и расслаивается быстро. Но в сознании этот процесс не отпечатывается так

отчетливо, как в России. Деревенский бедняк издалека видит мироеда, боится его и ненавидит. Слабеющий экономически казак не видит так отчетливо своего кулака.

Он враждебен своему офицерству, генералитету, давлению которых он ощущает главным образом как давление представителей сословия, касты, военщины. Он высокомерно враждебен ко всем иногородним, которые в огромном большинстве сами эксплуатируются казачеством.

Победители прошли мимо всего этого с задернутыми победой глазами. Видели только один Новочеркасск, который надо было взять.

Если прибавить необъясненные населению возложенные на него тяготы, если прибавить ужасающее отсутствие литературы, элементарного живого человеческого слова, то станут понятны густые потемки, зловеще окутавшие казачество, – потемки, в которых и советская власть и, главным образом, коммунистическая партия вставали в дико извращенном виде.

И казаки пришли к выводу: ошиблись, ошиблись и надо исправлять.

И потянулись на веревках опущенные по рекам пулеметы, стали подымать зарытые в землю орудия, вытаскивать из стогов ящики с патронами.

Кто припрятал оружие?

Конечно, в первую очередь отступающие красновские части. Затем богатеи казаки, офицерство, которое оставалось по местам, затаив ненависть к надвигающемуся новому строю, несшему смерть их беспечальному житию. Наконец, и рядовое трудовое казачество не без греха. Дух азиатчины сказался. Хотя совершенно искренне, доброжелательно, с хлебом-солью встречали советскую власть, а патроны и винтовки все-таки припрятали на всякий случай:

– Кто ево знает, как оно дальше будет...

Представители партийных и советских организаций вскинулись: началась чистка властей по станицам и хуторам. Пришлось местами расстрелять примазавшихся к коммунистам и даже коммунистов, опозоривших себя злоупотреблениями и насилиями, с широким оповещением населения о принятых мерах, – но было поздно.

Огненная река восстания злоеще запылала в тылу армии, ослабляя ее, внося расстройство.

Был организован специальный экспедиционный корпус для подавления во что бы то ни стало.

Но как при гражданском устройстве не считались с особенным экономическим, бытовым и психологическим укладом казачества, не считались с живыми условиями действительности, так и при подавлении восстания, ослепленные представлением собственной силы, не учли фактической силы восставших, силы казачества. Лезли напролом, лишённые творчества и комбинации. Бросали единицы по частям, а их били. Снабжение было представлено отвратительно, части стонали от острого недостатка снарядов и продовольствия. Не хватало специалистов – в роте связи вместо шестнадцати процентов телеграфистов только три. Курсанты, будущие красные офицеры, сводились в боевые единицы, бросались по частям, и их истребляли. Коммунистов, вместо того чтоб вкрапливать по войсковым частям, тоже сводили в боевые

единицы и посылали в бой; они несли чудовищные потери, в конечном счете без пользы для дела.

А между тем некоторые части, не одухотворенные коммунистами, оставляли позиции, открывая дорогу врагу.

Здоровые же части дрались беззаветно, но в общем ходе не могли ни потушить восстания, ни предупредить соединения восставших с деникинцами.

Вот несколько отрывков из донесений и докладов:

«Высшее командование по-прежнему отдавало приказы о наступлении, говоря, что справа и слева также наступают, чего не было. Казаки быстро ориентировались, ударили с флангов – поражение, паника».

«Задаются невыполнимые задачи, не считаясь с фактическим количеством бойцов. Это вызывает недоверие к высшему командному составу: подозревают или в незнании истинного положения вещей, или в предательстве. Полное отсутствие снабжения создает неблагоприятные условия боя, вызывая бездеятельность и безрассудность жертв,

уменьшая сознательных, преданных коммунизму борцов».

«В бригаде нет роты связи, нет саперной роты. Десятки миллионов ежемесячного содержания бригады не окупаются. Информация сверху отсутствует. Литература, газеты задерживаются. Финансы задерживаются, создавая невозможные условия работы политотдела. Отсутствие связи сотрудников с домом (почта отвратительно работает), неизвестность положения их семей уменьшает продуктивность работы, учащаются просьбы об отпусках».

С участков фронта поступали сведения:

«Разница обмундировки в тыловых и фронтовых частях ставит политработников в фальшивое положение – постоянно приходится выслушивать жалобы красноармейцев».

«Литературы мало. Газеты страшно опаздывают. Снабжение и санитарная часть отвратительны. Красноармейцы ходят во многих частях голодные, босые. Медицинской помощи никакой. Несмотря на все это, красноармейцы настроены хорошо, дерутся прекрас-

но. Коммунисты умирают героями».

«В коммунистическом полку 1000 чел. После боя 7 июня осталось 400 штыков. Снабжение неправильно и несвоевременно. Газеты нерегулярны. Горячей пищи люди не получают. Мобилизованные двадчатки приходят без одежды. К командному составу отношение благоприятное, но к высшему, начиная с бригадного, недоверчивое».

«N-ский полк был окружен противником силою в 2000 кавалерии и 1000 пехоты и артиллерии. Воодушевленные командиром, красноармейцы дрались отчаянно, прорвали ряды врага, не оставив ему ни одной винтовки, ни одного пулемета, унося с собой 150 убитых и раненых, в то же время нанеся противнику огромные потери. 1-я батарея N-ского артиллерийского дивизиона участвовала в бою вместе с N-ским полком, своими действиями создавая панику среди казаков, соперничая с их 10 орудиями тяжелой артиллерии».

Вот при каких условиях специальный экспедиционный корпус подавлял восстание на Дону. В конце концов через восставшие в тылу корпуса прорвались деникинцы, и Красная

Армия вынуждена была очистить область.

Какие же выводы?

Опасные моменты – не только тогда, когда мы терпим поражение, но и когда побеждаем. И воинские мобилизации и мобилизации коммунистов в высшем размере, и усиление снабжения надо производить во время побед, иначе гражданская война будет у нас тянуться бесконечно.

Нужно целесообразно использовать людской материал. Нельзя, при огромном недостатке красных офицеров, курсантов бросать в бой как рядовых, кладя их чуть не поголовно. Нельзя коммунистов, этот драгоценный одухотворяющий материал, сбивать вместе в отряды и посылать в бой как рядовые штыки, где они тоже ложатся чуть не поголовно, а армия остается без одухотворяющего авангарда и разлагается.

Необходимо считаться с реальной обстановкой: нельзя закрывать ослепленных победами глаз на фактическое соотношение сил. Казачество по своему экономическому и бытовому укладу совершенно своеобразно, оно представляет огромную боевую силу, и с этим

необходимо считаться.

По мере занятия области необходимо наводнить ее коммунистами для постройки советской власти, для разъяснения основ ее населению и углубления в сознании казачества классового расслоения, – чего совершенно не было сделано в предыдущую кампанию. Но посылать туда коммунистов прямо, без подготовки, нельзя. Рабочий городской быстро находит общий язык с крестьянином в деревне. Казак в таких своеобразных условиях, что к нему подойдешь только с большим трудом, и все же черта недоверия будет долго лежать, не стираясь. Необходимо организовать хотя коротенькие курсы, чтоб ознакомить отсылаемых с тем, куда и к кому они едут, каковы там условия, что и как надо делать. Только чтобы это не были избитые митинговые речи. Нужно просто, спокойно говорить разговорной речью и как огня бояться «идеологий» и прочего.

При занятии области и при устройении советской власти необходима реальная сила в виде гарнизонов.

Деникин будет сломлен, область будет за-

нята, но если сейчас же не будет начата подготовка кадра коммунистов, которые должны будут заполнить ее работой, не придется ли очищать ее еще раз, или по крайней мере изнурительно долго тушить загорающиеся то там, то здесь восстания.

Надо помнить, что в последнее восстание вместе с боевыми казаками у пулеметов с диким воем ненависти черной тучей шли женщины и дети из зажиточных семей казачества.

В огне*

Труд – горькое проклятье.

Труд – благословенное человеком счастьем.

I

Много лет назад на юге ехал я в Юзовку. На одной станции наш поезд задержали. Жара, пыль, мухи – тоска.

Окруженный тревожной толпой железнодорожников, начальник в красной фуражке на все расспросы сердито молчал и, не отрываясь, как и все, смотрел в далекую синеву,

откуда выбежали пути.

Там засверлило, запылило, родился белый клубочек, разросся поезд, громыхая на стрелках, поравнялся со станцией, пронесся и пропал. Начальник снял красную фуражку и перекрестился.

На одно мгновение я уловил сквозь блеснувшие огромные зеркальные стекла салон-вагона матово-точное лицо красивой молодой женщины, цветы, бархат, надменное лицо холеного молодого человека и в глубине в ленивом кресле – тяжелого пожилого господина с огромным брюхом, обтянутым белым жилетом, по которому блеснула золотая собачья цепь.

Все пропало, как сон.

Начальник повеселел.

– Миллионер, миллионами ворочает, – заговорил он, молитвенно глядя в далекую синеву, где ничего уже не было, – дочь выдал замуж, свадебное путешествие, и сам с ними. Свой экспресс. Все поезда по пути задерживают, его пропускают. Пока прошел мой участок, верите ли, сердце остановилось. Случись что-нибудь, на край света загонют, – как

можно! Сколько акций у него юзовского завода! А рудных шахт! А угольных! Да все кругом в руках их компании. Ну, слава богу, пронесло. Иван, давай звонок почтовому.

В Юзовке надо было разыскать машиниста.

Пошел через базар. Огромная, глазом не окинешь, площадь вся была заставлена поднятыми к небу оглоблями, – воскресный день.

И чего только тут не было! Целые возы яиц, сало в четверть толщины, баранина, арбузы, виноград, горы белого хлеба, молоко, сметана, творог.

На краю Юзовки в крохотном двухэтажном домике я разыскал семью машиниста.

Женщина, с заострившимся носом и лицом, с замученными глазами, держала желтого одутловатого ребенка; в кулачке у него был зажат обмусоленный кусочек черного хлеба. Две девочки-погодки, трех и четырех лет, цеплялись за подол матери. Мальчуган лет шести навалился животом на кошку и тиранил ее. Испитые были дети.

Тонкошей, не по летам серьезный, девятилетний мальчик, должно быть старший,

внимательно смотрел на меня большими, в глубокой синеве, глазами.

– Самого-то нету, на заводе работает.

– Да ведь сегодня воскресенье.

– Все одно работает. Вот Митя проводит вас.

В огромной раскинувшейся среди высоких обрывов лощине разлегался гигантский завод, весь задымленный. Внизу среди стлавшегося моря сизо-черного дыма плавали макушки зданий.

Из этой мутно волнующейся пелены несли грохот обрушивающихся молотов, падающего железа, сталкивающихся вагонов, гул пожирающих топок, бурное клокотание раскаленно-жидкого металла, непрерывающийся лязг, и надо всем – ад неукротимо палящего дымного солнца.

Человеческих голосов не было слышно.

Мы спустились с обрыва. У заводских ворот – толпа рабочих с голодными глазами. Кто сидел, кто стоял, кто лежал и ковырял землю.

– Дожидаются, а наемки все нету, отоцали дюже, – сказал мальчик. – Тут, когда ни при-

ди, всё дожидаются, хочь зимой, хочь летом, днем и ночью, так и стоят.

Я выправил пропуск, и мы прошли на завод.

В черном дыму, в горькой копоти солнце пробивалось маленькое и чугунно-красное, железно метался нестерпимый грохот, лязг, скрежещущий металлический стон, — люди объяснялись знаками.

Мальчик привел к бесконечно длинным, врытым, низко придавленным, чуть выглядывавшим из земли сводам. От их раскаленных кирпичей воздух знойно дрожал; печи нескончаемо тянулись параллельными рядами, а в их боках бесчисленно чернели чугунные дверцы.

По проложенным между ними узеньким рельсам двигался крохотный паровозик, только одному человеку стать, и лежал на паровозике железный брус с поперечиной на конце. Остановится паровозик перед дверцами, подскочат с двух сторон двое рабочих, длинными железными крючьями распахнут обе половинки дверец и отпрянут назад.

А из разверстой печи хлынет такой осле-

пительный, такой невыносимый жар, что у машиниста волосы начинают корежиться, а по землисто-бледному и неподвижному лицу сплошь густо и непрерывно льет пот.

Машинист поворачивает рукоятку, и железный брус, громыхая, лезет с паровозика, въезжает в самую печь и выпихивает на другую сторону гору добела раскаленного кокса. Коксовальные печи.

Брус, гремя, выбирается назад, паровозик подъезжает к другим дверцам, они опять распахиваются, опять брус выгребает на ту сторону раскаленную гору кокса, и так без конца.

– Это – папаня! – закричал мне в ухо мальчик и подбежал к машинисту, всячески укрываясь рукавами от сжигающего жара.

Я задыхался и не знал, куда деваться.

Машинист знаками что-то объяснил. Мальчик потянул меня, и мы выбрались из ада.

– Папаня сказал, чтоб шли домой, он зараз придет, там с вами будет разговаривать.

Уже ночь стояла, черная, дымная, без звезд. Мы с обрыва смотрели на завод.

Над домами полыхало неизмеримое дьявольское пламя; обманчиво мигали не то багровые облака, не то тучи распластавшегося дыма.

Человеческих голосов не было слышно.

Дома на клеенчатом столе мурлыкал шипящий самовар, на тарелке белели яйца, в кувшинчике молоко, стояло масло, нарезан ситный.

Пришел машинист. Поздоровались. Детишки облепили стол и глядели голодными глазами.

Машинист сел к столу.

– Мать, дай-ка чаю.

– Не дам, поешь спервоначалу.

– Ну, как у вас там?

– Да вот литературу привез.

– Доброе дело.

Он облупил яйцо, откусил, да вдруг странно ткнулся в стол, уронив голову, с куском откушенного яйца во рту.

– Митька, али не знаешь своего дела?! – закричала мать.

Мальчик стал тормошить отца и тянул плаксиво:

– Папаня, да ну-у, будет! Не спи, поешь, потом будешь спать.

– Ну, ладно... хорошо... – отшатнулся тот и опять ткнулся и уронил голову.

Мальчик опять его затормошил. Маши-нист стал вяло жевать и с виноватой улыбкой, делая усилие поднять отяжелевшие веки, сказал:

– Сморился дюже. Ну, пойду. Мы с вами утром потолкуем, я свежий буду. Вы ночуйте у нас.

В другой комнатке закрипела кровать, и послышалось его свистящее, залиvistое дыхание. Ребятишки сейчас же окружили стол и закричали на все голоса:

– Дай!.. Дай!.. Да-а-ай!..

Мать их оттаскивала и торопливо прятала яйца, белый хлеб, молоко.

– Цыцьте!.. Зараз вечерять соберу, это папке утром.

Поднялись визг и плач. Она шлепнула одного, другого, поставила миску, налила квасу, крошила черного хлеба, луку, и ребятишки стали носить пузатыми деревянными ложка-ми.

– Почему ваш муж и в воскресенье работает?

– Господи, – сказала она, – ды ведь всегда. Ни праздников, ни воскресных дней нету, печи-то бесперечь горят, не тухнут. Только что на пасху – два дня, да на рождество – день, а то круглый год. Двенадцать часов проработает, двенадцать его товарищ, так и сменяются.

– А если заболел?

– За все время полагается только три недели болеть, ежели больше – за ворота. У моего-то воспаление легких было. Пролежал три недели, доктор сказал – еще поправиться надо, а он стал на работу, – семья. Доктор велел кормить, а сами видите, какой едок, в рот не вопхаешь. Придет, только бы до постели добраться. Обед пошлешь на завод, от жары не ест. Только что утром перекусит.

Она вытерла глаза и высморкалась в угол платка.

– Ребятишек жалко. Да на двадцать два рубля в месяц не дюже раскормишься. Яйца-то как подорожали, разве мысленно!

Ребятишки налили раздувшиеся животы квасом, напхали луком и черным хлебом и,

облизав ложки, расползлись спать. Только старший стоял возле с прозрачным лицом и, вытянув тонкую шею, внимательно слушал.

– Этого-то вот в училище надо бы отдать, просится, а мы в трахтир определяем, в мальчишки... куды же деться?

Она опять всхлипнула и вытерлась уголком.

Всю ночь меня давило. Будто земля провалилась в черный провал несказанных размеров и будто весь провал застлало дымом. И будто стоит в нем с серым железным лицом громадный человек, и черные ямы вместо глаз, только железные плечи выставились из дыма, и будто в руках у него четыреххвостка, и вплетены в нее железные концы. И в дыму не слышать человеческих голосов, а все знают – там полно людей, и несутся оттуда железный стон и лязг, и надрывающийся металлический грохот, и нет этому конца, и нет ему предела...

II

Пришлось недавно мне опять проезжать через Юзовку, теперь Сталино. Зашел в знакомый домик. Встретила молодая женщина

приветливо, с ребенком на руках:

– Вам Митю? Он сейчас придет.

Подождал. Хлопнула дверь. Вошел с бледно-темным от сажи и огня лицом молодой рабочий, в грязном, замасленном и прожженном костюме.

Я назвался.

– А-а, как же, помню. А меня бы не узнали, мальчишкой ведь был тогда. Садитесь, пожалуйста, вот сюда. Анюта, дай нам чайку. Папаша помер, года через два после вас... чахотка. Замучили. Я на его месте теперь. Мамаша с старшей сестрой уехали.

– Что же, тяжело и теперь?

– Как же не тяжело, в огне. Ну только, разумеется, не то, что было. Во-первых, семичасовой рабочий день, работа сменами, во-вторых, выходной день есть. Опять же профессиональный союз, завком, – ну, да совсем другое. Как же. Недаром революция пришла. Конечно, трудно, и деньги задерживают, и продукты, и спецодежды не добьешься. Ну, да ведь знаешь, не на век, а все понемногу лучше, – гляди и вылезем. Теперь по крайности надежда есть – вылезем, беспременно вылезем.

зем, а ведь тогда беспросветно.

И я вспомнил, как много лет назад стоял на станции. Жара, пыль, мухи – тоска.

Начальник станции в красной шапке, с напряженной тревогой на лице. Толпа железнодорожников, жадно глядевшая в даль убегających путей.

А там засверлило, запылило, родился белый клубочек, разросся в поезд, и он, громыхая на стрелках, пронесся мимо станции и пропал. Начальник снял красную фуражку и перекрестился.

На одно мгновенье я уловил сквозь блеснувшие зеркальные стекла салон-вагона матово-точное лицо красивой молодой женщины, цветы, бархат, надменное лицо холеного молодого человека и в глубине, в ленивом кресле – тяжелого пожилого господина, с огромным брюхом, обтянутым белым жилетом, по которому блеснула золотая собачья цепь.

Все пропало, как сон.

Да, все пропало, как сон: оттого Митя так твердо уверен, что вылезем.



Как же не вылезть? Кровососов с золотой собачьей цепью уже и след простыл. А народ взялся навести порядок, строить новую лучшую жизнь.

Вернулся я из Сталино в Москву, на свою Пресню. И что же увидел?

По Пресне шли воскресники. Кусал мороз усталые красные, но веселые лица. Шли дружно, и дружно шла над ними густая, не вмещающаяся в улице песня, – говор, смех, шутки.

Стояли кучки народу, удивлялись и смотрели.

– И чево радуются! – говорили бабы на углах, поджав стынущие руки. – Голодные, холодные, раздетые, квартиры-то нетопленные, да еще, сказывают, задарма работают по воскресеньям.

А им бросали молодые оживленные голоса с веселыми сверкающими улыбками:

– Эх, мать! Да потому-то и радуемся, что, впроголодь, не одетые, свою, а не чужую судьбу строим. Ты глянь, сколько мы на Александровской дороге дров перекидали, сколько провианту выгрузили, сколько для деревни

мануфактуры погрузили. А это все для нас да для вас. То-то и весело. Ты глядишь в книгу, да видишь фигу. А ты разуй глаза: какой день для трудящихся-то начинается! Гляди, ты гляди, что будет! Вольная жизнь, ласковая жизнь, и счастья полно человеческого.

И в народе тоже светлели лица и говорили;

– Стало быть, правда. Чего бы им тянуться? Я сам видел, как работают, – горит в руках. Знамо, на себя работают, не на другого. Пойти и нам, видно, в энто воскресенье поработать. С каждого по нитке, а голому миру рубаха огромная, всех оденет.

А над пресненцами уже плыло густо, дружно, могуче, покрывая дома и улицы:

*Вста-ва-ай, про-кля-тьем за-кле-
мен-ный,
Ве-есь ми-ир го-лодных и ра-бов...*

На панском фронте*

Знойное небо, чудесное расплавленное солнце, от которого давно у всех загорели лица; ласковый горячий ветерок струится все в одну сторону, раскачивая березы; а под ними на песке судорожно играют живые тени и трепетные золотистые пятна. Пахнет до одури насыщенным смолистым запахом, голова кружится. Чайку бы попить в этой благодати да с книгой завалиться вон в той сосновой роще.

А вместо этого головы всех подняты вверх, и глаза напряженно следят. В голубой высоте то сверкнет, как длинная спица, то погаснет, и снова знойная голубизна, и опять сверкнет.

– Каждый день бомбы кидает. Летает вот рукой подать, за лес крыльями цепляется, а ничего не поделаешь: пулеметы не берут, снизу блиндированы, а пропеллер – туда не попасть.

– Погоди, – говорит другой красноармеец, – вот привезут наши, перестанет зря мотаться над нами.

Длинная игла в небе совсем погасла.

– В тыл полетел, эшелоны все ищет.

Стоит красавец, сажень косая росту, плечистый, стройный, пышет алая фуражка; до самой земли кривая кавказская, похожая на ятаган, шашка, вся в серебре, с чернью. Весь он затянут, все в нем кокетливо-воинственно и отважно. Чувствуется лихой кавалерист.

– Вот приходится со своими же поляками воевать. Да, я – поляк из Вильны.

– Как они дерутся, поляки-то?

– Да как вам сказать, есть пехотные части стойко бьются, а кавалеристы наших атак не принимают. Два раза водил свой конный отряд в атаку, оба раза не приняли, показали тыл. А одеты – один шик. Тут, – он провел пальцем вокруг горла, – оторочено черным барашком; в таких коротких затянутых мундирчиках, – загляденье. Конечно, в общем сейчас дерутся хорошо, но как только нас подпрут резервами, разобьем, у меня нет сомнений. Только вот злодеи мучают наших пленных, такие пакости делают. Я сам видел трупы наших пленных красноармейцев; знаете, не хочется и рассказывать, что проделывают! Что турки когда-то.

Толпа красноармейцев, сгрудившаяся во круг, тяжело молчала, не глядя друг на друга.

– А по-моему, так, – заговорил кавалерист, – пленных брать, кормить-поить, хорошо обходиться, а сколько наших изуродуют, столько ихних, так же с этими сделать и положить в халупе, а самим уйти и записку оставить. «Смотрите, мол: вы наших – и мы ваших, как раз столько же, не больше, не меньше».

– Верно. Так... – загудели кругом голоса, и красноармейцы оживились.

– А у нас, на Восточном фронте я был, – заговорил небольшого роста красноармеец, с большими ушами и хитроватыми на несмеющемся лице глазами, сухопарый и подвижной, должно быть из рабочих, – так что делалось? Казаки, резали из спины наших пленных ремни, выжигали на груди звезду, закапывали живыми. Ну, мы в долгу не оставались. Так и шло. А потом додумались: взяли в плен целый полк – бородачи, зверье. Грязные, обовшивели, оборванные. По-волчьи глядят из-под насупленных бровей, ждут расправы.

Ну, комиссар послал их перво-наперво в бани. Вымылись, дали им чистое белье, одежду, а когда вышли из бани, – встретили оркестром; как грянули, они обалдели: стоят, разинули глаза, ничего не понимают. А вечером устроили им митинг, рассказали, что они нам братья, – только глаза им заволгло. Повели в театр, кинематограф, концерт устроили. Так сами, когда пришли в себя от изумления, все встали, как один человек, в Красную Армию и, как звери, дрались со своими, с белыми.

Красноармейцы молчали, вопросительно поглядывая друг на друга, не умея определить своего отношения к рассказанному.

– То есть, – сказал кавалерист, – они наших будут уродовать, а мы их будем угощать?

– Товарищ, – сказал с смеющимися глазами, – чего ты, десять лет хочешь воевать?

– Как!

– Да ежели мы им носы и все прочее начнем резать, так ведь они, как звери, будут драться до самой Варшавы: сколько нашего брата поляжет! А если по-братски с пленными, после первого хорошего нашего удара рассеется вся армия, вот посмотрите.

И странно, по толпе пробежало оживление, засверкали улыбки, и дружно загудело:

– Ясное дело.

– Отдан приказ не трогать, ну и не трожь...

– Верное дело. Кто сам себе враг?.. Кому охота затягивать войну?..

А на песке все так же трепетно играли ежеминутно меняющиеся золотистые пятна.

Белопанская армия*

Знание врага – это половина победы.

Что же такое белая панская армия?

Это регулярная армия, хорошо организованная и снабженная – опытный командный состав из польских офицеров русской царской армии, французские инструктора.

И если у Юденича, у Деникина, у Колчака в известной мере были банды, то ни в каком случае нельзя назвать бандами польское войско. Это в полном смысле регулярная европейская армия.

Поляки в армии разделяются на легионеров, или варшавян, и на познанцев. Особенно хороши в военном отношении познанские полки. Крепкие, стойкие, отличные стрелки.

В атаку идут сомкнутыми колоннами, как ходили немцы. Пулеметы их косят, а они неудержимо подвигаются через трупы и в конце концов доходят, ибо их много.

Один из начальников дивизии сказал мне:

– Познанцы тупы, индивидуально тупы.

Я думаю, это не тупость, а тяжеловесность, свойственная немцам. В немецкой армии познанские полки были лучшими.

Легионеры, или варшавяне, полегче.

Хотя и они отлично дерутся, но нет у них той тупой стихийной силы, которая делает столь тяжелыми в бою познанцев.

Между познанскими поляками и варшавянами, как это ни странно, вражда. По данным разведки, за Березиной однажды произошло целое ожесточенное побоище между эшелонами познанцев и легионеров. Пущены были в ход ручные гранаты, винтовки, пулеметы. Чтоб утихомирить, польское командование вынуждено было двинуть на них другие части.

Материальная часть – это только пятьдесят процентов возможной победы, другие пятьдесят процентов падают на духовную

крепость и силу борющихся, на тот внутренний подъем, который бросает в огонь воинов. Какова эта сторона в польском войске?

В штаб приводят пленного легионера, начинается допрос.

– Чем занимался до призыва?

– Батрак, у пана в имении работал.

– Земля есть?

– Нима.

– Семья есть?

– Е.

– Сколько получал в день?

– Четыре марки.

– Сколько стоит фунт хлеба?

– Четыре марки.

– Чем же семью кормишь?

– Панечку дае трошки хлеба.

– Безвозвратно? В пособие?

– Ни, буду отрабатывать после войны.

– За что же ты воюешь?

– За отчизну.

– Да эта отчизна только дерет с тебя.

– Панечку обещал дать трошки земли, как война кончится, и лошадь.

Он стоял, тяжело потупившись, ожидая,

что сейчас поведут на расстрел. И был страшно изумлен, когда повели не на расстрел, а в питательный пункт, накормили, напоили.

Вводят второго легионера.

– Кто по национальности?

– Еврей.

– Чем занимался?

– Слесарь из варшавского железнодорожного депо.

– За что воюешь?

– За отчизну.

Допрашивающий товарищ даже подскокил.

– Рабочий и еврей, над которым паны не переставали изощряться в издевательствах, идет класть голову за эту подлую панскую отчизну!..

Легионера передернуло: сейчас на расстрел. Товарищ успокоил.

– Не бойтесь, худого вам ничего здесь не будет сделано. Мы – ваши друзья. Только не укладывается в голове, что вы, именно вы, идете драться за панскую отчизну.

– Большевики – разрушители, они все грабят, убивают, мучают, камня на камне от них

не останется.

– Да откуда вы это знаете?

– Вся Варшава полна этим.

И опять был поражен, что повели не на расстрел, а накормить.

Панская армия будет наголову разбита.

Есть ли к тому основания?

Есть.

Тайное станет явным*

Над польской армией, над польским народом зловеще тяготеет мрачное наследие прошлого: ненависть к москалю, взлелеянная подлым царским режимом угнетения, и обман – величайший наглейший обман, которым сумели опутать польский народ паны-помещики, паны-ксендзы, паны-офицеры, паны-учителя, паны-литераторы, всякие паны-интеллигенты.

Нужно знать неизмеримое влияние польского ксендза на население: его паства – это в буквальном смысле бессловесные рабы, без воли и разума по отношению к нему.

Наш деревенский поп – овца и размазня рядом с ксендзом, образованным, умным, сто-

ящим над толпой, глубоко ее презирающим и ни перед чем по-иезуитски не останавливающимся. И вот эти люди пронизывают польскую армию.

Это – черно-огненные агитаторы, нередко с крестом в руках бросающиеся в битву и увлекающие солдат. Для них, как и для всего панства, все поставлено на карту: в тылу, в недрах польского народа глухо клокочет недовольство, впереди – ярко разбрасываемые искры уже совершившейся социальной революции. Надо загасить эти страшные искры, – от этого и бросаются в шрапнельный огонь с крестом в руке.

Я уже не говорю о лживой панской литературе, о печати, которая заливает темнотой всю польскую землю; не говорю о преследованиях рабочей печати, об уничтожении для рабочих свободы слова, собраний, об обысках на вокзалах, о жандармерии, превосходящей царскую жандармерию, об осадном положении.

Туман, непроницаемый и удушливый, едко выедающий глаза, разлился над польским народом.

В этом огромная сила попов. В этом и гибель их.

Самый великолепный обман, чрезвычайно искусно построенный, все же в конце концов – обман и неизбежно раскроется.

А как только раскроется, в эту дыру все провалится: и прекрасная организованность армии и снабжения, и всяческая помощь Антанты, и паны, и ксендзы, и страшное кровавое рабство польского народа.

А обман то там, то здесь понемногу начинает давать трещины, понемногу расползается. По агентурным сведениям, по рассказам перебежчиков и пленных, польские большевики, несмотря на невероятные трудности, все же работают в армии.

Наши листовки, воззвания, несмотря на дьявольское сопротивление панов-офицеров, панов-ксендзов, панов-жандармов, все же проникают к польским солдатам.

Что Красная Армия не расстреливает, не мучит, не издевается над пленными – хотя медленно, все же просачивается в польские полки.

Наконец, то, что делается там, у них в при-

фронтальной полосе, не может, хоть медленно, хоть трудно, не стать известным, ибо оно разрушает военную организованность, подводя солдат под удары.

Наши разведчики как-то проникли за Березиной в тыл и включились в линию военных телефонов. Слушают, слушают, ничего не разберут. Сердиться даже стали – разговор непрерывный, а какую-то чепуху несут, ни слова о военных делах.

Оказалось, паны военными проводниками преспокойно обслуживают свои имения, ведя свои хозяйственные разговоры и мешая, разумеется, чисто военному обслуживанию телефонов.

В одном месте польское командование составило план не больше, не меньше как захвата штаба одной из наших дивизий. План был великолепно разработан, до тонкости, местность благоприятствовала, кулак был организован, и вдруг все рухнуло: один из польских полков от соприкосновения с нами полностью разложился. Полк расформировали.

Пусть это единичный факт, но это первый

гонiec смерти панской армии.

Что же удивительного, если в польском тылу немало дезертиров, если тюрьмы полны? И ведь это при всеобщем одушевлении и самое главное – при победах....

Да, в польской панской армии заложена гибель ей, заложена потому, что это – панская армия.

Красная Армия*

Конечно, обман, густо обволакивающий польский трудящийся народ, польского солдата, в конце концов рассеется, но ведь пока медленно рассеется этот туман, Советская республика может задохнуться.

Кто же ускорит это рассеяние? Кто разобьет эти цепи?

Красная Армия.

Что же такое Красная Армия?

Я был поражен разницей того, что я увидел теперь в армии, с тем, что наблюдал в позапрошлом году на Восточном фронте. Иные лица, иные глаза, иной ход мысли. Надо было оторваться от Красной Армии на полтора года, чтобы так ярко почувствовать эту переме-

ну.

Какая же колоссальная работа произведена за этот промежуток! И это при страшной разрухе, при недостатке бумаги, при губительном недостатке людей. Очевидно, не прямая только агитационная работа, – ее, несомненно, недостаточно было, – а вся обстановка жизни в Советской России, самый воздух, которым в ней приходится дышать, делает людей такими, а не иными.

В массе нынешние красноармейцы отчетливо понимают, что у них сзади, за что они бьются, кто их враг, чего он хочет. Даже деревня, с ее упрямством, медленностью, узеньким кругом интересов только своей избы, – даже она в армии быстро выравнивается по остальным.

Это, конечно, не значит, что красноармейцы ведут чистые, благородные, интеллигентские разговоры об империализме, о классовой эксплуататорской природе польских панов и прочем. Нет. Иногда по целым дням не услышишь слово «пан», или «советская власть», или «польский рабочий», «крестьянин», но среди обыденных разговоров об аму-

ниции, приварке, потертых ногах, о молоке, добытом в деревне, какое-нибудь оброненное слово о польском пане, смех, замечание или крепкая неудобно-сказуемая характеристика вдруг осветит красноармейскую душу до дна. Инстинкт вражды к барину уже шагает через национальные перегородки. И польский пан такой же лютый враг, как и русский барин.

Смотры и парады с незапамятных времен носили всегда лицевой характер; изнанки там не увидишь. В значительной степени такой характер они носят и теперь, – это неизбежно, да, пожалуй, и законно. Но прежде видел однообразные каменные лица солдат, у которых все глубоко запрятано, а снаружи лишь одно – дружно пройти, гаркнуть и заслужить генеральское «Молодцы, ребята!»

И вот я видел теперь. Широкое-широкое поле. По краям голубеют леса. Походным порядком идет отряд за отрядом, часть за частью. Кого тут только нет: и пехота щетинится темными штыками, и артиллерия тяжело громыхает, и кавалеристы, и разведчики, и пулеметные роты.

Неожиданно приехал представитель цен-

тральной власти. Войска развернулись длинными шеренгами, стройно, уверенно прошли и построились покоем. Внимательно слушали краткий, чрезвычайно сжатый отчет о деятельности центральной власти. Полякам предлагали мир; шли на самые громадные уступки, быть может переходившие даже границы, лишь бы избежать кровопролития. Польские помещики ответили наступлением, взятием Киева. Теперь надо биться, биться всюду. Но надо помнить, – польский рабочий и крестьянин – не враг, а друг наш.

И какое грянуло «ура» польскому рабочему и крестьянину!

Да, так не говорили царские генералы, и оттого лица у царских солдат были каменные.

И я всматриваюсь в эти лица и неупускающие глаза со своей мыслью, со своей остротой. Сотни лет вбивали царя в голову народа, а вот в этих советская власть внедрилась в два года, и уж не отдерешь. Да, это армия победы.

Да ведь все это, скажут, субъективно: одному кажутся лица сознательные, бодрые, дру-

тому – не очень. Наконец, если даже и сознательные лица и глаза, да ведь неизвестно, как в деле-то будут эти сознательные воины?

Правильно.

Встретил под Киевом высокого, с желтым, осунувшимся, в щетине, лицом, человека. Одет в потертый подпоясанный пиджачок, глаза ушли вглубь, лихорадочно блестят, и он жадно, не отрываясь, курит махорку.

Я обрадованно узнал знакомого начдива. Этот лихорадочный блеск глаз, осунувшееся лицо, небрежность в одежде, жадность, с которой он затягивался, говорили о страшном нервном напряжении, нечеловеческой работе, без перерыва, целыми месяцами.

Он рассказывает:

– Ведь вот и побурчишь на красноармейцев, и иной раз с упреками к ним, а как попадешь в переделку, в самую крутую, тут вдруг во все глаза увидишь, какая это изумительная армия, железные люди. При отступлении от Бердичева одна из наших дивизий совершенно была окружена неприятелем в огромно-превосходных силах. Железное кольцо сомкнулось. Положение было совершенно без-

выходное. Дивизия была зажата в круге, диаметром в семь-восемь верст. На этом сдавленном пространстве паны без перерыва со всех сторон палили по дивизии из орудий, пулеметов, винтовок. Все засыпалось снарядами; в дыму, закопченные, в изорванной, обожженной одежде, отбивались красные воины. Мало этого. Поперек пути, куда надо было пробиваться, тянулись тройные окопы, старые царские окопы, сооруженные еще на случай наступления немцев на Киев. Эти окопы паны подновили и засели. Пришлось нам пробиваться сквозь тройную линию, брать укрепленные позиции. Дивизия дралась отчаянно, выбила панов из окопов... Познанцы шли стеной, добыча, казалось, была в их руках. На дивизию кинули кавалерию. Кавалерию не только отбили, но ухитрились отрезать и окружить эскадрон и истребили подавляющую силу врага.

Да, познанцы ходили в атаку густыми сомкнутыми колоннами, ходили в упоении первых побед, чувствуя свое огромное численное превосходство, обнадеженные своим начальством, что Красная Армия разложилась, что

от нее остались только банды. Но самое главное – все были уверены, – один громовой удар, взятие Киева, и война кончена. Оттого поляки так бешено рвались.

В совершенно другом положении была Красная Армия. Подавляемые громадным перевесом сил, захваченные вероломством польских панов врасплох, без подкреплений, без ближайших надежд на них, красные воины дрались по-львиному. И смутная тревога закралась в черную душу панов. Кто сказал: это – Верден?

Вы видите теперь: то, что написано на лицах наших боевых товарищей, то есть и на деле.

Два процесса параллельно нарастают.

Паны все больше и больше обжигаются, и скоро познанцы перестанут ходить в атаку сомкнутыми колоннами, если уже не перестали.

Красные воины крепнут числом и духом, ибо им не доставало только числа.

У польских рабочих и крестьян в американских мундирах все больше и больше открываются глаза на Советскую Россию, на

своих братьев – рабочих и крестьян российских, и клонятся долу и замирают в руках французские штыки.

У красных воинов твердо подымается в руках винтовка на польского пана.

И польские паны, и познанцы, и легионеры идут все время под гору. Красные воины все время подымаются в гору.

И тем не менее ни на секунду нельзя ослаблять страшного напряжения: надо не только победить, надо победить в кратчайший срок.

А мы все, кто остается в тылу, ни на секунду не должны забывать о наших боевых товарищах, – ведь головы кладут.

Мало кричать: «Да здравствует Красная Армия!» – и со слезами принимать резолюции, – надо на деле любовно помочь и облегчить участь наших братьев.

Ни то ни сё*

Оружие, численность, дух. Что еще надо для победы?

Благожелательный ближайший тыл, население, кровно связанное с армией. Ведь армия дышит, живет, борется среди него.

Как же обстоит дело на польском фронте? На позиции у Гомеля мне рассказывали: белорусы тихи, смирны, покорливы.

Придет Красная Армия, ну-к что ж! Они не оказывают ни сопротивления, ни помощи по своей инициативе.

Придут поляки, ну-к что ж! Им не оказывается ни сопротивления, ни помощи по своему почину. Они сами по себе, а армия – та или другая – сама по себе.

Почему же так? Разве крестьяне не связаны кровно с советской властью? Разве они не дорожат ею?

Нет.

Отчего?

Да просто потому, что советская власть не почувствовалась населением как его собственная власть. Мало того. На исполнение

обязанностей власти крестьяне тут смотрят как на подводную повинность. Это – тягость. И, как всякую тягость, они стараются разложить равномерно, чтоб никому обидно не было.

Каждый мужик ходит в советской власти по пяти дней. Так все по очереди, пока исполнение советской власти не обойдет всю деревню, – и опять сначала. Точь-в-точь как выполнение нарядов подводной повинности.

Почему же это так?

Крестьянство темно, инертно, и, главное, хождение во власти не оплачивается, должностным лицам ничего не платят. И крестьянин каждый рабочий день, обращенный на исполнение власти, считает за чистую потерю.

Разумеется, таким положением с величайшим наслаждением пользуются кулаки-богатеи. Они освобождают крестьян от тяготы власти, забирают ее безраздельно в свои руки и устраивают свои дела.

Вот пример.

За Могилевом, недалеко от Березины, в ближайшем тылу есть местечко Шипелеви-

чи. Кулаки и богатеи забрали совет в свои руки, очень выгодно поделили между собой помещичью землю, скот, лошадей, мертвый инвентарь, а беднота ходит да облизывается. Совет держит ее в ежовых рукавицах.

– Отчего же вы не переизберете совет?

– Да кто же его знает... Как его! Вон выборы были, так они так все отделали, что мы ничего и не знали, – глядь, а они уже на нас верхи сидят, так и везем.

– Почему же вы не обратитесь в уездный, губернский исполком?

– Да ведь на выезд они же и не дают разрешения. Так и сидим.

– Бумагу послали бы.

– А на почте дураки, што ль? Нет, никак не выходит. И в губернии они сумеют так дело представить – мы же и виноваты окажемся. Сказывают все – советская власть, а оно – вон оно што.

– Под лежащий камень вода не течет. Вот что: пошлите человека в Москву, уж как-нибудь всеми правдами и неправдами проберется.

– Да это што, это можно.

– Ну вот. Это ведь не для одного местечка, а для всей округи. А в Москве все вам по-настоящему устроят. Есть такой отдел советской власти: отдел по работе в деревне. Мужиков страсть там толпится, и всех устраивают.

Мужичок торопливо зачесал брюхо, потом спину, поскреб затылок и стал прыток.

– Ах ты, прости господи! А мы и не знали. Беспременно надо достукаться.

В тылу нашей армии иногда появляются шайки, очевидно организуемые польскими агентами. Они пытаются нападать на обозы, портить железные дороги. Устроили два взрыва; один прошел благополучно, а в другой раз пострадал поезд.

Если население будет помогать бандитам, они неискоренимы и произведут колоссальные разрушения.

Если население будет безразлично, шайки с трудом будут существовать.

Если население поможет Красной Армии ловить эти шайки, существование их абсолютно невозможно.

Отсюда вывод один: ближайший тыл армии, безусловно, под страхом самых тяжелых

последствий должен быть обслужен коммунистами.

Но где же их взять?

Добыть их во что бы то ни стало нужно и послать на эту неотложную работу.

Конечно, для всего тыла, даже в узкой его полосе, работников не хватит. Тут выход один: создать *летучие отряды коммунистов*, которые обслуживали бы узкую прифронтовую полосу.

В отряде достаточно двух человек. Они поделят между собой деревни данного района и объедут их. Это будет иметь громадное значение.

Но это должны быть надежные, опытные коммунисты и, главное, молчальники, чтобы поменьше говорили. Чтоб ни под каким видом не начинали, как обычно, придет и заведет: «Советская власть есть власть...», и т. д.

А чтоб приехал и прямо в совет: богатеев разогнал, кулаков по шее, мошенников в тюрьму. Потом перевыборы, чтоб беднота и середняк их сделали, потом перераспределить землю, инвентарь живой и мертвый, который загребли кулаки, обратить в обще-

ственное пользование.

И только после этого можно заговорить, сколько душе угодно: «Советская власть – рабоче-крестьянская власть трудящихся...» Впрочем, чего же говорить. Мужики, почесываясь, сами заговорят:

– Ишь ты, а!.. А мы и не знали... а оно вон оно...

И армия может чувствовать себя как дома.

Во время наступления Юденича в приозерных районах крестьянство, в массе зажиточное, с нескрываемой враждой относилось к Красной Армии и ждало Юденича.

Пришел Юденич, обобрал, поиздевался, был прогнан. Крестьянство возненавидело его, но не стали относиться лучше и к Красной Армии. Им и митинги, и собрания, и речи – ничем не проймешь, волками смотрят, и шабаш! И на митинги не загонишь.

В расположенных в приозерье частях оказался прекрасный подбор комиссаров. Они взялись с другого конца: вошли в местную жизнь, устроили неделю чистоты: красноармейцы вычистили веками накопленную грязь во дворах, на улицах, в избах, в сараях;

все деревни вычистили. А комиссары вычистили все советы от кулаков, мироедов, мошенников, а особенно подлых и расстреляли.

Крестьяне остолбенели. И тут все повалили, и стар и мал, на собрания, на митинги, в читальни, в кинематограф, и нужно было видеть, как все, не отрываясь, затаив дыхание, слушали речи о советской власти, о ее структуре.

Красная Армия, до того голодавшая, стала купаться как сыр в масле, – крестьяне тащили и вареным, и пареным, и жареным. Красноармеец стал как бы членом семьи: садятся за стол и его сажают, а он потюкает по двору топором, вытешет ось, поправит плетень.

И если бы после этого надвинулся Юденич, он бы издох в непрерывной борьбе с населением.

Вот такую атмосферу действенной любви и расположения к Красной Армии необходимо создать и на польском фронте, но создать не языком, не митинговыми речами, а делом.

Повторяю, это дело надо сделать сию минуту.

Горное утро*

Еду один верхом с районного съезда. Кругом ни души. Сытый конек сторожко посматривает ушами то в ту, то в другую сторону и идет иноходью, покачиваясь.

Справа бесконечно зеленеют хлеба; слева – голубые Кавказские горы, и тучи низко и ровно срезают их.

Из боковой лощины подымается всадник верхом. Бурка расходится на нем, покрывая лошадь, торчит винтовка, выглядывает кинжал, с шеи сбегает шнур к револьверу. Роба не то чтоб разбойничья, но я все-таки огляделся – никого. Губы у него запеклись.

– Драствуй!

– Здравствуй!

Кони, мотая головами, пошли рядом.

– В город?

– В город.

Долго едем молча, и я думаю: ловки они, как бесы, и я справиться не успею с своим браунингом, как он сделает все, что ему нужно. Он посматривает искоса и говорит ломанно спекшимися губами:

– В Варшава я служил, еще не была война. Город знаю, все знаю. Как в Москва дела?

Я рассказываю; он жадно слушает, задает вопросы. Иногда я с трудом понимаю, – так ломанно он говорит, но чувствую – бывалый человек и, по-видимому, разбирается в основах советской власти. Между прочим, тоже был на съезде делегатом.

– А скажи, как товарищ Ленин там?

– Ничего, работает. Стреляли в него.

– Кто стрелял?

– Помещики, капиталисты, генералы подослали таких, что стреляли. Ранили. Выздоровел, теперь работает.

– Ну, дай ему бог здоровья. Хороший шаловек. А пуля таскал с него?

– Пуля осталась. Не мешает, здоров по-прежнему.

– Пуцай таскал пулю с себе, а то пуля абрастал в шаловеке горьким мясам. Поедешь Москва, скажи ему, пускай дюже таскал пуля. То все Деника, – его дела... Ух, балшой падлец!..

Он внезапно толкнул лошадь в мою сторону, так что звякнули наши стремяна, весь пе-

регнулся, опираясь рукой о кинжал, и спросил:

– Скажи, товарищ: товарищ Ленин опять будет править?

– Через четыре месяца соберутся выборные от всех рабочих и крестьян в Москву. Скоро и ваши выборные поедут туда. Вот соберутся, позовут товарища Ленина и спросят: «Ну как, товарищ Ленин, ты правил нашими делами?» Товарищ Ленин все расскажет до ниточки, как правил. Подумают, подумают рабочие и крестьяне, – хорошо правил, и скажут: «Ну, заправляй и дальше нашими делами». А если бы товарищ Ленин маху дал, рабочие бы сказали: «Ну, товарищ Ленин промашку дал; делать нечего, другого выберем».

Он, перегнувшись ко мне, как будто в его теле не было ни одной косточки, жадно слушал, полураскрыв спекшиеся истрескавшиеся губы.

– Хорошо! дюже хорошо!.. Скажи там Москва, пущай правил делам. Скажи там Москва, будет Деника иль какой другой падлец, будем рубиться совсим с мясам, – и он слегка выдернул и опять втолкнул в ножны

кинжал.

Дорога раздвоилась: влево пошла в горы, вправо – к засиневшему вдалеке городу. Он повернул налево.

– Прощай.

– Прощай.

Я смотрел на его удаляющуюся фигуру и чувствовал: будет рубиться за советскую власть, пока все мясо с него срубят.

Несите им художественное творчество*

Устали люди, стали слабеть. И немудрено: три года бьются, три года непогода, жизнь на лошадах, в холод, в дождь, в жару, три года сеча, кровь, раны, смерть!

А какие бойцы! Какие рубаки! Это они отступали с знаменитой Таманской армией, они дрались на Кавказе, когда он был отрезан от Советской России; они, охваченные тифом, вырвались из рук белых, отступая в пустыне на Астрахань.

И вот теперь эти железные люди погнулись, и дивизию отвели в тыл.

Влили коммунистов, закипела политиче-

ская работа.

Прошла неделя. Мне предложили поехать из штаба в дивизию. Поехали.

Отдано было распоряжение: привести красноармейцев.

Закрывая деревенскую улицу пылью, по четыре в ряд, на мотающих головами лошадях, надвигалась бригада.

Что за молодцы! Из бронзы отлитые плечи, руки, лица; солнцем закалены, ветром обожжены, от горячей пыли почернели.

Кто в запыленной, без пояса, гимнастерке, кто в домотканой рубахе, кто в чекмене, и в разорванные дыры иной раз сквозит черное, прокаленной бронзы, тело.

В папахе, в фуражке блином, или выглядывает суровое загорелое лицо из-под нависших полей белой татарской шляпы.

Мне рассказывали: в бою свалится с плеч излохматившаяся рубаха, боец перетянет поясом свое загорелое тело, заткнет наган и ринется в бой, странно выделяясь голым бронзовым торсом.

И за каждым из них «по пять, по шесть котелков», – по пять, по шесть срубленных го-

ЛОВ.

Спешились, густо расположились в саду, кто на деревьях, остальные прямо на земле. Принесли скамью. Один из товарищей взобрался и сказал:

– Товарищи, у вас тут трудно, головы кладете, страдания, но послушайте, что в тылу у рабочих, которые рвутся из сил, чтобы дать вам сюда оружие, снаряды, амуницию. Вас тут может сразу положить пуля, а там и день и ночь чахнут люди, клонятся в неустанной, надрывающей работе, в недоедании, в холоде, в лишениях, пока не свалятся. На Брянском заводе, при наступлении Деникина, рабочие, голодные, без пайков, не отрывались от станка, падали у станка; их выносили на носилках, и было, что умирали в амбулатории. Зато изумительно быстро отремонтированные бронепоезда громили Деникина. Рабочие в тылу не отрываются от станков. Что же товарищи, им сказать от вас, – сломите вы хребет Врангелю?

И грянуло по всему саду, лист посыпался:

– Сломим!.. Не жить ему!.. Скажите там нашим!..

Сделали обзор текущих событий. Потом было прочитано два рассказа: один – из солдатской жизни до революции, другой – из красноармейской жизни.

И как же слушали! Какой здоровенный хохот прокатывался по рядам! Или какими широко, по-детски разинутыми глазами смотрели эти бронзовые люди на читающего в драматических местах!

Потом повели их на спектакль. Труппа тамбовского Пролеткульта поставила в школе «Марата» и «Мстителя».

И с какой голодной жадностью смотрели! Да ведь из чужой жизни. А если бы из своей, из родной!

– Ноне у нас праздник, – говорили бойцы, радостно блестя глазами.

Приехал в дивизию представитель украинского Центрального исполнительного комитета и стал говорить, что там, в России, жены, матери, дети, сестры, братья ждут, измучились, когда же наконец бойцы задушат крымскую змею, исстрадалась голодная, холодная Россия на пороге величайшего счастья новой жизни, и не выдержал, заплакал. По бронзо-

вым щекам бойцов, размазывая грязь, странно, по-детски, поползли слезы, – у каждого из них по пять-шесть «котелков» сзади, – и они хмуро вытирали слезы кулаками. Полезли за платками комиссары, командиры с покрасневшими глазами.

– Теперь я знаю, поведу их на самого дьявола, они ему череп сломят, – говорит командир, вытирая глаза.

«Да, – думал я, – митинговые речи притупились, потеряли свою остроту, убедительность».

– Просто уже не слушают обычные митинговые речи, – говорит мне начальник политического отдела, – им надо образы. Как ведь слушали рассказы, как смотрели спектакль! Посмотрите, какое настроение! Никто и не ожидал. И они себя покажут.

И они себя показали всего через три дня.

Гниющая язва*

Я в глубоком тылу. Штаб армии. Врангелевцы верст за сто сорок. Я спокойно раздеваюсь и устало засыпаю. В окно бархатно глядит чудесная южная ночь, пахнувшая горячей пылью и запахами, которые медленно наплывают с остывающей степи.

Городок тоже засыпает. Лишь собаки упорно лают, прислушиваясь друг к другу.

Мне казалось, что я на одну минуту завел глаза, а уже кто-то словно выламывает простенок. Сажусь, стараясь дать себе отчет. Да, кто-то торопливо, нервно стучит в окно.

Быстро одеваюсь, выхожу. Двор, жующие лошади, домики с закрытыми ставнями; все смутно, неясно, и надо всем – скупые звезды.

– Берите шинель, оружие, пойдете сейчас!

Он тоже смутный, неясный, как и все кругом; в кожаной куртке, молодой, и голос незнакомый.

Что за черт!

Торопливо беру шинель, запихиваю в карман револьвер. Все спят. Охватывает знако-

мое ощущение напряженности и вдруг родившейся опасности.

Раз... два... три!.. Еще раз, вздваиваясь... Орудийные выстрелы...

Э-э, вон оно что!.. Но откуда же, откуда это?! Ведь штаб не имеет права быть ближе шестидесяти верст от линии фронта.

– Сейчас идет бой верстах в двенадцати отсюда. Махно врасплох напал; из всех сил старается прорваться.

Мы торопливо идем по пустынной, но в молчании и тьме чутко-тревожной улице.

Бах!.. Ба-ба-х!!

Шаги звонко и одиноко разносятся. Отделяясь от черноты домов, быстро подходит темная фигура; смутно чернеет винтовка на изготовке:

– Стой!! Пропуск?

Товарищ говорит.

– Ступайте.

Когда пришли, уже все были в сборе. Сверху электрическая лампочка напряженно освещала немного усталые, помятые от бессонной ночи, но живые лица. Слышатся смех, остроты, а в окна: бах!.. ба-ба-бах!..

– Если б ворвался, всех бы перерезал...

– Да уж политотдел-то в первую голову.

Торопливо составляются воззвания к махновцам, к населению, к красноармейцам; тут же набирают, печатают. Засадили и меня писать листовку.

– Некоторые учреждения свертываются на всякий случай.

– Не мешает. Ба-ба-бах!!

Рассвет медленно-медленно вливается в распахнутые окна, и лампочка теряет свою напряженность, бледнеет. Подвозят раненых. Они возбужденно рассказывают:

– У него орудия, а у нас нету... Он бьет, как хочет. Голыми руками его не возьмешь.

Поднялось солнце. Автомобиль выносит нас из города. В утреннем воздухе орудийные удары все отчетливее.

На позиции видны отступающие махновцы...

Нас встречают возбужденные лица с ввалившимися от усталости блестящими глазами и радостно рассказывают:

– Отбили!.. Ночью работала его артиллерия, у нас ни одного орудия не было, только

сейчас подвезли, когда он уже разбит. Из двух деревень мы отошли. Остановились перед этой. Понимаете, дальше нельзя было отходить. Собрали все, что было под руками. Назначили командира. Молодчина оказался. Рассыпал цепь; залег перед деревней. Махно двинул против него в пятнадцать раз больше штыков. Чуть стал брезжить рассвет. Махновцы надвигались, как черная стена. Командир пехоты молодчина: приказал не стрелять. Ближе, ближе. Мурашки поползли. В этих случаях ужасно трудно удержаться от стрельбы, но красноармейцы выдержали – ни одного выстрела не раздалось. И уже когда подошли на пятьдесят шагов, – еще минута, и черная стена сомнет горсть, – раздалась команда стрельбы. Вся линия взорвалась сплошь заблестевшими выстрелами, зата-такали пулеметы. Смешались махновцы. А тут во фланг им ударила наша конница. Махновцы побежали. Махно бросил семьсот сабель на нашу кавалерию. Красные эскадроны неслись на эту густую тучу коней и людей с революционными песнями. С революционным гимном они кидались в контратаки, и падали с той и

этой стороны крепкие люди, а кони, как бешеные, носились, мотая пустыми стремянами.

Уже встало солнце и смотрело на кровавую сечу, на изуродованные тела, валявшиеся по жнивью, на тающие облачка шрапнельных разрывов.

В четвертый раз сошлись бойцы, близко сошлись; кони мордами тянутся друг к другу; махновцы говорят:

– Переходить до нас, у нас свобода...

Подъезжают, узнают друг друга:

– Эй, Петро! Здорово бувал! Чи будешь мене рубать?! Як же то воно!..

– Здорово, Иван! Переходьте вы до нас, мы за правду стоим, за советскую власть робитников тай крестьян.

Выхватил красный командир шашку.

– Бейте врагов советской республики!

Ринулись бойцы, все смешалось, только клинки над головами блестели мгновенным блеском, а потом покраснели.

Повернули лошадей махновцы и карьером стали уходить, а поле еще гуще засеялось кровавыми телами.

Красные кавалеристы и пехотинцы взяли в плен шестьсот человек, изрубили двести пятьдесят человек; отняли пять тачанок с пулеметами. У Махно было десять тысяч человек, два орудия, семьдесят тачанок с пулеметами.

Да, бронзовые бойцы, те самые, что тогда в саду слушали рассказы, смотрели «Марата» и «Мстителей» и плакали, слушая, как ждут и мучаются там, в России. Эта бригада чудеса показала. Ведь у махновцев был огромный перевес сил, и дрались махновцы как звери, в полной уверенности в победе, ибо Врангель в это же самое время начал наступление на фронте.

И... разбиты.

– Теперь на Врангеля! – заявляли бойцы, перевязывая раны, приводя в порядок оружие, коней.

Усталости как не бывало. В этих железных людей снова вдохнули дух борьбы, упорства к победе.

А Махно покатился по степи, растаял и исчез.

Новая стройка*

Среди развалин и разрухи торопливо работает одна фабричка. Небольшая, согнулась, как старушонка, но здоровенная фабричная труба ее хлопотливо дымится, не угасая.

Кругом, то и видишь, замолкли станки, не видать дыма, а наша старушонка и в ус не дуется, суетится и все посылает со двора подводы с выделанным добром.

Заинтересовался я, поехал в Лефортово, глядь – на Большой Переведеновке, 40, за скучным забором суетится старушонка.

Вошел. Низко, тускло, полутемно, неудобно, – ну, это же наследие от буржуя: капиталист для выжимания пота из рабочих дворцы не станет строить. Капиталист поставил калеку-здание, калеки-машины, приник, впился зубами и стал сосать из живого человеческого труда прибыль.

А тут война. Задымилось море крови, а к капиталисту в карман толстым жгутом побежало, сверкая, золото, – не успевал в банк сгребать; надрывались рабочие, изнашивались машины, инвентарь; он ничего не по-

правлял, не ремонтировал, не восстанавливал, только хрипло гнал рабочих в неустанный труд.

Пожар, крыша провалилась, – не беда! Застраховано.

Грянула Октябрьская. Капиталист исчез. Стоят рабочие перед пожарищем, перед расшатанными, изношенными, разбитыми машинами, чешут в затылках – эхма!

Ни денег, ни специалистов, все высосано, нечем взяться, нечем погасить неуплаченную заработную плату.

Срезами горю не пособишь, – засучили рукава, натужились и давай строить. Призвали своего же плотника. Прикинул аршином.

– На крышу столько-то бревен, досок надо.

– Ищи!

– Да где я их найду? – взмолился.

– Хоть роди, да найди. А то и не показывайся.

– Наше-ол!

Приволокли и бревен и досок. А как их приходилось выманивать, выклянчивать, выворачиваться в платежах, – долго рассказывать.

Во главе – старинный работник фабрички, склизким вьюном вертится, – где слабо, где вот-вот оборвется, там он.

– Денег, денег же надо! Поймите: все лопнет! Товару на складе от хозяина осталось, подманули спекулянта – бери товар, горы наживешь. Загорелись змеиные глаза, заворотил полу, достал тугую мошну, отсчитал пятьдесят тысяч, как копеечку, и не крякнул, нагреб добра на складе, на подводу и повез. Барыши-то, барыши, аж голова кружится! А его того... гм!.. в Чеку.

Что!.. Да ведь годы, века сосали такие-то детишек, женщин. Горы рабочих костей гниют в земле, а у этих, со змеиными-то, рекой льется роскошная жизнь из замученных жизней. Заткните же подлую глотку, лицемеры!

Так два раза напоролись спекулянты.

Оперились маленько наши, затянули крышу, заделали пол, поставили машины, заработала старушка. Чешет, набивает ворс на сукно, красит, посылает красноармейцам на шинели, рубахи, штаны, работает старушонка.

– Да как же так: другие фабрики стоят?

– Стоят.

– Почему?

– Нет дров.

– А старушонка как же?

– А вот как:

Одной большой фабрике дали дров на станции верст за тридцать от Москвы. Но с условием: погрузить и вывезти в *восемнадцать часов*. Фабрика отказалась: немыслимо в такое короткое время погрузить и вывезти.

Узнали ребята с нашей фабрики, кликнули клич, выступило шестьдесят рабочих. Кинулись на железную дорогу, сбили состав в тридцать вагонов, марш на станцию. Рвались в работе, погрузили и вывезли в шестнадцать часов. Большая фабрика осталась с носом, а старушонка – с дровами. Оттого так весело дымится ее труба, когда другие утрюмо молчат.

На фабрике только рабочие. Директор – рабочий (слесарь), заведующий красильным отделением – рабочий, бухгалтер – рабочий.

Каждую копейку, каждую работу распределяют домовито, по-хозяйски.

Надо ремонт дизелю. *Прежде*, бывало, машину останавливали, рабочих распускали и

приступали к ремонту.

Теперь выудили где-то электромотор, который и трудится, пока починят дизель, фабрика-то и во время ремонта двигателя работает.

Подобралась работа в стригальном – рабочие не ждут сложа руки, а становятся у красильных чанов красильщиками.

Рабочим негде помыться. Разыскали валившийся годами на дворе бак, налили водой, провели змеевик от паровика, мойся сколько влезет, любо-дорого.

От чанов с краской густо подымается отравы. Рабочих тошнит, голова идет кругом. При хозяине был ледащенький вентилятор.

А теперь, оберегая себя, поставили еще пять сильных вентиляторов, воздух чистый.

При хозяине в кочегарке валился народ: из топки зноем несет – пот градом катится, а отворят двери прямо наружу, дрова ввозить, – страшный сквозняк несет, рубаха леденеет. Выстроили пристрой, навесили вторые двери, свет ясный увидели.

А знаете, как работают? Семь процентов переработки против четырнадцатого года. А знаете, какие прогулы? Два-три процента.

Так во всем.

Пока еще – согнувшаяся старушонка, но дайте срок: раздавят ядовито ползучих эсеров, – меньшевиков, окончательно прорвется блокада, и какой же чудесный трудовой дворец воздвигнут мозолистые руки.

А пока старушонка хлопотливо дымит и хлопочет.

Приходите же, товарищи, посмотреть и поучиться, как надо строить новую жизнь.

Граф Строганов и рабочий Демид*

Сыздавна в лощине среди гор завод на Урале дымил. Работали в нем, как быки, глядя в землю, по тринадцать по пятнадцать, по восемнадцать часов в сутки. И не знали ни отдыха, ни сроку. Не знали, что есть Москва, Питер, что там тоже дымятся трубы заводов и работают не покладая рук.

Знать-то, конечно, знали, но думали, что это так же чуждо им, далеко, как на том свете.

А что в других государствах на таких же почернелых заводах копошатся мозолистые люди, так это и в голову не приходило – никогда не думалось об этом.

Начинали говорить о хитрой англичанке, о Китае, который – «брат черту», о турках, о французах, только когда царь сгонял на войну. Тогда надевали мундиры, брали винтовки и уходили убивать неизвестных людей, застилая трупами землю. А незнакомые люди их тоже убивали, заваливая телами землю.

Так жизнь тяжело, медленно переваливалась.

Такой жизнью жил и Демид Векшин.

Здоровенный был парень – пермский медведь. Получал в обрез – только-только жить. Ходил грязно, в лохмотьях. И об одном только думал Демид: так проработать, чтобы заслужить к старости пенсию, – видал он стариков, которые издыхали под плетнями, как...

...Хорошо жил граф Строганов – благородно, чисто и по-ученому. Палаты-то были – и царю не вскинется.

Когда, бывало, пиры задавал, – а задавал он их почитай каждый день, – чего-чего только не было на блистающем серебром и хрусталем столе, разве что птичьего молока, да и то, говорят, было.

Сядут вокруг стола гости в шелках, в кру-

жевах, в бархатах. А перед каждым прибор, а на приборе для каждого золотой подарок в несколько десятков тысяч рублей.

А попы и архиереи в шелковых рясах, с осыпанными бриллиантами крестами, благословляют пития и яства, чтобы легче проходило в утробу.

Когда наедятся, напьются до отвала, тут подходят писатели и поэты и, вдохновенно декламируя, почесывают своими стихами блаженно вытянутые шеи гостей.

А адвокаты проворными медовыми языками липко облизывают и славословят хозяина и гостей.

А певицы, голые по сие место, и певцы во фраках и белоснежных манишках, с поношенными лицами, сладко поют.

Гости млеют, задремывая, а попы, писатели, поэты, актеры, ученые, певцы, адвокаты весело, сладко доедают объедки.

Знаменитейшие доктора наготове, чтоб помочь хозяину и гостям на случай, если объелись.

Так жил граф Строганов.

...Женился Демид. Пошли дети. Жена и де-

ти так же, как и он, ходили во вшах и лохмотьях.

А тут пришло горе. За пятнадцать лет прогулял он один день, и за этот прогул вычли из срока на пенсию все его пятнадцать лет. Хлопнул об полы руками, избил жену, разогнал детей, да никуда не денешься, – опять запрягся в хомут, опять потянул лямку на тридцать лет, чтобы под старость не сдохнуть под плетнем.

Да оно и то сказать, до старости мало кто и доживал – все раньше сдыхали: лет тридцать пять – сорок стукнет, и протягивай ноги, – завод шутить не любит.

Впрочем, податься некуда, кругом Демида стеной стояли урядник, становой, пристав, исправник, губернатор.

А за ними стояла шеренгой рота, а за ней мотали головами лошади казачьей сотни и виднелись свисшие с рук нагайки.

А за ними стоял кулак Афиноген Иваныч, у которого Демид был вечно по уши в долгах.

А над ними над всеми чернел поп. От этого же никуда не скроешься, не убежишь, не увернешься. Родишься – он тут как тут. По-

мер – он провожает. Полюбил девушку – по лапу протягивает: поколдовал – давай деньги. Ребенок родился – давай. Все мысли торопливо тенетами опутывает, как черный паук, – то раем манит, то адом грозит.

Так туго, так туго Демиду, что и не сказать. Да привык, тянет ляжку, нагнув голову, глядя в землю.

Но заводские ребята иной раз на шумят, забунтуют, выбьют окна в конторе, а то и к директорскому дому подступят.

Демид, нагнувшись, тянет ляжку, не прерывая, и рычит по-медвежьи:

– Ну, чего распрядались! Все одно один конец: пригонят казаков и всыпют. А тут тынешь-тынешь, хоть бы дотянуть до пенсии.

И верно: приходят казаки и сыпят всласть. И опять все, как быки, тянут постылую жизнь, глядя в землю.

...Раз только граф Строганов заглянул на свой завод, все по заграницам ездил, а заводом правили директор и управляющий. Но раз собрался и приехал с губернатором.

Батюшки, как засуетились на заводе! Выскребли, вычистили, посыпали песком. Рабо-

чим велели надеть чистые рубахи и головы причесать и примазать салом. Чистые-то чистые надели, да они сейчас же хлюща хлющей от пота обвисли, а сало потекло с волос, – жарища на заводе.

Демид, замирая, ждал графа. Вот приедет, скажет: воротить ему пятнадцать годов в счет пенсии: за совесть работал.

Граф вошел было на минутку с губернатором и, морщась, сейчас же вышел и уехал, – очень уж жара и вонь.

– Улыбнулись мои пятнадцать годов!

И опять пошли год за годом. Двадцать пять лет отбарабанил сызнова на пенсию. Осталось пяток годков. – «Как-нибудь дотяну».

А старость тут как тут, – она и медведя сломит. Ноги слабей стали. Тяжело несть тигель с расплавленным металлом, – споткнулся, плеснуло светящейся жижей и выжгло всю грудь и живот.

Стал на его место старший сын, – и опять то же, опять потянулись сумрачные годы.

Впрочем, не то же. Как-то весной, когда зазеленели горы и завод стал дымить в голубое небо, случилось происшествие. Еще только

закраснелась меж горами зорька, повалил народ к заводским воротам, а над воротами красным пятном бил в глаза развевавшийся красный флаг.

Батюшки, как забегала полиция! Урядник на взмыленной лошади прискакал. Вызвали сотню казаков. Да нет, что-то упустили, — неизвестный дотоле шорох побежал по всему заводу, как в потревоженном муравейнике. Только отвернешься — то тут, то там кучка рабочих, и о чем-то у них о своем говор идет.

Да это не страшно. Что может сделать кучка чумазых, почернелых, полуголодных рабочих.

А вот страшно: завод, дымивший, сколько помнят, глубоко в лощине, выперло на самую гору, и открылись, сколько глаз хватает, другие заводы за сотни, за тысячи верст. Даже Москва замаячила, даже Питер в туманной дали обозначился. И все трубы, и все дымят.

И сын Демида нет-нет да и оторвется от каторжной работы, и случалось это большей частью весной, когда зазеленеет земля; оторвется и глянет через поля, горы, леса и увидит: без числа дымятся трубы. Ухмыльнется и ска-

жет:

– А ведь это все – наши; сила их!

Прошло лето. Прошла зима. Зазеленела весна, и опять вспыхнули красные пятна, – удивился сын Демида, – вспыхнули по всему лицу земли. Присмотрелся, видит: за Москвой, за Питером, за краем нашей земли, в чужих краях и землях, за морями, за океанами, – везде, везде, где только дымятся заводские трубы, везде закровавились флаги. – Рать неисчислимая,

Э-эх!.. Да оступился сын Демида, попал в турбину, измолотило его и выбросило красный кусище мяса с обрывками одежды.

Пришла старуха за сына, за мужа просить пенсию. Вместе их работа была шестьдесят два года. Голова у старухи трясется, сама от ветра качается. Полезли в конторе в книги, щелкали счетами, выдали ей пенсии рубль семьдесят пять копеек на год.

Поклонилась, взяла и ушла, тряся головой. А старшего сына заступил младший – Иван...

Хорошо живет граф Строганов: по-прежнему льется толстым жгутом золото из далекого

завода в емкий графский карман; по-прежнему задает он пиры, и чешут вытянутую шею стихами поэты, и разносят в драгоценных бокалах птичье молоко.

А морщинок на благородном графском лбу прибавилось. Призывает он ученых и профессоров и говорит:

– Не то страшно, что на моем заводе краснеет каждую весну флаг, а то страшно, что каждую весну краснеют флаги по всем заводам, по всем фабрикам, по всей земле русской и... – Страшно сказать! – по всему земному шару, где только дымятся трубы. Вот в этом ужас и смерть наша!

Тогда выступил профессор, сказал:

– Ваше сиятельство, не нужно только теряться. Если вы их, закоптелых рабов ваших, секли плетями, – дерите теперь скорпионами. Если вы сажали в холодную, – гноите в подземельях. Если вы их сотнями арестовывали, – тысячами гоните в Сибирь.

Опустил благородную голову граф, подумал, сказал:

– Больше делается – люты мои палачи, а красная сила растет, растет, на нас с боем

идет.

Выступил другой ученый и сказал:

– Нет, одним этим горю не поможешь. Надо их бить их же оружием. Пусть придут люди и говорят рабам то, что они хотят слушать.

Наклонился к графскому уху и прошептал ему. Улыбнулся граф, сказал:

– Возьми себе денег, дай на журналы, газеты.

Нашел профессор меньшевиков – честные с виду, благородные, пыжаты: мы-де за рабочий люд изнывали по тюрьмам да ссылкам. И говорили эти хорошие люди по фабрикам и заводам, лицемерно прижимая к животу толстую книгу «Капитал»:

– Товарищи, капитализм, развиваясь по законам, сам в себе несет разложение и смерть. Через сто тысяч лет он до того разложится, что перейдет в социализм, и тогда вы только рот разинете, а социализм – бух! – как яблоко, прямо в утробу, – мирно, тихо, как в самом благородном семействе, без шума, и, главное, никого не беспокоим. А пока живите с графом, чтоб все шло по правилам.

И стали презренные «хорошие люди» кста-

ти и некстати ханжески божиться марксовым «Капиталом», выковыривая каждую букву и жуя от него бумагу для ума.

Ждали-ждали Демидовы внуки, да невтерпеж стало: повернули хороших людей к заводским воротам, да ка-ак ахнут коленкой под зад, так те и вылетели, забились в подворотню и стали хватать прохожих за штаны.

И опять покраснелась первомайская земля от края до края.

Да это бы не беда, а вот пришел июнь, июль, январь, а всюду, куда ни кинешь взгляд, всюду кровавеют знамена, – потянулся май бесперечь.

Да это бы не беда, что всюду краснеют полотнища, а вот выжглись кроваво-огненные слова всех рабочих в закаленных сердцах внуков:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – и уже не тухнут и уже никогда не потухнут на всей земле.

Как-то прочел я в заграничной газете: внук известного в свое время богача в России молодой граф Строганов протягивает на улицах Рима свою белую, как сметана, руку и гово-

рит:

– Подайте бедному, но благородному дворянину.

Ах, Демид, Демид, хоть бы ты одним глазом глянул!..

Тридцать лет назад*

Если оглянуться, так тридцать лет – как один день. И за этими тридцатью годами мреет сожженная Волга, иссохшие, над которыми и ворон не каркает, поля, и Самара с порыжелыми домами, и над всем – все заслоняющая, раскаленно нависшая пыль.

А люди – с иссохшими руками и ногами, с безумием в воспаленных глазах; и голодные вялые мухи на мертвых оконцах.

Голодный тиф – костлявый, поджарый, залитый красным жаром пятнистый старик – ходит, ходит, заглядывает в хаты, и куда заглянет, там начинают молча блестеть стекляющие глаза.

Ходит красный старик, залитый непотухающим жаром, ходит, заглядывает в овины – в овинах пусто. Заглядывает в риги – в ригах пусто. Заглядывает в сарай, в хлевы – в хлевах

пусто. Везде стекленеют застывшие глаза...

Трудится, день и ночь ходит залитый жаром старик и не успевает на всех взглянуть, – еще есть живые. Вон у дороги шевелится.

Нечеловечески обтянутые кожей кости лежат в раскаленной пыли у дороги. И нечеловечески тонкая рука колышется и тянется, и истрескавшиеся, как земля, губы шелестят:

– Хле...буш...ка...

Нет тебе хлебушка, потому что богатейшие поля при всех возможностях бесплодны. Нет тебе выхода, потому что проклят ты проклятием царского рабства.

– А не хлебушко ли?

Какие длинные, какие высокие возы катятся!

Как хорошо упакованы... Пыль вьется; споро бегут взмыленные маштаки. Не с хлебушком ли спешат? Нет, это сороковки катятся мимо в царские казенки.

А не с помощью ли идут к голодным добрые люди? – запылилась вдалеке жаркая дорога под усталыми ногами.

Нет, то урядники гонят в далекую ссылку сельских учителей, учительниц, студентов,

молодежь, приехавшую в деревню кормить голодных детей, женщин, стариков, – торопливо гонят в ссылку, боятся, чтоб не открыли они темные глаза мужиков на царя с кровавыми клыками.

А вон не эти ли с другой стороны спешат на подмогу к голодным? – закурилась пыль с другого конца.

Нет, едет в экипаже помещичья семья, и пристяжные вьются кольцом, туго натягивая постромки. Какие милые детки в экипаже! Какие розовые! Как трясутся откормленные щечки!

А помещица, породистая, белотелая, зажимает алый рот батистовым платком и говорит:

– Ах, Иван, зачем поехал сюда? Вон у дороги мужики, наверно, зараженные.

Подхватывает сытая тройка, сливаются спицы в сплошной круг, а милый ребенок с розовыми щечками спрашивает:

– Мама, отчего они такие костлявые?

– Оттого, душечка, что ленивые, не хотят работать как следует у нас в имении.

Кольшется нечеловечески обтянутая, про-

тягивающаяся рука, шелестят полопавшиеся, как почерневшая земля, губы:

– Хле...буш...ка...

Да уж не это ли тяжело надвигается подмога? Медленно тянется нескончаемый обоз, далеко тянется по дороге, оставляя виснущую пыль.

Уж не хлебом ли гружен? или сухарями? Или, может, картошку везут?

Нет.

Так что же такое наконец?

А это у одного царского сановника в имении из земли ручей бежал; и воду в нем очень хорошо лошади пили. Так сановник назвал ручей «Кувакой», объявил воду полезной, поместил в газетах объявление об этом и стал наливать воду в бутылки, грузить и тысячами подвод и вагонов развозить в Москву, Питер, в Ярославль, в Воронеж, во все города России. Господа в ресторанах вкусно обедали по пяти, по семи блюд и промывали изнутри брюхо, чтобы больше лезло, «кувакой». Господа промывали брюхо, а сановник, ухмыляясь в бороду, сгребал деньги за «куваку».

– Хле...буш...ка!.. – И колышется, как тро-

стиночка, нечеловечески иссохшая рука, и не плачут высохшие глаза, не ждут помощи.

А помощь тут как тут!..

Катится лакированная карета, блестя зеркальными окнами; хрустят песком шинованные колеса; виснет изнеможенно пыль.

Помощь!

Сидит в карете кусок мяса, красный, с отвислыми щеками, с масляными заплывшими глазками, и пот бисером проступил по мясу от трудов – помогал голодающим.

Испугалось царское правительство, что вымрет дочиста мужик, некому будет работать в помещичьих имениях, и послало на голод банкира, чтоб купил хлеба и роздал голодным, – этот уже не станет подымать веки над темными глазами мужика на царско-помещичьи порядки.

Стал трудиться банкир. Дешево закупил отрубей, вволю всыпал туда хорошего песка, разбавил для здоровья куколем, разболтал для запаха горсточкой мучки, стал грузить и развозить по голодным местам.

Вяло хрустят царским песочком голодные, безучастно глядят перед собой остановивши-

мися глазами.

А банкир спешит восвояси, – потрудился.

Отчего же так тяжело гнутся под каретой венские рессоры? Отчего с таким хрустом катятся колеса? И отчего так неловко сидеть в просторной карете банкиру?

Оттого, что вся карета завалена плодами трудов его – мешками с золотом, мешками с золотом, почерневшим от крови, от человеческих мук и страданий.

Четыреста процентов нажил на помощи голодным банкир. И спешит, торопится в Питер свалить в стальные камеры банка почерневшее золото.

И не слышно уж:

– Хле...буш...ка...

И, простираясь над всей страной, осеняет царственная тень двуглавого орла и спешащего банкира, и червленое золото в осевшей карете, и сытую тройку помещика, и бесконечные обозы «куваки», и торопливо бегущие возы монопольки, и пятнисто-красного от жара старика, который все заглядывает в оставляющиеся, остеклевающие очи мужиков.

Тридцать лет, тридцать лет назад!

1921

Дети*

Симбирск, сытный когда-то, пшеничный город. Так же на горе. Та же Волга внизу далеко разлеглась. Тот же огромный базар. С 18-го года он пустой, омертвел, а теперь опять наполнился и неожиданно ожил.

Только прежде главным покупателем было городское население, а крестьяне продавали. Теперь покупатели – главным образом крестьяне. Прежде, если крестьяне покупали, так городской товар – мануфактуру, одежду, обувь, теперь на мануфактуру никто смотреть не хочет; никакой цены не дают и только жадно ищут одного – хлеба.

Но чего впрокорот на базаре, так мяса. Громадные ряды завалены великолепным мясом. Не только все старые мясники торгуют, но и куча новых спекулянтов расположилась за лотками, краснеющими говядиной. В Москве фунт – десять тысяч[1], там – две-три лучшее.

Пшеничная мука в одной цене со ржаной.

Почему? Ржаная дает больше припеку. Даром что припек – это вода; а все-таки ощущение большого количества.

На ступенях наробраза три головенки – одному шесть, другому семь, третьему восемь лет. Оборванные, с почернелыми ногами, без шапок, в дыры тело сквозит. Сидят молча и долго.

– Вы чего, ребята?

Молчат.

– Ну, чего же молчите?

Молчат.

– Откуда вы?

Молчат. У маленького по щекам разрисованы грязные слезы.

– Отец, мать есть?

У ребят стали наливать глаза,

– Ну, что ж молчите? Экк вы!..

Подымут ребята головы, посмотрят и опять молчат: дескать, не понимаем.

Родители дома, в деревне, строго-настрого наказывают отмалчиваться, притворяться, что – не русские. Детские дома переполнены сверх меры. Приходится делать отбор; кто мало-мальски в состоянии хоть как-нибудь про-

кормить, тем возвращают ребят. Так, чтоб не узнали, где живут, родители приказывают молчать, будто не русские и ничего не понимают.

Прежде деревня больше чем равнодушно смотрела на детские дома, холодно, порой недоброжелательно, а теперь каждый день подбрасывают в наробразы пятнадцать – двадцать детей.

– Ну что ж, Иван, придется их отправить...

– Когда? – шепелявит маленький, подняв мокрые глаза.

– Ну вот, давно бы так, – говорит товарищ, – пойдете. Сейчас вас напоим, накормим, будете жить в детском доме.

Ребятишки гуськом, вприпрыжку, спешат и рассказывают, откуда они, про деревню, про мать, про отца.

А сзади, прячась за углы, подъезды, выступы, крадется шагах в пятидесяти костлявая, патлатая, с почернелым лицом и худыми ногами, все время наблюдавшая, не спуская воспаленно-жадных глаз с идущих, женщина.

Как исхудалая, облезлая волчица.

Нет, не волчица, – мать...

Ребятишки скрылись в огромном подъезде великолепного особняка. Она разом потухла, поникла, вяло пошла, потерялась в знойно-мглистых улицах.

На базаре краснелось мясо...

Двадцать пять детских домов в Симбирске, а в губернии, по уездным городам – семьдесят пять.

Пробовали устраивать в деревнях, где они страшно нужны, но сейчас же облипла кругом подлая нечисть, стала очень хорошо кушать, а дети голодали. Контроль из города далек, и нет достаточно людей для кадров инструкторов, контролеров, главное надежных, – трудно теперь быть честным около еды. Пришлось деревенские детские дома перенести в города.

Дома переполняются, как вода переливается через края наполненной тарелки. Одно спасение – лазареты постепенно закрываются, так оттуда перетаскивают оборудование, койки, персонал, и в школе готов детский дом человек на двести. Маленечко на казарму похож, да и этому бесконечно рады.

Людей надо – надежных людей, – продук-

тов надо, лекарств надо, одежды надо. Людей, людей надо. Помогите же!

И помните, раз так сложились обстоятельства, их надо использовать во всех направлениях: ребятишек надо не только накормить, но и научить, воспитать. Пусть они выйдут из детских домов не зверенышами, а советскими работниками.

Работники земли Советской*

(IX съезд Советов открыт)

Бывают два праздника. Один истертый, безжизненный, когда люди надевают заранее приготовленные одежды, заранее приготовленные выражения лиц, заранее приготовленные чувства. А другой, когда в самой будничной, в самой серой, трудовой и подчас страшной обстановке вдруг придет письмо или известие, и на мгновение все посветлеет кругом, и торопливо и радостно забьется сердце.

Вот на таком втором празднике я и был.

Громадина Большого театра. Весь он снизу доверху залит работниками Советской России.

Приветствия? Но ведь приветствия – это же казенщина, это скучно? Почему же сегодня так жадно их слушают? Так блестят глаза во всей громадине зала, блестят глаза, не затмеваемые блеском электричества?

Потому что впервые приветствуют новые социалистические, советские республики.

Грузия, прекрасная Грузия, социалистическая, Советская Грузия. Да разве не она при меньшевиках кроваво дралась со всеми, со всеми, кто ее окружал? Разве не она огнем и мечом опустошала свои собственные области? «А теперь, – говорит представитель Грузии, – мы Г представителем Советской Армении, с которой резались грузинские меньшевики, подписали договор о границах, и я, грешный человек, даже и не прочитал его».

Границы тают между пролетарскими республиками. И оттого так празднично в зале.

Зазвучал голос Украины:

– Ох, как врет, как подло, беспредельно нагло, как чудовищно лжет буржуазная печать: и банды заливают Украину, и восстания, и разорение!

– Слушайте, да вы составьте делегацию от

иностранных журналов, – страстно восклицает представитель Украины, – пошлите их на Украину, пусть собственными глазами посмотрят и увидят: банды на Украине уничтожены, и уничтожены самими крестьянами *незаможными*, производство подымается, Донбасс оживает.

Взрыв праздничных рукоплесканий. Раздается голос представителя Дальневосточной республики:

– Все мы сделали, чтобы сохранить мир, чтобы избежать кровопролития: сохранили все виды частной собственности, права и владения иностранцев, политическую самостоятельность в отношениях с Советской Россией, созвали Учредительное собрание. И нам было обещано, обещано Японией, что при этих условиях нас оставят в покое. И Япония солгала, нагло, подло солгала. На нас из Владивостока двинулась ничтожная шайка черносотенцев, но, когда наши партизаны бросились, чтобы смести их, за черносотенцами блеснули штыки надвигающейся японской пехоты, которая заняла порядочный кусок республики. И это в то время, когда японское прави-

тельство вело самые мирные переговоры с Дальневосточной республикой, чтобы подло отвести глаза.

Чудовищное коварство! В зале потемнело, разлились сумерки и молчание.

И в этом молчании и в этих сумерках вышел на эстраду... японец. И это был японец-коммунист Катаяма. И зал взорвало от грянувших рукоплесканий.

Он заговорил на непонятном, таком чуждом, далеком для уха языке. Но отчего же, отчего так посветлело в зале? Отчего так блестят глаза? Отчего в таком напряженном внимании вытянуты шеи? Отчего праздник снова разливается по залу?

Звучала чуждая, непонятная речь, а каждый отлично понимал: там, в далекой, таинственной, голубой Японии, так же бьются пролетарские сердца, так же жгучи материнские слезы, так же падает кровавый пот с чела замученных рабов капитала.

Что? Два с половиной миллиона пролетариев в Японии?

Ах, не надо, не надо переводить, мы все, все до кусочка понимаем, не понимая слов, не

понимая речи.

Что? Пять миллионов пролетаризованных замученных крестьян.

Нет, нет, не надо переводить того, что непонятно для уха, но жадно схватывается сердцем, не надо переводить, что есть две Японии: империалистов и пролетариев. И от этого стало так ярко, так светло в зале, так празднично. И от этого так дрогнули стены от взрыва рукоплесканий, и я посмотрел вверх: не обвалится ли потрясенный свод.

Вышел товарищ Ленин и стал говорить...

И, как в чудесном, невиданном кинематографе, открылась громадина чудесной картины. Тонко дрожала неуловимая дымка, и в ней простиралась Россия, социалистическая, советская, пролетарская Россия, ободранная, голодная, разоренная, но полная напряжения пролетарских сил, а кругом обледали чудища с огромными кровавыми клыками, с налитыми кровью убийств и грабежей глазами. И они не спускают этих страшных глаз с пролетарской России и оглушительно щелкают кровавыми клыками. Вот-вот надвинутся и растерзают пролетарскую республику, только

пойдут гулять по закоулкам клочки.

И вот уж, – выбрасывает вперед руку товарищ Ленин, – пятый год пошел, а кровавые чудища буржуазных империалистических правительств только грозно разевают пасти, а сожрать социалистическую республику, при всем своем страстном желании, все не могут.

Но почему же, почему?

И тонко дрожащая в дымке картина далеко развернулась в речи товарища Ленина простором. И сколько глаз окинул, открылись заводы и фабрики страны. И зачернелись беспрельдно ряды пролетариев. Пролетариат наступил своей бесчисленной пятой на хвост чудовищ, и при всем своем страстном желании они не осмеливаются впрямую и в открытую сожрать пролетарскую республику.

И в этом – все значение, в этом мировой смысл совершающихся событий. И напоминание об этом, как прикосновение к земле, вливает постоянные силы в борющуюся пролетарскую Россию.

Голодные, холодные*

I

Гор не видно, – серая густая мгла, сырая и холодная, нависла.

И город у подножья невидимых гор с разрушенными по углам зданиями тонет во мгле.

Чудесные владикавказские бульвары таинственно задымлены, и пирамидальные тополя похожи на траурные кипарисы.

Вхожу в столовую. Столики, цветы, пирожные, ростбиф; барышни, разносящие кушанья, крепкое пиво пять тысяч рублей бутылка [2], рояль – все честь честью. За столиками сидят и кушают.

Но что-то мешает, что-то портит аппетит. Оглядываюсь, – в трясущемся, почернелом рванье из мешка, молча, не отрываясь, смотрят старческие провалившиеся глаза с испитого детского посинелого личика. Стоит и смотрит, смотрит и молчит.

– Ух ты! Ну, на! на!

Медленно уходит. Только ложку ко рту, а в рот уже смотрит другой. Этот совсем малень-

кий, но так же молча глядят с провалившегося личика старческие, недетские глаза.

– Ну ладно, возьми котлету.

Медленно уходит, но так странно, как будто у него на спине глаза, которые он не спускает с тебя.

И стараешься потихоньку, воровски, забравшись за дальний столик, поесть, – иначе все равно уйдешь голодный.

У служащих не подымается рука их гнать: подходят, берут за плечи и ведут к двери: «Иди, иди, мальчик, тут нельзя...» Они покорно, без сопротивления, без слов уходят; дверь затворяется. Глядь, а за столиками опять недетские, неморгающие глаза.

И куда бы ни пошел, – в учреждения ли, или в дико запорошенное снегом ущелье, или к Тереку спустишься, или ночью глядишь в темноту, – все равно ни на минуту не меркнут эти молчаливые, налитые недетской тоской глаза. Никуда не денешься.

С тряпья, с трясущихся от слабости и холода детей сыплются вши.

Я иду по улице. Все как обыкновенно: спешат деловые, фланируют бездельники; все

тот же в звонкой, как комната, улице девичий смех, в радости ожидания счастья, и оживленный румянец на лицах, и неподвижные извозчики на углу.

А против голых деревьев бульвара кирпичный дом, как все, молчаливый, красный, обыкновенный и задымленный мглой тумана.

Входим. Густой, тяжелый воздух, как в нечистой уборной. На голых досках нар вповалку, полуголые, под изодранными мешками и рогожами, лежат дети. Исхудалые, с воспаленными лицами, с блестящими или потухшими глазами.

Тут всякие: и с сыпным тифом, и с брюшным, и с воспалением легких, и дизентерийные, и с корью, и с инфлуэнцей, и те, кто просто умирает с голоду, все вместе, вповалку. Тут же стоят ведра, и, кто может, сползает для надобностей.

Умирующие дети. Лежат не по-детски молча. Только по временам забьется кашель, и опять тихо.

В углу маленькая-маленькая девочка. Она тихонько всхлипывает.

– Эта обречена: гангрена, – говорит доктор. Девочка тихонечко, тихонечко плачет, – нет, не затем, чтобы кого-нибудь побеспокоить, а когда маленькая девочка умирает, ей можно немножечко поплакать, тихонечко... И всего-то ее веку два годика.

– Если б хоть сколько-нибудь питание можно бы было улучшить, – в отчаянии говорит сестра, – некоторые выздоровели бы. Бывает, что начнет поправляться после тифа и жалобно просит: «Молочка хоть крошечку али яичка...» – а мы ему борщ с бураками да черного хлеба, ну и... умирают.

Отчего такой тяжелый воздух?

Не хватает даже того невероятного тряпья, что на них; вымытое не успевает высыхать после мойки. А ведь дизентерийные: все испачкано, все заражено. Так и приходится надевать тряпье либо мокрое, невысохшее, либо грязное. Тут же пьют, едят, – зараза расползается.

– Если бы дрова, мы бы отвели отдельную комнату для острозаразных. Вон и комната есть, топить нечем, – ну и валим всех в кучу.

Как блестят маленькие глаза!

Надо уж уходить, а я стою, и смотрю, и жду, сам не зная чего.

Я смотрю и не могу оторвать глаз от мальчика лет двенадцати. Все дети лежат тихо. И он лежит так же тихо среди них.

Одет: лапти, онучи, пестрядинные порты, кацавейка, вытертая черная шапка. Я сам не знаю, отчего запоминается все так неизгладимо. Он лежит на боку, к нам спиной, подобрал к подбородку колени. Лица не видно.

Доктор придвинулся и, не мигая, как будто приобщая меня к преступному, едва уловимо пошевелил губами:

– Труп... от сыпняка...

Я пошел вон, а в сенях жестокая схватка: заведующий кладбищем взволнованно, колотя себя в грудь, кричит:

– Да куда же я их буду девать?! По пять, по шесть трупов присылаете. Да ведь это от вас только. Со всех сторон тянут. Ну, куда? На шею себе, что ль, положу. Ни денег, ни рабочих, могилы копать некому.

– Ну, а мы-то куда же? На улицу выкидывать, что ли?

Я иду по улицам, и идут со мною эти бле-

стящие, немеркнущие глаза.

Где же ваши матери, чье сердце разорвалось бы от горя и отчаяния, чья жгучая слеза упала бы на ваше восковое личико?

Я иду по улицам, которые тупо и безразлично теряются в дымчатой мгле.

Перехожу мост. Терек, внизу белея, злобно роется, но присмирел, – в горах подморозило, и он съежился. Гор не видно. А под ногами хлюпающая жижа: до костей пробирает сырость.

...Длинное, угрюмое, полуразрушенное здание; выбиты окна, сорваны двери, вокруг невероятно нагажено.

Спускаюсь по скользким ступенькам в полуподвал. Нельзя дышать, несет сортиром. В полумгле на полу, возле парашей, люди; некоторые достали где-то кипяток, пьют. Тут же везде на полу отхожие; ползают дети; больные – те, что не в состоянии подняться, – ходят прямо под себя, никто не убирает. Невыносимая вонь. В зияющие окна несет пронизывающую сырость и холод. Убежище голодных.

Неужели же нельзя вычистить помеще-

ние, устроить отхожее во дворе, забить окна хоть досками, чтобы не так несло? Наконец, можно все это заставить сделать самих же голодающих.

– Да-а, заставишь! – с злобным выражением объясняют мне. – Вон назначили им коменданта. Тот приказал немедленно вычистить помещение и держать в чистоте – так крестьяне, как зверье, поднялись: «Иди да сам чисть!» И назло тут же за дверью и напакостит.

Я понимаю, всякий, кто валялся бы в оцепенении на залитом отхожей жижей полу, не в силах подняться от скрючивающего холода, от голода, голый и босый, и нет просвета, всякий назло в тупом отчаянии тут же за дверью...

Я иду, я опять иду по тупо и равнодушно теряющимся в тяжелой мгле липким холодным улицам, и жижа хлюпает под ногами.

Длинный, длинный забор. Из-за забора глядят корпуса больницы, а за забором на растворившейся жидкой земле, на залитой холодной жижей земле... люди – голые, окостенелые, раскоряченные, ощерившиеся, с су-

дорожно искривленными руками. Их и прикрыть нечем, – о брезенте и говорить нечего, рогож нет. Навеки застывшие люди...

...Пять, шесть... десять, двенадцать... восемнадцать... двадцать три... Сколько же их?

И как бы ни спрашивал, что бы ни узнавал, везде одно: «Нет денег, нет средств, бессильны. Что будет дальше – не знаем».

А они уже мстят, уже повисла месть над городами, над аулами, станицами, деревнями, над нефтяными промыслами, над рабочими кварталами. Они мстят, эти раскоряченные, застывшие вдоль забора трупы: как мертвенное пятно, расплывается сыпной тиф. Плывет и возвратный тиф. Вспыхнули и летние болезни, которые на зиму обыкновенно замирают: брюшной тиф, дизентерия. И ползут корь, скарлатина, дифтерит.

И все это оттуда, где в сортирах ютятся голые люди, где тихонько всхлипывает маленькая девочка, которой надо умирать, где лежат застывшие, раскоряченные голые трупы.

И уже расплывается сыпняк по линии. На станции под Владикавказом валяются по платформе, по путям сыпные вперемежку с

умирающими от голода. У кассы – длинный хвост, и все, кто в череду, шагают через закоченевший труп сыпного, который уже много часов лежит на грязном полу вокзала.

Положение безвыходное: денег совершенно нет, койки сокращены до минимума. Жалкие крохи, какие имеются, недостаточны даже, чтобы мертвецов вывозить.

...Рабочие заволновались. Они отрывали крохи от своего жалкого заработка и несли в помощь голодным. На собраниях требовали экстренного обложения буржуазии. И добились этого обложения.

Были собраны крупные суммы, и началась борьба с голодом и эпидемией. Стали подбирать голодных, сыпных, стали кормить, лечить, одевать.

А девочка умерла, навсегда, маленькая, замолчала.

II

Собрался Криволюковский волостной сход. Приехал из уезда товарищ. Рассказал про голод. Посыпались попреки друг дружке; погалдели, почесали поясицы.

– Знамо – голод.

- Ежели не уродилось, так и нету хлеба.
- А как прежде: закрома у них ломились.
- К ним и мануфактуру и одежду тащили.
- Пуцай теперь они к нам везут.
- Будет тебе наливать-то. Али голоду сам не знал?

Пошумели еще, но постановили помочь. По горсточке, по ковшику, по фунтику, ан собрали целый вагон.

- Пуцай поправляются.

Выбрали двух крестьян, – веселые ребята, рот до ушей – и не закрывается.

Сели в вагон, и пошел он постукивать на стыках.

Долго ли, коротко ли, вернулись крестьяне. Стали скликать опять сход. Идут крестьяне, почесываются.

- Чево такое, али опять сбор?

– Будя. Эдак досбираемся, сами зубы на полку сложим.

Собрались. Вышли делегаты. Что за чудо: те – да не те. Все их знают, а признать не могут. Чужие лица, чужие, далекие глаза. Как будто какая мгла отгородила их от всех и всю жизнь лицо их улыбки не знало.

– Так что, братцы-товарищи, довели мы все до зернышка в исправности, да как глянули, а там... а там...

Да не договорил, засопел носом, махнул рукой и пошел прочь.

И другой не выдержал: по загорелому, обветренному лицу поползла скупая соленая крестьянская слеза. Ушел и этот.

А сход не расходится. Крестьяне устали в землю. Бабы сморкаются, подолом глаза вытирают. Ребятишки притихли, на больших глядят.

Смотрят, а те двое назад идут, несут фунта по четыре ржицы.

– Во, сами знаете, многосемейные мы, до новины не то дотянем, не то нет. А во, принесли. Думали, как, бывалыча, прежде, отсыпал раз – и будя, совесть свою ублажил. Ан, глянули там своими глазами, как глянули мы... не расскажешь. Во, каждый месяц будем, сколько в силах, отсыпать.

Разошлись все молча, а там, глядь – у волостного совета, на разостланном пологе, стала вырастать куча ссыпаемой ржи.

С тех пор Кривовольковская волость каждый

месяц бедно-бедно, а с полвагона наколотит и посылает. Приговаривают:

– Што ж, ничаво, пуцдай поправляются.

Долговязый*

Он был долговязый, худой, бледный, в угрях, и никто ему не давал девятнадцати лет, а считали вытянувшимся подростком с обезьяньими, по колено, руками.

Уж и забыл, чем только не был: у сапожника в выучке – рубец от шпандыря над бровью; и в столярной; и тряпье и отбросы собирал, и нищенствовал, и отвинчивал медные ручки на парадных, и замертво валялся под мостом от голода.

А когда полиция, забрав и продержав в участке, приводила его к матери, та, утирая концом замасленного фартука нос, вечно в капельках пота, и замученное, потно-бледное лицо от плиты, всхлипывала, начинала утирать сразу вспотевшие глаза:

– Родимый ты мой!..

Давала городовому на мерзавчика, а сына посадит около себя на кровати, обнимет, положит голову ему на плечо и скупно и тороп-

ливо всплакнет:

– Сыночек ты мой, сынок... Одного бог послал, да и тот...

От нее вкусно пахнет жареным маслом, пирогами.

Но как только по коридору из хозяйских комнат послышатся мелкие, частые, козы шажки, она толкнет его:

– Лезь скорей!

Он юркнет под кровать; она приспустит, оправит из разноцветных кусочков одеяло. Он видит: по полу торопливо мелькают маленькие, с бантиками, черные туфельки, – так и хочется поймать лапой и придержать. И слышен милый девичий голосок, от которого, должно быть, светлее в кухне делается.

– Матреша, что это у тебя все не готово? Ведь за стол сели...

А около плиты топчутся раскоряками развалившиеся, кособокие башмаки матери.

– Готово, готово! Неси первое. Зараз все готово.

Только горничная из кухни, а под кровать сунет пахнувшая жирным борщом худая рука кусочек пирога, котлетку, ложку запеканки,

вкусного печенья; он лежит и, счастливый, жует. Под кроватью пахнет пылью, лежалым пропотелым матрацем, кошачьим нужником. А по полу то и дело черно мелькают бантики на туфельках или одиноко топчутся у плиты заскорузлые раскоряки.

Когда господа отобедают и отдыхают, в кухне повольней. Вылезает Долговязый, а мать все его кормит, и все утирает глаза, и все горько приговаривает:

– Так надо. Стало быть, так и надо. Господь кому как определил. Нам с тобой, сыночек, тяжелый крест... Ну что ж, стало быть так и надо.

Он ни соглашался, ни не соглашался, а просто жевал пирог или жареный кусок мяса. Но во всем его теле, и длинных руках, и угристом лице, где-то под ложечкой ныло, не подавая голоса: «Так и надо... Так и надо...»

И улицы с шумом и гамом, и высокие дома с блестящими стеклами, и витрины, за которыми вкусная снедь или красивое платье, и экипажи, и сытые женщины, – все было внутри тонкого сомкнутого круга, непереходимого для него от века. «Так и надо».

Он не сопротивлялся, но когда сапожник рассек шпандырем бровь, – убежал. А когда столяр стал утюжить по голове фуганком и он оглох на некоторое время, – опять убежал. Хотя и убежал, но ему и в голову не приходило куда-нибудь деться от этой жизни. «Так и надо».

Долговязый попал в тюрьму. Всякий народ там был. В первый раз он услышал – читают книжку. Лежит на пузе малый, рябой, и на маковке волосы закрутились куриным гнездом. Кругом гомон, шарканье котов, вонь от параши; в углу, на разостланном халате, с воспаленными, жадными лицами дуются в карты; матерная ругань висит – не продыхнешь. А тот лежит и читает вслух для себя.

И читает чудно. Будто солнце – не солнце, а шар, вот как в кузнице, раскаленный, и будто месяц – не месяц, а вроде как земля, по которой ходим, и блестит, как зеркало, от солнца, и будто не солнце всходит и заходит...

А там картежники грянули хором:

*Со-о-нце всхо-дит и за-а-хо-о-дит,
А в тюрь-ме мо-ей тем-но-оо...*

...а земля, как голова круглая, крутится
о круг себя...

...мне-е и хо-чет-ся на во-о-лю...

Долговязый тоже лежит на животе, подняв
голову; рот раскрыт, тоненькой ниточкой
слюна тянется до нар. Он ничего не слышит,
не видит, только видит, как огромная круглая
голова вертится вокруг себя...

...це-е-нь пор-вать я не могу...

Вот с этого и началось. Точно эта круглая
земная голова, которая вертится вокруг себя,
выдернула его, как нитку из иголки, из всей
его прежней жизни.

Клокотый рябой оказался матросом. Кто-то
доставлял ему с воли книги, и он их запоем
читал вслух для себя, а Долговязый его слу-
шал, не закрывая рта. Выучил его матрос и
грамоте. Рассказал, как на земле выросли го-
ры, как расплодились животные, как прапра-
щурь человека ходили на четвереньках, ла-
зали по деревьям, а сами в шерсти.

– А насчет бога – фффью! – свистнул мат-
рос.

И когда свистнул, у Долговязого больно сжалось сердце: «Эх, матка, худая уж дюже!..» Представилась на секунду кровать и полутемнота под кроватью, воняет пылью и кошками, и исхудалая рука сунет то пирожок, то котлетку, то сладенькое...

Выпустили их из тюрьмы вместе, и вместе поступили на пассажирско-грузовой пароход «Днепр». Долговязый сразу стал не один. Работал ли в трюме, стоял ли на вахте, мыл ли палубу, или свертывал канат, около него и с ним были такие же товарищи, так же напрягавшиеся в неустанном труде, так же не знавшие ни отдыха, ни сроку. И эта связь тянулась к матросам на других пароходах, тянулась к заводам на берегу, где бывали тайные собрания с рабочими. Ткалась невидимая, но громадно раскинувшаяся связь со всем трудовым людом, у кого разинулись глаза.

В Батуме брали с заграничных пароходов нелегальную литературу и развозили ее по портам, а оттуда она растекалась по заводам и по фабрикам, растекалась по всей России, заражая сердца, умы. Тучи царских шпионов,

провокаторов, полиции, жандармов, прокуроров, как чудовищная сеть, старались захватить эти печатные мысли, но они, как вода, всюду просачивались.

А Долговязый с железной настойчивостью работал в кружках, как только попадал на берег. Высокий, обветренный, загорелый, он говорил коряво-взъерошенно, но, как железной рукой, держал собрание, и его, затаив дыхание, слушали.

– Товарищи, конечно, одно знать, понимать должны, которые рабочие... Тут, братцы, не шутки шутить, не игру заводить, тут, ребята, кто одолеет, на живот и на смерть, – либо мы, либо они. А уж они спуску нашему брату не дадут. Потому, ежели среди своих хоть чуть чего заметите, ежели хоть намек, что предатель, – пришить. А то все сгинет!

«Эх, к матке бы, а то и не знаю, как она. Сколько не видал! Жива ли?..»

Но к матери опять не попадал. С собрания среди ночных фонарей бежал на пароход, – сниматься в три ночи. А там опять все то же: море, солнце, вздымающиеся волны, ослепительный блеск и соленый ветер. А там опять

порт, затхлый трюм, подача из него грузов наверх, грохот лебедки, – и все один и тот же монотонный припев труда: «Майна! Вира!» И на берегу растущие горы тюков, бочек и ящиков. А по набережной гуляет чистая, разодетая публика, в панамах, в белых платьях. Плынут цветные звуки оркестра. «Эх, матка!..»

Солнце всходит и заходит...

И опять море, опять порт. Только уснешь, – хриплый голос с палубы: «Наверх, к разгрузке!» Так – без конца и краю.

Стала полиция выдергивать матросов, то одного, то другого – в тюрьму. И как по отметке – лучших товарищей, лучших подпольных работников.

«Гад завелся, – сцепив железные челюсти, думал Долговязый. – Но кто?»

Голова напрягалась, готовая лопнуть. Как его узнаешь? На лбу не написано.

Ночью ли, когда шумело море и в черноте, как земные звезды, приближались рассыпанные огни города, или днем, когда сбоку стеной проходили горы, а верхи щетинились лесами, – одно сверлило и жгло железом мозг

Долговязого: «Кто?»

...Це-есть пор-вать я не могу...

Цепочкой бежали дни и ночи. Пришла суровая морская осень. Низко тянули на юг птицы, низко неслись клочковатые тучи.

«Нашел!»

Стиснув зубы, глядел серыми неумолимыми глазами Долговязый в волнующуюся даль.

Мрак глухо несся клубами мимо парохода, разворачивающего среди ночи тяжелые, слабо белеющие волны. Долговязый лежал на койке, не смыкая глаз. Исступленно светило электричество. Снаружи в пароход било, как из орудий. Потолок и пол тяжело валились наискось в одну сторону, потом – в другую. Два пьяных матроса играли в карты, переваливаясь от качки и азартно выкрикивая, прибавляя непечатные:

– Твоя!

– Куда попер?..

– Бей!

В кубрик спустился Рябой и, держась за край, чтобы не свалиться от качки, сказал в

самое ухо Долговязому:

– Нашел!

Тот вскочил, вцепившись:

– Кто?

– Кок!

Долговязый вскочил, как подкинутый кач-кой:

– Почему знаешь?

– В третьем классе едет парень. Знаю его. Наши ему в городе сказали: пусть, мол, кока опасаются, в дела не пускают, – с охранкой связь держит.

– То-то у нас с получкой нелегальщины все провалы... Идем к нему!

– Постой, пускай уснут, – показал тот глазами на игравших матросов.

Долго те качались, подбрасываемые, хлоп-пали картами, выкрикивали. А в Долговязом неотступно, не умолкая, звучало:

...цепь пор-вать я не мо-гу...

Матросы утомонились, улеглись, потухло электричество. Долговязый выбрался из кубрика. Ветер бешено свистал и крутил черноту ночи, палуба медленно валилась то в ту, то в

другую сторону. Долговязый и Рябой прошли, раскачиваясь, и спустились в маленькую камеру кока.

Он спал и, когда они вошли, вскочил, как обожженный.

– А? Вы чево?!

А они навалились, придерживая за глотку, чтоб не кричал.

– Говори!

Он смотрел на них белыми от ужаса глазами.

– Ничего не знаю... За что вы?! Чево вы?!

– Готовь!

Рябой достал веревки и скрутил ему руки, ноги. Он забился, как пойманная рыба.

– Постойте, братцы!.. Все скажу... товарищи...

– Ну?!

– Один... один только раз... Больше не буду... никогда не буду!..

– Довольно!

Ему замотали рот и стали насовывать мешок. Завязали над головой, к ногам – полупудовую свинцовую болванку. Вытащили на все так же валившуюся из стороны в сторону па-

лубу, в крошечный гудящий мрак. В мешке смертельно извивался и дергался.

Они сунули его, когда палуба пошла вниз. Мешок скатился до борта. Перевалили за борт, – и был все тот же гудящий мрак, смутная чернота ближних бочек, да содрогания винта бежали безудержно.

Долговязый спустился в кубрик, зажег электричество и стал писать каракулями, привалившись грудью к столу, чтоб парализовать качку. Руки дрожали.

«Дорогая матка, вот никак к тебе не доберусь, все никак не вырвусь: на пароходе работа заела, а в городе дела, никак к тебе не вырвусь. Ну, в этот рейс к тебе обязательно наведаюсь и денюжат прикопил тебе, принесу. Хочу глянуть, как ты живешь. Ты не робь, матка, мы буржую шею сломим и не будем его объедки под кроватью кушать».

В порту его арестовали.

Что бы ни делала, – шила ли, готовила ли картофельную себе похлебку, убирала ли убогую комнату исхудалая женщина, – жила она только одним: напряженно вслушивалась.

Давно ее рассчитали господа. Стала часто кашлять, – побоялись, не чахотка ли, как бы не заразила. Места не нашла. Наняла на краю города крохотную комнатку возле кухни и стала с себя продавать, что было, – тем и жила. И все слушала, все прислушивалась.

Днем ли, ночью ли, она угадывала малейший скрип двери: это вошет квартирант, это – хозяйка, это – дворник. Так – день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Не слышалось только шагов того, кого ждало изболешшееся материнское сердце.

Все труднее и труднее подымалась по утрам с постели и кашляла, а сердобольная хозяйка говорила:

– Нету сыночка что-то. Али забыл мамашу?
А та говорила слабым голосом:

– Нет, Антонина Ивановна, он не забыл, он придет... он придет, Антонина Ивановна...

И все вслушивалась.

А раз утром не поднялась с постели и, когда вошла хозяйка, только повернула голову. Та ахнула:

– Господи, да как вы исхудали!

– Ни-чего, Антонина Ивановна, по-прав-

люсь вот... только дожждаться... Сережа придет...

Хозяйка покачала головой.

...Шли дни. Осень стала в окнах слезливая, заливая стекла холодным дождем. Деревья облетели.

Слышно было – вошел почтальон. Хозяйка отворила дверь и подала торопливо письмо, – некогда было:

– Должно, от сыночка.

Больная уже не поднимала головы, только скосила счастливые глаза.

Долго возилась в хлопотах хозяйка и только к вечеру заглянула к жиличке. Та неподвижно лежала с безгранично радостной улыбкой на восковом лице, и похолодевшая белая рука прижимала к неподымающейся груди нераспечатанное письмо.

Чудо*

В январскую стужу, привалившись к задку саней, ехал казак Наумыч в станицу.

Заиндедевшая лошадь бежит споро. Кругом пустая степь, занесенная снегом. Наискосок, через дорогу, тянет злая поземка. Верст семнадцать осталось.

Вдруг Наумыч натянул вожжи. Лошадь стала.

– Что за притча?..

Шагах в десяти от дороги пар шел. Слез Наумыч, идет, проваливается по сугробам. Чудеса! В ложбине чернеет живая вода, снег кругом мокрый, а в воде лягушонок плавает – оттаял.

– Али наваждение?.. – перекрестился Наумыч.

Знает – кругом верст на двадцать капли воды нет, степь сухая, как кирпич, и от мороза даже воздух оледенел.

Побежал назад, ввалился в сани и погнал лошадь. А в станице – прямо к попу.

– Так и так, батюшка, нонче мне наваждение в степе было, благословите. Двадцать го-

дов ежжу по этому самому месту, капли-ро-синки никогда там не бывало, и называется Сухой Лог, кругом мороз, а тут прямо живая вода, а в ей лягушонок плавает.

Поп сунул ему в губы волосатую руку, выслушал да как заревет боровом:

– Мать, дай ему стакан водки! Да вели Николаю запрягать вороных. Пошли за дьяконом, за дьячком, приготовьте облачение... Аты, мать, полезь на подловку, там в углу навалены иконы, выбери какую постарей божию мать, почерней какую. Да сама полезь, а то Палашка не сумеет. Да не забудь... того... – крикнул он вдогонку, – энтого... бутылочку в сани поставить, – мороз больно здоров.

Попадья, вся в паутине, слезла с подловки и подала почернелую доску.

– На вот. Только нос у ней маленько сколупнут.

Через полчаса поп в новой енотовой шубе, с ним здоровенный, похожий на быка дьякон – в волчьей, и в пальтишке не попадавший зуб на зуб дьячок – быстро ехали на паре сытых вороных в степь.

Вот и ложок, и пар от него идет. Глядь, а с другой стороны на паре гнедых тоже трое жарят: поп с дьяконом и с дьячком из хутора, – пронюхали, канальи.

Подскакали разом; выскочили попы да к воде с иконами. И стали друг дружку пихать.

– Ты что же это в чужой приход, сивый мерин! А?

– Врешь, бабьятник, наш, хуторской тут юрт.

Вцепились друг другу в бороды. Дьяконы из саней на помощь поспешают. А у дьячков свое – кадило в сторонке раздувают.

Станичный дьякон скинул с правой руки волчину да, не крестясь, не молясь, ка-ак ахнет хуторского батюшку, – тот и ушел головой в снег.

Зревел по-бычьи хуторской дьякон:

– А-а, так ты нашего!..

Скинул тулуп, размахнулся – господи благослови. И задрал ноги станичный поп, зад весь в снегу показал. Сошлись дьяконы, оба ражие, откормленные, с бычьими шеями, и голоса рыкающие, – быть бы большому бою, да бегут кучера, кричат:

– Батюшки!.. Батюшки!.. Народ едет...

А народ действительно ехал: со всех сторон зачернели сани. И как это быстро весть о чуде облетела станицу и хутора!

Попы, кряхтя, поднялись, и пошло: «господи помилуй», и «аллилуйя», и «радуйся, невесто невестная»...

На другой день народу привалило еще больше. Везут безруких, хромых, слепых, иссохших, измученных, падучих, порченных, кликуш. И все с умилением, со елезами пьют святую воду и прикладываются к явленным, быстро стынувшим на воздухе: морозно – прилипают губы, больно отдирать. А кругом вздохи, крики, плач, визг. Кликуши голоса:

– Матушки, царицы небесные! Да как же вы нас сподобили, недостойных?! Хучь бы одна, а то сразу две – преподобная Одигитрия ды Казанская божая мать...

А около попов растут кучи денег, печеного хлеба, яиц, сала, овчины, мешки с пшеницей. Пара вороных и пара гнедых не успевают отвозить.

Так тянулось целых четыре дня. Измучились попы, до седьмого пота трудятся. По об-

ласти, по станицам, по хуторам слава пошла о двух явленных и как они исцеляют болящих. И те, кто приезжал, своими глазами видели явленные иконы в живой воде, как для болящих царицы небесные воду все прибавляют, – стало уж маленькое озерце и не мерзнет.

Удивляется народ, в страхе и умилении пьет воду, набирает в пузырьки, в бутылки и развозит по всей области.

На пятый день приехали на двух санях рабочие, хмурые, черные от въевшегося металла и масла. Вылезли, достали инструменты, подошли.

– Ну, будет вам тут турысы разводить.

Вскинулись попы и молящиеся:

– Вам чего надо? Тут явленные матушки, царицы небесные – Одигитрия да Казанская...

– Ма-атушки!.. По матушке бы вас всех... Ишь сколько воды нашло. В станице, почитай, водопровод стал, без воды все сидят. Труба лопнула, а вы воду лакаете, да еще с водосвятием... Ну, пускайте, некогда нам тут с вами...

И принялись за работу. Развели костры, от-

таяли землю, вырыли колодцы; открыли водопроводную трубу, заменили лопнувшую часть новой, опять засыпали землей и уехали.

Вскоре поднялась метель, все бело сравняло, и опять в степи стало тихо, безлюдно.

У текстилей*

Тридцать пять лет! Да ведь это больше полжизни. Когда оглянешься, только ахнешь: тридцать пять лет прошло!

Совсем молодым – только на ясный свет глаза продрал – два царских жандарма, гремя шпорами, привезли меня к Ледовитому океану, в город Мезень. Да одно было только название – город, а всего-то там – улица да два переулка.

Иду в коммуны, где жили политические ссыльные. Знакомлюсь. Бросаются острые, живые, чуть насмешливые глаза небольшого роста, широкоплечего коренастого ссыльного. Ему лет тридцать пять. В самой поре. Ткач орехово-зуевский, Петр Анисимович Моисеенко.

Это был отец стачки, один из зачинателей

русского революционного рабочего движения. Были и до него стачки. Но это были неорганизованные, стихийные бунты. Стачка же, проведенная на Морозовской фабрике в Орехово-Зуеве Моисеенком, была *первая крупнейшая по своим размерам организованная стачка.*

Через тридцать пять лет я попадаю здесь, в Москве, в ЦК текстильщиков на заседание фракции. Длинный стол. Около тридцати человек. А в конце стола на почетном месте – старик с серебряной головой, и те же живые, острые, молодые глаза, чуть насмешливые, такой же невысокий рост, такой же широкоплечий, коренастый. Да ведь это же тот самый Анисимыч, Моисеенко, отец русской стачки, зачинатель рабочего организованного движения в России.

Я смотрю во все глаза: да так ли? Да не сон ли? А вдруг дохну, а этого ничего нет. Да могло ли мне присниться такое в Мезени, у Ледовитого океана, что через тридцать пять лет за длинным столом увижу уже серебряную голову Анисимыча и тридцать человек, тридцать коммунистов, тридцать его революционных

сыновей, которые любовно, радостно, преданно чествуют своего батьку!

И опять смотрю во все глаза: эта серебряная голова – начало, эти тридцать – продолжение одного и того же великого, небывалого в мире революционного дела.

Какое начало! Какое мучительное, трудное начало! Среди непроглядной рабочей безграмотной забитой тьмы начинал молодой Моисеенко. Начинал среди дикого, нечеловеческого царского и хозяйственного произвола. Темные замученные рабочие говорили безнадежно:

– Разве можно у Морозова стачку устроить! Он колдун – не допустит.

Раскачать эту непроглядную тьму стоило невероятных усилий. Ведь собираться-то рабочие могли только в грязных, вонючих фабричных нужниках, тайком, оглядываясь. И там молодой Моисеенко растолковывал им самые простые, азбучные истины: что они должны добиваться возможности жить не собачьей, звериной, а мало-мальски человеческой жизнью. И с нечеловеческими усилиями надо было не дать организованной стачке

превратиться в стихийный бунт разрушения.

Вот как начинал молодой Моисеенко.

И я опять смотрю на эти тридцать, на это продолжение. Но какая разительная противоположность обстановки начала и продолжения!

Там – темная, безграмотная, забитая звериной жизнью масса; здесь – дисциплинированные, внутренне страшно выросшие стройные ряды пролетариата, выковавшего величайшую в мире революцию.

Там место агитации – вонючий нужник; здесь – лучшие залы, лучшие помещения городов, фабрик, заводов.

Там – безумные, нечеловеческие преследования царских и хозяйских палачей; здесь – в подспорье революционным строителям мощь рабочей революционной власти.

Я смотрел на серебряную голову зачинателя и на молодые в расцвете сил лица продолжателей. И тот и другие вышли из самой утробы, из самого нутра пролетариата. И тот особенный практицизм, особая сноровка ухватить самую сущность дела, самое нутро его, – сноровка, так свойственная рабочему, –

лежит нестираемой печатью на серебряной голове и на лицах революционных продолжателей.

И на каждом лице отпечаток прошлого, партийной работы, царского подполья, безумного напряжения фронта гражданской войны и неохватимого, ни на минуту не ослабевающего напряжения мирного строительства.

Да! обстановка изменилась: нет того элементарного, страшного, что было, когда начал борьбу этот с серебряной головой молодой старик, но зато как огромно, неизбежно все осложнилось теперь! Период разрушения кончился, наступил невиданный в человеческой истории период строительства. И вся тяжесть, вся ответственность его падает на хозяйственников, на производственников, на тех, кто непосредственно регулируют живую силу фабрик.

Страшная ответственность, ибо каждая ошибка, промах бьют не по отдельному производству, а по всей социалистической республике, а стало быть, и по всему будущему нашей страны.

И я вижу по лицам рвущихся изо всех сил

людей: среди развалин, среди хаоса, среди вопиющей недостачи во всем эти тридцать час за часом, день за днем, месяц за месяцем восстанавливают производство.

Председатель правления текстилей с затаенной гордостью подает альбом всевозможных тканей. Я с изумлением разглядываю – да неужели это теперешнего производства? Сколько изящества, какая отличная выделка!

А давно ли сами рабочие, когда им в счет заработной платы давали продукт их же труда, отказывались брать:

– На кой она нам черт, эта рогожа!..

Один из товарищей текстилей подсаживается ко мне и говорит:

– Помните, вы писали про рубаху. Верно писали. Да, да, надо было подтянуться.

Я уже забыл, четыре года прошло, а он помнит. Он помнит каждую мелочь, каждый маленький факт, потому что это относится к производству, в котором вся его душа. В восемнадцатом году я был на фронте и видел: присылают для красноармейцев партию рубах. Красноармеец радостно надевает, а она тут же расплывается. Я уже позабыл об этом, а

товарищ текстиль помнит: оно сидит в нем, как заноза, он и за прошлое болеет душой.

– Надо было подтянуться, подтянуться надо было, – твердит он. – Разве это допустимо? – подумайте сами.

Да, эти текстили впились, как клещи, в свое дело, уж не вырвешь, – мертвая хватка.

И я опять гляжу на длинный стол – серебряная голова освещает тридцать революционных строителей – и думаю: да не сон ли это? И не снилось ли когда-то мне это тридцать пять лет тому назад в далекой холодной Мезени?

Город рабочих*

Иваново-Вознесенск прост, крепок, широко раскинулся. Хрустит мороз. Под наваленным снегом, через широкие, как поле, улицы сереют деревянные домишки. И между ними нет-нет да и вывернется двух- или трехэтажный матерый каменный дом – фабрикант когда-то жил.

И во внутренней жизни этот не то город, не то деревня – тихий и безлюдный; крепок, прост по-рабочему, может быть, потому что рабочая жизнь дает ему свою окраску, содержание.

Впрочем, многое помечено кровавым воспоминанием. Вот около моста солдаты, стоявшие шеренгой вдоль этого забора, расстреливали безоружных рабочих. А вот там казаки засекали рабочих плетьюми, а на концах вшиты свинцовые гири, – ударит по голове, глаз выскочит...

А теперь...

А теперь в каждом предприятии свой клуб, свои учреждения, какие в те времена и не снились, своя жизнь. И эта трудовая, крепкая,

кряжистая жизнь пропитала собой все учреждения и все организации.

Губком – сердце и мозг. Секретарь – маленький и живой, исхудалый, желтый, – и в торопливо улыбающихся глазах кипучая несокрушимость. Человеку явно надо отдохнуть, иначе... Но тысячи дел, тысячи вопросов, тысячи затруднений, требований, противоречий.

Быть может, нигде так не требовательны, не строги к партийному, как здесь. Рабочий, беспартийный массовик, угрюмый, сосредоточенный, изжелта-бледный, – жиров-то не хватает в полную меру, – идет в фабричную ячейку не только с общеполитическими и хозяйственными вопросами (на Рур наступают французы, не будет ли из-за этого войны? Не станет ли фабрика из-за недостатка хлопка? и т. п.), но и со всем житейским, что наполняет его жизнь: в семье нелады – к секретарю; не знает, что с сыном делать, от рук отбил – к секретарю; сказывают, всех богов по шапке – к секретарю; будет ли урожай, не подешевеет ли хлеб – к секретарю.

И коммунист не имеет права отцыкнуться,

не знать, запнуться. Мало того, что он должен в своей собственной жизни быть чист, честен, что на него всегда можно положиться, он должен еще на все ответить, как книга, из которой все можно вычитать. Иначе машут руками: «Какой это коммунист, только что приписался к партии».

Вот почему в глазах секретарей ячеек такая напряженность, точно там внутри постоянно разворачивается туго свернутая пружина; вот почему коммунисты как-то подобранны, гибко напряжены, всегда начеку.

Вхожу на завод. Дымно, полутемно. Краны, станки, вагранка; дневной свет тускло пробивается сквозь закопченные окна, и красновато освещают и днем не потухающие электрические лампочки. Стук молотов, звякают зубила, хрипят напильники. Рабочие, пропитанные дымом, копотью, углем, вьевшимися опилками, сосредоточенно утрюмы. А рядом за верстаками, за токарными станками молодые, живые и бойкие глаза подростков, учеников фабрично-заводской школы. Тут и мальчишки-модельщики, и слесари, и мальчи-

ки-литейщики, и токари. Мне показывают их работу, – прекрасно работают, как взрослые: выполняют заказы фабрик, заводов, мастерских, в значительной степени окупают свое учение.

Просматриваю теоретическую программу, – тут и математика, и обществоведение, и естествоведение, и русский. До двенадцати – в классе, по теории, после двенадцати – на заводе практика, занимаются всасос. Да, на смену старикам идет свежий строй молодежи, строй квалифицированного рабочего, да не прежнего, обучившегося только около молотка, а с ясными глазами отдающего себе отчет в окружающем мире. Но ведь нужны не только рабочие у станка завода, нужны рабочие и у станка управления: в профсоюзах, в партийных и советских учреждениях. И я еду в совпартшколу.

Прекрасное здание, скудно меблированное.

Курсанты – курс первой степени шесть месяцев – второй год рвутся к работе, так рвутся, что часто заболевают: малокровие, нервные болезни. Я смотрю на эти милые молодые ли-

ца юношей и девочек – умственный труд уже положил на них свою чудесную, печать. С милой улыбкой они говорят: «Эх, если бы сорок восемь часов в сутки!»

Есть и бородатые, неуклюжие.

Крепкая ячейка в шестьдесят человек; пятнадцать кандидатов. Комсомольцев – сто одиннадцать человек.

Эта учащаяся молодежь и учащиеся старики не только умеют рваться к учебной работе, отдавая весь запас сил, все здоровье, – они умеют и разумно развлекаться. В конце зала – сцена, устроенная курсантами; их драматический кружок играет. Большой хор строен и выдержан, и чистые голоса девушек звучат молодо и свежо. Стройный оркестр мандолинистов. А большой спортивный кружок под руководством курсанта же борется с физическим ослаблением. Как красивы, стройны и мощны эти коллективные движения, заполнившие весь зал!..

Взрослые такими же жадными рядами идут на вечерние занятия.

Я смотрю на них: «Да! Как в уличной борьбе слышался тяжелый гул шагов пролетариа-

та, шедшего биться в теснинах баррикад, так эта молодежь, а среди них попадаетея и старик, проходит жадными рядами порой мучительные ворота науки и знания».

Промысел божий*

— **Т**ак это вы изволите сотрудничать в «Безбожнике»? — сказал, преодолевая монотонный гул колес, старик, мой сосед, с седеющей благообразной бородой, — хорошо закусил, выпил, явно «под градусом». — Читал-с. Очень на веру напирать изволите. И напрасно-с. Ежели отнять веру у человека, что ж от него останется? Вы, конечно, от науки, изучаете небесные светила, движения всякие, — почтенно, почтенно. Вы пишете, а я читаю, — дозвоьте и мне свое суждение иметь. Вы от науки, а я от жизни. Я просто хочу вам рассказать мою жизнь, и вы увидите: кто с верой обращается к богу, того он устраивает. Все единственно от господа бога нашего Иисуса Христа. Вот кто устроил нашу жизнь, если только с верой. Я вот вам расскажу свою жизнь. Так вот, папаша мой, царство им небесное, имели большую торговлю, а также

дома и две бани. А между прочим, когда мне стукнуло двадцать лет, они привезли меня в город и сказали: «Ни копейки от меня не получишь. Я из трактирных мальчиков добился, добивайся и ты и составляй капитал. А как помру – все твое с братьями, и к своему приумножишь и мое». Горько мне было: молодой, жить хотелось, да уж папаша сказал – конечно: кремень человек был. Все бы ничего, да была у меня модисточка Соня, беленькая, веселая да ласковая. И денег у меня никогда не требовала, своим трудом себя содержала, и сынишка от меня родился. Славный мальчишка, все ручонками ко мне тянулся, привык к нему. Жениться на ней не думал, а как вспомню: расставаться не миновать, – защемит сердце. Ну, вижу, тупик мне. К кому? Кто посоветует? Одно осталось – к господу богу. Пошел к Иверской божьей матери, отслужил молебен с акафистом, – полтора рубля обошелся, – и жарко молился, до слез. И что же бы вы подумали? Как осенило меня: женись на Глафире. У меня аж сердце зажалось, аж дрожь прошла – жалко Соню, мальчонку жалко... Глафира же Пудовна при больших капи-

талах была. Дело прошлое, а знал я, да и все знали – в девицах двойню своему папаше принесла. А мать божья Иверская, пресвятая, пречистая дева, так пронзительно смотрит на меня и приказывает глазами: иди! Ну, посватался, сыграли свадьбу. А в церквиглянул – стоит моя Соня в уголку, ни кровинки в лице, ребенок на руках, стоит, хоть бы слово сказала. У меня помутнело в глазах. Эх, думаю, никогда такой желанной не была, хоть помереть. Ну, дело прошлое, – не то чтобы моя Глафира Пудовна на всех зверей была похожа, а правду сказать – глянешь да крякнешь. Ну, что было, то прошло. А вот вы говорите, промысла божьего нет. Да как же нет? Когда с женитьбы я и на ноги стал, человеком сделался, даже папаша меня уважать стал, и Глашенькин капитал помаленьку на свое имя перевел. Сами понимаете, – у бабы волос долог, ум короток. Отечеству пользу принести – это дело мужчинское, не бабье, и каждый, кому господь сподобил заслужить капитал, обязан эту пользу родной стране принести. Хорошо. Стали жить...

– Что же, хорошо с женой жили?

– Душа в душу. Разумеется, в супружеской жизни бывают случаи, не без того. Извольте видеть, вот повыше уха шрам, – кочергой горячей съездила, чуть не убила. Но я вам прямо скажу: не умом, не образованием, а единственно упованием на господу нашего Иисуса Христа стал я человеком. Верите ли, ни одного дела не совершал без божьего благословения. Помер папаша, я сейчас к Иверской: «Ма-тушка, научи». А она, пречистая, так-то вразумительно смотрит на меня и говорит глазами: «Иди, говорит, спасай капиталы у твоих братьев для пользы отечества». Божья воля! Поднялся я с коленок, пошел к братьям. А надо сказать, два брата у меня, но не туда пошли. Оставил нам папаша поровну капиталы, дома, торговлю. Я-то стал производить капиталы в дело, как в евангелии сказано, а они – напротив. В евангелии сказано: «Легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное». Но как это понимать надо? А так. Сказано: «Получивший десять талантов (а талант по нынешним деньгам – большие миллиарды) зарыл без всякой пользы. А получивший один талант – пустил

его в оборот и нажил талант на талант, ан вышло сто процентов». По нынешним временам это за спекуляцию повернут, и, гляди, в Чеку сядешь. А между прочим, кого господь благословил? Того, который капитал удвоил. А который не умел с капиталом распорядиться, того обозвал «рабом лукавым и ленивым». Господь в первую голову наблюдает, чтобы богатый правильно капиталы свои приумножал для пользы отечеству и народу, а который не умеет правильно свой капитал обернуть, тот господу богу супротивник и в рай ему труднее влезть, чем верблюду в ушко. А позвольте вас спросить: кто храмы строит? Кто жертвователи?.. Ну вот, приступил я к братьям. Вижу, братья мои единоутробные – «рабы ленивые и лукавые», зарывают даденные таланты. Один в университет пошел, другой – по музыкальной части. Нет, думаю, эти господу не угодны, прямо верблюды, не пролезут. А чтобы капиталы трудовые папашины не пропали, я их к рукам прибрал. На мое и вышло: один брат по политике в ссылку ушел. Говорили: можно вызволить, взять на поруки, похлопотать. Верите, целую неделю

мучился: жалко братишку, ведь своя кровь. Да раз ночью сновидение: из переднего угла, от икон вышел ангел, весь в сиянии, и глаголет: «Делай свое, приумножай даденное». Проснулся я утром в слезах и понял, какое направление мне дала владычица небесная. И пошел к Иверской и коленопреклоненно возблагодарил пресвятую. Потом пошел в храм Христа-спасителя и отслужил благодарственный молебен с коленопреклонением, акафистом и певчими, и стал он мне без малого пятьдесят целковых. Так и сгиб братишка по своей вине в Сибири, а другой в босяках пропал. А вы говорите – промысла божия нет.

Он замолчал. Задумался. Сквозь окно глухо мелькали черные деревья.

– Вот, – заговорил он опять, – пришла революция. Ведь всего, всего лишился: капитала, домов, торговли – всего. За что? За что такое?

Вдруг он поднялся, покачиваясь.

– А вот тут-то и сказался промысел божий: все понемногу опять ворочается – и капитал, и дела, и торговля. Помните Иова? Все сжег господь, испепелил, уничтожил, и все опять восстанавливает во всей силе и блеске своем. И

когда открыл я торговлю свою и стал брать подряды и опять, не как раб ленивый и лукавый, а господень послушник, стал на пользу отечества к таланту прибавлять талант, заказал молебен с акафистом и водосвятием в шести церквах, и это обошлось в миллиард двести – курс-то знаете теперь какой? Даже слепые узрят отныне все величие промысла божия...

Две божьи матери*

На окраине огромного города, высоко над рекой, красиво белел большой дом. Внизу, на берегу, черно дымила фабрика. В третьем этаже белого дома, в громадных комнатах, залитых солнцем, жил хозяин фабрики с семьей. В полутемном подвале жил ткач с ткачихой той же фабрики.

У фабрикантши родилась дочка. У ткачихи тоже родилась маленькая.

В великолепной спальне висел образ божьей матери в золотой ризе. Барыня верила в бога, но знала, что божья мать хорошо нарисована на доске, а толку от нее никакого не будет, если у человека нет денег. У ткачихи в

запаутиненном углу тоже висела икона с почернелым ликом. Ткачиха с глубокой верой молилась, думала, что на нее смотрит сама божья мать, живая.

У фабрикантши были вокруг ребенка няньки, мамки, горничные, и кормила молодуха, которая из-за нищеты с тоской бросила свое дитя в деревне умирать на кислой соске, набитой ржаным хлебом.

Ребенок ткачихи целый день, надрываясь, кричал, голодный, в мокрых вонючих пеленках, некому приглядеть: мать и отец целый день за гремящим станком на фабрике, – и ни на минуту не замирала тоска по своему маленькому.

Дочка фабрикантши расцветала, как цветок, – розовая, с перетянутыми ниточками ручками и ножками. И смотрели на нее нарисованные на доске глаза в золотой оправе. Дочка ткачихи, – желтенькая, со старушечьим личиком, кривыми ножками, как пожелтевшая травка в темноте погреба. И смотрело на нее почернелое лицо, нарисованное на потрескавшейся доске.

Заболела дочка фабрикантши. Налетели со

всех сторон самые знаменитые доктора, профессора, платили им большие тысячи – и пользовали девочку. Опять она, розовая и живая, щебетала, как птичка. И смотрела на нее божья мать в золотой оправе.

Заболела дочка ткачихи, – стало ей сводить ручки и ножки, почернело маленькое личико, повело посиневший ротик. Билась головой о доски измученная мать, рвала волосы, кидалась на колени и страстно молилась, мучительно сжимая грудь костлявыми руками и иступленно глядя на почернелую икону полными муки, слез, надежды, отчаяния глазами:

– Мати пресвятая, пречистая, заступница! Спаси ты мне дочечку... вызволи ты мне дочечку... пуцай поздоровет моя девочка... поставь ты ее на ножки... За что так она мучится?! Мати пресвятая...

Гудит гудок, бросает ткачиха, глотая слезы, больную крошку, бежит работать на фабрикантово семейство. Уходит и ткач на работу, а в глазах – тоска.

Умерла маленькая и лежала, как желтенький свернувшийся листик, а в углу висела

черная доска.

Поп торопливо похоронил, стараясь поскорей отделаться и скороговоркой приговаривая:

– Пути господни неисповедимы... зато ей там хорошо будет... на том свете.

– Хоть бы она на этом, хоть бы часочек, один бы часочек как следует пожила, – захлебываясь, выговорила мать.

Поп прикрикнул:

– Не гневи господа! Господь каждому дает крест, и каждый должен нести его. А то гореть тебе в печи огненной.

Росла и расцветала дочка у фабрикантши; у ткачихи тлела в могиле; и никогда не заживала тоска у замученной женщины.

По-прежнему висели две божьи матери: одна наверху, в вызолоченной оправе, хорошо нарисованная, другая – в полутьме подвала, старая, полопавшаяся.

Животворящая сила*

Нет, надо иногда оглянуться, отодвинувшись: вблизи остро и больно видишь в большинстве неудачи, промахи, не то, что ожидаешь; отдельные кусочки борьбы заслоняют целое.

Зной. Врангелевский фронт, верст шестьдесят от боевой линии. Штаб. Тихая степная жизнь маленького степного голого городка на тинистой речке.

В штабе, в политуправлении армии меня знакомят с положением, – плохо: и трения, и промахи, и неумелость, и многое другое.

– Хотите посмотреть конную бригаду?

Едем. За автомобилем бежит горячее курево по степной дороге. Начпоарм, нахмурившись, глядя в даль, дрожащую от зноя, рассказывает:

– Пришлось отвести бригаду. Бегут, как зайцы. Понимаете, ничего не сделаешь, вывести нельзя: только увидят неприятеля – в панике врассыпную. Никуда часть. Пришлось отвести в тыл. А тут вдобавок голые, босые. Надо из этой орды выковывать новую брига-

ду. Я тут недавно.

Приехали. Глянул: орда. У одного почернелое от загара пузо наружу; у другого и того хуже, и он все поправляет, прикрывая целомудренно обрывки подштанников. Потрескавшиеся, почернелые, босые ноги. Без шапок. А сядут на лошадей – банда. И у меня щемит: нет, не справятся с ними – таких не переделаешь.

Меня просят почитать им рассказы. «Ну, этим рассказы как пятая нога собаке», – думаю.

Собрались в саду; легли вповалку; забрались на деревья, как тетерева, ветки трещат. Стал читать. Но откуда же такая тишина? Блестят сотни и сотни глаз, гипнотизируя. Потом им стали рассказывать о положении в России, о положении на польском фронте, об усилиях мирового буржуа задушить республику и вместе с республикой и их. И опять та же напряженная тишина, внимательный блеск глаз, затаенное дыханье...

...Мы ехали назад. Быстро курился автомобиль.

И я уже думал: «А пожалуй, и этих возмем!»

Прошло две недели в обработке; пришел экзамен.

В глубоком тылу, где все спало, спало нетревожимым покоем, вдруг выросла грозная и неотвратимая сила: десять тысяч отборных махновцев под командой самого «батьки». Как из земли выросли. Пулеметы, орудия, конница, пехота, множество тачанок, на которых они передвигаются с огромной быстротой; сочувствие кулацкого населения. И в противовес – эта «разложившаяся» бригада. Штаб будет сметен, как солома вихрем.

На заре бешено ринулся Махно, подавляя огромной численностью и уверенностью. Завязался бой. А когда всходило солнце, сожженная степь вся завалена изрубленными; Махно быстро пылил, убегая на тачанках с остатками отряда.

Я опять их видел: босые, простоволосые, голопузые, в рваных подштанниках, а глаза горят. И как же они потом с партийными впереди рубились с врангелевцами!

Маленькая горсточка, крохотная горсточка свежих партийных дрожжей – и колоссаль-

ная скрытая энергия вздулась и вылилась через край.

Восточный фронт. Уфимский мороз. Митинг в пустом, побелевшем от инея помещицьем доме. Каменные, замкнутые, чужие, в большинстве татарские лица.

Чуть не поголовно бегут из частей, и повторно, по многу раз.

Выступают товарищи, стараясь пробиться сквозь эту каменную замкнутость. «Вот этих-то уже не прошибешь», – невольно мелькает в голове при первом взгляде на них.

А как дрались потом эти части!

Репрессии? Да разве же самые страшные репрессии могут что-нибудь сделать с людьми, у которых и искры нет сознания необходимости борьбы, необходимости отдать свою жизнь! Только партийные дрожжи умеют возжечь эту искру, раздуть ее.

И куда ни загляни, в военный ли, в советский ли аппарат, к хозяйственникам, к профессионалистам, – всюду одно и то же: будто и криво, и косо, и с промахами, и склочно, – ан глядь – громадно подымается историче-

ская опара на партийных дрожжах.

Взгляни на всю громаду совершенного. И в больших, и в малых событиях увидишь то, что вынесло вверх революцию и оправдало все жертвы ее – увидишь созидающую, животворящую силу партии.

Ей будут петь славу века.

Навыорот*

Капитон Иваныч держал трактор. Место было бойкое, хоть и в стороне от железной дороги. Много было проезжего люда, да и из соседних деревень наезжали мужики в базарные дни. И свое село было большое.

В базарный день далеко до свету, среди осенней тьмы, слякоти, невидимо сеющегося дождя всеми огнями светился трактор. Капитон Иваныч – небольшой, пузатый, с пузатыми щеками, маленьким красным носиком и бегающими мышинными глазками – носился по всему двухэтажному трактору. Везде слышался его тонкий визгливый голос. Внизу были комнаты для приезжающих; сюда же тайно приводились гулящие девицы. Вверху – биллиардная, буфет, чайная и закусовая, а в

отдельных кабинетах в чайниках самогонка подавалась.

Жена и дочь тоже с утра до ночи возились по трактиру.

Три человека служащих было у Капитона Иваныча.

Никиту он вывез из голодающих мест. Возил он туда собранный волостью хлеб, половину которого очень выгодно для себя продал, другую половину пополнил отрубями, песком, сдал и получил большую благодарность. Тут-то он нашел на улице умирающего с голоду Никиту. Сердце у Капитона Иваныча ласковое и сострадательное, не мог он видеть чужих голодных страданий, забрал Никиту с собой; накормил, одел, приспособил к трактиру. И Никита привязался к хозяину, как пес, – никто не знал, когда он спал, ел; все видели только, что он работал, как вол, и глядел исподлобья хозяину в глаза, крепкий, коренастый, неповоротливый, как медведь, но если стребет, пискнуть не успеешь – ломает. Скажи хозяин: «Убей человека» – и не моргнул бы, раз – и готово.

Был еще служитель при трактире – парень

лет восемнадцать, веселый, разбитной, любитель девок и самогонки, – так и не закрывает белых ядреных зубов: гы-гы да гы-гы-гы! Бил его хозяин, а он все свое: как чуть отвернутся, и спер бутылку самогона, и опять бой, а ему как с гуся вода, – гыгыкает, скалит зубы, да под глазами фонари хозяйские стоят.

Была еще девушка, тихая, безответная, бледное личико, и смотрела недоуменно голубыми широко раскрытыми глазами. Били ее, щипали, тиранили, держали вечно голодной хозяйка с дочерью; знали – изнасильничал ее Капитон Иваныч; молила она, плакала, сапоги ему целовала, – нет, изнасильничал; и не могли ей простить этого мать с дочерью. Бросили ей дерюжку под лестницей – там и спала, свернувшись, и дрожала всю ночь.

Отлично работал трактир, и был полная чаша дом Капитона Иваныча.

Оттого все ладилось у Капитона Иваныча – умел с людьми он ладить, со всякими людьми умел. До революции у него был этот самый трактир, сам и строил. И все начальство, какое только приезжало в волость, все прямо к нему, – и становой, и пристав, и сам исправ-

ник при объезде уезда. И тут разливанное море – на карачках ползало начальство.

Зато и уважали Капитона Иваныча. Всю округу он в кулаке держал: за гроши скупал хлеб, скот, масло, холсты и прочее. Пикнуть никто не смел. Любили его все, величали благодетелем.

Пришла революция, и все благополучие Капитона Иваныча рухнуло: трактир пошел под школу; землю, лес, скотину отобрали. Туго пришлось. Мужики перестали ломать шапки, а как только попадался на глаза, ругали матерным словом и величали мироедом, сосуном, кровопийцей. Да вскоре опять повернулось на старое: и базары открылись, и торговля началась, и опять стал скупать Капитон Иваныч у крестьян и хлеб, и скотину, и масло. И опять стали низко скидать перед ним шапки и величать Капитоном Иванычем.

И с начальством с новым поладил. Ну, да свои люди попали, все по-хорошему обошлось. Собрали многочисленный и шумный сход, разогрелись, дошли до градуса – ыза вывалились (целую неделю перед этим Капи-

тон Иваныч гнал самогон), и порешили: построить хорошую новую школу, когда... будут средства, а пока сдать помещение Капитону Иванычу под трактир для общественного дохода, «силов наших нету, все животы пропали, а школа все одно бездействует – ни дров, ни книг, и учителя разбежались». На том и постановили. А Капитон Иваныч пожертвовал прекрасных брусьев на стройку новой школы.

Засветился трактир, заиграл, забурлил. Комом стало наворачиваться опять состояние Капитона Иваныча все больше и больше; опять он стал благодетелем всей округи.

Ах, все бы хорошо! Так ведь надо ж было – завелась червоточина, заноза, и все росла, колола, и перестал спать по ночам Капитон Иваныч.

И кто бы был! Добро, хороший, уважаемый человек, а то Кирюшка Чересседельников, плюнуть не на что, – пришел из Красной Армии и – на тебе! – стал писать, да куда писать-то?! в газеты. Придут газеты, глядь, а там корреспонденция, да про нашу волость, да

про наше село, да про Капитона Иваныча. Эх, мать твоя, тетка кривая! Этак невдолге и на свет божий с потрохами выволокут, – да тогда и не расхлебаешь каши, все ведь поплывет, все дела наизнанку, навыворот пойдут. Пробовал Капитон Иваныч и добром с ним. Чересседельников заходил иногда вечерком в трактир. Посидит, чайку попьет и все с мужиками беседует, что и как.

Опять – пришить можно паскуду и остаться в стороне, никаких доказательств не будет, да ведь пойдет писать губерния. Наедет следствие, начнут докапываться, что да как. Капитона-то Иваныча к делу не пристегнут, бездоказательно, а дела всякие попутно всплывут...

Думал, думал Капитон Иваныч, удумал-таки, позвал Никиту.

– Вот что, ты, бревно стоеросовое. Тут есть один человек, который на мою жизнь замышляет. Так ево надо тово... ентово... Дурак! не убить, а маленечко... потолкать. Да ты понимаешь, кувалда неотесанная? Заставь болвана бога молить, он те кишки вывернет... потолкать трошки, под микитки, под зад, об-

мять маленечко, а не то что до бесчувствия... Дура, тебе говорят, ай кому!..

Никита стоял перед ним, как вывороченный сукастый пень, и бычился, и от этих маленьких из-под насунутого толстого черепа глаз становилось жутко.

– Возьмешь в сарае мешок да, как завечереет, стань под лестницей, а лампу не зажигай, – пущай в потемках. Ну, как будет идти тот человек, который замышляет на мою жисть, только на лестницу, я крякну, ты зараз мешок ему на голову задерни, чтоб не орал, и при его к сараю, а там помни: трошки, да трошечки, дубина ты кедровая, а то напрешься, как бык, сиволапый черт! Ежели дюже искалечишь али убьешь, сгною в остроге. А потом к избе курносой Машки оттащи и брось, будто ребята его застукали.

– Понимай.

– Понима-ам! дура пресловутая... Под расстрел сукина сына, ежели дело мне попортишь...

Давно сидит Никита с мешком в темноте под лестницей, по которой то и дело шаги вверх и вниз, и все чертыхается народ: темно,

спотыкаются.

Хозяин в темноте окликнул:

– Тута, Никита?

– Здеся.

Капитон Иваныч вышел на улицу, темь, зги не видать, постоял, постоял, – нету корреспондента, как провалился. Пошел назад, полез по лестнице, споткнулся, чуть носом не запахал.

– Экк ево!

В ту же секунду что-то перехватило ему голову, горло, грудь, руки и поволокло. Он не мог кричать, не мог выпростать руку, как ни бился, только ногами болтал да господу моллил.

Потом его кинуло наземь и... да что же это такое?! Его там било, катало, мяло, душа с телом расставалась. Потерял память.

Очнулся, лежит он в луже, дождь хлещет, темь, кто-то стаскивает с него мешок, слышит – голос Чересседельникова:

– Капитон Иваныч, да это вы?! Да кто это вас?..

А Капитон Иваныч заплакал и проговорил вспухшими, как подушка, губами:

– Го... голубчик... на... навы...во... рот... на-
выворот вышло...

Председатель областного суда*

Я помню его: холеная борода на обе стороны, холеные руки. Непереходимая черта тянулась между ним и всей проходившей перед судьейским столом толпой. Узок был замкнутый круг, где он чувствовал себя с равными: начальник области (князь), начальник штаба да прокурор (пять тысяч десятин). У самого было великолепное имение в Орловской губернии.

Он был превосходный председатель – никто не умел так удивительно вести заседание и никто так удивительно не умел разбираться в своде законов и во всех процессуальных тонкостях, как он. И не удивительно – кончил лицей и потом юридический факультет в Петербурге. А так как законы были отлично построены для помещиков и буржуазии, так этот великолепный председатель судебной палаты был несокрушимым столпом помещичье-буржуазного строя.

Да, было...

А теперь на его месте – высокий, крепкий, в потертом пиджаке, с синими глазами, которые, когда говорит спокойно, отсвечивают сталью, – металлист.

Крепкий, а лицо бледное – замучился, в легких неладно. Сзади – фронты, нечеловеческое напряжение, нечеловеческая работа. Говорок – рабочий.

Образование? Учился в слесарной мастерской. Там били, истязали, гоняли за водкой, заставляли мыть полы, нянчить детей, быть за кухарку, за горничную, судомойку, кучера, а еда – собаки отворачивались.

Хозяин любил ездить на шарабане. Сам правил, мальчишку сажал сзади на случай – лошадь подержать. Приедут в гости. Хозяин отдаст вожжи, сам уйдет. Холодно, горят фонари. Пустынно ложится мокрый ноябрьский снег. Пойти бы в кухню: свой народ, отогрели бы горячим чаем, – хозяин не позволяет: а то подумают, у него плохо кормят. Под утро выходит разогретый винами, разомлелый от еды и с трудом влезает в шарабан.

Вот начальное юридическое образование у

будущего председателя областного суда.

Потом завод, партийная работа, революционная борьба не на живот, а на смерть.

Теперь в его сталью отсвечивающих глазах один огонек освещает каждый его шаг, каждое движение, каждое слово: всякий судебный акт, всякое судебное действие, постановление постольку имеют смысл, поскольку правомерны, поскольку служат на пользу пролетарскому государству, на пользу пролетариату и крестьянству. Вот единственно чем руководится его судебская совесть.

Пусть он не всегда удерживает в памяти внешнюю формальную редакцию закона, цитирует его вольно, – не беда. Он помнит его сущность, он отлично чувствует, как в данном случае будет реагировать революционный законодатель, и почти всегда поступает безошибочно.

В продовольственном комитете работали два брата – ловкие, умные, изворотливые, купеческой складки, и отлично работали. Вдруг – растрата. Их арестовывают, но ни малейшей абсолютно улики – работали ведь и другие. Суд. Лучшие адвокаты гоголем хо-

дят, – на их клиентах ни пятнышка. И гром с ясного неба – осудили на пять и на три года. Город взбудоражен: ведь ни малейшей формальной прицепки!

Да, формальной улики ни одной. Но откуда же у братьев появились дома, хозяйства? И объяснения этому они не могли дать. И в конце концов даже среди нэповцев пошел разговор: правильно осудили.

...На тряской перекладной по глухим степям; хуторам и станицам делает он сотни верст. А в распутиду, когда колеса уходят в разлезавшийся чернозем по ступицу, тянется на быках по две, по три версты в час в дождь, в слякоть, мокрый снег, изморозь – надо инструктировать, следить, ревизовать народный суд. И как трудно его организовать!

Казачья область. Половина населения – казаки, но из них в подавляющем большинстве случаев нельзя назначать судей: в каждой станице, в каждом хуторе у них родня. И не то чтобы они были нечестны, или особенно падки на взятку, или криводушны, – в этом отношении они как все, но родня, родня!..

Неказачье население – выходцы из сред-

ней полосы и Украины. Родни, близких людей у них узенький круг, иногда только своя семья. И при прочих равных условиях этот судья прямее, крепче, надежнее. Из казаков же назначают только заявивших себя революционно еще до революции. Среди них есть прекрасные судьи.

Приезжает торжественно председатель на быках к народному судье на ревизию. Берет кипу разобранных уже дел и углубляется в них. Читает, читает дело, пот градом, а ничего не разберет, – никак не может понять мотивировочной части. Что там такое? В каком смысле – темна вода во облацех. Опять каракулями: «принимая во внимание, в прошлом году сдохла корова, а лошадь сапатая, и беспрременно надоть убить, и в виду того, что стог сена не на самом хуторе, а влево позадь ерика, а у яво бабы пониже пупка с левой стороны с невеликий арбуз, неиначе грыжа...»

Тьфу! Хлопнет делом об стол и начинает шагать по скрипучим доскам маленькой горницы; лишь коптящая жестяная лампочка вздрагивает. А все-таки дочитать надо. С великими усилиями, ничего не понимая, доби-

рается по каракулям до резолюции. А резолюция коротка, ясна и мудра: кулаку отказать, а стожок сена воротить истцу. А истец – много-семейная голытьба. Проработал на кулака самое горячее время за этот самый стожок. Было письменное условие, честь честью засвидетельствованное, что этот стожок много-семейный должен убрать к определенному сроку, а не уберет – лишается. Тот не убрал: жена заболела; кулак согласно условию стожок оставил у себя, и формально прав.

Председатель хлопает по делу!

– Ах, сукин сын, молодец!

И все дела так же: мотивы – дремучий лес, из которого не вылезешь, а резолюции коротки, разумны, правильны по существу и носят на себе классовый характер, – полезно для государства, в интересах пролетариата и крестьянской бедноты.

Тянутся дальше быки. Станица. Встречает судья – внимательное лицо, умные глаза, из прежних мировых судей или адвокатов.

Дела в величайшем порядке; мотивировка коротка, точна, ясна, комар носа не подточит.

Так же точны и юридически обоснованы резолюции. А у председателя, чем дальше, тем больше, хмурятся брови: вначале масса дел, возбуждаемых крестьянской и казачьей беднотой, а чем дальше, тем меньше таких дел, в суд начинает обращаться только зажиточная часть населения. Юридически все правильно и оформлено, а классовый пролетарский характер правосудия потерялся.

Быки увозят председателя, а умный, образованный, юридически опытный судья заменяется корявым, косноязычным мужичком, из мотивировочной части приговоров которого не выдерешься, как из дремучего леса, а число дел, возбуждаемых беднотой, начинает быстро расти.

Так незаметно, пронизывая самую толщу населения, строит пролетарское правосудие рабочий Баумановского района: это приносит пользу государству и защищает классовые интересы пролетариата и беднейшего крестьянства.

Анисимович*

Так мы в 1887 году его все звали в ссылке – Анисимович.

Он был сын своего класса, и все черты, которые выковывают в пролетарии тяжкая жизнь и беспощадная борьба, в нем выступали отчетливо и резко. Та особенная сметка, практичность, которая так характерна для рабочего, пронизывала всю его революционную деятельность, – и оттого результаты ее громадны, несмотря на невероятно тяжелые условия.

В каждом данном случае он был тем, чем требовалось быть: он был ткачом, он был столяром, он был слесарем, он косил с крестьянами, он был плотником, – и каждый раз он работал, как профессионал. Это давало ему широчайшую возможность проникновения в рабочие массы не как агитатору со стороны, а был он там как свой брат, рядовой рабочий, – от этого его выступления производили поразительное впечатление. Оглушительно резкий, чуть с хрипотой, тенор, немного на первый взгляд корявая речь, с постоянными по-

вторениями «это самое», – но почему же она производила одинаково потрясающее впечатление на рабочие массы, где бы он ни говорил? А потому, что из огненного сердца его рвались самые простые, может быть десятки раз слышанные слова, но в его устах – пламенные

После трех ссылок он попадает на юг, и тут начинается невероятно кипучая революционная деятельность и непрерывная звериная охота за ним жандармов и полиции. Отдан был приказ – во что бы то ни стало поймать его и... убить.

Судьба сохранила революционного бойца от подлой руки царского жандарма, но отняла его, точно в насмешку, когда он наконец мог вздохнуть, празднуя пролетарскую победу.

Его нет. Но его пламенное сердце огненно выжгло в истории пролетариата его имя навеки.

Бабья деревня*

Э то было в восемнадцатом году.

По кочкам и корневищам долго ехал Сергей. Куда ни глянешь, пни вырубков или глухие, молчаливые сосны.

Дикое место. От железной дороги сто пятьдесят верст.

Вот наконец и деревня, – в снегах на горе. Внизу речка застыла, лишь черные полыньи дымятся. Кругом сизые от мороза леса, – раздолье!

У большой избы ямщик постучал кнутовищем. Вышла баба в перетянутом ремнем тулупе, в треухе и в штанах.

– Агитатора из городу вам привез, – сказал ямщик, показывая кнутом на Сергея.

– На кой он нам!

Повернулась, отворила ворота и сказала:

– Въезжайте во двор. Лошадь в сарай заведи, теплее будет, а сами идите в избу, погрейтесь.

Сергей с ямщиком сидят распаренные в жарко натопленной избе и тянут, обжигаясь, чай с блюдечек.

А уж полна изба набилась баб – и молодые, и старухи, и девки.

«Да все ядреные какие, девки-то, кровь с молоком. Ишь глазами блестят... – подумал Сергей, схлебывая с блюдца и прикушивая медком. – И все в штанах да в треухах, по-мужичьи».

– А чего же у вас мужиков-то не видать?

– Все мужики пропали, – сказала старуха, глядя в угол.

– Жанихов теперича ни одного, – печально засмеялись девки.

– Один мужик на разводку остался, да и тот безъязычный.

– Как так?

– Ды так. Пришел енерал Колчак и давай сгнуцаться над народом – ды тянут, ды разоряют, ды бабам нет житья, сколько девок перепортили. Мужики терпели, терпели ды все убегли к балшавикам. А из них роту энти сделали. Ну, наши и стали бить Колчака. Выгнали из деревни и погнали. Страсть наклали ево. А потом, слышим-послышим, все наши полегли под одним городом. Брали город у Колчака, все полегли до единого.

В избе стало тихо. Курлыкал самовар, да за печкой сверчок тренькал.

– Чего же вы все мужиками оделись?

– Нужда загнала. Лес ли рубить, али какую чижолую работу, где же в юбке – не справишься.

– И девки в портках, – сказал ямщик, показывая зубы из-за блюдца с дымящимся чаем.

Девки весело засмеялись, блестя глазами:

– А чем же мы хуже вас?

– Ну, ладно, – сказал Сергей, отодвигая чашку, – делу – время, потехе – час. Кто у вас председательша совета?

– Да она же, – указали на краснощекую коренастую хозяйку избы.

– Так сбей сход, а я поговорю с вами. Я из города прислан от партийного комитета.

– Да мы почитай все тут. А каких нету, в лесу делянки рубят либо сено с лугов возят. А об чем говорить-то будешь?

– Обо всем: об советской власти, о разрухе, о коммуне...

Тут все бабы азартно закричали:

– Не надо нам коммунии! Будь ты проклят с ней, рогатый черт!

– Надень себе ее на рога!..

– Штоб ты издох с ней, с твоей коммунией!..

– Да вы что, ай белены объелись? – спрашивал изумленно Сергей.

Но бабы его не слушали, а с красными, потными злыми лицами – в избе была невообразимая давка – кричали, махали перед его лицом кулаками.

– Носастый сатана!..

– Запрягай да подобру-поздорову по морозцу...

– Ишь ты, подобрался: мужиков нету, так он втихомолочку с коммунией подъехал.

– Да постойте! – кричал Сергей, притиснутый в самый угол. – Чего ж вы взбеленились? Что ж, вам сладко так-то живется?

Бабы сразу опали:

– Куды слаже. У кого брата, у кого мужа, у кого сыновей...

Тяжелые вздохи пронеслись по избе, набитой бабами. Блеснули слезы.

– Ну, вот. Небось и с хозяйством не ладно. Голодно, холодно, особенно многосемейным да бедноте.

– Ды как, – сказала хозяйка, утирая глаза. – Чижало. С весны пахать надо, – нечем взяться. У кого лошаденка, – плуга нету. У кого плужок, – худобы нету. Ложись да помирай. Сбились мы, все бабы; галдели, галдели, порешили на том – сообча пахать. Опять же кажную полосу пахать в отдельности – толков не выйдет, до осени пропашем. Порешили бесперечь всю землю запахать. Согнали лошадей со всей деревни, сволокли все плуги, бороны, вышли всей деревней и давай пахать, а следом – боронить. Одни лошади выбились – отставили на отдых, других запрягли. Эти выбьются – опять их на отдых, – энтих запрягем. Бабы, девки выбьются из сил, – другие берутся, а энти отдыхают. Так, по переменкам, с ранней-то зорюшки до поздней самой темноты. Не успели оглянуться – ан земля вся вспаханная.

– Ну? – сказал Сергей, с удивлением глядя на баб.

– Не нукай, не лошадь тебе, – засмеялись девки.

– Ну, таким же манером отсеялись. А хлеб поспел, тут и вовсе гужом надо работать, –

нету полосы твоей али моей, вся обчая. Опять же косилка одна на всю деревню. Ну, и стали косить, переменяясь. Ночи светлые выпали, месяц, – так день и ночь косили, все сняли, вымолотили сообча и ссыпали в общественный анбар: смотреть за хлебом и караулить легче, как он весь вместе. С тех пор свет ясный увидали.

– Ну, а как же вы хлеб делите? По работникам али как? – спросил Сергей.

– Спервоначалу, которые без детей, заспорили, чтоб по работникам делить. Ну, мы собрались и порешили: по едокам делить. Потому, у которой бабы много детей, чем же она виновата?

– Ну?

– Опять поехал, – подхватили девки со смехом.

– Обдумали мы, – продолжала председательша, – хлеб не раздавать по дворам, а печь сообча на всю деревню. По очереди шесть баб на всю деревню напекут в общественной печке, и раздадим по едокам, и горюшка нам мало.

– Ну, что же у вас еще есть? – спросил Сер-

гей, с удивлением разглядывая баб.

– Да чего же, больше ничего нету. Всё недостатки да недохватки. Посуды нету, – почитай не в чем готовить. Так мы добыли у смолокура котел, смолу он варил. А мы его вмазали в печь ды стали на всю деревню готовить. Сарай у одной у бабочки был. Так мы его обмазали, окна, двери вставили, печь сложили, столы длинные поставили и ходим всей деревней и с детьми обедать, вечерять. Так-то ли хорошо: по очереди готовим, посуду моем, а энти все свободные бабы и девки, каждая свое дело делает.

– Вот так ловко! – сказал Сергей. – Вот не ждал, не гадал такое увидеть в деревне. Ну, а еще чего у вас есть?

– Да больше ничего.

– Ну, а с детьми как? Поди трудно?

– Как не трудно? Не то работу работай, не то за детьми гляди, – хочь раздерись. Так мы маленьких со всей деревни сволокем в одну избу с утра. Изба просторная, светлая: по очереди и смотрим за детишками. Им тепло и хорошо, в чистоте. А вечером бабы разбирают по домам. Прежде каждая баба за своим смот-

рела, а мужики работали, а теперича самим работать приходится, вот и удумали. Пеленки-то штоб не мыть каждой в отдельности, так мы в одну избу со всей деревни наберем да по очереди стираем.

– Ай да ловко! Ай да бабы-девки! Ай да герои! – сказал Сергей и захолопал в ладоши. – Да кто же это вас все надоумил?

– Да хто? Нужда, – сказала хозяйка, пригорюнившись. – Нужда горькая.

– Ды Васька... – весело заговорили девки.

– Он у нас один жаних на всю деревню. Оттого и не женится, – не разодратся на всех девок.

Синие зимние сумерки загустились в избе, а замороженные окна выступили белыми четырехугольниками. Бабы и девки так же тесно стояли и сидели, переговаривались и смеялись, и в синей темноте не видать было их лиц.

Да вдруг и стены избы, и потолок, остывающий самовар, и лица разом ярко и голубовато вспыхнули.

– Что такое? Что это?! – вскочил Сергей, а сам уж видит: загорелась под потолком лам-

почка, и окна сразу стали черные.

Девки засмеялись.

– Ага, спужался!

– У нас электричество проведено по деревне, – сказала спокойно хозяйка.

– Да откуда это у вас? Кто такой Васька? – спрашивал Сергей, глядя на них во все глаза.

– Да наш же парень. Годов семь на фабрику ушел, и ни слуху ни духу об нём не было. Потом слышим-послышим, – на войну взяли. И там ему пулей зубы выбило и язык под самый корешок срезало. Ну, доктора залечили. Дошлый парень, а говорить не может: языка нету... Вот он нас все и надоумливал. Говорить не может, а показывает. Съездил в город, приволок какую-то машинку, приправил к водяной мельнице, протянул какие-то черные ниточки, вот и пошло электричество по всей деревне. Теперь опять в город уехал.

– Урра-а-а-а! – закричал радостно Сергей и подкинул шапку. – Да это же у вас и есть коммуна. Самая настоящая коммуна!..

– Тьфу! Тьфу! Штоб тебе кобель рыжий приснился, – зазвенели девчата. – Али, взбеленился? Да ни в жисть в коммунии не будем.

– Да это же самая она настоящая коммуна и есть, когда люди вместе живут, работают, все на всех, а не на помещика, и делят наработанное, чтобы каждый был сыт, все в чистоте, в уюте, в довольстве.

Изба вдруг наполнилась раздраженным говором, криком, движением.

– Ах ты, конопатый черт! Цыплок облупленный! Ты это што ж: опять за коммунию взялся. Навязать хочешь нам. Ды ни в жисть! Штоб она сдохла, твоя коммуния!

– Постой, бабы, девки! – кричал радостным голосом Сергей. – Да это же и есть, сами же устроили, ни у кого не спросясь... Это и дорого, сами у себя устроили... жизнь вам подсказала... Это и есть самая настоящая комму...

Да не успел договорить – чей-то увесистый кулак пришелся в ухо, и у него зазвенело. Кругом красные, возбужденные, злобные бабьи лица и сверкающие глаза. Сергей раздвинул их локтями.

– Ну, это вам даром не пройдет... И опять не успел договорить.

– Штоб ты лопнул, окаянный! Штоб те выворотило наизнанку! Бей их, девки! Волоки

на двор!

Он не успевал обороняться и отступал к стене – не драться же с ними.

Кто-то сзади насунул ему шапку на самые уши, накинул и тулуп, и он вылетел из избы в распахнутую дверь головой в сугроб. За ним в тот же сугроб вылетел ямщик.

А уж двор полон баб и девок, и их возбужденные голоса мечутся в морозном ночном воздухе.

Девки мигом выволокли из-под навеса сани, ввели в оглоблю недовольную лошадь, перекинули дугу, засупонили, и не успел Сергей отряхнуться хорошенько от набившегося везде снега, как его ловко свалили в сани. Туда же, как мешок, свалился ямщик. Столпившиеся кругом бабы, отчаянно крича и улюлюкая, взяли в кнутья лошадь.

Изумленный мерин захрапел, поддал задом, рванулся и вынес сани на улицу. Девки бежали и все хлестали. Только за околицей ямщик, намотавший вожжи на руки, сдержал расскаавшегося мерина.

Ясная морозная луна бежала над лесом в одну сторону, а верхушки леса – в другую.

Сергей сердито привалился к задку саней, глубоко засунув руки в рукава.

«Чертово бабье! Сатана в них вселился. Как белены обожрались. Что с ними делать? Не бить же их...»

Он потрогал вспухшее ухо.

«Вот и веди работу. Да к ним сам черт на козе не подъедет...»

Долго ехали молча. Повизгивали на укатанном снегу полозья, прыгали заиндепевшие шлея и дуга на споро бежавшем мерине.

– Но, но, милай!.. – подгонял его ямщик, пошевеливая тоже побелевшими вожжами.

Да вдруг повалился спиной назад, через облучок в сани, высоко задрал кверху огромные валенки и стал хохотать, как леший, на весь лес:

– Хо-хо-хо... Слышь, энта черномазенькая-то кэ-эк звизданет меня по шее, аж в голове загудело. Ну, думаю – шабаш. Своротило шею, – не разогну никак да и на! Хо-хо-хо... Ха-ха-ха...

Он хохотал как сумасшедший, с таким подмывающим увлечением, как будто ему не по шее дали, а поцеловали.

– Хо-хо-хо...

– Ну, чего ты с дурна ума? – сердито сказал Сергей и вдруг сам ухмыльнулся в обмерзшие усы.

«А ведь что, – вдруг, неожиданно для самого себя подумал он, – вот маленько работу в своем районе подберу, приеду да женюсь. А что ж! Здоровый, крепкий народ. Умеют дело делать, а не языком. А как втянется – дорогая работница будет...»

А ямщик нет-нет да опять во все горло:

– Хо-хо-хо... кэ-эк звизданет! И зараз, как бирюк, шеи не поверну.

Да вдруг круто повернулся к Сергею, снял шапку и помотал открытой головой на морозе:

– Слышь, Лексеич, што я тебе скажу: вот зараз отвезу тебе, поеду к своим, скажу родителям: пущай благословлят – женюсь, – ей богу, приеду и женюсь.

Сергей прятал усмешку в усы. Ямщик крутил головой и весело хмыкал. Ухмылялся и мерин, заложив одно ухо назад и потряхивая седелкой. И месяц с веселой рожей все бежал вдоль дороги, мелькая за верхушками сосен.

Кругом стоял мороз, тишина и залитая близкой ночью.

Таинство святого причащения*

Часов пять месил грязь. Кругом – весеннее туманное поле. Топкая дорога. И всего-то от станции верст семь. Было утонул, стал перебираться через овраг. Вылез. Вот и деревенька со взгорья открылась; церковь посредине белеет.

Подхожу к крайней избе. Стоит парень с настороженным, напряженным лицом, с длинной палкой в руке.

– Доброго здоровья, гражданин.

Парень молчит, как не с ним говорят, напряженно смотрит на мои губы.

– Здорово, – говорю. – Можно зайти в избу передохнуть?

– Кого спихнуть?

– Передохнуть, – говорю, – зайти в избу.

– А! Купец?

– Я не купец.

– Какой боец?

– Э, глухая тетеря!

Я нагнулся к уху и заорал:

– Зайти в избу можно? Отдохнуть!

– Можно... Чево ж... заходи... – и вперед.

Зашли в избу. В нос шибануло тяжелым духом. В первой половине громадная почерневшая печь, теленок, куры. Во второй горнице, почище, громадная кровать под пологом, часы с остановившимся маятником на оклеенной газетами и картинками стене.

– Доброго здоровья! Можно у вас отдохнуть?

– Ну-к что ж, садись, добрый человек, отдохнай!

Кипит самовар. За столом – бородатый; поставил блюдечко на три пальца и тянет горячий дымящийся чай; капелька пота болтается на кончике носа.

– Выпей чашечку с устатку, – говорит, гундося, хозяйка, высокая степенная старуха с провалившимся носом.

– Доченька, налей странному человеку чаю, – сказала, гундося, ласково старуха.

К столу смущенно подошла миловидная девушка и, слегка отворачиваясь, стала наливать. Я взглянул и обмер: с милого лица вместо носа глядели две чернеющие дырочки.

– Н-нет... спасибо... япил, – сказал я, осторожно дыша и стараясь не втягивать в себя глубоко воздух.

– Всегда так, – сказала печально старуха, – с первого раза все гребуют: боятся заразы.

Девушка густо покраснела, отодвинула чашку и отошла печально в уголок. Мне стало жалко их.

– Дайте я сам налью себе!

– Ну-к что ж, налей, соколик, налей! Воды много.

Я тщательно вымыл чашку и блюдце, обдал кипятком, налил, достал из кармана кусок сахара и стал пить.

– Знамо, гребуют, – сказал бородатый, – но тут, между прочим, безопасно: как нос провалился – шабаш, больше никого не заразит. Закрепилась, стало быть, болеть, не переходит на другого. Дохтора сказывают.

– Давно это у вас?

– Давно, батюшка, – сказала с привычкой печально старуха, – вот как она родилась, – кивнула она на дочь. – Ты не подумай, не от греховного баловства несчастье наше. Почитай дворов десять болетью этой дурной забо-

лело. Вишь ты, приехал о те поры солдат наш деревенский и привез эту самую дурную боль. Рот-то у него весь в ранах – боялись его все, бегали от него – никто с ним не ел, не пил. А он затосковал, поститься начал: все, бывало, говееет да к исповеди ходит да к причастию. Ну, моей дочечке как раз аккурат месяц. Я и понесла ее к причастию. Причастила. У ней ротик через сколько-то времени и заболит – болит и болит. Я и водкой протираю и обмываю, нет – болит и болит, больше и больше. Гляжу: и у меня какая-то сыпь пошла. А мне и в голову не вкинулось. А через год-то гляжу: носик-то у ней стал западать. Я повезла в больницу. А там меня зачали ругать: «Ах, такая-сякая, до чего ребенка запустила». Осмотрели и меня. «Да и у тебя, говорят, тоже». – «Родные мои, говорю, я мужняя жена, никогда против его не согрешила». – «Дура, говорят, ты ребенка, говорят, где-то заразила, а ребенок тебя». Поплакала я тогда. Положили нас с дочечкой в больницу. Послали хвершала в нашу деревню, – откеда, мол, эта боль явилась. Расспросил хвершал, узнал про солдата, нашел больных еще в десяти из-

бах, аккуратно с солдатом в одно время причащались, говели вместе. Дохторица мне потом рассказывала: стало быть, солдат-то как причащался, больного гною из роту и напустил в ложечку...

– В лжицу! – сказал бородатый, потягивая чай.

– Ну, да я не умею по-священному. Напустил в ложечку, а батюшка нам и раздавал с святым причащением. Ну, вот у ней-то нос совсем, а я гундосою.

– Таинство святого причащения, – мрачно сказал бородатый.

– Митюша, садись чай пить, – громко, гнуся, сказала старуха.

– А? – вытянув шею, напряженно ловил движение ее губ парень.

– Чай садись пить.

– Куды идтить?

– Чай, говорю, пей! – закричала она сердито.

– Отчего это он у вас?

Она подперла локоть рукой и стала глядеть на улицу, где, с трудом вытаскивая ноги из густой черной грязи, брела корова.

– От этого же самого. Первенький он у меня. Как девочка приняла причастие, его не было, у свекра жил. А потом привезли, он и принял эту боль. А нам невдомек. Лечили, да кабы как следует, а то лишь залечили. Она и вступила ему в уши. Тикеть и тикеть из них. Так и оглох!

Она вздохнула и безнадежно посмотрела в окно.

– Муж-то ваш где? На работе?

– С ума сшел. Все от нас! От нашей болести заразу принял. Теперича одна с ними осталась. Девку-то кто возьмет? Да и за парня никакая не пойдет. Одно горе, одно горе...

Скупая слеза ползла по ее степенному лицу.

Я попрощался и вышел. Недалеко белела церковь.

Гуси*

Давно это было. Два голубых царских жан-дарма привезли меня в Архангельскую губернию. Угрюмые туманы, все дышащие болотами да сырыми тундрами места, одинокие, пустынные. А в другую сторону без конца леса, так же угрюмые, темные траурной хвоей, и так же в них одиноко, пустынно.

И, медленно дыша холодом, накатывается серыми волнами суровый недоступный океан, а вдали горами белые льды.

Крохотный городишко и прозывается Мезень: улица да два переулка с почернелыми домами – вот и все, вроде как кочка, а дальше бескрайная, неоглядная черная тундра и низко-белесые туманы.

Тоска взяла, как приехал. В гроб краше лечь, думалось. А взгляделся, присмотрелся к окружающему – да ведь кругом жизнь, суровая, насупленная из-под тяжело опущенных железных ресниц, но жизнь, своя особенная жизнь, полная биения.

И не полны ли эти дремучие от века леса,

не полны ли тихо движущейся жизнью бесчисленного пернатого населения? Не дымятся ли тонким курувом узко пробуравленные громады снегов, а под ними сонные медведи? И не звериное ли царство надвигается, чернея, когда, шумя и ломаясь, двинутся к пустынным берегам громады ледяных полей, а на них – чудовищные морские стада, которых никто не пасет, не стережет, а они несут сотни тысяч тюленьих, моржовых шкур, сотни тысяч пудов ворвани и жиру?

А весной... да разве есть где поставить ногу между кочками тундры, между кочками чернеющей тундры, по которой, блестя, вправлены зеркальцами маленькие озерца, лужи, мочежины, а в них и низкое небо и низкое солнце, – день и ночь ходит оно над краем тундры – а кругом... батушки! Крик, гам, писк, кряканье... Взлетывают, садятся, перепархивают, поклевывают, ссорятся, мирятся, любят, без умолку болтают, поминутно разбивают блестящие осколочки, и в них пропадают за секунду отраженные мелькавшие крылья, лапы, клювы, и низкое небо, и низкое солнце, которое день и ночь ходит над

самым краем тундры. И никуда не поставишь ногу, чтобы не наступить на сидящую на яйцах гагару, крякву, лебедя, гуся и тысячи других горласто-пернатых. Уф, мочи нет!.. Сколько их, миллионы миллионов!..

Да, жизнь!

А какой породистый народ у океана! В плечах косая сажень, грудь хоть кувалдой бей, и в океан ходят в открытом беспалубном баркасе. А это – штука на охотника: ведь как заревет старик, как закосматится, как разыграется ледяной волной – свету не взвидишь. Ничего – ходят. Норвежцы, англичане приходят сюда бить зверя на отлично оборудованных пароходах, а помор – на открытом баркасе, и мачты не видать среди вздыбившихся океанских волн. Могучая порода.

Откуда-то из старины сохранилась северная женщина, старорусский тип, крупная, белотелая, голубоглазая, выступает словно лебедь белая. Да, эти далекие холодные страны, безграничные болота, эти непроходимые леса сохранили породу. Жизнь.

Я сижу в избе у Ивана Сохатнова. Крепыш.

Борода русая. Из-под ровных бровей крепкий, неупускающий глаз, и лицо добродушное.

Когда подходил, разве это изба? Громадный почернелый двухэтажный бревенчатый дом, и – странно поражает – слепой, без окон. Только внизу сбоку маячит пара подслеповатых окон, а то везде глухие почернелые стены. А вошел – во всей этой громадине две небольшие горницы. Все остальное и в первом и во втором этаже занято сеном, коровами, лошадьми, телегами, санями и всяким хозяйственным инвентарем; тут же, во втором этаже, горы навоза. Зато двора нет: дом – это двор.

– Так что, Сарахвимыч, ежели гусятинки вам желательно живой, это я вам могу предоставить, – говорит хозяин, вприкуску упрямо стягивая губами с блюдца обжигающий белесый чай, а на лице – бисер.

Жена прямо из печки подает дымящиеся ячменные шанежки. Вкусные! Нужды нет, что острекал весь рот, – и в нёбо, и в язык, и в щеки изнутри натыкалось соломы и ячменных усов; ржаного хлебушка тут не увидишь: несколько десятков верст – и уже полярный

круг, тут и ячмень-то с трудом вызревает.

У хозяйки лицо изрезанное, замученное, а всего-то лет тридцать пять, – надрывающая работа, нужда, горе, дети. Где же прекрасная русская женщина севера? А вот вошла девушка лет восемнадцати, точно пава, поклонилась одной головой, как будто тут ее подданные; движения неторопливые, уверенные и мягкие, а в лице снежок и тонкая заря разошлась. Ну, что же, через десяток лет будет как мать – «всевыносящего русского племени многострадальная мать».

– Так так-то, живых гуськов приволоку, ежели понадобится, а вам самим в это дело вступать нет нужды. Вы себе гусятинки жареной покушаете с аппетитом, а самому маражаться нет нужды, потому дела грязная, непрощенная, из нужды идешь, а ваша дела сторона, – пей, попивай чаек...

Он ни за что не хочет взять меня с собой на охоту. Для него охота – дело, труд, и труд серьезный и тяжелый, как всякий труд в хозяйстве, как всякий крестьянский труд – труд, а не забава. А я в его глазах – баринок. Во-первых, у меня руки белые, а не шершавые от мо-

золей; во-вторых, в комнате у меня на полках много книг; в-третьих, и самое главное: когда ко мне приходят крестьяне, я, не потея, могу написать всякое прошение во всякое учреждение, вплоть до министра, – стало быть, ясно, охота для меня – забава, а не труд. Нужды нет, что я вместе с моими товарищами по политической ссылке с утра до ночи работаю рубанком и пилой в нашей столярной мастерской – а все-таки руки у меня белые.

А мне очень хотелось поохотиться в этих местах, и именно с ним. Ведь он тут все насквозь знает, всякую прогалину, всякую щель, заросль, всякую лесную трущобу.

– Так вот, Сарахвимыч, гуськов живых принесу, коли што. Ну, конечно, стоять будет – две сороковушки поставите, не то штоб для питья, а для дела: без водки их не добудешь.

«Гм! Разумеется, без взбрызгов ни одно дело не делается». Купил. Проходит неделя, другая, ничто не слыхать про Сохатнова. «Ну, – думаю, – усохли мои две сороковки».

А очень хотелось поохотиться на гусей – умная, осторожная, сообразительная птица.

Была у меня двухстволочка. Да беда, охотиться-то не позволяло начальство: жандармы, исправник, надзиратели, полицейские караулили нас во все глаза. Нам нельзя было отлучиться за черту домов и нельзя было иметь охотничье ружье. А мы и отлучались и имели ружья.

Бывало, разнимешь ружье, стволы и ложе отдельно завернешь в тряпье, и крестьянские ребятишки с удовольствием отнесут в лес. А сам через изгороди позади дома проберешься – и в лес, а они уже ждут в условленном месте.

Верст за пять за городом река делает большую излучину. Широко разметались по обе стороны пески. А у самой воды сереют гуси. Никак не подберешься на выстрел. Гуси располагаются большим табуном, погогатывают, а старый стоит на одной ноге, вытянув шею, как палку, чуть поворачивая голову с всевидящим оком.

По промоинам, по обсохшим ложам ручьев я начинаю подбираться. Часами ползешь, и так скрытно, что сам себя не видишь, – вот теперь двухстволочка достанет.

Глядь, а они эвона сереют у воды. Пока полз, они так же спокойно, переговариваясь, погатывая, отходили вдоль, и сколько я подползал, столько они отходили.

Выберешься назад в лес, обойдешь и начинаешь подбираться с другой стороны, – то же самое.

А вот Сохатнов говорит, – живьем принесу. Захожу к нему. Степенно извиняется, говорит – кошка сронила со стола обе бутылки, разлила. Делать нечего, покупаю еще две. Но и эти, конечно, сронила. Э-з... дело дрянь. Так кошка все потроха из меня вытянет.

– Ну, – говорю, – последний раз.

– Ладно, – говорит, – придет воскресенье, ждите, мешок гусей принесу.

Ждать-то неохота, уж очень хочется посмотреть, как он их добывать будет. Если я не сумел подобраться – как же он?

В воскресенье входит к нам в мастерскую Сохатнов и говорит, встряхивая мешок:

– Вот, принес...

А в мешке что-то бунтует, бьется. Развязал, вытаскивает три гуся, три серых гуся, три диких гуся, живые, иступленно, дико рвутся из

рук, лапы, крылья связаны, что за чудеса! Как же он добывал их?

Опять получил Сохатнов две бутылки.

В воскресенье на ранней утренней заре я с ружьем пробирался к раскинувшейся песками реке. На смутно желтеющих песках было пустынно; далеко у самой воды серели гуси.

Неожиданно я увидел Сохатнова. Он смело спустился с обрыва и зашагал по пескам к воде, где серели гуси. Через плечо мешок. Над лесом далеко разошлась заря. Я ждал. Вот-вот гуси подымутся и понесутся над водой, а потом потянутся над лесом и пропадут. Сохатнов спокойно шел, а гуси и не думали подыматься и вели себя в высшей степени странно: ковыляли, кружились, приседали, кланялись или шатались, распустив крылья и разинув клюв. Ничего не понимаю. Иду за Сохатновым, глядя во все глаза.

Вон он подходит к ним, а они, качая головами, валясь из стороны в сторону, неуклюже, неумело, поминутно тыкаясь головой в песок, заковыляли к воде. Он схватил опять тройку, сунул в мешок, остальные поплыли, жадно глотая клювами воду. Сохатнов повер-

нулся, спокойно пошел назад и у обрыва увидел меня.

Он странно и растерянно затоптался на месте, как будто я его накрыл с поличным. Потом засмеялся:

– Ишь... во... с гусями... – и стал крутить сигарку.

– Скажите, пожалуйста, что с ними сделалось? Околдовали вы их, что ли?

– Водкой всякого околдуешь...

– Как, водкой! Да ведь водку-то вы выпили?

– Сколько я ее выпил – шкалик с устатку, а энтю гуси стрескали.

– Как, гуси?..

– Ну, да уж сказать, что ли? Обнакновенно, на водку всякая тварь пойдет. Опять же гусь – строгая птица, пойдя подберись к ней: всегда на открытом месте садится, за версту видать кругом. Ну, мы напарим, горох в водке, на ночь в печь после хлебов ставим, горох-то распарится, разбухнет. С вечеру и рассыпешь по берегу – места-то примечаем, где садятся – к утру дух от гороху отобьет, а внутри пьяный. На зорьке прилетают и зачнут глотать.

Наглоતાются, вот чудные, и станут куражить-ся, а то плясать, чисто мужики в трактире.

Затянулся и уронил пренебрежительно:

– Рази охота, так, баловство. Водка-то – что стоит? Это для вас только.

Стояла осень. Подморозило. Сохатнов таки сдался, взял с собой на рябчиков. Я забрал с собой провизию и целую кучу петель. Нарезали мешок красной рябины и углубились в молчаливые, угрюмые, внешне пустынные леса недели на три. Знаю: когда ворочусь, меня посадят в тюрьму месяца на три за незаконную отлучку. Ну, что же, ладно.

Первую ночь провели у костра. Когда поужинали, Сохатнов вырубленной елкой сдвинул костер, подмел сосновыми лапами и накидал на горячую землю еловых ветвей. Ночью побелел морозец, но спать было чудесно. Утром отправились ставить петли. Сохатнов высоко на суку подвесил наш мешок с провизией. Он тут был совсем другой – почти не разговаривал со мной, а когда говорил, так на «ты», грубовато, а если чего не так – и матюкнет.

Странно. А ведь какой ласковый, вежливый, мягкий там, дома. Но эта грубоватость странно вязалась со всей суровостью, насупленностью окружающей обстановки.

Этот угрюмый, без границ лес, полный болот, трясин, нехоженных мест, трущоб, заваленных валежником тайных топей – пощады не дает, если зазевался. Заблудился, ну, прощай. Обессиленного скушают медведи, или сожрут волки, или скачком без промаха перервет шейные позвонки ушастая рысь. Лес не терпит незнаек; к нему пришел – будь смел, ловок, находчив, наблюдателен, и он раскроет тебе все свое изобилие: и зверя, и птицы, и бесчисленного количества ягод – умеи лишь взять. А проворонил – медленно подохнешь с голоду.

Оттого сосредоточенно молчалив Сохатов, неразговорчив и грубоват со мной, – он пришел ради заработка, ради сурового труда, и если я увязался, сам о себе должен думать: ему некогда нянчиться со мной.

Мы идем по подлеску, по кустам и торопливо навязываем на высоте нашего роста петли, а в каждой петельке, как коралл, краснеет

крохотная веточка рябины. Но пока я поставлю одну петельку, тот – пять. Я иду напролом через кусты и заросли, а он с выбором, по прогалинам, по лоцинкам, и его рябина издали далеко и заманчиво краснеет, а моя пропадает среди густой заросли.

Уже стало темнеть, когда вернулись к стану. Опять красновато озарились снизу суровые сосны, булькала вода в котелке; опять утрюмо, таинственно стоял кругом молчаливый лес без людей, затаились звери, а Сохатнов, как и лес, был сурово-молчалив, с короткими деловыми движениями. Опять спали на еловых ветвях, и теплый дух шел от прогретой костром земли, и крепко спалось. Так изо дня в день. В поставленных раньше петлях неподвижно обвисли птицы, опустив вдоль крылья и вытянув шейки. Только у меня на двадцать, на тридцать петель один рябчик, а у него через пять-шесть петель итица. Отчего же эта разница? Будто все делаю, как он.

Со мной несчастье: провалился в ручей. Думал – ледок выдержит, – провалился. Вылез мокрый по пояс. Пока развел костер, пока обсушился, сильно продрог. А на другой день

лицо стало гореть, а по телу озноб. Сохатнов, не замечая, делал свое. Но когда я, не в состоянии ходить, лег у сосны, он постоял возле, недружелюбно посмотрел и уронил:

– Не таскался бы.

Подумал о чем-то и сказал:

– Ну, собирайся, што ль, пойдем, – и пошел, не оглядываясь.

Я тащился за ним, шатаясь и ничего не видя, в ушах звон, в глазах круги.

Не помню, как дошел. Над лесным озером, на песчаном бугре – черная, насквозь прокопченная избушка без окон. Я повалился и стал бредить. Сохатнов нарубил дров, встряхнул меня, как мешок с мякиной, я очнулся.

– Полезай, што ль...

Я согнулся вдвое и почти на коленях вполз в дыру вместо двери. В одной половине крошечная тьма, в другой ярко пылают на грудке камней дрова, освещая насевшую по стенам, потолку, как черный снег, сажу. Густой едкий дым стлался ровно до низенького потолка, а в потолке дыра, куда вываливался дым и летели искры. Сохатнов, голый и запятнанный сажей, в густом дыму, как демон, распоряжался,

а я в три погибели на корточках дышал над самым полом.

Костер прогорел, камни светились. Сохатнов плеснул на них ведро воды. Рвануло мгновенным взрывом и таким нестерпимым жаром, что я повалился без чувств. Очнулся от нестерпимой, обжигающей боли. Сохатнов, согнувшись под низеньким потолком, сек меня жгучими распаренными вениками.

– Тю, да вы с ума спятили!.. Пусти... брось...

Но он по-прежнему, придерживая коленом, продолжал нещадно драть меня, обливая время от времени горячей водой.

А через час мы сидели, стараясь не притрагиваться к стенам, в другой половине, нагретой и освещенной быстро бегущим со смолистого корня красным пламенем, и с наслаждением пили чай с ячменными шанежками.

И передо мной сидел, прихлебывая из жестяной кружки, Сохатнов, тот, которого я знал в городе, вежливый, обходительный, и ласково говорил на «вы»:

– Знамо, чижало ходить на карбасе без палубы, сами знаете – окиан хлестает на него. Никак не сберусь запалубить, все недохватки

да недостачи.

И он рассказывает, как по веснам ходит за зверем на океан. И я вспоминаю, как норвежцы и англичане снаряжают для этого специальные пароходы, – капитал, а у нас работают более успешно такие богатыри, как Сохатнов, у которых сметка, удаль и смелость.

Утром мы с трудом тащили ворох рябчиков, и я шел как ни в чем не бывало, и Сохатнов меня сурово «тыкал».

Верстах в пятнадцати от города ждала в условленном месте подвода, и дочка Сохатнова величаво поклонилась нам одной головой.

А потом три месяца сидел в тюрьме, и клопы жрали меня.

Ежедневно творимое*

Ревели автомобили; катились, визжа на поворотах и роняя синие искры, трамваи; спешили пешеходы; улицы кипели с утра до ночи и ночью жили, залитые светом дуговых фонарей, а по ресторанам – музыка, вина, цветы, заморские кушанья, – буржуазия с удовольствием жила на свете.

На окраинах дымились фабрики. С зелеными лицами рабочие в неустанном труде создавали богатства. Крестьяне в невысыхающем поту добывали из скупой земли хлеб помещикам. Все было обыкновенно, все было так, как привыкли, и никто не думал, никто не подозревал, что в этой привычной, обыденной обстановке непрерывно сеялись чудеса, день и ночь сеялись чудеса, как невидимый, неосязаемый дождь.

Нет, не святые творили эти чудеса, не праведники, не господь, не мать божия, не по старинке творились эти чудеса, а... а как же? А вот послушайте.

Была пасха, пришлась она в апреле 1912 года. Звонили колокола, и весело разносился

звон в весеннем воздухе над рекой Проней. А вдоль речки раскинулось большое село Жерновица, Рязанской губернии, Спасского уезда. По всем избам ходил поп с дьячком, гнусавили «Христос воскресе» и набивали мешки даяниями. Да мало показалось. Велел поп приготовить три лодки; взял двух работников, которые за гроши гнули на него свои хребты; позвал дьячка. Подняли они раскрашенные доски, на которых были страшные морды князей, царей, разбойников, кои именовались «святыми». Вооружился поп увесистым медным высеребренным крестом, и все поехали по вздувшейся реке, по которой проносились льдины, на другой берег, в деревни Ершово и Муняково.

Целый день таскались они по деревням «крестным ходом» и доверху набили мешками с даяниями две лодки. Собрались ехать назад.

А тут приносят гроб с покойником, просят батюшку взять в лодку для отпевания в церкви. Батюшка взял и покойника и четырех к нему носильщиков – за мзду.

Пришли кум, кума и бабка и принесли но-

ворожденного: крестить надо в церкви, – и их взял батюшка, тоже за мзду. И покойника с носильщиками и новорожденного с кумовьями и бабкой поп посадил в две нагруженные даяниями лодки, а сам с дьячком и с иконами сел в третью пустую.

Собрались крестьяне на берегу, провожают духовного отца, поглядели на реку и говорят:

– Батюшка, беспокойна, гля, река, – вишь, льдины гонит. Ты, батюшка, вели мешки выгрузить да с народом налегке поезжай, а мы тебе завтра сами все в целости представим, – к завтраму-то весь лед прогонит. А то, гля, как лодки осели. Упаси бог, ударит льдина – потонет народ.

Нахмурился поп, зажал крест и подумал: «Так вас расперетак! Оставьте вам, начнете в мешки окуна́ться... сволочи!»

А вслух сказал:

– Сказано бо в писании: без воли господней волос не упадет, на все его святая воля. Гребите!

Отчалили одна за другой лодки, и вышло так, как говорили крестьяне, – грузно осели две переполненные лодки, и стала их сердито

захлестывавшая почерневшая река.

Закричали люди:

– То-онем!.. Спасите!

А работники стали кричать:

– Батюшка, дозвожь скинуть два мешка с зерном, – вишь, не выплывем.

Поп закричал:

– Не смейте! Я вас анафеме предам.

И приказал дьячку:

– Перелезь, дьяк, к ним в лодку, а то, сукины дети, исподтишка скинут.

С большим трудом перелез дьяк, но как только перелез, хлебнула лодка бортом, и все очутились в сердитых волнах. Покойник поплавал-поплавал в гробу и опустился на дно. Маленький – разжала бабка руки в предсмертный час – хлебнул и стал тонуть. За ним – бабка, кум с кумов, а носильщики, и особенно дьячок, стали отчаянно бороться со смертью. Но дьячка потянула ко дну кружка, привешенная к шее и набитая медными деньгами со сбора. Скрылся и он. И носильщики. Только два поповских работника, молодые парни, поплыли к поповской лодке, которая изо всех сил уходила от захлебывающихся

людей, от криков, воплей и моления.

Ухватились работники за поповскую лодку, смотрят на попа страшными молящими глазами:

– Батюшка, спаси нас!..

Кинулся к ним поп с перекошенным, звериным лицом: раз! раз! Крестом по рукам, по головам, – те оторвались.

А на берегу толпы народа, почитай вся во-лость сбежалась: бабы, мужики, дети. Плачут, мечутся: нечем помочь.

Причалил поп, вышел, распатлатился, глаза горят, как у кошки, звериным страхом пережитого, и осенил народ крестом. И тут свершилось чудо: повалился народ ниц перед крестом, на котором густо краснела кровь поповских работников. Осенил крестом и заговорил по-церковному, нараспев:

– Подымайте, православные, чудом спасенные святые иконы. На ваших глазах в пучине морской погибли те, кому в неисповедимых путях господних начертано было погибнуть, чьи грехи господь видел всевидящим оком своим. Но святые иконы господь незримо вынес ангелами своими и архангелами, херуви-

мами и серафимами, дабы всему миру возвестить силу и славу свою.

Подняли иконы и всей волостью с пением двинулись к церкви.

Но это «чудо» не осталось только в селе Жерновицах, Рязанской губернии. Весть о нем перекинулась в Москву и распозлзлась от туда, как масляное пятно, по всей России.

В Москве капиталист издавал газету «Русское слово». И то «чудо», что поп творил в селе Жерновицах, когда у людей их собственные глаза видели одно, а ослепленный ум – совершенно противоположное, – это чудо ослепления «Русское слово» совершало над всей читающей Россией.

Через неделю после того как поп разбил судорожно вцепившиеся в борт руки своих работников, в «Русском слове» было напечатано:

«В селе Жерновицах, Рязанской губ., Спасского уезда, при переезде на трех лодках причта с иконами и богомольцами через разлившуюся реку Проню от ледохода две лодки с богомольцами погибли, а лодка со святыми иконами и священником о. Иоанном чудесно

спаслась».

«Русское слово» печаталось в одном миллионе экземпляров, да каждую газету читало по меньшей мере пять человек. Стало быть, пять миллионов человек глядело на жизнь теми глазами, какими было выгодно капиталистам, буржуазии.

И это величайшее «чудо» в буржуазных обществах сеется ежедневно, ежечасно бесчисленными семенами лжи, обмана, подлого религиозного и иного усыпления, дабы держать в узде и кандалах миллионы трудящихся.

Маленькие жизни*

Лето 1924 года.

С Садовой, от Красных ворот, я иду по знаменитой Домниковской улице.

Домниковская улица до революции – это трущоба, вертеп, сплошной публичный дом. Тяжко, без конца, с утра до ночи громыхали подводы с грузом на лежащие возле вокзалы и с вокзалов, а по сторонам плечо в плечо – вонючие, грязные ресторанчики, трактиры, пивные и бесчисленные «меблированные комнаты» – логовище чудовищного разврата.

Драки, убийства, девушки на тротуарах, выжидающие покупателей; фонари на физиономиях; из-под ворот медленно течет черная сукровица нечистот – мрачное наследие рухнувшего строя.

А теперь то же гроыхание грузовых подвод, то же незамирающее движение; в обе стороны торопливо спешит трудовой народ, – но исчезли меблированные вертепы, кабаки.

Знаю, отчетливо знаю, что еще и сейчас есть остатки царско-буржуазной гнили и чертополоха – всего этого сразу не уничтожишь. Но теперь это перестало кричать наглой крикливостью, убралось с улиц, во всяком случае затруднено; с уличным разворотом идет борьба, и с этим будет покончено, надо надеяться, скоро.

На углу переулка кусочек нового, что принесла революция. Нет, не плакаты, не флаги, не вспыхивающие речи, а угрюмый темнокирпичный трехэтажный дом. Должно быть, бывшая фабрика.

Но отчего же, когдаходишь в дом, встречаешь заливающую волну детских криков, смеха, визга, восклицаний, будто сверкаю-

ций каскад хлынул из распахнутой двери?

Бесенята... И все кругло-стриженоголовые. И все ласковые. Разве птицы устают прыгать вверх, вниз, с неустанным чириканьем?

А у воспитательниц не хватает ни голоса, ни сил. Все хриплые. В изнеможении хлопают в ладоши, не в силах перекричать. Вдруг подскочит, обнимет маленькая, прильнет вся, головенку прячет в платье, а глазенки, как у маленького лисенка, блестят. Разве оторвешь? Так голодны, так жадны на ласку. Девяти-десяти-двенадцатилетние девочки.

Откуда они?

Приводят падающие от голода родители. Приводят добрые люди. Подбирает по улицам, по темным углам милиция. Приходят и сами, восьми-девяти-десятилетние. Распределитель беспризорных девочек.

Вы смотрите на этих бесенят, – да разве беспризорные?! Да это же дети как дети: шумливые, непоседливые, перепархивающие с места на место. Где же страшная печать улицы? Неужели же так быстро стирается?

А знаете, какой это ценой? Воспитательский персонал не перестает поставлять из

своей среды психически заболевших, туберкулезных, изнервничавшихся, – здоровых среди них очень мало.

И тем не менее, кто попадает сюда, уже не может уйти: притягивает, как магнитом, работа.

Вот женщина-врач бросила свою профессию, все, что с ней связано, и целиком отдалась этой ни на минуту не смолкающей, галдящей толпе.

Приводят крохотную девочку. Странный комочек струпьев, тряпья, волдырей, засохшей крови. И вся серая, и вся шевелится. Пригляделись – вши.

Няня отказалась мыть:

– Куда же, не отскребешь! Да тут весь распределитель заразишь вшами, расползутся по всем этажам, да и саму облепят. Ишь все на ней ворочается. А глаза-то! Вот, господи, не думала, что так человека могут облепить, аж в веки повпивались. Нет, как хотите, не могу, – меня зараз рвать зачнет.

Ее действительно дернул приступ рвоты, и она убежала.

Девочка равнодушно стояла, слабо моргая

серыми от вшей веками.

Женщина-врач раздевает, обирает два стакана вшей. В ванну, потом уложили. Долго спала. А воспитательница сидела и смотрела на тихо спящего ребенка. Долго.

Вдруг девочка проснулась, с безумным ужасом обвела кругом широко раскрытыми глазами, вцепилась крохотными пальчиками в руку, – и все тот же недетский ужас.

– Что ты?.. Что ты?..

С безумным, неподвижным ужасом девочка все осматривалась, глядела на высокий потолок светлой комнаты, на стены, на чистые кровати, и прошептали ее побелевшие губки:

– Я – умерла?

– Что ты!.. Что ты!..

И прижала и поцеловала ребенка. Та, все так же безумно озираясь:

– Я – в раю?.. Бабушка сказывала: как умру, в рай меня возьмут.

...Девчурки беззаботно бегают, играют, визжат в большом зале, а за каждой невидимая тень – ее жизнь при царизме. Царизм оставил нам немало негодяев.

...Да, есть еще «благодетели» на свете, не перевелись. Не успели еще всех накрыть.

Вот две девочки, одногодки, лет по одиннадцати, не сестры.

В осенний непогодливый вечер, в тряпье, не попадая зуб на зуб, посинелые, жались они у базарного рундука. Идет чистый породистый господин, должно быть из дворян. Девочки протянули руки, трясутся.

– Вы чего?

– Подайте, господин... холодно... голодные мы...

Тот постоял, задумавшись.

– Эх, бедняги! Ну, пойдете.

Долго шли. Потом пришли в большой дом. Поднялись, Светлая, теплая квартира. Велел в кухне сбросить тряпье, устроил ванну. Радостно мылись, плескались: обе сидели в теплой ванне. Чистый господин принес две простыни: завернул одну, отнес, потом другую. Накормил. Потом принес бутылку вина, налил в рюмки на высокой ножке, выпил, не пощадил... одну, потом другую.

Девочки кричали от боли, потом тихо плакали, уткнувшись в белоснежные подушки...

Утром велел им надеть свое тряпье, вывел через черный ход на улицу, сказал:

– Идите...

...Много девочек пережили этот кошмар. Но восьми-девятилетние часто не осознают случившегося с ними, не то что скрывают, а не отдают себе отчета, и это устанавливается только медицинским осмотром. Другие просто рассказывают, как на улицах говорили дядям:

– Пойдем со мной за двадцать копеек.

...Когда ребенка приводят в распределитель, в первую голову – в ванну. Потом подробный врачебный осмотр. Потом уже отводят в общее помещение. В распределителе – месяц, другой, пока не привьют элементарных культурных привычек. И самое неусыпное наблюдение. Малейшее душевное движение ребенка, днем ли, ночью ли (ночные дежурные воспитательницы), отмечается в дневнике. К концу пребывания накапливается точный материал, в котором ребенок – как в зеркале.

Тогда воспитательница, которой был поручен ребенок, на конференции (собрание вос-

питательского персонала) читает составленную ею характеристику девочек. Характеристики живые, меткие.

Девочки распадаются на три группы: 1) ребенок нормальный, 2) с повышенной нервозностью и 3) вне нормы. Сообразно они и распределяются – либо в обыкновенные детские дома, либо в учреждения для дефективных детей.

Вместе с ними идет и их характеристика, и принимающие детей уже отлично знают, какого типа ребенок, с какой душевной структурой им передается и как с ним обращаться. Все материалы непосредственного наблюдения передаются в центральную психологическую лабораторию, где скопляется драгоценный материал.

Да, здесь к детям правильный подход: с одной стороны, им отдается целиком горячее трепещущее сердце, с другой – подходят с холодным, чисто научным методом наблюдения, я бы сказал – душевного математического измерения.

И как же ребяташки благодарны! Из детских домов к некоторым из воспитательниц

сыплются тучи ребячьих писем, полных любви и нежности. А ведь марок-то у ребяташек нет, приходится воспитательнице повышенно самой оплачивать, и это отнимает ощутительный кусок из их мизерного содержания, а отказываться, не принимать этих писем – рука не поднимается.

История одной забастовки*

Бродит тревога

Снаружи подумашь: как было на фабрике, так и есть, ничего не переменялось. Так же трясутся стены корпусов и несется все заглушающий грохот; быстрыми клубами вываливается из черных труб фабричный дым; у ворот строго сидят сторожа, обыскивают всех выходящих. А присмотришься: тревожно и беспокойно внутри на фабрике, то и дело останавливаются станки, бегут вхолостую ремни; ткачи и ткачихи собираются в проходах, горят глаза, вскидываются кулаки – грозят кому-то злобно. А мастера, как цепные хозяйские псы, подняв собачьи уши, разгоняют собирающиеся кучки, примечая тех, около кого больше собираются. Разгонят в одном ме-

сте, – глядь, а уж собрались в десяти других.

Но особенно много собирается неурочно народу по уборным. Накурено, не продыхнешь, теснота – друг на дружке, как сельди, и за надобностью никому не позволяют, а все стоят плечо в плечо и не спускают глаз с нового человека. И как он пролез на фабрику? Должно быть, свои ребята провели. Влез на вонючий стульчак и оттуда вычитывает по листку. И запаха никто не чувствует, все смотрят на читающего.

И о чем он читает? Да все о том же, что известно-переизвестно, что каждый день на своей шкуре все испытывают, – известно-переизвестно, а как будто только что услышали, как будто вековые раны кто солью посыпал. Вычитывает в листке, а ткачи ревом подхватывают:

– Верно... правильно... Так! Замучились, нет числа...

Горят глаза, поворачиваются друг к другу, мотают кулаками, разгорается сердце у ткачей: есть кто-то в городе, кто прячется от полиции, от жандармов, от шпионов и печатает эти листки, и, как береста в огне, вспыхивают

от них замученные сердца.

А мастер уж тут как тут – выгоняет, записывает штрафы.

Ходит беспокойство по всем корпусам, а снаружи и не подумаешь. Как год, как два, как десять лет назад, трясутся и грохочут почернелые корпуса, торопливо вываливаются из высоких труб черные клубы, подводки за подводками вывозят тюки свежего товара и привозят хлопок, и его без перерыва пожирают ненасытные трясущиеся многоэтажные корпуса, откуда несмолкаемо несется грохот.

Ходит тревога, ходит беспокойство.

На спальнях

Престольный праздник.

Угрюмо сечет дождь темно-кирпичные казармы. А внутри холодно, голодно, тревожно. Бабы с замученными лицами, с ввалившимися глазами ходят, как волчицы, – кожа да кости. У рабочих то же – краше в гроб кладут, испытые, с прозеленью, и морщины, а еще молодые.

...Как и у всех, у ткача Ивана Вязалкина в каморке голодно, неудобно. Татьяна, баба его, тоже ткачиха, злая, замученная, кости торчат.

Кричит на ребятишек.

– У-у, ироды проклятые! Ну, чего вам?.. Кофеев, да чаев вам... Не натрескаетесь? Только б жрать с утра до ночи...

Мальчик и девочка, подростки, сидят на скамье, глядят на нее огромными глазами, ничего не говорят, а мать слышит:

– Мамм, поисть бы...

Тогда баба оборачивается и кричит испу-ленно на стариков:

– Вы еще тут, старое дерьмо, навязались, смерти на вас нету. Отжили век, ну, пора и честь знать!

Старики – отец Татьяны и мать Ивана – покорно моргают красными облезлыми веками, затуманенно глядя перед собой, – забыли радость, забыли ласку, тепло, свет; да и было ли это когда-нибудь?..

А баба уж к мужу:

– А ты, идол!.. Вот навязался на душу мою грешную... чем бы об семье подумать, а он бунтует фабрику, окаянный! Ты мне, Мишка, ежели от отца будешь бегать с листочками, голову оторву! Знаешь, за эти листочки жан-дармы зараз в тюрьму. Тут осень, зима идет;

ни одежды ни обужи, надо дров запасать, дети – голые. Мишутку али так и не сводим в училище? Ды головушка ты моя бедная... ды зачем ты мене, матушка, ды на свет породила... ды разнесчастная-а... о-о-о... ой-ей-ей...

– Цыц, т-ты, сстерва!..

Стукнул волосатым кулаком по столу – стол затрещал.

– Развылась, покою от нее нету. Давай суды гривенник, давай, те говорят, а то две половинки из те сделаю!

– Не дам... не дд-а-ам... ой, не да-а-ам... караул-ул!

Закричали дети. Завозились старики.

Дверь распахнулась, на пороге – дьячок с дымящимся кадилом.

– Что у вас тут за штурма? Али оголтели?.. У людей престольный праздник, а у них драка. Принимайте батюшку.

– Ох ты, окаянные мы... да што это мы...

Татьяна быстро поправила растрепавшиеся волосы и кинулась затепливать прилепленный к закопченной доске в углу восковой огарок. Иван обдернул рубаху.

Вошел поп и, не здороваясь, ни на кого не

глянув, замахал кадилом:

– Благослове-ен господь...

Дьячок закозлил. Татьяна кинулась на колени и со слезами больно давила себя тремя пальцами в лоб, в тощий живот и в каждое плечо, исступленно глядя на мерцающий огарок. Не успела она рассказать черной доске свое неизбывное горе, а уж поп:

– ...во имя отца... аминь, – и ткнул каждому в зубы тяжелый холодный крест.

Татьяна набожно приложила иссохшие губы к холодной, вызолоченной меди и положила в руку попа два пятака. Да вдруг не выдержала и зарыдала:

– Батюшка, мочи нашей нету... замучились... голодные, холодные, с ранней зари до поздней ноченьки за станком, а принесешь получку, глядеть не на што...

– Господь терпел и нам велел. Сказано убо: не пещитесь о земном, ибо господь ваш уготовал вам небесное... Нет пред господом больше вины, как ропот. Терпите, и дастся вам.

И пошел по другим каморкам.

Стол ломится

У хозяина фабрики тоже встречали пре-

стольный праздник.

В громадной столовой протянулся огромный стол. И чего только тут нет: и заморские вина, и фрукты, и сладости, и закуски, и блюда, каких и не выдумаешь.

Хозяйка – белотелая, в дорогом платье из Парижа, с множеством сверкающих бриллиантами колец на руках и по груди голая.

И дочка голая, сама вся сверкает бриллиантами: и булавки бриллиантовые, и застёжки бриллиантовые, и гребни в волосах бриллиантовые, и брошки бриллиантовые – так вся и сверкает на свету, так вся и играет переливающимся блеском.

У папаша – фабрикантское брюшко и по брюху – собачья толстая золотая цепь.

Гости: директор фабрики с дочкой, несколько инженеров, соседние фабриканты с женами и жандармский офицер. Не приступали к еде, ждали священника.

Пришел и поп в шелковой рясе, с большим золотым крестом на груди. После рабочих он принял ванну, побрызгался одеколоном и теперь с преданно-собачьим лицом именем Христа, простерши холеные руки, благосло-

вил яства и пития. Все шумно стали усаживаться, и усаживались в известном порядке: во главе стола хозяйка, хозяин и дочка, фабриканты, а в конце – директор фабрики с дочкой, и у обоих умиленные лица, на которых – готовность каждую минуту вскочить, подать стул, поднять хозяйский платок. Посреди стола – поп с жандармом и скромно – фабричные инженеры.

Началось разливанное море – не успевали стоявшие за стульями лакеи наливать в бокалы пенистое вино. Гремел оркестр музыки.

– Да, беспокойно у нас среди рабочих, – проговорил поп, – распустился народ, ропщет, храм божий мало посещает. Особенно во второй казарме, в пятнадцатой камерке, молодой парень, Осипов, весьма беспокойный, такие речи говорит...

– Это – высокий, рыжий, – предупредительно наклоняясь, сказал директор.

– Да, высокий такой, смущает народ.

Жандарм мотает на ус, по-собачьи наставив уши. Всю ночь светился огнями фабрикантский дворец.

Кровь

Не узнать фабричных корпусов – не слышно всегдашнего гула, не дымят высокие трубы. По каморкам шныряют рабочие, да вдруг пронеслось по всем коридорам:

– Выходи, ребята, во двор... Пошли... Ге-э-ей, все!

И повалила черная толпа – женщины, дети, старики, молодые и бородатые рабочие, весь двор фабричный запрудили.

Прибежал директор с злобно перекошенным лицом, заорал, затопал, но толпа с ревом надвинулась на него, он сразу осел и заговорил с собачьей ласковостью:

- Товарищи рабочие...
- Кобель тебе товарищ!
- Кровосос!..
- Долой!..
- Уходи, пока цел...
- Хозяина сюда!..
- Освободить Осипова! За что вы его арестовали?..
- Пока не освободите, не станем на работу.
- Мочи нашей нету, все одно пропадать...
- Расценки увеличить!..
- Штрафы скостить!..

– Обращаться с нами как с людьми, не как с животными...

Стоял визг, шум, крики. Прижатый директор исчез. Замелькала полиция, синий мундир жандарма. И грозно и тяжело подошла серым строем рота.

Рабочие подняли на руки человека, чтоб видней и слышней его было, и он, натружая голос, закричал:

– Товарищи солдаты! Неужто вы будете стрелять в своих братьев? Ведь вы такие же труженики, как и мы. Мы только одного хотим – заработанного куска хлеба, человеческой жисти да чтоб ребята наши, как щенята, не дошли с голоду. Фабриканты жиреют нашей кровью...

– Ве-ер-но-оо!.. – взрывом заревели ткачи.

И куда ни глянешь – открытые чернеющие кричащие рты, как лес, мотаются поднятые кулаки, и во все стороны – только картузы, кепки, да платочки, да, как белая бумага, под ними истомленные бабьи лица, и, как разгорающееся зарево, тронул их горячечный румянец гнева, отчаяния, непотухающей злобы.

Офицер вынул саблю, крикнул:

– Вся власть передана мне как представителю воинской части. Требую немедленно прекратить агитаторские речи и разойтись. В противном случае будет дана команда к стрельбе.

Негодующий шум покрыл двор корпуса:

– Кровососы!..

– Ироды!..

Из-за рядов вывернулся поп и, придерживая широкий рукав, пошел к толпе, высоко держа крест.

– Братие! Во имя господа нашего Иисуса Христа молю вас утишить ваши сердца. Помните веление господа нашего Иисуса Христа, сына божия: властям предержащим да повинуются. Зачем же вы идете супротив воли царя небесного, который уготовал вам награду во царствии своем? Тут потерпите, а на небеси вам воздастся сторицею. Вот вы все говорите о хлебе, а Иисус Христос, сын бога живого, рече: «Не единым бо хлебом жив человек». И еще сказал нам господь Иисус Христос: «Кесарево кесареви, а божие богови», – значит, каждому свое. Вам господь послал вашу долю, вы и несите ее с кротостью и терпе-

нием и за это получите награду у господ под кущею райскою; хозяину вашему господь послал его долю, он ее должен нести...

– Пошел!..

– Вон!..

– Проваливай, долгогривый жеребец!

– Все вы – одна шайка... все вы заодно.

Поп спрятал крест и, согнувшись, нырнул за солдатскую шеренгу.

Офицер скомандовал:

– Пря-мо по толпе пачками!..

Взвыло бушующее море голосов.

– В своих?! В своих!..

– Натe... жрите человечину!.. – исступленно закричала высокая, костлявая распатлавшаяся ткачиха и разорвала на тощей груди рубаху, а на нее глядели винтовки, – жрите!..

А тот человек опять:

– Солдаты, или братьев и сестер своих, кровных своих будете расстреливать в угоду фабри...

Сабля, блеснув, опустилась, и огненно брызнула команда:

– Пли...

Никто не слышал залпа, видели только, как повалились, вскидывая руками, люди; повалился Иван Вязалкин, без крика повалилась ткачиха с разорванной на груди рубашкой; быстро стала кроваветь земля под лежавшими в уродливых позах.

Через час поп в черном, полосатом от белых позументов, расходящемся книзу балахоне, с белым крестом на заду, мотал кадилом над длинным рядом мертвецов, аккуратно лежавших вдоль стены со сложенными руками и закрытыми веками; запекшаяся кровь была смыта.

– Со-о свя-а-ты-ы-ми у-у-по-ко-о-ой...

Мягкое сердце

Как и всегда, дымятся трубы, трясутся, гудят корпуса; в привычном хомуте напряженно следят за мелькающей основой ткачи, и бледно-зелены их лица, и в черных ямах померкшие глаза, – все как было.

Только в доме фабриканта по-новому: прибавилось заботы. Вся семья в сборе. Хозяйка сидит за столом и составляет список пострадавших семей – добрая душа. Дочка хозяйская вместе с дочкой директора шьют распашонки

для маленьких сирот и весело щебечут с кавалерами.

– В семье Вязалкина, – читает по списку фабрикантша, – нет самого. Остались: жена Татьяна, вполне трудоспособная, сын двенадцати лет, дочь шестнадцати, старик и старуха. Ну, как с ними?

Фабрикант поиграл брелочком у часов, поглядел в окно, слегка зевнул и сказал:

– Вязалкину опять можно поставить к станку, хоть и строптивая баба. Старика – в сторожа, он еще может работать. Старуху – в богадельню. А мальчишку пусть уж мать содержит. Да и дочь, она уж большая, ее тоже можно к станку.

Молодой человек, сын фабриканта, вслушался и сказал:

– Маман, вы возьмите девочку третьей горничной, вот семья и обеспечена.

– Милый мой Жорж, какое ж у тебя доброе сердце, – фабрикантша притянула сына за голову и поцеловала в надушенный пробор.

Пришел поп. Тоже стал помогать советами, как кому помочь.

– Истинно говорю вам, доброта ваша и от-

звичивость безграничны; у господи милости неизреченные, и он ниспосылает вам дары свои.

Весна

Пришла весна. По свежим могилкам побежала мелкая травка. Птицы разорялись. Небо было высокое и синее, и без усталости всех обливало солнце сверкающим теплом.

Все так же, как и всегда, дышали закопченные трубы и гудели и тряслись фабричные корпуса от тысяч мотавшихся в них станков – без усталости.

Так же за станками качались, наклонялись землистые, с прозеленью лица, с зорькой становились на работу, к вечеру расползались по казармам, очумелые от усталости. Все как было. Как будто не было залпа, как будто не лежали мертвецы длинным рядом вдоль стены, как будто всосалась, ушла в землю пролитая человеческая кровь, потушила собою возгоравшийся пожар ненависти, отчаяния, борьбы.

Потушила? Нет. Гудят и гремят станки, неуловимо снуют челноки; как сухой туман, виснет никогда не падающая пыль; качаются

землистые лица. Качаются землистые лица, и невидимо, незримо тлеют искорки ненависти, тлеют искорки подавленного отчаяния, тлеют искорки глубоко запрятанной готовности борьбы. Незримо, невидимо тлеет искорка, ибо не залить ее даже дымящейся человеческой кровью.

Татьяна Вязалкина, как и все, качается, наклоняется над станком зеленовато-землистым лицом; как и все, покорно выслушивает матерную брань мастера, а когда улучит минутку, юркнет в отхожее и, оглянувшись, торпливо наклеивает на стенке листок, либо где-нибудь в проходе, либо на лестнице, и как ни в чем не бывало – опять у грохочущего станка.

А у листков толпится народ; читают, вытянув шеи, и уходят к станкам и уносят в сердцах незатухающую ненависть к рабьей жизни, искру готовности к борьбе.

Белые листки расклеивает Татьяна Вязалкина, – есть, есть в городе кто-то, кто их составляет, кто болеет о рабочей нужде, кого ловят и все никак не переловят ни полиция, Ни жандармы, ни шпионы. И разглаживаются

слегка морщины на угрюмых лицах рабочих.
Еще будет бой!

Раз пришли, гремя шашками и стуча об асфальт прикладами:

– Татьяна Вязалкина!

Она подняла землистое лицо от станка, землистое лицо, освещенное жгучей ненавистью непрощающих глаз.

Окружили, повели. Ткачи бросили станки, гурьбой вылились во двор, на улицу.

– Не дадим! Стой!.. За што берете?..

Грозно и тяжело нарастала волна, нежданно, негаданно по корпусам. Вдруг родился страх: забегали мастера, зазвонили телефоны, поскакал верховой от хозяина в полицию, в жандармское управление. Не пожар ли, не пробилось ли тлеющее пламя?

Женщина в рваном платке, с испитым лицом, с горящими ненавистью глазами, шла, и колыхались вокруг штыки, поблескивали шашки. Когда на углу заступила дорогу громадная толпа, женщина сказала:

– Слышья, ребята, не трожьте... От меня одной не убудет. Хочь и перебьете этих эфипов, никаких толков не будет. А вы лучше

стачку сготовьте. Не поддавайтесь!.. Наваливайтесь на хозяев! Прощайте...

– Не забудем тебя, Митревна, прощай! Мы свое возьмем, навалимся на иродов. Еще свидимся!

И пошла она, густо окруженная штыками. Поблескивали шашки.

Суд

– ...по указу его императорского величества... – Голос у него был привычно громкий, уверенный.

Те, кто только что вошел в зал суда, осторожно сели среди ожидавших своей очереди и стали слушать приговор заканчивающегося дела.

– ...я, судья пятого участка, постановил: жену рабочего завода «Глушков и Сыновья» Анну Павловну Железнову выселить в трехдневный срок из занимаемого ею, ее мужем и детьми подвала в доме № 25 по Большой Дворянской улице за неплатеж домовладельцу, купцу Битюгову, квартирных денег в сумме семи рублей пятидесяти копеек. Судебные издержки возложить на Железнову.

– Господи, да видь мой-то второй месяц без

памяти лежит весь в огне, куды же нам, на улицу?.. – отчаянно заголосила женщина с испитым, до смерти замученным, белым как мел лицом. – Дети-то чем же виноваты?..

Нет, не закричала, не закричала, а шла среди сидевшей публики к выходу, молча шла, вытянув худую шею; одного с завалившейся через руку головенкой несла, двое других – один поменьше, другой побольше, со струпьями на замазанных лицах, посверкивая под носом живыми серьгами, волочились, оттягивая юбку.

Шла молча, с безумно вытянутой шеей, как между каменных громад, и ничем их не сдвинуть, ничем их не стронуть, оттого что все, сколько тут ни сидело людей, – все (и она, сама), все твердо думали, что, если кто не платит квартирных денег домовладельцу, надо того выселить, и в этом – закон, и в законе – справедливость.

А судья с золотой цепью на шее сказал:
– Введите подсудимого Вязалкина.

Ввели подростка с землистым тюремным лицом. И отчего у них землистые лица?
– Ваша фамилия?

– Вязалкин.

– Сколько вам лет?

– Шестнадцать.

– Ишь, шестнадцать лет, а уж в тюрьму попал, – зашуршало среди публики, и неодобрительно заколебались перья на дамских шляпах, закачались жирные головы купцов, и торговки сложили губы кошелечком.

– Свидетели явились?

– Все явились.

Вышла к судейскому столу покупательница с гадючьей шеей, а под шеей кружева и бриллиантовая брошка, и рабочий-пекарь с бледным, одутловатым, в муке лицом и с исчерна-гнилыми пекарскими зубами.

– Батюшка, приведите свидетелей к присяге.

Поп привычно-размашистым движением просунул голову в епитрахиль, выпростал патлы, поднял зажатый в руке крест, а глаза к потолку, который был закопчен и засижен мухами. Все встали.

Голосом, в который вросла глубокая уверенность, что он, поп, огромная глыба в той громаде, которая каменно давит всех, кто су-

дорожно дергается, кто хоть малейшее движение делает, чтобы выбиться из каменных стен, – поп, глубоко чувствуя силу своего колдовства, заговорил высоко, отчетливо, вдохновенно, а свидетели, подняв сложенные двухперстия, поклоняясь этой силе, повторяли:

– Обещаюсь и клянусь всемогущим богом перед святым его евангелием и животворящим крестом его, что, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ниже иными какими-либо видами, покажу в сем деле сущую о нем правду. Аминь!..

Поп так же привычно и быстро расседлался, завернул в епитрахиль крест, свое орудие оглушения, к которому приложились свидетели, и торопливо ушел, – отзвонил и с колокольни долой.

– Подсудимый Вязалкин, вы обвиняетесь в том, что тайно похитили булку из булочной купца Авдеева. Признаете ли себя виновным?

Мальчик молчал, глядя перед собой. Как и перед женщиной с тремя детьми, перед ним – стол, покрытый красным сукном, зеркало[3], здоровенная позолоченная цепь на судейской толстой шее, зал, наполненный публикой, ре-

шетка, а за решеткой – он, Вязалкин. И казалось ему: сидит он среди узко протянувшихся стен, которые давят его со всех сторон, и никуда не увернешься, никуда не вылезешь.

Он сидел и молчал.

– Ишь гад какой, упорный, как кремень, – сказал купец, нагибаясь к домовладельцу.

Стала показывать свидетельница и, ныряя гадючьей шеей пред судьей, шипела:

– Видно, что испорченный до мозга костей человек. Не попросил, как другие просят, а хитро и долго осматривался, – а я стою, наблюдаю, что будет дальше, пирожных к чаю брала, брат двоюродный с женой приехали, у них заведение фруктовых вод, так я взяла пирожных, – а он опять огляделся и все у кассы стоял, видно денег хотел стащить, да народу много было – никак нельзя; вот подошел к коробу, опять оглянулся, одной рукой стал сморкаться, а другую незаметно опустил в короб, вытащил булочку и под тряпье. А я как закричу-у: «Держите вора, держите!» – и вцепилась в него, чтоб он не убежал, даже пирожное помяла.

– Сладу нету с этими ворами... Ведь этак и

разорить могут, – вздохом пронеслось в пуб-
лике.

– Очень просто, – громким шепотом под-
держали и купец, и домовладелец, и хозяин
мельницы.

Вызвали второго свидетеля, рабочего-пека-
ря.

– Оно верно, – сказал тот, показывая чер-
но-гнилые зубы, съеденные мукой, которой
он постоянно дышал, – взял он, только это –
лом у нас, сушь, ссыпаем почем зря в короб,
ее вон нищим раздают, она и копейки не сто-
ит...

– Садитесь, свидетель.

– Ну, это тебе даром не пройдет, – шипя-
щим шепотом пронеслось в зале, – сегодня же
сгонют с места. Обормот!..

– Что вы можете сказать, подсудимый, в
свое оправдание?

Мальчик молчал, все так же понурившись.
Судья подождал, потом стал писать протокол.
Мальчик, чувствуя, что уползает последняя
минута, выдавил из себя:

– Два дня не ел...

Наступило молчание.

Судья поднялся. Все встали.

– По указу его императорского величества... сын рабочего, Павел Вязалкин, присуждается к тюремному заключению сроком на шесть месяцев, без зачета предварительного заключения.

Судья снял цепь и ушел. Публика стала выливаться из зала.

– Ничего, пускай посидит!

В пустом зале стоял тяжелый воздух. В углу висела большая икона Христа-спасителя.

Вон

В доме фабриканта во всех комнатах одуряющими запахами млели великолепные цветы. На балкон и в сад были настежь открыты стеклянные двери.

Фабрикантша, в кисейном платье, с белыми, от пудры, набегающими на шее складками, строго и холодно говорила стоявшей перед ней с помертвелым лицом молоденькой девушке:

– Как не стыдно так отблагодарить за благодеяния?.. Ведь что с тобой было бы, если бы мы не взяли в дом. Тут сыта, одета, жалованье; нет, – мало ей: она еще потаскушничать

вздумала. Какая грязь, какая низость, неблагодарность!

– Вся семья такая, – сказал фабрикант. – Отца во время стачки пришлось застрелить, а ведь я его двадцать восемь лет держал на фабрике, так в благодарность стачку вздумал устраивать. Жену его, Татьяну, пожалел, опять поставил на станок, – первые месяцы тихо вела себя, а потом в агитацию пустилась, стала мутить рабочих, листовки возмутительнейшего содержания стала распространять, пришлось жандарму сказать, в тюрьму отвели. После нее мальчишка пустился в воровство – в булочной украл французскую булку, ну, арестован. Старик оказался лентяй, пришлось прогнать из сторожей. Теперь эта...

Фабрикант, задумчиво глядя на веранду, заставленную тропическими растениями, закурил душистую сигару и пошел в сад.

Фабрикантша взглянула на девушку, все так же стоявшую с поникшей головой.

– Ведь пойми ты, скверная девчонка, ты таскалась там бог знает где, могла всяких болезней натащить в дом. Фу, мерзость!

– Я, барыня, никуда не выходила, со Сте-

шей всегда спала, она скажет, спросите... как перед богом... Это – они...

– Кто? Кто «они»?

«Уж не муж ли?» – судорогой передернуло фабрикантшу.

– О... ни... ни, – девушка все ниже, ниже клонила голову; слезы часто-часто капали на руки, на передник. – Ге... Георгий Михайлович... Я с Стешей спа... ла, а он... ни Стешу выгнали... я мо...лила, руки целовала... в но. гах валя...лась, – она захлебнулась.

У фабрикантши отлегло. Она сдержанно улыбнулась.

– Ну, милая, пеняй на себя, Жоржик – молодой человек, естественно в его годы увлечение, – ты уж сама себя должна была соблюдать. Во всяком случае, ты должна оставить наш дом, здесь не родильный приют.

Под красным фонарем

Все как было: катились по улицам экипажи, текли толпы народа, плыл колокольный звон; из церквей выходили разодетые барыни, купчихи, чиновники, девушки; на паперти стояли, протягивая руки, нищие; на окраине дымили трубы фабрики, за бесчисленным

множеством станков, ни на минуту не ослабляя напряжения, стояли с землистыми лицами; из заводских печей вырывался пожирающий жар, – все как было, и люди думали: так и должно быть вечно.

И по ночам, когда по улицам, в домах, в театрах загоралось живым золотом электричество – тоже как было: в великолепных ресторанах обедались и опивались великолепно одетые люди. в кабаках заливали глотку заму-ченные, в отрепьях.

На одной из улиц, в доме с кроваво-красным фонарем над подъездом, тоже все как и раньше: несутся разухабистые звуки хриплого рояля, раскрашенные полуголые женщины с наглыми лицами, на которых – отчаяние.

И среди них странно видеть молоденькую девушку, с поразительно милым лицом, на котором, как и у всех, вызывающая пьяная наглость. Гости берут ее нарасхват, толпятся около нее, а она, бесстыдно подняв юбку, пляшет и пинает попадающихся на дороге голой ногой. Пьяные жеребцы ржут, заглушая рояль.

А еще утром сегодня эта девушка, со смы-

тыми румянами, скромно причесанная, горько плакала, стоя на коленях и иступленно крестясь на золоченый крест, который по-держал в руке: хозяйка пригласила причт от-служить молебен в годовщину основания за-ведения. Дьякон, сотрясая позванивающие на люстре хрустальные подвески, густым басом возглашал многолетие хозяйке «дома сего».

Поп дал приложиться к кресту хозяйке, го-стям и толпе женщин и с удивлением посмот-рел на рыдающую на коленях девушку.

«Экий огурчик...» – подумал он греховно, а вслух сказал благочестиво:

– О чем, дочь моя, рыдания твои и плач? Если грехи давят душу твою, откройся госпо-ду, господь милосерд и в милосердии своем прощает грешникам.

А та, захлебываясь и не подымаясь с ко-лен:

– Ба...тюща, пропадаю я... не хочу я тут быть... отца моего застрелили... мать в тюр-ме держат, а она разве виновата, – сама му-чится по отце, да как глянет кругом, такие же, как она, замученные, не стерпела...

– И что? – нахмурил поп брови.

– ...стала раздавать листки рабочим...

– Э-э, вон оно что! Ну, так они господом прокляты. И помни: грехи родителей на детях их. Одно тебе спасенье – в милосердии господа бога нашего Иисуса Христа... Ему молиться, его просить о прощении грехов. А ты с кротостью неси уготованное тебе, слушайся хозяйку и наипаче проводи время в бдении, посте и молитве...

– Батюшка, пожалуйста к столу, – сказала хозяйка, кладя ему в руку четвертной билет.

Поп подошел к громадному, заставленному закусками и винами столу, подобрал одной рукой широкий рукав, а другой высоко осенил:

– Во имя отца и сына... аминь!..

Митька*

Лет одиннадцать, вечно сопливый, с размазанной грязью по лицу – житель улиц. Как птица, постоянно вертит головой и бегают топорливо глазами, щупая дома, калитки, заборы – нет ли где дыры, нельзя ли пролезть.

Все на потребу: жестянки из мусорных ям, бутылки, обрезки кожи, разбитый башмак, проволока, кусок облицованного кирпича. Из всего этого делал то паровозы, то пушки или ведра и таскал воду или песок на берегу Москвы-реки.

Поймал кошку, разбил кирпичом голову, долго мучил и удивлялся, что такая живучая. Потом из шкурки сделал себе вроде рукавиц и очень гордился, бегая по улицам с мальчишками, и громко топал по промерзшей мостовой остатками разных башмаков из мусорных ям.

Но рукавицы плохо грели, весь был синезеленый, постоянно дрожал, как кутенок, а под носом вечно блестели серьги.

Когда становилось невтерпеж, бежал домой. Подвал был полон непроглядного пара –

матка брала мыть белье. И сейчас же клубящийся пар наполнялся визгливым криком, а Митькина голова моталась в скользких мыльных пальцах;

– Сатана оголтелая, да долго ли ты мене мучить будешь, да разнесчастная я...

Потом начинала долго и надрывно кашлять и плевать на мокрый пол кровью, растирала босой ногой, падала на кучу грязного белья и лежала, пока отдышится. Потом Митька таскал воду, наливал в котел, выносил грязную мыльную воду, чистил картошку, возился с малышами – трое, кроме него-то, еще было.

Два года назад умер отец. Тогда хорошо жили, – два раза в месяц каждую получку мать приносила горло, легкие, а картошку всегда мазали постным маслом; это теперь картошку всегда сухую едят. Да помер. Тоже так кровью плевал да все валялся на скамейке, и помер. Ну, да Митькино дело сторона, – у него теперь кошинные рукавицы есть.

Весною буза началась – царя спихнули. Раз народ повалил по улицам. И Митька за ними. Добрался до Лубянки, поднялся по водосточ-

ной трубе, уцепился за вывеску, глянул и обомлел: вниз к Театральной, и на Театральной, и вдоль Охотного ряда, куда ни глянешь, от стены до стены, от домов до домов народу черным-черно; как тараканы шевелятся, и никуда не пролезть, никуда не вылезть. Испугался Митька: неужто со всего свету.

А осенью начали палить из пушек. Ну, тут Митька все на свете забыл, – и матку, и сестренку, и кошинные рукавицы, и мусорные ямы по дворам: день и ночь он проводил на опустелых улицах, где по подъездам жались солдаты и рабочие и, припадая на колено, стреляли. И видно было, как в далеком конце улицы сыпалась штукатурка, разлетались стекла окон, перебежали фигуры и иногда кто-нибудь из них падал.

А здесь тоже от времени до времени что-то цокало в водосточные трубы, в косяки, в стены, и тогда летела штукатурка в рамы, и тогда брызгали стекла. Случалось, и тут кто-нибудь падал со стоном. Его подхватывали, втаскивали в дом. Нырлял туда и Митька. Стонущего человека раздевали, клали на стол, который подплывал кровью, перевязывали крова-

вое место. Митька тут же вертелся, вспоминал кошку, как она судорожно вздрагивала, когда он трогал палочкой ее разбитую голову. И этот на столе судорожно дергается, когда прикасаются мокрым полотенцем к кровавой ране.

Митька глядит всем в рот, прислушивается, о чем говорят, подает, что нужно, когда кричат ему. Его тут и подкармливают понемногу. Он слышит, говорят: разведка вернулась ни с чем, и Ваньку открыли и расстреляли.

Тогда он, как угорь, через заборы, дворы, переулки пробирается к юнкерам и приносит сведения: в каких домах по Поварской засели юнкера, где на крышах поставлены пулеметы. А от Смоленского над Москвой-рекой пробирается к Прохоровке.

С Митькой все ласковы, и он в великом восторге.

Он балуется с другими мальчишками, юнкера их гоняют, а он назойливо всюду лезет. Раз сидевшие за забором в засаде юнкера его жестоко отпорили ремнями, и он долго потом снимал со спины и с зада струпья.

– Митька, не сносить тебе головы, угодишь под пулю.

А он не то что пули не боялся, – боялся, но где-то внутри сидела уверенность – это другие от пули падают, а около него они лишь цокают в стены да в водосточные трубы.

Ночью опять залез в сад, где его два дня назад отодрали. Там никого не было. Гулял мокрый ветер, качал холодные деревья. У Митьки пазуху оттягивали два камня, – хотел запустить из-за забора в засаду юнкеров. Но засады не было. Только в одном месте под деревом, где было черно и жутко, что-то хрипело и клокотало.

Митька вспомнил: так, бывало, клокотало у отца в глотке, когда он, завалив голову на кровати, спал пьяный. Митька долго смотрел из-за куста сирени, голого, холодного и мокрого, смотрел на черный, похожий на человека сгусток под деревом, откуда шло хриплое клокотанье. Никак нельзя было решить, что это. Дрожая всем телом, стиснув стучащие зубы, он пополз туда.

Сквозь темноту смутно разглядел: человек прислонился к дереву, ноги протянул по хо-

лодной земле, темная голова свесилась на грудь, в горле все так же – то больше, то меньше – клокочет.

Митька в судороге смертельного ужаса подполз, пошарил, нащупал у пояса кобуру, снял, а у человека все так же, то замирая, то усиливаясь, хрипело. Митька вцепился в кобуру и пополз задом назад. Когда вылез из сада и через заборы пробрался в расположение своих, залез за мусорный ящик, присел, вынул из кобуры наган и стал взводить курок. Вдруг страшно ахнуло, осветились доски ящика, Миткины ноги, и опять все мгновенно потухло. Митька на секунду откинулся, оглушенный, потом сунул револьвер за пазуху и, придерживая, чтоб не прорвал, пустился через темный двор. А уже везде тревога. Бегут, гремя прикладами.

– Кто стрелял, откуда, где?

Сцапали.

– Э-э, да это Митька. Митька, кто стрелял?

– Ей-бо, юнкер. Тама за ящиком.

Да он убег уж. Кинулись за ящик, никого не было.

А утром все закричали:

– Митька, чево ты весь в крови? Гля, ребята...

Повели его за ухо в дом, поставили перед зеркалом, он и рот разинул: из зеркала глядит на него, разинувши рот, Митька, и вся рожа у него захватана кровавыми пальцами, и руки в крови. Кругом смеются, толкают его. Он забылся, поднял руки, чтобы вытереть лицо, а наган – бух из-за пазухи на пол. Митька не успел схватить, его здорово отодрали за ухо и отняли револьвер.

А он, поплеывая на ладонь, вытирал лицо и стал рассказывать, как добыл наган.

Когда все кончилось, прибежал в подвал. Мамки не было – стащили на кладбище, сестренки куда-то разобрали.

Теперь – комсомолец и на рабфаке. Живой, веселый, только лицо ввалилось и серое, – доктора говорят: туберкулез. Ну, – этот вылечится...

Бунт*

Усадьба и деревня

Возле речки – деревенька. Покосились избушки, обвисли почернелые, объединенные соломенные крыши, в разгороженных дворах худая скотиненка, и не в каждом дворе лошадь, – захудалая деревенька. Ребятишки ковыляют, желтые, кривоногие, и животы обвисли, по коленкам болтаются. Бабы замученные; крестьяне рваные, волками глядят. Бедность непокрытая, бедность вековечная. Своей землицы – курицы выпустить некуда, с сохой не повернешься. А всю землю арендуют у барина.

Эва, барин за речкой раскинулся усадьбой. Дом колоннами глядит на деревеньку, за домом – великолепный сад, а за садом – парк, и в нем вековые липы, дубы. В просторных укрытых дворах породистая скотина, отличные лошади. А плуги, бороны, молотилки – все заграничные.

Три тысячи десятин у барина. Мало он обрабатывает своим хозяйством, а почти всю землю сдает крестьянину: крестьянин – он до-

будет копейку.

И доходы бы порядочные, да расходы велики

А барину деньга нужна, уж как нужна, и много нужно. Да помилуйте, как же ему без денег! Живет он с семьей в Петербурге да по заграницам, а там каждый день сотни требует, а то и тысячи. Да вы посудите – не лапотник какой-нибудь, не голодранец, а у самого царя с супругой, с дочерьми, с сыновьями бывает на балах во дворце.

А как на бал к царю ехать, супруга и дочки из Парижа платья выписывают за многие тысячи. Вот крестьяне и должны стараться барина своего не уронить.

В деревню барин редко заглядывал: раз в два-три года приедет, и то хорошо, – нечего ему тут делать, за границей веселей. А уж как приедет к себе на усадьбу – разливанное море пойдет.

Привезет с собой двух лакеев, да повара, да к барыне горничную, да к дочерям горничную, да конюха, да кучера, да прачку, потому и барин, и барыня, и баринки, и дочки привыкли жить чисто, вольготно, чтоб много на-

роду около них возилось.

Глядят через речку крестьяне, думают: «Эк их, челяди приволокли!»

А в усадьбе – пиры горой. На террасе раскинут громадный стол. И чего-чего только нет: и еда разная, и вина заморские, и блюда серебряные, и посуда хрустальная, и весь стол уставлен цветами, чисто в саду, а уж скатерть белая, как кипень.

А крестьяне смотрят через речку: «Эк-к их, мать честна! Ну, и сладко живут!»

Съедутся гости: помещики на тройках с буенцами, предводитель дворянства, исправник, а помещичьи жены и дочери – в белых воздушных платьях, белотелые и пышные, с цветами в волосах. Прикатит и поп, шелковую рясу на этот случай наденет, золотой крест. Вот благословит «пития и яства», и все шумно садятся за громадный стол, – гляди человек шестьдесят сядут.

Лакеи суетятся, подливают в рюмки вина, наливки, ликеры; баре пьют и едят, золотыми зубами вставными жуют, посверкивают, гуторят по-французскому.

А крестьяне почесывают спины за речкой:

«Ну, и здоровы жрать, чисто борова. Ды краснорожие какие!» Плюнут и пойдут по избам, а тощие животы еще туже подтянут опоясками.

До самого до вечера гремит помещичий дом музыкой, смехом, пением, звоном стаканов, рюмок. А вечером весь дом горит огнями; горят разноцветные фонари по всему саду; колышутся фонарики, зеленые, красные, голубые, на лодках, на которых гости катаются по речке. И долго несутся с речки, из сада и из залитого огнями дома веселые, пьяные голоса объевшихся людей, и долго никак не утихнут на насести обеспокоенные деревенские куры.

Собери в срок

Стал собираться барин со всем семейством в Москву на торжества. Призывает управляющего, говорит:

– Иван Никанорыч, я уезжаю с семьей в Москву – на коронацию, в срок вышлите деньги, без опоздания. Сколько причитается к первому сентября?

– К первому сентября с шести деревень следует шестнадцать тысяч рублей.

– Смотрите же – в срок.

– Слушаю, – сказал управляющий, красно-рожий, а по пузу серебряная цепочка от часов – на лабазника похож, – и глядел на барина собачьими глазами.

Крестьянское горе

Шумит в деревне народ, потянулся на церковную площадь к правлению. Вся площадь темнеет крестьянскими головами.

Пришел управляющий, переваливается из стороны в сторону. Взошел на крылечко правления, замахал красными волосатыми руками и заорал хрипло бычьим голосом:

– Тише вы, галемяки!..

Смолкло крестьянское море; тысячи крестьянских глаз смотрели на управляющего. А он постоял, глядя на них по-волчиному, и сказал:

– Вот что, мужички, подходит срок аренды. Вы должны внести все до копейки. Никаких отсрочек не будет, никаких послаблений, – все до копейки. За кем хоть гривенник останется, у того будет все продано до последней овцы.

Площадь затихла, как будто мертвого про-

несли.

Потом бабий голос, тонкий, как птица, вскинулся:

– Пропали мы теперича все!

И, как прорвало, загомонела, зашаталась вся площадь:

– Куды жа нам?

– Ни зерна!

– С десятины и по два пуда не собрали.

– Ложись ды помирай...

– Избы заколотим, уйдем куды глаза глядят, и с ребятами...

Управляющий ушел, расталкивая толпу.

Сгрудились крестьяне посреди площади. Качаются победные головушки, скребут черные, полопавшиеся от земли пальцы в слипшихся волосах, да ведь ничего не выскребешь. Бабы истошно голосят:

– Погибель... всем погибель... Пропадаем, братцы!

– Ни снопа...

– Скотина вся сгинет...

– Весной звания не останется...

– Нечем взяться...

Вся площадь залилась криком, плачем, за-

топило слезами, в судорогах народ.

Митька, солдат хромой, хлопнул шапкой оземь и завизжал, как недорезанная свинья:

– Бра-атцы! Ды пойдем к барину... к самому... падем в ножки: пуцай не казнит, пуцай милует... пуцай ослобонит... зима идет... всю животу проедем...

Взбушевалось крестьянское море:

– К барину...

– К самому...

– Будем просить...

Бабы замученными голосами:

– Слезьми ему ноженьки обмоем...

– Ребятенки все пропадут...

– Рожали их...

– Управляющий, ён себе в карман норочит...

Добрый барин

Потекла вся площадь за речку к барской усадьбе – крестьяне, бабы, девки, ребята малые, старики, старухи; остались на деревне одни куры да захудалые овчишки – и младенцев-то всех бабы утащили.

Весь барский двор до самых ворот залился крестьянскими рваными сермягами, потны-

ми рубашками, лаптями, грязными платками на девках, изодранными бабьими юбками, – эх, море, неисчерпаемое крестьянское нищее море! И пожелтелые опухлые головенки детей сваливаются то на ту, то на другую сторону – шейки не держат.

Затаилось крестьянское море без шапок: ждут барина.

А барин в покоях со всей семьей и понаехавшие провожать помещики слушают молебн, – уезжает в Москву. Поп, дьякон, в золоченых ризах, стараются, и блестит солнце на золотом кресте, и согласно поет хор, и пахнет, как в церкви, голубым ладаном.

А у крыльца стоят кареты, коляски и подводы с барским добром, – одной одежи возить не перевозить.

Слышно, запели славословие барину, «многая лета». Потом вышел барин на крыльцо, за ним барыня, вся в белом, за ней дочери, в белом, за ними сыновья с золотыми воротниками, – учатся в таком заведении в Питере, где на министров приготавливают, а рожи хоть молодые, по семнадцати, по восемнадцати годов, да истасканные: с бабами напролет все

ночи похабничают да пьянствуют. А за ними – помещики. Вышли поп, дьякон, в золоченых ризах, сияют на солнце. Стал поп кропить кареты, лошадей, суетившуюся прислугу.

Барин посмотрел на крестьян. Управляющий подскочил и, заглядывая по-собачьи в глаза, угодливо сказал:

– Провожать вас пришли.

Барин сказал:

– Ну что, мужички?

А барыня зажала шелковым платочком нос и проговорила:

– Воздух от них тяжелый. Наверное, заразные есть.

Барышни сморщили носики и отвернулись. Барские сыновья в золотых воротниках высматривали ядреных девок и примеривали, как здорово ночку б с ними провести, напоить бы пьяными да...

А барин опять ласково сказал:

– Ну что, мужички, в чем дело?

Народ, сколько его тут было, повалился на колени, – заметались над всем двором вой, крики, причитания и неумные слезы:

– Ба-атюшка... родимый, пропада-ем!.. Погибель наша...

– По два, по три снопика свезли с поля...

– В амбарах мыши все с голоду передохли, зернышка не найдут...

– Ослобони, отец, хоша скости половину денег, мочи нету... все одно перемерем...

– Ба-атюшка!.. – закричали опять бабы, стучаясь в сухую землю лбами, и, стучая плачущих детей, надрывно закричали: – Погибаем, спаси нас... в твоих руках... Несмысленыши... головы от голоду не держут... век твоими молитвенниками будем...

Барин сделал знак рукой:

– Постоите, мужички, встаньте с колен: на коленях только перед царем да богом.

– Не подыдемся, покеда не помилуешь нас.

– Ну, хорошо. Иван Никанорыч, – и пома- нил управляющего пальцем, – Иван Никано- рыч, сделайте все облегчения, какие можно: у них неурожай. Рассрочьте аренду, скиньте возможно больше.

– Слушаю, – сказал управляющий, подса- живая барина в карету.

А когда подсаживал, барин небрежно шеп-

нул ему:

– Всю аренду взыщите, и в срок.

– Слушаю, – сказал управляющий тоже шепотом и захлопнул дверцы кареты.

Карета покатила. Крестьяне, бабы, девки, ребятишки побежали за каретой, и по всей усадьбе и по всему полю покатилося:

– Урррра-а-а!..

А помещики, помещицы стояли на крыльце и махали платочками. И управляющий стоял и сиял на солнце лысиной.

Долго стояли крестьяне на тракту с радостными лицами и смотрели на замирающую вдали пыль.

– Барин-от – он понимает. Как не уродилось, с чево же платить? Теперича хучь передышка будя.

Казак

Через три дня в деревне все стояло вверх ногами и шла страшная кутерьма: управляющий с старшиной, с урядником и десятскими ходил по избам и описывал коров, овец, веялки, бороны, самовары, бабьи холсты, всю лишнюю одежду, и носились вой, плач, как будто хоронили всю деревню. Да похоже, что

похоронили – деревня стояла голая и убитая.

А ночью занялось зарево за усадьбой: горели скирды немолоченого баринова хлеба. Сигнали всю деревню тушить. Да где тут! – разве затушишь? К утру только черное место осталось.

Через два дня оказались испорченными десять заводских коров. Когда утром работницы пришли доить, у коров не было сисек, лила кровь, – отрезали, а стена коровника была прорезана, с поля забрались, оттого и собаки не учуяли.

Потом через ночь два раза загоралась усадьба.

Тогда пригнали сотню казаков, и приехал следователь по особо важным делам. Пошли допросы, аресты. Крестьяне с тупо-покорными лицами стояли, глядя в землю, и твердили одно:

– Знать не знаем, ведать не ведаем.

Их садили в кутузку, кормили селедкой, не давали пить по нескольку дней, а они, замученные, осунувшиеся, с провалившимися в ямы глазами, исхудалые, как скелеты, все свое:

– Знать не знаем, ведать не ведаем.

Тогда отдано было приказание перепороть всю деревню. Казаки шли от избы к избе, вытаскивали крестьян, клали на землю, один садился на ноги, другой на голову, и пороли до тех пор, пока спина и зад не покрывались кроваво-изорванными лоскутьями. Сначала крестьянин отчаянно кричит и дергается, потом хрипит, потом замолчит и лежит неподвижно под казаками. Тогда его на рогоже относят, кидают за избой и отливают водой. А когда откроет глаза, его спрашивают:

– Кто сжег скирды? Кто попортил коров? Кто поджигал усадьбу?

А крестьянин, еле ворочая коснеющим языком, говорил:

– Ве-дать нне ве-дда-ю, знать не ззна-ю.

Пороли и баб. Те верещали как резаные, извивались вьюном, но замолкали скорее крестьян, потому что были слабее, и лежали молча, а плети резали им тело. Но когда приходили в чувство от лившейся на них воды, еле слышно говорили:

– Ве-дать нне ве-дда-ю, знать не ззна-ю.

Перепороли всю деревню, а ничего не до-

бились.

Посоветчалось начальство – ничего не могут поделаться, с крестьянином: уперся, как бык. Тогда прибегли к последнему средству.

Когда маленько позаструблились у крестьян и баб спины и задницы, согнали всю деревню на площадь к церкви. Вынесли аналой, поставили на земле перед папертью. Вышел поп с причтом. Положил на аналой крест и евангелие.

А кругом казаки на лошадях; свесились нагайки: за спинами винтовки; мотают головами нетерпеливые кони. Возле попа сбилось начальство, ястребом поглядывает на крестьянское море. А крестьяне почесывают стружья:

– Слышь, Ванька, драли нас так, а теперича будут пороть с водосвятием.

– А ты читай под плетями: «Свят, свят...»

– Ба-атюшки, ды што жа этта будет: надысь всю юбку иссекли, а ноне опять! Ды это юбок, не настарчишься.

Поп просунул голову в епитрахиль, выпростал патлы, слегка завернул широкий рукав, взял крест и, высоко держа, громко загово-

рил, – было слышно по всей площади, полной народа.

– Братие! господь бог наш Иисус Христос в неизреченной милости своей во святом своем евангелии рече: «Рабы да повинуются господам своим». Мы – рабы, грешные рабы господа бога нашего Иисуса Христа и помазанника божия, на ком почиет благодать божия, – царя-батюшки. Но злой искунитель, извергнувший из рая первородным грехом наших протцев, не может успокоиться в лютой гордыне своей и злобе. И он сомуцает вас на адские деяния, на поджоги, на разбой, на уничтожение чужих трудов, а наипаче на неисполнение обязанностей, возложенных на вас самим господом богом...

Поп говорил и говорил, а крестьяне, бабы крестились, кланялись, точно ветром их клонило, и казалось им – густой туман, не то дым, вековечный дым напознал на них, отнимал глаза, уши, волю. А поп все говорил и говорил. Потом высоко поднял крест и вдохновенно провозгласил, точно дух божий его осенил:

– Братие, спокайтесь! Спокайтесь перед

господом богом нашим Иисусом Христом, перед святым его евангелием целованием святого животворящего креста его, и он, милосердный, отпустит ваши тяжкие прегрешения, которые неодолимо влекут вас в геенну огненную, где в страшных муках нераскаянные грешники будут вечно кипеть в смоле и вотще взывать о помиловании.

По площади пронеслись испуганные бабьи вздохи. Крестьяне повесили победные головы. Подходили по очереди к аналою, клали земной поклон, целовали евангелие и крест, потом повторяли за попом:

– Клянусь перед святым евангелием и животворящим крестом говорить сущую правду.

Потом один позади другого становились к начальству, и оно по очереди допрашивало. Лица у крестьян и баб замкнулись, сделались тупо-покорными.

– Знать не знаем, ведать не ведаем.

Со злости начальство арестовало на авось, по указанию управляющего, старшины и урядника, тридцать семь человек и отправило в город, в тюрьму, – дожидаться суда.

Суди меня, судья неправедный

Истомились крестьяне, сидя за решеткой; совсем серые стали, скелеты скелетами, кожа да кости, не узнать, – больше года сидели.

Раз загремели железные затворы. Стуча прикладами, вошли солдаты и повели в суд. В суде протянулся длинный стол, покрытый красным. А за стулом, посередке, тучный председатель в мундире, и воротник у него весь в золоте.

«Должно, много денег пошло на воротник, – подумали крестьяне, испуганно глядя на председателя, – дюже уж серьезный».

А по бокам – судьи. Глянули – да это старшина Шарапоновской волости. Лют. Вся округа его знает. Ражий, с доброго борова, красный, как мясо, глаза маленькие, а у самого мельница в аренде да лавка под железом. Сожрет, за барина постоит, – одного поля ягода, вместе крестьянина сосут.

С тоской отвели глаза. Глянули на другого. Да ведь это предводитель дворянства, друг-приятель барина, в гостях у него постоянно. Добродушный, и бакенбарды у него на две стороны, а и этот съест за барина, не иначе, – дворяне. Засосало у крестьян. Эх, праведные

судьи!

А тут сбоку такой костлявый, шкелет шкелетом, а сам в мундире. Так этот с первого слова на крестьян опрокинулся: и разбойники, и грабители, и смутьяны, и поджигатели. Мурашки по спине поползли. Прокурор.

Ну, крестьянский адвокат ловок, за аналогом стоит да так и сыплет, так и сыплет супротив прокурора. Большую славу себе приобрел на крестьянских делах, славу приобрел, а от нее деньги пошли: все его нарасхват стали брать. В тюрьму к ним все приходил, – не робей, говорит, ребята: доказательств, говорит, никаких нету.

Крестьяне на все вопросы покорно одно отвечали:

– Никак нет. Не можем знать, только мы невиноватые.

А адвокат – ловок, бес! Недаром у него черная одежина сзади хвостом – попривел кучу свидетелей, крестьян же, баб из ихней деревни, и доказал: один обвиняемый дома сидел в ночь поджога и когда портили коров – соседи видели; другой аккурат в это время в земской больнице лежал с вывихнутой ногой, оттуда

и удостоверение дали; третий в лесу дрова рубил, порубщики удостоверили; четвертый был в городе, сено возил. Крутят злыми головами судьи, наскокивает шкелет, а ничего не могут поделать, – доказательств-то действительно никаких нет, так и оправдали, – начальство-то впопыхах да в злобе заарестовало не тех, кого надо, невиновных заарестовало. Так и уехали крестьяне.

Приехали да взвыли: избы заколоченные стоят; во дворах, под сараем, все чисто, как корова языком слизала; ни лошади, ни овцы, ни коровы, ни бороны, ни одежды – все продали за недоимку барину, а бабы с ребятишками ушли по кусочки.

Да и всю деревню разорили дотла – до копейки взыскали баринову аренду, да еще с неустойкой.

А жить надо, а кормиться надо, а арендовать баринову землю надо, а в церковь, что посреди села стояла, ходить надо, а поборы попу давать надо, – и опять потянули вековечный хомут худые, почернелые, полопаные крестьянские шеи.

Эх, жисть!

Что ж ты наделала, бабонька!

Пришел великий пост. По утрам и по вечерам печально и редко зовет колокол: к нам!.. к на-ам!.. к на-ам!..

Это – монастырский колокол. Вон он белет, монастырь, белыми стенами, а из-за стен блестят главы и кресты.

Хорошо там живут монахи, ишь ходят черные – сытые, ядреные. Да и как им сытно не жить – эва, кругом все ихние, монастырские, поля; а по речке – ихние, монастырские, заливные луга; а за лугами – ихний, монастырский, лес. Угодий у монахов поди столько же, сколько и у барина.

Крестьянину курицу, скажем – курицу, и ту выпустить некуда.

Ну, как же монахи – сами экую махину земли и обрабатывали? Да нет же, не для работы жили монахи в монастыре, а для молитвы за грехи.

Крестьяне-то бесперечь грешат и тянут грехи в монастырь, а монахи их отмаливают, да не даром. За отмоление крестьяне и землю вспашут, и луг скосят, и делянки в лесу вырубят; бабы снопы повяжут, и сады уберут, и

холстов монахам наткут, и за коровами, за птицей походят, – вот громадное монастырское имение и справлено. За это измученные, зарезавшиеся на работе, голодные, оборванные крестьяне идут домой чистенькие от грехов, как младенцы новорожденные, а монахи садятся за стол и вкусно и сытно едят, по кельям и винцо попивают.

Опять у монастыря и другой доход. Прогнали крестьяне по монастырской дороге скот – плати. Упустили крестьяне лошадь на монастырскую землю – плати. Пошли бабы грибов набрать в монастырский лес – плати. Крестьянин плачет, а монахи радуются – много доходу.

Так и жили, с одной стороны – деревня, с другой – монастырь.

«К на-ам!.. к на-ам!..»

Идут в монастырь старухи, молодые бабы, девки; несут ребятишек, идут крестьяне, несут свое горе, свою нужду, несут к богу да к попу, – куда же крестьянину больше и нести? Не к кому во всем свете.

А поп накроет епитрахилью и скороговоркой (очередь-то исповедников – страсть!)

спрашивает грехи. Ох, много у крестьянина грехов, на воз не заберешь. А поп уже: «Отпускается и разрешается... во имя отца и сына...»

Только с бабами поп подолгу и ласково толкует под епитрахилью, подробно выпрашивает грехи и ласково и громко именем бога отпускает их.

А бабы и рады. Поп все время – и в проповедях, и на дому с молитвой, и где встретится – всегда громким, покоряющим голосом говорит крестьянам о грехах, об аде, о печи огненной, где гореть крестьянам в огне неугасимом.

И начинают верить крестьяне: все несчастья, все горести, все беды, все разорение – от грехов; кабы не грехи, жили бы беспечально.

Пришел хромой солдат. Накрыл его поп, спрашивает про грехи. Твердит солдат: «Грешен, грешен, грешен...» А поп спрашивает:

– Не палил ли бариновы скирды? Не резал ли сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?

Затаился хромой и сказал глухим голосом:

– Нет... в этом не грешен, батюшка.

– Отпускается и разрешается... отца и сы-

На...

Подошла хромого баба, положила поклон, накрыл поп и слышит – шепчут истомленные, истрескавшиеся бабьи губы:

– Грешная... грешная... грешная, батюшка.

А поп строго:

– Помни, грех смертный на исповеди перед самым невидимо присутствующим богом укрывать грехи.

И загремел поп божеским гневом:

– Проклятие господне незамолимое на том, кто перед господом не откроет свою грешную душу!

Потом опять заговорил ласково и внушительно:

– Не палил ли твой муж бариновы скирды? Не резал ли сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?

Задрожала баба, от пят до головы задрожала, и чует – замерла вся церковь. А церковь все та жеюдни крестятся, другие стоят на коленках и кладут поклоны, третьи возжигают свечечки перед ликами святых, а иные сидят на полу, дожидаются исповеди, – как было в церкви, так и есть. Стоит баба ни жива ни

мертва. И так рванулось сердце у ней, а вдруг скажет она последний страшный грех, очистится душа, как говорил батюшка, от всякия скверны, и господь оглянется на них, снимет все тягости, все горести, все бедствия-несчастья, всю нищету снимет со всей деревни, и перестанут умирать от голоду ребятишки, перестанут их бесперечь таскать на погост, перестанут маяться неизбывной маятой крестьяне и бабы, вздохнут все. И закапали у бабы слезы, закапали под епитрахилью – замученные вековечные бабьи слезы, закапали ей на руки, на аналой, на крест, на евангелие, а поп к самым губам ухо протянул. Ах, бабочка сердечная, али не прожгут твои слезы креста медного, золоченого, не прожгут насквозь до самой до земли!

И прошептали ее уста:

- Грешен, батюшка, резал, поджигал.
- А еще кто?
- Еще, батюшка, Микитка Ржаной.
- Еще кто?
- Еще Федор Кривой.
- Сколько всех человек?
- Пятнадцать, батюшка, пятнадцать.

– Кто да кто?

– И Иван Косой, и Володька Притыкин, и... пятнадцать, всех пятнадцать, – пересчитала бабочка, – пятнадцать.

Заспешил поп, засуетился, – исповедников эва сколько ждет.

– ...отпускается и разрешается... во имя отца...

Идет бабочка, земли под собою не чувствует: снял батюшка с них грехи, теперь господь оглянется. А в сердце занозина, тонкая занозина: болит сердце. И с чего бы сердцу болеть, коли снял господь грехи?

Через три дня арестовали хромого солдата, и Микиту Ржаного, и Федора Кривого, и всех пятнадцать человек.

К богу на помазание

Пышно справлял царь свою коронацию, да как ему не справлять пышно, коли у него земли – на миллионы и много миллионов крестьян, надрываясь, пашут ее.

Пышно справляли коронацию помещики-дворяне. Да и как им не справлять ее пышно, – царь ведь среди них первый помещик-дворянин.

Вся Москва была залита огнями. Царь ехал в золотой карете. В нее запрягли двенадцать белых молодых лошадей. Молодые лошади белыми бывают только в одном месте – у арабов в Аравии. Их и привезли оттуда за много тысяч верст и за много тысяч рублей – крестьянская копейка таровата.

За царем двигалось бесчисленное духовенство. Митрополиты, архиереи, попы, дьяконы – и все в золотых ризах, с золотыми крестами, осыпанными бриллиантами и драгоценными камнями, – крестьянская копейка таровата. А на головах у них – у одного золотое ведро, у другого – золотой круглый горшок кверху дном, у третьего – бархатный вареник. И все это осыпано алмазами, разноцветными камнями, – крестьянская копейка таровата. Царь пускает духовенство вперед потому, что оно составляет главную опору власти царя и помещиков над крестьянами. И эта опора была сильнее полиции.

А за духовенством тянулись дорогие кареты, а в них сидели помещики в шитых золотом дворянских мундирах и помещицы в умопомрачительно дорогих платьях, выписан-

ных из-за границы, – крестьяне недаром трудились в поте лица над помещичьими землями. А дальше шли чиновники, полиция, войска – все, на чем держался царь и помещики и что держалось на одном крестьянине, который кормил их.

По Владимирке

По Владимирке, которая без конца уходила в туманную даль, далеко растянувшись, шла арестантская партия. Глухо и тяжело звякали цепи на руках и ногах. Скрипели подводы с клажей и больными, сурово шли конвойные, готовые стрелять при малейшей попытке к бегству.

Кучкой идут крестьяне, бородатые и безусые, и позванивают мерно в шаг ручными и ножными кандалами. Один прихрамывает на ногу. Держатся друг к дружке, – пятнадцать их.

И одна у них дума о далекой-далекой деревне, – никогда уже, никогда ее не видать...

*...Горя реченька,
Горя реченька бездонная...*

Идут, мерно позванивая, и не вспоминают

барина. Не знают и не чувят, что и баринов черед все ближе и ближе, черед его аренде, его усадьбе, имениям, его сладкой, беспечальной жизни – не знают горюны.

И идут, и идут днями, неделями, месяцами, и тысячи верст идет с ними кандалный звон и в жар, и в дождь, и в мороз, и в слякоть, – кандалный звон, в далекую мерзлую Сибирь, в мертвую каторгу.

...Горя реченька бездонная...

Рыжий поп*

Поп Иван, с огненно-рыжей кудлатой бородой, жил в деревне Хомуты лет пятнадцать. Мужики любили его: не грабил, за трыбы брал, кто что давал.

Жил он не то что бедно, а еле концы с концами сводил, не как другие попы, у которых все ломилось от избытка.

Одна прорушка на нем была – запивал. Не часто – раз, два в год, зато уж, как запьет, и двери забьет. А во хмелю то буен, то ухватит себя за огненную голову, качает ею из стороны в сторону и навзрыд ревет, как малый.

«Ишь ты, – думают мужики, – стало быть, печаль у него на сердце».

А у него была печаль, большая печаль всей его жизни.

Было у попа Ивана четверо сыновей, славные ребята, а ни одного не стал готовить по поповской части.

Пришла Октябрьская революция. Забрали мужички у помещиков землю. Поп Иван веселый стал, разговорчивый и все объяснял прихожанам: ежели бы не советская власть, не видать бы им земли, как своих ушей. А потом вдруг посмутнел, стал хмурый, неразговорчивый и службу бросил, так и стоит церковь пустая. Удивляются все: опять поп затосковал, но пить не пьет.

Отсеялись мужики. Раз в погожий день, воскресенье как раз, приходит поп к председателю сельсовета.

– Так и так, созови сход.

– На какой предмет, отец Иван?

– Надо мне с паствой поговорить.

– Да ты бы в церкви.

– Нет, хочу митинг устроить, чтобы стар и млад, чтоб вся деревня сошлась.

Собрался народ, всю площадь перед советом занял; и крестьяне, и бабы, и девки, и парни – вся деревня. Велел о. Иван выкатить пустую бочку; поставили ее посреди народа стоймя; влез на нее поп Иван, поклонился народу на все четыре стороны, а над площадью стояла нерушимая тишина. Все удивлялись и ждали, затаив дух.

– Милые граждане и товарищи! – громким голосом сказал о. Иван, и слышно его было в самых дальних рядах, – пришел я к вам сказать всю правду, выложить пред вами всю черноту души моей, которую носил в сердце моем двадцать лет. Вы думаете, я убил кого-нибудь, или ограбил, или обворовал? Нет, никого я не грабил, не убивал, не воровал...

– Мы тебя знаем, – загудели крестьяне.

– Никого я не убивал, не грабил, а поступал во сто крат хуже, лютее самого черного убийцы и грабителя: слепил я вам глаза, обманывал вас, держал вас в темноте целых двадцать лет. Вместо того чтобы учить вас, как бороться с засухой, с червями, которые поедали ваш хлеб, я водил вас по полям, кропил их водой, а эту воду доставал дьячок из колодца против

Фомкиной избы, а вы сдуру думали, что от этой воды поля дадут урожай. Ваша земля со всеми молебнами и водосвятиями много-много давала тридцать – сорок пудов с десятины, а без молебнов эта же земля, как только попадет в хорошие руки и начнут работать на ней с умом, с книгами, с знанием, даст и сто и полтора пудов. Вместо того чтоб учить вас, как ходить за скотом, почему у помещика корова дает три ведра молока в день, – а у вас и кувшина не надоишь! – вместо того чтобы учить вас, я опять-таки кропил водой из Фомкина колодезя вашу скотину и служил молебны Лавру, а она как была безмолочная, так и оставалась, как болела и дохла, так и после Фомкина водосвятия болела и дохла. Двадцать лет держал я вас в темноте, – зачем? Да затем, что надо было пить-есть, семейство кормить, сыны у меня, сынов надо было вырастить.

– О господи! – пронеслось по толпе, и бабы испуганно оглядывались друг на друга.

– Как же так случилось, что я мог вас обманывать целых двадцать лет, и вы слушались этого обмана и не могли его открыть? А слу-

чилося это оттого, что вас с испокон веков царское правительство держало в темноте и обманывало. И архиереи обманывали, и епископы, и все. Чтоб втереть вам очки, устраивали таинства, значит, тайно, никто этого понять не может. Вот устроили такое таинство: посвящение в сан. Посвятили меня в поповский сан, то есть посвятили на обман, на держание вашего ума и сердца в темноте. Это называется таинство посвящения. А сколько этим таинством посвящено православных попов, и попов всяких других религий: ксендзов, раввинов, мулл и прочих – целые армии, и все для одного: чтобы держать трудящихся в покорности и чтоб легче их было сосать помещикам, фабрикантам, капиталистам и самим попам. Но будет, – довольно! Нет моей мочи дальше жить в обмане. Эй, дядя Евстигней, на-ка ножницы, вали мою косу под самый под корень, черт с ней.

Бабы в ужасе стали креститься:

– Да што это! Али ополоумел!..

А Евстигней, засунув корявые пальцы в кольца ножниц, стриг рыжую голову рядами.

– Чистый баран! – тоненько закричала де-

вочка, хлопая в ладоши.

– Ну, вот что, – сказал бывший поп, встряхивая пестро стриженной головой, – примите меня, граждане, к себе, нарежьте землицы, сколько полагается, сам буду пахать и сеять.

Молодежь, среди которой были красноармейцы, радовалась: стало быть, церковь опустеет.

Бабы молчали и вертели головами: не разразит сейчас гром-молния?

Нет, не разразил...

Марьяна*

Пьеса в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Марьяна – сноха, 21 год.

Луша – старикова дочка, 16 лет.

Старуха, 52 года; выглядит старше своих лет.

Старик, 53 года.

Ивлевна – тетка Марьяны, 46 лет.

Павел – красноармеец, отделенный.

Сергеев – красноармеец, откормленный, краснощекий.

Микеша – красноармеец.

1-й, 2-й, 3-й и 4-й красноармейцы.

1-й, 2-й, 3-й крестьяне.

Иван Посный, с большой седой бородой.

Коноводов Илья, безногий.

Поп.

Дьячок, с подведенным от голода животом.

Лавочник.

Попадья.

Однорукий, пустой рукав висит.

Одноногий, на деревяшке.

1-я, 2-я, 3-я бабы.

Козел – длинный, худой, нескладный старик с хитрой козлиной бородкой и смеющимися в морщинках глазами.

Степан – сын старика; 23 года; красивый, чернобородый.

Парни, девки, ребяташки.

Действие первое

1918 год. Внутренность избы. Низкий закопченный потолок. Русская печь. Лавки. Стол под иконами. Большая кровать с ситцевым пологом. Предобеденное время. У печи стоит Марьяна. Красивое строгое лицо, немного высокомерное; черные брови. Видно, слегка вздрагивает от подавляемых рыданий.

Марьяна (*некоторое время неподвижно стоит, потом сдержанно говорит*). Родимый мой... иде ты?! Откликнись... слышь... Третий год... За што эта напасть?.. У других воротились, другие семьями живут, а я, как кукушка, без родимого гнезда, как та вербочка над водой... Истомилась, измаялась... Вся-то ноченьку, всю-то ноченьку слезьми подуш-

ку... За што бог покарал?.. Али я согрешила чем непрощенным? Чем я хуже супротив других?.. За што у меня тебя отняли, родимый мой?.. (Смахивает непрощеную слезу.)

Вскакивает в избу старикова дочка Луша; непоседа, ничего не может спокойно делать, все скоком, бегом, как коза. Марьяна быстро вытирает глаза и, строгая, спокойная, возится с горшками, чистит картошку.

Луша (торопливо). Слышь, у Кабанихи за дочерью посватался Ильюшка Коноводов, а у самого ног нету. Слышь, Марьяна, как же он без ног-то?..

Марьяна (строго). А я почем знаю!

Луша. Ну, а я нипочем бы не пошла. Идешь ты топор задевала?

Входит старуха; садится к прялке, прядет.

Марьяна. Под лавкой.

Старуха. И чево ты мечешься, как овца угорелая? Жеребенку-то мазала дегтем ногу?

Луша (огрызаясь). Али не мазала? (Убегает, опять вбегает, роется в ящике стола, на полках.)

Старуха. Как гляну на лошака, так сердце и зайдет по Степушке, – при ём кобыла оже-

ребилась. Лошака запрягать пора, а Степушки все нету. *(Плачет.)* Свиной-то покормила ли?

Луша. Не сдохнут.

Старуха. Выйду за околицу, подопрусь и все гляжу, все гляжу – вот-вот выйдет из-за лесочку с котомочкой, подойдет, скажет: «Маменька!..» Все жду, а ево все нету. *(Плачет.)*

Входит с хомутом старик, крепкий, широкоплечий, благообразная крестьянская борода, мало седины.

Старик *(недовольно).* Ну-у, завели!.. Вы тут реветь, а хозяйство стоит. *(Луше.)* Ты чево глаза вылупила? Свиныи плетень в огороде подрыли. *(Чинит хомут.)*

Луша. Будь они неладны! *(Убегает.)*

Старик. Чево реवेशь-то коровой? Сказано, без вести пропал. Наши деревенские не станут брехать, сказывают – немецким снарядом разорвало на кусочки. И рад похоронить, да нечего. Ревии не реви, – не воротишь. Не в другой раз его родить.

Старуха. У-у, камень бесчувственный! Истукан!.. Тебе все одно, живой он аль нет.

Старик. Дура! Сын он мне ай нет? Мясу свою дал бы резать *(протягивает руку),* толь-

ко б воротить его.

Старуха. И этта истукан истуканом. Хошь бы слезинку сронила. Ай не муж ей был... Кабы урод какой, али косою, али хромою, а то писаный красавец. Да за него первая девка на деревне пошла бы. А эта хошь бы што... Хошь бы слезинку сронила. Стоит кувалда кувалдой.

Старик (сердито). Да будя тебе! Расходи-лась, как бондарский конь под обручами.

Старуха. А ты чево заступаисси? Ишь заступник нашелся! Таких заступников коло молодых снох, как мужьев нету...

Старик (ревет). Цыц! Всю шею изломаю!

Старуха. Ну, бей!.. На, бей за сноху!.. *(Горько плачет.)* Сына нету, заступиться некому, так за сношеньку, старый...

Марьяна. Будя вам, батюшка. Всем горько. Разве сердцу закажешь!

Входит Ивлевна, тетка Марьяны, толстая, неуклюжая, красный нос картошкой; вздущаяся щека подвязана платком, и концы его как заячьи уши, торчат сверху.

Ивлевна. Никак штурма у вас? Иду, слушаю, аж петухи с перепугу по улице бегут.

Доброго здоровья! Старик. Здорова была!

Марьяна молча кивает головой.

Старуха (*вытирает слезы*). Всю жисть поедом заел меня. Не чаю и смерти дождаться.

Ивлевна. Я как у панов жила, тоже вот убивалась по сыну. Так исделали гроб, огромнейший гроб, железный, сносу ему нету. А в него – серебряный, а в него – золотой, а в него – алмазный, а в него – упокойничка. И поставили ему, чтоб веселей лежать до штрашного суда...

Старуха (*вбежавшей Луше*). Телят-то посмотри.

Луша. Без вас знаю. (*Убегает.*)

Ивлевна. Штоб веселей лежал до штрашного суда, машинку поставили. И таково-то она искусственно играет. (*Поет фальшивым голосом.*) «Во са-аду ли, в о-го-ро-де...»

Старик. Будя боталом-то ботать, свихнешь.

Ивлевна. Я как у панов жила, меня дюже уважали за красоту. Даже поп-батюшка, пошла к нему на исповедь, накрыл епитрахилью и говорит: «Много, говорит, за тобой грехов, ну, отпускается тебе, раба божья, безо всякого, как ты не виновата, што бог наградил тебя»

красотой».

Где-то далеко-далеко слышится, приближаясь и нарастая, «Интернационал» духового оркестра. Вместе с тем нарастает ровно отбиваемый гул шагов. В избу вскакивает с перепуганным лицом Луша.

Луша (задыхаясь, кричит). И чево вы сидите! И чево вы думаете: рыжие идут, всех без края резать будут!

Старик. Каки рыжи?

Луша. Ффу-у, да с ружжами да с пушками!..

Старик. Красные, што ль?

Луша. Фу, да все одно, у них и бород-то нету. Всех обкровенят, не помилуют, всех под один нож. Там народ кричит...

За окном на улице – глухой топот бегущих; бабу, мужские голоса, плач ребят.

Голоса:

– Гони лошадей!..

– Эй, бабу мою не видали ль?

– Анютка, куды ты провалилась?

– Иде дети?..

– Бей тревогу на колокольне!

Понемногу все стихает.

Ивлевна. Молодые аль старые идут-то?

Побечь посмотреть... (Уходит.)

Старуха. Господи Иисусе!..

Старик (в тревоге). Слышь, старуха, за божницей деньги которые бери, да гоните скотину в лес, в бурелом, в Черную балку. А я запрягу кобылу, лошадей погоню. Одежонку какую ни то вяжите в узел. (Подымает половецу.)

Луша (мечется, всхлипывает, срывает с гвоздей, со стены одежду, кидает на разостланный на полу полог). Господи, чево такое будет... Жисти своей молодой решусь...

Старуха (лазит за божницей, всхлипывает). Царица небесная, мати пресвятая богородица... Старик, с подполья-то не трожь деньги, целей будут.

Старик. А как избу запалят, все пропадет.

Старуха (ищет за божницей). Да иде они, деньги-то?.. Заступница пречистая и преподобная мати!.. Лушка, это ты, стерва... сохрани и помилуй!.. смысла их?.. сохрани (вытаскивает сверток с деньгами) и помилуй нас... Вот они! Али лампадочку вздуть, може окаянные хочь святых икон побоятся...

Марьяна (помогая Луше увязывать узел с

одеждой, спокойно). Чево им резать-то православных? Чать, живые люди?

Луша, Марьяна, старуха тащат огромный сундук к двери.

Старуха (плачет). Родный ты мой старик, скорей. Жили мы с тобой душа в душу тридцать лет. Соломинки обиды от тебе не слыжала... Мати пресвятая богородица, никак они?! (Мелкой часто крестится вужасе.)

Луша (с плачем всплескивает руками). Пришли!..

За окнами глухо и ровно отбивают шаг проходящие роты. Дружно несется «Интернационал» оркестра. Оркестр уходит дальше и постепенно замирает. Слышна команда: «Рота, стой!.. Вольно!..» Слышны голоса красноармейцев, шутки, смех.

Голоса красноармейцев:

– Эй, Ванька, беги в обоз, табачку возьми.

– Товарищ, дай прикурнуть.

– Что за деревня: одни куры ходят, армейцев, народу не видать.

– В бане весь...

– Парится...

Слышны переливы гармошки. В избу вхо-

дит красноармеец Павел, отделенный; худой, скулы выдались, молодой, некрасивый, славные глаза.

Павел (оглядываясь). Доброго здоровья, хозяева!

Те молчат.

Ну, вот тут троим можно. Сколько вас в избе? Что это у вас за базар? Что же как воды в рот набрали? Сколько вас в избе, спрашиваю?

Старик, до половины вылезший из-под пола, так и застыл.

Марьяна. Четверо: вот двое стариков, я да девка.

Входят еще двое красноармейцев, усталые, запыленные – Сергеев и Микеша. Сергеев – откормленный, краснощекий. Снимают мешки, ставят винтовки.

Старик. Четверо, служивый.

Старуха. Четверо, родимый, четверо. А пятый... а пятово... сыночек... (*плачет*) мне... Как раз, как идтить ему на немцев, кобыла ожеребилась. Теперича лошаку третий год, а сына все нету. Без вести пропал. Кои бают – убили. Каждый день хожу за околицу ды все жду; из-за лесочка выйдет сыночек (*плачет*),

а я... а я...

Павел. Ну, ладно, троим можно суды. Много места у вас не отобьем.

Старик закрывает половицу.

Старуха. Ну-к што ж. Ничаво, разместимся. Одежу-то убрать надоть.

Луша (*убирает одежду, лукаво поглядывает на красноармейцев*). А мы думали: резать нас будете.

Павел. Ножики точут. Наточут, и свежевать вас начнем.

Луша (*отмахиваясь рукой, кокетливо*). Брежете! Сказывают: рыжие православных режут, – и все брешут, ни за што не поверю.

Павел (*к Марьяне*). Молодка, не знаю, как вас звать, по отчеству величать. (*Марьяна строго отворачивается и продолжает со старухой прибирать одежду*.) Водицы ковшик можно попросить?

Марьяна (*не поворачиваясь*). Луша, дай ему воды.

Луша (*черпает ковшом, подает и, отвернувшись, хохочет в рукав*). И все брежете!..

Павел. Спасибо. Шли, дюже уж запылились. Микеша, сходи узнай, где обоз станет. А

я до взводного пойду.

Павел и красноармеец Микеша уходят.

Луша. Скуластый какой...

Старик и женщины приводят все в порядок, отодвигают сундук на место. Старик садится за починку хомута. Сергеев снимает сапоги, разворачивает и встряхивает портянки.

Сергеев. Эх, ножки бедные, потрудились сколь сегодня.

Входит Ивлевна.

Ивлевна (низко кланяясь). Со счастливым прибытием.

Сергеев. Здравствуй, красавица!..

Ивлевна. Да, за красоту за мою бог грехи мне прощает.

Сергеев. И то хорошо. Стало быть, гульнем. Эй, старая хрычовка, вари зараз курицу да вареники с сыром. Живо! Одна нога тут, другая – там.

Старуха. Батюшка, да куры-то у нас с цыплятами либо на яйцах! Как же ее от цыплят-то резать, ведь жалко!

Сергеев. Ты, старая карга, не разговаривай мне, а то у меня разговор короткий, живо

свернешься!

Старуха. Ох ты, господи, царица небесная.
(Крестится.)

Старик. Пойди. Поймай курицу.

Старуха. Луша, иди.

Луша. Да ведь квочки.

Старуха. Ну, у какой цыплята побольше.

Луша уходит.

Сергеев (*садится около Ивлевы*). Ну, как, красота неоцененная?

Ивлева. Я – женщина уважительная, веселая. Обо мне все довольны.

Сергеев. А насчет самогоночки как у вас тут, полнокровно?

Ивлева. Самогоночки можно, – ну только денег стоит.

Сергеев. Пустяк, плюнуть! (*Достает деньги.*) Бери, на! Только скорей, душа высохла.

Ивлева уходит. Луша приносит зарезанную курицу, разводит с Марьяной огонь, готовит.

Сергеев. Дюже ноги натер, а то я танцевать мастер. (*Ковыряет в ногах.*) Лучше меня в нашем городе не было, чтоб танцевал.

Сергеев молодецки становится перед Ма-

рьяной и, подбоченясь, ловко притопывая бо-
сыми ногами, делает коленце. Марьяна, от-
вернувшись, делает свое дело. Старуха пря-
дет. Старик возится с хомутом. Луша помо-
гает Марьяне.

Сергеев (прищелкивает, припевает). Ах-х,
мать честна, удалого молодца!.. У моего папа-
ши колбасная заведения.

*Входит Ивлевна с чайником; Сергеев броса-
ется к ней.*

Сергеев. Ах-х, красасавица, ну, золото
червонное...

Ивлевна. Насилу достукалась... Боятся про-
давать: Красная Армия, говорят, пришла.

Сергеев. Ну, садись, красавица, заслужила.
Давайте-ка стаканчики. *(Подают чашки; на-
ливает из чайника.)* Хозяин, бери-ка. *(К Ивлев-
не.)* Красавица, пот-чуйся. *(К Марьяне.)* Моло-
дайка, черепушечку.

Ивлевна берет чашку.

Старик. Мы не потребляем ее.

*Марьяна продолжает, отвернувшись, мол-
ча возиться около печи.*

Сергеев. Н-но и жидкий народ ноне по-
шел, слабый. Эх, красавица, гульнем мы с то-

бой, что ль! Урра-а!

Ивлевна. Штоб вам быть здоровыми да веселыми да скоро жениться.

Сергеев. Типун тебе на язык. *(Пьют.)* Эй, хозяйка, скоро закуска будет? *(Наливает стакан самогону.)* Утощайтесь.

Ивлевна. Покорно благодарю, – вы спервоначалу.

Сергеев. Ничего, кушайте. *(Выпивают, захмелели.)* У папаши тройка была караковых – огонь. Бывало, запрягу; а сани ковром застелю, и девушек катать. *(Посматривает на Марьяну.)* Девушки меня любили, отбою не было, просто как мухи на мед. Молодаечка, что ж вы с нами по стаканчику? Пройдемтесь, любо-дорого.

Марьяна презрительно молчит.

Ивлевна. Обо мне бесперечь муцины убиваются, до того убиваются, до того убиваются... Я говорю: «Ах, оставьте ваши аранжесменты». А они: «Ну, не можем, – уж дюже у тебя блестят глаза, ну, блестят, как самовар. А зубы у тебя, грит, как у кобеля, – бе-е-лые пре-белые. И за пазуху тебе бог наклал. И сама ты...» Ну, вот перед истинным – чисто надое-

ли. *(Выпивает.)*

Сергеев. У моего папаши колбасная заведения была, большая заведения была, человек до тридцати рабочих работало. Бывало, наберешь колбас разных: и чайной, и чесночной, и копченой, и языковой, опять же водочки, а женскому полу сладкой наливочки, винца, конфет, пряников, – и-их, вот зальемся. У нас за городом роцца, так в роццу.

Ивлевна. А я хавалеров до страсти боюсь. Как хавалер, так у меня сердце так и трепыхается, так и трепыхается, аж боюсь помереть. Мне дохтур так и сказал: у вас, грит, раздрызг сердца.

Сергеев. Ну, споем, что ли?

Ивлевна. Сергеев. *(поют разноголосо).*

*Мой ми-лень-кий сра-жал-ся
Храбро на вой-не,
Он пулев не бо-ял-ся,
Все ду-мал обо мне...*

Луша *(подает курицу и вареники; мимоходом).* Мордой-то в нашего борова дюже вышел. Сергеев *(к Марьяне).* Молодаечка!..

Луша. И хрюкает. Свинья ды боров.

Сергеев схватывает ее, притягивает, хо-

чет обнять.

Луша (бьет его, вырывается). Будь ты проклят, окаянный!.. Отец-то твой прошибся: тебя бы замест борова прирезал, то-то сала на-топил бы...

Сергеев (идет к ней). Перепелочка!.. Ишь недотрога. Чистая коза: так и отскочит, как мячик.

Старик. Ты, служивый, вот што: ты с кем хошь балуй, а девку не замай. У нас этова заведения нету.

Сергеев (грозно). Что-о-о! Учить меня!.. За-раз расстреляю, и пикнуть не успеешь. Где винтовка?

Старуха. Царица небесная... Мати пресвятая!..

Старик. Што ж, стреляй, твоя сила, ну девку не трожь.

Сергеев (наливает, пьет). Я всю деревню разнесу, не посмотрю!.. Сволочи!.. (К Марьяне.) Молодаечка, успокойте мои нервы. Очень у вас брови черные.

Марьяна (надменно). Ты меня не замай, слышь, не замай, – не рад будешь.

Сергеев. Меня девки любили. Да мне на-

чхать. Выпьем, красота, одна ты у меня, неоцененная, осталась. *(Обнимает Ивлеву. Та, пока он заигрывал с другими, сидела насупившись.)* Нос у тебя прямо греческий.

Ивлевна *(отстраняясь)*. Ка-акой!.. Ах ты, паскуда... тварь ты низкая!.. Ды как ты смеешь?! Я отродясь в греках не крестилась и от своей религии не отступлюсь, хочь режь меня. Я те все глаза твои бесстыжие выдеру!

Сергеев. Да что ты взъелась?! Я об вашей религии никак не касаюсь. Я об вашей красоте.

Ивлевна. Какая жисть моя была, в судомойках ды в кухарках *(плачет)*, свету божьего не видала. Ни семьи, ни ребеночка. Разве станут на местах держать с детьми? Сожрали мою жисть господу, а он еще мою религию конфузит...

Сергеев. Да чево вы белугой ревете? Я же никаких...

Входит Микеша.

Сергеев *(злобно Ивлевне)*. Прячь самогонку, чертова кукла! *(Падает на скамью, корчится и стонет.)* Смеертынька моя!.. Ой-ей-ей, пропадаю!..

Микеша. Эй, Сергеев, бери винтовку, рота выступает на позицию.

Сергеев. Ой, пропадаю, Микеша!

Микеша. Да чево с тобой?

Сергеев. Ой, смерть пришла, живот схватило, помираю!

Микеша (*почесывает затылок*). С чево бы такое? Был здоровый, сразу, как в холере. Отделенный велел зараз в строй. А то вали в околоток. (*Берет винтовку, уходит.*)

Сергеев. На-кось, выкуси! (*Показывает дулю.*) Только пришли, опять иди. Да я обезножил совсем. Что я, лошадь, что ли! Пущай другую роту шлют, а то нашей и отдыху нету. Ну-ка, давай-ка чайничек, будем лечиться.

Пьют с Ивлевной. За дверью слышны голоса. Сергеев прячет чайник, ложится на скамью и стонет.

Павел (*входит*). Ты чево ж валяешься? Рота в строю, а ты вылеживаешь.

Сергеев (*стонет*). Схватило, товарищ, во как схватило, вроде холеры...

Павел. Я те схвачу, подлая шкура! Сейчас в роту!

Сергеев. Ой-ей-ей. Ей-богу, не могу!..

Луша хохочет в рукав.

Павел (*вынимает револьвер*). Ну!!

Старуха. Ивовевна. Луша. Ой, батюшки!..
Мати пресвятая!! Страсти-то!..

Сергеев (*торопливо обувается*). Я сейчас, легче стало...

Павел (*подозрительно оглядывает стол, избу*). Это что такое? (*К хозяевам.*) Это он велел готовить?

Старуха. Куры-то у нас – наседки либо...

Старик. Помолчи, старая... Это, господин начальник, мы собрались повечерять да служивому говорим: садись с нами.

Сергеев. Они действительно пригласили меня.

Старуха. От цыплят-то квочку. Куды же цыплята-то?

Старик. Помолчи, старая... Ничего, пущай... с походу-то, с устатку...

Луша. А сам чистый кабан.

Павел (*к Сергееву*). Подлая шкура!.. Мародер!.. Собака проклятая!.. Примазываться умеешь, а вот товарищи на позицию идут, так тебя нету. Если замечу хоть малейшее, и ротному докладывать не буду – всажу пулю, и ша-

баш!.. Расплачивайся сейчас с хозяевами.

Сергеев. Сейчас. *(Торопливо расплачивается.)*

Старуха. Ишь ты, батюшка, серчаешь как. Свово рази можно стрелять? В ём дух-от, чать, хрестьянский.

Павел. Отца родного пристрелю, ежли гадить революцию станет.

Сергеев подпоясывает патронташ, вскидывает мешок, берет винтовку и с Павлом уходит.

Ивлевна. Я так и думала, застрелит хавалера.

Старик *(сердито).* Таскаешь тут самогонку. Кабы нашел, и нас бы не помиловал. *(Уходит с хомутом.)*

Старуха. Жалко наседку. Луша, загони цыплят в решето да принеси суды, пуцай тут ходят.

Луша *(хохочет).* Борову теперь вольтется.

Ивлевна. Жалко, хавалер хороший. Ну, проще-вайте.

Обе уходят.

Старуха. Правду народ сказывал: придет анчихрист, зачнется убивство. Заприметила

я, кубыть у этова, у толстова, печать накладе-на. Спаси и помилуй. (Уходит.),

Луша (вбегает с решетом, в нем цыплята, ставит под печку). Слышь, Марьянка, солдаты-то. А я думала – они нас резать станут. А они – веселые. У одного на улице гармонь. А у Кривулихи один уж сватает дочь-то. Кабы за меня какой не посватался... Ну, нипочем!.. Убегу...

Марьяна. Кто об чем, а она об своем.

Луша. Которые у нас были, ни один мне не показался? А тебе?

Марьяна. Мне все равно, как их и нету.

Луша. А мне чевось-то скушно стало.

Марьяна. Дай срок, наплачешься.

Луша. А как ты со своим жила? Пальцем брат тебя, бывало, не тронет.

Марьяна (злобно). Уйди!..

Луша. У-у, змеюка!.. (Убегает.)

Некоторое время Марьяна возится по хозяйству.

Занавес.

Действие второе

Та же внутренность избы. Вечерние косые лучи ложатся сквозь окна. На улице слышен говор, смех красноармейцев и девушек. Потренькивает балалайка, наигрывает гармония. В окна видно – проходят мимо, сидят и стоят группами. В избе старуха за прялкой. Марьяна шьет. Молчание. На улице голоса.

1-й голос. Табак просыпешь, еловая голова!

2-й голос (*поет*). «Па-а-след-ний но-о-неш-ний де-е-не-чек гу-ля-ю с ва-ми я, дру-зья...»

3-й голос. Эй, Семка, куды бежишь? Держи их!..

Девки (*визжат*). Пусти, окаянный! Всю кохту изорвал.

– Вот оглашенные!..

– Медведь косолапый!..

4-й голос. Теперя спи спокойно: белых и след простыл – верст на двадцать отогнали, и разъездов не видать.

В избе.

Старуха. У-у, статуй каменный!.. Покеда

сын был, мать тебе была, а как сына нету, тет-ка чужая стала.

Марьяна. Чево вы едите меня, чево поедом едите?

Старуха. А чево молчишь? Чево по целым дням молчишь, хошь бы слово сказала.

Входит Павел, садится к столу, разбирает и чистит винтовку.

Старуха. Курицу-то зарезали, а она насед-ка, а теперича цыплята...

Марьяна. Будя вам, маменька.

Старуха (*уходит, ворчит*). Про курочку нельзя сказать, зараз рот затыкает... тетка ей чужая...

За окнами по-прежнему говор, взрывы сме-ха; под балалайку и гармонию пляс и топот. Визг и хохот Луши и девок.

Павел. Намучились на позиции. Теперя отдохнем, отогнали. (*Молчание.*) К вам еще од-ного поставим, четверо будем. (*Молчание.*) Эх, Марьяна, приглядываюсь я к тебе, – хорошая голова присажена у тебя на плечах, ну только норовистая ты, как лошадь невзнузданная.

Марьяна. Зануздал один такой, да на тре-тий День сдох.

Павел. Я не об себе. Я об том: как кроты вытут земляные. Ни свету, ни людей. Одно только, что едите Да работаете, уткнув головой в землю.

Марьяна (*говорит надменно, роняя слова, не оборачиваясь*). А тебе чево же, танцевать надо?

Павел. Эх, молодуха, так ты тут и повянешь, как березка подрубленная.

Марьяна. А тебе горе?

Павел. У нас каждый человек на счету. Счастья-то всем хочется, а добывают его для всех раз-два да обчелся. А ты, вишь, крепкая. Кабы взялась за дело, из рук не сронила бы.

Марьяна (*пренебрежительно*). Мне забота о ваших делах.

Павел (*помолчав*). Мать у меня была, не старая годами, а сама согнулась, седая. Всю жизнь на фабрике. Ткачиха. Померла недавно. Всегда, бывало, гоняла меня, чтобы с социалистами не знался. Пускай, говорит, другие, а ты, Пашка, не смей, а то головы не сносишь, – на то ль я тебя рожала. А невдолге перед смертью увидала на улице весь фабричный народ с знаменами с красными со всех

фабрик, с заводов. Идут и идут, конца-краю им нету, и все желтые, худые, грудь завалилась, а сами про волю поют. Заплакала. Впервой, говорит, вижу столько фабричного люду. Сила его, а замученный народ. И как умирала, подозвала меня, благословила и говорит: «Иди, Пашенька, иди к ним, к замученным, добывай волю всем, а там воля божья». (Молчание.) А как у вас урожай?

Луша (вбегает). Урожай у нас огромный, хлеба будет – хочь завались. Браги наварят, пирогов напекут, а свадьбы играть некому.

Старуха (входит). Лушка, опять свиньи в огороде!..

Луша. Штоб они подошли, окаянные!..

Старуха. Што ты, што ты! Окстись... аль не в своем уме? Об рожество чего будешь трескать, как свининки не будет?

Луша (убегает). Нужна она мне, как ле-тошний снег.

Старуха. Сбесилась девка... Вот горе, без соли сидим... Придет рожество, зарезать бы кабана, посолить нечем. Без соли насидимся. Как трава все, – в рот не впихнешь... Може, у вас, служивый, сольцы бы достать?

Павел. Да ведь нам, бабушка, отпускают на рыло золотниками, а кроме нету. Вот прогоним врага, все будет и у вас и у нас: и соль, и керосин, и ситец.

Старуха. Дай-то бог. И когда она кончится, эта война! И-и, господи Иусе Христе!.. (*Уходит.*)

Темнеет.

Павел (*вздыхает*). Эх, Марьянушка, как оно скла: дывается. Вот кабы не пришли в эту деревню, не знал бы про тебя, не видел. А вот уйдем, все ты будешь передо мной, как живая. Не забыть тебя, покуда жив буду. (*Молчание.*) Так-то, Марьянушка. Видно, такая моя судьба... Уйдем, чай и не вспомнешь меня, как и не были.

Долгое молчание. С улицы иногда доносится смех и визг Луши, с которой шалют красноармейцы.

Сергеев (*входит*). Ну, что, как: ужинать будем?

Микеша (*входит*). Повечерять бы, что ли.

Марьяна (*откидывает шитво, кричит в окно*). Маменька, вечерять просят!

Старуха (*с улицы*). Ну-к что ж, давай. (*Кри-*

чит.) Лушка, Лушка, чего ты там ржешь, кобыла! Иди собирай вечерять служивым.

Луша (*вбегаете избу*). Не обтрескаются, боровы...

Марьяна и Луша собирают ужинать.

Микеша. Луша, а, Луша, я секрет про тебя один знаю.

Луша. Секрет? Заткни его себе в ноздрю.

Павел. Ну, чего же, садиться, что ль. (*Отставляет винтовку.*) Зови энтих-то.

Микеша (*в окно*). Товарищи, ужинать...

Садятся. Постепенно подходят еще четвере красноармейца со смехом, с разговором, доигрывая на гармони, на балалайке. Голоса слышны сначала на улице, потом в избе.

1-й красноармеец. Спокон веку повелось, что война...

2-й красноармеец (*передразнивая*). «Спокон веку!» Голова у тебя спокон веку задом наперед присажена. За то и кровь проливаем, чтоб никогда больше войны не было.

Садятся за стол.

3-й красноармеец (*сначала на улице, потом в избе поет под балалайку*). «Ка-кая чу-до де-вица затворницей жи-ла...»

4-й красноармеец входит, наигрывая на гармонии. Входит старуха.

Микеша. Будет вам, садитесь.

За столом одни красноармейцы, первое время едят молча. Входит старик.

Павел. Что же не садитесь, хозяйева? Садитесь ужинать.

Старик. Ничево, вечеряйте.

Микеша. Гужом веселей.

Павел. Садись, старина. Без хозяина дом – сирота. Бабушка, а ты чего же? А вы, молодки?

Старик. Ничево, мы постоим.

1-й красноармеец. Да чево стоять? Больше не вырастешь.

Старуха. У меня – сынок... убили его немцы. А бывалыча, садится с молитвой на икону, а вы бесперечь валитесь за стол, лба не перекрестите.

Павел. А ты, старая, гляди по делам людей, а не как они рукой мотают. Он перед иконой рукой мотал, а своего брата рабочего да красноармейца штыком колол.

Старик. На войне убили.

Павел. Да за кого убили? За вашего поме-

щика да за вашего кулака – за буржуев и смерть принял. Есть у вас помещик?

Постепенно в избу набираются крестьяне, бабы, девки. Постоят, послушают и уходят. Окна с улицы облепили ребяташки.

Старик. Как не быть? Убёг, – должно, про вас прослыхал.

Голоса крестьян. Лютой был.

Павел. И кулак есть?

Старик. Да он кулак не кулак, а лавошник наш.

1-й крестьянин. Кулак не кулак, а по пяти шкур драл с человека.

Павел. Вот за них твой сын и голову сложил.

Старик. А мы почему знаем? Мы – темный народ, нам велели.

Павел. А будь тогда власть у рабочих и крестьян, – что ж, они разве послали бы твоего сына убивать за границей рабочих и крестьян? Э-э, небось был бы теперь дома, вон с молодойкой жили бы любовно да радостно, детишки округ них бегали бы. Вот как! А теперь ей сохнуть... из-за чего?

Марьяна клонит голову все ниже и ниже.

Луша. Жанихов всех перебили, и вот те Христос!.. *(Торопливо крестится.)*

2-й красноармеец. На добрую невесту десять найдется.

Микеша. За меня пойдешь? Вот как любить буду!

Луша. Чтоб ты лопнул, окаянный!

Микеша. Девушки хороши, красные пригожи, да отколь же злые жены берутся?

Красноармейцы смеются.

Луша. У-у, верблюд камолый!.. *(Плюет, отворачивается.)*

2-й крестьянин. Хрестьяне, они завсегда в ответе: и перевернешься – бьют, и не довернешься – бьют.

1-й красноармеец. Били вас, а теперьча вы бьете.

2-й крестьянин. Мы никого не трогаем.

Микеша. Прежде фабрикант драл шкуру с рабочего, а теперя мужик с него три сымает.

Иван Посный *(с большой седой бородой).*
Чать, у нас хрест есть.

1-й красноармеец. То-то вы со крестом хлеб в землю зарываете, – зубами у вас его не вытащишь. За сало, за масло, за молоко, за

картошку сто шкур крестом спущаете.

2-й крестьянин. А нам, што ж, даром достаётся? Поджамши ручки сидим?

Иван Посный. Ни карасину, ни ситцу, ни дегтю – из-за чево же нам стараться?

Павел. А из-за чего мы стараемся? *(Показывает на 1-го красноармейца.)* Из-за чего он старается? Он тоже крестьянский сын. Я с девяти годов – рабочий. Сладко ль? Мне двадцать третий год, а у меня и посейчас все стоит в ушах: гу-гу-у, и все будто фабрика трясётся кругом, и будто очески летают, и, как в тумане, не видать сквозь них. Так ведь мне жить-то хочется ай нет?

1-й крестьянин. Знамо, всякому белый свет мил.

Павел. Да жить не по-собачьи. Вот мы и пошли добывать себе, чтоб не по-собачьи. Может, и голову сложим, то по крайности знаем, за что. *(К старику.)* Не как твой сын – сложил голову за вашего помещика, а ему самому в бежки пришлось. Не так, что ль, ребята?

Красноармейцы (загудели). Верно!.. Правильно!..

Марьяна внимательно слушает и в знак

согласия кивает головой.

Сергеев. А то бывает и так, что которые не хочут работать, от этого и бедность. У моего папаши...

Павел (*передразнивая*). «От этого и бедность»...

Старик. Хозяйство, оно порядок любит.

1-й красноармеец. От вашего порядку рабочие в городе сдыхают.

Старик. Мы не причинны.

Павел. Да черт с ним (*бьет по столу ложкой*), с вашим хлебовом, если мне опять скотинячья жизнь! Да лучше сдохнуть али в бою сложить голову. По крайней мере очи мои паскуды этой не будут видеть, которая по России пойдет. А вам, мужикам, что?! Одно: нагресть керенок побольше да веревками перевязать, – на фунты меряете, считать-то, вишь, долго, да в подполье загресть.

Старик (*испуганно*). Нету у меня денег, как перед истинным. В подполье даже не лазим, чево нам там: делать?

Павел (*моргает ему насмешливо*). Не лазишь?

Красноармейцы (*смеются*). Попался, ста-

рик? Давай весы, взвесим.

Старик (*озлобленно*). Сказываешь, ваша жисть чижолоя. А наша – легкая? Легко ее, матушку-землицу, ублажать: унавозить, да вздобрить, да заскородить, да засеять, да снять, да вымолотить. Божьего свету, его не видишь, потом заливаешься, жилы – во! (*Протягивает засученный рукав.*) Все вытянул...

Павел. Вам только помещичьей земли нагреть, а там хоть трава не расти.

Старик. Мы ее, землю-то, и не нюхали.

Павел. Мы вам дадим, своей кровью добываем.

Красноармейцы (*покончили ужин, обтерли губами ложки, засунули за голенища*). Спасибо! Покорно благодарим...

Старуха. Ешьте, кушайте, родные. Погляжу на вас, сыночка вспоминаю... (*Плачет.*) Такой же... молодой...

Луша. Хоть бы лоб перекрестили.

Микеша. Мы, девка, своему богу молимся.

Луша. Какому такому?

Микеша. Наш бог – совесть, да правда, да счастье трудящему народу по всему миру. Мы ему зараз молитву споем. А замуж за меня

пойдешь?

Луша. За басурмана-то?

Красноармейцы (запевают).

*Нам не нужны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог.
Вставай, подымайся, рабочий на-
род!..*

Луша с любопытством слушает, бросив прибирать. Марьяна прибирает, но по лицу, по взглядам видно, что слушает.

Коноводов Илья (с присвистом вползает, опираясь руками на деревянные колодки; обе ноги у него отрезаны). Эй, жги, говори!.. Отворяй ворота, господа едут!

Луша (покатывается со смеху). Жанихи приехали!..

Старик. С каких пор веселый стал, Илюша?

Коноводов. С тех самых пор, как немец ноги у меня оттяпал. Легко стало без них, весело, а то таскай задарма их, никто и гроша не дает. Здравствуйте, господа служивые!

Красноармейцы. Здравствуй, товарищ! Тут господ нету.

Коноводов. Ну, к тому так говорится у нас.

1-й красноармеец. Еще не обтяпались.

Павел. Дай-ка, што ль! *(Берет у одного из красноармейцев балалайку).* Спою-ка свою любимую ткацкую. Одиннадцать лет пел ее своею шкурою. *(Настраивает.)*

Луша *(Коноводову).* Илюша, на свадьбу позовешь?

Коноводов *(поет).* И пить будем и гулять будем, а смерть придет – помирать будем.

Луша хохочет.

Павел. Во, старик! *(Стучит по балалайке.)* Мы тут бьемся, головы за вас кладем, за мужиков, – никто об нас тут не подумает: сдыхайте, как собаки. А там, на фабриках, на заводах, наши братья день и ночь об нас помнят – во подарок прислали! Из последней копейки собьются, пришлют.

Сергеев. Фу-у! Много ль на человека приходится – гроши.

Микеша. Гроши!.. Да ведь голодные сидят. Надо этот грош отколупнуть от голодных детей.

2-й красноармеец. А из грошей на армию миллионы выходят на подарки.

Старик. Это и мы могём.

3-й красноармеец. Могёте!.. Покеда по за-

привку вас потянут, тогда можете. Всё дожидаетесь.

Павел (поет под балалайку):

Мучит, терзает головушку бедную
Грохот машин и колес,
Свет застилается в оченьках
крупными
Каплями пота и слез.

Как не завидовать главному мастеру,
Вишь, у окна он сидит,
Чай попивает да гладит бородушку,
Знать, на душе не болит.

Нитка в основе порвалась, канальская...
Ах, распроклятая снасть!
Жизнь бесталанная, сколько ты
на душу
Примешь мучений, так страсть!

Нуют и рученьки, ноженьки, спи-
нушка,
Грудь разломило ткачу...
Эх, главный мастер, хозяин, над-

смотрящие,
Жить ведь я тоже хочу!..

Марьяна, как птица, вся застыла в порыве – слушает. Стемнело. Павел легонько тренькает на балалайке. Молчание.

Старик. У всех горе.

1-й красноармеец. Вот мы и несем свои головы, шток замест горя всем была радость.

2-й красноармеец на гармонии играет плясовую. Сергеев вскакивает и, притопывая, начинает плясать. Микеша схватывает Лушу и вытаскивает, чтобы плясала.

Луша (отбиваясь). Утопии, окаянный!..

Ивлевна (входит, вынимает платочек, павой плывет, поет). «Мимо сада винограда собачка бяжала, ножки тонки, боки звонки, а хвост закурлючкой. Ножки тонки, боки звонки, а хвост закурлючкой, на хвостике колтунчики ветром развевает. На хвостике колтунчики ветром...»

Павел. Ну, будет, ребята, надо спать ложиться...

Посторонние понемногу расходятся.

Голос на улице. Никак дожж?

2-й голос. Не-е, нахмарилось только.

Микеша (в избе). Ну, как же мы ляжем?

1-й красноармеец. Да как: стели шинель да ложись.

Микеша. Эх, и завалюсь!.. Две ночи не спал.

Сергеев. Хоть бы сенца подстелить.

1-й красноармеец. Но-о, набалован, сенца ему! Може, перину?

Сергеев. На кровати можно.

Павел. Пускай старики.

Расстилают шинели, начинают раздеваться.

3-й красноармеец (разувается). Эх, славно!.. Отекли совсем.

Павел. Обуйся! Не разуваться! Винтовки возле себя!

3-й красноармеец. Чево ж, успеем.

Микеша. Отогнали. И разъездов ихних нету.

Павел (сердито). Тебе говорят – обуйся. Мало чего – нету. Сейчас нету, а не успеешь оглянуться – навалятся. Разве угадаешь?

Все обуваются. Старик ложится на кровати. Марьяна, Луша – на лавках.

Микеша. Не-е... теперя его и с собаками не

сыщешь – без оглядки бежал. Сегодня ничего не будет.

2-й красноармеец. Отделенный, хочь патронташ снять.

Павел. Ничего не снимать, – так ложись. Какой запас у кого патронов?

Микеша. У меня с сотню.

1-й красноармеец. У меня с полсотни.

Павел. Завтра утром пополнить.

Понемногу засыпают.

Старуха (бормочет). Господи Иисусе, сыне божий, спаси и помилуй... прегрешения наши... Раба божьего Степана помяни во царствии твоём. *(Ложится на кровать.)*

Молчание. Луша подымается, прислушивается, пробирается к Марьяне.

Луша (полушепотом). Слышь, Марьяна, а они ни-чево, солдаты-то. *(Молчание.)* Энтот-то боров все сватается до меня.

Марьяна. Дура! Дюже ему жена нужна. Побалуется да кинет, как утирку.

Луша. Я и то его мокрым полотенцем здорово саданула, аж присел. *(Молчание.)* Слышь, Марьянка, страшно им на войне-то? *(Молчание.)* Ведь это все жанихи. Тебе который пон-

дравился?

На полу завозился красноармеец, приподнялся, неясно забормотал.

1-й красноармеец. Бей... коли... цепь... бегом... лошадей... бурбур... мурмур... мм...
(Опять повалился.)

Марьяна с Лушей застыли, прижавшись.

Марьяна. Это он со сна. Представляется ему.

Некоторое время молчание.

Луша. Энтот вон губастенький, с усиками, ничего из себе. Кабы уши у него помене, а то дюже как у лошади.

Далекий, едва уловимый звук выстрела.

Луша. Чево такое?! (Обе прислушиваются; тихо, сонное дыхание.) А энтот белобрысенький, полнокровный из себе, да дюже рот разявляет. (Молчание.) А энтот скуластый некрасивше всех, а как запел, аж за самое за сердце схватил. Глаза у него уж дюже хороши. Так бы глядела в них, не отрывалась.

В окнах слабо и медленно разгорается красное зарево. Марьяна и Луша не замечают.

Марьяна. Душа в ём.

Луша. Об чем он пел?

Марьяна. Про фабричных.

Луша. Дюже уж жалостливо, не оторвалась бы, так бы и слухала.

Марьяна. Жисть, видно, несладкая у самого. *(Вздыхает.)* Худой.

Луша. Холостой, гляди?

Марьяна. Ступай спать.

Луша *(крадется к себе, ложится, потом возвращается).* Марьяна! *(Марьяна молчит.)* А я знаю, скуластый тебе больше всех поднравился...

Марьяна *(сердито).* Уйди!..

Луша крадется к себе. Молчание, темнота. Где-то снова далекий выстрел, другой, третий. Смутно заговорили пулеметы, и глухо ухнуло орудие, другое. Красное зарево все больше разгорается. Стук в окно.

Голос с улицы. Тревога!.. Тревога!.. Тревога!..

Павел *(вставая).* Подымайся!

Красноармейцы в багровой темноте подымаются, стучат оружием,

Павел. Вставай, что ль! Микеша. Вот те отоспались. Старик. Лушка, зажги свет.

Луша зажигает.

Старуха. О господи Иисусе, спаси и помилуй...

1-й красноармеец. Должно, казаки.

2-й красноармеец. Не слышишь, артиллерия бухает, – стало быть, пехота подошла. Павел. Выходи!

Красноармейцы выходят. Луша гасит лампочку. В окнах все больше багрово разгорается пламя далекого пожара.

Павел (*голос на улице*). Стройся!.. Чего переваливаешься?

За окнами слышно: торопливо позвякивая оружием, со смехом и говором строятся.

1-й красноармеец (*голос на улице*). Рота за колодезем.

2-й красноармеец (*голос на улице*). Эх, табачок забыл.

Старик (*в избе*). Пожар. Должно, в Выселках.

Старуха (*в избе*). О господи Иисусе, мати пресвятая...

Микеша (*голос на улице*). Поспать не дали, сволочи!

1-й красноармеец (*голос на улице*). Беспременно казаки.

2-й красноармеец (*голос на улице*). И пехота. Наши прибегли, рассказывают, цепями идут.

Микеша (*голос на улице*). Задаст он нам жару.

1-й красноармеец (*голос на улице*). Не то он нам, не то мы ему.

Павел (*голос на улице*). Все?

Голоса на улице. Все.

Павел (*голос на улице*). Зря патронов не трать. Бей, когда увидишь, или по огню. Смир-но! Левое плечо, шагом арш!

Удаляющийся топот.

Старик (*в избе*). Пожар дюже разгорается. (*Все в избе красно озарено. Старик скребет голову, спину.*) Ишь взбулгачились, не иначе белые напали. (*Молчание.*) Сколько сена потравили!..

Старуха. Ну, да и то сказать, за все заплатили честно, благородно.

Старик. Што ж, заплатили, зимой бы дороже продал.

Марьяна. Вздумали про сено. Сколько теперь голов положат.

Старик. Наше дело сторона. Запри двери.

Луша запирает.

Старуха. Вот так и мой Степушка... *(Луша зевает.)* Лушка, заксти рот-то... Господи Иисусе, помилуй нас...

Ложатся. Некоторое время сонное молчание. Перестрелка то затихает, то разгорается. В окнах все то же багровое шевелящееся зарево. Нетерпеливый стук в двери.

Луша *(подбегает к двери)*. Кто там?

Сергеев *(за дверью)*. Отпирай!

Старик. Да кто такой?

Сергеев *(за дверью)*. Отпирай, голову снесу!..

Луша. Батенька, я боюсь.

Сергеев *(грохочет в дверь)*. Отпирай, тебе говорят!..

Старик. Лушка, отопри.

Старуха. Господи Иисусе!..

Луша отпирает. Врывается Сергеев без винтовки, с перекошенным от страха и злобы лицом. Мечется по избе.

Сергеев *(задыхаясь от быстрого бега)*. Куда бы мне?!

Старуха. Ты чево, родименький? Ай забыл чево?

Сергеев. Молчи, карга!..

Старуха. О господи Иусе, спаси и помилуй!.. Никак с печатью!

Сергеев (*старику*). Подымай половицу.

Старик (*испуганно*). На што тебе половицу?

Сергеев (*вытаскивает револьвер*). На месте положу...

Старик. Слышь, там тебе крысы стрескают. Они с кобеля у нас, накинутся на человека...

Луша. Уж был такой случай у нас...

Сергеев. Издохнешь, собака! (*Наводит на старика револьвер.*)

Старуха. Царица небесная! (*Плачет.*)

Луша (*испуганно*). Батенька!..

Марьяна (*озлобленно*). Чего озверинился?

Старик (*подыкает половицу*). Чего ж, спускайся... Мне не жалко...

Сергеев (*спускаясь под пол*). Закрой. Да слышь, ежели придут наши, скажи – никого нету и никто не приходил... А то все одно не жить вам, всех перестреляю...

Старик закрывает подполье.

Старуха. Страсти-то!..

Старик. Запри.

Луша запирает дверь. Все ложатся. Молча-

ние. Польшаает сильное зарево. Далекая перестрелка.

Занавес.

Действие третье

Зал помещичьего покинутого дома. Мебель, портьеры, картины – все сохранилось. На столе епитрахиль, крест, чаша с водой, кропило. Поп, с красивым наглым лицом, подстриженная черная борода: очевидно, умел и любил пожить, упитанный, но подвижной, моложавый. Дьячок, с подведенным от голода животом. Лавочник, толстый, присадистый, с могучим затылком.

Поп (в камиллавке). Иван Иваныч, надо бы велеть досок принести да помост сбить. Видней будет. И служить лучше, и слышней, когда слово буду говорить.

Лавочник. Отец Феофан, я опять на своем: в церкви бы лучше. Ты с амвона скажешь слово, оно будет благолепнее. И служба там на месте. Там народ каждое слово принимает безо всяких.

Поп. Говорю тебе, все известкой да кирпи-

чом завалило... Снаряд как ударил в купол, пробил, – так все вниз и свалилось.

Лавочник. Вычистить.

Поп. За день не управишься. По колено мусору. И опасно – из свода кирпичи нависли, может оторваться в толпу, паники наделаем, а откладывать тоже нельзя: куй железо, пока горячо.

Попадья (белотелая, пышная, богато одетая; входит; недовольным тоном). Что же это народу нету? Отец Феофан, вели в колокол ударить.

Поп. Постой, мать, не мешай. Так как, Иван Иваныч, будешь помост мостить?

Постепенно в зал набивается народ. Приходят крестьяне, бабы, ребятишки. Приходят Луша, старуха, старик, Сергеев. Бабы подходят под благословенье к попу, кое-кто и из мужиков, больше старики.

Лавочник. Да когда же? Теперь некогда.

Поп (к крестьянам). Что, миряне, тихо собираетесь?

Крестьяне толпятся, оглядываются друг на друга.

1-й крестьянин. Подходят.

2-й крестьянин. Староста постучал посошком в окна, – ну, идутъ.

Старуха. Деревня долгая, покуда дойдешь. О господи Иусе!

Шурша и постукивая колодками, вползает Илюша Коноводов. Входят Одноногий на деревяшке, и Однорукий, один рукав у него зашит; оба молодые. Входит Иван Посный.

Поп. Ну что, Иван Иваныч, будем начинать?

Лавочник. С господом.

Поп (*заправляет волосы, закидывает рукава; торжественно*). Братие! Собрали мы вас сюда обсудить свое положение. Тяжкие времена, неслыханно тяжкие времена пришли на святую Русь. Подобного не было во всю ее историю, а царство российское стоит вторую тысячу лет. Гм-м... ну да. На самого... на самого... – страшно сказать – помазанника божия покусились. Братие, государь император, самодержец всероссийский расстрелян злодеями. Кто такие эти злодеи, омывшие руки свои в священной крови помазанника? Это – всемирные злодеи, исчадие ада, дети сатаны, богомерзкие большевики, рекомые коммуни-

сты. Печать Вельзевула...

Старуха. То-то я заприметила, как лез к нам в подполье, на зад у него печать, стало быть анчихристово...

Сергеев (*злбно*). Молчи, старая карга, мешаешь бабушке!

Старик. Замолчи, старуха.

Старуха (*плачет*). Он и наседку...

Сергеев. Да цыц ты! А то зараз в тюгулевку.

Поп. Печать сатанинская на всех их деяниях, на всех их помыслах. За их преступления, за их злодейства господь не оставляет их своим гневом: голод, зараза, война, бедствия царят в их оскверненном царстве. В Москве трупы умерших от голоду валяются по улицам, и озверелые от голоду псы терзают их...

Голоса:

– О господи!..

– Страсти-то господни!..

– Да што такое?!

– Наказал, стало быть, господь!..

Поп. И мужчины и женщины ходят нагие, ибо нечем прикрыть срамоту свою. И были случаи, когда матери, терзаемые голодом, по-

едали невинных младенцев своих...

Среди женщин всхлипыванья.

Голоса:

– Душеньки невинные!..

– Деточки-то чем виноваты!..

2-й крестьянин. Надоть хлеба им собрать, вишь, знать, оголодали дюже.

Голоса:

– Верно!

– Сбор надо исделать!..

– Пуцай очунеются...

Сергеев (2-му крестьянину). Да ты кто?.. Ты кто такой?! Красный, што ль?.. Тебя взять нужно да под расстрел.

2-й крестьянин. Не-е... Это я насчет которые оголодали, так и сделать сбор, а то дюже ребята с голоду пропадают, батюшка вон говорит, замест свежинки их...

1-й крестьянин. Знамо, подадут. Кто гарнец, хто полтора, а то и всю меру.

3-й крестьянин. С миру по нитке...

Сергеев (2-му крестьянину). Ага, так ты за них заступаешься? Иван Иваныч, революционер, за большевиков заступается. Надо его отвести.

Лавочник (2-му крестьянину). Иди... иди... иди... пойдём!

2-й крестьянин. Ды я ни сном ни духом... Иван Иваныч... я только к тому, што...

Сергеев. Пойдем, пойдём, там тебе покажут кузькину мать! *(Вместе с лавочником уводит его.)*

Поп. Плач и стенания стоят над поруганной первопрестольной столицей. Вот что сотворили дети Вельзевула, братья сатаны, смердящие большевики. Господь наш Иисус Христос проклял их. И они, как Каины, мечутся, убивая невинных, замучивая не токмо мужчин и женщин, но и немощных стариков и невинных детей.

Голоса:

– Спаси и помилуй!

– Терпит еще господь черных злодеев.

– Кабы земля из-за них в тартарары не провалилась!

– Кабы и нам с ними не провалиться!

Поп. Народ голодает, народ в плаче и стенании, а большевики радуются бесовской радостью и предаются обжорству, питию и блуду среди стнящего народа.

Голоса:

– Штоб им ни дна, ни покрывки!..

– У, ироды, змеиное отродье!..

Поп. И вот, братие, это скопище злодейское пришло и к нам. Пришла красная злодейская банда. И нам предстоят такие же горести, бедствия, ужасы: и голод, и всех обобрали бы, и всех замучили бы.

Сергеев и лавочник возвращаются.

1-й крестьянин. Подводами дюже притесняли.

Старик. Каждый день, каждый день пятьдесят подвод с деревни – разве мысленно!

Старуха. Ау меня наседку, да в подполье полез.

Сергеев. Цыц, старая карга!.. Еще раз рот разявишь, зараз отведу и тебя туда же.

Старик. Молчи, старуха! И что у тебя не держится?

Поп. Ну, вот. Да это – цветики, а ягодки впереди. У кого получше изба, у того заберут...

Голос. Да я за свою избу горло ему зубами перегрызу.

Поп. Лошадей заберут, скот перережут. А

молодых хозяек да девушек возьмут себе наложницами...

Среди крестьян движение негодования.

Голоса:

– Вот паскуды!

– Кишки мало выпустить!..

Старуха. К Лушке все примазывался...

Сергеев. Ты опять?.. Иван Иваныч...

Луша. А я его мокрым полотенцем, аж при-сел...

Сергеев. Вот это – революционерка, надо ее отвести – поперек каждого слова батюшке вставляет.

Старик. Сделайте милость, ослобоните, больше не будет. Я ей дома наломаю шею.

Попадья. Да что вы, миряне, ведете себя как в трактире. Батюшка говорит, каждое слово надо ценить, а вы тут шум да разговоры. Вы, как в церкви, должны слушать, каждое слово запоминать отца духовного.

Глухой, далекий орудийный выстрел.

Поп. Братие, тяжкие, позорные времена переживает святая Русь, но уже возгорается заря освобождения от насильников, от злодеев, от кровопийц, прелюбодеев, от смердящих

большевиков; восстает христоролюбивое воинство верных сынов церкви. С молитвой и крестом святое воинство гонит банды большевиков, и злодеи в ужасе и тоске бегут, как побитые собаки. Но, убегая, оборачиваются и кусают. Вы видели, что они сделали с нашим храмом Божиим: проломил купол снарядами и засыпали святые иконы и алтарь известкой, кирпичами и мусором...

Голоса:

– О господи боже мой!

– Изверги рода человеческого...

– Царица небесная, страсти-то!..

Однорукий. Кубыть с энтой стороны от белых вдарили-то в купол. Красные суды отступали, а энти оттеда, – ночью-то не видать...

Сергеев. Иван Иваныч, опять революционер, надыть забрать.

Попадья. Да что вы тут, право, базар завели! Не можете к сану священническому с уважением и вниманием. Это чистое богохульство.

Однорукий. Да я чево, я ничево, я – безрукий.

Лавочник. Граждане, помолчите. Надо же

порядок... После батюшки, кто захочет, выходи и высказывай все злодеяния большевиков.

Поп. Братие!.. Оглянулся на нас господь, пожалел наших младенцев невинных, наши труды святые, наслал ужас и страх на злодейские банды большевиков. С искаженными лицами бежали они, бросая преступное оружие. Воздадим же хвалу всевышнему. Возблагодарим усердно царя небесного за его неизреченную милость к нам, недостойным. Сейчас пусть выскажется каждый о злодеяниях безбожных разбойников, а затем отслужим молебен с окроплением о даровании победы христоробивому православному белогвардейскому воинству.

Поп что-то говорит дьячку; дьячок готовит и раздувает кадило. Снова далекий выстрел из орудия.

Лавочник. Граждане, жили мы спокойно, мирно годы, десятки годов и никакого несчастья не знали. Жили, как надо: работали, трудились, и храм божий у нас был. Одним словом – в поте лица. Ничего мы себе не думали и не помышляли, а как надо. А тут, как снег

на голову, большевики. Да это что ж, разбой... Зараз ко мне в лавку: «Отворяй анбар». Я говорю: «Ключи потерял». – «А-а, потерял...» Зараз лом, ломом пробой долой. Влезли и все вытащили. Граждане, для вас же приготовил. Мне ничего себе не надо. Как в чем есть, так в том и пошел. Ну, знаю, народ бедствует. Не щадя живота своего, приготовил, – там ситчику, там керосинцу трошечки, там гвоздишек трошечки. Сами знаете, достать негде, народ бедствует.

Голос. Чижало, мочи нету.

Лавочник. ...народ бедствует, нуждается. Дай, думаю, сколько ни то помогу. Мне ничего не надо. Как есть в чем...

Иван Посный. Покорно благодарим, Иван Иваныч.

Голос. Без тебе хочь ложись да помирай.

Лавочник. Хорошо, пущай каждый сполняет свой труд. Хрестьянин пашет и проливает свой пот. Чеботарь пущай нас обувает, а наш брат, который по торговой части, штоб все доставил хрестьянину, што ему требуется. Легко ли, дни, ночи не спишь, как бы добыть то да се, – ситчику, керосинчику, мыльца.

Знаю, почитай голые ходят православные. А теперича какие времена, сами знаете.

Голоса:

– Дочиста обносились...

– Пеленки нету, ребеночка завернуть не во что.

– Босые и голые.

Лавочник. Я то и говорю. А тут явились, анбар разбили: «Не имеешь правое торговать». Как так? Я – православный, каждый год говею. Вы заберете, а я чем оправдаю православных? Ежели я не буду добывать, куды сунутся, хто заботу возьмет? Расшибить легко, а ты построй.

Голоса. Верно!

2-й голос. Изба сторит, моргнуть не успеешь, а поставить ее – три года тяни лямку.

Лавочник. А как было прежде, когда царь-батюшка правил? Всего было вдоволь – и людям и скотине. Анбары полны завалены. На базарах коров, лошадей, овец. А в лавках чево хочешь: и керосину, и ситцу, и пряников, и сукна, какого желательно, и железа бери – не хочу. А ноне?!

Голоса:

– Правильно!..

– Верно!..

– Без керосину-то поперед курей ложимся.

– Лежишь-лежишь, инда все бока пролежишь.

– И ночь длинная кажет, особливо зимою, – конца-краю нету.

Лавочник. А все отчего? Все оттого – большевик пошел по Расее. А большевик, одно слово, разбой делает, грабит, режет, убивает. Вон нашу церковь рушить хотел, да не успел, кунпол только пробил, – отогнали. А сколько годов мы собирали на построение нашего храма!

Глухие выстрелы из орудий.

Иван Посный. Я етто молодой был, когда зачали собирать.

Лавочник. Я уж не считаю, сколько своих жертвовал, без счету.

1-й крестьянин. Ты – жертвователь.

1-я баба. Благодетель.

Однорукий. Тоже – много и разворовали сбиратели.

Иван Посный. Да ты видал?

Коноводов. Как сбиратель, так дом под же-

лезом.

Лавочник. Так вот, православные христиане, то и говорю, всем миром, всем народом, подымайся, хто с вилами, хто с косой, а хто и дубок сруби покрепше и бей их, иде ни заприметишь, бей большевиков, бей разбойников, бей кровопивцев-татей!.. Спасай Расею! Не дай им спуску. Так на том и постановляем...

Снова далекие вздрагивающие орудийные удары; среди крестьян легкое движение тревоги.

Сергеев. Братцы и граждане и благодетели мои! Был я счастливой жизни человек. И также у моего папаши колбасная заведение была, – а там и чайная, и языковая, и фисташковая, и копченая, и какая только душеньке угодно колбаса. Бывало, запрягешь тройку, сани ковром, колбасы наберешь да с девушками кататься. А папаша мой праведными трудами... не только весь город, но и из других городов приезжали, потому первый сорт колбаса. Опять же тридцать человек рабочих кормились округ нашего дела. Куда же теперь им? На мостовую? С голоду сдыхать? После такой счастливой жизни приходят большеви-

ки. Здравствуйте! Зараз ключи у папаши и заперли заведение. Как так? Ваш папаша, говорят, буржуй! Нет, говорю, это ошибочное предложение. Позвольте узнать, который разбойник, а который буржуй? Разбойник, который убивает, вот это и есть самый большевик. Ну, забрали они у папаши ключи, а меня в Красную Армию забрали. Кончилась наша счастливая жизнь. Но я так себе положил: нешто я буду с святотатцами из одной чашки, которые решили меня не только счастливой жизни, но и наследства папашиного? Нет, думаю, лучше я буду голодать, холодать, но пойду против святотатцев Российской империи. Разбойники Российской империи, убийцы, святотатцы есть большевики. И я на них поднимаю оружие. И всех вас, трудолюбивые граждане, очень даже прошу уничтожить их, как самую закоренелую змею, – посади ее за пазуху, она тебя тяпнет. На этом вас благодарю!

Поп. Вознесем наши...

В дверях показываются Павел, Микеша, 1-й, 2-й, 3-й красноармейцы. У Павла перевязана раненая голова, и на повязке запеклась просачивающаяся кровь. У Микеша на перевязи левая

раненая рука. Их не замечают. Они стоят, слушают.

Поп. ...молитвы всевышнему о даровании христоролюбивому белогвардейскому воинству победы и одоления на врага и супостата... Ионыч, дай епитрахиль. (Просовывает в нее голову.) Миром господу помолимся!.. (Берет кадило.)

Дьячок (гнусаво). Господи помилуй!..

Входит 2-й крестьянин.

Павел. Вот где черное воронье собралось!

Все ахнули. Сергеев кинулся вылезать в окно. Лавочник полез между крестьянами к двери. Поп стал стаскивать епитрахиль.

1-я баба. Батюшки!.. Опять они!..

2-я баба. Царица небесная!..

Луша (толкает Марьяну). И скуластый тут. Голова увязана.

Марьяна порывисто делает движение к Павлу, но сдерживает себя и становится в сторонке.

1-й красноармеец и Микеша (стаскивают с окна Сергеева). Постой, постой, ты куда же?.. Ай не рад нам?..

Сергеев (в ужасе). Братцы!.. товарищи... я...

я... ни в чем не виноват... я тут хотел...

Красноармеец перехватывает у дверей лавочника.

Павел (насмешливо *Сергееву*). Хотел удрать из роты, да не вышло.

Сергеев (злобно). Это они (показывает на *попа и лавочника*) народ тут смутьянили. Противу власти советской подымали. Молебны за избавление от красноармейцев служили...

1-й красноармеец. А ты помогал.

Сергеев. Братцы, ненароком попал сюда... для пользы службы... Хотел накрыть, которые народ смущают, белогвардейцам служат... А-а, думаю, вот вы где собрались, черносотенцы!.. Уж я знал, что наши вернутся... Прямо, думаю, арестую всех – и *попа и лавочника*, наши придут, а я из рук в руки...

Павел. Ведите его.

Сергеев. Господин отделенный!.. (*Бросается на колени.*) Я за революцию... голову положу... у папаши которое состояние, все отдам...

Павел. Берите его, чего смотрите!

1-й и 2-й красноармейцы. Ну, иди, што ль! Што ж, тебя на руках несть?

Сергеев (*ползет на коленях, хватая за са-*

поги). Братцы, товарищи... родные мои...

1-й красноармеец. Какие мы тебе товарищи... И-иди.

Уводят.

Ивлевна (*плачет, сморкается*). Какова хавалера увели!

Павел (*к попу*). А ты чево тут?

Поп (*заикаясь*). О да... да... да... ро... ва... нии христоролюбивому красноармейскому священному советскому воинству... о... да... рованнии победы и одолении врага и супостата.

Павел. Вот, вот, по вашим святым молитвам мы белогвардейцев вдребезги расколотили...

Поп. Позвольте пастве моей слово сказать. Братие! По нашим молитвам господь внял молению нашему и даровал победу христоролюбивому советскому войску, победу над злодеями белогвардейцами. Братие, мы должны...

Крестьяне почесывают в затылках, качают головами, крикают.

2-й крестьянин. Эк ево!

1-й крестьянин. Как же оно теперича?!

3-й крестьянин. Чево же это он?!

Павел (*попу*). Ну, ладно, обожди. (*Лавочни-*

ку.) А ты чево тут? Тоже моления рассылал?

Лавочник. Мы, стало быть... страшно стало... дюже стрельба, ну, сбились все в кучу... на миру и смерть красна... Батюшку пригласили... чтоб ежели помереть, так с молитвой... Опять же белогвардейские разбойники не людей, так хочь бога побоятся. А они в церковь стали лупить, кунпол проломил... Ишь, почитай вся деревня сбеглась с малыми детьми спастись от кровопийцев белогвардейцев...

2-й красноармеец. Запел волк козленком.

Смех.

Голос. Верно!

Поп. Позвольте, господин начальник, это недоразумение... Я за советскую власть... с самого рождения... В евангелии сказано: «Несть власти, аще не от бога».

Павел. Ну, ладно.

Поп (*торопливо*). Нет, постойте.

Попадья (*плача*). Сделайте одолжение. Мы вас очень просим... Мы вам будем очень благодарны... Вареньица пришлем малинового... очень хорошо сварено...

Поп. В евангелии сказано: «Легче верблю-

ду сквозь игольное ушко пройти, чем богатому в царство небесное внити...» А большевики от богатых раздают имение бедным, приготавливают для всех царство небесное... Става тебе господи!.. Сподобил мя еси (*отчаянно крестится*) узрети благодати твоея, ибо приходит царствие твое. Не будет нищих, которые с голоду мрут в тяжких страданиях и трудах. Братие, сколько раз я вам говорил об этом в проповеди... Ныне отпускаеши (*все так же отчаянно крестится*) раба твоего с миром.

Микеша. Ну, будя, поп, отмолил свое, пора и честь знать.

Поп. Братие, освободится народ от фабрикантов, от помещиков; вот (*показывает кругом*), – ведь это все на ваши святые труды, на ваш кровавый пот: и зеркала, и картины, и мебель. Избавитесь и от торговцев, которые, как кровопийцы, сосут вас...

Лавочник. Да ты што замолол?! Господин начальник, он тут молебны белой гвардии служил, а теперя честных людей порочит...

Поп. Господин начальник, да он первый меня сюда пригласил и народ созвал сюда...

Лавочник. А помост кто мостить хотел?..

Поп. Да у тебя под стогом восемьсот аршин ситцу спрятано, а под вербой в конюшне бочка керосину закопана.

Коноводов (*с присвистом*). Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои!..

1-й крестьянин. А нам хунт по сто сорок рублей продает.

2-й крестьянин. Передрались.

Баба. О господи Иисусе!..

Лавочник. Ну, ежели так, так слушайте, православные. Бывалыча, поп вам проповеди, молебны с акафистами, а ко мне придет, нальется водкой, подберет рясу да так-то отхватывает вприсядку: «Един бог, говорит, без греха...»

Поп (*перебивая*). Господин начальник, не позволяйте ему богохульствовать....

Павел делает знак попу, чтобы молчал.

Лавочник. ...ды все приговаривает: «Снами бог, его святая сила» – а сам все этак боком к бабам, к бабам...

Попадья. Врешь, мироед, процентщик проклятый!

Павел. Молчать!..

Среди крестьян движение.

Голоса:

– Это чаво ж такое?!

– Э-эх ты!..

Одноногий. Потрошат один другова.

Смех.

Павел (*красноармейцам, показывая на по-па*). Берите его.

Поп. Господин начальник, позвольте... одну минуточку.

Попадья (*плачет*). Не отрывайте от семьи...

Поп. Коли так... хорошо... все чистосердечно... дайте покаяться... Братие, вы у меня исповедовались, теперь я у вас исповедуюсь... Братие!..

3-й красноармеец (*берет под руку попа*)*t* Пойдем.

Поп (*отмахивается*). Братие, выслушайте меня.

2-й крестьянин. Пуццай скажет.

1-й крестьянин. Душе полегчает.

Голоса (*дружно*). Ничаво... пуццай... пуццай говорит... не трожь...

Поп. Братие, обманывал, обманывал я

всех... обманывал... всю жизнь обкрадывал вас духовно... Сам служу, сам чашу держу, а сам думаю: вино там прасковейское, да еще поддельное, из черники, да белый хлеб... просвирня Васса пекла,

Среди крестьян движение.

а у просвирни-то середний... Ванятка... мой... мой грех...

Попадья (*подавленно, зажимая платком рот сквозь задушенные слезы*). Так вот что!.. Сан священнический, а он по бабам да по девкам... Какая пакость! Развратник!.. Жизнь заел... Не хотела выходить, – уговорили... (*Азартно.*) Врешь, что у просвирни один! У тебя на каждом перекрестке по пяти... (*Рыдает.*)

Поп. Таинство, а мы с дьяконом в алтаре... за волосья друг дружку таскаем... кружку церковную не поделим...

2-й крестьянин. Известно, выпимши.

Поп. Каюсь... семья... сам десятый... Меня-то не спросились, мальчишкой в духовное отдали... плакал, бился, не хотел в попы... отдали... Рясу-то надевал, как резаный боров ревел... Сладко ли молодому в попы?.. Знал, надеваю рясу, чтоб всю жизнь морочить лю-

дей... Всю жизнь!.. А там пошло, привык, как за колесом побежал... Один я, что ли, – все попы так!.. Ведь некуда вырваться, как в хомуте... Заступитесь!..

2-й крестьянин. Нашей силы тут нету.

Голоса. Ничаво не поделаешь.

Павел (сердито). Берите его, ведите отсюда...

1-й и 2-й красноармейцы подходят к попу.

Поп. Дайте хоть благословить христоробивое красноармейское воинство.

Микеша. Тоже этим самым крестом благословлял сдыхать за царя, за богачей, за ихних шлюх...

Однорукий. Во (*хлопает по зашитому рукаву*), пустой рукав...

Одноногий. А я на чужой ноге...

Коноводов. А я – жаних...

Луша хохочет в рукав.

1-й крестьянин. У меня сын убитый.

2-й крестьянин. У меня двое.

3-й крестьянин. У меня с ума сшел.

Старуха. Наш Степушка... (*плачет*) третий год... лошаку... скоро запрягать... а я все жду, все жду... вот с котомочкой из-за лесочку...

(Плачет; бабы плачут.) А ево все нету!

Поп. Братцы, товарищи! Да ведь меня заставляли... Не откажешься, а то в тюрьму, в ссылку... А как же вы при царе сами за помещика, за фабриканта кололи друг дружку штыками? Или это вам не простится никогда?

1-й красноармеец. Через тебя же и кололи. Ты же темнил глаза.

Павел. Разница. Рабочий, крестьянин стреляли один в другого, кололи... так он придет домой, ему за это нищета, голод,дохнуть нет мочи. А ты слепил народ, тебе за это кресты, камилавки, доход. Мы за то, что подымали руку брат на брата, пропадали в несчастье, а ты за то, что брата своего держал во тьме, за то, что врал ему, катался как сыр в масле.

1-й красноармеец. Пойдем!

Поп (кричит). Постойте, я не все сказал!.. Какие там мощи!.. Соломой набиты... чучелы!..

1-й красноармеец. Распоясался поп.

Поп. Братцы!.. товарищи!.. пролетарии всех стран...

Коноводов. Ходи хата, ходи печь!..

1-й красноармеец. Пойдем, поп, будя тебе. В лагере поработаешь, меньше языком трепать будешь.

Поп. Дайте молебен отслужить... за большевиков... с акафистом... Ионыч, подай епитрахиль...

Попа уводят.

2-й крестьянин. Вывернулся поп наизнанку.

Попадья (*плачет*). Отпустите батюшку... кто же нас содержать будет?.. Ведь семейство...

Павел машет рукой, попадья уходит.

Павел. Пусть поработает. (*Указывает на лавочника*). Забирайте и этого.

Лавочник. А меня за што? Ты спреси народ, али я притеснял, али обидел кого. Пуцай скажут. Слышь, Иван, али забыл, на лошадь тебе давал?..

Иван Посный. Верно, чаво там. Кабы не ты, в лоск бы...

1-й крестьянин. Чаво зря клепать – выручал народ.

3-й крестьянин. Когда чижало, и сбавит копеечку.

Старик. Своими трудами, честно, благо-родно нажил, а не то што там убил, али ограбил, али украл. Потому порядок у него в хозяйстве.

Лавочник. Ну, во, за што же мне отвечать за всех? Нехватка какая али погорит хто – к кому? К Ивану Иванычу. Скотина упадет, к кому? К Ивану Иванычу. Вас много, я один. Пятью хлебами вас не укормишь. А хочь кому был отказ? Никому отказу не было. А в голод-ный год сколько народу кормил?..

Коноводов. Не покормишь, не поедешь.

Среди крестьян движение.

3-й крестьянин. Голодный год вот иде у нас сидит (*хлопает себя по затылку*).

2-й крестьянин. С голодного году и взялся.

1-я баба. С тово и распух.

Однорукий. Кабы не голодный год, сарай под железой не покрыл бы.

Одноногий. Да другой дом выстроил.

1-й крестьянин. Да десять лошадей завел.

Лавочник. Чево чужое добро считаете? А не считаете, как ночи не спал, от лихих лю-дей караулил, как голова лопалась, все уду-мывал, как лучче и как дешевше вам товар

образовать.

3-й красноармеец. Ну, ладно, вот зараз отведем, там видно будет.

Лавочник. Товарищи... братцы... заступитесь! Што же это?

Коноводов. Живоглот...

Однорукий. У меня за долг последнюю лошадь описал, не посмотрел, что с одной рукой, хочь сдыхать мне...

2-й крестьянин. У меня последние пять овчишек...

Коноводов. Всех обгладывал.

Однорукий. Всех облегчал, по пяти шкур спутал...

Одноногий. Налегке теперь бегаем.

Луша (*хохочет*). На одной ноге...

Коноводов. Одно слово – кулак.

Лавочник. Коли на то пошло, али я один? На моем месте всяк из вас – то же. Кто себе враг?

Иван Посный. Знамо, сам себе ништо не враг.

Лавочник. Ну, то-то. Откеда же я вышел? Из вас же и вышел, вы же меня породили. Ежели я – кулак, стало быть в каждом из вас

кулак, только што случай не подошел. За што же меня одново?

Коноводов. Нам-то случай не подошел, а ты один покеда с нас шкуры сымаешь.

Микеша и 1-й красноармеец берут лавочника, ведут к дверям, он упирается.

Лавочник. Ребята... постойте... все отдам... ситцу восемьсот аршин... керосину бочку... бери, православные, бери без копейки... все... только ослобоните... господин начальник...

Лавочника уводят.

1-й крестьянин. Теперь – берите! А то из-под полы продавал по кружечке. Сто сорок рублей кружка, а там хунта нету.

2-я баба. А ситец по сто двадцать рублей аршин, ды яиц, ды свинины ему принеси окромя.

2-й крестьянин. Обиратель.

3-й крестьянин. Набрехали с три короба.

1-й крестьянин. Сами признались.

Однорукий. Целый век морочил народ.

Одноногий. А мы-то распустим уши и все к пузу его под благословение прикладываемся.

Павел. Теперь, товарищи, как же: под белых или под красных?

Старик. Мы всякую власть признаем, которая над нами.

Павел. Эх, недотепы!.. Вам все одно, по шее вам насыплют или свой же брат рабочий вам власть несет. Ни лица, ни изнанки. На свалку только годитесь.

Голоса. Верно! Правильно!

Одноногий. За советскую!

Коноводов. К советской власти что есть духу, на всех четырех ногах...

Смех.

Однорукий. С одной рукой куда же притутиться, как не к советской...

Козел (*длинный, худой, нескладный старик с хитрой седенькой козлиной бородкой и смеющимися в морщинах глазами*). Сыми ты с нас чижолость. Во, заели нас едуны, опутали нас паутинники, кровушку из нас пили сосуны, а нам не видать. Скрозь глядим, не видим, глазами болтаем. Сыми ты паутину с нас, штоб глядеть нам в глаз, а не в полглаза. Помещик ли, лавочник ли, поп ли сомуститель, красный ли, – не разберемся мы, хресьянские дети. Ну, ты нам объясни, – советска власть. Хорошо. В каком она разе: хто ды хто

на ком будет ездить?

Павел. Эх, сивые! Вам в рот, а вы задом во-ротите.

Козел (*хитро усмехаясь, по-козлиному, торпливо выговаривая слова*). Так, так, так, батюшка.

Павел. Прежде откуда шла власть? Из губернии присылали. А теперь говорят: «Да управляйтесь сами, дьяволы! Ну, сами, черт бы вас разодрал!» Понял ты ай нет?!

Козел (*кланяется в такт словам*). Как не понять, как не понять? Так, так, батюшка...

Павел. Ну, вот и выбирайте себе совет.

Козел (*кланяется*). Так, так, батюшка, понял... Советская власть, штоб всем лучше было...

Павел. Врешь, старый хрен, безбожно врешь! Советская власть ни под каким видом не хочет, чтоб всем лучше было. А только чтоб лучше было бедным, трудящимся, рабочим да крестьянам, а кулакам, помещикам, фабрикантам, банкирам, как ни мога, чтоб хуже было. Да чтоб не у нас только в России, а по всему свету.

Голоса:

– Верно!

– Правильно!

– Бог труды любит!

Козел (*все кланяется*). Так, так, так... верно... правильно, как в аптеке! (*Хитро ухмыляется.*) Ну, теперича дозволю ешшо одно удостоверение успросить нам, дуракам. Ты сказываешь, советска власть по всему свету лучше, А к нам пришли красные: «Давай подводы, давай лошадей, давай хлеба!» Пришли белые: «Давай лошадей, давай подводы, давай хлеба!» Опять же пришли белые: ни сахару, ни ситчику, ни керосинцу. Пришли красные: опять же – ни ситцу, ни железа и с курями спать ложимся. И выходит, тетка твоя кукареку, што красный, што белый – одна цана. А?!

Голоса:

– Так, так!

– Верно! Подводами замучили!..

– С курями ложимся...

Павел. Эх ты, драная голова, мочало лыковое, дубленый баран!

Козел (*кивает головой, усмехаясь, торопливо, в такт словам, кланяется*). Так, так, так, батюшка, верно!.. Так, так, так!..

Павел. Раскорячь мозги. Любили вы помещика?

Козел. Как собака палку.

Павел. Белые пришли, где помещик был?

Голоса (*дружно показывая вокруг*). В этих самых хоромах, – где же ему ешшо?

Павел. Красные пришли, где помещик?

Голоса. Стреканул, только пыль закрутилась. Пятками засверкал!

Павел. Белые пришли, чья земля была?

Голоса:

– Чья больше – помещшикова.

– Драл с нас аренду, как с освежеванного барана.

Павел. Красные пришли, чья земля?

Веселый смех.

1-й крестьянин. Теперича наша, чья больше.

2-й крестьянин. И мельница и дома эти – все наше.

Павел. Ну, а подводы у вас белые не брали?

Голоса. Как не брать, брали! Замучили подводами!

Павел. И мы берем. Только мы этими под-

водами гоним помещика от вас, а они этими подводами гонят помещика на вас.

Голоса (*оживленный смех*). Знамо дело! Дурак лишь этого не докумекает. Чаво там... правильно... Свои головы кладете за нас, за дураков...

Козел. А... тетка твоя кукареку!.. (*Заразительно смеется беззубым ртом.*) Вот верно! Вот парень молодой!.. Вот ерой гусака оправдал!..

Бабы все время шушукуются.

1-я баба (*подступая к Павлу*). Отдавай нам попа!.. **Бабы** (*наступая, все*). Отдавай нашего попа!.. **1-я баба**. Отдай нам батюшку!.. **2-я баба**. Слышь, батюшку нашего подавай!.. **Павел**. Да на што он вам сдался? **2-я баба**. Нам без попа никак невозможно... **1-я баба**. Без попа все одно што голая ходишь... **3-я баба**. Без попа – хто младенчиков в купель кунать будет...

2-я баба. Ды отпевать...

1-я баба. Отдавай попа!..

Бабы (*все*). Отдавай попа!.. Отдавай попа!..

Крестьяне смеются.

Коноводов. Бабы взбунтовались.

Однорукий. Захотели попа, как парного

молока.

Бабы (*азартно*). Отдавай попа, а то глаза те выдерем все!..

Коноводов. Да ведь он брешет, поп-то.

Павел. Али не слыхали, как сейчас признавался?

Бабы. Шут с им. В купель-то ребеночка кунает, хучь и брешет, да в купель кунает, – ну и ладно.

Павел. Да ведь если в одном брешет, стало и в другом брешет. Слыхали, – сам ни во што не верит.

1-я баба. Без надобности. А ребеночек померет, – отпоет.

2-я баба. Опять же грехи к нему отнесешь. А то как с грехами ходить – болтаются на тебе, как насохлая грязь на подоле.

Ивлевна. С грехами ходить срамотно.

Бабы (*все*). Отдавай попа!

Крестьяне (*смеются*). Эх, бабы!

1-й крестьянин. Их опасайся, а то исделают...

Бабы (*азартно*). Отдавай, отдавай попа!

Павел. Ну, стой, бабы, замолчите...

Смолкают.

Этого попа вам не отдам. А ежели вам так нужно, так вам другого брехунца пришлют.

Бабы (*дружно*). Ды нам все едино!..

1-я баба. Абы младенцев кунал в купель...

2-я баба. Да отпевал: летом мрут андельские душки.

Павел. Так кончили, товарищи. Завтра об эту пору опять собрание. А теперь можно и расходиться.

Все, толпясь, выходят. Павел видит стоящую в стороне Марьяну; она смотрит на него; он подходит к ней, и они стоят, не спуская глаз друг с друга.

Занавес.

Действие четвертое

Внутренность той же избы. Марьяна сеет муку на хлебы. Микеша зашивает гимнастерку. Одна рука забинтована, 1-й и 2-й красноармейцы чистят винтовки. Два красноармейца и Микеша заняты делом, задумчиво вполголоса поют:

*Во субботу, день ненастный,
Нельзя, нельзя в поле работать.
Нельзя, нельзя в полюшке работать,
Ни боронить,
Ни боронить, ни пахать...*

Микеша. Нынче в бане здорово выбанился (*встряхивает гимнастерку*), а то вошь заела, чисто весь расчесался.

1-й красноармеец. Трошки передохнули тут.

2-й красноармеец. Ныне выступим, пойдем вперед, про передышку забудь.

Микеша. На правом фланге его здорово расколошматили. С донесением бегал. Мать честна! В овраге, за оврагом – все он лежит.

Лошадей навалено.

2-й красноармеец. Лошадей жалко. У которой вся внутренность выпущена, а она все встать хочет, все голову подымает.

1-й красноармеец. Винтовки до сего дня по всему полю собирали.

Микеша (вполголоса поет): «Во субботу...»

2-й красноармеец. У нас страшно было. Бил из орудий без передыху. Бил, бил, деваться некуда, засыпает. Потом замолчал, и сразу – казаки. Туча их, аж земля дрожит, топот лошадиный. А казаки: «га-а-а!..» Вой, свету божьего не видать. Ближе да ближе. А по ним, как вода, так и блеснет солнце по шашкам. Ажио мурашки. У нас первая шеренга легла, вторая с колена, третья с руки. Как зачали пачками, как зачали пулеметы, как зачали они через головы, – люди, лошади, ничего не разберешь, в куче все ворочается. Накосили, несть числа.

1-й красноармеец. Калмыков у них много.

Входит 3-й красноармеец.

3-й красноармеец. Отделенный тут?

Микеша (поет). «Пойдем, девки, пойдем, парни, во зеленый, во зеленый лес гулять...»

3-й красноармеец. Оглохли, што ль?

1-й красноармеец. К ротному пошел.

3-й красноармеец уходит.

2-й красноармеец. Лютые косоглазые.

1-й красноармеец. Он лютой, покеда на лошади, а снял его с лошади – овца.

Микеша. И не чуял, как клюнуло. Сразу винтовку сронил. Нагнулся поднять, а рука не берет. Что такое? Я правой перехватил, глядь – а на левой с пальцев кровь капит. И тут почуял – больно стало. Подхватил здоровой, побежал перевязываться. Бегу, лошадь лежит, голову подымает, шея разворочена, ды кровь фонтаном прямо на калмычина, кровьюто. А он привалился, из живота кишки вывалились. Хотел приколоть, чтоб не мучился, да неловко одной рукой. А он глядит на меня, все языком по губам, запеклись, да по-русски мне: «Бачка... товарищ... воды... трошки...» Вынул флягу, дал, он глотнул, отвалился и помер. И лошадь навалилась головой на него ды сдохла, а я побег на пункт.

2-й красноармеец. Теперь флягу брось.

Микеша. Чево?

2-й красноармеец. Маханину едят. Чево

ни сдохнет, все сожрут.

Микеша. Пустяковину затеял. Може, святой водицей ополоснуть?

1-й красноармеец и Микеша берут винтовки, уходят.

2-й красноармеец. Чевой-то молодая ку-быть скучная.

Марьяна. А тебе горе?

2-й красноармеец. Нет, так это, между прочим. Уходим ноне мы.

Марьяна (*тревожно*). Куда? Далече?

2-й красноармеец. Мы ево разбили, теперь правым плечом заходить будем, чтоб сбить ево совсем к реке. (*Уходит.*)

Павел входит, голова забинтована.

Марьяна (*рванулась к нему*). Пашенька... (*Помолчав.*) Уходите?!

Павел. Уходим, Марьянушка, уходим. (*Берет ее за руки.*) Приказ пришел.

Марьяна. Останусь одна теперича... одна...

Павел. Марьянушка, что ты со мной сделала! (*Крепко обнимает.*) Любишь?

Марьяна (*обнимает*). Родной мой!.. Золотой мой!.. Как глянула тогда, голова увязана, чуть не упала. Чай, больно тебе?

Павел. Нет, ничего. Пойдешь за меня?

Марьяна. Пойду, родимый, пойду, касатик. Ведь ты один у меня. Пашенька, одна теперь буду, одна как в лесу, – не с кем слова сказать. Свекор – энтот одно: хозяйство. Ему абы все работали да прибыль в хозяйстве. Свекровь поедом ест. Лушка без памяти замуж хочет. Одна я, Пашенька. *(Обняв его, спрятала лицо на груди.)* Уйдешь ты... уйдешь ты – и не с кем слова... одна... одинешенька...

Павел. Ежели бы ты письма мне писала, Марьянушка, с оказией. Будут обозы переходить через вашу деревню, дай – передадут.

Марьяна. Да ведь неграмотная я, Пашенька. А к кому пойдешь, чтоб написали? Вся деревня зараз узнает, места не будет, со свету сживут. Кабы грамоте знала,

Павел. А ты начхай на них. Сбегай к учительше. Пускай тебя выучит.

Марьяна. Сбегаю, сбегаю, соколик. Вот как буду учиться, все глаза прогляжу.

Павел. Эх, горлица моя, што ж, думаешь, все так и будет? И на нашей улице будет праздник, выпадет и нам счастье. Будешь ждать? Не забудешь?

Марьяна. Али забуду!.. Прикипелся ты к самому сердцу... Сколько жить буду, буду помнить...

Павел. Ненаглядная моя, солнышко... Ежели не – убьют, ворочусь, пойдешь за меня?

Марьяна. Ворочайся, соколик, ждать буду с утра до ночи и всю-то ноченьку до утра. Сама не своя хожу. Тебя не вижу, все-то из рук валится. *(Обнявшись, садятся на скамью.)*

Павел. Как увидал тебя в первый раз, стукнуло сердце, – почувал, не забуду уж тебя. Эх, думаю, никогда она меня любить не станет.

Марьяна. А мне, Пашенька, как увидала вас всех в первый раз, все одно было, што люди, што пеньки. А потом стал ты говорить, стал говорить, прислухалась я: правду ты говоришь, заступаешься за сырых да убогих, никого не боишься. Словами ты меня, Пашенька, взял. Глаза мне разул.

Павел. Не признавался я спервоначалу сам себе, а только куда ни пойдешь: в обоз ли, к ротному, в наряд ли – все ты у меня в думках. И рад про тебя не думать, да не оттонишь. В бою смерть кругом летает, ни об чем некогда думать, а ты в сердце притулилась, в уголоч-

ке, и сидишь.

Молчание.

Марьяна. Матерю твою вспоминаю, как благословляла тебя. Перед смертью правду увидала. Меня, Пашенька, некому было благословить. Все – кроты слепые, все в одно трубили.

Павел. Слышь, Марьяна, судьба не выдаст, свинья не съест. Ворочусь, – а чую, ворочусь, – будет у нас счастье. У всех будет счастье, Марьяна.

За дверьми голоса.

Ну, прощай, родная. *(Обнимает.)* Эх, судьба наша счастливая! Трудно, ой, как трудно, ну зато какое счастье идет! Ну, жди, невдолге буду, *(Обнимает, уходит.)*

Марьяна, не отрываясь, смотрит в окно; на улице говор. Несколько в отдалении команда: «Рота, смирно!» Все смолкло. Команда: «По отделениям, левое плечо, шагом марш!» Глухой гул отбиваемых шагов. Хор грянул: «Смело, товарищи, в ногу». Пение замирает вдали. Некоторое время слышен гул шагов, говор колес удаляющегося обоза, и они замирают.

Марьяна. Ушли!..

Входит старуха, садится за прялку.

Луша *(на улице).* Все жанихи ушли. А там, гляди, перебьют сколько.

Старик *(входит).* Ушла армия. Опять сена сколько потравили. *(Роется под лавкой.)* Иде тут ремень был? Лошадей дюже загоняли. Каждый день сто подвод им подай. Разве мысленно! *(Достает ремень, садится, починяет шлею.)*

Старуха. А мне квочку все жалко – как вспо-мню, так сердце зайдет. *(Кричит в окно.)* Лушка!.. Лушка!.. Лушка!..

Ивлевна *(входит).* Здорово дневали! *(Садится.)* Ушли наши хавалеры. Остались мы, сироты неприкаянные.

Старик. Сироты!.. Самогонки по сиротству своему не нахлебались вдоволь. Жалко, што ль?

Ивлевна. Не видють, как сирота плачет, а видють, как скачет.

Старик. Сирота-а!.. Не пролезет в ворота.

Ивлевна. Жалко моего хавалера. *(Утирает слезы.)* Хочь он и надсмеялся над моей релегией, а хороший кавалер был, с ухваткой.

Старуха. Жалко человека, ну только зачем он мою наседку загубил, прости, господи, ему прегрешения, анделы господни. Надоть по-дать за него в церковь.

Старик. Кому подавать-то будешь? Поп на работах в лагерях, брюхо спущает, допрыгался.

Старуха. И батюшку!.. *(Плачет.)* Сану не побоялись, идолы оглашенные. *(Кричит.)* Лушка!.. Лушка!..

Луша *(на улице, огрызаясь).* Ну, чево там?

Старуха. Цыплята все ли?

Луша *(на улице).* Одново коршун унес.

Старуха. А штоб те ни дна ни покрышки! Загубил наседку, теперя всех цыплят перетаскает коршун. Кол те осиновый, штоб ты перевернулся там!.. *(Кричит.)* Лушка! Лушка! За-раз загони цыплят в решето.

Луша *(на улице).* И так обойдутся.

Старуха. Отбилась от рук совсем девка. А все Красная Армия. Хочь бы ты ее, старик, за косу поводил.

Старик. Есть когда мне тут с вами воз-жаться. *(Уходит.)*

Ивлевна. Ну, прощайте, пойду.

Старуха. Постой, куды жа ты? Посиди.

Ивлевна (*садится*). Скушно што-то стало. До смерти боюсь хазалеров, а без них скушно. Всю жисть так. У господ прожила, ни тебе семьи, ни роду, ни племени.

Луша (*на улице поет, перевирая*).

*Нам ня нужна святого Чурила,
Нам ня нужна и царской чарток,
Вставай, подымайся, рабочий на-
род...*

Старуха (*кричит*). Лушка!.. Лушка!.. Ай сбесилась?! Ды што это басурманские песни играешь?.. Ай ума решилась?! Запей зараз святой водицей, – слышь, те говорю. На божнице, в посудинке трошки осталось, запей, – рот опоганила.

*Слышно, удаляясь, доносится Лушин голос:
«Нам ня нужна и царской чарток...»*

Старуха (*плачет*). Ума не приложу, чаво с девкой делать. Видала? И слушать не хочет.

Марьяна. Пущай себе поет. Никакого сраму в песне нету. Кабы срам в ней какой был, а то...

Старуха. Да уж ты-ы!.. Рассу-удишь!.. Об тебе и раки не шепчут. Ты у нас енерал.

Ивлевна. Я как у панов жила, так у нашего пана папаша был енерал, такой енерал, такой енерал! Всем енералам енерал. Брюхо здоровое, сам в еполетах, матушки мои!..

Луша *(на улице).* Господи, ды што такое! Ды откуда это. *(Не то хохочет, не то плачет.)* Ой-ей-ей, ай, родные мои!.. ай попритчилось... Ды откуда?! Родный ты мой!.. Маменька!.. батенька!.. Ды скорей жа!

Старуха. Ай загорелось? *(Бессмысленно бормочет.)* Господи Исусе... Господи Исусе! *(Все крестится дрожащей рукой.)* Господи Исусе!.. Господи Исусе!.. Близко ай далеко?.. Спаси и помилуй... Свят!.. свят!.. свят!.. Господь Саваоф!..

Ивлевна. Спаси и помилуй. *(Крестится.)*

Луша *(врывается в избу как сумасшедшая).* Ды чево вы сидите, ды скорей жа!.. Марьянка!.. Маменька!.. *(Бросается на шею то к той, то к другой.)* Ды хто пришел-то!..

В дверях стоит чернобородый, красивый, плохо одетый, истомленный Степан, сын стариков. Длинная палка: за спиной котомка.

Луша *(отчаянно визжит).* Батенька, батенька!.. Батенька!..

Убегает, и со двора слышны ее отчаянные крики: «Батенька!» Марьяна прислонилась к стене и замерла, белей стены.

Старуха (смотрит на Степана, не узнавая). Господи Иисусе... близко ай далеко горит-то?.. Господи Иисусе...

Степан. Маменька!.. (Кланяется ей в ноги.)

Старуха (в бесконечной радости бессмысленно бормочет, заикаясь). Сте... Степушка... Степушка... Степушка... сыночек... Степушка... (Бьется в судорожных рыданиях на его груди.) Степушка!..

Степан (плачет). Маменька!..

Старуха (захлебываясь). Ждала... сколько годов... за околицу... ждала... вот из лесочку выйдет... Степушка!..

Старик (вбегая с ведром). Иде горит?!

Степан, оторвавшись от матери, кланяется в ноги отцу.

Старик. Степан! Ты?! Степан... Откеля?! Степан... ай не ты?! (Обнимаются, оба плачут.)

Луша (бросается, обнимает Степана). Чаво ж про сестру-то забыл!.. А я тут трошки замуж не вышла...

Ивлевна. Ай не признаешь? Тетку-то Матрену забыл?.. *(Обнимаются.)*

Степан. Иде же Марьяна? *(Смотрит на нее. Та все стоит неподвижно, опираясь о стену.)* Здравствуй, богоданная супруга! *(Подходит к ней.)* Ай не рада?..

Старуха. Слезинки николи не сронила.

Степан подходит, обнимает Марьяну. Та все так же безжизненна.

Старуха. Все молчит, все молчит, хочь бы слезинку сронила...

Старик. Будя, старая. Работница твоя жена, каждому пожелаю.

Луша. Это она сомлела от радости. Как сказали впервой, што тебе убили, так она и окаменела, слова не добьешься... А у нас рыжие были... Фу, нет, красные, Красная Армия была!..

Старуха. Наседку у меня, Степушка, один извел, а теперича цыплят коршун таскает...

Старик. Да будя тебе, старая. Вы хочь покормите ево, с устатку, чай, поисть хотца.

Старуха. Господи, да што я за окаянная! Лушка, Марьянка, чаво же вы стоите, кобылы! Доставайте из печи, там осталось всего.

Давайте на стол. Ды самовар ставьте.

Луша и Марьяна ставят самовар, накрывают на стол. Сумерки густеют, всходит луна.

Старуха. Родный ты мой, сколько годов... Голодный, холодный, необогретый. *(Плачет у него на груди.)* Без матери-то, без роду-племени... некому об тебе заботушкой болеть... Чадушка моя... сколько годов... не чаяла... Кобыла ожеребилась – аккурат тебе уходить, а те-перича лошаку, почитай, три года, запрягать будем...

Степан. Маменька, да вы сядьте, не морите себя. *(Бережно сажает ее на лавку.)*

Старик. Дай ему, старуха, оправиться.

Старуха. Ничаво, ничаво... Може, ляжешь, сынок, отдохни, а я сготовлю чаво ни то...

Степан. Маменька, пуцай они, не трудите себя.

Старик. Садись, Степан, рассказывай.

Луша *(садясь у печки).* Ишь – борода. А уходил – чуть усики были.

Луша, Марьяна подают на стол ужин, потом самовар. Крестятся, садятся за стол. Только Марьяна все возится с посудой и около печки.

Ивлевна. Ну, прощайте, потить мне.

Старуха. Садись, садись, Ивлевна, не объ-
ишь.

Степан. Садись, тетка.

*Ивлевна крестится, садится. Принимаются
ужинать. В окнах набиваются ребятишки,
заглядывают, шушукуются, оттаскивают
друг друга. 1-й крестьянин и Иван Посный вхо-
дят, крестятся на образа.*

1-й крестьянин. Гость на гость, хозяину ра-
дость. Служивый прибыл. Доброго здоровья!
(Целуются трижды накрест со Степаном.)
Откеля и как?

Степан. Из германского плену.

Иван Посный. Ну, здравствуй, сынок! (Об-
нимаются.)

1-й крестьянин. А мы уж думали, тебе и в
живых нету.

Старуха. Ды уж мы не чаяли не гадали. Са-
дись, соседушка, с нами, чем бог послал.

1-й крестьянин. Ды... спасибо... мы, энто-
во... вечеряли...

Старуха. Ды садитесь, садитесь.

Старик. Чайку чашечку.

1-й крестьянин, Иван Посный садятся.

1-й крестьянин. Ну, как у немцев? Степан. У немцев – не ахти. Здорово нашего брата мучуть. В три погибели гнуть...

Входят 1-я и 2-я бабы.

1-я баба. 2-я баба. Здорово дневали!

Голоса. Доброго здоровья!

1-я баба. Степанушка, никак ты?!

Степан. Я же, я, я и есть, тетка Марья. *(Целуются.)*

1-я баба *(вытирает глаза, плачет).* Господи, ишь, пришел...

Иван Посный. С радости, што ль, плачешь, тетка Марья?

1-я баба. С печали, горький, с печали. Сыночек-то у меня помер, младенчик восьми месяцев. А теперь бы ему аккурат со Степушку быть, – в один год с Дементьевной выходили...

Старуха. Как раз овец стригли.

1-я баба. Ровесничек со Степушкой. Вот так бы и моего в плен забрали бы, а я бы плакала, ждала, а он бы пришел, а я бы рада, вот как вы... А он помер восьмимесяшный... *(Плачет.)*

Старик. Ну, вспомнила старину.

Степан. Хорошо, тетка Марья, как пришел бы, а то много, кои остались, – косточки лежат их там навеки.

2-я баба. Это ишшо бы горше. Вон как у мене. У мене были двояшки, а я говорю попу...

Входят 2-й крестьянин, Однорукий, Одноногий, крестьяне.

2-й крестьянин. Никак Степан воротился?!

Однорукий. Нам сказывают, а мы не верим.

Одноногий. Будто как сочли – убитый давно. *(Целуются со Степаном.)*

2-й крестьянин. Ну, здравствуйте! С дорогим гостем. А то тут совсем без тебе заскучали.

Старуха. Ну, так-то заскучали, так-то заскучали... родные, садитесь, травки святой милости просим.

В окнах снаружи гомозятся ребятишки.

Голоса ребят (в окне):

– Пусти, дай я погляжу.

– Я те как дам!

– Вона Степан.

– Иде?

– Фу, да вон, на разбойника похож...

– Зубы белые, как у нашего мерина, а борода че-орная!

– На кузнеца.

– На цыгана, что у нас лошадь скрал.

Старуха. Брысь, вот я вас...

Ребятишки на минуту отвалились от окна, а потом опять наваливаются друг на друга.

Степан. Батенька, ну что же не сказываешь, хозяйство как у вас?

2-й крестьянин. А как ерманец? Как об себе понимает ноне?

Степан. Германец, как сказать, не со-врать, – в городе у них действительно голодно, не только белого, а и черного хлеба не каждый день видит.

1-й крестьянин. Как и мы грешные – часом с квасом, порою с водою.

Степан. А почему? Опять же лень. Который человек лентяй-тот и бедняк, а который трудящий – у того все есть.

Марьяна. Помещик наш, стало, умный и до работы лют.

Степан. Помещик – энто другая статья. Ему наследственно, по закону.

Марьяна. Стало быть, по закону на людях ездить можно?

Старуха. А ты не выскакивай поперед мужа. Муж три года дома не был, только рот раззявит, а она уж тут как тут.

2-й крестьянин. Этта нам и поп с лавочником тоже говорили: бедность от лени.

Старуха. Горе какое, обоих угнали в лагерь.

Марьяна. Дивуюсь я, как это доселе все царства не передохли с голоду – бедных, тысячи тысяч, и все лентяи, а богатых: раз, два – и обчелся, – работать и некому.

Старуха. Ты опять? Степан, чево ты смотришь? Гляди: покеда маленькая пороса, в лукошко сунешь, а большую свинью и веревкой не обратаешь.

Старик. Будя, старуха.

Степан. Ничего, маменька, пущай, – вреды не будет, пущай себе. Ну, как, батенька, хозяйство?

Входит Козел, крестится.

Козел (Степану). Ерой!.. молодой парень!.. гусака оправдал!.. Ах, тетка твоя кукареку!.. *(Целуются со Степаном.)* Вот он свет завое-

вал, вдоль и поперек прошел.

Ребятишки (в окне на разные голоса). Ку-ка-реку, ку-ка-ре-ку... мме-е-е... Козел кочетом запел...

Старуха (берет рогач). Кши! Надоели, неладные, оммарок вас возьми...

Ребятишки прыснули прочь. Потом осторожно опять одна за другой высовываются головы в окне. Тащится, опираясь на руки, Коноводов. Лунный свет ложится на окна.

Коноводов (припевает).

*И шу-ми-ит,
И гудит, дробин до-о-жжик и-дет,
Про-я-ви-лася па-нян-ка го нас на
дворе...*

Коноводов. Степа, друг!..

Степан (бросается к нему и остолбене-врет при виде безногого гостя). Илюха!.. брат!..

Коноводов. До бога высоко, до царя далеко, и до тебя, Степа, не достанешь. Нагинайся.

Степан. Эх, иде же тебя так обкарнали?.. (Обнимает его, крепко целуются.)

Коноводов. На Мазурских озерах царь мне памятку оставил. Граната вдарилась и по

ножкам мне – чик!

Степан. Эх, сердяга!

Коноводов. А помнишь, как мы с тобой, бывалыча, плясали? Супротив нас никто не мог выстоять.

Степан (*чешет в затылке*). Экк его!.. Ну, лезь, подсоблю. (*Поднимает и сажает на скамью.*)

Коноводов. Я, Степа, женюсь.

1-й крестьянин. Жана его эк вот носить будет...

Луша. Охота была. Поносит, поносит ды в яр и спустит. (*Хохочет.*)

Степан. Ну, так как, батенька, хозяйство, не досказал ты мне?

Старик. Ды как хозяйство... Ничего, жалиться – бога гневить. Только советы завелись, советы притесняют.

Степан. А што?

Старик. Да што. У кого четыре лошади – две отберут, а две оставють. У кого шесть – четыре отберут. Я оставил лишь лошака ды кобылу, а энтих всех угнал в Нагольный к бабке в лес, – в лес-то загонит – не найдут.

2-й крестьянин. Дык не себе отбирают, а

раздают которым безлошадным.

Луша. Вон Семениха погорела, – им лошадей дали.

Степан (злобно). Ишь сладкие!.. Люди наживали, а они на готовенькое. Отчего они безлошадные, спроси.

Луша (живо). Ды погорели жа.

Степан. Цыц! Много ты понимаешь! Потому – бездельники.

Одноногий. Однорукий. 2-й крестьянин. Слыхали мы это. Сколько помним, нам про лень все рассказывают.

Козел (посмеиваясь, хитро). От кого вы слушаете про лень?

Однорукий. Известно от кого.

2-й крестьянин. От ково, – хто сам в двери не пролезет, – лавошник...

Старуха. В каторжных лагерях, горький, трудится...

2-й крестьянин. Помещик...

1-й крестьянин. У кого бесперечь работники не переводятся...

Однорукий. От ково я без руки...

Одноногий. А я без ноги...

Коноводов. А я... эх ты, малина, в саду яго-

да калина!..

Старик. Как же так? Как же так? Я цельный век наживал, а другой придет, сядет верхи и поедет. Это не модель.

Козел (*хитро*). Ты скажи, сваток, сколько работничков принанимаешь?

Старик. Ды я сколько... я што ж...

2-й крестьянин. Однорукий (*смеясь*). **Одноногий. 1-й крестьянин.** А-а, запомятовал, не знает... дай по пальцам счесть.

Степан. Это что ж, коммунию хочите заводить?.. грабеж?..

Иван Посный. Грабеж и есть.

Козел. Ды я теперича хочь куды, и спереду и сзаду (*поворачивается*), как облизанный, ни на мне, ни подо мной, аккурат в коммунию лезть.

Степан. Потому ты – нищий.

Козел (*торопливо*). Во, во, во!.. Правильно сказал, тетка твоя кукареку: коммуния для нищих, для убогих, для сирых...

Подымается шум.

Коноводов. Штоб не жрали их, у кого брюхо да мошна тугие.

Однорукий. Штоб кулаки да мироеды ока-

рячились.

Коноводов. Однорукий. Одноногий. Все пойдем в коммунию!

2-й крестьянин. Знамо, пойдем, надоело в хомуте ходить.

Степан. На чужинку захотелось?.. В чужие труды-достатки лапу запускаете?..

Однорукий. Да ты сам норовишь в кулаки вылезть.

2-й крестьянин. Хрестьян сосать...

Одноногий. Замест лавошника...

Возбужденные и озлобленные, начинают расходиться.

Степан. Хулиганы беспортошные.

1-й крестьянин (*кивает на Степана*). Этот лавошнику сто очков вперед даст...

Иван Посный. Без порток оно легче чужое добро делить, прохладней...

Марьяна. Вон красноармейцы головы свои кладут, жисти своей молодой не жалеют, а почему? Одному счастье, а тысячам – неизмывное горе. А жить-то всем хочется... Да разве у вас жисть?!

Старуха. Ты опять?!

Старик. От этой от самой Красной Армии и

смута пошла. Покуда ее не было, порядок был.

1-й крестьянин. Порядок тебе керенки на-гребать.

Степан. Да ты считал? Нам таких гостей не надо.

1-й крестьянин. Да мне начхать... Кишко-резы!.. *(Уходит.)*

Старуха. Скатертью дорога.

Ребятишки *(за окном)*. Ку-ка-ре-ку!.. Ку-ка-ре-ку!.. Ме-ке-ке-е...

Старуха *(берет рогач, выходит. Слышен ее голос на улице)*. Вот я вас, пострелы!.. Омма-рок вас возьми!..

Ребятишки разбегаются.

Козел. Гусака оправдал!.. Слышь, сваток: Иван Иваныч-то опростал место, не лезь ты на его следы... Переменилось, сваток, переменилось округ и все... Жисть, она наизнанку вывернулась... Чаво и не снилось, а оно во!.. Али плохо, што беднота хошь вздохнет, хошь глазами-то луп-луп, проглянет на свет-то божий...

Степан. Но-о, учитель нашелся! Иди там под мельницей читай проповеди. Може, тебя водяные слу-хать будут...

Коноводов. От ворот поворот гостям по снегу.

Козел (*посмеиваясь*). Так, так, так... ерой... молодой парень... гусака оправдал...

Старуха (*входит*). Чаво ты, сват, языком подметаешь, как добра корова? Иди спать.

Козел (*уходит*). Тетка твоя кукареку!..

Коноводов (*слезает со скамьи, тащится к двери, поет на мотив «Под вечер осенью ненастной»*). «Ты ку-уда, мой друг, стремишь-ся, на то-от по-о-гибель-ный Кав-каз, а-ах (*за дверью*), от-ту-уда не возвра-тишь-ся, го-во-рит мне темный гла-ас...»

Степан. Беспортошная гвардия. Храпы!..

Старик. На чужой каравай рот не разевай... А то так кажный захочет...

Степан. Пойдем, батенька, хозяйство посмотрим, – скучился я по нем.

Старуха. Ну, вы тут приберите покеда.

Степан. Хорошо бы маслобойку нам поставить. (*Уходит со стариком.*)

Луша. Пущай она, я с вами. (*Уходит со старухой.*)

Марьяна (*некоторое время стоит неподвижно, потом с отчаянием*). Чево же это та-

кое?! Ай сон?.. Не то правда?.. Ай из смерти люди приходят... Пашенька, иде ты?! Пашенька, родной мой! Как бирюки... только бы жрать ды как нажать... кроме у них ничего нету. Хуже кротов: глазами глядят, а свету божьего не видют, людей не видют... Пашенька, тянут меня назад, а я не хочу... не могу... Пашенька, возьми меня отседа... *(Рыдает.)* Спасибо, Пашенька, – погибель моя! Господи, ды што я за разнесчастливая... али незамоленный грех за мной?.. Пашенька, откликнись, иде ты?.. Кабы не ты, Пашенька, минутки бы не ждала, наложила б на себя руки.

Во дворе слышны голоса, говор возвращающихся Степана, старика, старухи, Луши.

Марьяна *(вытирает слезы, спокойно)*. Ну, хорошо. Уйду от них, уйду. Батрачкой наймусь... где-нибудь буду жить... Может, когда и встречусь с Пашенькой.

Старик, Степан, старуха, Луша входят.

Старик. Сено энто, которое продадим зимою, большие деньги выручим. Просорушку опять выгодно поставить... Оно и маслбойку выгодно, ну только совет зараз заберет в обчество, вот оно што.

Степан. Ишь ты, совет. На-кось, выкуси! А мы, батенька, давай совет к рукам приберем. Голь оттуда долой, а туда выберем степенных хозяйственных крестьян с достатком, ну, и по-нашему будут все делать.

Старуха. Марьяна, Лушка, чаво же вы, кобылы, посуду не убрали? Мать не сделает, так они не подумают.

Луша. Я спать хочу. *(Укладывается в углу.)*

Старик со старухой в сених. Марьяна убирает посуду.

Степан. Марьяна! Вот соскучился по тебе... А ты меня дюже вспоминала? *(Хочет обнять.)*

Марьяна *(отстраняясь)*. Будя... не трожь!..

Степан. Ты чево?..

Марьяна *(отстраняясь)*. Не трожь меня, Степан.

Степан. Да ты чево?.. Ты чево... чево морду-то воротишь?.. Ай барыней стала?.. Тебе какого рожна-то надо?.. Чем же я плох стал? За меня у немцев сватали, а сами богатые, всего...

Марьяна *(отстраняясь)*. Нет, не трожь...

Степан. Да ты вспомни, как жили с тобой,

Марьянушка... Любила ты меня, во как любила... И ты у меня все в думках была: во приду... Ай я плохой стал...

Марьяна. Я тебе не жена, ты мне – не муж, чужие мы с тобой.

Степан. Што-о?! Ай белены обтрескалась!

Марьяна. Не мучь меня, не неволь... Все одно ничево не будет... Любила тебя, вот как любила, резать себя на куски за тебя дала бы, а теперя ты мне чужой, как вон с улицы пришел...

Степан. Я из тебя дурь-то повыбью! Полюбовничка небось завела!

Марьяна. Слышь, Степан? Христом богом я тебя прошу, брось меня, не жена я тебе. Сколько девок на деревне, каждая с радостью великою за тебя пойдет! Красивше тебя нету на деревне, и богатые вы. Счастье у вас будет. Со мной счастья не будет. Будем грызться, как собаки. Держите меня батрачкой, буду работать из сил, а нет – пойду к другим наймусь.

Степан. Молчи, тварь!.. Убью!.. Забыла, што ль: жана ты мне законная, што хочу, то и сделаю.

Марьяна (*помолчав, отдельно*). Ну, так

ежели хочешь знать, люблю человека, а кто он, не скажу, хочь режь!.. Ну, только краше ево нету. Кубыть на высокую гору меня привел, и все оттуда видать, всю жисть... Словами меня взял. Ишь как его все слухали, слова не пророняли. Што мы такое? Бессловесными жили, бирюками, один на одново, – только б зубами вырвать из горла друг у дружки побольше мяса, только бы нажраться, а он глаза нам всем разул. Пошел голову свою молодую класть за людей, за трудящих, за счастье ихнее. А ты ни бе, ни ме, бирюк бирюком.

Степан. А-а, заговорила, паскуда!.. Ну, так ладно, мясо с костей спуцу, не пожалею ременных вожжей... Остатний раз спрашиваю!

Марьяна (кричит). Не трожь меня!.. Не замай!.. Ежели хочь пальцем, не жить тебе!.. Слышь, не жить тебе!

Подымаются на шум старик, старуха и Луша.

Луша. Степан, ты чаво?.. Ай белены объелся!..

Старуха. Сказывала, не давай ей воли...

Степан (сдергивает со стены вожжи, собирает на руке). Нну, сука!.. Ох, как же я тебя бу-

ду возить... как пороть... без передышки... по-
кеда замолчишь, покеда кричать перестанешь,
покеда шкура будет мотаться кусками!..

Старик. Постой!.. Степан!.. Успеешь ешшо...
Постой, для первого-то разу... только што
пришел.

Луша. Степан, не смей! (Злобно, сквозь слезы.)
Зверюга!..

Марьяна (со страстной ненавистью). Так
будь же ты проклят!.. Штоб ты в своей жисти
покою не знал, ни дня, ни ночи... штоб у тебе
детей никогда не было... штоб ты, как домо-
вой, по ночам бродил... (Отталкивает Степана,
бросается к двери и убегает.)

Степан за ней с вожжами. В отворенную
дверь лунный свет. Слышен задыхающийся го-
лос Степана: «Я те покажу... я те...»

Старик. И чево не поделили?.. Только што
пришел, и для первого разу эвот взбулгачи-
лись...

Старуха. Сказывала, воли ей не давай. Об-
ратай, покеда малая пороса... Степушки не
было, хочь бы слезинку сронила...

Луша. Вот так и выйди замуж, а он зачнет

измываться. Ды ни в жисть не пойду... штоб они все передохли, окаянные!..

Старик. А все Красная Армия: подводами заездили, сено позабрали, и народ весь раз-нуздался: што бабы, што девки, што парни, – удержу нету.

Молчание.

Степан (*входит, швыряет в угол вожжи*). Убегла!..

Старуха. Сказывала я тебе, Степушка...

Степан (*злобно*). А всё вы!.. Ели ее тут поедом, она на стену и полезла...

Старуха. Степушка, родной ты мой! Ды ра-зи мы не жалели ее! Ды што она вздумала, ягодка наша! Али хто ее обидел? Али неласковое слово сказал? Али мы не любили ее, сладеньким кусочком не кормили? Дочечка ты наша!..

Занавес.

Именины в 1919 году*

Комедия-сатира в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Д Жена адвоката, Екатерина Ивановна, 32 лет.

Бывшая помещица, Марья Евгеньевна, 40 лет.

Дама декольте (глубокое), кокетливая, Елена Александровна, 28 лет.

Советская барышня, завитая.

Бывший адвокат, Александр Эрастович, 42 лет.

Бывший помещик, Софрон Андреевич, 45 лет.

Рундуков Евсей Евсеевич – бывший владелец огромных домов и магазинов, ныне спекулянт, 50 лет, топорный, кряжистый.

Профессор, Герасим Иванович, 52 лет.

Артист, Николай Николаевич, 35 лет.

Литератор, щуплый, козья борода, в очках.

Художник.

Балаболов, служит в военном комиссариате, 27 лет; френч, галифе щегольские.

Служащий.

Инженер, Станислав Константинович, 31 год, с бородкой, спокойный, сдержанный.

Столовая; посредине протянулся белоснежный стол; цветы. В сторонке уютный уголок, маленький диванчик, заставленный пальмами и японской ширмочкой. На стене картины. Портреты Ленина и Маркса.

В комнате жена адвоката, Екатерина Ивановна.

Жена адвоката (*считает приборы, нервно схватывает один, звонит. Вошедшему служащему*). Уберите этот прибор, товарищ!

Служащий. Тогда не хватит: тринадцать персон будет.

Жена адвоката. Число несчастное, уберите!

Служащий берет прибор и уходит. Входит инженер, Станислав Константинович.

Инженер. На дворе пасмурно, а у вас тепло и уютно. (*Целует руку.*) Позвольте поздравить вас, Екатерина Ивановна, со днем вашего рождения...

Жена адвоката. Нет, нет, мое рождение через год только. Сегодня мой ангел.

Инженер (*подает в футляре медальон*)... поздравить с днем вашего ангела и пожелать... ну, чего бы вам пожелать?..

Жена адвоката. Чтобы цветы любви всегда цвели и никогда б не увядали. (*Обнимает за голову.*) Ми-ильй...

Входит бывший адвокат, знаменитость, Александр Эрастович; прекрасно одет. Екатерина Ивановна и инженер отшатываются друг от друга.

Адвокат. Ну, женушка, что, ангел мой, у тебя все готово? Здравствуйте, дорогой Станислав Константинович!

Жена адвоката. Все. Представь, за столом оказалось тринадцать. Я велела снять.

Адвокат (*смеется*). Бог не выдаст – свинья не съест.

Профессор (*входит, целует руку*). Наука вас приветствует со днем рож...

Адвокат (*торопливо*). Ангела.

Профессор. ...с днем ангела. Позвольте вам на память предложить мое последнее исследование: «Зародыш нотариального института

у полинезийских дикарей».

Адвокат. Да ведь они разгуливают-то в чем мать родила!

Жена адвоката. Как это мило с вашей стороны! И с надписью, да?

Профессор. Конечно.

Жена адвоката. Я теперь засяду ее читать. А у нас такое горе, такое горе...

Профессор. Инженер. Что такое?

Жена адвоката. Да пустой стол. Ведь ничего, ничего нельзя достать. Я в отчаянии. Немного подождем да будем садиться.

Профессор. Ну, это с полгоря.

Инженер. Не единым бо хлебом сыт человек, а и всяким словом.

Литератор (входит). С днем рожденья!

Жена адвоката. Фу, какой вы бестолковый! Конечно, ангела.

Литератор. Ваш чудесный ангел с белоснежными крыльями и так похожий на вас, что подумаешь – двойник, осенил меня вдохновением. Позвольте же плод этого вдохновения посвятить вам. *(Читает.)*

*Кроваво сплетались
И люди и звери,*

*А козы смеялись
И тихо шептали: «Ага».*

(Подает папку со стихотворением.)

Жена адвоката. Как это мило! Прелесть!

Адвокат. Красиво и оригинально. *(Инженеру.)* Непременно украл у кого-нибудь.

Инженер. Да, что-то помнится, кажется, у Евгения Соловьева.

Жена адвоката. Благодарю вашу музу, что она меня вспомнила. Ну, садитесь, господа.

Адвокат. Не господа, а товарищи.

Жена адвоката. Все забываю. Садитесь, товарищи, уж чем бог послал. Ах, вот радость! *(Бросается к вошедшим.)*

Входит бывшая помещица, Марья Евгеньевна. За ней помещик, бывший владелец тысячи десятин, ныне управляющий в своем бывшем имении, Софрон Андреевич; жена зовет его Кокко. За ними служащий вносит пакеты и кульки.

Жена адвоката. Милая! *(Обнимает помещицу.)* Дорогая!.. Какая радость, что приехали. Я уж думала, не выберетесь.

Помещица. Насилу добрались. Ну, со днем рождения...

Жена адвоката (*отстраняясь*). Какие все сегодня забывчивые. Я – именинница.

Помещица. Ах, душечка, ну, конечно, с ангелом, с самым милым, прелестным ангелом. (*Целуются.*) Я вас так люблю. Вот я и привезла...

Помещик. Постой, дай же мне поздравить. (*Целует руку, потом отчеканивает.*) Со днем ан-ге-ла поздравляю. Примите наши скромные дары... (*Разворачивает кульки.*)

Жена адвоката. Ах, окорок, вот прелесть... Я так мечтала. Да какой чудесный! И масло, и сыр... Ну, как мне вас благодарить!

Помещица (*отстраняя мужа*). Постой, дай же мне. Я велела кур и индюшку положить.

Жена адвоката. Спасибо, милая, дорогая! (*Целуются.*) Теперь давайте садиться. Вот сюда, пожалуйста.

Все начинают усаживаться. Входит Рундуков, Евсей Евсеевич. Вносит пакеты и кульки.

Рундуков. Мир сему дому! (*Складывает кульки.*) Голоса (*радостно*). А-а, Евсей Евсеич, милости просим!

Рундуков. Позвольте поздравить вас, Ека-

терина Ивановна, со днем...

Профессор, инженер, помещица. ...ангела, Рундуков... с днем ангела и пожелать, чего сами желаете.

Жена адвоката. У меня единственное желание, Евсей Евсеич, чтобы вы как можно радостнее провели у нас сегодняшний вечер и... и еще, чтобы советская власть выдала нам именинные карточки.

Рундуков. Пока солнце взойдет, роса глаза выест. Вот покуда до карточек. *(Разворачивает кульки.)* Не несите в дар брачущимся ни пурпур, ни виссон, ни смирну, ни ладан, а только осетрину, балык и икру.

Все *(аплодируют)*. Bravo, bravo, bravo, Евсей Евсеич!

Жена адвоката. Какой вы милый, какой благородный, Евсей Евсеич! Спасибо, спасибо вам, родной.

Профессор. Еще можно жить с советской властью.

Адвокат *(запевает)*. «Еще можно жить с советской властью...»

Все *(подхватывают, поют)*. «Еще можно жить с советской властью...»

Жена адвоката. Садитесь, садитесь, товарищи...

*Все со смехом и говором садятся за стол...
Отдельные голоса: «Со мной...» «Пожалуйста, сюда...» «Здесь вам удобнее».*

Жена адвоката. Пожалуйста, прошу, Александр, положи Марье Евгеньевне.

Входят дама декольте и советская барышня.

Жена адвоката. Как я рада! Очень рада!

Дама декольте. Советская барышня. – Дорогая Екатерина Ивановна, поздравляем вас с днем...

Все (хором). ...ангела.

Дама декольте. Советская барышня. – ...с днем ангела и...

Жена адвоката. И все. Садитесь, пожалуйста, вот сюда. Товарищи, особых приглашений не будет. Александр, положи Марье Евгеньевне икры.

Адвокат. Позвольте. *(Накладывает.)*

Помещица. Благодарю. Я не могу равнодушно на икру глядеть.

Адвокат. Так позвольте, я еще подложу. *(Подкладывает.)*

Помещица. Ах нет, не то! Когда имение было наше-не могу равнодушно вспомнить об имении... Мой Коко был такой хозяин. У него рыбоводство было, – о-о-огромные стерляди плавали в бассейне...

Литератор. У каждого из нас в прошлом остались...

Помещица. Стерляди?

Литератор. Нет, воспоминания незабвенные.

Помещица. Ах, не говорите! Коко был влюблен в своих йоркширов. Знаете, такая прелесть: кожа тонкая, нежная-нежная, просвечивает, а Коко его в розовый носик целует.

Дама декольте. Это ужасно! Я бы никогда свиню не поцеловала.

Помещица. Ах, душечка, ведь он же такой чистенький! Прелесть. Ведь их же мыли каждый день с мылом щетками. Бывало, войдут рабочие, у всех руки грязные, пахнет от них несвежим бельем... Когда мы с Коко были в Константинополе, там турецкие бани, – такие знойные, сухость такая, такая прелесть...

Дама декольте. Нет, морские купанья ни с чем не сравнимы. Вот Остенде. В купальный

сезон лучшее общество съезжалось со всей Европы и из Америки, даже коронованные особы, разумеется инкогнито.

Рундуков. Главное, все вместе купаются в чем мать родила.

Жена адвоката. Не-е-т, в купальных костюмах.

Рундуков. Да оно в купальных-то, в купальных, а, между прочим, все видать. Был я там.

Адвокат. Что было, то прошло и не будет вновь. Новые времена, новые птицы, новые песни.

Рундуков. А старым куда прикажете деваться? Под забором издыхать?

Адвокат. Что же делать, дорогой, Евсей Евсеич, что же делать? Надо приспособливаться.

Дама декольте. Говорят, советская власть в поезда лошадей стала запрягать.

Литератор. Что лошадей, – коров стали запрягать. Ей-богу, сам видал...

Адвокат. Что ж, советская власть делает, что может. Конечно, разруха, развал, но достать все можно. Я себе к зиме приготовил от-

личную шубу. Герасим Иванович достал себе по ордеру прекрасный шевиотовый костюм. Жена...

Помещица. У меня тонкое полотняное белье, до войны только такое можно было достать.

Входит художник, втаскивает огромную картину.

Голоса. А! Искусство явилось! Ну, ну, чем вы нас порадуете? Искусство – свет жизни.

Художник. Глубокоуважаемая Екатерина Ивановна. Позвольте мне вас поздравить с лучезарным днем и презентовать...

Адвокат. Замечательно.

Разворачивает картину. На ней кубические люди, длинные четырехугольные носы, невиданные, уродливые дома.

Дама декольте. Обворожительно.

Рундуков. Я никак не разберу: сзади это или спереду.

Советская барышня. Как оригинально! Ни на что не похоже.

Художник. В том весь смысл искусства, чтобы дать то, чего никогда не бывает, никогда не бывает на свете.

Жена адвоката. Ну, присаживайтесь и не заставляйте себя просить.

Входит Николай Николаевич, артист, знаменитость, привык к поклонению. Все вскакивают со своих мест, бросаются к нему навстречу, окружают с восхищением.

Голоса. Николай Николаевич, как мы рады!.. Как ваше здоровье, Николай Николаевич?..

Артист (*подает букет*). Несу вам все мои пожелания.

Жена адвоката. Как я счастлива... если бы вы знали, как я счастлива... Право, я и не знаю, как мне благодарить вас, Николай Николаевич. Садитесь, пожалуйста, вот для вас прибор.

Литератор. Мы с вами знакомы, – у Рябушинского встречались.

Художник. И мы с вами у Рябушинского встречались.

Артист (*небрежно*). Мда-а?!

Помещица. Я с двоюродной бабушкой Рябушинского очень хорошо знакома.

Голоса. Николай Николаевич, позвольте положить вам икры. Вот балык прекрасный.

Осетрина...

Артисту придвигают стулья, поправляют прибор, накладывают со всех сторон закуски.

Артист. Средства передвижения трудны.

Помещица. Это ужасно. Прежде, бывало, извозчик на козлах сидит тише воды ниже травы, и семьдесят копеек – красная цена, а теперь не подступись.

Артист. Ну что ж, как ни трудно народу, как ни велика разруха, все минуется, все возродится.

Помещица. Образуется.

Артист. Во главе народа стоят могучие люди.

Дама декольте (*пристально глядя на портрет Ленина*). А знаете, что я открыла: у Ленина даже симпатичное лицо.

Советская барышня. Да, глаза необыкновенные, какие-то особенные, такие пронзительные, колючие, как будто насквозь видят, даже немножко жутко смотреть.

Жена адвоката (*звонит, вошедшему служителю ласково*). Товарищ, будьте добры – самовар. (*Тот уходит.*)

Артист. У вождя поворот головы хорош.

Это схватываешь. Когда-нибудь воплотить придется на сцене.

Адвокат. Могучий оратор. Его можно сравнить разве только с Наполеоном. Вы не можете себе представить, какой порыв он вызывает своей речью. И, поверьте мне, это огромный стратег.

Рундуков. Я то и говорю. С советской властью еще жить можно. Ведь вот у меня в Охотном да на Сухаревке торговля как была, так и осталась. Только прежде торговали от силы – тысячу в день, а теперь пятьдесят, а то и сто тысяч ковырнешь.

Дама декольте. В день?!

Рундуков. Натурально, не в год.

Дама декольте. Бесподобно...

Художник. Балык великолепный, каб-ба-ли-сти-чес-кий.

Помещик. Хорош.

Художник. Но один в нем недостаток, существенный.

Голоса. Какой?..

Художник (*щелкает себя по шее*). Не пла-вает.

Голоса. Да, да, да... Верно. Недостаток су-

щественный, но исправимый.

Адвокат. Нет, товарищи, к советской власти нужно честно относиться. Раз рабоче-крестьянское правительство приняло решительные, беспощадные меры борьбы с пьянством, этим вековым разрушителем, этой исторической язвой на теле русского народа, — долг чести каждого честного гражданина поддерживать всемерно эту великую борьбу. И поддерживать не словесно, не языком только, а фактами нашего отношения к выпивке. Пусть наш собственный быт в корне подрезает самую возможность появления мысли об алкоголе. *(Встает из-за стола, идет за ширмочку, садится на диванчик, курит.)*

Помещица. Очаровательно! *(Встает из-за стола, идет за ширмочку, садится рядом с адвокатом.)*

Литератор. Алкоголь на нервы действует.

Помещица *(за пальмой).* Саша, я люблю тебя.

Адвокат. Знаю.

Помещица. Саша, слышишь ли ты биение моего сердца?

Адвокат. Нашла место объясняться. Он, су-

пруг-то твой, если заметит, – посмотри, какой кабан, – не поздоровится. Ты вот лучше пришли-ка из деревни еще пару окороков, а то эти кончаются.

Жена адвоката. Товарищи, закусывайте; сейчас чай.

Адвокат и помещица обнимаются и целуются. Входит Балаболов.

Балаболов (радостно-взволнованно целует хозяйке руку). Господа...

Голоса. Здесь нет господ, здесь только товарищи.

Балаболов. Оставьте это пошлое слово.

Голоса. Как вы смеете! Что за безобразие!..

Балаболов. Господа, вы здесь сидите и ничего не знаете. Вы не знаете, что совершается и что совершилось.

Голоса. Что такое?.. Что такое?.. Что случилось?.. Говорите же!..

Балаболов. Как, вы ничего не знаете?.. Как за китайской стеной.

Дамы. Да рассказывайте же, наконец...

Балаболов. Господа, совершилось огромное событие. Вы так оторваны от жизни...

Рундуков. Да не тяни ты меня за пупок!..

Балаболов. Ну, так слушайте. *(Торжественно.)* Господа! Советские войска на фронте вдребезги разбиты.

Голоса. Что вы!! Да неужели!.. Возможно ли!..

Рундуков. Слава тебе, царица небесная! *(Крестится.)* Дома – мои!

Балаболов. Полки сдаются за полками: орудия, пулеметы, автоброневики десятками, сотнями оставляются. Всюду паника, солдаты бросают оружие, бегут. Население встречает с колокольным звоном наступающие войска освободителей.

Все. Уррра-а-а!!

Инженер. Да откуда вы это знаете?

Балаболов. Только что по телефону говорил с военным комиссариатом. У меня везде приятели, верные люди. В газетах будет завтра, да и то осторожно, понемножку.

Все. Уррра-а-а!..

Художник садится к роялю и играет вальс. Жена адвоката с инженером, артист с дамой декольте. Рундуков неуклюже с советской барышней, литератор со стулом в увлечении делают тур, подпевая.

Жена адвоката (*останавливаясь*). Уф, устала, давно не танцевала.

Художник. Каюк коммуни! Приказала долго жить...

Литератор. Только ножками подрывает.

Советская барышня. Веревки не хватит.

Помещик. Совьем.

Дама декольте. По бульварам, как бордюры, будут чернеть на деревьях.

Рундуков. По старшинству.

Жена адвоката (*звонит; строго вошедшему служащему*). Иван, почему до сих пор нет самовара? И почему вы с голыми руками? Что за безобразие!

Художник (*развалиясь*). Челаэк, пепельницу! (*Тот подает.*)

Литератор (*развалиясь*). Челаэк!

Служащий (*подходит*). Чево изволите?

Литератор (*задумчиво пуская дым*). Ничего, ступай. (*Тот уходит.*)

Адвокат и помещица вылезают из-за ширмочки.

Адвокат. Товарищи, я...

Все (*азартно*). Здесь нет товарищей. Какие мы товарищи?.. Что за пошлое слово!

Адвокат (*изумленно*). Да что такое? Я не позволю в своем доме оскорблять пролетарское имя.

Литератор. Да откуда вы свалились?

Жена адвоката (*подозрительно*). Где вы были? Что вы делали?

Балаболов. Я только что получил потрясающее известие: советские войска наголову разбиты.

Адвокат (*сначала остолбенел, потом порывисто*). Голубчик, дайте же я вас обниму. (*Обнимает.*)

Помещица. Значит, наше имение опять нашим станет? Голубчик, какой же вы милый и как на вас чудесно френч сидит! Где вы егошили? (*Ласково притрагивается к нему.*)

Балаболов. Казенным иждивением.

Помещик. Маша, садись сюда, тебе вредно волноваться.

Адвокат (*стучит ножом*). Господа, внимание! Слово представителю науки, столь поруганной.

Профессор. Милостивые государыни и милостивые государи! История не дает себя обмануть. Исторические законы – железные за-

коны. Временно с них можно сорваться, как срывается поезд со стальных рельс, но совершенно уклониться от них нельзя. Отступление с исторических путей – это все равно, как если заставить организм жить назад; сначала старость, затем зрелые годы, потом молодость, юность...

Дама декольте. Восхитительно...

Советская барышня. Очаровательно. Вечная весна...

Помещица. Неужели это возможно!.. Где же бы этого доктора достать? Коко! *(Адвокат делает ей знак помолчать.)*

Профессор. Российское государство ныне представляет собою этот срыв на всем ходу с исторических рельс. И вот результат этого срыва: все раздавлено...

Дама декольте. Какой ужас!..

Профессор. ...наука, культура, истинная свобода, развитие техники, рост производительных сил – все!

Дама декольте. Боже мой, но где же мы, наконец, кружева будем покупать?

Профессор. Так продолжаться, разумеется, не может. Уже работают неумолимые подзем-

ные силы исторического хода вещей.

Все. Bravo! Bravo!..

Адвокат (*тихо инженеру*). И чего он рассюсюкался, эта старая торба. Ну, сказал бы немножко – и довольно, а то как песок из него сыплется.

Инженер. У – бездарностей всегда недержание речи.

Помещица. Дорогой Герасим Иванович, вы не можете указать доктора, который организмы назад ворочает?

Профессор. Да нет, Марья Евгеньевна, это не то.

Советская барышня. Вот профессор очень хорошо говорил о подземных силах. И это правда. Ко мне в отдел приходят посетители, больше всего рабочие. Такой неприятный народ... Спрашивают у меня, лезут, а я сделаю водяные глаза и смотрю не мигая. Он так, он сьяк, а я смотрю – и ни звука. Так и выпроводишь.

Смех.

Помещица. Я в нашем имении, когда разговариваю с мужиками, всегда нос зажимаю платком.

Дама декольте. Теперь духи очень трудно достать.

Балаболов. Позвольте вам презентовать флакон. Настоящие английские. *(Вытаскивает из кармана и подает флакон.)*

Рундуков. При муниципализации магазинов нюхнул.

Дама декольте. Мерси...

Рундуков что-то говорит советской барышне, и они идут за пальму на диван.

Инженер *(за столом, чрезвычайно спокойно).* Да, это необходимая вещь – подземная работа. Это разрушительнее пулеметов, винтовок, восстаний. Если это – система, если она проникает во все поры экономической, административной жизни, транспорта, то гибель строя неизбежна. Куда ни повернешься – всюду водяные глаза. Никакое правительство не удержится.

Рундуков *(за пальмами).* Две тысячных катеринки. Две. Деньги – не сор.

Советская барышня смотрит на него непонимающими водяными глазами.

Рундуков *(за пальмой).* Ну, четыре.

Инженер. В этой подземной борьбе нужно

спокойствие. Хладнокровие. Невозмутимый расчет... Мы приспособляем старый завод под паровозо-ремонтный. Он до зарезу нужен. Работа у нас кипит, но всюду – водяные глаза, и завод ни с места вот уже девятый месяц.

Смех.

Голоса. Славно!..

Рундуков (*за пальмой*). Ну, пять.

Советская барышня. А?

Рундуков. Кричать-то нельзя по этим делам. Пять тысяч, говорю.

Советская барышня. У меня странный звон в ушах.

Рундуков (*отвернувшись*). Кикимора чертова, оглохла... Говорю: восемь...

Советская барышня. Не слышу.

Рундуков. Вот дьявол, кровососка! Ты водяные глаза-то не делай, у меня у самого водяные... Куда же кричать-то? Чтобы чрезвычайка услышала? (*Громко.*) Десять, говорю. За один за бланк, за голый, десять. Подпись-то мы сами смастерим.

Советская барышня (*мечтательно*). Когда я была маленькая-маленькая, совсем крошка, мама моя была офицерша. Она очень

любила ананасы, такие, знаете, в банках.

Рундуков. Ну, хорошо, хорошо. Десять и семь банок ананасу.

Советская барышня (*быстро*). Приходите завтра ко мне на службу ровно в два. Только не входите в отделение, а в коридоре, я к вам выйду. (*Идет к столу.*)

Рундуков (*сидит, оттирает пот с лица*). Услыхала, дьявол! (*Тоже идет к столу.*)

Инженер. Но это кротовье подкапывание под вавилонскую башню большевиков, эта работа экономического разрушения должна вестись в известных границах. А то, если мы все разрушим до основания, станем у власти, нам же придется расхлебывать всю кашу. И среди развалин мы окажемся перед невероятными трудностями. (*Идет за ширмочку; туда же – жена адвоката.*)

Помещица. Ах! Когда же эта счастливая минута настанет! Хоть развалины, только бы поскорей. Теперь мы хозяйничаем на нашем советском хозяйстве и все оглядываемся. Меня, вообразите, даже барыней нельзя звать! Представьте!..

Помещик (*за столом*). Да, наше положение

ние истинных хозяев земли русской тяжело.

Жена адвоката (за пальмами). Ми-и-луй! Ну, что же ты такой холодный, точно сердце у тебя ледяной ком в груди! Ну, улыбнись, дорогой мой! (Обнимает его.)

Помещик (за столом). Тысячи глаз нас стерегут. Особенно мужики разнуздались: «Га-а, барин!.. Опять засел в своем имении...» Вот, не угодно ли?!

Инженер (за пальмами). Во всем нужно холодное спокойствие. Нельзя ни в чем поступать очертя голову.

Жена адвоката. Даже в любви?

Инженер. Даже в любви.

Помещица (за столом). Да еще какие грубияны стали. Встретятся, ни один мужик шапки не ломает.

Жена адвоката (за пальмой). Мы с тобой так редко видимся. Мой дурак все сидит дома. Не понимаю, как его на службе держат.

Помещица (за столом). Царству мужицкому скоро конец: имения советские трещат. Вот у меня йоркширы понемногудохнут.

Рундуков. То-то окорока такие вкусные едим!

Художник (*ходит, покуривает, заглядывает за пальму, видит*). М-да-а! (*Поет.*) «Когда я был арка-адским принцем, любил я очень лошадей...»

Инженер поднимается и молча уходит.

Жена адвоката (*бросается в тревоге к художнику*). Перестаньте!.. Прошу вас... Ну, что вы...

Художник (*падает на колени*). Я люблю вас! Я давно вас люблю...

Жена адвоката. Вы забылись... вы забываете, где вы...

Помещик (*за столом*). Земли запахано мало, урожайность понизилась, благоустроеннейшее имение, созданное моими руками, умирает.

Литератор. Вы как Тарас Бульба: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Художник (*за пальмой становится на колени*). Умоляю...

Жена адвоката. Я мужа позову.

Художник. Вот как раз он мне и нужен... один юридический совет необходим... Попросите его сюда... (*Громко.*) Александр Эрастович!

Адвокат (за столом). Да чего вы там пристали?.. Я говорю, Станислав Константинович прав: такую подземную работу не сломить никакими репрессиями.

Художник (за пальмой). Один поцелуй, несравненная!

Жена адвоката. Замолчите! Это насилие...
(Он ее обнимает, целует.)

Литератор (курит, проходит, останавливается за пальмой, видит – целуются, поет).
«Бро-ди-ил я между скал, вдру-уг слышу страшный крик, то чело-век упал...»

Жена адвоката быстро уходит.

Художник (трусливо). Да нет, это так, в шутку. (Уходит.)

Литератор (разваливаясь на диванчике, курит. Помолчав). Опоздал!

Дама декольте. Софрон Андреевич, какой же вы душка-разрушитель! Совершенно Мефистофель. Я даже бы вас расцеловала за разрушение этих гадких большевиков.

Помещица. Коко, пересядь сюда поближе – тебе вредно волнение. Я так любила русский народ, а он такой неблагодарный оказался.

Жена адвоката. Александр, завесь этот

портрет (указывает на портрет Маркса), видеть не могу.

Адвокат (завешивает портрет Маркса салфеткой). Действительно, нельзя смотреть на этих разрушителей великой страны.

Помещик (жене). Ну, успокоилась?

Артист. Палачи и убийцы, не только убивают людей и страну, они посягнули, подняли преступную руку на святая святых всего человечества... на искусство. И на высшее его проявление – на театр.

Дамы. Это же ужасно!

Мужчины. Позор!

Профессор. Что-то невероятное в истории человечества.

Артист. Во что обратили они театр! В конюшню, в казарму, в фабричное помещение! В былые времена глянешь в партер, на ложи, – поразит блеск интеллигенции. Какие фамилии! Какие умы! Какие деятели! Какие ценители искусства! А теперь... Ведь стиснув зубы выходишь на сцену. Глянешь: в партере, сдвинув на затылок шапки, развалившись, истопники, шоферы, фабричные, кондуктора, красноармейщина. И стоит весьма сомни-

тельный запах по всему театру.

Дамы (*вынимают платки и зажимают носы*). Ужасно!

Артист. Там, где нужно плакать, они гогочут; где нужно смеяться – сморкаются. Они...

Дама декольте (*подходит к нему, нежно*). Не волнуйтесь, дорогой мой, я вас так понимаю. Вот у меня из сейфа вытащили эти проклятые большевики все драгоценности. Так я ночи не спала.

Рундуков. Неужто все забрали?

Дама декольте. Ну, положим, все отдали назад, – всем артистам все возвратили, но ведь сколько я переволновалась!

Артист. С этим варварством, с этим убийством искусства мы боремся всеми мерами. Эти варвары встречают постоянно глухую, неподдающуюся стену. Мы даем на сцене только то, что хотим, и не пускаем того, чего они хотят, и они ничего с нами не могут поделать.

Балаболов. Близок локоть, да не укусишь!

Артист. Мы незаметно для них самих держим все в своих руках.

Все. Bravo!.. Bravo!.. Bravo!..

Художник. Ха-ха-ха!.. Мы-то, художники, пожалуй, ядовитей вас всех. Вы там втихомолочку, под шумок, ведете свою линию, а мы всенародно вышли на площади, на улицы да такие им разрисовали плакаты, лошади на коленки падают. Ха-ха-ха!.. Надо посмотреть, какие рожи у большевиков, когда подходят к кубическим творениям, – никак не поймут: не то это гениально, не то это над ними показываются.

Дама декольте. Они никогда не поймут нового искусства, его глубины, его символизма.

Художник. И, заметьте, наша тлетворная зараза проникает и к ним и к рабочим – художникам, литераторам, поэтам. У них и стихи, и мысли, и краски становятся кубическими. Ха-ха-ха!..

Дама декольте (*бьет его по рукам*). Шутник!

Литератор. Это и естественно: высшее начало подчиняет себе низшее.

Жена адвоката (*звонит; вошедшему служа-'* *щему строго*). Почему до сих пор самовар не подан? И почему вы с голыми руками?

Я вас спрашиваю? *(Тот уходит.)* Ну, господа, довольно мерехлюндии! Елена Александровна, спойте нам, спойте, пожалуйста!

Дама декольте. Я с удовольствием. *(Садится к роялю. Поет: «Гай да, тройка...», поет страстно, с цыганскими манерами, под Вяльцеву.)*

Все. Браво!.. Браво!.. Браво!..

Рундуков. Эх, старину ворохнули! Бывало, Вяльцева как возьмет ноту, за самую за кишку потянет. Миллиона полтора на нее просадил.

Служащий в белых нитяных перчатках вносит самовар.

Жена адвоката. Господа, кому чаю?

Художник. Большевики, мало того, что убили науку, душат искусство, они убивают единственное, что дорого в жизни.

Дама декольте. Что? *(Идет с художником за пальму, дама садится на диван.)*

Художник. Обольстительность греха. Вот вы «Тройкой» все во мне взбудоражили.

Дама декольте *(жеманно).* Какой у вас темперамент! *(Отворачивается от художника, помахивая веером; он сзади целует ей*

шею.) Как вы неосторожны!.. Такое время... Политические страсти... Чрезвычайка...

Жена адвоката (за столом). У всех чай? Елена Александровна, вам чашечку позволите?

Дама декольте (за пальмой). Мерси!

Художник. Я сейчас принесу вам чашку, — здесь так уютно. (Идет к столу.)

Литератор (садится рядом на диванчике с дамой декольте). Мечтаете? Мечты, мечты, где ваша сладость...

Дама в декольте. Я боготворю литературу. Тонкое кружевное стихотворение для меня восторг... (Литератор целует ее обнаженные плечи. Она, слегка отвернувшись, помахивает веером.) Какая неосторожность!.. Такое время!.. Гражданская война!..

Художник (подходя с двумя чашками). А вы уж тут как тут!

Литератор. Ничего, можно и втроем.

Служащий вносит на подносе бутылки и рюмки. У всех вздох радостного облегчения.

Адвокат. Господа, несколько бутылок мадеры, заветных, припрятанных. (Наливает рюмки.) Прошу... Господа, не могу молча вы-

пить эту заветную бутылку, наводящую на столь радостные и, увы, далекие воспоминания. Господа! Наша многострадальная интеллигенция измучилась, исстрадалась под новым татарским игом, носящим теперь имя большевизма. Большевик! «Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось...» гнусного, чудовищного!

Звонок телефона.

Инженер (*берет трубку, говорит адвокату*). Постойте! Слушаю.

Адвокат. Но, господа, идет наконец день, встает ослепительное солнце правды, добра, истины, науки, знания, творчества, зальет животворными лучами исстрадавшуюся, измученную землю, изможденный, разодранный на части народ...

Инженер (*слушая в телефон*). Постойте!

Адвокат (*в самозабвении*). ...и полетят безумцы в растворившуюся под их ногами пропасть, полетят со всем...

Инженер. Фу, да постойте! (*В телефон*.) Как?.. Неужели?.. Окончательно?.. (*Лицо делается длинным.*)

Адвокат. ...со всеми своими безумными

кровавыми опытами социализма...

Инженер (*кладет трубку*). Да постойте, вам говорят! Дело в том, товарищи... мм... не советские войска, а войска белого генерала разбиты наголову; полки сдаются за полками; сотнями сдаются офицеры... Словом, разгром, и разгром полный... (*Садится, мешает ложечкой в стакане.*)

Все притихли, опустив головы, мешают в стаканах ложечками. Долгое молчание. Вполголоса, не глядя по сторонам, перекидываются тихо.

Помещица. Какая сегодня погода?

Дама декольте. Кажется, дождик моросит.

Литератор. Нет, луна.

Помещик. Говорят, ветер.

Литератор (*взглядывает на стоящего служащего*). Товарищ, что же вы стоите?

Художник. Да вы садитесь!

Рундуков. Садись, садись, брат, без стеснения. Сшиты-то мы все из одной кожи. Чего там!

Дамы (*хором, раздвигая стулья*). Садитесь, товарищ, садитесь! Вот сюда, вот тут место есть. Да ничего, садитесь.

Все. Садитесь, садитесь с нами. Теперь все равны. Не трудящийся да не ест. *(Его слегка подвигают к стулу.)*

Служащий. Это-то я знаю. *(Неловко садится между дам.)*

Дама декольте. Ну, вот и прекрасно! Я очень рада. *(Помахивая веером, искоса поглядывает на него, кокетливо.)* Вы в театре быва-ете? У вас интересные глаза.

Жена адвоката. Да вы снимите перчатки, зачем это! Все ведь без перчаток. Вам удобнее будет. *(Тот снимает.)* Хотите чаю?

Служащий *(приподымается).* Я налью себе сам.

Дамы. Нет, нет, не беспокойтесь. Мы вам сейчас...

Жена адвоката, советская барышня и дама декольте торопливо наливают и несут ему каждая по стакану.

Адвокат. В Советской России этому места не должно быть. *(Собирает рюмки.)* Надо убрать. Это – разврат.

Служащий. Позвольте, я отнесу.

Адвокат и жена адвоката. Нет, нет, нет!.. Вы пейте чай. Все одинаково должны тру-

даться. Не трудящийся да не ест. (Уносят бутылки и рюмки; литератор и художник, запрокидывая головы, торопливо допивают остатки.)

Художник (допивая свою рюмку). Не трудящийся да не пьет.

Профессор. Товарищи, при той великой стройке, которая сейчас совершается в России, я, как представитель науки, должен сказать: нигде, ни в одной стране, наука не пользуется таким почетом, уважением, как в России. Да здравствует наука на пользу и на строительство новой жизни!

Все. Да здравствует советская власть!

Артист. Товарищи!

Голоса. Слушайте, слушайте!.. Тише!..

Артист. Товарищи! Наука и искусство – родные сестры. Если одну любят, холят, то и другую нежат, заботятся о ней. Я должен сказать: искусство нигде не развернулось таким пышным цветом, как в стране благородных коммунистов.

Балаболов. Александр Эрастович, как бы мне записаться в партию?

Адвокат. Я сам думаю об этом. Надо реко-

мендации добыть.

Артист. Надо спросить нас, художников, артистов, как мы себя чувствовали раньше, при господстве буржуазии. Бывало, выйдешь на сцену, глянешь в партер, в ложи – что же это такое? Свиные рыла, плешивые, обрюзглые, а по огромным животам золотые собачьи цепи. И уж ничем его не прошибешь, все ему прискучило, все приелось, – облопался. Играешь и с болью сердечной видишь, как все твоё вдохновение, все искусство идет мимо этих обожравшихся золотых мешков. Им что нужно? Кафе-шантаны, полуголые девицы, отдельные кабинеты... Искусству они чужды и глухи.

Дамы. Ах, как это все верно!.. Восхитительно...

Артист. А теперь! Глянешь – крепкие рабочие, трудовые лица, внимательные, острые глаза, схватывающие каждый ваш жест, каждый оттенок. И сколько понимания, сколько чутья!

Все. Bravo, bravo! (Аплодисменты.) Да здравствует трудовой народ!..

Помещик. Д-да... Я тысячу десятин пожерт-

вовал трудовому народу...

Рундуков. Я четыре дома по пяти этажей пожертвовал трудящимся, чтобы беднота не гнила по подвалам, а сам теперь в одной комнате ючусь, – для народа можно.

Советская барышня. Я тоже не сплю по ночам над советской работой. Ведь теперь каждый должен отдавать все свои силы, всего себя на строительство новой жизни.

Балаболов. Я тоже как специалист...

Литератор (*перебивая*). И я!

Художник. И я!..

Адвокат. Товарищи, мы все идем за мировым пролетариатом. Ведь только в этом и есть смысл жизни для нас, истинно интеллигентных людей.

Советская барышня. Товарищи, мы все увлечены революционным порывом. Мы все идем под красным знаменем пролетариата. А посмотрите, что делается с вождем пролетариата? (*Указывает на портрет.*) Смотрите!

Голоса. Ужасно! Возмутительно!

Жена адвоката. Кто это сделал? В моем доме!

Все переглядываются. Адвокат торопливо

снимает с портретов салфетку и платок.

Помещица. Я не знаю, и во сне не снилось. Это он. *(Указывает на литератора.)*

Жена адвоката. Так это вы?!!

Все *(наступая).* Это вы?!!

Литератор. Да я ни сном ни духом. Клянусь богом! Никогда не позволю себе! В лучших домах принят... У Рябушинского читал свои произведения.

Голоса. Какая развязность!

Литератор. Да не я же. Это, должно быть, он. *(Указывает на художника.)* А я ничего не видел. Клянусь богом, я за пальмой сидел, я и...

Жена адвоката *(азартно).* Не давайте ему говорить! Не давайте ему говорить! Уходите, уходите!..

Литератор испуганно пятится и уходит.

Помещица. А другой вот! На него показал тот. *(Указывает на художника.)*

Художник. Да что вы! Я и портрета-то не видел.

Адвокат. Милостивый государь, я не потерплю в своем доме... Прошу оставить мою квартиру.

Художник (*растерянно*). Я – я же ни при чем. (*Пятясь задом и кланяясь.*) Я в лучших домах... У Рябушинского мои картины... (*Уходит.*)

Рундуков. Выпроводили двух хулиганов.

Профессор. Позорят литературу и искусство.

Дама декольте. Ужасный циник!

Профессор. Кто?

Дама декольте. Этот вот, что у Рябушинского: хотел поцеловать меня. Какая наглость!

Балаболов. Пощечину заслужил.

Дама декольте. И тот хотел.

Балаболов. Кто?

Дама декольте. Тоже у Рябушинского... Какой цинизм!..

Жена адвоката. В моем доме!.. Что же вы мне не сказали?

Дама декольте. Не успела.

Балаболов. Забудемте этот печальный инцидент. Теперь обратимся, господа...

Помещик. Какие здесь господа?..

Помещица. Это он намекает, Коко, на нас. Мужики постоянно пальцами тыкают и все

говорят: «Господа-баре».

Помещик. Я, милостивый государь, этого не оставлю.

Балаболов. Какой я «милостивый государь»!.. Я служу в победоносной Красной Армии.

Помещик. Извиняюсь, товарищ...

Балаболов. Нет-с, позвольте-с, теперь я этого не оставлю... Это оскорбление!

Помещик. Да я, товарищ, против вас, товарищ, ничего не имею. Я, товарищ, знаю вас, товарищ, с самой лучшей стороны, как товарища.

Адвокат. Будет, будет, товарищи. Не надо омрачать праздника революции. Будем просить уважаемого Николая Николаевича прочитать нам что-нибудь революционное.

Все. Просим, просим!..

Помещица. Постойте, а как же с доктором молодости?

Помещик. Фу, да нет! Постой, не то совсем!

Помещица. Нет, подожди, так же нельзя. Я политикой не занимаюсь, но профессор говорит: общество движется задом наперед, от старости к молодости. Значит, и у человека

это бывает. Я бы и хотела просить Герасима Ивановича указать, к какому доктору обратиться по этому поводу.

Адвокат. В том-то и дело, Марья Евгеньевна, это была маленькая ошибочка, недосмотр: общество движется вперед лицом, а не задом, это теперь выяснено. И... и лучше об этом помолчать. Мало ли что, теперь везде уши. Такие времена.

Помещица. А-а! Ну, я ведь не знала.

Жена адвоката. Николай Николаевич, так, пожалуйста, из вашего революционного цикла.

Все. Просим, просим!

Артист (вдохновенно).

*Выдь на Волгу! Чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется –
То бурлаки идут бечевой...
Волга, Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля.
Где народ, там и стон.*

Все. Bravo! Bravo, bravo! Интернационал!
Интернационал!

Адвокат (*принимает позу дирижера*). Ну, товарищи, стройно: «Вста-а-вай!..»

Все (*разноголосо, дико, кто куда попало*).
«Вста-а-вай! Вста-а-вай! Вста-а-вай!»

Голоса. Да как слова-то? Слова-то как? Кто слова знает?

Балаболов. Вставай, упавший брат!

Адвокат. Вовсе нет. Вставай, погибший брат!

Помещик. Вставай, проклятый брат!

Помещица. Я знаю: вставай, клейменный брат!..

Адвокат (*трет лоб*). Что-то не то... Помнится, как-то иначе.

Советская барышня. Ну так: «Отречемся от старого мира».

Голоса. Прекрасно!.. Отлично!.. Отречемся... Мы все отреклись.

Адвокат (*дирижирует*). Ну-с!

Дико, врозь, отчаянно, разноголосо поют.

Все. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног...»

Но в этой разноголосице чувствуется своя,

странная гармония.
Занавес.

Железный поток

1

Внеоглядно-знойных облаках пыли, задыхаясь, потонули станичные сады, улицы, хаты, плетни, и лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей.

Отовсюду многоголосо несется говор, гул, собачий лай, лошадиное ржанье, лязг железа, детский плач, густая матерная брань, бабы переклики, охриплые забубенные песни под пьяную гармонику. Как будто громадный невиданный улей, потерявший матку, разноголосо-растерянно гудит нестройным больным гудом.

Эта безграничная горячая муть поглотила и степь до самых ветряков на кургане, – и там несмолкаемо-тысячеголосое царство.

Только пенисто-клокочущую реку холодной горной воды, что кипуче несется за станицей, не в силах покрыть удушливые облака. Вдали за рекой синеющими громадами загораживают полнеба горы.

Удивленно плавают в сверкающем зное, прислушиваясь, рыжие степные разбойни-

ки-коршуны, поворачивая кривые носы, и ничего не могут разобрать – не было еще такого.

Не то это ярмарка. Но отчего же нигде ни палаток, ни торговцев, ни наваленных товаров?

Не то – табор переселенцев. Но откуда же тут орудия, зарядные ящики, двуколки, составленные винтовки?

Не то – армия. Но почему же со всех сторон плачут дети; на винтовках сохнут пеленки; к орудиям подвешены люльки; молодайки кормят грудью; вместе с артиллерийскими лошадьми жуют сено коровы, и загорелые бабы, девки подвешивают котелки с пшеном и салом над пахуче-дымящимися кизьяками.

Смутно, неясно, запыленно, нестройно; перепутано гамом, шумом, невероятной разноголосицей.

В станице только казачки, старухи, дети. Казаков ни одного, как провалились. Казачки поглядывают в хатах в оконца на содом и гоморру, разлившиеся по широким, закутаным облаками пыли улицам и переулкам:

– Щоб вам повылазило!

Выделяясь из коровьего мычания, горластого, петушиного крика, людского говора, разносятся то обветренные, хриплые, то крепкие степные звонкие голоса:

- Товарищи, на митинг!..
- На собрание!..
- Гей, собирайся, ребята!..
- До громады!
- До ветряков!

Вместе с медленно остывающим солнцем медленно садится горячая пыль, и во всю громадную высоту открываются пирамидальные тополя.

Сколько глаз хватает, проступили сады, белеют хаты, и все улицы и все переулки от края до края заставлены повозками, арбами, двуколками, лошадьми, коровами, – и в садах и за садами, до самых ветряков, что на степном кургане растопыривают во все стороны длинные перепончатые пальцы.

А вокруг ветряков с возрастающим гомом все шире растекается людское море, нехватимо теряясь пятнами бронзовых лиц. Седобородые старики, бабы с измученными лицами, веселые глаза дивчат; ребятишки

шныряют между ногами; собаки, торопливо дыша, дергают высунутыми языками, – и все это тонет в громадной, все заливающей массе солдат. Лохмато-воинственные папахи, измызганные фуражки, войлочные горские шляпы с обвисшими краями. В рваных гимнастерках, в вылинявших ситцевых рубахах, в черкесках, а иные до пояса голые, и по бронзово-мускулистому телу накрест пулеметные ленты. Нестройно, как попало, глядят во все стороны над головами темно-вороненные штыки. Потемнелые от старости ветряки с удивлением смотрят: никогда не было такого.

На кургане возле ветряков собрались полковники, батальонные, ротные, начальники штаба. Кто же эти полковники, батальонные, ротные? Есть дослужившиеся до офицера солдаты царской армии, есть парикмахеры, бондари, столяры, матросы, рыбаки из городов и станиц. Все это начальники маленьких красных отрядов, которые они организовали на своей улице, в своей станице, в своем хуторе, в своем поселке. Есть и кадровые офицеры, примкнувшие к революции.

Командир полка, Воробьев, с аршинными

усами, косая сажень, взобрался на заскрипевший под ним поворотный брус с колесом на конце, и его голос зычно прозвучал толпе:

– Товарищи!

Какой же он крохотный, этот голос, перед тысячами бронзовых лиц, перед тысячами устремленных глаз. Около столпился весь остальной командный состав.

– Товарищи!..

– Пошел к черту!..

– Долой!..

– К бисовой матери!..

– Ня ннадо...

– Начальник, мать вашу!..

– Али в погонах не ходил?!

– Та вин давно сризав их...

– Чего гавкаешь?..

– Бей его, разэтак их!

Неохватимое человеческое море взмыло лесом рук. Да разве можно разобрать, кто что кричал!

У ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца, со сцепленными четырехугольными челюстями. Из-под низко срезанных бровей, как два шила, посверкивают

маленькие, ничего не упускающие глазки, серые глазки. Тень от него лежит короткая – голову ей оттаптывают кругом ногами.

А с бруса с большими усами, надсаживаясь, зычно кричит:

– Да подождите, выслушайте!.. Надо же обсудить положение...

– Пошел к такой матери!

Шум, ругань потопили его одинокий голос.

Среди моря рук, среди моря голосов поднялась исхудалая, длинная, сожженная солнцем и работой, горем, костлявая бабья рука, и замученный бабий голос заметался:

– И слушать не будемо, и не вякай, стервьоты конячее... А-а! Корова була та дви пары быкив, та хата, та самовар – де воно всэ?

И опять исступленно забушевало над толпой, – каждый кричал свое, не слушая.

– Да я б теперь с хлебом был, коли б убрал.

– Сказывали, на Ростов надо пробиваться.

– А почему гимнастерок не выдали? Ни портянок, ни сапог?

А с бруса:

– Так зачем же вы все потянулись, ежели...

Толпу взорвало:

– Через вас же. Вы же, сволочи, завели, вы сманули! Все дома сидели, хозяйство было, а теперь як неприкаянные по степу шаландаем.

– Знамо, завели, – густо отдались солдатские голоса, темно колыхнувшись штыками.

– Куды жа мы теперь?!

– До Екатеринодара.

– Та там кадеты.

– Никуды податься...

У ветряка стоит с железными челюстями и тоненько смотрит острыми, как шило, серыми глазками.

Тогда над толпой непоправимо проносится:

– Прода-али!

Этот голос услышался во всех концах, а которые и не расслышали, так догадались среди повозок, колыбелей, лошадей, костров, зарядных ящиков. Судорога побежала по толпе, и стало тесно дышать. Высоко метнулся истерический бабий голос, но кричала не баба, а маленький солдатик с птичьим носом, голый до пояса, в огромных, не по нем, сапогах.

– Торгуют нашим братом, як дохлою скоти-

ною!..

Из толпы, на целую голову выше ее, расталкивая локтями, молча к ветрякам пробирается с неотразимо красивым лицом, с едва пробивающимися черненькими усиками, в матросской шапочке, и две ленточки бьются сзади по длинной загорелой шее. Он продирается, не спуская глаз с кучки командиров, зажимая в руках злобно сверкающую винтовку.

«Ну... шабаш!..»

Человек с железными челюстями еще больше их стянул. С тоской оглядел бушевавшее человеческое море до самых краев: черно-кричащие рты, темно-красные лица, и из-под бровей искрятся злобно-кричащие глаза.

«Где жена?..»

В матросской шапочке с прыгающими ленточками был уже недалеко, все так же сжимая винтовку, не спуская глаз, как будто боялся потерять из виду, упустить, и так же расталкивая густо зажимавшую его толпу, в шуме и криках шатавшуюся в разные стороны.

Человеку с стянутыми челюстями особенно горько: ведь с ними плечо в плечо дрался пулеметчиком на турецком фронте. Моря

крови... Тысячи смертей над головой... Последние месяцы вместе дрались против кадетов, казаков, генералов: Ейск, Темрюк, Тамань, кубанские станицы...

Он разжал челюсти и сказал железно-мягким голосом, но в шуме и гуле было всюду слышно:

– Меня, товарищи, вы знаете. Вмистях кровь проливали. Сами выбрали в командиры. А теперь, колы так будэ, все ведь пропадем. Козачье с кадетами со всех сторон навалилось. Одного часа упускать нельзя.

Он говорил с украинским говором, и это подкупало.

– Та хиба ж ты погонов не носил?! – пронзительно закричал голый до пояса, маленький.

– Чи я их искал, погоны? Сами знаете, дрался на фронте, начальство и привесило. Разве ж я не ваш? Разве ж однаково не нес хребтом бедность та работу як вол?.. Не пахал с вами, не сиял?..

– Що правда, то правда, – загудело в мечущемся шуме, – наш!

Высокий, в матроске, наконец выдрался из

толпы, в два скачка очутился около и, все так же молча, не спуская глаз, изо всей силы размахнулся штыком, задев кого-то сзади прикладом. Человек с железными челюстями не сделал ни малейшей попытки отклониться, лишь судорога, похожая на улыбку, дернула мгновенно пожелтевшие, как кожа, черты.

Сбоку, нагнув, как бычок, голову, изо всей силы поддал плечом низенький, голый подлокоть матросу:

– Та цю тебе!

И размахнувшийся штык, сбитый в сторону, вместо человека с стянутыми челюстями, по самую шейку вбежал в живот стоявшему рядом молоденькому батальонному. Тот шумно, точно вырвавшийся пар, выдохнул и повалился на спину. Высокий остервенело старался выдернуть застрявшее в позвоночнике острие.

Ротный, с безусым, девичьим лицом, ухватился за крыло ветряка и покарабкался вверх. Крыло со скрипом опустилось, и он опять очутился на земле. Остальные, кроме человека с четырехугольными челюстями, вынули револьверы, – и на изуродованных бледных ли-

цах тоска.

Из толпы к ветряку выдиралось еще несколько человек с безумно разинутыми глазами, судорожно зажимая винтовки.

– Собакам собачья смерть!

– Бей их! Не оставляй для приплоду!..

Внезапно все смолкло. Все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону.

По степи, стелясь к самому жнивью, вытягиваясь в нитку, скакал вороной, а на нем седок в краснопестрой рубахе навалился грудью и головой на лошадиную гриву, спустив по обеим сторонам руки. Ближе, ближе... Видно, как изо всех сил рвется обезумевшая лошадь. Бешено отстает пыль. Хлопьями пены белоснежно занесена грудь. Потные бока взмылились. А седок, все так же уронив на гриву голову, шатается в такт скоку.

В степи опять зачернелось.

По толпе побежало:

– Другий скаче!

– Бачьте, як поспишае...

Вороной доскакал, храпя и роняя белые ключья, и сразу перед толпой осел, покотившись на задние ноги; всадник в полоса-

то-красной рубахе, как куль, перевернулся через лошадиную голову и глухо плюхнулся о землю, раскинув руки и неестественно подогнув голову.

Одни кинулись к упавшему, другие к вздыбившейся лошади, черные бока которой были липко-красны.

– Та це Охрим! – закричали подбежавшие, бережно расправляя стынущего. На плече и груди кроваво разинулась сеченая рана, а на спине черное запекшееся пятнышко.

А уж по всей толпе, за ветряками и между повозками, по улицам и переулкам бежало непотухающей тревогой:

– Охрима порубалы козаки!..

– Ой, лишенько мени!..

– Якого Охрима?

– Тю, сказывся, не знаешь! Та с Павловской. Понад балкою хата.

Подскакал второй. Лицо, потная рубаха, руки, босые ноги, порты – все было в пятнах крови, – своей или чужой? А глаза круглые. Он спрыгнул с шатающейся лошади и бросился к лежащему, по лицу которого неотвратимо потекла прозрачно восковая желтизна и

по глазам ползали мухи.

– Охрим!

Потом быстро стал на четвереньки, приложил ухо к залитой кровью груди и сейчас же поднялся и стоял над ним, опустив голову:

– Сынку... сыне мий!..

– Вмер, – сдержанным гулом отозвалось во круг.

Тот опять постоял и вдруг хрипуче закричал навек простуженным голосом, который отдался у самых крайних хат, среди повозок:

– Славянская станица пиднялась и Полтавская, и Петровская, и Стиблиевская. И зараз по перед церкви на площади в каждой станице виселицу громадят, всих вишают подряд, тилько б до рук попался. В Стиблиевскую пришли кадеты, шашками рубают, вишают, стреляют, конями в Кубань загоняют. До иногородних нэма жалости, – стариков, старух – всих под одно. Воны кажутъ: вси болшевики. Старик Опанас, бахчевник, хата его противу Явдохи Переперечицы...

– Знаемо! – загудело коротким гулом.

– ...просил, в ногах валялся, – повисили. Оружия у них тьма. Бабы, ребятишки день и

ночь копают на огородах, в садах из земли винтовки, пулеметы, тягают из скирдов щели ящики со снарядами, с патронами, – всего наволокли с турецкого фронту, нэма ни коньца, ни краю. Орудия мают. Чисто сказались. Як пожар. Вся Кубань пылае. Нашего брата в армии дуже мучуть, так и висять по деревьях. Которые отряды отдельно в разных мистах пробиваются, хто на Екатеринодар, хто до моря, хто на Ростов, да вси ложатся пид шашками.

Опять постоял над мертвецом, сронив голову.

И в недвижимой тишине все глаза глядели на него.

Он пошатнулся, хватаясь впустую руками, потом схватил уздечку и стал садиться на все так же носившую потными боками лошадь, судорожно выворачивавшую в торопливом дыхании кровавые ноздри.

– Куды? Чи с глузду зъихав?! Павло!..

– Стой!.. Куды?! Назад!..

– Держить его!..

А уже топот пошел по степи, удаляясь. Во все плечо ударил плетью, и лошадь, покорно

вытянув мокрую шею, прижав уши, пошла карьером. Тени ветряков косо и длинно погнались за ним через всю степь.

– Пропадэ ни за грош.

– Та у него семейства там осталась. А тут сын, вишь, лежить.

С железными челюстями разжал их и, тяжело ворочая, медлительно заговорил:

– Видали?

И толпа мрачно:

– Не слепые.

– Слыхали?

Мрачно:

– Слыхали.

А железные челюсти неумолимо перемалывали:

– Нам, товарищи, теперь нэма куды податься: спереду, сзади – всэ смерть. Энти вон, – он кивнул на порозовевшие казачьи хаты, на бесчисленные сады, на громадные тополя, от которых длинно легли косые тени, – може, сегодншнюю ночь кинутся нас ризать, а у нас ни одного часового, ни одного дозора, некому распорядиться. Надо отступать. Куда? Прежде надо перестроить армию. Выберите началь-

ников, но только раз, а потом они будут над жизнью и смертью вольны – дисциплина шоб железная, тогда спасение. Пробьемось к нашим главным силам, а там и из России руку подадут. Согласны?

– Согласны! – дружным взрывом охнула степь, и между повозками по улицам и переулкам, и между садов, и по всей станице до самого до края, до самой до реки.

– Так добре. Зараз выбирать. А потом сейчас переформировать части. Обоз отделить от строевых частей. Командиров распределить по частям.

– Согласны! – опять дружно отдалось в бескрайной узко-желтеющей степи.

В передних рядах стояла благообразная борода. Без особенных усилий густым, слегка хриповатым голосом он покрыл всех:

– Та куды мы идэмо? Чего шукаты?.. Это ж разорение: всё бросилы – и скотину и хозяйство.

Будто камень кто кинул – расступилась, зашаталась, зашумела толпа, и пошло кругами:

– А тебе куды? назад? шоб перебилы всих?..
А благообразная борода:

– Зачем бить, як сами придэмо, оружие сдадим, – не звери ж воны. Вон моркушинские сдались, пятьдесят чоловик, и оружие выдалы, винтовки, патроны, козаки волоса не тронулы, и посеичас пашуть.

– Та це кулачье ж и сдалось.

Загудело, замелькало над головами, и над разгоряченными лицами:

– Та ты понюхай черного кобеля пид хвост.

– Нас без слов вишать начнуть.

– Кому пахать-то пийдемо?! – закричали тонкими голосами бабы. – Опять же козакам та ахвицерам.

– Чи опять в хомут?

– Пид козачий кнут?.. пид ахвицеров та генералов!..

– Уходи, бисова душа, поки цел.

– Бей его! Свои продают...

А борода:

– Та вы послушайте... що ж лааетесь, як кобели?..

– Та и слухать нэма чого. Одно слово – хферт!

Возбужденные, красные лица оборачивались друг к другу, злобно блестели глаза, над

головами мотались кулаки. Кого-то били. Кого-то гнали по шее в станицу.

– Помолчите, граждане!

– Та постойте... куды вы меня!.. Що я вам дался, чи сноп, чи що?

С железными челюстями разжал их:

– Товарищи, бросьте, – треба делом заниматься. Выбрать командующего, а уж он остальных сам назначит. Кого выбираете?

Секунду неподвижное молчание: степь и станица, и бесчисленная толпа – все замерло. Потом поднялся лес мозолистых, заскорузлых рук, и по степи до самых краев, и в станице вдоль бесконечных садов, и за рекой грянуло одно имя:

– Кожу-ха-а-а!..

И покатилося, и долго еще под самыми под синеющими горами стояло:

– ...а-а-а-а!..

Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал под козырек, и видно было, как под скулами играли желваки. Подошел к мертвецам, снял грязную соломенную шляпу. И, как ветром, поднялись все шапки, обнажились все головы, сколько их тут ни было, а бабы всхлипну-

ли: Кожух, опустив голову, постоял над мертвыми:

– Похороним наших товарищей со всеми почестями. Подымайте.

Разостлали две шинели. К батальонному, у которого на груди по гимнастерке кровавилось широкое застывшее пятно, подошел высокий красавец в матросской шапочке, – по шее спускались ленточки, – молча нагнулся, осторожно, точно боясь сделать больно, поднял. Подняли и Охрима. Понесли.

Толпа расступалась, потом свертывалась и текла бесконечным потоком с обнаженными головами. И за каждым неотступно шла длинная косая тень, и идущие ее топтали.

Молодой голос запел мягко, печально:

Вы жертво-ю па-а-ли в борь-бе-е ро-ковой...

Стали присоединяться другие голоса, грубые и неумелые, невпопад, розня и перевирая слова, и нестройно и разноголосо, кто куда попало, но все шире расплывалось:

...люб-ви без-за-ве-е-етной к на-ро-о-ду...

Разноголосо, невпопад, но отчего же вливается тонкая печаль, которая странно вяжется в одно и с одинокой смутно-задумчивой степью, и с старыми почернелыми ветряками, и с высокими, чуть тронутыми позолотой тополями, и с белыми хатами, мимо которых идут, и с бесконечными садами, мимо которых несут, – как будто здесь все родное, близкое, будто здесь родились, тут и умирать.

И засинели густою вечерней синевою горы.

Баба Горпина, та самая, которая подняла среди леса рук и свою костлявую руку, вытирает заклоустанным подолом красные глаза, мокрые, набитые пылью морщинки и шепчет, всхлипывая и неустанно крестясь:

– Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас... святой боже, святой крепкий... – и горько сморкается в тот же подол.

Дружно идут солдаты, размашистым шагом, с замкнутыми лицами, насунутыми бровями, и стройно колыхаются рядами темные штыки.

...ВЫ ОТ-ДА-А-ЛИ все, что МОГ-ЛИ за не-е-го...

Задремавшая на ночь пыль опять вечерне подымается ленивыми клубами, все заволакивая.

И ничего не видно, только слышен густой гул шагов, да –

...святой крепкий, святой бессмертный...
...из-ны-ва-ли... в тюрь-мах сы-рых...

Потемневшие на покой ночи траурные громады гор загораживают первые робкие звезды.

Вот и кресты. Одни упали, другие покосились. Тянутся пустыри, поросшие кустами. Мягко пролетела сова. Беззвучно запорхали нетопыри. Иногда смутно забелеет мрамор, пробьется сквозь вечернюю мглу золото надписей, – памятники над богатеями казаками, торговцами, памятники над крепкой хозяйской жизнью, над нерушимым укладом, – а над ними идут и поют:

...па-дет про-из-вол и вос-ста-нет народ...

Вырыли рядом две могилы. Тут же торопливо сколачивали смутно белевшие свежим пахучим тесом гробы. Положили покойников.

Кожух встал на свеженасыпанную землю с обнаженной головой:

– Товарищи! Я хочу сказать... погибли наши товарищи... Да... мы должны отдать им честь... они погибли за нас... Да, я хочу сказать... С чего ж воны погибли?.. Товарищи, я хочу сказать, Советская Россия не погибла, она будэ стоять до скончания века. Мы тут, товарищи, я хочу сказать, зажаты, а там – Россия, Москва, Россия возьмет свое. Товарищи, в России, я хочу сказать, рабоче-крестьянская власть... От этого все образуется. На нас идут кадеты, то есть, я хочу сказать, генералы, помещики и всякие капиталисты, одним словом, я хочу сказать, живодеры, сволочь! Но мы им не дадимся, мать их так, да! Мы им покажем. Товарищи, э-э... мм... я хочу сказать, засыпем наших товарищей и поклянемся на их могилах, постоим за Советску власть...

Стали опускать. Баба Горпина, зажимая

рот, начала всхлипывать, тихонько, по-щенячьи повизгивая, потом заголосила; за ней другая, третья. Все кладбище заметалось бабьими голосами. И каждая старалась протолкнуться, нагнуться, черпнуть рукой земли и кинуть в могилу. Земля глухо сыпалась.

Кожуха на ухо спросили:

– Сколько патронов дать?

– Штук двенадцать.

– Жидко будет.

– Знаешь, патронов нет. Каждую штуку приходится беречь.

Рванул негустой залп, другой, третий. Мгновенно, раз за разом ярко выхватывались лица, кресты, быстро работавшие лопаты.

И когда смолкло, все вдруг почувствовали: стоит ночь, тишина, пахнет теплой пылью, и немолчный шум воды нагоняет дрему, не то смутные воспоминания, – не вспомнишь о чем, а за рекой, на краю, далеко протянувшись, лежит тяжелыми изломами густая чернота гор.

3

Ночные оконца черно смотрят в темноту, и в их неподвижности зловещая затаенность.

От жестяной, без стекла, лампочки на табурете бежит к потолку, торопливо колеблясь, черный траур. Густо накурено. На полу фантастический ковер с бесчисленными знаками, линиями, зелеными, синими пятнами, черными извивами – громадная карта Кавказа.

В распоясанных рубахах, босые, осторожно ползают по ней на четвереньках – командный состав. Одни курят, стараясь не уронить на карту пепел; другие, не отрываясь, все лезут по ней. Кожух с сжатыми челюстями сидит на корточках, смотрит мимо крохотными светло-колючими глазками, а на лице – свое. Все тонет в сизом табачном дыму.

В черноту окошечек, ни на секунду не смолкая, накатывается полный угрозы шум реки, который днем забывается.

Осторожно, полушепотом, хотя из этой и из соседних хат все выселены, перекидываются:

- Мы все тут пропадем: ни один боевой приказ не выполняется. Разве не видите?..
- С солдатами ничего не поделаешь.
- Так и они все подло пропадут – всех каза-

ки изрубят.

– Гром не грянет, мужик не перекрестится.

– Какой черт – не грянет, коли кругом пожаром все пылает.

– Ну, пойдя, расскажи им.

– А я говорю – Новороссийск надо занять и там отсиживаться.

– О Новороссийске не может быть и речи, – сказал в чисто вымытой подпоясанной рубахе, гладко выбритый, – у меня донесение товарища Скорняка. Там невылазная каша: там и немцы, и турки, и меньшевики, и эсеры, и кадеты, и наш ревком. И все митингуют, без конца обсуждают, толкаются с собрания на собрание, вырабатывают тысячи планов спасения, – и все это переливание из пустого в порожнее. Ввести армию туда – значит окончательно ее разложить.

В непотухающем шуме реки явственно отпечатался выстрел. Он был далекий, но сразу ночные оконца своей таящей неподвижностью и чернотой сказали: «Вот... начинается...»

Все внутренне напряженно вслушивались, а внешне, не выпуская папирос и отчаянно

дымя, продолжали ездить пальцами по изученной до последней черточки карте.

Но, сколько ни ездят, было все то же; налево, не пуская, синее синей краской море; направо и кверху пестреет множество враждебных надписей станиц и хуторов; книзу, на юге, рыже-желтой краской загораживают дорогу непроходимые горы, – как в западне.

Огромным табором стоят вот у этой черной извивающейся по карте реки, шум которой все время вкатывается в черные окошечки. А в помеченных всюду на карте балках, в камышах, лесах, степях, в хуторах и станицах собираются казаки. До сих пор еще кое-как подавляли порознь восставшие станицы, хутора, а теперь пылает в восстании вся громада Кубани. Советская власть всюду сметена; представители ее по хуторам, по станицам изрублены, и, как кресты на кладбище, всюду густо стоят виселицы: вешают большевиков, а их больше всего среди иногородних, но есть и казаки-большевики; те и другие болтаются на виселицах. Куда же отступить? Где спасение?

– Ясно дело, на Тихорецкую пробираться, а

там – на Святой Крест, а там – в Россию уйдем...

– Умная голова – Святой Крест! Как же ты до него доберешься через всю восставшую Кубань, без патронов, без снарядов?

– А я говорю, к главным силам пробиваться...

– Да где они, главные-то силы? Ты эстафету получил, что ли? Так скажи нам.

– Я говорю, Новороссийск занять и отсиживаться, пока из России не подойдет помощь.

Они говорят, а за словами у каждого стоит: «Если б мне поручили все дело, я бы отличный план составил и всех бы спас...»

Снова зловеще, покрывая ночной шум реки, раздался далекий выстрел; немного погоды сдвоило, потом еще раз, да вдруг посыпало из решета – и смолкло.

Все повернули головы к неподвижно черным оконцам.

Не то за стенкой очень близко, не то на чердаке заорал петух.

– Товарищ Приходько, – разжал челюсти Кожух, – пойдите, узнайте там.

Молодой невысокий кубанский казак, с

красивым, слегка прихваченным оспой лицом, в тонко перетянutom бешмете, вышел, осторожно ступая босыми ногами.

– А я говорю...

– Извините, товарищ, совершенно недопустимо... – перебивает гладко выбритый, спокойно стоя и глядя на них сверху: все это – выбившиеся на войне в офицеры солдаты из крестьян, либо бондари, столяры, парикмахеры, а он – с военным образованием и давнишний революционер, – совершенно недопустимо вести армию в таком состоянии, это значит – погубить ее: не армия, а митингующий сброд. Необходимо реорганизовать. Кроме того, десятки тысяч беженских повозок совершенно связывают по рукам и ногам. Их необходимо оторвать от армии – пусть идут куда хотят или возвращаются домой; армия должна быть совершенно свободна и не связана. Пишите приказ: «Остаемся в станице на два дня для реорганизации...»

Он говорил, и слова заслоняли ход и язык мысли:

«У меня широкие знания, соединение теории с практикой, глубоко историческое изу-

чение военного дела, – почему же он, а не я? Толпа слепа, и всегда толпа...»

– Чого ж вы захотели? – голосом ржавого железа заговорил Кожух. – У каждого солдата в обозе мать, отец, невеста, семейство, – та разве ж он покинет их? Коли будем сидеть тут, дождемся – вырежут до одного. Иттить надо, иттить и иттить! На ходу переформируемся. Надо скорее мимо города, не останавливаться, а иттить берегом моря. Дойдем до Туапсе, там по шоссе перевалим через главный хребет и соединимся с главными силами. Они далеко не ушли. А тут каждый день смерть обступает.

Тогда все разом заговорили, и у каждого был отличный для него и, никуда не годный для других проект.

Кожух поднялся, заиграл железными желваками и, тоненько покалывая крохотными глазками отлива серой стали, сказал:

– Завтра выступать... с рассветом.

И подумал: «Не выполнят, сволочи!..»

Все нехотя замолчали, и за этим молчанием стояло:

«Дураку закон не писан».

Когда Приходько вышел, шум воды вырос, наполняя всю темноту. У дверей на черной земле темный и низкий пулемет. Возле две темные фигуры с темными штыками.

Приходько идет, присматриваясь. Небо сплошь загорожено теплыми невидимыми тучами. Далеко собаки лают в разных концах, упорно, без устали, на разные голоса. Замолчат, послушают: шумит река, и опять – упорно, надоедливо.

Смутно белеющими пятнами проступают неугадываемые хаты. На улице черно наворочено; присмотришься – повозки; густо несется храп и залиvistое сонное дыхание и изпод повозок и с повозок – везде навалены люди. Высоко чернеет посреди улицы: тополь – не тополь и не колокольня; присмотришься – оглобля поднята. Мерно и звучно жуют лошади, вздыхают коровы.

Алексей осторожно шагает через людей, освещая на секунду папиросой. Мирно и тихо, а чего-то ждешь, далекого выстрела, что ли, и чтоб опять сдвоило?

– Кто идет?

– Свой.

– Кто идет... тудды тебе!

Слабо различимые, легли на руки два штыка.

– Командир роты, – и, нагнувшись, шепотом: – «Лафет».

– Верно.

– Отзыв?

Солдат, щекотно влезая жесткими усами в ухо, хриповато шепчет:

– «Коновязь», – и из-под усов густо расплывается винный дух.

Он идет, и опять черно-неразличимые повозки, звучно жующие лошади, сонное дыхание, ни на минуту не прерывающийся шум воды, упорный, надсадистый собачий лай. Осторожно переступает через руки, ноги. Кое-где под повозками незаснувший говорок – солдаты с женами; а под плетнями – тайный смех, задавленные взвизги – с любезными.

«Спохватились-таки да и то пьяные, каналы. Все вино у казаков, небось, вылакали. Да это что ж: пей, да ума не пропивай... Как это казаки не вырезали нас до сих пор? Дурачье!»

Забелелось... не то узкая хата, не то блес-

нул в темноте белизной холст.

«Да и сейчас не поздно: на брата с десяток патронов наберется, нет ли, на орудие десятка полтора снарядов, а у них всего...»

Белое шевельнулось.

– Ты, Анка?

– А ты чего по ночам блукаешь?

Темная, должно быть вороная, лошадь жует наваленное в оглоблях сено... Он стал свертывать другую папиросу. Она, держась за повозку, почесала босую ногу о ногу. Под повозкой разостланная полсть, и слышится здоровенный храп – отец спит.

– Долго мы будем прохлаждаться?

– Скоро, – и пыхнул папиросой.

Озаренно проступил кусок его носа, коричнево-табачные концы пальцев, искорки в глазах девушки, крепко выбегающая из белой рубахи шея, монисто, потом опять – мгновенная тьма, уродливые очертания повозок; коровы вздыхают, жуют лошади, и шумит река. Отчего не слышать выстрела?

«Взять да жениться на ней...»

И сейчас же, как это всегда бывало, проступает тоненькая, как стебелек, шейка

незнаемой девушки, голубые глаза, нежное голубовато-сквозное платье... Гимназию кончила... И даже не жена, а невеста... девушка, которую он никогда не видал, но которая где-то есть.

– Я, если козаки до нас приступят, заколюсь.

Она полезла за пазуху, вытащила оттуда тускло поблескивавшее.

– Во-острый... попробуй.

Ти-ли-ли-ли...

Станный ночной удаляющийся голос, тонко хватающий за душу, только не детский плач; должно быть, филин.

– Ну, надо уходить, нечего тут валандаться...

И никак не отдерет ног, приросли. И, чтобы отодрать их, думает:

«Как корова, почесалась ногой за ухом...»

Но это не помогает, и он стоит, затягивается, – и опять мгновенно из тьмы кусок носа, пальцы, крепкая девичья шея с ямочкой, монисто и молодая грудь, облитая белой с вышивкой рубахой... снова тьма, шум реки, людское дыхание.

Лицо близко около ее глаз. Иглы, кольнув, разбежались, он берет за локоть.

– Анка!

От него пахнет табаком, молодым, здоровым телом.

– Анка, пойдём до садов, посидим...

Она уперлась обеими руками ему в грудь, рванулась так, что он пошатнулся, наступая сзади кому-то на ноги, на руки. Белое торопливо мелькнуло в заскрипевшую повозку, покатился подмывающий смешок, и утомилось; а баба Горпина подняла голову с подушки, села в повозке и отчаянно заскреблась.

– У-у, полуношница!.. И коли тоби утомон возьме? Хтось такий?

– Я, бабо.

– А-а, Алешенька. Це ты? Не спизнала. Що таке буде, солодкий мий? Ой, горя-несчастя выпьемо. Чуе мое сердце. Як выизжалы, перше кошка дорогу перебигла, така здорова та брюхата, а писля того – заяц як стрикане, боже ж ты мий милосердный! Що ж таке балшавики думают: усе добро оставилы. Як замуж мене за старика отдавалы, мамо и каже: от тоби самовар, береги его, як свой глаз; будешь

помирать, щоб дитям твоим и внукам. Як Анку буду выдавать, ей отдам. А тепер усе бросилы, худобу усю бросилы. Що балшавики думают? И що буде совитска власть робиты? Та нэхай ця власть подохне, як пропадэ мий самовар! На три дня, казалы, выизжайте, через три дня усе на место стане, а от уж цилу недилю блукаем, як неприкаянные. Яка ж вона совитска власть, як не може ничего для нас робиты? Кобелю власть. Геть козаки пиднялись, як оглашеннии. Жалко наших, Охрима тай того... молоденький такой. О, боже ж мий милый!..

Баба Горпина все скребет себя, и, когда замолчала, забывшаяся река напомнила о себе: шумит, наполняя всю громаду ночи.

– Э-э, бабо, що скулить, – с того добра нэ будэ.

Опять пыхнул папирсой, думая о своем: не то с ротой остаться, не то при штабе. Где же и когда встретит голубые глаза, тоненькую шейку?

Но баба уж не угомонится. Как тень, за нею долгая жизнь, – трудно. Два сына на турецком фронте легли; два тут в армии под ружьем.

Старик под повозкой храпит, а эта сорока ты-хесенько притулилась, должно, спит, да разве ее узнаешь? Ой, трудно! Жилы все повытягла за свою долгую жизнь – шестой десяток пошел. И старик и сыновья – хребтина трещала от работы. А на кого работали? На казаков та на ихних генералов, ахвицеров. У них вся земля, а иногородний, как собака... Ой, лишенько! Так и работали, глядя в землю, як быки. Утром, вечером, каждый день царя в молитвах поминала, – родителей, потом царя, потом детей, потом всех православных христиан. А он – не царь, а кобель серый, его и спихнули. Ой, лишенько, аж поджилки затряслись, страшно стало, как услышала, что царя спихнули. А потом так и надо – кобель и кобель.

– Блох нонче сила.

И баба опять зачухалась. Потом глянула в темноту, – шумит река, – покрестилась:

– Должно, утро скоро.

Прилегла, да не спится, вся жизнь стоит, как тень над человеком, и никуда не уйдешь, – стоит, молчит, как нету ее, а сама вся тут...

– Балшавики в бога не верють. Шо ж, ма-
будь, знають, свое делают: пришлы, усе сра-
зу як повалялы. Ахвицера, помещики утеклы
швидко. От козаки и озверинилысь... Дай им,
господи, здоровья, даром шо в бога не верють.
Опять же свои, не басурманы... Як бы порань-
ше объявилысь, не було б цией проклятой
войны, живы були б мои сыночки. У Туретчи-
не сплять... И откуда ции балшавики взя-
лысь? Кажуть, у Москви народилысь, а кото-
ры кажуть, у Германии, – германьский царь
породил та на Россию наслав. А воны, як при-
ихалы, в одно горло: землю и землю людям,
щоб над той землей робылы на себе, а не на
козаков. Хороший чоловіки, тильки чого во-
ны мий само... спл... сплять... сы... сыно...
доб... добра... кошка... ди... ты...

Задремала старая, уронила голову, – долж-
но быть, заря скоро.

У каждого свое. Под повозкой, придвину-
той к самому плетню, как будто горлинка
воркует. И откуда бы горлинке ночью ворко-
вать под повозкой у плетня, ворковать и де-
лать гулюшки и пускать пузыри маленьким

ротиком? «Вввв-ва» и «уавва-ва...» Но, должно быть, кому-то это сладко, и милый грудной материнский молодой голос тоже воркует:

– Та що ж ты, мое квиточко, мий цвиточек? Та покушай ще. Ну, на, на! Та шо ж ты нэ берэш? От як мы умием – головой верть, та языком геть мамкину сиську.

И она смеется таким заразительно-счастливым смехом, что кругом посветлело. Не видеть, но, наверное, черные брови и мутные серебряные серьги в маленьких ушах.

– Не хочеш? Що ж ты, мое шишечко? Ой, який сердитый! Як мамкину сиську тискае рученятками. А ноготки, як бумага папирозна... Дай поцелую каждый пальчик: раз! та ще два! та три!.. О-о, яки велики пузыри пускае! Великий чоловік будэ. А мамка будэ старенька тай беззуба, а сын скаже: «ну, стара, садись до стола, буду тебе кашей тай саломатой годуваты». Степан, Степан, та що ж ты спишь? Та проснись, сын гуляе...

– Постой!.. фу-у... не трожь, пусти... спать хочу...

– Та, Степане, проснись же, сын гуляе. Який же ты неповоротливый! От я тоби сына

кладу. Таскай его, сынку, за нос та за губу, – от так! от так!.. Батько твий не нагуляв ще бороды соби и усив, так ты его за губу, за губу таскай.

А в темноте сначала заспанный, а потом такой же радостно улыбающийся голос:

– Ну, ложись, ложись, сынку, до мене, нечего тобі с бабой возиться, будемо мужыковаты. Зараз на войну пидемо, а там работать с тобой у паре будемо, землю годуваты... Э-э, тащо ж ты пид мене моря пуцаешь?

А мать смеется неизъяснимо радостным, звенящим смехом.

Приходько идет, осторожно шагая через ноги, дышла, хомуты, мешки, временами освещая папирсой.

Уже все замолкло. Всюду темно. И даже под повозкой у плетня тихо. Собаки молчат. Только река шумит, но и ее шум присмирел, куда-то отодвинулся, и громадный сон мерным дыханием покрывает десятки тысяч людей.

Приходько шагает, уже не ждет вздваивающихся выстрелов; слипаются глаза; чуть на-

чинают угадываться неровные края гор.

«А ведь на самой на заре и нападают...»

Пошел, доложил Кожуху, потом разыскал в темноте повозку, влез, и она заскрипела и закачалась. Хотел думать... о чем, лишь?! Завел слипающиеся глаза и стал сладко засыпать.

5

Звон железа, лязг, треск, крики... Та-та-та-та...

– Куды?! куды?! постой!..

Что это пылает во все небо: пожар или заря?

– Первая рота, бего-ом!

Черные полчища грачей без конца мелькают по красному небу с оглушительным криком.

Всюду в предрассветной серости надеваемые хомуты, вскидываются дуги. Беженцы, обозные, роняя оглобли, задевают друг друга, неистово ругаются...

...бум! бум!..

...лихорадочно запрягают, цепляются осями, секут лошадей, и с треском, с гибелью, с отлетающими колесами безумно несутся по мосту, поминутно закупоривая.

...тра-та-та-та... бумм... бумм!..

Утки несутся в степь на кормежку. Отчаянно
но голоса бабы...

...та-та-та-та...

Артиллеристы лихорадочно прихватывают
к валькам построжки.

С выпученными глазами, в одной коротенькой гимнастерке, без штанов, мелькает
волосатыми ногами солдатик, волоча две
винтовки, и кричит:

– Иде наша рота?.. иде наша рота?..

А за ним, истошно голося, простоволосая
расхристанная баба:

– Василь!.. та Василь!.. та Василь!..

Та-та-тррра-та-та!.. бумм!.. бумм!..

Вон уже началось: в конце станицы над хатами,
над деревьями быстро поднимаются клубящимися
громадами столбы дыма. Ревет скотина.

Да разве кончилась ночь? Разве только что
не была разлита темнота, и сонное дыхание
десятков тысяч, и неумирающий шум реки, и
разве не лежали на краю невидимой черной
горы?

А теперь они не черные и не голубые, а ро-

зовые. И, заслоняя их, заслоняя померкший шум реки, грохот, треск, скрип поднимающихся обозов, раскатывается, наполняя холодком сжимающееся сердце: ррр... трра-та-та-та...

Но все это кажется маленьким, ничтожным, когда из расколотого воздуха вываливается сотрясающий грохот: бба-бах!!.

...Кожух сидит перед хатой. Лицо спокойно-желтое, – как будто кто-то собирается уезжать по железной дороге, и все суется, спешат; а вот уйдет поезд, и опять все будет тихо, спокойно, обыкновенно. Поминутно к нему прибегают или скачут на взмыленной лошади с донесениями. Около наготове адъютант и ординарцы.

Выше подымается солнце, нестерпимо раскатывается ружейная и пулеметная трескотня.

А у него на все донесения одно:

– Беречь патроны, беречь, як свой глаз; расходовать только в самом крайнем случае. Подпускать близко, и в атаку. Не допускать до садов, до садов не допускать! Возьмите две роты из первого полка, отбейте ветряки, поставьте пулеметы.

К нему со всех сторон бегут с тревожными донесениями, а он все такой же спокойно-желтый, лишь желваки перекатываются на щеках и кто-то, сидя внутри, весело приговаривает: «Добре, хлопьята, добре!..» Может быть, через час, через полчаса казаки ворвутся и будут всех наповал рубить! Да, он это знает, но он и видит, как послушно и гибко рота за ротой, батальон за батальоном выполняют приказания, как яростно дерутся те батальоны и роты, которые еще вчера анархически орали песни, в грош не ставили и командиров и его и лишь пили да возились с бабами; видит, как точно приводят в исполнение все его распоряжения командиры, те самые командиры, которые еще этой ночью так дружно презрительно помыкали им.

Привели солдата, захваченного и отпущенного казаками. У него отрезаны нос, уши, язык, обрублены пальцы, и на груди его же кровью написано: «С вами со всеми то же будет, мать вашу...»

«Добре, хлопьята, добре...»

Яростно наседают казаки.

Но когда прибежали из тыла и, задыхаясь,

сказали: «Там, перед мостом, идет бой...» – он пожелтел, как лимон, – идет бой промеж обозных и беженцев... – Кожух бросился туда.

Перед мостом – свалка: рубят топорами друг у друга колеса, возят друг дружку кнутами, кольями... Рев, крик, бабий смертный вой, детский визг... На мосту громадный затор, сцепившиеся осями повозки, запутавшиеся в постромках, храпящие лошади, зажатые люди, в ужасе оружие дети. Тра-та-та... – из-за садов... Ни взад, ни вперед.

– Сто-ой!.. стой!.. – хрипучим, с железным лязгом, голосом ревел Кожух, но и сам себя не слышал. Выстрелил в ухо ближайшей лошади.

На него кинулись с кольями.

– Га-а, бисова душа! Животину портить!.. Бей его!!.

Кожух с адъютантом, с двумя солдатами отступал, прижатый к реке, а над ними гудели колья.

– Пулемет... – прохрипел Кожух.

Адъютант, как вьюн, скользнул под повозки, под лошадиные пуза. Через минуту подкатили пулемет, и прибежал взвод солдат.

Мужики заревели, как раненые быки:

– Бей их, христопродавцев! – и стали ко-
льями выбивать винтовки из рук.

Солдаты отбивались прикладами – не стре-
лять же в отцов, матерей и жен.

Кожух прыгнул, как дикий кот, к пулеме-
ту, заложил ленту и: та-та-та... веером поверх
голов, и ветер смерти с пением зашевелил во-
лосы. Мужики отхлынули. А по-за садами по-
прежнему: та-та-та...

Кожух перестал стрелять и, надсаживаясь,
стал выкрикивать трехэтажные матерные ру-
гательства. Это сразу успокоило. Приказал по-
возки на мосту, которые нельзя было расце-
пить, скинуть в реку. Мужики повиновались.
Мост расчистили. Перед мостом стал взвод с
винтовками на руку, а адъютант стал пропус-
кать по очереди.

Повозки неслись вскачь через мост по три
в ряд; бежали, мотая рогами, привязанные ко-
ровы; отчаянно визжа и натягивая веревки,
карьером неслись свиньи, и грохотал настил
моста, прыгали доски, как клавиши, и в гро-
хоте тонул шум реки.

Солнце все выше. Расплавленным блеском

нестерпимо играет вода.

За рекой широчайшей полосой несутся обозы, теряясь в облаках пыли, все больше и больше пустеют площади, улицы, переулки, вся станица.

Огромной, поминутно вспыхивающей выстрелами дугой охватили казаки станицу, упираясь концами в реку. Все уже дуга, все теснее в ней станице, садам, обозам, которые непрерывно сыплются через мост. Бьются солдаты, отстаивают каждую пядь, бьются за своих детей, отцов, матерей, берегут каждый патрон, редко стреляют, но каждый выстрел родит казачьих сирот, слезы и плач в казачьих семьях.

Остервенело наваливаются казаки, близко, совсем близко мелькает их цепь, уже заняли окраину садов, мелькают из-за деревьев, из-за плетней, из-за кустов. Залегли, шагов с десятков, между цепями. Стихло, – берегут солдаты патроны: караулят друг друга. Крутят носами: чуют – несет из казачьей цепи густым сивушным перегаром. Завистливо тянут раздувшиеся ноздри:

– Нажрались, собаки... Эх, кабы достать!..

И вдруг не то возбужденно-радостный, не то по-звериному злобный голос из казачьей цепи:

– Бачь! та це ж ты, Хвонка!! Ах, ты ммать ттвою крый, боже!..

И сейчас же из-за дерева воззрился говяжьими глазами молодой гололицый казачишка, весь вылез, хоть стреляй в него.

А из солдатской цепи также весь вылез такой же гололицый Хвонка:

– Це ты, Ванька?! Ах, ты, ммать ттвою, бай-стрюк скаженний!..

Из одной станицы, с одной улицы, и хаты рядом под громадными вербами. А утром, как скотину гнать, матери сойдутся у плетня и калякают. Давно ли мальчишками носились вместе верхами на хворостинках, ловили раков в сверкающей Кубани, без конца купались. Давно ли вместе спивалы с дивчатами ридны украинские песни, вместе шли на службу, вместе, окруженные рвущимися в дыму осколками, смертельно бились с турками.

А теперь?

А теперь казачишка закричал:

– Шо ж ты тут робишь, лахудра вонюча?! Спизнался с проклятущими балшевиками, бандит голопузый?!

– Хто?! Я бандит?! А ты що ж куркуль поганый... Батько твий мало драл с народу шкуру с живово и с мертвоово... И ты такой же павук!..

– Хто?! Я – павук?! Ось тобі!! – откинул винтовку, размахнулся – рраз!

Сразу у Хвонки нос стал с здоровую грушу. Размахнулся Хвонка – рраз!

– На, собака!

Окривел казак.

Ухватили друг дружку за душу – и ну, молотить!

Заревели быками казаки, кинулись с говяжьими глазами в кулаки, и весь сад задохся сивушным духом. Точно охваченные заразой, выскочили солдаты и пошли работать кулаками, о винтовках помину нет, – как не было их.

Ох, и дрались же!.. В морду, в переносье, в кадык, в челюсть, с выдохом, с хрустом, с гакком – и нестерпимый; неслыханный дотолематерный рев над ворочавшейся живой ку-

чей.

Казачьи офицеры, командиры солдат, надрываясь от хриплого мата, бегали с револьверами, тщетно стараясь разделить и заставить взяться за оружие, не смея стрелять, – на громадном расстоянии ворочался невиданный человеческий клубок своих и чужих, и несло нестерпимым сивушным перегаром.

– А-а, ссволочи!.. – кричали солдаты. – Нажрались, так вам море по колено... мать, мать, мать!..

– Хиба ж вам, свиньям, цию святую воду травить... мать, мать, мать!.. – кричали казаки.

И опять кидались. Исступленно зажимали в горячих объятиях – носы раздавливали, и опять без конца били кулаками, куда и как попало. Дикая, остервенелая ненависть не позволяла ничего иметь между собой и врагом, хотелось мять, душить, жать, чувствовать непосредственно под ударом своего кулака хлюпающую кровью морду врага, и все покрывала густая – не продыхнешь – матерная ругань и такой же густой, непереносный водочный дух.

Час, другой... все – исступленный мордобой, все – исступленный матерный рев. Никто не заметил – стало темно.

Два солдата долго в темноте старательно лупили друг друга, кряхтя, матюкая, да на минутку оторвались, всмотрелись друг в друга.

– Це ты, Опанас?! Та що ж ты, мать твою в душу, лупишь мене, як сноп на току!

– Ты, Миколка? А я думав – козак. Що ж ты, утроба поганая, усю морду мени расковыряв, що я тобі сдався, чи казенный, чи що?

Отирая кровавые лица, переругиваясь, медленно отходят в цепь и в темноте ищут свои винтовки.

А рядом два казака, долго крякая, возили друг друга кулаками, по очереди сидели друг на друге верхом, потом вгляделись:

– Та що ж ты на мени едишь, туды и растуды тебе, як на старом мерине?!

– Це ты, ты, Гараська?! Та що ж ты не кричав? Тільки матюкается, як скаженный, а я думав – солдат.

И, вытирая кровь, пошли в казачий тыл. Смолкла, наконец, подлая матерная ругань, и стало слышно шумит река да бесконечно ба-

рабанил досками мост – нескончаемо катятся обозы, да чуть багрово шевелятся края черных туч от догорающего пожара. Вдоль садов залегла цепь солдат, а кругом в степи – казачья цепь. Молчали, перевязывая вспухшие, в фонарях, рожи. Все тарахтит мост, шумит река. Перед самым утром станицу очистили. Последний эскадрон перешел, стуча по настилу, и мост запылал, а вслед уходящим со всей станицы посыпались залпы, затрещали пулеметы.

6

По станичным улицам идут с песнями, мотая длиннополыми перетянутыми черкесками, казаки, пластунские батальоны; на лохматых черных папахх белеют ленточки. А лица изукрашены: у одного глаз сине-багрово заплыл; у другого вместо носа кровавый бугор; вздулась щека; как подушки, губошлепые губы, – ни одного казака, чтоб у него не глядели с лица самые густые фонари.

Но идут весело, густо, и над вздымающейся взрывами из-под ног пылью – рубленным железом марш в такт дружно отдающемуся в земле шагу:

Як не всхо-ти-лы,
за-бун-то-ва-лы... –

густо, сильно, отдаваясь в садах, за садами,
в степи, над станицей:

...тай у-те-ря-лы Вкра-и-ину!

Казачки встречают, высматривают каждая
своего, – бросается радостно или вдруг заломит
руки, заголосит, покрывая песни, а старая
мать забьется, вырывая седые волосы, и
понесут ее дюжие руки в хату.

...за-бун-то-ва-лы...

Бегут казачата... Сколько их! И откуда
только они повылезли, ведь не видать было
все время; бегут и кричат:

– Батько!.. батько!..

– Дядько Микола!.. дядько Микола!..

– А у нас красные бычка зъилы.

– А я одному с самострела глаз вышиб, – он
пьяный в саду спал.

На месте прежнего по улицам, по переулкам раскинулся другой и, видно, свой лагерь. Уже задымились по всем дворам летние кухоньки. Суется казачки. Пригнали откуда-то из степи спрятанных коров; привезли птицу; идет и варево и жарево.

А на реке жаркая своя работа – в обгонку стучат топоры, заглушая даже шум реки, летит во все стороны, сверкая на солнце, белая щепка, – рвутся казаки, наводят мост вместо сторевшего, чтоб поспеть нагнать врага.

А в станице – свое. Идет формирование новых казачьих частей. Офицеры с записными книжками. Прямо на улице за столами писаря составляют списки. Идет перекличка.

Казаки поглядывают на похаживающих офицеров, – поблескивают на солнце погоны. А давно ли, каких-нибудь шесть-семь месяцев назад, было совсем другое: на площадях, на станичных улицах, по переулкам кровавым мясом валялись вот такие же офицеры с сорванными погонами. А по хуторам, в степях, по балкам ловили прятавшихся, привозили в станицу, беспощадно били, вешали, и они висели по нескольку дней, чтоб воронье растас-

кивало.

И началось это около году назад, когда на турецкий фронт докатился пожар, полыхавший в России.

Кто такое?! Что такое?..

Ничего не известно. Только объявились неведомые большевики, и – точно у всех с глаз бельма слизнуло – вдруг все увидали то, что века не видали, но века чувствовали: офицере, генералитет, заседателей, атаманов, великую чиновную рать и нестерпимую военную службу, дотла разорявшую. Каждый казак должен был на свой счет справлять сыновей на службу: а три, четыре сына – каждому купить лошадь, седло, обмундирование, оружие, – вот и разорился двор. Мужик же приходит на призыв голый: все дадут, оденут с головы до ног. И казацкая масса постепенно беднела, разорялась и расслоялась; слой богатого казачества всплывал, креп, обрастал, остальные понемногу тонули.

Нестерпимо, ослепительно глядит крохотное солнце на весь развернувшийся под ним край. Маревое трепещет знойным трепетани-

ем.

А люди говорят:

– Та нэма ж найкращего, як наш край...

Слепящий блеск играет в плоскодонном море. Чуть приметно набегают стекловидные зеленые морщины, лениво моют прибрежные пески. Рыба кишмя кишит.

Рядом другое море – бездонно-голубое, и до дна, до самого дна отражается опрокинутая синева. Бесчисленно дробится нестерпимое сверкание – больно смотреть. Далеко по голубому дымят пароходы, черно протянув тающие хвосты, – за хлебом идут, гроши везут.

А от моря густо-синюю громадой громоздятся горы; верхи завалены первозданными снегами, глубоко залегли в них голубые морщины.

В бесконечных горных лесах, в ущельях, в низинах и долинах, на плоскогорьях и по хребтам – вся кой птицы, всякого зверя, даже такого, которого уже нигде не сыщешь во всем свете, – зубр.

В утробе диких громад, размытых, загроможденных, навороченных – и медь, и серебро, и цинк, и свинец, и ртуть, и графит, и це-

мент, и чего-чего только нет, – а нефть, как черная кровь, сочится по всем трещинам, и в ручьях, в реках тонко играют радугой расплывающиеся маслянистые пленки и пахнут керосином...

«Найкраший край...»

А от гор, а от морей потянулись степи, потянулись степи и потеряли границы и пределы.

«Та нэма ж им конца и краю нэма!..»

Безгранично лоснится пшеница, зеленеют покосы, либо без конца шуршат камыши над болотами. Белыми пятнами белеют станицы, хутора, села в неоглядной густоте садов, и остро вознеслись над ними в горячее небо пирамидальные тополя, а на знойно трепещущих курганах растопырили крылья серые ветряки.

По степи сереют отары неподвижно уткнувшихся друг в друга овец; густо колыхается над ними с гудением миллионно-кишащее царство оводов, мошкары, комаров.

Лениво по колено отражается в зеркале степных вод красный скот. Тянутся к балкам, мотая головами, лошадиные косяки.

А над всем – изнеможенно звенящий, неумирающий зной.

На бегущих по дороге в запряжке лошадях соломенные шляпы – иначе падают от смертельно-пристального взгляда крохотного солнца. И люди, неосторожно обнажившие голову, пораженные, с внезапно побагровевшим лицом, валятся на обжигающую пыль дороги, стеклеют глаза... Тонко звенящий, всюду трепещущий зной.

Когда запряженный тремя, четырьмя парами круторогих быков тяжелый плуг режет в бескрайней степи борозду, отбеленный лемех отваливает такую жирную, маслянистую землю, что не земля, а намазал бы, как черное масло, да ел. И сколько вглубь ни забирай тяжелым плугом, как ни взрезывай отбеленным лемехом, – все равно до мертвой глины не доберешься, все равно сияющая сталь отворачивает нетронутые, девственные, единственные в мире пласты – чернозем – местами до сажени.

И какая же сила, какая же нечеловечески родящая сила! Заткнет в землю, балуясь, мальчишка валяющуюся жердь – глядь, побе-

ги выбросила, глядь, уже дерево шатром ветки раскинуло. А виноград, арбузы, дыни, груши, абрикосы, помидоры, баклажаны, – да разве перечесть! И все – громадное, невиданное, противоестественное.

Заклубятся облака в горах, поползут над степями, польют дожди, напьется жадная земля, а потом начинает работать безумное солнце – и засыпается страна невиданным урожаем.

– Та нэма ж края найкращего, як цей край!
Кто же хозяева этого чудесного края?

Кубанские казаки – хозяева этого чудесного края. И есть у них работники, народ-работник, и столько же его, сколько самих казаков; и так же поют украинские песни и говорят родным украинским языком.

Братья родные два народа, – и те и другие пришли с милой Украины.

Не пришли казаки – пригнала их царица Катька полтораста лет назад; разрушила вольную Запорожскую Сечь и пригнала сюда; пожаловала им этот дикий тогда, страшный край. От ее пожалования плакали запорожцы кровавыми слезами, тоскуя по Украине. По-

вылезали из болот, из камышей скрюченные пожелтевшие лихорадки, впились в казаков, не щадили ни старого, ни малого, много выпили народу. В острые кинжалы да в меткие пули приняла невольных пришельцев черкесы – кровавыми слезами плакали запорожские казаки, поминали родную Сечь, и день и ночь бились с желтыми лихорадками, с черкесами, с дикой землей, – нечем было поднять ее вековых, не тронутых человеком залежей.

А теперь... теперь:

– Та нэма ж края найкращего, як наш край!

А теперь все зарятся на этот край, как чаща, переполненный невиданными богатствами. Потянулись гонимые нуждой из Харьковской губернии, из Полтавской, из Екатеринославской, с Киевщины, потянулись голь и беднота со скарбом, с детьми, расселились по станицам и щелкают, как голодные волки, зубами на чудесную землю.

– На-кось! съешь фигу, – землю захотели!

И стали батраками переселенцы у казаков, дали им имя «иногородние». Всячески теснили их казаки, не пускали их детей в казацкие

народные школы, драли с них по две шкуры за каждую пядь земли под их хатами, садами, за аренду земли, взваливали на них все станичные расходы и с глубоким презрением называли их: «бисовы души», «чига гостропуза», «хамсел» (то есть хамом сел на казацкую землю).

А иногородние, упорные, как железо, без своей земли поневоле бросающиеся на всякие ремесла, на промышленную деятельность, изворотливые, тянущиеся к знанию, к культуре, к школе, – платят казакам тою же монетой: «куркуль» (кулак), «каклук», «пугач»... Так горит взаимная ненависть и презрение, а царское правительство, генералы, офицеры, помещики радостно раздувают эту звериную вражду.

Прекрасный край, дымящийся, как горькой желчью, едкой злобой, ненавистью и презрением.

Но не все казаки, не все иногородние так относятся друг к другу. Выбившиеся из нищеты, выбившиеся из нужды сметкой, упорством, железным трудом иногородние в почете у богатых казаков. Держат они мельницы

на откуп, много держат казацкой земли в аренде, держат батраков из своей же, иногородней, бедноты, и лежат у них в банках деньги, ведут торговлю хлебом. Уважают их те казаки, у которых дома под железными крышами и амбары ломаются от хлеба, – ворон ворону глаз не выклюет.

Отчего это с гиком и посвистом скачут по улицам казаки в черкесках, заломив папахи, скачут взад и вперед, раскидывая лошадиными копытами глубокую мартовскую грязь, и блестя выстрелы в весеннее синее небо? Праздник, что ли? И колокола, надрываясь, мечут веселый синий звон по станицам, по хуторам, по селам. А люди в праздничной одежде, и казаки, и иногородние, и дивчата, и подростки, и седые старики, и старухи с завалившимся ртом – все, все на весенних праздничных улицах.

Уж не пасха ли? Да нет же, не поповский праздник! Человечий праздник, первый праздник за века. За века, сколько земля стоит, первый праздник.

Долой войну_!..

Казаки обнимают друг друга, обнимают

иногородних, иногородние – казаков. Уже нет казаков, нет иногородних – есть только граждане. Нет «куркулей», нет «бисовых душ» – есть граждане.

Долой войну!..

В феврале согнали царя, в октябре что-то произошло в далекой России; никто толком не знал, что произошло, одно только врезалось в сердце:

Долой войну!..

Врезалось и было безумно понятно.

И повалили полки за полками с турецкого фронта. Повалила казацкая конница, шли плотно батальоны пластунов-кубанцев, шли иногородние пехотные полки, погромыхивала конная артиллерия, – и все это непрерывающимся потоком к себе на Кубань, в родные станицы, со всем оружием, с припасами, с военным снаряжением, с обозами. А по дороге разбивали водочные заводы, склады, опивались, тонули, горели живьем в выпущенном море спирта, уцелевшие валили к себе в станицы и хутора.

А на Кубани уже Советская власть. А на Кубань уж налетели рабочие из городов, матро-

сы с потопленных кораблей, и от них все вдруг стало ясно, отчетливо: помещики, буржуи, атаманы, царское разжигание ненависти между казаками и иногородними, между всеми народами Кавказа. И пошли лететь головы с офицеров, и полезли они в мешки и в воду.

А пахать надо, а сеять надо, а солнце, чудесное южное солнце, разгоралось на урожай все больше и больше.

– Ну, як же ж нам пахаты? Треба землю делить, а то время упустишь, – сказали иногородние казакам.

– Землю вам?! – сказали казаки и потемнели.

Стала меркнуть радость революции.

– Землю вам, злыдни?!

И перестали бить своих офицеров, генералов, и поползли они изо всех щелей, и на тайных казацких сборищах стучали себе в грудь и говорили зажигательно:

– У большевиков постановлено: отобрать у козаков всю землю и отдать иногородним, а козаков повернуть в батраки. Несогласных – высылать в Сибирь, а все имущество отби-

рать и передавать иногородним.

Потемнела Кубань, тайно низом пополз загорающийся пожар по степям, по оврагам, по камышам, по задворкам станиц и хуторов.

– Та нэма найкращего края, як наш край!

И опять стали казаки – «куркули», «каклуки», «пугачи».

– Та нэма ж найкращего края, як цей край!

И опять стали иногородние – «бисовы души», «хамселы», «чига гостропуза».

Заварилась каша веселая в марте восемнадцатого года; стали расхлебывать ее, до слез горячую, в августе, когда в этом крае еще знойно солнце и видимо-невидимо ходят облака горячей пыли.

Не потечь Кубани вспять в гору, не воротить старого; не козыряют казаки офицерам, а когда и в зубы им заглядывают, помнят, как ездили те на них, и они делали из офицерьья кровавое мясо. Но к речам офицерским теперь прислушиваются и приказания их исполняют.

Звенят топоры, летит белая щепка, припнулся мост в другой берег. Быстро и гулко переходит его конница, пластуны; спешат на-

гнать уходящего красного врага казаки.

7

Скрипят обозы, идут солдаты, поматывают руками. У этого – заплыли глаза. У этого нос здоровенной сливой. У этого запеклись скулы, – ни одного нет, чтобы не синели фонари. Идут, поматывают руками и весело рассказывают:

– Я его у самую у сапатку я-ак кокну, – он так ноги и задрав.

– А я сгреб, зажал голову промеж ног и давай молотить по ж..., а он, сволочь, ка-ак тяпнет за...

– Го-го-го!.. ха-ха-ха!.. – зареготали ряды.

– Як же ж ты до жинки теперь?

Весело рассказывают, и никак никто не вспомнит, как же это случилось, что вместо того, чтоб колоть и убивать, они в диком восторге упоения лупили по морде один другого кулаками.

Ведут четырех захваченных в станице казаков и допрашивают их на ходу. У них померкшие глаза; лица в синяках, кровоподтеках, и это сближает с солдатами.

– Що ж вы, кобылятины вам у зад, вздума-

ли по морде? Чи у вас оружия нэма?

– Та що ж, як выпили, – виновато ссутулились казаки.

У солдат заблестели глаза:

– Дэ ж вы узялы?

– Та ахвицеры, як прийшлы до блищей станицы, найшлы у земли закопани в саду двадцать пять бочонкив, мабуть, с Армавиру привезлы наши, як завод с горилкою громилы, тай закопалы. Ахвицеры построилы нас тай кажуть: «Колы возьмете станицу, то горилки дадим». А мы кажем: «Та вы дайте зараз, тоди мы их разнесем, як кур». Ну, вони дали каждому по дви бутылки, мы выпили, – а йисты не позволилы, щоб дущей забрало. Мы и кинулысь, а винтовки мешають.

– Э-э ссволочи!! – подскочил солдат. – Як свиньи, – и со всего плеча размахнулся, чтоб в зубы.

Его удержали:

– Посто-ой! Ахвицеры стравилы, а его бьешь?

За поворотом остановились, и казаки стали рыть себе общую могилу.

А бесконечные обозы, вздымая все закры-

вающие клубы пыли, двигались, скрипя, извиваясь на десятки верст по проселку, и синели впереди горы. В повозках краснели накиданные подушки, торчали грабли, лопаты, кадушки, блестели ослепительно зеркала, самовары, а между подушками, между ворохами одежды, полстей, тряпья виднелись детские головенки, уши кошек, кудахтали в плетеных корзинках куры, на привязи шли сзади коровы, и, высунув языки и торопливо дыша, тащились, держась в тени повозок, лохматые, в репьях, собаки. Скрипели обозы с наваленным на них скарбом – бабы и мужики жадно и впопыхах кидали на телеги все, что попадалось под руки, когда пришлось бежать из своей хаты от восставших казаков.

Не в первый раз так подымались иногородние. Вспышки отдельных казачьих восстаний против Советской власти за последнее время уже не раз выгоняли их из насиженных гнезд, но это продолжалось два-три дня; приходили красные войска, водворяли порядок, – и все возвращались назад.

А теперь это тянется слишком долго – вторую неделю. А хлеба захватили всего на

несколько дней. И каждый день, каждый день ждут – вот-вот скажут: «Ну, теперь можно возвращаться», – а оно все дальше, все запутаннее; все злее поднимаются казаки; отовсюду вести: по станицам стоят виселицы, вешают иногородних. И когда этому будет конец? И что теперь с оставленным хозяйством?

Скрипят телеги, повозки, фургоны, поблескивают на солнце зеркала, качаются между подушек детские головенки; и разношерстными толпами идут солдаты по дороге, по пашням вдоль дороги, по бахчам, с которых начисто, как саранча, снесли все арбузы, дыни, тыквы, подсолнухи. Нет рот, батальонов, полков, – все перемешалось, перепуталось. Идет каждый где и как попало. Одни поют песни, другие спорят, кричат, матюкаются, третьи забрались на повозки и сонно мотают головами во все стороны.

Об опасности, о враге никто не думает. И о командирах никто не думает. Когда пробуют этот текущий поток хоть как-нибудь организовать, – командиров посылают к такой матери и, закинув на плечи винтовки, как дуби-

ны, прикладами кверху, раскуривают люльки, либо орут срамные песни, – «это вам не старый прижим».

Кожух тонет в этом непрерывно льющемся потоке и как сжатая пружина теснит грудь: если навалится казачье, все лягут под шашками. Одна надежда – глянет смерть, и все, как вчера, дружно и послушно встанут в ряды, только не будет ли поздно? И ему хочется, чтоб скорей тревога.

А в дико шумящем потоке идут и идут демобилизованные из царской армии и мобилизованные Советской властью; идут добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленники – бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры и особенно много рыбаков. Все это перебивавшиеся с хлеба на квас иногородние, все это трудовой люд, для которого приход советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью, – вдруг почувалось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств почти сплошь. Остались богаты – офицерство и хо-

зыйственные казаки – их не трогали.

Странно поражая глаз, колыхаясь стройными, перетянутыми в черкесках фигурами, едут на добрых конях кубанские казаки, – нет, не враги, а революционные братья, казачья беднота, в большинстве – фронтовики, в сердца которых среди дыма, огня, тысяч смертей революция заронила непотухающую искру.

Эскадрон за эскадроном в мохнатых папахах, на которых красные ленточки. И винтовки за плечами, и сияют черные с серебром кинжалы, шашки, – стройно, в порядке, среди текучего разброда.

Мотают головами добрые кони.

Будут биться с отцами и братьями. Дома бросили все: хаты, скотину, домашность, – хозяйство разорено. Едут стройные, ловкие, ало краснеют алые банты, завязанные милой рукой на папахе, и поют молодыми, сильными голосами украинские песни.

Любовно смотрит на них Кожух: «Добре, хлопцы! на вас вся надия». Любовно смотрит, но еще любовнее – на эту бредущую в облаках пыли, как попало, отрепанную, босую иногороднюю орду, – ведь он – кость от кости,

плоть от плоти ее.

И неотступно тянется за ним его жизнь длинной косою тенью, которую можно забыть, но от которой нельзя уйти. Самая обыкновенная степная, трудовая, голодная, серая, безграмотная, темная-темная, косая тень. Мать еще молодая, а сама с изрезанным морщинами лицом, как замученная кляча, – куча ребятишек на руках, за подол цепляются. Отец – вековечный казачий батрак, жилы вытянул: да сколько ни бейся, все равно – ни кола, ни двора.

Кожух с шести лет – общественный пастушонок. Степь, балки, овцы, лес, коровы, облака бегут, а понизу бегут тени – вот его учеба.

Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке, – потихоньку и грамоте выучился; потом в солдаты, война, турецкий фронт... Он – великолепный пулеметчик. В горах забрался с пулеметной командой в тыл туркам, в долину, – турецкий фронт тянулся по хребту. Когда турецкая дивизия, отступая, стала спускаться на него, он заработал пулеметом, стал косить; люди, как трава – рядами, и побежала на него, дымясь,

горячая кровь, и никогда он прежде не думал, что человечесья кровь может бежать в полколена, – но это была турецкая кровь, и забывался.

За невиданную храбрость его послали в школу прапорщиков. Как трудно было! Голова лопалась. Но он с бычьим упорством одолевал учебу, и... срезался. Офицеры хохотали над ним, офицеры-воспитатели, офицеры-преподаватели, юнкера: мужик захотел в офицеры! Экая сволочь... мужик... тупая скотина! Ха-ха-ха... в офицеры!

Он их ненавидел молча, стиснув зубы, глядя исподлобья. Его возвратили в полк как неспособного.

Опять шрапнели, тысячи смертей, кровь, стоны, и опять его пулеметы (у него изумительный глаз) режут, и ложится рядами человечесья трава. Среди нечеловеческого напряжения, среди смертей, поминутно летающих вокруг головы, не думалось, во имя чего кровь в полколена, – царь, отечество, православная вера? Может быть, но как в тумане. А близко, отчетливо – выбиться в офицеры, выбиться среди стонов, крови, смертей, выбиться, как

он выбился из пастушонков в лавочные мальчишки. И он – спокойно, с каменными челюстями в безумно рвущихся шрапнелями местах, как у себя в хозяйстве, за сенокосом, и ложится кругом покошенная трава.

Его во второй раз посылают в школу прапорщиков, – офицеров-то нехватка, в боях всегда офицеров нехватка, а он фактически исполняет обязанности офицера, иногда командуя довольно крупными отрядами, и еще не знал поражения. Ведь для солдат он свой, земляной, такой же хлебобоб, как они, и они беззаветно идут за ним, за этим корявым, с каменными челюстями, идут в огонь и в воду. Во имя чего? Царя, отечества, православной веры? Может быть. Но это – как в кровавом тумане, а возле – идти-то надо, идти неизбежно: сзади – расстрел, так веселей идти за ним, за своим, за корявым, за мужиком.

Как трудно, как мучительно трудно! Голова лопается. Куда труднее усвоить десятичные дроби, чем спокойно идти на смерть под пулеметным огнем.

А офицеры покатываются, – офицеры, набившиеся в школу нужно и не нужно, – а

больше не нужно: тыл ведь всегда укромное местечко и загроможден спасающимися от фронта, и для спасающихся создаются тысячи ненужных тыловых должностей. Офицеры покатывались: мужик, растопыра, грязная сволочь!.. Как издевались, как резали на ответах, в конце концов вполне правильных, – овладел-таки.

И отослали, и отослали в полк за... неспособностью.

Огневые вспышки орудий, взрывы шрапнелей, бездушное татаканье, кроваво-огненный ураган, «и смерть, и ад со всех сторон», а он, как дома – хозяйственный мужичок.

Хозяйственный мужичок тяжело-упрям, как бык, на все наваливается каменной глыбой; недаром – украинец, и череп насунулся на самые глаза – маленькие колючие глаза.

За хозяйственность среди смертной работы его в третий раз, в третий раз посылают в школу.

А офицеры покатываются: опять? Мужик... сволочь... раскоряка!.. И... и отсылают в полк – за неспособностью.

Тогда из штаба раздраженно: выпустить

прапорщиком – в офицерах громадная убыль.

Хе-хе! В офицерах громадная убыль, – и в боях, и в бегах в тыл.

Презрительно выпустили прапорщиком. Явился в роту, а на плечах поблескивает, – добился. И радостно и не радостно.

Радостно: добился-таки, добился своего страшной тяжестью, нечеловеческим напором. И не радостно: поблескивавшее на плечах отделило от своих, от близких, от хлеборобов, от солдат, – от солдат отделило, а к офицерам не приблизило: вокруг Кожуха замкнулся пустой круг.

Офицеры вслух не говорили: «мужик», «сволочь», «раскоряка», но на биваках, в столовой, в палатках, всюду, где сходились два-три человека в погонах, вокруг него – пустой круг. Они не говорили словами, но молча говорили глазами, лицом, каждым движением: «сволочь, мужик, вонючая растопыра...»

Он ненавидел их спокойно, каменно, глубоко запрятанно. Ненавидел. И презирал. И от этой ненависти и от своей отделенности от солдат закрывался холодным бесстрашием среди тысяч смертей.

И вдруг все покачнулось: и горы Армении, и турецкие дивизии, и солдаты, и генералы с изумленно-растерянными лицами, и смолкшие орудия, и мартовские снега на вершинах, точно треснуло пространство и разинулось невиданно-чудовищное, невиданное, но всегда жившее тайно в тайниках, в глубине; не называемое, но – когда сделалось явным – простое, ясное, неизбежное.

Приехали люди, обыкновенные, с худыми желтыми фабричными лицами, и стали раздирать эту треснувшую расщелину, все шире и шире раскрывая ее. Забила оттуда вековая ненависть, вековая угнетенность, возмущившееся вековое рабство.

Кожух в первый раз пожалел, что на плечах блестит то, чего так каменно добивался: он оказался в одних рядах с врагами рабочих, с врагами мужиков, с врагами солдат.

После докатившихся октябрьских дней с отвращением сорвал к закинул погоны и, подхваченный неудержимо шумящими потоками войск, устремившимися домой, запрятавшись в темный угол, стараясь не показываться, ехал в набитой тряской теплушке.

Пьяные солдаты орали песни и охотились на скрывавшихся офицеров, – не доехать бы ему, если б его заметили.

Когда приехал, все валялось кусками, весь старый строй, отношения, а новое было смутно и неясно. Казаки обнимались с иногородними, ловили офицеров и расправлялись.

Как зернышки дрожжей, упали в ликующее население приехавшие с заводов рабочие, привалившие с потопленных кораблей матросы, и Кубань революционно поднялась, как опара. В станицах, в хуторах, в селах – советская власть.

Кожух хотя словами не умел сказать: «классы, классовая борьба, классовые отношения», – но глубоко почувствовал это из уст рабочих, схватил ощущением, чувством. И то, что наполняло его каменной ненавистью – офицерье, теперь оказалось крохотным пустяком перед ощущением, перед этим чувством неизмеримой классовой борьбы: офицерье – только жалкие лакеи помещика и буржуя.

А следы добытых когда-то с таким нечеловеческим упорством погонов жгли плечи, – хоть и знали его за своего, а косились.

И так же каменно, с таким же украинским упорством он решил каленым железом, своей кровью, своей жизнью выжечь эти следы и так послужить, – нет, неизмеримо больше послужить громаде бедноты, кость от кости которой он был.

А тут как раз подошло. Беднота искореняла буржуев. А так как под это подходили все, у кого была лишняя пара штанов, то хлопцы ходили по дворам, разбивали у всех сундуки, вытаскивали и делили, тут же напяливая на себя: потому – надо сделать между всеми уравнение.

Заглянули и к Кожуху в его отсутствие, выбрали, какое оказалось, платье, и приехавший Кожух, как был – в рваной гимнастерке, в старой, обвислой соломенной шляпе, в опорках – так и остался, а жена его – в одной юбке. Махнул Кожух рукой, весь переполненный одним ощущением, одной упорной мыслью.

Стали уравнивать хлопцы и казаков, а когда добрались до уравнения земли, закипела Кубань – и советскую власть смахнуло.

И Кожух едет теперь среди скрипа, говора,

шума, лошадиного фыркания и бесконечных облаков пыли.

8

На последней станции перед горами столпотворение вавилонское: шум, крики, плач, матерная отборная ругань, разрозненные воинские части, отдельные группы солдат, а за станцией выстрелы, крики, смятение. От времени до времени бухают орудия.

Тут и Кожух со своей колонной и своими беженцами. Подошел и Смолокуров со своей колонной и беженцами. Непрерывно подходят и другие отряды, — тянулись отовсюду, теснимые и гонимые казаками. И на этом последнем клочке сбились десятки тысяч обреченных людей: кадеты и казаки никому не дадут пощады, ни старому, ни малому, — все лягут под шашками, под пулеметами или повиснут на деревьях, либо, сваленные в глубоких оврагах, будут живьем засыпаны камнями и землей.

И в отчаянии уже разносится неоднократно раздававшееся: «Продали... пропили нас командиры!» И когда усилилась орудийная пальба, вдруг вспыхнуло:

– Спасайся, кто может!.. Разбегайся, ребята!

Хлопцы из колонны Кожуха кое-как сдерживали казаков и панику, но – чуялось – ненадолго.

Командиры поминутно совещались, но из пустого в порожнее, и никто не знал, что произойдет в следующую минуту.

Кожух заявил:

– Единственное спасение – перевалить горы и по берегу моря усиленными маршами иттить в обход на соединение с нашими главными силами. Я сейчас выступаю.

– Если попробуешь выступить, открою по тебе огонь, – сказал Смолокуров, гигант с черной окладистой бородой, ослепительно сверкая зубами, – надо с честью защищаться, а не бежать.

Через полчаса колонна Кожуха выступила, никто не осмелился ее задержать. И как только выступила – десятки тысяч солдат, беженцев, повозок, животных в панике кинулись следом, теснясь, загромождая шоссе, стараясь обогнать друг друга, сбросить мешающих в канавы.

И поползла в горы бесконечная живая

Шли весь день, шли всю ночь. Пред зарей, не выпрягая, остановились, заняв много верст шоссе. Над перевалом, совсем близко, играли крупные звезды. Неумолчно звенела в ущелье говорливая вода. Всюду мгла и молчание, как будто ни гор, ни лесов, ни обрывов. Только лошади звучно жуют. Не успели завести глаза – стали меркнуть звезды; проступили дальние лесистые отроги; в ущельях потянули молочные туманы. Опять зашевелились, и поползло на десятки верст шоссе.

Из-за далеких хребтов ослепительно брызнуло выплывающее солнце и длинно погнало по горам голубые тени. Голова колонны выбралась на перевал. Выбралась на перевал, и ахнуло у каждого: неизмеримым провалом обрывается хребет, и, как несбыточный намек, неясно белеет внизу город. А от города, поражая неожиданностью, неохватимой синей стеной подымается море, такой невиданно-огромной стеной, что от ее синей густоты поголубели у всех глаза.

– О, бачь, море!

– А чога ж воно стиною стоить?

– Це придеться лизти через стину.

– А чому, як на берегу стоишь, воно лежить ривно геть до самого краю?

– Хиба ж не чул, як Моисей выводив євреїв с єгипетского рабства, от як мы теперь, море встало стиною, и воны прошли як по суху?

– А нам, мабуть, загородило, не пускає.

– Та це через Гараську, у его новые чоботы, так щоб не размочило.

– Треба попа, вин зараз усе смаракує.

– Положи его, волосатого, соби в портки...

Размашистей идут под гору ряды, веселей мотаються руки, говор и смех разбегаються по рядам, ниже и ниже спускається колонна, и никто не думает о черном гигантском утюге, что зловеще неподвижен, угрюмо дымит, уродуя голубое лицо бухты, – немецкий броненосец. Вокруг него тоненькими черточками – турецкие миноносцы, и от них тоже черные дымки.

А из-за гребня вываливаются все новые и новые ряды весело шагающих солдат, и всех одинаково поражает густая синяя стена до неба, и голубеют глаза, и возбужденно мота-

ются руки в размашистом спуске по белому петлистому шоссе.

А там и обозы. Потряхивают лошади с на- сунутыми на уши хомутами. Грациозно рыс- цой бегут коровы. С визгом несутся на хворостинках ребяташки. Уторопленно поспешают взрослые, поддерживая накатывающиеся по- возки. И все вместе, поминутно виляя по пет- лям направо-налево, весело торопятся на- встречу неведомой судьбе.

Сзади поднялся гребень перевала, закрыл полнеба.

Спустившаяся голова, бесконечной змеей обогнув город между бухтой и цементными заводами, далеко втянулась в узкую полосу. С одной стороны к самому берегу придвину- лись каменные лысые горы, с другой – сердце ахнуло: такой голубоглазой нежностью пу- стынно лег морской простор.

Ни дымка, ни белеющего паруса. Только сквозные тающие кружева без конца и меры прозрачно всплывают и исчезают на влаж- ных камнях. И в бездонном молчании, слы- шимая только сердцем, звучит первозданная песнь.

– Бачь, море опять лягло.

– А ты думав, воно так и буде стиною стоять? То с горы воно обманывало. А то як же ж бы по йому йиздиты?

– Эй, Гараська, теперь пропали твои чоботы, наскрозь промокнуть, як побредешь через море.

А Гараська весело шагает под винтовкой босиком.

Дружный смех катится по рядам, и задние, ничего не слышавшие и не знающие, в чем дело, весело регочут.

А мрачный голос:

– Все одно, нам теперича никуды не вывернуться: отцеда вода, отцеда горы, а сзади – козаки. И рад свернуть, да некуды. При вперед, больше никаких!

Голова потянулась далеко по узкому берегу, скрылась за морской извилиной, середина бесконечно огибала город, а хвост все еще весело извивался по шоссе, спускавшемуся белыми петлями с хребта.

Немецкий комендант, пребывавший на броненосце, заметил непредусмотренное движение в чужом, но под его кайзеровскими

пушками, городе, а это уже беспорядок: отдал распоряжение, чтобы неизвестные люди, обозы, солдаты, дети, женщины – все это, торопливо уходившее мимо города, чтобы немедленно останови лось и чтобы сдали оружие, запасы, фураж, хлеб и ждали дальнейших распоряжений.

Но пыльная серая змея все так же поспешно уползала; все так же торопливо, иноходью трусили озабоченные коровы; ухватившись за повозки, мелькая ножонками, семенили ребятишки; взрослые молча нахлестывали вытягивавшихся лошадей, и от рядов шел густой, размашистый, дружный гул, отдававшийся в глубине; клубами всплывала ослепительно белая пыль.

В этот нескончаемый поток с треском, с матерной руганью просоленных морскими ветрами голосов, ломая чужие оси и колеса, стал вливаться из города другой поток груженых повозок. На этих нескончаемых повозках виднелись кряжистые, плотно сбитые, проспиртованные фигуры матросов; синели на белых матросках отложные воротники, полоскались свешивавшиеся с круглых шапо-

чек черно-желтые – полосками – ленточки. Больше тысячи повозок, бричек, дрожек, фазтонов, колясок влилось в проползавшие обозы, а на них крашенные бабы и тысяч пять матросов, ругающихся самыми солеными матерными ругательствами.

Немецкий комендант подождал и не дождался остановки.

Тогда, вдруг разорвавши голубое спокойствие, ахнуло с броненосца, и пошло ломаться и грохотать по горам, ущельям, будто валились гигантские обломки. А через секунду отдалось в тридесятом царстве, за недвижимо потерявшейся голубой далью.

Над уползающей змеей загадочно и мягко родился белый клубочек, лопнул с тяжелым треском и, медленно относимый, стал таять.

Гнедой мерин, казавшийся ночью вороным, неожиданно вскинулся на дыбы и с размаху грохнулся, ломая оглобли. Человек двадцать бросились к нему; ухватили кто за гриву, кто за хвост, за ноги, за уши, за челку, сразу сволокли с шоссе, в канаву, опрокинули туда же и повозку, и громада обоза, ни на секунду не запнувшись, во всю ширину шоссе, по-

возка в повозку, неудержимо катилась вперед. Горпина и Анка с плачем выхватили, что попало под руку, с опрокинутой повозки, рассовали по чужим и пошли пешком, а старик торопливо срезал дрожащими руками шлею и стаскивал хомут с мертвой лошади.

Второй раз с броненосца ослепительно блеснуло громадным языком, опять грохнуло в городе, покатилося в горах, через секунду глухо отозвалось за морской гладью; опять родился в сверкающей голубой высоте снежный комочек, в разных местах со стоном попадали люди, а на повозке, на руках у молодки с черными бровями и серьгами в ушах, торопливо сосавший грудь ребенок обмяк, отвалились ручонки, и губки, холодея, раскрылись, выпустив сосок.

Она закричала диким, звериным голосом. К ней кинулись, она не давалась, злобно вырываясь, и суя в холодеющий ротик грудь, из которой белыми каплями капало молоко. Маленькое личико с полузаведенными глазками погасало, наливаясь желтизной.

А змея все ползла, все ползла, огибая город. Высоко на перевале, под самым солнцем, по-

казались люди, лошади. Они были крохотны, едва различимы – меньше ноготка. Что-то делали, отчаянно суетились около лошадей, а потом вдруг замерли.

И тотчас же там ахнуло раз за разом четыре раза и пошло ломаться и перекатываться по горам, а внизу, по сторонам шоссе, в разных местах в воздухе стали торопливо рождаться белые комочки и лопаться сначала высоко, потом все ниже и ниже, все ближе к шоссе, и то там, то тут стали падать со стоном люди, лошади, коровы. Людей, не слушая их стонов, быстро клали на повозки, лошадей и скотину сволакивали в сторону, и змея ползла и ползла, не размыкаясь – повозка в повозку.

Кайзеровский комендант обиделся. Женщин, детей он мог расстреливать – этого требовал порядок, но другие этого не смели делать без его, коменданта, разрешения. Длинный хобот орудия на броненосце поднялся и ахнул огромным языком. Высоко над голубой бездной, над обозом, над горами полетело, торопливо удаляясь: клы-клы-клы... и грохнуло там, у перевала, где были крохотные, с ного-

ток, люди, лошади, орудия. Люди там опять засуетились. Четырехорудийная батарея очередь за очередью стала посылать коменданту, и уже над «Гебеном» стали рождаться в голубом воздухе белые комочки. «Гебен» сердито замолчал. Из трубы его густо повалили громадные черные клубы. Угрюмо двинулся, медленно вышел из голубой бухты в густую синеву моря, повернулся, и...

...потрясающе взорвало море и небо. Морская синева померкла. Под ногами с нечеловеческой силой содрогнулось; мучительно отдалось в груди, в мозгу; в домах распахнулись окна, двери, и все на минуту оглохли.

У перевала, не пробиваемая солнцем, подымалась нечеловеческая громада, траурно-зеленоватая, медленно клубясь. И в ядовитых парах ее кучки уцелевших казаков озверело секли плетью смертельно рвавшихся карьером в гору лошадей с оставшимся оружием и через минуту пропали за гребнем. И все стояла зеленовато-траурная громада, медленно-медленно расплываясь.

От нечеловеческого сотрясения расселась земля, раскрылись могилы: по всем улицам

появились мертвецы. Восковые, с черно-провалившимися ямами вместо глаз, в рваном вонючем белье, они тащились, ползли, шкандыбали, и все в одном направлении – к шоссе. Одни молча, сосредоточенно, не спуская глаз, мучительно передвигали ноги, другие размашисто перекидывали за костылями безногое тело, обгоняя идущих, третьи бежали, крича непонятными, хриплыми, срывающимися голосами.

И тоненько, как подстреленная птица, где-то стояло:

– Пи-ить... пи-ить... пи-и-ить, – тонко, как раненая птица над сухим голодным лугом.

Совсем молоденький, в рваном белье, сквозь которое желтеет тело, равнодушно переставляет мертвые ноги, глядя и не видя перед собой горячечными глазами:

– Пи-и-ить... пи-и-ить...

Сестра, с мальчишеской, наголо остриженной головой, с полинялым крестом на драном рукаве, босая, бежит за ним:

– Постой, Митя... Куда ты... Сейчас дам воды, чаю, постой же... Пойдемте назад... не зври же они...

– Пи-и-ить... пи-и-ить...

В обывательских домах торопливо закрываются окна, двери. С чердаков, из-за заборов стреляют в спины. А из лазаретов, из госпиталей, из частных домов все вылезает, вываливаются из окон, падают из верхних этажей и тянутся и ползут за уходящим обозом.

Вот и цементные заводы и шоссе... А по шоссе уторопленно проходят коровы, лошади, собаки, люди, повозки, арбы – уползает змеиный хвост.

Безногие, безрукие, с раздробленными, грязно обмотанными челюстями, с накрученными из кровавых тряпок чалмами на головах, с забинтованными животами, спешат, не спуская горячечных глаз с шоссе, а повозки все уходят, и у людей, шагающих возле повозок, лица замкнутые, нахмуренные, смотрят только перед собой. И стоит, не падая, умоляющее:

– Братцы!.. братцы!.. товарищи!..

Несутся отовсюду то охрипшие, то срывающиеся голоса, то пронзительно-звонко слышно у самых гор:

– Товарищи, я – не тифозный, я – не тифоз-

ный, я – раненый, товарищи!..

– И я – не тифозный... товарищи!

– И я – не тифозный...

– И я...

– И я...

Уползают повозки.

Один ухватился за нагруженную доверху скарбом и детьми арбу и, держась обеими руками, прыгает на одной ноге. Седоусый хозяин арбы, с почернелым, выдубленным солнцем и ветром лицом, нагибается, хватая его за единственную ногу и всовывает в арбу на голову отчаянно завизжавших детей...

– Та цю! Схаменыся, дитей передувив! – кричит баба с сбившимся платком.

У безногого лицо счастливейшего в мире человека. А вдоль шоссе все идут и идут, спотыкаясь, падая, подымаясь или оставаясь белеть неподвижно на обочине.

– Родные мои, та всих бы забралы, як бы можно, та куды ж? Скильки своих раненых, а йисты нэма чого, пропадете вы з нами, и жалко вас... – Бабы сморкаются и вытирают упрямо набегающие слезы.

Громадного роста солдат, с нахмуренным

лицом и одной ногой, сосредоточенно глядя перед собой, далеко закидывает вперед костыли, потом сильное тело, без отдыху широко отмеривая шоссе, и приговаривает:

– Матть вашу так и так... так вас, разэтак!..

А обоз уходит и уходит. Последние колеса уже далеко поднимают пыль, и слабо доносится постукивание железных осей. Город, бухта – позади. Только пустынное шоссе, а по нему, далеко растянувшись, медленно двигаются за скрывшимся обозом восковые мертвецы. Мало-помалу бессильно останавливаются, садятся и ложатся по обочине. И все одинаково тянутся померкшими глазами в ту сторону, где скрылась последняя повозка. Тихо садится тронутая закатом пыль.

А высокий безногий солдат все так же перекидывает костылями сильное тело по безлюдному шоссе и бормочет:

– Матть вашу так!.. Кровь за вас проливали... Так вас и так!..

С противоположной стороны в город входят казаки.

10

Тянется усталая ночь, и, ни на минуту не

прерывая шумящего, неутихающего движения, льется черный человеческий поток.

Уже изнеможенно бледнеют звезды. Проступают бурые, пустынно-сожженные горы, промоины, ущелья.

Светлеет и светлеет небо. Неизмеримо открывается непрерывно меняющееся море, то нежно-фиолетовое или дымчато-белесоватое, то подернутое голубизной потонувшего в нем неба.

Верхи гор осветились. Осветились темные, бесчисленно колыхающиеся штыки.

По скалистым обрывам, надвинувшимся к самому шоссе, – виноградники; белеют дачи, пустые виллы. Изредка там стоят люди с лопатами, с кирками, в соломенных самодельковых шляпах, стоят, смотрят: мимо без конца, мотая руками, идут солдаты, и бесчисленно остро колышутся штыки.

Кто они? Откуда они? Куда так безостановочно идут, устало мотая руками? Желтые, как дубленая кожа, лица. Запыленные, изодранные. Черные круги вокруг глаз. Скрипят повозки, глухо постукивают усталые копыта. Выглядывают из повозок дети. Должно быть,

без отдыху, и лошади опустили морды.

Опять вскидывают землю лопаты. Какое им дело!.. Но когда от усталости разгибают спины, по шоссе, послушно изгибаясь по извилинам берега, все идут и идут и бесчисленно колышутся штыки.

А уж солнце куда выше гор, и земля нализуется зноем, и на блеск моря больно смотреть. Час, два, пять – все идут и идут. Люди стали шататься, лошади останавливаться.

– Чи вин с глузду зъихав, цей Кожух!

Всплывает матерная брань.

Кожуху доложили, что от его колонны оторвались присоединившиеся две колонны Смолокурова со своими обозами и заночевали в селении на пути, и теперь между ними верст на десять свободное шоссе. Он сузил маленькие глазки, пряча не к месту насмешливые огоньки, и ничего не сказал. И все шли и шли.

– Он нас загоняет, – глухо стало всплывать по колонне.

– А чево гонит: отседа море, отседа горы, кто нас тронет? А так и без козаков все с натуги пропадем. Вон уж пять лошадей бросили,

не идут. И люди ложатся по обочинам.

– Чего вы смотрите на него! – кричат матросы, обвешанные револьверами, бомбами, пулеметными лентами, обходя двигавшиеся повозки, вмешиваясь в идущие ряды, – не видите, свое гнет. Али не он был офицером? Золотопогонщик и есть. Вот попомните: заведет он вас. Будете локотки кусать, да поздно.

Когда солнце сделало тени страшно короткими, остановились на четверть часа, напоили лошадей, напились взмокшие от пота люди и опять двинулись по раскаленному шоссе, тяжело передвигая свинцовые ноги, и струился обжигающий воздух. Невыносимо-ослепительно сверкает море. И все идут, и глухой ропот уже явственно и грозно расстраивает ряды. Некоторые командиры рот и батальонов заявили Кожуху, что выделяют свои части на остановку и пойдут самостоятельно.

Кожух потемнел, ничего не ответил. Колонна все идет и идет.

Ночью остановились. В темноте на десятки верст вдоль шоссе заблистали костры. Рубили корявое, низкорослое, сухое, цепкое держи-дерево – в этой пустыне нет лесов, – рас-

таскивали заборы в попадающихся дачах, выламывали рамы, вытаскивали мебель, жгли. Над огоньком кипели котелки с варевом.

Казалось, от нечеловеческой усталости все должны свалиться пластом и спать, как убитые. Но озаренная кострами темнота красно шевелилась, была странно оживлена. Слышался говор, смех, звуки гармошки. Солдаты баловались, пихали друг друга на огонь. Уходили в обоз, играли с дивчатами. В котелках кипела каша. Огонь больших костров лизал черные ротные котлы. Редко дымили военные кухни.

Этот бесконечный табор, похоже, расположился надолго.

11

Ночь, пока шла со всеми, была едина. А как только остановились, распалась на кусочки, и каждый кусочек жил по-своему.

Около небольшого огонька с висевшим над ним котелком, который вместе с другими вещами и с провизией успели выхватить из брошенной повозки, на корточках сидела растрепанная, похожая при красноватом освещении на ведьму, баба Горпина. Возле на разо-

стланном по земле суконном архалуке, несмотря на теплую ночь, прикрыв лицо углом, спал старик Баба, сидя у огня, причитала:

– Як нэма ни чашки, ни ложки... И кадучечка осталась; кому вона достанется? Така славна та крепка, кленовая. Чи буде у нас коньяка, як тый Гнедко? Який бегучий – кнута николи не просив. Старик иди снідаць.

Из-под свиты хрипло:

– Нэ хочу.

– Та що ж ты робишь! Нэ исты, занедужишь, – що ж, тебе на руках нести тоди!

Старик молча лежит на земле с закрытым в темноте лицом.

Недалеко возле повозки на шоссе стройно белеет в темноте девичья фигура. И девичий голос:

– Та лышечко мое, та серденько, та отдай же! Нельзя ж так...

Бабы смутно белеют вокруг повозки, в несколько голосов:

– Та отдай же, треба похорониты андельскую душку. Господь его приме...

Молча стояли мужики.

А бабы:

– Сиськи набрякли, не удавишь.

Суют руки и пробуют выпятившиеся, не поддающиеся под пальцами груди. Простоволосая голова с блестящими в темноте, как у кошки, глазами наклоняется над выпукло белеющей из разорванной рубахи грудью, и привычные пальцы, перехватив сосок, нежно вкладывают в неподвижно открытый холодный ротик.

– Як каменная.

– Та уж смердить, нельзя стоять.

Мужичьи голоса:

– Та шо з ей балакаты, – узять, тай квит.

– Зараза. Як же ж так можно! Треба похорониты.

И двое мужиков, здоровые, сильные, берут ребенка, разжимают материнские руки. Темноту пронизывает исступленно-звериный визг, – слышно у костров, уходящих цепочкой вдоль шоссе; пронеслось над смутно невидимым морем; и в пустынных услышали горах, если кто там затаился. Повозка скрипит и качается от остервенелой борьбы.

– Куса-аться!..

– Та чертяка з ей – уси зубы у руку загнала.

Мужики отступаются. Опять, пригорюнясь, стоят бабы. Понемногу расходятся. Подходят другие. Щупают набрякшие груди.

– И вона помре, спеклося молоко.

А на повозке все так же сидит расхристанная, поминутно поворачивает во все стороны простоволосую голову, сторожко блестит сухим звериным глазом, каждую секунду готовая остервенело защищаться. В промежутках нежно кормит грудью окостенелый, холодный ротик.

Дрожат огни, далеко пропадая в темноте.

– Та серденько, та отдай же его, отдай, бо вин мертвый. А мы похороним, а ты поплачь. Чого ты не плачешь?

Девушка прижимает к груди эту растрепанную ведьмину голову с горящими в темноте волчьими глазами. А та говорит, заботливо отстраняя, говорит хриплым голосом:

– Тыхесенько, Анка; шш... вин спить; не баламуть его. От всю ночь спить, а пид утро будэ гуляты, пиджидае Степана. Як Степан прийдэ, зараз зачне пузыри пускаты, та ноженятки раскоряче, та гулюшки пускае. Ой, така

мила дитына та понятлива, така разумна!..

И она тихонечко смеется милым сдавленным смешком.

– Тссс...

– Анка! Анка!.. – доносится от костра, – що ж ты не идешь вечеряты... Старик не ийде, и ты погибла... От, коза востроглаза... Усе засухарилось.

Бабы все приходят, пощупают, поболезнуют и уходят. Или стоят, подперев подбородок и поддерживая локоток, смотрят. Смутно раскуривают люльки мужики, на секунду красновато озаряя заросшие лица.

– Треба за Степаном послаты, а то винсгние у нэи на руках, черви заведутся.

– Та вже ж послалы.

– Микитка хромый побиг.

12

Эти огни особенные. И говор особенный, и смех, и женские игривые взвизги, и густая матерная брань, и звон бутылок. То вдруг разом ударят несколько мандолин, гитар, балалаек, – целый оркестр зазвучит струнно-упруго, совсем не похоже на тьму, на цепочку огней во тьме. Неподвижные черные горы;

невидимое море молчаливо, чтоб не мешать своей громадой.

И люди – особенные, крупные, широкоплечие, с уверенными движениями. Когда попадают в красноколеблющийся круг костра, – отъевшиеся, бронзовые, в черно болтающихся штанах клеш, в белых матросках, с низко открытой бронзовой шеей и грудью, и на спине с круглых шапочек болтаются ленточки. Ни одного слова, ни одного движения без матерной ругани.

Женщины, выхваченные из темноты мигающим отсветом костра, мелькают крикливыми пятнами. Смех, взвизги – любезные балуются. Подобрал цветные юбки, на корточках готовят на огне костров, подпевая подозрительно хриплыми голосами, а на четырехугольно белеющих на земле скатертях – коробки с икрой, сардины, шемая, бутылки вина, варенье, пироги, конфеты, мед. Этот табор далеко тянется во тьме гомоном, звоном, разухабистым смехом, бранью, перекликаками, неожиданно стройными, струнно-звонящими звуками мандолин и балалаек. Или вдруг мощно заполнит темноту пьяный, но спев-

шийся, дружный хор, да оборвут: вот видели, мол, нас? все можем. И опять то же – звон, смех, говор, взвизги, шуточная, любя, матерщина.

– Товарищи!

– Есть.

– Отдавай концы.

– Играй, растак вашего отца, прадеда до седьмого колена!..

– Ой, Камбуз! Браслетку оборвал... да ну тебя!.. Браслетка поте...

Голос перехватился.

– Товарищи, на каком мы тут основании? Али офицерские времена ворочаются?.. Почему Кожух распоряжается?.. Кто его в генералы производил? Товарищи – это эксплуатация трудового народа. Враги и эксплуататоры...

– Бей их, так-растак!..

И дружно и стройно:

Сме-ло, то-вари-щи, в но-огу,
Ду-ухом окре-е-пне-е-м в борь-бе-е...

13

Он сидит, озаренный костром, охватив ко-

лени, и неподвижен. Из темноты за спиной выставилась в красно озаренный круг лошадиная голова. Мягкие губы торопливо подбирают брошенное на землю сено; звучно жуёт; большой чёрный глаз поблескивает умно и внимательно фиолетовым отливом.

– Та так, – говорит он, все так же задумчиво охватывая колени, не мигая глядит в этот шевелящийся огонь, рассказывает, – пригнали полторы тыщи матросов, собрали всех, кого захватили. Та и они дураки: мы на воде, наше дело морское, нас не тронуть. А их пригнали, поставили та и кажут: «Ройте». А кругом пулеметы, два орудия, козаки с винтовками. Ну, энти, небоги, роют, кидают лопатами. Молодые все, здоровые. На полугорье народу набилось. Бабы плачут. Ахвицеры ходют с левольверами. Которые нешвыдко лопатами кидают, стреляют ему у живота, щоб довго мучився. Энти роют соби, а которые с пулями у животи – ползают у крови вси, стогнуть. Народ вздыхае. Ахвицеры: «Мовчать, вы, сукины диты!»

Он рассказывает это, а все молча прислушиваются к тому, чего он не рассказывает, но

что все откуда-то знают.

Стоят вокруг красно освещенные, без шапок, опираясь о штыки; иные лежат на животе, слушают, и из темноты выступают лохматые внимательные головы, подпертые кулаками. Старики – уткнув бороды. И бабы белеют, пригорюнившись. А когда огонь замирает, сидит только один, охватив колени; лошадиная голова на минуту опускается за спиной, подымается и звучно жует, черно блестит умный слушающий глаз. И кажется, кроме одного – никого, беспредельная темь. И перед глазами: степь, ветряки, и по степи вороной стелется, карьером доскакал и плюхнулся, как мешок, кроваво порубанный. А за ним другой, соскочил, ухо к груди. «Сынку мий... сынку...»

Кто-нибудь подбросит на тлеющие угли корявое, сухое, цапастое держи-дерево. Закорежится, вспыхнет, отодвинет темноту, – и опять стоят, опираясь о штыки; уткнулись в бороду старые; бабы пригорюнились; озаренно проступают подпертые кулаками внимательные головы.

– Дуже дивчину мучилы, ой, як мурдовалы.

Козаки, цила сотня... один за одним сгнушались над ней, так и умерла пид ими. Сестрой у наших у госпитали була, стрижена, як хлопец, босиком все бигала, работница с заводу; конопата та ризва така. Не схотила тикать от раненых: никому присмотреть, никому воды подать. У тифу богато лежало. Всих порубилы – тысяч с двадцать. Со второго этажа кидалы на мостовую. Ахвицеры, козаки с шашками по всиму городу шукалы, всих до одного умертвилы. Богато залило увись город.

И уже нет звездной ночи, нет чернеющих гор, а стоит: «Товарищи! товарищи!.. я – не тифозный, я – раненый...» – немеркнуще стоит перед глазами.

Опять темь, и над тьмой звезды, и он спокойно рассказывает, и все опять чувствуют то, о чем молчит: двенадцатилетнему сыну прикладом размозжили голову; старуху-мать засекали плетьюми; жену насильовали, сколько хотели, потом вздернули петлей на колодезный журавель, а двое маленьких неведомо куда пропали, – молчит, но все это откуда-то знают.

В странной связи стоит великое молчание

в таинственной черноте гор, в заслоненном темнотой морском просторе – ни звука, ни огонька.

Мигает красный отсвет, колебля сузившийся круг темноты. Сидит озаренный человек, охватив колени. Звучно жует лошадь.

Да вдруг засмеялся молодой, который опирался о штык, и белые зубы розовато блеснули на безусом лице:

– У нашей станицы, як прийшли с фронта козаки, зараз похваталы своих ахвицеров, тай геть у город к морю. А у городи вывели на пристань, привязалы каменюки до шеи тай сталы спихивать с пристани у море. От булькнуть у воду, тай все ниже, ниже, все дочиста видать – вода сы-ыня та чиста, як слеза, – ей-бо. Я там был. До-овго идуть ко дну, тай все руками, ногами дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, як раки хвостом.

Он опять засмеялся, показал белые, чуть подернутые краснотой зубы. Перед костром сидел человек, охватив колени. Стояла красно мигающая темнота, а в темноте нарастала слушающая толпа.

– А як до дна дойдуть, аж в судорогах

ущемляются друг с дружкой тай замрут клубком. Все дочиста видать, – вот чудно.

Прислушались: далеко-далеко, и мягко, и говоря о чем-то сердцу,плыли стройные струнные звуки.

– Матросня! – сказал кто-то.

– А у нашей станицы козаки ахвицеров у мешок заховалы. Сховають у мешок, увяжут, та айда у море.

– Як же ж то можно людэй у мешках топить... – печально проговорил заветренный, степной голос, помолчал, и не видно, кто потом невесело сказал: – Мешкив дэ теперь достанеш, нэма, без мешкив в хозяйстве хочь плачь, – з России не везуть.

Опять молчание. Может быть, потому, что сидю перед костром человек, недвижимо охватив колени.

– В России совитска власть.

– У Москви-и!

– Та дэ мужик, там и власть.

– А до нас рабочие приизжалы, волю привезлы, совитов наробылы по станицам, землю казалы отбирать.

– Совесть привезлы, а буржуев геть.

– Та хибя ж не мужик зробыв рабочего? Бачь, скильки наших на цементном работае, а на маслобойном, на машинном, та скрызь по городам на заводах.

Откуда-то слабо доносилось:

– Ой, мамо...

Потом младенец заплакал. Бабий голос уговаривал. Должно быть, на шоссе, в смутно чернеющих повозках.

Человек рознял колени, поднялся, по-прежнему красновато освещенный с одной стороны, дернул за холку опустившуюся было лошадиную голову, взнуздал, подобрал с земли в притороченный мешок остатки сена, вскинул за плечи винтовку, вскочил в седло и разом потонул. Долго, удаляясь и слабея, цокали копыта и тоже погасли.

И опять чудилось: будто нет темноты, а бескрайно степь и ветряки, и от ветряков пошел топот, и тени косо и длинно погнались, а вдогонку: «Куды? Чи с глузду зъихав?.. назад!..» – «Та у него семейства там, а тут сын лежить...»

– Эй, вторая рота!..

Сразу опять темь, и далекой цепочкой го-

рят огни.

– Пойихав до Кожуха докладать, – все чисто у козаков знае.

– Ой, скильки вин их поризав, и дитэй и баб!

– Та у него ж все козацкое – и черкеска, и газыри, и папаха. Козаки за свово приймають. «Какого полка?» – «Такого-то», – и ийде дальше; баба попадется, шашкой голову снесе, малая дитына – кинжалом ткнэ. Дэ мисто припадэ, с-за скирды або с-за угла козака з винтовки рушить. Все дочиста у них знае, яки части, дэ скильки, все Кожуху докладае.

– Диты чим провинилысь, несмыслени? – вздохнула баба, опираясь горько на ладонь и поддерживая локоть.

– Эй, вторая рота, чи вам уши позатыкало!..

Кто лежал, не спеша поднялись, потянулись, зевнули и пошли. Звезды над горой высыпали новые. Возле котлов расселись по земле, стали хлебать варево.

Торопливо носят ложками из ротного котла, жгутся, а каждый спешит, чтоб не отстать от других. Во рту все сварилось, тряпки на языки и с неба свесились, и горло обожжено,

больно глотать, и спешит, торопливо ныряя в дымящийся котел. Да вдруг цап с ложки – мясо поймал и в карман, после съест, и опять торопливо ныряет под завистливые искоса взгляды ныряющих ложками солдат.

14

Даже в темноте чувствовалось – шли толпой, буйной, шумной, и смутно белели. И говор шел с ними, возбужденный, не то обветренных, не то похмельных голосов, пересыпаемый неизмеримо завертывающейся руганью. Те, что носили ложками из котелков, на минуту повернули головы.

– Матросня.

– Угомону на них нэма.

Подошли, и разом отборно посыпалось:

– Расперетак вас!.. Сидите тут – кашу жрите, а что революция гинет, вам начхать... Сво-лочи!.. Буржуи!..

– Та вы що лаетесь!.. брехуны!..

На них косо глядят, но они с ног до головы обвешены револьверами, пулеметными лентами, бомбами.

– Куды вас ведет Кожух?!.. подумали?.. Мы революцию подымали... Вон весь флот ко дну

пустили, не посмотрели на Москву. Большевики там шуры-муры с Вильгельмом завели, а мы никогда не потерпим предательства интересов народных. Ежели интересы народа пренебрег – на месте! Кто такой Кожух? Офицер. А вы – бараны. Идете, уткнув лбами. Эх, безрогие!..

Из-за костра, на котором чернел ротный котел, голос:

– Та вы со шкурами до нас присталы. Цильный бардак везетэ!

– А вам чево?! Завидно?.. Не суй носа в чужую дверь: оттяпают. Мы свою жизнь заслужили. Кто подымал революцию? Матросы. Кого царь расстреливал, топил, привязывал к канатам? Матросов. Кто с заграницы привозил литературу? Матросы. Кто бил буржуев и попов? Матросы. Вы глаза только продираете, а матросы кровь свою лили в борьбе. А как мы свою революционную кровь лили, вы же нас пороли царскими штыками. Сволочи! Куда вы годитесь, туды вас растуды!

Несколько солдат отложили деревянные ложки, взяли винтовки, поднялись, и темнота разом налилась, а костры куда-то провали-

лись:

– Хлопцы, бери их!..

Винтовки легли на изготовку.

Матросы вынули револьверы, другой рукой торопливо отстегивали бомбы.

Седоусый украинец, прошедший всю империалистическую войну на западном фронте, бесстрашием и хладнокровием заслуживший унтера, в начале революции перебивший в своей роте офицеров, забрал губами горячую кашу, постучал ложкой, отряхая, о край котелка, вытер усы.

– Як петухи: ко-ко-ко-ко! Що ж вы не кукарекаете?

Кругом засмеялись.

– Та що ж вони глумляються! – сердито повернулись к седоусому хлопцы.

Сразу стали видны далеко уходящие костры.

Матросы засовывали револьверы в кобуры, пристегивали бомбы.

– Да нам начхать на вас, так вас растак!..

И пошли такой же шумной, взбудораженной ватагой, смутно белая в темноте, потом потонули, и уходила цепочка огней.

Ушли, но что-то от них осталось.

– Бачонкив с вином у них дуже богато.

– У козаков награбили.

– Як, награбили? За усэ платили.

– Та у них грошей – хочь купайся.

– Все корабли обобрали.

– Та що ж пропадать грошам треба, як корабли потопли? Кому от того прибыль?

– К нам у станицу як прийшлы, зараз буржуазов всех дочиста пид самый пид корень тай бедноти распределилы, а буржуазов разогналы, ково пристрелилы, ково на дерево вздернулы.

– У нас поп, – торопливо, чтобы не перебили, отозвался веселый голос, – тильки вин с паперти, а воны его трах! – и свалывся поп. Довго лежав коло церкви, аж смердить зачав, – никто не убирае.

И веселый голос весело и поспешно засмеялся, точно и тут боялся, чтоб не перебили. И все засмеялись.

– О, бачь – звезда покатылась.

Все прислушались: оттуда, где никого не было, где была ночная неизмеримая пустыня, принесся звук, или всплеск, или далекий

неведомый голос, принесся с невидимого моря.

Подержалось молчание.

– Та воны правду говорить, матросы. Ось хочь бы мы: чого мы блукаем? Жилы соби, у каждого було и хлеб и скотина, а теперь...

– Та правду ж и я говорю: пийшлы за ахвицером неположенного шукаты...

– Який вин ахвицер? Такий же, як и мы с тобою.

– А почему совитска власть подмоги ниякой не дае? Сидять соби у Москви, грають, а нам хлебать, що воны заварылы.

Далеко где-то у слабо горевших костров слышались ослабленные расстоянием голоса, шум – матросы бушевали, – так и шли от костра к костру, от части к части.

15

Ночь начала одолевать. В разных местах стали гаснуть костры, пока совсем не пропала золотая цепочка – всюду черный бархат да тишина. Нет голосов. Только одно наполняет темноту – звучно жуют лошади.

Кто-то, темный, торопливо пробирается среди черных неподвижных повозок, а где

возможно, бежит с боку шоссе, перепрыгивая через спящие фигуры. За ним с трудом поспевает другой, такой же неузнаваемо-черный, припадая на одну ногу. Возле повозок кто-нибудь проснется, подымет голову, проводит в темноте быстро удаляющиеся фигуры.

– Чого им туточка треба? Кто такие? Або шиены...

Надо бы встать, задержать, да уж очень сон долит, и опускается голова.

Все та же черная ночь, тишина, а те двое бегут и бегут, перепрыгивая, продираясь, когда тесно, и лошади, сторожко поводя ушами, перестают жевать, прислушиваются.

Далеко впереди и справа, должно быть, под чернеющими горами, выстрел. Одиноко и ненужно, в виду этого покоя, мирного звука жующих лошадей, в виду пустынности, отпечатался в темноте, и уже опять тишина, а этот неслышный отпечаток все еще чудится, не растаял. Двое побежали еще быстрее.

Раз, раз, раз!.. Все там же, справа под горами. Даже среди темноты различишь, как густо чернеет разинутая пасть ущелья. Да вдруг пулемет, сам за собою не поспевая: та-та-та!..

и еще немного, договаривая недосказанное:
та... та!

Подымается, чернея, одна голова, другая. Кто-то сел. Один торопливо встал и, не попадая, стал нащупывать в составленных пирамидой винтовках свою. Да так и не нащупал.

– Эй, Грицько, слышь!.. та слышь ты!

– Отчепысь!

– Та слышь ты, – козаки!

– Фу-у, бисова душа... а то в зубы дам!.. ей-бо, дам...

Тот покрутил головой, поскреб поясницу, зад, потом подошел к разостланной по земле шинели, лег, подвигал плечами, чтоб ладнее лежать.

...та-та-та...

...раз!.. раз!.. раз!..

Тоненькие, как булавочные уколы, рождаются на мгновение огоньки в разинутой темноте ущелья.

– А матть их суку! спокою нэма. Тильки люди прийшлы с устатку, а они на! як собаки. Нехай же вам у животи такое скорезитя! Анахвемы! Ну, бейся, як умиешь – до упаду, со злом, аж зубами грызи, а як на спокой люды

полягалы, не трожь, все одно – ничего не зробіте, так тильки патроны потратите, и квит! – а людям отдыху нэма.

Через минуту в звучное мерное лошадиное жевание вплетается звук еще одного сонного человеческого дыхания.

16

Тот, что бежал впереди, переводя дух, сказал:

– Та дэ ж воны?

А другой тоже на бегу:

– Туточки. Аккурат дерево, а воны на ша-ше, – и закричал: – Ба-бо Горпино-о!

А из темноты:

– Що?

– Чи вы тут?

– Та тут.

– Дэ повозка?

– Та тут же, дэ стоите, вправо через канаву.

И сейчас же в темноте голос воркующей горлинки, вдруг зазвеневший слезами:

– Степане!.. Степане! Его вже нэма...

Она протянула, покорно отдавая. Он взял завернутый, странно холодный, подвижной, как студень, комочек, от которого, поражая,

шел тяжелый дух. Она прижала голову к его груди, и темнота вдруг засветилась звенящими, хватающими слезами, невозвратными слезами.

– Его вже нэма, Степане...

А бабы тут как тут, – на них ни устали, ни сна. Мутно проступают вокруг повозки, крестятся, вздыхают, подают советы.

– Перший раз заплакала.

– Легше буде.

– Треба молоко отсосаты, а то у голову вдавить.

Бабы наперебой щупают набрякшие груди.

– Як камень.

Потом, крестясь, шепча молитвы, прижимаются губами к ее соскам, сосут, молитвенно сплевывают на три стороны, закрепивая.

Рыли во тьме среди цепких низкоросло-колючих кустов держи-дерева, в темноте бросали лопатами землю. Потом что-то завернутое положили, потом заровняли.

– Его вже нэма, Степане...

Смутно видно, как чернеющий в темноте человек обхватил обеими руками колючее дерево, засопел носом, сдавленно, не то икая, не

то гыгыкая, как мальчишки, когда давят друг из друга масло. А горлинка обвила шею руками.

– Степане!.. Степане!.. Степане!..

И опять засветились звенящие в темноте слезы:

– Нэма его... нэма, нэма, Степане!..

17

Ночь одолела. Ни огонька, ни говора. Лишь звук жующих лошадей. А потом и лошади перестали. Некоторые легли; заря скоро.

Вдоль молчаливых черных гор немо чернеет бесконечно протянувшийся лагерь.

Только в одном месте сеявшая неодолимую предутреннюю дремоту ночная темнота не могла одолеть: сквозь деревья спящего сада виднеется огонек – кто-то не спит за всех.

В громадной столовой, отделанной под дуб, с проткнутыми и разорванными по стенам дорогими картинами, в слабом озарении приклеенной восковой свечи видны наваленные по углам седла, составленные пирамиды винтовок, солдаты в мертвых странных позах каплют на разостланных по полу дорогах, с окон, занавесях и портьерах, и стоит тяжелый

потный человеческий и лошадиный дух.

Узко и черно смотрит в дверях пулемет.

Нагнувшись над великолепным дубовым резным столом, длинной громадой протянувшимся посреди столовой, Кожух вцепился маленькими глазками, от которых не вывернешься, в разостланную на столе карту. Мерцает церковный огарок, капая стынувшим воском, и живые тени торопливо шевелятся по полу, по стенам, по лицам.

Над синим морем, над хребтами, похожими на лохматых сороконожек, наклоняется адъютант, вглядываясь.

Стоит в ожидании ординарец с подсумком, с винтовкой за спиной, с шашкой сбоку, и на нем все шевелится от шевелящихся теней.

Огарок на минутку замирает, и тогда все неподвижно.

– Вот, – тычет адъютант в сороконожку, – с этого ущелья еще могут насесть.

– Сюда не прорвутся – хребет стал высокий, непроходимый, и им с той стороны до нас не добраться.

Адъютант капнул себе на руку горячим воском.

– Только бы дойти нам до этого поворота, там уж не долезут. Иттить треба з усией силы.

– Жрать нечего.

– Все одно, стоять – хлеба не родим. Ходу – одно спасение. За командирами послано?

– Зараз вси придуть, – шевельнулся ординарец, и лицо его, шея быстро заиграли мерцающими тенями.

Только в громадных окнах неподвижно чернела ночная чернота.

Та-та-та-та... где-то далеко перекликнется в чернеющих ущельях, и опять ночь наливается угрозой.

Тяжелые шаги, по ступеням, по веранде, потом в столовой, казалось, несут эту угрозу или известие о ней. Даже скудно мерцающий огарок озарил, как густо запылены вошедшие командиры, и от усталости, от жары, от непрерывного похода все на лицах у них высовывалось углами.

– Що там? – спросил Кожух.

– Прогнали.

В громадной, едва озаренной столовой было смутно, неясно.

– Да им взяться нечем, – сказал другой за-

ветренным, сиповатым голосом. – Кабы орудия имели, а то один пулемет вьюком.

Кожух окаменел, надвинул на глаза ровный обрез лба, и все поняли – не в нападении казаков дело.

Сгрудились около стола, кто курил, кто жевал корку, кто, не вникая, устало глядел на карту, так же смутно и неясно расстилавшуюся на столе.

Кожух процедил сквозь зубы:

– Приказы не сполняете.

Разом зашевелились мигающие тени по усталым лицам, по запыленным шеям; столовая наполнилась резкими, привыкшими к приказаниям на открытом воздухе голосами:

– Загнали солдат...

– Та у меня часть, не подымешь ее теперь...

– А у меня, как пришли, завалились и костров не разводили, как мертвые.

– Разве мыслимо идти такими переходами, – этак и армию погубить невольно...

– Плевое дело...

Лицо Кожуха неподвижно. Из-под насунутого черепа маленькие глаза не глядели, а ждали, прислушиваясь. В громадно распахну-

тых окнах неподвижная чернота, а за ней ночь, полная усталости, задремавшего тревожного напряжения. Выстрелов со стороны ущелья не слышно. Чувствовалось, что там темнота еще гуще.

– Я, во всяком случае, не намерен рисковать своей частью! – гаркнул полковник, как будто скомандовал. – На мне моральная ответственность за жизнь, здоровье, судьбу вверенных мне людей.

– Совершенно верно, – сказал бригадный, выделяясь своей фигурой, уверенностью, привычкой отдавать приказания.

Он был офицер армии и теперь чувствовал – настал, наконец, момент проявить всю силу, все заложенное в нем дарование, которое так неразумно, нерасчетливо держали под спудом заправилы царской армии...

– ...совершенно верно. К тому же план похода совершенно не разработан. Расположение частей должно быть совсем иное, – нас каждую минуту могут перерезать.

– Да приведись до меня, – запальчиво подхватил стройно и тонко перетянутый в черкеске, с серебряным кинжалом наискосок у

пояса, в лихо заломленной папахе командир кубанской сотни, – приведись до меня, будь я от козаков, зараз налетел бы з ущелья, черк! – и орудия нэма, поминай как звали.

– Наконец, ни диспозиций, ни приказов, – что же мы – орда или банда?

Кожух медленно сказал:

– Чи я командующий, чи вы?

И это нестираемо отпечаталось в громадной комнате, – маленькие тонко-колючие глазки Кожуха ждали, – только нет, не ответа ждали.

И опять зашевелились тени, меняя лица, выражения.

И опять заветренные, излишне громкие в комнате, голоса:

– На нас, командирах, тоже лежит ответственность – и не меньшая.

– Даже в царское время с офицерами совещались в трудные моменты, а теперь революция.

А за словами стояло:

«Ты прост, приземист, нескладно скроен, земляной человек, не понимаешь, да и не можешь понять всей сложности положения. До-

служился до чина на фронте. А на фронте, за убылью настоящих офицеров, хоть мерина произведут. Массы поставили тебя, но массы ведь слепы...»

Так говорили глазами, выражением лица, всей своей фигурой бывшие офицеры армии. А командиры – бондари, столяры, лудильщики, парикмахеры – говорили:

«Ты из нашего же брата, а чем ты лучше нас? Почему ты, а не мы? Мы еще лучше тебя управимся с делом...»

Кожух слушал и тот и другой разговор, и словами и за словами, и все так же сощуренными глазками прислушивался к темноте за окнами – ждал.

И дождался.

Среди ночи где-то далеко родился слабый глухой звук. Больше и больше, яснее и яснее; медленно, все нарастая, глухо, тяжело и неуклюже наполнилась ночь отдававшимся шагом шедших во мраке. Вот шаги докатились до ступеней, на минуту потеряли ритм, расстроились и стали вразбивку, как попало, подыматься на веранду, залили ее, и в смутно озаренную столовую через широко распахну-

тые, черно глядевшие двери непрерывным потоком полились солдаты. Они все больше и больше наполняли столовую, пока не залили ее всю. Их с трудом можно было разглядеть, чувствовалось только – было их много и все одинаковы. Командиры сгрудились у того конца стола, где разостлана карта. С трудом мерцает огарок.

Солдаты в полумгле откашливаются, сморкаются, сплевывают на пол, затирают ногой, курят сигарки, вонючий дым невидимо расползается над смутной толпой.

– Товарищи!..

Громадная комната, полная людей и полутьмы, налилась тишиной.

– Товарищи!..

Кожух с усилием протискивал сквозь зубы слова:

– Вы, товарищи представители рот, и вы, товарищи командиры, щоб вы знали, в яком мы положении. Сзади город и порт заняты козаками. Красных солдат там оставалось раненых и больных двадцать тысяч, и все двадцать тысяч истреблены козаками по приказанию офицеров; то же готовят и нам. Козаки

наседают на наш арьергард в третьей колонне. С правой стороны у нас море, с левой – горы. Промежду ними – дора, мы в доре. Козаки бегут за горами, в ущельях прорываются до нас, а нам отбиваться каждую минуту. Так и будут наседать, пока не уйдем до того миста, где хребет поворачивает от моря, – там горы высоко и широко разляглись, козакам до нас не добраться. Так дойти нам коло моря до Туапсе, от сего миста триста верст. Там через горы проведено шоссе, по нем и перевалим опять на Кубань, а там – наши главные силы, наше спасение. Надо иттить з усией силы. Провианту у нас тильки на пять дней, вси подохнем с голоду. Иттить, иттить, иттить, бежать, бегом бежать, ни спаты, ни питы, ни исты, тильки бежать з усией силы – в этом спасение, и пробивать дорогу, колы хтось загородить!..

Он замолчал, не обращая ни на кого внимания.

Стояла тишина в комнате, наполненной людьми и последними тенями догорающего огарка; стояла такая же тишина в громаде ночи за черными окнами и над громадой невидимой.

димого и неслышимого моря.

Сотня глаз невидимым, но чувствуемым блеском освещала Кожуха. И опять сквозь стиснутые зубы белела у него слегка пузырившаяся слюна.

– Хлеба и фуража по дороге нэмае, треба бигты бегом до выхода на равнину.

Он опять замолчал, опустив глаза, потом сказал, протискивая:

– Выбирайте соби другого командующего, я слагаю командование.

Огарок догорел, и покрыла ровная темь. Осталась только неподвижная тишина.

– Нету, что ли, больше свечки?

– Есть, – сказал адъютант, чиркая спички, которые то вспыхивали, и тогда выступала сотня глаз, так же неподвижно, не отрываясь, смотревших на Кожуха, то гасли – и все мгновенно тонуло. Наконец, тоненькая восковая свечка затеплилась, и это как будто развязало: заговорили, задвигались, опять стали откашливаться, сморкаться, харкать, растирать ногой, оглядываясь друг на друга.

– Товарищ Кожух, – заговорил бригадный голосом, которым как будто никогда не ко-

мандовал, – мы все понимаем, какие трудности, огромные препятствия у нас на пути. Сзади – гибель, но и спереди гибель, если мы задержимся. Необходимо идти с наивозможной быстротой. И только вы вашей энергией и находчивостью сможете вывести армию. Это, надеюсь, и мнение всех моих товарищей.

– Верно!.. правильно!.. просим!.. – поспешно откликнулись все командиры.

Сотня блестящих в полутьме солдатских глаз так же упорно смотрела на Кожуха.

– Як же ж вам отказуваться, – сказал командир конного отряда, убедительно сдвигая папаху на самый затылок, так что она почти сваливалась, – як вас выбрала громада.

Блестящими глазами, молча, смотрели солдаты.

Кожух глянул непримиримо из-под все так же насунутого черепа.

– Добре, товарищи. Ставлю одно непременно условие, подпишитесь: хочь трошки неисполнение приказания – расстрел. Подпишитесь.

– Так что ж, мы...

– Да зачем?..

– Да отчего не подписаться...

– Мы и так всегда... – на разные голоса замялись командиры.

– Хлопцы! – железно стискивая челюсти, сказал Кожух. – Хлопцы, як вы мозгуете?

– Смерть! – грянула сотня голосов и не поместилась в столовой, гаркнуло за распахнутыми черными окнами, только никто там не слышал.

– К расстрелу!.. Мать его так... Хиба ж ему у зубы смотреть, як вин не сполняе приказаня... Бей их!

Солдаты, точно обруч расскочился, опять зашевелились, поворачиваясь друг к другу, размахивая руками, сморкаясь, толкая один другого, торопливо докуривая и задавливая ногами сигарки.

Кожух, сжимая челюсти, сказал, втискивая в мозги:

– Кажный, хтось нарушит дисциплину, хочь командир, хочь рядовой, подлежит расстрелу.

– К расстрелу!.. расстрелять сукиных сынов, хочь командир, хочь солдат, однаково!.. – опять с азартом гаркнула громадная столовая,

и опять тесно, – не поместились голоса и вырвались в темноту.

– Добре. Товарищ Иванько, пишите бумажку, нехай подписуются командиры: за самое малое неисполнение приказа али за рассуждение – к расстрелу без суда.

Адъютант достал из кармана обрывок бумажки и, примостившись у самого огарка, стал писать.

– А вы, товарищи, по местам. Объявите в ротах о постановлении: дисциплина – железная, пощады никому...

Солдаты, толпясь, толкаясь и приканчивая сигарки, стали вываливаться на веранду, потом в сад, и голосами их все дальше и дальше оживала темнота.

Над морем стало белеть.

Командиры вдруг почувствовали – с них свалилась тяжесть, все определилось, стало простым, ясным и точным; перекидывались шутками, смеялись, по очереди подходили, подписывались под смертным приговором.

Кожух, с все так же ровно надвинутым на глаза черепом, коротко отдавал приказания, как будто то, что сейчас происходило, не име-

ло никакого отношения к тому важному и большому, что он призван делать.

– Товарищ Востротин, возьмите роту и...

Послышался топот скачущей лошади и прервался у веранды. Слышно, как лошадь – должно быть, ее привязывали – фыркала и громко встряхивалась, звеня стременами.

В смутной мерцающей полумгле показался кубанец в папахе.

– Товарищ Кожух, – проговорил он, – вторая и третья колонны остановились на ночлег в десяти верстах сзади. Командующий приказывает, щоб вы дожидались, як их колонны пидтянутся до вас, щоб вмистях иттить...

Кожух глядел на него неподвижно-каменными чертами.

– Ще?

– Матросы ходють кучками по солдатам, по обозам, горлопанят, сбивають, щоб не слухали командиров, щоб сами солдаты командували; кажут, треба убить Кожуха...

– Ще?

– Козаки выбиты из ущелья. Наши стрелки пиднялись по ущелью, погналы их на ту

сторону, теперь тихо. наших трое ранены, один убитый.

Кожух помолчал.

– Добре. Иды.

А уж в столовой стали яснее и лица и стены. В раме картины тронулось синевой чудесно сотворенное кистью море; в раме окна чуть тронулось чудесное засиневшее живое море.

– Товарищи командиры, через час выступить всем частям. Иттить найскорише. Останавливаться тильки щоб людям напиться и лошадей напоить. В каждом ущелье выставлять цепь стрелков с пулеметом. Не давать частям отрываться одна от другой. Наистрого следить, щоб жителей не обиждали. Доносить мне наичаще верховыми о состоянии частей!..

– Слушаем! – загудели командиры.

– Вы, товарищ Востротин, выведите вашу роту в тыл, отрежьте матросов и не допускайте иттить с нами, нехай с теми колоннами идти.

– Слухаю.

– Захватите пулеметы, и колы що – строчи-

те по них.

– Слухаю.

Командиры гурьбой пошли к выходу.

Кожух стал диктовать адъютанту, кого из них совсем отставить от командования, кого переместить, кому дать высшее назначение.

Потом адъютант сложил карту и вышел вместе с Кожухом.

В громадной опустелой комнате с заплеванным, в окурках, полом забыто мигал, краснея, огарок и стояла тишина и тяжелый после людей дух, и дерево под светильней начинало чернеть и коробиться и легонько дымиться. Ни винтовок, ни седел уже не было.

В громадно распахнутых дверях тонко курилось предутренным синеватым куравом море.

Вдоль берега, вдоль гор, далеко впереди и назад, как горох, сыпались барабаны, будя. Где-то заиграли трубы, точно странное гоготание стаи медных лебедей, и медь отозвалась под горами, и в ущельях, и у берега и умерла на море, потому что оно открылось безбрежно. Над только что брошенной чудесной виллой подымался громадный столб дыма, – за-

бытый огарок не зевал.

18

Вторая и третья колонны, шедшие за колонной Кожуха, далеко отстали. Никто не хотел напрягаться – жара, усталость. Рано становились на ночлег, поздно выступали утром. Пусто белевший простор по шоссе между головной и задними колоннами становился все больше и больше.

Когда останавливались на ночлег, лагерь точно так же протягивался на много верст вдоль шоссе между горами и берегом. Точно так же запыленные, усталые, заморенные зноем люди, как только дорывались до отдыха, весело раскладывали костры; слышался смех, шутки, говор, гармоника; разливались милые украинские песни, то ласковые, задушевные, то грозные и гневные, как история этого народа.

Точно так же между кострами ходили увешанные бомбами, револьверами, прогнанные из первой колонны матросы, площадно ругаясь, говорили:

– Бараны вы, ай кто? За кем идете? За золотопогонщиком царской службы. Кто такой

Кожух? Царю служил? Служил, а теперь в большевики переделался. А вы знаете, кто такие большевики? Из Германии в запломбированных их привезли на разведку, а в России дураков нашлось, лезут за ними, как из квашни опара. А вы знаете, у них тайное соглашение с Вильгельмом? А-а, то-то, бараны стоеросовые! Россию губите, народ губите. Нет, мы, социалисты-революционеры, ни на что не посмотрели: нам большевистское правительство из Москвы распоряжение – выдать немцам флот. А мы его потопили на-кось, выкуси! Ишь чего захотели... Вы вот, шпана, стадо, ничего не знаете, идете, нагнув голову. А у них тайное соглашение. Большевики продали Вильгельму Россию со всей требухой; цельный поезд золота из Германии получили. Сволочь вы шелудивая, так вас разэтак!

– Так вы чого лааетесь, як псы! Подите вы вон пид такую мать...

Солдаты ругались, но когда матросы уходили, начинали по их следам:

– Та що ж, що правда, то правда... Матросня хочь брехливый народ, а правду говорят. Чого ж балшевики нам не помогают? Козаки

навалились, чего ж з Москвы подмоги не шлють – об себе тильки думаютъ.

Из чернеющаго даже среди темноты ущелья точно так же слышались выстрелы, и в разных местах на секунду вспыхивали и гасли огоньки, немножко потрещал пулемет, и лагерь медленно и громадно стал погружаться в тишину и покой.

И точно так же в пустой даче, выходящей верандой на невидимое море, собрался командный состав обеих колонн. Не открывали собрания, пока верховой во весь опор не прискакал и не подал стеариновых свечей, добытых на поселке. Так же на обеденном столе разостлана карта, паркетный пол в окурках, на стенах сиротливо и разорванно дорогие картины.

Смолокуров, громадный, чернобородый, добродушный, не знающй, куда девать физическую силу, сидит в белой матроске, расставив ноги, прихлебывает чай. Командиры частей кругом.

По тому, как курили, перебрасывались, давили ногой папиросы, чувствовалось – не знали, с чего начать.

И точно так же каждый из собравшихся считал себя призванным спасти эту громадную массу, вывести ее.

Куда?

Положение смутное, неопределенное. Что ждет впереди? Одно знали: сзади – гибель.

– Нам необходимо выбрать общего начальника над всеми тремя колоннами, – сказал один из командиров.

– Верно!.. правильно! – загудели.

Каждый хотел сказать:

«Разумеется, меня выбрать», – и не мог сказать.

А так как все этого хотели, то молчали, не глядя друг на друга, и курили.

– Надо ж, в конце концов, что-нибудь делать, надо же кого-нибудь выбирать. Я – Смолокурова предлагаю.

– Смолокурова!.. Смолокурова!..

Вдруг из неопределенности был найден выход. Каждый думал: «Смолокуров – отличный товарищ, рубаха-парень, беззаветно предан революции, голосище у него за версту, уж больно хорошо на митингах ревет, а на этом деле голову свернет, тогда... тогда, конечно,

ко мне обратятся...»

И все опять дружно закричали:

– Смолокурова!.. Смолокурова!..

Смолокуров растерянно развел громадными руками.

– Да я, что ж... я... сами знаете, я по морской части, там хоть дредноут сверну, а тут сухопутье.

– Смолокурова!.. Смолокурова!..

– Ну да что, я... хорошо... возьмусь, только помогайте вы все, братцы, а то что ж это выходит, я – один... Ну, хорошо. Завтра выступать – пишите приказ.

Все отлично знали, пиши не пиши приказы, а больше делать нечего, как волочиться дальше, – не стоять же на месте и не идти назад к казакам, на гибель. И все понимали, что и им делать нечего, разве только дожидаться, когда Смолокуров запутается и своими распоряжениями свернет себе шею. Да и свернуть-то нечем – тащись и тащись за Кожуховой колонной.

И кто-то сказал:

– Кожуху надо приказ послать – выбран новый командующий.

– Да ему все одно, он свое будет, – загудели кругом.

Смолокуров треснул кулаком, и под картой застонали доски стола.

– Я заставлю подчиниться, я заставлю! Он и к городу ушел с своей колонной, позорно бежал. Он должен был остаться и биться, чтобы с честью лечь костями.

Все на него смотрели. Он поднялся во весь свой громадный рост, и не столько слова, сколько могучая фигура с красиво протянутой рукой были убедительны. Вдруг почувствовали – выход найден: кругом виноват Кожух. Он бежит вперед, не дает никому проявить себя, использовать вложенные в нем силы, и все напряжение, все внимание нужно на борьбу с ним.

Закипела работа. К Кожуху поскакал, догнав среди ночи, ординарец. Сорганизовали штаб. Извлекли машинки, составили канцелярию, заработала машина.

Стали выстукивать на машинках обращение к солдатам с целью их воспитания и организации:

«Мы, солдаты, не боимся врага...»

«Помните, товарищи, что нашей армии трудности нипочем...»

Эти приказы размножались, читались в ротах, эскадронах. Солдаты слушали неподвижно, не сводя глаз, потом с большими усилиями, всякими хитростями, иногда с дракой доставали приказ, расправляли на коленях, свертывали собачью ножку и закуривали.

Кожуху тоже посылали приказы, но он каждый день уходил все дальше и дальше, и все больше пустым пространством ложилось между ними безлюдное шоссе. И это раздражало.

– Товарищ Смолокуров, Кожух вас в грош не ставит, прет себе и прет, – говорили командиры, – и в ус не дует на все ваши приказы.

– Да что вы с ним поделаете, – добродушно смеялся Смолокуров, – я что ж, я по сухопутному не могу, я по морской части...

– Да вы ж командующий всей армией, вас же ведь выбрали, а Кожух – ваш подчиненный.

Смолокуров с минуту молчит, потом вся его громадная фигура наливается гневом:

– Хорошо, я его сокращу!.. Я сокращу!..

– Что же мы плетемся у него в хвосте! Нам необходимо самим выработать план, наш собственный план. Он хочет берегом дойти до перевальной шоссейной дороги, которая от моря через горы в кубанские степи идет, а мы двинемся сейчас вот отсюда, через хребет, через Дофиновку, – тут старая дорога через горы, и будет короче.

– Послать немедленно приказ Кожуху, – загремел Смолокуров, – чтобы ни с места с своей колонной, а самому немедленно явиться сюда на совещание! Движение армии пойдет отсюда через горы. Если не остановится, прикажу артиллерией разгромить его колонну.

Кожух не явился и уходил все дальше и дальше и был недосыгаем.

Смолокуров приказал сворачивать армии в горы. Тогда его начальник штаба, бывший в академии и учитывавший положение, когда не было командиров, при которых Смолокуров становился на дыбы, осторожно – Смолокуров был невероятно упрям – сказал:

– Если мы пойдем тут через хребет, потеряем в невылазных горах все обозы, беженцев и, главное, всю артиллерию, – ведь тут тропа,

а не дорога, а Кожух правильно поступает: идет до того места, где через хребет шоссе. Без артиллерии казаки нас голыми руками заберут, да к тому же разобьют по частям – отдельно Кожуха, отдельно нас.

Хоть это было ясно, но не это было убедительно. Было убедительно то, что начальник штаба говорил очень осторожно и предупредительно по отношению к Смолокурову, что за начальником – военная академия и что он этим не кичится.

– Отдать распоряжение двигаться дальше по шоссе, – нахмурился Смолокуров.

И опять шумными беспорядочными толпами потекли солдаты, беженцы, обозы.

19

Как всегда, в Кожуховой колонне, остановившейся на ночлег среди темноты, вместо сна и отдыха – говор, балалайки, гармоники, девичий смех. Или, заполняя ночь и делая ее живой, разольются стройные, налаженные голоса, полные молодой упругости, тайного смысла, расширяющей силы.

Ре-вуть, сто-гнуть го-оры хви-и-ли

В си-не-сень-ким мо-о-ри...

Пла-чуть, ту-жать ко-за-чень-ки

В ту-рец-кий не-во-о-ли...

То вздымаясь, то опускаясь. И не море ли мерно подымается и опускается волнами молодых голосов? И не в темноте ли ночи разлилась нудьга, – тужать козаченьки, тужать молодые. И не про них ли, не они ли вырвались из неволи офицерья, генералов, буржуев, и не они ли идут биться за волю? И не печаль ли разлилась, печаль-радость в живой, переполненной напряжением темноте? В си-не-сень-ким мо-о-ри...А море тут же, внизу, под ногами, но молчит и невидимо.

И, сливаясь с этой радостью-печалью, тонко зазолотились края гор. От этого еще чернее, еще траурнее стоят их громады, – тонко зазолотились зубчатые изломы гор.

Потом через седловины, через расщелины, через ущелья длинно задымился лунный свет, и еще чернее, еще гуще потянулись рядом с ним черные тени от деревьев, от скал, от вершин, – еще траурнее, непрогляднее.

Тогда из-за гор вышла луна, щедро гляну-

ла, и мир стал иной, а хлопцы перестали петь. И стало видно – на камнях, на сваленных деревьях, на скалах сидят хлопцы и дивчата, а под скалами море, и на него не можно смотреть – до самого до края бесконечно струится, переливается холодное расплавленное золото. Нестерпимо смотреть.

– Хтось дыше, – сказал кто-то.

– А вот кажуть, все это бог сделал.

– А почему такое – поедешь прямо, в Румынию приедешь, а то в Одест, а то в город Севастополь, – куда компас повернул, туда и приедешь?

– А у нас, братцы, на турецком, бывалыча, как бой, так поп молебны зараз качает. А сколько ни служил, нашего брата горы клали.

Прорываются все новые дымчато-синеватые полосы, ложатся по крутизне, ломаются по уступам, то выхватят угол белой скалы, то протянутые руки деревьев или обрыв, изъеденный расщелинами, и все резко, отчетливо, живое.

По шоссе шум, говор, гул шагов, и, как проклятие, брань, густая матерная брань.

Все подняли головы, повернули...

– Хтось такие? Какая там сволочь матюкается, матть их так!

– Та матросня неположенного ищет.

Матросы шли огромной беспорядочной гурьбой, то заливаемые лунным светом, то невидимые в черной тени, и, как смрадное облако, шла над ними, не продыхнешь, подлая ругань. Стало скучно. Хлопцы, дивчата почувствовали усталость, потягиваясь и зевая, стали расходиться.

– Треба спаты.

С гамом, с шумом, с ругней пришли матросы к скалистому уступу. В мрачной лунной тени стояла повозка, а на ней спал Кожух.

– Куды вам?! – загородили дорогу винтовками два часовых.

– Где командующий?

А Кожух уже вскочил, и над повозкой в черноте загорелись два волчьих огонька. Часовые взяли на изготовку:

– Стрелять будем!

– Што вам надо? – голос Кожуха.

– А вот мы пришли до вас, командующий. У нас вышел весь провьянт. Что же нам – с голоду издыхать?! Нас пять тысяч человек. Всю

жизнь на революцию положили, а теперь с голоду издыхать!

Не видно было лица Кожуха, в такой черной тени стоял, но все видят: горят два волчьих огонька.

– Становитесь в ряды армии, выдадим винтовки, зачислим на довольствие. Продовольствие у нас на исходе. Мы не можем никого кормить, кроме бойцов под ружьем, иначе не пробьемся. Бойцам – и тем всем порции уменьшены.

– А мы не бойцы? Что вы нас силком загоняете? Мы сами знаем, как поступать. Когда надо будет драться, не хуже, а лучше вас будем биться. Не вам учить нас, старых революционеров. Где вы были, когда мы царский трон раскачивали? В царских войсках вы офицерами служили. А теперь нам издыхать, как отдали все революции, – кто палку взял, тот у вас и капрал! Вон в городе наших полторы тысячи легло, офицерье живыми в землю закопали, а...

– Ну, да ведь энти легли, а вы тут с бабами...

Заревели матросы, как стадо диких быков:

– Нам, борцам, глаза колотить!..

Ревут, машут перед часовыми руками, да волчьи огоньки не обманешь, – видят, все видят они: тут ревут и машут руками, а по сторонам, с боков, сзади пробираются отдельные фигуры, согнувшись перебегая мутно-голубые лунные полосы, и на бегу отстегивают бомбы. И вдруг ринулись со всех сторон на окруженную повозку.

В ту же секунду: та-та-та-та...

Пулемет в повозке засверкал. И как он послушен этому звериному глазу в этих перепутавшихся полосах черноты и дымно-лунных пятен, – ни одна пуля не задела, а только страшно зашевелил ветер смерти матросские фуражки. Все кинулись врассыпную.

– Вот дьявол!.. Ну, и ловок!.. Таких бы пулеметчиков...

На громадном пространстве спит лунно-задымленный лагерь. Спят задымленные горы. И через все море судорожно переливается дорога.

20

Не успело посветлеть небо, а уже голова колонны далеко вытянулась, поползла по

шоссе.

Направо все тот же голубой простор, налево густо громоздятся лесистые горы, а над ними пустынные скалы.

Из-за скалистых хребтов выплывает разгорающийся зной. По шоссе те же облака пыли. Тысячные полчища мух неотступно липнут к людям, к животным, – свои, кубанские степные мухи преданно сопровождают отступающих от самого дома, ночуют вместе и, чуть зорька, поднимаются вместе.

Извиваясь белой змеей, вползает клубящееся шоссе в гуцу лесов. Тишина. Прохладные тени. Сквозь деревья – скалы. Несколько шагов от шоссе, и не продерешься – непролазные дебри; все опутано хмелем, лианами. Торчат огромные иглы держидерева, хватают крючковатые шипы невиданных кустарников. Жилье медведей, диких кошек, коз, оленей, да рысь по ночам отвратительно кричит по-кошачьи. На сотни верст ни следа человеческого. О казаках и помину нет.

Когда-то разбросанно по горам жили тут черкесы. Вились по ущельям и в лесах тропки. Изредка, как зернышки, серели под скала-

ми сакли. Среди девственных лесов попадались маленькие площадки кукурузы, либо в ущельях у воды небольшие, хорошо возделанные сады.

Лет семьдесят назад царское правительство выгнало черкесов в Турцию. С тех пор дремуче заросли тропинки, одичали черкесские сады, на сотни верст распростерлась голодная горная пустыня, жильё зверя.

Хлопцы подтягивают все туже веревочки на штанах, – все больше съеживаются выдаваемые на привалах порции.

Ползут обозы, тащатся, держась за повозки, раненые, качаются ребячьи головенки, натягивают постромки единственного орудия тощие артиллерийские кони.

А шоссе, шаловливо свернувшись петлей, извилисто спускается к самому морю. По голубой беспредельности легла – смотреть больно – ослепительно переливающаяся солнечная дорога.

Прозрачные, стекловидные, еле приметные морщины неуловимо приходят откуда-то издалека и влажно моют густо усыпанную по берегу гальку.

Громада ползет по шоссе, не останавливаясь ни на минуту, а хлопцы, дивчата, ребяташки, раненые, кто может, сбегают под откос, сдергивая на берегу тряпье штанов, рубашонки, юбки, торопливо составляют козлы винтовки, с разбега кидаются в голубоватую воду. Тучи искр, сверканье, вспыхивающая радуга. И взрывы такого же солнечно-искрящегося смеха, визг, крики, восклицания, живой человеческий гомон, – берег осмыслился.

Море – нечеловечески-огромный зверь с ласково-мудрыми морщинами – притихло и ласково лижет живой берег, живые желтеющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крика, гоготанья.

Колонна ползет и ползет.

Одни выскакивают, хватают штаны, рубашки, юбки, винтовки и бегут, зажав под мышкой провонялую одежду, и капли жемчужно дрожат на загорелом теле, и, догнав своих, под веселое улюлюканье, гоготанье, скоромные шутки, торопливо вздевают, на шоссе, пропотелое тряпье.

Другие жадно сбегают вниз, на ходу раздеваются, кидаются в гомон, брызги, сверканье,

и притихший зверь теми же набегаящими старыми прозрачными морщинами ласково лижет их тела.

А колонна ползет и ползет.

Забелели дачи, забелели домики местечка, редко разбросанные по пустынному берегу. Сиротливо растянулись вдоль шоссе. Все жметя к узкому белому полотну – единственная возможность передвижения среди лесов, скал, ущелий, морских обрывов.

Хлопцы торопливо забегают на дачи, все обшарят, – пусто, безлюдно, заброшено.

В местечке коричневые греки с большими носами, черносливыми глазами, замкнуты, молчат с затаенной враждебностью.

– Нету хлеба... Нету... сами сидим голодные...

Они не знают, кто эти солдаты, откуда, куда и зачем идут, не расспрашивают и замкнуто враждебны.

Сделали обыск – действительно, нет. А по роже видно, что спрятали. За то, что это не свои, а грекосы, позабрали всех коз, как ни кричали черноглазые гречанки.

В широком, отодвинувшем горы ущелье

русская деревня, неведомо как сюда занесенная. По дну извиристо поблескивает речонка. Хаты. Скот. По одному склону желтеет жнивье, пшеницу сеют. Свои, полтавцы, балакают по-нашему.

Поделились, сколько могли, и хлебом и пшеном. Расспрашивают, куда и зачем. Слышали, что спихнули царя и пришли большевики, а як воно, що – не знают. Рассказали им все хлопцы, и хоть и жалко было, ну, да ведь свои – и позабрали всех кур, гусей, уток подвой и причитанье баб.

Колонна тянется мимо, не останавливаясь.

– Жрать охота, – говорят хлопцы и еще ту же затягивают веревочки на штанах.

Шныряют эскадронцы по дачам, шарят и на последней даче нашарили граммофон и целую кучу пластинок. Приторочили к пустому седлу, и среди скал, среди лесной тишины, в облаках белой пыли понеслось:

– ...бло-ха... ха-ха!.. бло-ха... – чей-то шершавый голос, будто и человеческий и нечеловеческий.

Ребята шагали и хохотали, как резаные.

– А ну, ну, ще! Закруты ще блоху!

Потом ставили по порядку: «Выйду ль я на реченьку...», «Не искушай...», «На земле весь род людской...».

А одна пластинка запела: «Бо-оже, ца-ря храни...»

Кругом загалдели...

– Мать его в куру совсем и с богом!..

– Надень его себе на...!

Пластинку выдрали и кинули на шоссе под бесчисленные шаги идущих.

С этих пор граммофон не знал ни минуты покоя и, хрипя и надрываясь, с ранней зари и до глубокой ночи верещал романсы, песни, оперы. Переходил он по очереди от эскадрона к эскадрону, от роты к роте, и, когда задерживали, дело доходило до драки.

Общим любимцем стал граммофон, и к нему относились, как к живому.

21

Пригнувшись к седлу, сбив папаху на самый затылок, скакал по краю шоссе навстречу двигающимся кубанец, крича:

– Дэ батько?

А лицо потное, и лошадь тяжело носит мокрыми боками.

Облака над лесистыми горами вылезли огромные, круглые, блестяще-белые и глядят на шоссе.

– Мабуть, гроза буде.

Где-то за поворотом шоссе стала голова колонны. Ряды пехоты, сходясь и густея, останавливались; наезжая на задки телег и задирая лошадям морды, останавливался обоз, и эта остановка побежала, передаваясь в хвост.

– Що таке?! Ще рано привал.

Бегучее потное лицо кубанца, торопливо носящая боками лошадь, неурочная остановка разлились тревогой, неопределенностью. Разом придавая всему зловещий смысл и значение, где-то далеко впереди слабо раздались выстрелы – и смолкли. Звук их отпечатался в наступившей тишине и уже не стирался.

Граммфон смолк. Торопливо проехал в бричке в голову колонны Кожух. Потом оттуда прискакали конные и, нечеловечески матерно ругаясь, загородили дорогу.

– Геть назад!.. стрелять будемо!.. Щоб вы подошли тут до разу!..

– ...Вам говорить... Там бой зараз буде, а вы лизите. Не приказано. Кожух стрелять по вас

звелив.

Сразу все налилось тревогой. Бабы, старики, старухи, дивчата, ребятишки подняли плач и крик.

– Та куда же мы?! Та що ж вы нас гоните, що нам робыты? И мы з вами. Колы смерть, так одна.

Но конные были неумолимы.

– Кожух звелив, щоб пять верстов було промеж вами и солдатами, а то мешаєте, драться не даєте.

– Та чи мы не ваши? Там же мий Иван.

– А мий Микита.

– А мий Опанас.

– Вы уйдете, а мы останемся, – спокинете нас.

– Та вы задом думаете, чи як? Вам сказано: за вас же бьются. Як расчистють дорогу, то и вы пийдете по шаше за нами. А то мешаєте, бой буде.

Повозки, сколько видно, грудятся друг на друга. Столпились пешие, раненые; мечется бабий вой. Запруживая все шоссе на десятки верст, замер обоз. Мухи обрадовались и густо чернеют на лошадиных спинах, боках, шеях;

облепили ребятишек; и лошади отчаянно мотают головами, бьют копытом под пузо. Сквозь листву синее море. Но все видят только кусок шоссе, загороженный конными, а за конными стоят солдатики, свои же хлопцы с винтовками, такие близкие, такие родные. То сидят, то свертывают сигарки из листьев широкой травы и насыпают сухую же траву.

Вот шевельнулись, лениво поднимаются, тронулись, и все шире и шире открывается шоссе, и эта уширяющаяся полоса, над которой пустынно садится пыль, таит угрозу и несчастье.

Конные неумолимы. Проходит час, другой. Пустое шоссе впереди тягостно белеет, как смерть. Бабы с набрякшими глазами всхлипывают и причитают. Сквозь деревья голубеет море, а на море из-за лесных гор смотрят облака.

Неведомо где упруго и кругло всплывает орудийный удар, другой, третий. Загрохотал залп и пошел раскалываться и грохотать по горам, по лесам, по ущельям. Мертво и бесстрастно потянул дробную строчку пулемет.

Тогда все, сколько ни было кнутов, стали

отчаянно хлестать лошадей. Лошади рванулись, но конные, сверхъестественно ругаясь, со всего плеча стали крестить нагайками лошадей по морде, по глазам, по ушам. Лошади, храпя, крутя головами, раздувая кровавые ноздри, выкатив круглые глаза, бились в дышлах, вскидывались на дыбы, брыкались. А сзади подбегали от других повозок, нечеловечески улюлюкали, брали в десятки кнутов; ребятишки визжали, как резаные, секли хвостинами по ногам, по пузу, стараясь побольнее; бабы истошно кричали и изо всех сил дергали вожжами, раненые возили по бокам костылями.

Обезумевшие лошади бешено рванули, смяли, опрокинули, разметали конных и, вырываясь из худой сбруи, в ужасе храпя, понеслись по шоссе, вытянув шеи, прижав уши. Мужики вскакивали в телеги; раненые, держась за грядки, бежали, падали, волочились, отрывались, скатывались в шоссейные канавы.

В белесо крутящихся клубках неся грохот колес, нестерпимое дребезжание подвешенных ведер, отчаянное улюлюканье. Сквозь

листву мелькало голубое море.

Остановились и медленно поползли, только когда нагнали пехотные части.

Никто ничего не знал. Говорили, что впереди казаки. Только казакам неоткуда взяться – громады гор давно отгородили их. Говорили, будто черкесы, не то калмыки, не то грузины, не то народы неизвестного звания, и сила-рять их несметная. От этого еще неотступнее наседали беженские телеги на войсковые части, – ничем нельзя было отодрать, разве перестрелять всех до единого.

Казаки ли, грузины ли, черкесы ли, калмыки ли, а жить надо. Опять граммофон на лошади запел: Уй-ми-и-тесь, вол-не-ния страсти...В разных концах хлопцы заспивали. Шли, как попало, по шоссе. С шоссе карабкались в гору, драли о сучья, шипы, иглы последние лохмотья, искали одичавшие нестерпимо-кислые мелкие яблоки и, сморщившись и по-звериному перекосив рожу, набивали живот кислицей. Под дубом собирали желуди, жевали их, и горькая, едкая слюна обильно бежала. Потом вылезли из лесу – голые, с кроваво-изодранной в лохмотья кожей – и обвя-

зывали остатками тряпья стыдное место.

Бабы, девки, ребятишки – все продираются в лесу. Крики, смех, плач – впиваются в тело иглы, дерут шипы, цепко обвиваются лианы, и ни назад, ни вперед: да голод не тетка, все лезут.

Иногда раздвинутся горы, и по склону зажелтеет небольшое поле недозрелой кукурузы – где-нибудь под берегом приткнулась деревенька. Поле разом, как саранчой, покрывается народом. Солдаты ломают кукурузные метелки, потом идут по шоссе, растирают на ладони, выбирают сырое зерно – и в рот, и долго и жадно жуют.

Матери, набрав зерен, тоже долго жуют, но не глотают, а теплым языком впихивают в ротик детям разжиженную слюной кашку.

А там впереди опять выстрелы, опять строчит пулемет, но никто уж не обращает внимания, – привыкли. Смолкает. Птичьим голосом тянет граммофон:

Уж я-а-а не ве-рю у-ве-ре-э-нья-ам...

Перекликаются, смеются в лесу, с разных

сторон доносятся песни солдат. Обоз беженцев нераздельно сливается с последними пешотными частями, и все вместе без отдыха течет по шоссе в безбрежных облаках пыли.

22

В первый раз враги преградили дорогу, новые враги.

Зачем? Что им надо?

Кожух понимает – тут пробка. Слева – горы, справа – море, а между ними узкое шоссе. По шоссе через пенистую горную речку мост железнодорожного типа, – мимо него нигде не пройдешь. А перед мостом врагами поставлены пулеметы и орудия. В этой сквозной, сплетенной из стальных балок дыре можно остановить любую армию. Эх, кабы развернуться можно! То ли дело в степях!

Ему подают приказ штаба Смолокурова, как действовать против неприятеля. Пожелтев, как лимон, и сжав челюсти, сминая приказ, не читая, и швыряет на шоссе. Солдаты бережно подбирают, расправляют на колени и крутят сигарки, насыпая сухими листьями.

Войска вытянулись вдоль шоссе. Кожух смотрит на них: оборванные, босые; у полови-

ны по два, по три патрона на человека, а у остальной половины одни винтовки в руках. Одно орудие, и к нему всего шестнадцать снарядов. Но Кожух, сжав челюсти, смотрит на солдат так, как будто у каждого в сумке по триста патронов, грозно глядят батареи, и переполнены снарядами зарядные ящики, а кругом родная степь, по которой привычно развернется вся колонна до последнего человека.

И с такими глазами и лицом он говорит:

– Товарищи! Бились мы с козаками, с кадетами. Знаемо, за що з ими бились – за тэ, що вони хотять задушить революцию.

Солдаты пасмурно смотрят на него и говорят глазами:

«Без тебя знаем. Що ж с того?.. А в дирочку на мосту все одно не полиземо...»

– ...от козаков мы оторвались! – горы нас отгородили, есть у нас передышка. Но новый враг заступил дорогу. Хтось такие? Це грузины-меньшевики, а меньшевики – одна цена с кадетами, одинаково еднаются с буржуями, сплять и во сне видють, щоб загубить советску власть...

А солдатские глаза:

«Та цилуйся с своей советской властью. А мы босы, голи, и йисты нэма чого».

Кожух понимал их глаза, понимал, что это – гибель.

И он, ставя последнюю карту, обратился к кавалеристам:

– Ваша, товарищи, задача: взять мост с маху на коне.

Кавалеристы, все как один, поняли, что сумасбродную задачу ставит им командующий: скакать гуськом (на мосту не развернешься) под пулеметным огнем – это значит, половина завалит мост телами, а вторая половина, не имея возможности через них проскочить, будет расстреляна, когда кинется назад.

Но на них были такие ловкие черкески, так блестело серебром отцовское и дедовское оружие, так красиво-воинственны папахи и барашковые кубанки, так оживленно мотают головами, выдергивая поводья, чудесные степные кубанские кони, и, видимо, любуясь, все смотрят на них, – и они дружно гаркнули:

– Возьмем, товарищ Кожух!..

Скрытое орудие, наполняя ущелье, скалы,

горы чудовищно разрастающимся эхом, раз за разом стало бить в то место за мостом, где притаились в гнездах пулеметы, а кавалеристы, поправив папахи, молча, без крика и выстрела, вылетели из-за поворота, и, в ужасе прижав уши, вытянув шеи, с кроваво-раздувшимися ноздрями, лошади понеслись к мосту и по мосту.

Грузинские пулеметчики, прижавшиеся под вспыхивавшими поминутно клубочками шрапнели, оглушенные дико разраставшимися в горах раскатами, не ожидавшие такой наглости, спохватились, застрочили. Упала лошадь, другая, третья, но уже середина моста, конец моста, шестнадцатый снаряд, и... побежали.

– Урра-а-а!! – пошли рубить.

Грузинские части, стоявшие поодаль от моста, отстреливаясь, бросились уходить по шоссе и скрылись за поворотом.

А те, что стояли у моста, отрезанные, кинулись к берегу. Но грузинские офицеры успели раньше вскочить в шлюпки, и шлюпки быстро ушли к пароходам. Из труб густо повалили клубы дыма: пароходы стали удаляться в мо-

ре.

Стоя по горло в воде, грузинские солдаты протягивали руки к уходящим пароходам, кричали, проклинали, заклинали жизнью детей, а им рубили шеи, головы, плечи, и по воде расходились кровавые круги.

Пароходы чернелись на синеющем краю точками, исчезли, и на берегу уже никто не молил, не проклинал.

23

Над лесами, над ущельями стали громоздиться скалистые вершины. Когда оттуда ветерок – тянет холодком, а внизу на шоссе – жара, мухи, пыль.

Шоссе потянулось узким коридором – по бокам стиснули скалы. Сверху свешиваются размытые корни. Повороты поминутно скрывают от глаз, что впереди и сзади. Ни свернуть, ни обернуться. По коридору неумолчно течет все в одном направлении живая масса. Скалы заслонили море.

Замирает движение. Останавливаются повозки, люди, лошади. Долго, томительно стоят, потом опять двигаются, опять останавливаются. Никто ничего не знает, да и не видно

ничего – одни повозки, а там – поворот и стена; вверху кусочек синего неба.

Тоненький голосок:

– Ма-а-мо, кисли-ицы!..

И на другой повозке:

– Ма-а-мо!..

И на третьей:

– Та цытьте вы! Дэ ии узяты?.. Чи на стину лизты? Бачишь, станы?

Ребятишки не унимаются, хнычут, потом, надрываясь, истошно кричат:

– Ма-а-мо!.. дай кукурузы!.. дай кислицы... ки-ислицы!.. ку-ку-ру-узы... дай!..

Как затравленные волчицы с сверкающими глазами, матери, дико озираясь, колотят ребятишек.

– Цыть! пропасти на вас нету. Когда только подохнете, усю душу повтягалы, – и плачут злыми, бессильными слезами.

Где-то глухо далекая перестрелка. Никто не слышит, никто ничего не знает.

Стоят час, другой, третий. Двинулись, опять остановились.

– Ма-а-мо, кукурузы!..

Матери так же озлобленно, готовые пере-

грызть каждому горло, роются в телегах, переругиваются друг с другом; надергивают из повозки стеблей молодой кукурузы, мучительно долго жуют, с силой стискивают зубы, кровь сочится из десен; потом наклоняются к жадно открытому детскому роту и всовывают теплым языком. Детишки хватают, пробуют проглотить, солома колет горло, задыхаются, кашляют, выплевывают, режут.

– Не хо-очу! Не хо-очу!

Матери в остервенении колотят.

– Та якого же вам биса?

Дети, размазывая грязные слезы по лицу, давятся, глотают.

Кожух, сжав челюсти, рассматривает в бинокль из-за скалы позиции врага. Толпятся командиры, тоже глядя в бинокли; солдаты, сощурившись, рассматривают не хуже бинокля.

За поворотом ущелье раздалось. Сквозь его широкое горло засинели дальние горы. Громада лесов густо сползает на массив, загораживающий ущелье. Голова массива кремниста, а самый верх стоит отвесно четырехсаженным обрывом, – там окопы противника, и

шестнадцать орудий жадно глядят на выбегающее из коридора шоссе. Когда колонна двинулась было из скалистых ворот, батарея и пулеметы засыпали, – места живого не осталось; солдаты отхлынули назад за скалы. Для Кожуха ясно – тут и птица не пролетит. Развернуться негде, один путь – шоссе, а там – смерть. Он смотрит на белеющий далеко внизу городок, на голубую бухту, на которой чернеют грузинские пароходы. Надо придумать что-то новое, – но что? Нужен какой-то иной подход, – но какой? И он становится на колени и начинает лазать по карте, разостланной на пыльном шоссе, изучая малейшие изгибы, все складки, все тропинки.

– Товарищ Кожух!

Кожух поднимает голову. Двое стоят веселыми ногами.

«Канальи!.. успели...»

Но на них молча смотрит.

– Так что, товарищ Кожух, не перескочить нам по шаше, – всех перебьет Грузия. Заразы были, как сказать, на разведке... добровольцами.

Кожух, так же не спуская глаз:

– Дыхни. Да не тяни в себе, дыхай на мене. Знаешь, за это расстрел?

– И вот те Христос, это лесной дух, – лесом пробирались все время, ну, надыхали в себе.

– Хиба ж тут шинки, чи що! – подхватывает с хитро-веселыми украинскими глазами другой. – В лиси одни дерева, бильш ничего.

– Говори дело.

– Так что, товарищ Кожух, идем это мы с им, и разговор у нас сурьезный: али помирать нам тут усем на шаше, али ворочаться в лапы козакам. И помирать не хотится, и в лапы не хотится. Как тут быть? Гля-а, за деревьями – духан. Мы подползли – четверо грузин вино пьют, шашлык едят; звесно: грузины – пьяницы. Так и завертело у носе, так и завертело, мочи нету. Ливорверты у их. Выскочили мы, пристрелили двоих: «Стой, ни с места! Окружены, так вас растак!.. Руки кверху!..» Энти обалдели, – не ждали. Мы еще одного прикололи, а энтого связали. Ну, духанщик спужался до скончания. Ну, мы, правду сказать, шашлык доели, оставшийся от грузин, которые заплатить должны, – жалованье большое получают, – а вина и не пригубили, как вы, одно

слово, приказ дали.

– Та нэхай воно сказытсья, це зилье прокляте... Нэхай мени сковородить на сторону усю морду, колы я хочь нюхнул его. Нэхай вывернэ мени усю требуху...

– К делу.

– Грузин оттащили в лес, оружие забрали, а остатнего грузина приволокли сюды, и духанщика, чтобы не распространял. Опять же ветрели пять мужчинов с бабами и с девками, – здешние, с-под городу, нашинские, русские, у них абселюция под городом, а грузины азияты, опять же черномазые и не с нашей нации, до белых баб дюже охочи. Ну, все бросили, до нас идут, сказывают, по тропкам можно обход городу сделать. Чижало, сказывают – пропасти, леса, обрывы, щели, но можно. А в лоб, сказывают, немысленно. Тропинки они все знают, как пять пальцев. Ну, трудно, несть числа, одно слово, погибель, а все-таки обойтить можно.

– Где они?

– Здеся.

Подходит командир батальона.

– Товарищ Кожух, сейчас мы были у моря,

там никак нельзя пройти: берег скалистый, прямо обрывом в воду.

– Глубоко?

– Да у самой скалы по пояс, а то и по шею, а то и с головой.

– Та що ж, – говорит внимательно слушающий солдат, в лохмотьях, с винтовкой в руке, – що ж, с головой... А есть каменюки наворочены, с гор попадали у море, можно скочить зайцами с камень на камень.

К Кожуху со всех сторон ползут донесения, указания, разъяснения, планы, иногда неожиданные, остроумные, яркие, – и общее положение выступает отчетливо.

Собирает командный состав. У него сжаты челюсти, колкие, под насунутым черепом, недопускающие глаза.

– Товарищи, вот как. Все три эскадрона пойдут в обход города. Обход трудный: по тропинкам, лесами, скалами, ущельями да еще ночью, но его во что бы то ни стало выполнить!

«Пропадем... ни одной лошади не вернется...» – стояло запрятанное в глазах, чего бы не сказал язык.

– Имеется пять проводников – русские, здешние жители. Грузины им насолили. У нас их семьи. Проводникам объявлено – семьи отвечают за них. Обойти с тыла, ворваться в город...

Он помолчал, взглядываясь в напалзающую в ущелье ночь, коротко уронил:

– Всех уничтожить!

Кавалеристы молодецки поправили на за-тылках папах:

– Будет исполнено, товарищ Кожух, – и лихо стали садиться на лошадей.

Кожух:

– Пехотный полк... товарищ Хромов, ваш полк спустите с обрыва, проберетесь по камням к порту. С рассветом ударить без выстрела, захватить пароходы на причале.

И опять, помолчав, уронил:

– Всех истребить!

«На море грузины поставят одного стрелка, весь полк поснимают с каменюков поодиночке...»

А вслух дружно сказали:

– Слушаем, товарищ Кожух.

– Два полка приготовить к атаке в лоб.

Одна за одной стала тухнуть алость дальних вершин: однообразно и густо засинело. В ущелье вползала ночь.

– Я поведу.

Перед глазами у всех в темном молчании отпечаталось: дремучий лес, за ним кремнистый подъем, а над ним одиноко, как смерть с опущенным взором, отвес скалы... Постояло и растаяло. В ущелье вползала ночь. Кожух вскарабкался на уступ. Внизу смутно тянулись ряды тряпья, босые ноги, выделялось колко множество теснившихся штыков.

Все смотрели, не спуская глаз, на Кожуха, – у него был секрет разрешить вопрос жизни и смерти: он обязан указать выход, выход – все это отчетливо видели – из безвыходного положения.

Подмываемый этими тысячами устремленных на него требующих глаз, чувствуя себя обладателем неведомого секрета жизни и смерти, Кожух сказал:

– Товариство! Нам нэма с чога выбирать: або тут сложим головы, або козаки сзаду всих замучут до одного. Трудности неодолимые: патронов нэма, снарядов к орудию нэма,

братъ треба голыми руками, а на нас оттуда глядят шестнадцать орудий. Но колы вси, как один... – Он с секунду перемолчал, железное лицо окаменело, и закричал диким, непохожим голосом, и у всех захолонуло: – Колы вси как один ударимо, тоди дорога открыта до наших.

То, что он говорил, знал и без него каждый последний солдат, но, когда закричал странным голосом, всех поразила неожиданная новизна сказанного, и солдаты закричали:

– Як один!! Або пробьемось, або сложим головы!

Пропали последние пятна белевших скал. Ничего не видно: ни массива, ни скал, ни лесов. Потонули зады последних уходящих лошадей. Не видать сыпавших мелкими камнями солдат, спускавшихся, держась за тряпье друг друга, по промоине к морю. Скрылись последние ряды двух полков в непроглядном лесу, над которым, как смерть с закрытыми глазами, чудилась отвесная скала.

Обоз замер в громадном ночном молчании: ни костров, ни говора, ни смеха, и детишки беззвучно лежат с голодно вваливши-

мися личиками.

Молчание. Темь.

24

Грузинский офицер с молодыми усами, в тонко перетянутой красной черкеске, в золотых погонах, с черными миндалевидными глазами, от которых (он это знал) захлебывались женщины, похаживал по площадке массива, изредка взглядывал. Окопы, брустверы, пулеметные гнезда.

В двадцати саженьях недоступно отвесный обрыв, под ним крутой каменистый спуск, а там непролазная темень лесов, а за лесами – скалистое ущелье, из которого выбегает белая пустынная полоска шоссе. Туда скрыто глядят орудия, там – враг.

Около пулеметов мерно ходят часовые – молодцеватые, с иголки.

Этим рваным свиньям дали сегодня утром жару, когда они попробовали было высунуться по шоссе из-за скал, – попомнят.

Это он, полковник Михеладзе (такой молодой и уже полковник!), выбрал позицию на этом перевале, настоял на ней в штабе. Ключ, которым заперто побережье.

Он опять глянул на площадку массива, на отвесный обрыв, на береговые скалы, отвесно срывающиеся в море, – да, все, как по заказу, сгрудилось, чтобы остановить любую армию.

Но этого мало, мало их не пустить – их надо истребить. И у него уже составлен план: отправить пароходы им в тыл, где шоссе спускается к морю, обстрелять с моря, высадить десант, запереть эту вонючую рвань с обоих концов, и они подохнут, как крысы в мышеловке.

Это он, князь Михеладзе, владелец небольшого, но прелестного имения под Кутаисом, он отсечет одним ударом голову ядовитой гадине, которая ползет по побережью.

Русские – враги Грузии, прекрасной, культурной, великой Грузии, такие же враги, как армяне, турки, азербайджане, татары, абхазцы. Большевики – враги человечества, враги мировой культуры. Он, Михеладзе, сам социалист, но он... («Послать, что ли, за этой, за девчонкой, за гречанкой?.. Нет, не стоит... не стоит на позиции, ради солдат...»)...но он истинный социалист, с глубоким пониманием исторического механизма событий, и кровный

враг всех авантюристов, под маской социализма разнуздывающих в массах самые низменные инстинкты.

Он не кровожаден, ему претит пролитая кровь, но когда вопрос касается мировой культуры, касается величия и блага родного народа, – он беспощаден, и эти поголовно все будут истреблены.

Он похаживает с биноклем, посматривает на страшной крутизны спуск, на темень непроходимых лесов, на извилисто выбегающую из-за скал белую полосу шоссе, на которой никого нет, на алеющие вечерней алостью вершины и слышит тишину, мирную тишину мягко наступающего вечера.

И эта стройно охватывающая его красивую фигуру великолепного сукна черкеска, дорогие кинжал и револьвер, выложенные золотом с подчернью, белоснежная папаха единственного мастера, знаменитости Кавказа, Османа, – все это его обязывает, обязывает к подвигу, к особенному, что он должен совершить; оно отделяет его ото всех – от солдат, которые вытягиваются перед ним в струнку, от офицеров, у которых нет его опытности и

знаний, и когда он стройно ходит, чувствует – носит в себе тяжесть своего одиночества.

– Эй!

Подбегает денщик, молоденький грузин с неправильно-желтым приветливым лицом и такими же, как у полковника, влажно-черными глазами, вытягивается в струнку, берет под козырек.

– Чего изволите?

«...Эту девчонку... гречанку... приведи...»

Но не выговорил, а сказал, строго глядя:

– Ужин?

– Так точно. Господа офицеры ждут.

Полковник величественно прошел мимо вскакивавших и вытягивавшихся в струнку солдат с худыми лицами: не было подвоза – солдаты получали только горсточку кукурузы и голодали. Они отдавали честь, провожая глазами, и он небрежно взмахивал белой перчаткой, слегка надетой на пальцы. Прошел мимо тихонько, по-вечернему дымивших синеватым дымком костров, мимо артиллерийских коновязей, мимо пирамид составленных винтовок пехотного прикрытия и вошел в длинно белевшую палатку, в которой ослепи-

тельно тянулся из конца в конец стол, заставленный бутылками, тарелками, рюмками, икрой, сыром, фруктами.

Разговор в группах таких же молодых офицеров, так же стройно перетянутых, в красивых черкесках, торопливо упал; все встали.

– Прошу, – сказал полковник, и стали все усаживаться.

А когда ложился в своей палатке, приятно шла кругом голова, и, подставляя ногу денцику, стаскивавшему блестяще лакированный сапог, думал:

«Напрасно не послал за гречанкой... Впрочем, хорошо, что не послал...»

25

Ночь так громадна, что поглотила и горы и скалы, колоссальный провал, который днем лежал перед массивом, в глубине которого леса, а теперь ничего не видно.

По брустверу ходит часовой – такой же бархатно-черный, как и все в этой бархатной черноте. Он медленно делает десять шагов, медленно поворачивается, медленно проходит назад. Когда идет в одну сторону – смутно проступают очертания пулемета, когда в дру-

гую – чувствуется скалистый обрыв, до самых краев ровно залитый тьмой. Невидимый отвесный обрыв вселяет чувство спокойствия и уверенности: ящерица не взберется.

И опять медленно тянутся десять шагов, медленный поворот, и опять...

Дома маленький сад, маленькое кукурузное поле. Нина, и на руках у нее маленький Серго. Когда он уходил, Серго долго смотрел на него черносливыми глазами, потом запрыгал на руках матери, протянул пухлые ручонки и улыбнулся, пуская пузыри, улыбнулся чудесным беззубым ртом. А когда отец взял его, он облюнявил милыми слюнями лицо. И эта беззубая улыбка, эти пузыри не меркнут в темноте.

Десять медленных шагов, смутно угадываемый пулемет, медленный поворот, так же смутно угадываемый край отвесного обрыва, опять...

Большевики зла ему не сделали... Он будет в них стрелять с этой высоты. По шоссе ящерица не проскочит... Большевики царя спихнули, а царь пил Грузию, – очень хорошо... В России говорят, всю землю крестьянам... Он

вздохнул. Он мобилизован и будет стрелять, если прикажут, в тех, что там, за скалами.

Ничем не вызываемая, выплывает беззубая улыбка и пузыри, и в груди теплеет, он внутренне улыбается, а на темном лице серьезность.

Тянется все та же тишина, до краев наполненная тьмой. Должно быть, к рассвету – и эта тишина густо наваливается... Голова неизмеримой тяжести, ниже, ниже... Да разом вздернется. Даже среди ночи особенно непроглядна распростершаяся неровная чернота – горы; в изломах мерцают одинокие звезды.

Далеко и непохоже закричала ночная птица. Отчего в Грузии таких не слышал?

Все налито тяжестью, все недвижимо и медленно плывет ему навстречу океаном тьмы, и это не странно, что недвижимо и неодолимо плывет ему навстречу.

– Нина, ты?.. А Серго?..

Открыл глаза, а голова мотается на груди, и сам прислонился к брустверу. Последние секунды оторванного сна медленно плыли перед глазами ночными пространствами.

Тряхнул головой, все замерло. Подозри-

тельно взгляделся: та же недвижимая темь, тот же смутно видимый бруствер, край обрыва, пулемет, смутно ощущаемый, но невидимый провал. Далеко закричала птица. Таких не бывает в Грузии...

Он переносит взгляд вдаль. Та же изломанная чернота, и в изломах слабо мерцают побелевшие и уже в ином расположении звезды. Прямо – океан молчаливой тьмы, и он знает – на дне его дремучие леса. Зевает и думает: «Надо ходить, а то опять...» – да не додумал, и сейчас же опять поплыла неподвижная тьма из-под обрыва, из провала, бесконечная и неодолимая, и у него тоскливо стало задыхаться сердце.

Он спросил:

«Разве может плыть ночная темь?»

А ему ответили:

«Может».

Только ответили не словами, а засмеялись одними деснами.

Оттого, что рот был беззубый и мягкий, ему стало страшно. Он протянул руку, а Нина выронила голову ребенка. Серая голова покачалась (у него замерло), но у самого края оста-

новилась... Жена в ужасе – ах!.. но не от того, а от другого ужаса: в напряженно-предраассветном сумраке по краю обрыва серело множество голов, должно быть, скатившихся... Они все повышались: показались шеи, вскинулись руки, приподнялись плечи, и железно-ломаный, с лязгом, голос, как будто протиснутый сквозь неразмыкающиеся челюсти, поломал оцепенение и тишину:

– Вперед!.. в атаку!!

Нестерпимо звериный рев взорвал все кругом. Грузин выстрелил, покатился, и в нечеловечески-раздирающей боли разом погас прыгавший на руках матери с протянутыми ручонками, пускающий пузыри улыбающимся ртом, где одни десны, ребенок.

26

Полковник вырвался из палатки и бросился вниз, туда, к порту. Кругом, прыгая через камни, через упавших, летели в ясном рассвете солдаты. Сзади, наседая, катился нечеловеческий, никогда не слышанный рев. Лошади рвались с коновязи и в ужасе мчались, болтая обрывками...

Полковник, как резвый мальчишка, пры-

гая через камни, через кусты, неся с такой быстротой, что сердце не успевало отбивать удары. Перед глазами стояло одно: бухта... пароходы... спасенье...

И с какой быстротой он неся ногами, с такой же быстротой – нет, не через мозг, а через все тело – неслоь:

«...Только б... только б... только б... не убили... только б пощадили. Все готов делать для них... Буду пасти скотину, индюшек... мыть горшки... копать землю... убирать навоз... только б жить... только б не убили... Господи!.. жизнь-то – жизнь...»

Но этот сплошной, потрясающий землю топот несется страшно близко сзади, с боков. Еще страшнее, наполняя умирающую ночь, безумно накатывается сзади, охватывая, дикий, нечеловеческий рев: а-а-а!.. и отборные, хриплые, задыхающиеся ругательства.

И в подтверждение ужаса этого рева то там, то там слышится: кррак!.. кррак!.. Он понимает: это прикладом, как скорлупу, разбивают череп. Взметываются заячьи вскрики, мгновенно смолкая, и он понимает: это – ШТЫКОМ.

Он несется, каменно стиснув зубы, и жгучее дыхание, как пар, вырывается из ноздрей.

«...Только б жить... только б пощадили... Нет у меня ни родины, ни матери... ни чести, ни любви... только уйти... а потом все это опять будет... А теперь – жить, жить, жить...»

Казалось, израсходованы все силы, но он напряжил шею, втянул голову, сжал кулаки в мотающихся руках и понесся с такой силой, что навстречу побежал ветер, а безумно бегущие солдаты стали отставать, и их смертные вскрики несли на крыльях бежавшего полковника.

– Кррак!.. кррак!..

Заголубела бухта... Пароходы... О, спасение!..

Когда подбежал к сходням, на секунду остановился: на пароходах, на сходнях, на набережной, на молу что-то делалось и отовсюду: крррак!.. крррак!..

Его поразило: и тут стоял неукротимый, потрясающий рев, и несло: кррак!.. кррак!.. и вспыхивали и гасли смертные вскрики.

Он мгновенно повернул и с еще большей легкостью и быстротой понесся прочь от бух-

ты, и в глаза на мгновение блеснула последний раз за молодую бесконечная синева...

«...Жить... жить... жить!..»

Он летел мимо белых домиков, бездушно глядевших черными немymi окнами, летел на край города, туда, где потянулось шоссе, такое белое, такое спокойное, потянулось в Грузию. Не в великодержавную Грузию, не в Грузию, рассадницу мировой культуры, не в Грузию, где он произведен в полковники, а в милую, единственную, родную, где так чудесно пахнет весной цветущими деревьями, где за зелеными лесными горами белеют снега, где звенящий зной, где Тифлис, Воронцовская, пенная Кура и где он бегал мальчишкой...

«...Жить... жить... жить!..»

Стали редеть домики, прерываясь виноградниками, а рев, страшный рев и одиночные выстрелы остались далеко позади, внизу, у моря.

«Спасен!!»

В ту же секунду все улицы наполнились потрясающе тяжелым скоком; из-за угла вылетели на скакавших лошадях, и вместе с ни-

ми покотился такой же отвратительный, смертельный рев: рры-а-а... Вспыхивали узкие полосы шашек.

Бывший князь Михеладзе, когда-то грузинский полковник, мгновенно бросился назад.

«...Спаси-ите!»

И, зажав дыхание, полетел по улице к центру города. Раза два ударился в калитку, – калитки и ворота были наглухо заперты железными засовами, никто не подавал и признаков жизни: там чудовищно было все равно, что делалось на улице.

Тогда он понял: одно спасение – гречанка. Она ждет с черно-блестящими жалостливыми глазами. Она – единственный в мире человек... Он на ней женится, отдаст имение, деньги, будет целовать край ее одеж...

Голова взрывом разлетелась на мелкие части.

А на самом деле не на мелкие части, а расцелась под наискось вспыхнувшей шашкой надвое, вывалив мозги.

27

Зной разгорается. Невидимый мертвый туман тяжело стоит над городом. Улицы, пло-

щади, набережная, мол, дворы, шоссе завалены. Груды людей неподвижно лежат в разнообразных позах. Одни страшно подвернули головы, у других шея без головы. Студнем трясутся на мостовой мозги. Запекшаяся, как на бойне, кровь темно тянется вдоль домов, каменных заборов, подтекает под ворота.

На пароходах, в каютах, в кубрике, на палубе, в трюме, в кочегарке, в машинном отделении – все они с тонкими лицами, черненькими молодыми усиками.

Неподвижно перевешиваются через парапет набережной и, когда глянешь в прозрачно-голубую воду, спокойно лежат на ослизло-зеленоватых камнях, а над ними неподвижно виснут серые стаи рыб.

Только из центра города несутся частые выстрелы и торопливо татакает пулемет: вокруг собора засела грузинская рота и героически умирает. Но и эти замолчали.

Мертвые лежат, а живые переполнили городок, улицы, дворы, дома, набережную, и около города, по шоссе, на склонах в ущельях – все повозки, люди, лошади. Суета, восклицания, смех, гомон.

По этим мертво-живым местам проезжает Кожух.

– Победа, товарищи, победа!!

И как будто нет ни мертвых, ни крови, – буйно-радостно раскатывается:

– Уррра-а-а!!

Далеко откликается в синих горах и далеко умирает за пароходами, за бухтой, за молом, во влажной синеве.

А на базарах, в лавках, в магазинах идет уже мелькающая озабоченная работа: разбирают ящички, рвут штуки сукна, сдергивают с полок белье, одеяла, галстуки, очки, юбки.

Больше всего налетело матросов – они тут как тут. Всюду крепкие, кряжистые фигуры в белых матросках, брюках клеш, круглые шапочки, и ленточки полощутся, и зычно разносятся:

– Гребите!

– Причалива-ай!

– Кро-ой!!

– Выгребай с энтой полки!

Орудовали быстро, ловко, организованно. Один приправил на голове роскошную дамскую шляпу, обмотал морду вуалью, другой –

под шелковым кружевным зонтиком.

Суетились и солдаты в невероятных отрепьях, с черными, босыми, полопавшимися ногами; забирали ситец, полотно, парусину для баб и детей.

Вытаскивает один из картонного короба крахмаленную рубаху, растопырил за рукава и загоготал во все горло:

– Хлопьята, бач: рубаха!.. Матери твоей по потылице...

Полез, как в хомут, головой в ворот.

– Та що ж вона не гнеться? Як лубок.

И он стал нагибаться и выпрямляться, глядя себе на грудь, как баран.

– Ей-бо, не гнеться! Як пружина.

– Тю, дура! Це крахмал.

– Що таке?

– Та с картофелю паны у грудях соби роблють, щоб у грудях у их выходыло.

Высокий, костлявый – почернелое тело сквозит в тряпье – вытащил фрак. Долго рассматривал со всех сторон, решительно скинул тряпье и голый полез длинными, как у орангутанга, руками в рукава, но рукава – по локоть. Надел прямо на голое тело. На животе

застегнул, а книзу вырез. Хмыкнул.

– Треба штанив.

Полез искать, но брюки забрали. Полез в бельевое отделение, вытащил картон, – в нем что-то странное. Развернул, прицелился, опять хмыкнул:

– Чудно! Штани не штани, а дуже тонко. Хведор, що таке?

Но Хведору было не до того, – он вытаскивал ситец бабе и ребятам – голые.

Опять прицелился и вдруг хмуро и решительно надернул на длинные, жилистые, почернелые от солнца и грязи ноги. Оказалось, то, что надел, болталось выше колен кружевами.

Хведор глянул и покотился:

– Хлопьята, гляньте! Опанас!..

Магазин дрогнул от хохота:

– Та це ж бабьи портки!!

А Опанас мрачно:

– А що ж, баба нэ чоловік?

– Як же ты будешь шагать, – разризано, усе видать, и тонина.

– А мотня здоровая!..

Опанас сокрушено посмотрел.

– Правда. То-то дурни, штани з якої тонины роблять, тильки материал портють.

Вытащил из коробка все, что там было, и стал молча надевать одни за другими, – шесть штук надел; кружева пышным валом повыше колена.

Матросы на секунду прислушались и вдруг бешено ринулись в двери, в окна. А за окнами улюлюканье, матерная ругань, конский топот, хруст нагаек о человеческое тело. Солдаты – к окнам. По площади, что было силы, бежали матросы, стараясь спасти захваченное. Эскадронцы, шпоря лошадей, нещадно пороли их, просекая одежду, и синие вздувшиеся жгуты опоясывали лица, – кровь брызгала.

Матросы, озверело оглядываясь, побросали набитые сумки – невтерпеж стало – рассыпались кто куда.

28

Тревожно, торопливо трещал барабан. Играл горнист.

Через двадцать минут на площади шеренгами стояли солдаты с строгими лицами. И этой строгости странно не соответствовала

одежда. Одни были в прежнем пропотелом тряпье, другие – в крахмальных, расстегнутых, подпоясанных веревочками сорочках – на груди стояли коробом. Иные – в дамских ночных кофтах или в лифах, и странно торчали из них черные руки, шеи. А правофланговый третьей роты, высокий, костлявый и сумрачный, стоял в черном фраке на голом теле, с рукавами до локтя; густо белели выше голых колен кружева.

Подошел Кожух, железно зажимая челюсти, а глаза серые, острого блеска. За ним командный состав в красивых грузинских офицерских папахах, малиновых черкесках, на которых серебряные с чернью кинжалы.

Кожух постоял, все так же посылая вдоль шеренги острый блеск стали крохотных глаз.

– Товарищи!

Голос такого же ржаво-ломаного железа, как тот, что ночью. «Вперед!.. в атаку!..»

– Товарищи! Мы – революционная армия, бьемось за наших дитэй, за жен, за наших старых матерей, отцов, за революцию, за нашу землю. А землю кто дал?

Он замолчал и ждал ответа, зная, что не

будет ответа: стояли в строю.

– Кто дал? Советска власть. А вы що сделали? А вы разбойниками стали, – пошли грабить.

Стояла такая тишина напряжения, что вот лопнет. А ржавое железо, ломаясь, гремело:

– Я, командующий колонной, я назначаю двадцать пять розог каждому, хто взял хочь нитку.

Все неподвижно смотрели на него, не спуская глаз: он был отрепан, штаны висели ключьями: как блин, обвисла грязная соломенная шляпа.

– У кого хочь трошки есть награбленного, три шага вперед!

Прошла тягостная секунда молчания – никто не тронулся.

И вдруг земля глухо и дружно: раз! два! три!.. Немного осталось стоять в тряпье. А в новой шеренге густо стояли одетые кто во что горазд.

– Що взято у городе, пойдет в общий котел, вашим же дитям и бабам. Кладите на землю, хто що взял. Все!

Вся передняя шеренга шевельнулась и ста-

ла класть перед собой куски ситца, полотна, парусины, а другие стали снимать крахмаленные рубахи, дамские кофточки, лифчики; сложили на земле кучками и стояли, голые и загорелые. Снял и правофланговый фрак и панталоны, и тоже стоял, костлявый и голый.

Подъехала повозка. Из повозки вынули розги.

Кожух подошел к фланговому.

– Лягай!

Тот стал на четвереньки, потом неуклюже лег лицом в панталоны, и солнце жгло ему голый зад.

Кожух ржаво закричал:

– Лягайте все!

И все легли, подставляя зады и спины горячему солнцу.

Кожух смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шумя буйной ордой, выбрали его в начальники? Разве не они кричали ему: «Продал... пропил нас?» Разве не они играли им, как щепкой? Разве не они хотели поднять его на штыки?

А теперь покорно лежат голые.

И волна силы и мощи, подобная той, что

взносила его, когда честолюбиво добивался офицерства, поднялась в душе. Но это была другая волна, другого честолюбия – он спасет, он выведет вот этих, которые так покорно лежат, дожидаясь розог. Покорно лежат, но если бы он заикнулся сказать: «Хлопцы, завертайте назад, до казаков, до офицеров», – его бы подняли на штыки.

И опять ржавый Кожухов голос разнесся над лежавшими:

– Одевайсь!

Все поднялись и стали одеваться в крахмаленные рубахи, в кофточки, а правофланговый опять напялил фрак и надернул шесть штук панталон.

Кожух сделал знак, и два солдата с засветившимися лицами забрали нетронутую кучу розог и положили назад в повозку. Потом повозка поехала вдоль шеренги, и в нее радостно кидали куски ситцу, полотна, сатину.

29

В бархатно-черном океане красновато шевелятся костры, озаряя лица, плоские, как из картона, фигуры, угол повозки, лошадиную морду. И вся ночь наполнена гомоном, голо-

сами, восклицаниями, смехом; песни рождаются близко и далеко, гаснут; зазвенит балалаечка; заиграет вперебивку гармоника. Костры, костры...

Ночь полна еще чем-то, о чем не хочется думать.

Над городом синевато озаренный свет электрического сияния.

Заглядывает красноватый отсвет потрескивающего костра в старое лицо. Знакомое лицо. Э-э, будь здорова, бабуся! Бабо Горпино! Дид в сторонке лежит молча на тулупе. Кругом костра сидят солдатики, и лица красно озарены, – из своей же станицы. Котелки подвешены, да в котелках, почитай, вода одна.

А баба Горпина:

– Господи, царица небесная, що ж воно таке?! Йшлы, йшлы, йшлы, а ничого нэма, хочь подыхай, нэма чого пойисты. Що ж воно таке за начальство – пожрать ничого не може дать? Якое же то начальство... Анки нэма. Дид мовчить.

Вдоль шоссе неровная цепочка уходящих костров.

За костром лежит на спине солдатик (его

не видно), закинул за голову руки, смотрит в темное небо и не видит звезд. Не то вспомнить что-то хочется, не то тоска. Лежит, заломив руки, о чем-то о своем думает, и, как думы, плывет его голос – молодой, мягко-задумчивый:...Возь-ми сво-ю жи-и-ии-ку...Бьет ключом в котелке голая водица.

– Що ж воно таке... – это баба Горпина. – Завелы, тай подыхать нам тут. От одной воды тильки живот пучить, хочь вона наскрозь прокипить.

– Во!.. – говорит солдат, протягивая к костру красно озаренную ногу в новом английском штиблете и в новых рейтузах.

У соседнего костра игриво заиграла гармоника. Прерывисто тянулась цепочка огней.

– И Анки нэма... Лахудра! Дэсь вона? Що з ей робиты? Хочь бы ты, диду, ее за волосья потягал. И чого ты мовчишь, як колода?...От-дай мою лю-уль-ку, не-о-ба-чний... – продолжал свою песню солдатик, да повернулся на живот, подпер подбородок и с красно-озаренным лицом стал смотреть в костер.

Затейливо выделявала гармошка. В озаренно шевелящейся темноте смех, говор, пес-

ни и у ближних и у дальних костров.

– И все были люди, и у каждого – мать...

Он это сказал, ни к кому не обращаясь, молодым голосом, и сразу побежало молчание, погашая гармошку, говор, смех, и все почувствовали густой запах тления, наплывавший с массива – там особенно их много лежало.

Пожилой солдат поднялся, чтоб разглядеть говорившего... Плюнул в костер, зашипело. Должно быть, молчание в этой вдруг почувствовавшейся темноте долго бы стояло, да неожиданно ворвались крики, говор, брань.

– Что такое?

– Шо таке?

Все головы повернулись в одну сторону. А оттуда из темноты:

– Иди, иди, сволочь!

В освещенный круг взволнованно вошла толпа солдат, и костер неверно и странно выхватывал из темноты то часть красного лица, то поднятую руку, штык. А в середине, пораженная неожиданностью, блеснули золотые погоны на плечах тоненько перехваченной черкески молоденького, почти мальчика, грузина.

Он затравленно озирался огромными престлестными, как у девушки, глазами, и на громадных ресницах, как красные слезы, дрожали капли крови. Так и казалось, он скажет: «мама...» Но он ничего не говорил, а только озирался.

– У кустах спрятался, – все никак не справляясь с охватившим волнением, заговорил солдат. – Это каким манером вышло. Пошел я до ветру у кусты, а паши еще кричат: «Пошел, сукин сын, дальше». Я это в самые кусты сел, – чего такое черное? Думал – камень, хватить рукой, а это – он. Ну, мы его в приклады.

– Коли его, так его растак!.. – подбежал маленький солдат со штыком наперевес.

– Постой... погоди... – загомонили кругом, – надо командиру доложить.

Грузин заговорил умоляюще:

– Я по мобилизации... я по мобилизации, я не мог... меня послали... у меня мать...

А на ресницах висли новые красные слезы, сползая с разбитой головы. Солдаты стояли, положив руки на дула, хмуро глядя.

Тот, что лежал по ту сторону на животе и

все время, озаренный, смотрел в костер, сказал:

– Молоденький... Гляди – и шестнадцати нету...

Разом взорвали голоса:

– Та ты хто такой?! Господарь?.. Мы бьемось с кадетами, а грузины чого под ногами путаются? Просили их сюда? Мы не на живот, на смерть бьемось с козаками, третий не приставай. А хто вставит нос у щель, оттяпаем совсем с головой.

Отовсюду слышались возбужденно-озлобленные голоса. Подходили и от других костров.

– Та хто-сь такой?

– Вон лежит молокосос... Ще и молоко на губах не обсохло.

– Та мать его так!

Солдат грубо выругался и стал снимать котелок. Подошел командир. Мельком глянул на мальчика и, повернувшись, пошел прочь, уронив так, чтобы грузин не слышал:

– В расход!

– Пойдем, – преувеличенно сурово сказали два солдата, вскинув винтовки и не глядя на

грузина.

– Куда вы меня ведете?

Трое пошли, и из темноты донеслось с той же преувеличенной серьезностью:

– В штаб... на допрос... там будешь ночевать...

Через минуту выстрел. Он долго перекатывался, ломаясь в горах, наконец смолк... А ночь все была полна смолкшими раскатами. Вернулись двое, молча сели к огню, ни на кого не глядя... А ночь все была полна неумирающим последним выстрелом.

Точно желая стереть нестираемый отзвук его, все заговорили оживленно и громче обычного. Заиграла гармошка, затренькала балалайка.

– Мы лесом як продирались тай подошли к скале, чуем, пропало дило: и к ним не влизим и не уйдем, – день настане, всех расстреляють...

– Ни туды, ни суды, – засмеялся кто-то.

– А тут думка: притворились сукины диты, що сплять; зараз начнут поливать. А там наверху по краю поставь десять стрелков – обои полки смахнут, як мух. Ну, лизим, один одно-

му на плечи тай на голову становимся...

– А батько дэ був?

– Та и батько ж с нами лиз. Як долизлы доверху, осталось сажений дви, прямо стиной: нияк не можно, ни взад, ни вперед, – затаились вси. Батько вырвав у одного штык, устремив в скалу и полиз. И вси за им начали штыки в щели втыкать, так и пидтягались до самого верху.

– А у нас цельный взвод захлебнулся у мори. Скачем, як зайцы, с камня на камень. Темь. Они оборвались, один за одним, в воду и потопли.

Но как оживленно ни стоял говор, как весело ни горели костры, темноту напряженно наполняло то, что каждый хотел забыть, и все так же неотвратимо наплывал запах тления.

А баба Горпина сказала:

– Що таке? – и показала.

Стали глядеть туда. В темноте, где невидимо стоял массив, мелькали дымные факелы, передвигались, наклонялись.

Знакомый молодой голос в темноте сказал:

– Это же наши команды и наряды из жителей подбирают. Целый день подбирают.

Все молчали.

30

Опять солнце. Опять блеск моря, иссиня-дымчатые очертания дальних гор. Все это медленно опускается, – шоссе петлями идет все выше и выше.

Крохотно далеко внизу белеет городок, постепенно исчезая. Синяя бухта, как карандашом, прямолинейно очерчена тоненькими линиями мола. Чернеют черточки оставленных грузинских пароходов. Вот только жаль – нельзя было прихватить и их с собою.

Впрочем, и без того много набрали всякой всячины. Везут шесть тысяч снарядов, триста тысяч патронов. Напрягая масляно-черные постромки, отличные грузинские лошади везут шестнадцать грузинских орудий. На грузинских повозках тянется множество всякого военного добра – полевые телефоны, палатки, колючая проволока, медикаменты; тянутся санитарные повозки – всего хоть засыпья. Одного нет: хлеба и сена.

Терпеливо идут лошади, голодно поматывая головами. Солдаты туго затянули животы, но все веселы – у каждого по двести, по три-

ста патронов у пояса, бодро шагают в веселых горячих облаках белой пыли, и кучами носят-ся свыкшиеся с походом, неотстающие мухи. Дружно в шаг разносится в солнечном сверкании: Чи-и у шин-кар-ки ма-ло го-рил-ки,

Ма-ло и пи-ва и мэ-э-ду-у...Бесконечно скрипят арбы, повозки, двуколки, фургоны. Между красными подушками мотаются исхудалые детские головенки.

По тропинкам, сокращенно между шоссе-ными петлями, нескончаемо гуськом тянутся пешеходы все в тех же картузах, истрепан-ных, обвислых соломенных и войлочных шляпах, с палками в руках, а бабы в рваных юбках, босые. Но уже никто не подгоняет хворостиной живность – ни коровы, ни свиньи, ни птицы; даже собаки с голоду куда-то по-пропали.

Бесконечно извивающаяся змея, шевелясь бесчисленными звеньями, вновь поползла в горы к пустынным скалам мимо пропастей, обрывов, расщелин, поползла к перевалу, чтобы перегнуться и сползти снова в степи, где хлеб и корм, где ждут свои. Вда-ари-им о зем-лю ли-хом, жур-бою тай

бу-дем пить, ве-е-се-ли-и-ться...

То-рре-а-дор, сме-ле-е-е! То-рре-а-дор...Но-
вых пластинок набрали в городе.

Высятся в голубом небе недоступные вер-
шины.

Городок утонул внизу в синеве. Расплылся
берег. Море встало голубой стеной и посте-
пенно закрылось обступившими шоссе вер-
хушками деревьев. Жара, пыль, мухи, осыпи
вдоль шоссе и леса, пустынные леса, жильё
зверей.

К вечеру над бесконечно скрипевшим обо-
зом стояло:

– Мамо... исты... исты дай... исты!..

Матери, исхудалые, с почернелыми лица-
ми, похожими на птичьи клювы, вытянув
шеи, смотрели воспаленными глазами на
уходившее петлями все выше шоссе, торопли-
во мелькая босыми ногами около повозок, –
им нечего было сказать ребятишкам.

Подымались все выше и выше, леса реде-
ли, наконец, остались внизу. Надвинулась пу-
стыня скал, ущелий, расщелин, громады ка-
менных обвалов. Каждый звук, стук копыт,
скрип колес отовсюду отражались, дико раз-

растаясь, заглушая человеческие голоса. То и дело приходилось обходить павших лошадей.

Вдруг разом зной упал; потянуло с вершин; все посерело. Без промежутка наступила ночь. С почернелого неба хлынули потоки. Это был не дождь, а, шумя, сбивая с ног, неслась вода, наполняя бешеным водяным вихрем крутящуюся темноту. Неслась сверху, снизу, с боков. Вода струилась по тряпью, по прилипшим волосам. Потерялось направление, связь. Люди, повозки, лошади тянулись отъединенные, как будто между ними было бушующее пространство, не видя, не зная, что и кто кругом.

Кого-то унесло... Кто-то кричал... Да разве возможен тут человеческий голос?.. Клокотала вода, не то ветер, не то черно-бушующее небо, или горы валились... А может быть, понесло весь обоз, лошадей, повозки...

– Помогите!

– Ра-а-туйте!.. кинце свита!..

Они думали, что кричат, а это, захлебываясь, шептали посинелые губы.

Лошади, сбитые несущимся потоком, увлекали повозку с детьми в провал, но люди дол-

го шли около пустого места, думая, что идут за повозкой.

Дети зарылись в насквозь промокшие подушки и одежду:

– Ма-а-мо!.. ма-а-мо!.. та-а-ту!..

Им казалось – они отчаянно кричат, а это ревели несшаяся вода, катились с невидимых скал невидимые камни, бешено горланил живыми голосами ветер, непрерывно выливая ушаты.

Кто-то, распорядившись в этом сумасшедшем доме, разом отдернул колоссальную завесу, и нестерпимо остро затрепетало синим трепетанием все, что помещалось до этого в черноте необъятной ночи. Режущие-синие затрепетали извилины дальних гор, зубцы нависших скал, край провала, лошадиные уши, и, что ужаснее, в этом безумно трепещущем свете все было мертво-неподвижно; неподвижны косые полосы воды в воздухе, неподвижны пенистые потоки, неподвижны лошади с поднятым для шага коленом, неподвижны люди на полушаге, открыты чернеющие рты на полуслове, и бледны синие ручонки детишек меж мокрых подушек. Все

недвижно в молчаливо судорожном трепетании.

Это трепетание смертельной синевы продолжалось всю ночь; а когда так же неожиданно-мгновенно завеса задернулась, оказалось – только долю секунды.

Громада ночи все поглотила, и тотчас же, покрывая эту ведьмину свадьбу, треснула гора, и из недр выкатился такой грохот, что не поместился во всей громаде ночи, раскололся на круглые куски и, продолжая лопаться, покатился в разные стороны, все разрастаясь, заполняя невидимые ущелья, леса, провалы, – люди оглохли, а ребяташки лежали, как мертвые.

Среди ливших потоков, поминутно моргающей синевы, без перерыва разрастающихся раскатов остановился обоз, войска, орудия, зарядные ящики, беженцы, двуколки, – больше не было сил. Все стояло, отдаваясь на волю бешеных потоков, ветра, грохота и нестерпимо трепещущего мертвого света. Вода неслась выше лошадиных колен. Разыгравшейся ночи не было ни конца, ни края.

А наутро опять сияющее солнце; как умы-

тый, прозрачен воздух; легко-воздушны голубые горы. Только люди черны, осунулись, ввалились глаза; напрягая последние силы, помогают тянуть лошадям. А у лошадей костлявые головы, выступили, хочь считай, ребра, чисто вымыта шерсть.

Кожуху докладывают:

– Так что, товарищ Кожух, три повозки смыло в пропасть совсем с людьми. Одну двуколку разбило камнем с горы. Двух убило молнией. Двое из третьей роты пропали без вести. А лошади десятками падают, по всея шаше лежат.

Кожух смотрит на чисто вымытое шоссе, на скалы, которые сурово громоздятся, и говорит:

– На ночлег не останавливаться, иттить безостановочно, день и ночь иттить!

– Лошади не выдержат, товарищ Кожух. Сена ни клочка. Через леса шли – хочь листьями кормили, а теперь голый камень.

Кожух помолчал.

– Иттить безостановочно! Будем останавливаться – все лошади пропадут. Напишите приказ.

Чудесный, чистый горный воздух, так бы и дышал им. Десяткам тысяч людей не до воздуха; молча глядя себе под ноги, шагают возле повозок, по обочинам, около орудий. Спешившиеся кавалеристы ведут тянущих сзади повод лошадей.

Кругом одичало и голо громоздятся скалы. Узко темнеют расщелины. Бездонные пропасти, ожидающие гибели. В пустынных ущельях бродят туманы.

И темные скалы, и расщелины, и ущелья полны ни на секунду не затихающего скрипа повозок, звука колес, топота копыт, громыхания, лязга. И все это, тысячу раз отовсюду отраженное, разрастается в дикий, несмолкаемый рев. Все идут молча, но если бы кто-нибудь закричал исступленно, все равно человеческий голос бесследно потонул бы в этом на десятки верст скрипуче-ревущем движении.

Детишки не плачут, не просят хлеба, только в подушках мотаются бледные головенки. Матери не уговаривают, не ласкают, не кормят, а идут возле повозок, исступленно глядя на петлями уходящее к облакам, бесконечно шевелящееся шоссе; и сухи глаза.

Загорается неподдаваемый дикий ужас, когда остановится лошадь. Все с звериным иступлением хватаются за колеса, подпирают плечами, разъяренно хлещут кнутом, кричат нечеловеческими голосами, но все их напряжение, всю надрывность спокойно, не торопясь, глотает ненасытный, стократ отраженный, стократ повторенный бесчисленный скрип колес.

А лошадь сделает шаг-другой, пошатнется, валится наземь, ломая дышло, и уже не поднять: вытянуты ноги, оскалена морда, и живой день меркнет в фиолетовых глазах.

Снимают детей; постарше мать иступленно колотит, чтоб шли, а маленьких берет на руки или сажает на горб. А если много... если много – одного, двух, самых маленьких, оставляет в неподвижной повозке и уходит, с сухими глазами, не оглядываясь. А сзади, не глядя, идут так же медленно, обтекают движущиеся повозки – неподвижную, живые лошади – мертвую, живые дети – живых, и незамирающий, тысячекрат отраженный бесчисленный скрип спокойно глотает совершившееся.

Мать, несшая много верст ребенка, начи-

нает шататься; подкашиваются ноги, плывет кругом шоссе, повозки, скалы.

– Ни... нэ дойду.

Садится в сторонке на куче шоссейного щебня и смотрит и качает свое дитя, и мимо бесконечно тянутся повозки.

У ребенка открыт иссохший, почернелый ротик, глядят неподвижно васильковые глазки.

Она в отчаянии:

– Та нэма ж молока, мое сердце, мое ридне, моя квиточка...

Она безумно целует свое дитя, свою жизнь, свою последнюю радость. А глаза сухи.

Неподвижен почернелый ротик; неподвижно смотрят остановившиеся молочно-подернутые глазки. Она прижимает этот милый беспомощный холодеющий ротик к груди.

– Доню моя ридна, не будэш мучиться, в муках ждаты своей смерти.

В руках медленно остывающее тельце.

Разрывает щебень, кладет туда свое сокровище, снимает с шеи нательный крест, надевает через отяжелевшую холодную головушку

пропотелый гайтан, зарывает и крестит, крестит без конца и края.

Мимо, не глядя, идут и идут. Неукротимо тянутся повозки, и стоит тысячеголосый, тысячекрат отраженный голодный скрип в голодных скалах.

Далеко впереди, в голове колонны, идут спешенные эскадронцы, насильно тянут за повод еле ступающих коней, и уши у лошадей отвисли по-собачьему.

Становится жарко. Полчища мух, которых во время грозы ни одной не было, – все укромно прилипли под повозками к дрожинам, – теперь носятся тучами.

– Гей, хлопцы! Та що ж вы, як коты, що почувялы, що зъили чуже мясо, вси хвосты спустили. Грай писни!..

Никто не отозвался. Так же утомленно-медленно шагали, тянули за собой лошадей.

– Эх, матери вашей требуху! Заводи грахомон, нехай хочь вин грае...

Сам полез в мешок с пластинками, вытащил наобум одну и стал по складам разбирать:

– Б... бб... б... и бои... мм, бим, бб... о – бим-бом... Шо таке за чудо?.. кк... ллл... кл... о... н... кло-у-ны... артисты сме-ха... Чудно! А ну, грай.

Он завел качавшийся на вьюке притороченный граммофон, вставил пластинку и пустил.

С секунду на лице подержалось неподдельное изумление, потом глаза сузились в щелочки, рот разъехался до ушей, блеснули зубы, и он покатился подмывающе заразительным смехом. Вместо песни из граммофонного раструба вырвался ошеломляющий хохот: хохотали двое, то один, то другой, то вместе дуэтом. Хохотали самыми неожиданными головами, то необыкновенно тонкими – как будто щекотали мальчишек, то по-бычьему – и все дрожало кругом; хохотали, задыхаясь, отмахиваясь; хохотали, как катающиеся в истерике женщины; хохотали, надрывая животики, исступленно; хохотали, как будто уж не могли остановиться.

Шедшие кругом кавалеристы стали улыбаться, глядя на трубу, которая дико, как безумная, хохотала на все лады. Пробежал смех по рядам; потом не удержались и сами

стали хохотать в тон хохотававшей трубе, и хохот, разрастаясь и переходя по рядам, побежал дальше и дальше.

Добежал до медленно шагавшей пехоты, и там засмеялись, сами не зная чему, – тут не слышно было граммофона; хохотали, подмываемые хохотом передних. И этот хохот неудержимо покатился по рядам в тыл.

– Та чога воны покатываются? якого им биса? – и сами начинали хохотать, размахивая руками, крутя головой.

– От его батькови хвоста у ноздрю...

Шли, и хохотала вся пехота, хохотал обоз, хохотали беженцы, хохотали матери с безумным ужасом в глазах, хохотали люди на полтора десятка верст сквозь неумолчный голодный скрип колес, среди голодных скал.

Когда этот хохот добежал до Кожуха, он побледнел, стал желтый, как дубленый полушубок, в первый раз побледнел за все время похода.

– Шо такое?

Адъютант, удерживаясь от разбивавшего его смеха, сказал:

– А черт их знает! Сказались. Я сейчас по-

еду, узнаю.

Кожух вырвал у него нагайку и поводья, неуклюже ввалился на седло и стал нещадно сечь лошадиные ребра. Исхудалый конь медленно шел с повисшими ушами, а нагайка стала просекать кожу. Он с трудом затрусил, а кругом катился хохот.

Кожух чувствовал, как у него начинает подергивать щеки, стиснул зубы. Наконец, добрался до покатывающегося от хохота авангарда. Матерно выругался и вытянул по граммофону нагайкой.

– Замолчать!

Лопнувшая пластинка крякнула и смолкла. И молчание побежало по рядам, погашая хохот. Стоял доводящий до безумия безграничный, тысячекрат отраженный скрип, треск, грохот. Мимо отходили темные скалистые зубцы голодных ущелий.

Кто-то сказал:

– Перевал!

Шоссе, перегнувшись, петлями пошло вниз.

– Сколько их?

– Пятеро.

Пустынно и знойно струились лес, небо, дальние горы.

– Подряд?

– Подряд...

Кубанец из разъезда с потным лицом не договорил, сдернутой лошастью к гриве, – лошадь с мокрыми боками азартно отбивалась от мух, мотала головой, стараясь выдернуть из рук поводья.

Кожух сидел в бричке с кучером и адъютантом – мутно-красные, как из бани, разваренные. Кругом безлюдно.

– Далеко от шоссе?

Кубанец показал плетью влево:

– Верст с десяток або с пятнадцать, за перелеском.

– Сверток с шоссе туда есть?

– Есть.

– Козаков не видать?

– Ни-и, нэма. Наши верстов на двадцать проихалы вперед, и не воняе козаками. По хуторам говорят, козаки верстов за тридцать за речкой окопы роють.

Кожух поиграл желваками на сделавшем-

ся вдруг спокойным желтым лице, как будто оно не было перед этим вареное, как мясо.

– Задержать голову армии, повернуть на сверток, пропустить мимо них все полки, беженцев, обозы!

Слегка нагнулся кубанец над лукой и осторожно, чтоб это не было принято за нарушение субординации, сказал:

– Крюк большой... падают люди... жара... не йилы.

Маленькие глазки Кожуха впились в знойно дрожавшую даль, стали серыми. Третьи сутки... Лица завалились, голодный блеск в глазах. Третьи сутки не ели. Горы сзади, но нужно идти изо всей мочи, выйти из пустынных предгорий, добраться до станиц, накормить людей и лошадей. И нужно спешить, не дать укрепиться казакам впереди. Нельзя терять ни минуты, нельзя терять эти десять – пятнадцать верст крюку.

Он посмотрел на молодое, почерневшее от голодания и жары лицо кубанца. Глаза засветились сталью, и, протискивая слова сквозь зубы, сказал:

– Повернуть армию на сверток, пропустить

мимо!

– Слушаю.

Поправил на голове круглую барашковую, мокрую от пота шапку, вытянул плетью ни в чем не повинную лошадь, и она разом повеселела, будто не было нестерпимо звенящего зноя, тучи оводов и мух, затанцевала, повернулась и весело поскакала к шоссе. Но шоссе не было, а бесконечно тянулись клубящимся валом серовато-белые облака пыли, подымаясь выше верхушек деревьев, и неоглядно терялись сзади в горах. И в этих клубящихся облаках – чуялось – движутся тысячи голодных.

Бричка Кожуха, в которой нельзя дотронуться до деревянных частей, покатила, и за ней покатилося нестерпимое знойно-звенящее дребезжание. Из-за сиденья выглядывал обжигающий пулемет.

Кубанец въехал в непроглядно волнующиеся удушливые облака. Ничего нельзя разобрать, но слышно – утомленно, бестолково и разрозненно идут разбившиеся ряды, едут конные, скрипят обозы. Черно сожженные лица мутно отсвечивают капающим потом.

Ни говора, ни смеха – тяжелое, плывущее

вместе со всеми молчание. И в нем, в этом жарко переполненном молчании, те же разомлелые, разваренные как попало, шаги, звуки копыт, скрип осей.

Понуро ступают лошади с бессильно свесившимися ушами.

Головенки детей переваливаются в повозках из стороны в сторону, и мутно белеют оскаленные зубы.

– Пи-ить... пи-ить...

Плывет удушливая, белесая, все покрывающая мгла, а в ней невидимо идут ряды, едут конные, со скрипом тянутся обозы. А может быть, это не зной, не плывущая белесая мгла, а налитое отчаяние, и нет надежды, нет мысли, лишь одна неизбежность. То, что железно сцепило, когда вошли в узкую дыру между морем и горами, затаенно шло все время вместе с ними, – теперь грозно глянуло концом: голодные, босые, изнуренные, в отрепьях, и солнце доканывает. А впереди жадно ждут сытые, приготовившиеся, окопавшиеся казачьи полки, хищные генералы.

Кубанец ехал в этих молчаливо-скрипучих удушливых облаках, только по окрикам раз-

бираясь, где какая часть.

Временами разрывается серая мгла, и в просвете волнисто дрожат очертания холмов, млеет лес, струится голубое небо, и в воспаленные лица солдат иступленно глядит солнце. И опять медленно ползет, все покрывая нестройным гулом шагов, разрозненными звуками копыт, скрипучей музыкой обзов, безнадежностью. По обочинам, неясно выступая в плывущих облаках, сидят и лежат обессилевшие, запрокинув головы, чернея открытыми иссохшими ртами, и вьются мухи.

Кубанец, натыкаясь на людей и лошадей, доехал до головного отряда, слегка нагнулся с седла, переговорил с командиром. Тот нахмурился, глянул на смутно идущих, поминутно проступающих и теряющихся солдат, приостановился и чужим, не похожим на свой, хриплым голосом, скомандовал:

– По-олк, стой!..

Душная мгла сейчас же, как вата, проглотила его слова, но, оказывается, где нужно, услышали и, все удаляясь и все слабей, прокричали на разные голоса:

– Батальон, стой!.. Ро-ота... стой!

И где-то совсем далеко едва уловимо по-
держалось и мягко погасло:

– ...сто-о-ой!..

Гул шагов в головной колонне смолк, и все
дальше и дальше побежало замирание дви-
жения, и в остановившейся мутно-горячей
мгле на секунду наступило не только молча-
ние, но и тишина, великая тишина бесконеч-
ной усталости, беспощадного зноя. Потом ра-
зом наполнилась многочисленным сморка-
нием; откашливали набившуюся пыль; поми-
нали матерей; крутили из листьев и травы
цигарки, – и медленно оседающая пыль от-
крывала лица, лошадиные морды, повозки.

Сидели на обочинах, в шоссейных кана-
вах, держа между колен штыки. Неподвижно
под палящим солнцем лежали, вытянувшись
на спине.

Бессильно стояли лошади, свесив морды,
не отгоняя густыми тучами липнувших мух.

– Вста-ва-ай!.. Эй, подымай-ся-а-а!..

Никто не шевельнулся, не тронулся: так
же было неподвижно шоссе с людьми, ло-
шадьми, повозками. Казалось, не было силы
поднять людей, как груды камней, налитых

зноем.

– Вставайте же... так вас и так... Какого дьявола!

Как приговоренные, поднимались по одному, по два и, не строясь и не дожидаясь команды, шли, как попало, положив давящие винтовки на плечи, глядя воспаленными глазами.

Шли вразброд по шоссе, по обочинам, по косогорам. Заскрипели повозки, и бесчисленно затолклись тучи мух.

Обугленные лица, сверкающие белки. Вместо шапок под страшным солнцем на головах лопухи, ветки; жгуты навернутой соломы. Шагают босые, истрескавшиеся, почернелые ноги. Иной, как арап, чернеет голым телом, и лишь бахромой болтаются тряпки около причинного места. Сухие мышцы исхудало выступают под почернелой кожей, и шагают, закинув голову, с винтовками на плечах, крохотно сузив глаза, раскрыв пересохшие рты. Лохматая, оборванная, почернелая, голая, скрипучая орда, и идет за ней зной, и идут за ней голод и отчаяние. Снова нехотя изнеможенно поднимаются белые облака, и с самых

гор сползает в степь бесконечно клубящееся шоссе.

Вдруг неожиданно и странно:

– Правое плечо вперед!

И каждый раз, как подходит новая часть, с недоумением слышит:

– Правое плечо... правое... правое!..

Сначала удивленно, потом оживленной гурьбой сбегают на проселок. Он кремнист, без пыли, и видно, как торопливо сворачивают части, спускаются конные и, со скрипом и грузно покачиваясь, съезжает обоз, двуколки. Открываются дали, перелески, голубые горы. Все судорожно-знойно трепещет безумное солнце. Мухи черными полчищами тоже сворачивают. Медленно оседающие облака пыли и душливое молчание остаются на шоссе, а проселок оживает голосами, восклицаниями, смехом:

– Та куда нас?

– Мабудь, в лис отведуть, трохи горло перемочить, дуже пересмякло.

– Голова!.. В лиси тоби перину сготовили, растягайся.

– Та пышок с каймаком напеклы.

- С маслом...
- Со смитаной...
- С мэдом...

– Та кавуна холодненького...

Высокий, костлявый, в изорванном, мокром от пота фраке, – и болтаются грязные кружевные остатки, из которых все лезет наружу, – сердито сплюнул тягучую слюну:

– Та цытьте вы, собаки... замолчить!..

Злобно перетянул ремень, загнал живот под самые ребра и свирепо переложил с плеча на плечо отдавившую винтовку.

Хохот колыхнул густую тучу носившихся мух.

– Опанас, та що ж ты зад прикрыв, а передницу усю напоказ? Сдвинь портки с заду на перед, а то бабы у станицы не дадут варэникив, – будут вид тебе морды воротить.

– Го-го-го... Хо-хо-хо...

– Хлопцы, а ей-бо, должно, дневка.

– Та тут нияких станиц нэма, я же знаю.

– Що брехать. Вон от шаше столбы пишлы, телеграф. А куда ж вин, як не в станицу?

– Гей, кавалерия, що ж вы задаром хлеб едите, – грайте.

С лошади, покачивавшей на вьюке притороченный граммофон, с хрипотой понеслось:

Ку-да, куда-а-а... пш... пш... вы уда-ли-лись...

пш... пш... ве-ес-ны-ы...

Понеслось среди зноя, среди черных колеблющихся мушиных туч, среди измученно, но весело шагающих, покрытых потом и белой мукою, изодранных, голых людей, и солнце смотрело с исступленным равнодушием. Горячим свинцом налитые, еле передвигающиеся ноги, а чей то пересмякший высокий тенор начал: А-а хо-зья-ка до-бре зна-ла... Да оборвалось – перехватило сухотой горло. Другие, такие же зноем охриплые голоса подхватили:

...Чо-го мо-скаль хо-че,
Тильки жда-ла ба-ра-ба-на,
Як вин за-тур-ко-че...

Почернелые лица повеселели, и в разных концах хоть и хрипло, но дружно подхватили тонкие и толстые голоса:

Як дож-да-лась ба-ра-ба-на,
«Слава ж то-би, бо-же!»
Та и ка-же мос-ка-ле-ви:
«Ва-ре-ни-кив, може?»
Аж пид-скочив мос-каль,
Та ни-ко-ли жда-ти:
«Лав-рении-ки, лав-рении-ки!»
Тай по-биг из ха-ты...

И долго вразбивку, нестройно, хрипло над толпой носилось:

Ва-ре-ники!.. ва-ре-ники!..
...Ку-у-да-а, ку-у-да... вб-ес-ны-ы мо-ей
зла-ты-е дни-и...

– Э-э, глянь: батько!

Все, проходя, поворачивали головы и смотрели: да, он, все такой же: небольшой, коренастый, гриб с обвисшей грязной соломенной шляпой. Стоит, смотрит на них. И волосатая грудь смотрит из рваной, пропотелой, с отвисшим воротом гимнастерки. Обвисли отрепья, и выглядывают из рваных опорок по-

трескавшиеся ноги.

– Хлопцы, а наш батько дуже на бандита похож: в лиси встренься – сховаєшься от его.

С любовью глядят и смеются.

А он пропускает мимо себя нестройные, ленивые, медленно гудящие толпы и сверлит маленькими неупускающими глазками, которые стали сини на железном лице.

«Да... орда, разбойная орда, – думает Кожух, – встренься зараз козаки, все пропало... Орда!..»

Ку-да-а... ку-да-а вы уда-ли-лись... пшш... пшшц...

...Ва-ре-ни-ки!.. ва-ре-ни-ки!..

– Що таке? що таке? – побежало по толпам, погашая и «куда, куда...» и «вареники...».

Водворилось могильное молчание, полное гула шагов, и все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону – в ту сторону, куда, как по нитке, уходили телеграфные столбы, становясь все меньше и меньше и пропадая в дрожащем зное тоненькими карандашами. На ближних четырех столбах

неподвижно висело четыре голых человека. Черно кишели густо взлетающие мухи. Головы нагнуты, как будто молодыми подбородками прижимали прихватившую их петлю; оскаленные зубы; черные ямы выклеванных глаз. Из расклеванного живота тянулись ослизло-зеленые внутренности. Палило солнце. Кожа, черно-иссеченная шомполами, полопалась. Воронье поднялось, рассеялось по верхушкам столбов, поглядывало боком вниз.

Четверо, а пятая... а на пятом была девушка с вырезанными грудями, голая и почерневшая.

– Полк, сто-ой!..

На первом столбе белела прибитая бумага.

– Батальон, сто-ой!.. Рота, сто-ой!..

Так и пошло по колонне, замирая.

От этих пятерых плыло безмолвие и сладкий, приторный смрад.

Кожух снял изодранную, обвислую шляпу. И все, у кого были шапки, сняли. А у кого не было, сняли навернутую на голове солому, траву, ветки.

Палило солнце.

И смрад, сладкий смрад.

– Товарищи, дайте сюда.

Адъютант сорвал белевшую на столбе около мертвеца бумагу и подал. Кожух стиснул челюсти, и сквозь зубы пролезали слова:

– Товарищи, – и показал бумагу, которая на солнце ослепительно вырезалась белизной, – от генерала до вас. Генерал Покровский пишет: «Такой жестокой казни, как эти пятеро мерзавцев с Майкопского завода, будут преданы все, кто будет замечен в малейшем отношении к большевикам». – И стиснул челюсти. Помолчав, добавил: – Ваши братья и... сестра.

И опять стиснул, не давая себе говорить, – не о чем было говорить.

Тысячи блестящих глаз смотрели, не мигая. Билось одно нечеловечески-огромное сердце.

Из глазных ям капали черные капли. Плыл смрад.

В безмолвии погас звенящий зной, тонкое зуденье мушиных полчищ. Только могильное молчание да пряный смрад. Капали, капали.

– Сми-ир-но!.. Шагом арш!..

Гул тяжелых шагов сразу сорвал тишину, ровно и мерно заполнил зной, как будто идет

один человек, несказанного роста, несказанной тяжести, и бьется одно огромное, нечеловечески-огромное сердце.

Идут и, не замечая того, все ускоряют тяжело отдающийся шаг, идут все размашистее. Безумно смотрит солнце.

В первом взводе с правого фланга покачнулся с черненькими усиками, выронил винтовку, грохнулся.

Лицо багрово вздулось, напряжились жилы на шее, и глаза красные, как мясо, закатились. Исступленно глядит солнце.

Никто не запнулся, не приостановился – уходили еще размашистее, еще торопливее, спеша и глядя вперед блестящими глазами, глядя в знойно трепещущую даль.

– Санитар!

Подъехала двуколка, подняли, положили – солнце убило.

Прошли немного, повалился еще один, потом два.

– Двуколку!

Команда:

– Накройсь!

Кто имел, накрылись шапками. Иные раз-

вернули дамские зонтики. Кто не имел, на ходу хватали сухую траву, наворачивали вокруг маковки. На ходу рвали с себя потное, пропитанное пылью тряпье, стаскивали штаны, рвали на куски, покрывались по-бабьи пласточками и шли гулко, тяжело, размашисто, мелькая голыми ногами, пожирая уходившее под ногами шоссе.

Кожух в бричке хочет догнать головную часть. Кучер, вывалив рачьи от жары глаза, сечет, оставляя потные полосы на крупах. Лошади, в мыле, бегут, но никак не могут обогнать, – все быстрее, все размашистее идут тяжелые ряды.

– Що воны, сказылись?.. Як зайцы, скачуть...

И опять сечет и дергает заморенных лошадей.

«Добре, диты, добре... – из-под насунутого на глаза черепа поглядывает Кожух, а глаза – голубая сталь. – Так по семьдесят верстов будэмо уходить в сутки...»

Он слезает и идет, напрягаясь, чтобы не отстать, и теряется в быстро, бесконечно, тяжело идущих рядах.

Столбы уходят вдаль пустые, одинокие. Голова колонны свертывает вправо. И когда поднимается на пустынное шоссе, опять неотвратимо встают и окутывают душные облака. Ничего не видно. Только тяжелый гул шагов, ровный, мерный, наполняет громадой удушливо волнующиеся облака, которые быстро катятся вперед.

А к оставленным столбам часть за частью подходит, останавливается.

Как мгла, наплывает, погашая звуки, могильная тишина. Командир читает генеральскую бумагу. Тысячи блестящих глаз глядят, не мигая, и бьется одним биением сердце, бьется одно невиданно-огромное сердце.

Все так же неподвижны пятеро. Под петлями разлезлось почернелое мясо, забелели кости.

На верхушке столбов сидит воронье, бочком блестящим глазом поглядывает вниз. Стоит густой, сладкий до тошноты запах жареного мяса.

Потом мерным гулом отбивают шаг все быстрее; сами не замечая, без команды постепенно выравниваются в тяжелые тесные ря-

ды. И идут, позабыв, с обнаженными головами, не видя ни уходящих, как по нитке, столбов, ни страшно коротких, резких до черноты полуденных теней, впиваясь искорками мучительно суженных глаз в далекое знойное трепетанье.

И команда:

– Накройсь!..

Идут все быстрее, все размашистее, тяжелыми ровными рядами, сворачивая вправо, вливаясь в шоссе, и облака глотают и катятся вместе с ними.

Проходят тысячи, десятки тысяч людей. Уже нет взводов, нет рот, батальонов, нет полков, – есть одно неназываемое, громадное, единое. Бесчисленными шагами идет, бесчисленными глазами смотрит, множеством сердец бьется одно неохватимое сердце.

И все, как один, не отрываясь, впились в знойную даль.

Легли длинные косые тени. Сине затуманились назади горы. Завалилось за край ослабевшее, усталое, подобревшее солнце. Тяжело тянутся повозки, арбы с детьми, с ранеными.

Их останавливают на минуту и говорят:

– Ваши братья... Генеральские дела...

Потом двигаются дальше, и лишь слышен скрип колес. Только ребятишки испуганно шушукаются:

– Мамо, а мертвяки до нас ночью не придут?

Бабы крестятся, сморкаются в подол, вытирают глаза:

– Жалкие вы наши...

Старики смутно идут у повозок. И все становится неугадываемо. Уже нет столбов, а стоят в темноте громады, подпирающие небо. И небо все бесчисленно заиграло, но от этого не стало светлей. И будто горы кругом чернеют, а это, оказывается, косогоры, а горы давно заслонила ночь, и чудится кругом незнаемая, таинственная, смутная равнина, на которой все возможно.

Проносится такой темный женский вскрик, что игравшие звезды все полыхнулись в одну сторону.

– Ай-яй-яй... що воны зробыли з ими!.. Та зверюки... Та скаженнии... Ратуйте, добрии люды... Смотрите на их!..

Она хватается за столб, обнимает холод-

ные ноги, прижимаясь молодыми растрепавшимися волосами.

Дюжие руки с трудом отдирают от столба и волокут к повозке. Она по-змеиному вывертывается, опять бросается, обнимая, и опять само испуганно заигравшее небо безумно мечется:

– ...Та дэ ж ваша мамо? дэ ж ваши сэстры?! Чи вы не хотилы житы... Дэ ж ваши очи ясные, дэ ж ваша сила, дэ ж ваше слово ласкаве?.. Ой, нэбоги! ой, бесталанны! Никому над вами поплакаты, никому погорюваты... нико-му сльозьми вас покропиты...

Ее опять хватают, она скользко вырывается, и снова безумная ночь мечется:

– Та чого ж воны наробилы... Сына зйилы, Степана зйилы, вас пойилы. Так йишты всих до разу, с кровью, с мясом, йишты, шоб захлебнуться вам, шоб набить утробу человеческой, костями, глазами, мозгами...

– Тю-у!! Та схаменися...

Повозки не стоят, скрипят дальше. Ушла и ее повозка. Ее хватают другие, она вырывается, и опять не крики, а исступленно рвется темнота, мечется безумная ночь.

Только арьергард, проходя, силой взял ее. Привязали на последней повозке. Ушли.

И было безлюдно, и стоял смрад.

32

У выхода шоссе из гор жадно ждут казаки. С тех пор как по всей Рубани разлился пожар восстания, большевистские силы повсюду отступают перед казацкими полками, перед офицерскими частями добровольческой армии, перед «кадетами», нигде не в состоянии задержаться, упереться, остановить остервенелый напор генералов, – и отдают город за городом, станицу за станицей.

Еще при начале восстания часть большевистских сил выскользнула из железного кольца восставших и нестройной громадной разложившейся оравой с десятками тысяч беженцев, с тысячами повозок побежала по узкой полосе между морем и горами. Их не успели догнать, так быстро они бежали, а теперь казацкие полки залегли и дожидаются.

У казаков сведения, что потоком льющиеся через горы банды везут с собой несметно-награбленные богатства – золото, драгоценные камни, одежду, граммофоны, громад-

ное количество оружия, военных припасов, но идут рваные, босые, без шапок, – очевидно, в силу старой босяцкой привычки бездомной жизни. И казаки, от генерала до последнего рядового, нетерпеливо облизываются, – все, все богатства, все драгоценности, все неудержимо само плывет им в руки.

Генерал Деникин поручил генералу Покровскому сформировать в Екатеринодаре части, окружить ими спускающиеся с гор банды и не выпустить ни одного живым. Покровский сформировал корпус, прекрасно снабженный, перегородил дорогу по реке Белой, белой от пены, несущейся с гор. Часть отряда послал навстречу.

Весело едут, лихо заломив папахи, казаки на сытых, добрых лошадях, поматывающих головами и просящих повода. Звенит чеканное оружие, блестит на солнце; стройно покачиваются перехваченные поясами черкески, и белеют ленточки на папахах.

Проезжают через станицы с песнями, и казачки выносят своим служивым и пареное и жареное, а старики выкатывают бочки с вином.

– Вы же нам хочь одного балшевика приведите на показ, хочь посмотреть его, нового, с-за гор.

– Пригоним, готовьте перекладины.

Лихо умели казаки пить и лихо рубиться.

Вдали бело за клубились гигантские облака пыли.

– Ага, вот они!

Вот они – рваные, черные, в болтающихся лохмотьях, в соломе и траве вместо шапок.

Поправили папахи, выдернули блеснувшие с мгновенным звуком шашки, пригнулись к лукам, и полетели казацкие кони, ветер засвистел в ушах.

– Эх, и рубанем же!

– Урра-а!..

В полторы-две минуты произошло чудовищно-неожиданное: налетели, сшиблись, и пошли бешено лететь с лошадей казаки с разрубленными папахами, с перерубленными шеями, либо сразу на штыки поднимают и лошадь и всадника. Повернули коней, полетели, так пригнулись, что и не видать, и ветер еще больше засвистел в ушах, а их стали снимать с лошадей певучими пулями. Наседают

проклятые босяки, гонят две, три, пять, десять верст, – одно спасение: кони у них мореные.

Пролетели казаки через станицу, а те во-рвались, стали рвать свежих лошадей, рубить направо-налево, если не сразу выводили им из конюшен, и опять погнажи; и много казацких папах с белыми ленточками раскатилось по степи, и много черкесок, тонко перехваченных серебряными с чернью поясами, зачернело по синеющим курганам, по желтому жнивью, по перелескам.

Только тогда отодрались от погони, когда домчались казаки до своих передовых сил, залегших в окопах.

А спустившиеся с гор босые, голые банды бежали, что есть духу, за своими эскадронами. И заговорили орудия, застрекотали пулеметы.

Не захотел Кожух разворачивать свои силы днем: знал – большой перевес у врага, не хотел обнаружить свою численность, дождался темноты. А когда густо стемнело, произошло то же, что и днем: не люди, а дьяволы навалились на казаков. Казаки их рубили, кололи, рядами клали из пулеметов, а казаков стано-

вилось все меньше и меньше, все слабее ухали, изрыгая длинные полосы огня, их орудия, реже стрекотали пулеметы, и уже не слышно винтовок – ложатся казаки.

И не выдержали, побежали. Но и ночь не спасла: полосой ложились казаки под шашками и штыками. Тогда бросились врассыпную, кто куда, отдав орудия, пулеметы, снаряды, рассыпались среди ночи по перелескам, по оврагам, не понимая, что за дьявольскую силу нанесло на них.

А когда солнце длинно глянуло из-за степных увалов, по бескрайной степи много черноусых казаков: ни раненых, ни пленных – все недвижимы.

В тылу, в обозе, среди беженцев курились костры, варили в котелках, жевали лошади сено и овес. Вдали гремела канонада, никто не обращал внимания, – привыкли. Только когда смолкло, показались с фронта – то конный ординарец с приказаниями, то фуражир, то солдатик, тайком пробирающийся повидать семью. И со всех сторон женщины, с почернелыми, измученными лицами, кидались к нему, хватались за стремяна, за поводья:

– Што с моим?

– А мой?

– Жив ай нет?

С молящими, полными ужаса и надежды глазами.

А тот едет рысцой, слегка помахивая нагайкой, роняет навстречу то одной, то другой:

– Жив... Живой... Раненый... Раненый... Убитый, зараз привезут...

Он проезжает, а за ним либо радостно, облегченно крестятся, либо заголосит, либо ахнет и повалится замертво, и льют на нее воду.

Привезут раненых, – матери, жены, сестры, невесты, соседки ухаживают. Привезут мертвых, – бьются на груди у них, далеко слышны невозвратимые слезы, вой, рыдания.

А конные уже поехали за попом.

– Як скотину хороним, без креста, без лада-на.

А поп ломается, говорит – голова болит.

– А-а, голова-а... а, не хочешь... задницу будем лечить.

Вытянули нагайкой раз, другой, – вскочил поп как встрепанный, засуетился. Велели ему облачиться. Просунул голову в дыру, надел

черную с белым позументом ризу, – книзу разошлась, как на обруче, – такую же траурную епитрахиль. Выпростал патлы. Велели взять крест, кадило, ладан.

Пригнали дьякона, дьячка. Дьякон – огромный проспиртованный мужчина, тоже весь траурный, черный с позументами, рожа – красная. Дьячок – поджарый.

Обрядились. Погнали всех троих. Лошади идут иноходью. Торопится поп с дьяконом и дьячком. Лошади поматывают мордами, а всадники помахивают нагайками.

А за обозом, возле садов на кладбище, уже неисчислимо толпится народ. Смотрят. Увидали:

– Бачь, попа гонють.

Закрестились бабы:

– Ну, слава богу, як треба, похоронють.

А солдаты:

– Бачь – и дьякона пригнали и дьяка.

– Дьякон дуже гарный: пузо, як у борова.

Подошли те торопливо, не отдышатся, пот ручьем.

Дьячок живой рукой раздул кадило. Мертвые неподвижно лежали со сложенными ру-

ками.

– Благословен господь...

Дьякон устало слегка забасил, а дьячок слабо всплыл скороговоркой, гундося в нос:

Свя-а-тый бо-же, свя-а-тый крепкий, свя-а-тый бесс...

Синевато струится кадильный дымок. Бабы придушенно всхлипывают, зажимая рты. Солдаты стоят сурово, с черными исхудалыми лицами – им не слышно усталых поповских голосов.

Сидевший без шапки на высокой гнедой лошади кубанец, пригнавший причт, слегка толкнул лошадь – она переступила; он набожно нагнулся к попу и сказал шепотом, который разнесся по всему кладбищу:

– Ты, ммать ттвою, колы будэшь як некормлена свыня, усю шкуру...

Поп, дьякон, дьячок в ужасе скосили на него глаза. И сейчас же дьякон заревел потрясающим ревом, – вороны шумно поднялись со всего кладбища; поп залился тенором, а дьячок, приподнявшись на цыпочки и закатив

глаза, пустил тонкую фистулу, – в ушах зазвенело:

Со-о свя-а-ты-ми у-у-по-ко-ой...

Кубанец оттянул назад лошадь и сидел неподвижно, как изваяние, мрачно нахмутив брови. Все закрестились и закланялись.

Когда закапывали, дали три залпа. И бабы, сморкаясь и вытирая набрякшие глаза, говорили:

– Дуже хорошо служил батюшка – душевно.

33

Ночь поглотила громаду степи и увалы, и синевшие весь день на краю проклятые горы, и станицу на вражеской стороне, – там ни одного огонька, ни звука, как будто ее нет. Даже собаки молчат, напуганные дневной канонадой. Лишь шумит река.

Целый день за невидимой теперь рекой, из-за сереющих казацких окопов, потрясающе ухали орудия. Не жалея снарядов, били они. И бесчисленные клубочки бело вспыхивали над степью, над садами, над оврагами.

Им отсюда отвечали редко, устало, нехотя.

– А-а-а... – злорадно говорили казацкие артиллеристы, – за шкуру берет... – подхватывали орудия, накатывали, и опять звенел снаряд.

Для них было ясно: на той стороне подорвались, ослабли, уже не отвечают выстрелом на выстрел. Перед вечером босяки повели было наступление из-за реки, да так зашпарили им – цепи все разлезлись, позалегли, кто куда. Жалко, что ночь, а то бы дали им. Ну, да еще будет утро.

Шумит река, наполняет шумом всю темноту. А Кожух доволен, и серой сталью тоненько посвечивают крохотные глазки. Доволен: армия в руках у него, как инструмент, послушный и гибкий. Вот он пустил перед вечером цепи, велел наступать вяло и залечь. И теперь, когда среди ночи, среди бархатной тьмы пошел проверить, – все на местах, все над самой рекой, а под шестисажженным обрывом шумит вода; шумит река и напоминает ту шумящую реку и ночь, когда все это началось.

Каждый из солдат проползал в темноте,

щупал, мерил обрыв. Каждый солдат залегших полков знал, изучил свое место. Не ждал, как баран, куда и как пихнут командиры.

В горах пошли дожди; днем река неслась бешеной пеной, а теперь шумит. Знают солдаты – уже ухитрились вымерить – река сейчас два-три аршина глубиной, придется местами плыть, – ничего, и поплавать можно. Еще засветло, лежа в углублениях, в промоинах, в кустах, в высокой траве под непрерывно рвущимся шрапнельным огнем, высмотрели, каждый на своем участке, кусок окопа, на той стороне реки, на который он ударит.

Влево перекинулось два моста: железнодорожный и деревянный; теперь их не видно. Казаки навели на них батарею и поставили пулемет – этого тоже не видно.

В ночной темноте, полной шума реки, недвижимо стоят против мостов, по приказу Кожуха, кавалерийский и пехотный полки.

Ночь медленно течет без звезд, без звуков, без движения, лишь шум невидимо бегущей воды монотонно наполняет ее пустынную громаду.

Казаки сидели в окопах, слушали шум

несущейся воды, не выпуская винтовок, хотя знали, что босяки ночью не сунутся через реку, – достаточно им насыпали, – и ждали. Ночь медленно плыла.

Солдаты лежали на краю обрыва, как барсуки, свесив в темноте головы, слушали вместе с казаками шум несущейся воды и ждали. И то, чего ждали, и что, казалось, никогда не наступит, стало наступать: медленно, трудно, как намек, стал рождаться рассвет.

Ничего еще не видно – ни красок, ни линий, ни очертаний, но темнота стала большой, стала прозрачней. Размеренно предрассветное бдение.

Что-то неуловимое пробежало по левому берегу, – не то электрическая искра, не то промчалась беззвучно стайка ласточек.

С шестисаженной высоты, как из мешка, посыпались солдаты вместе с грудой посыпавшейся глины, песка и мелкого камня... Шумит река...

Тысячи тел родили тысячи всплесков, тысячи заглушенных шумом реки всплесков... Шумит река, монотонно шумит река...

Лес штыков вырос в серой мгле рассвета

перед изумленными казаками, закипела работа в реве, в кряканье, в стоне, в ругательствах. Не было людей – было кишевшее, переплетшееся кровавое зверье. Казаки клали десятками, сами ложились сотнями. Дьявольская, непонятно откуда явившаяся сила опять стала на них наваливаться. Да разве это те большевики, которых они гнали по всей Кубани? Нет, это что-то другое. Недаром они все голые, почернелые, в лохмотьях.

Как только по всему пространству дико заревел правый берег, артиллерия и пулеметы через голову своих стали засыпать станицу, а кавалерийский полк исступленно понесся через мосты; за ним, надрываясь, бежала пехота. Захвачена батарея, пулеметы, и по всей станице разлились эскадроны. Видели, как из одной хаты вырвалось белое и с поразительной быстротой пропало на неоседланной лошади во мгле рассвета.

Хаты, тополя, белеющая церковь – все проступало яснее и яснее. За садами краснела заря.

Из поповского дома выводили людей с пепельными лицами, в золотых погонах, – за-

хватили часть штаба. Возле поповской конюшни им рубили головы, и кровь впитывалась в навоз.

За гомоном, криками, выстрелами, ругательствами, стонами не слышно было, как шумит река.

Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала все обыскали, – нет его. Убежал. Тогда стали кричать:

– Колы нэ вылизишь, дитэй сгубим!

Атаман не вылез.

Стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один укоризненно сказал:

– Чого ж кричишь, як ризаная? От у мене аккурат як твоя дочка, трехлетка... В щепень закапалы там, у горах, – та я же не кричав.

Срубил девочку, потом развалил череп хотавшей матери.

Около одной хаты, с рассыпанными по земле стеклами, собралась кучка железнодорожников.

– Генерал Покровский ночевал. Трошки не застукали. Как услышал вас, высадил окно со-

всем с рамой, в одной рубаше, без подштанников, вскочил на неоседланную лошадь и ускакал.

Эскадронец хмуро:

– Чого ж вин без порток? Чи у бани був?

– Спал.

– Як же ж то: спал, а сам без порток? Чи так буває?

– Господа завжди так: дохтура велять.

– От гады! И сплять, як нелюди.

Плюнул и пошел прочь.

Козаки бежали. Семьсот лежало их, наваленных в окопах и длинной полосой в степи. Только мертвые. И опять у бежавших над страхом и напряжением подымалось неподдаваемое изумление перед этой неведомой сатанинской силой.

Всего два дня тому назад эту самую станцию занимали главные большевистские силы; козаки их выбили с налету, гнали и теперь гонят посланные части. Откуда же эти? И не сатана ли им помогает?

Показавшееся над далеким степным краем солнце длинно и косо слепило бегущих.

Далеко раскинулся обоз и беженцы по сте-

пи, по перелескам, по увалам. Все те же синие дымки над кострами; те же нечеловеческие костлявые головенки детские не держатся на тоненьких шеях. Так же на белеюще-разостланных грузинских палатках лежат мертвые со сложенными руками, и истерически бьются женщины, рвут на себе волосы, – другие женщины, не те, что прошлый раз.

Около конных толпятся солдаты.

– Та вы куды?

– Та за попом.

– Та ммать его за ногу, вашего попа!..

– А як же ж! Хиба без попа?

– Та Кожух звелив оркестр дать, шо у козачков забрали.

– Шо ж оркестр? Оркестр – меднии трубы, а у попа жива глотка.

– Та на якого биса его глотка? Як зареве, аж у животи болить. А оркестр – воинская часть.

– Оркестр! оркестр!..

– Попа!.. попа!..

– Та пойдите вы с своим попом пид такую мать!..

И «оркестр» и «поп» перемешивались с самой соленой руганью. Прослышавшие бабы

прибежали и ожесточенно кричали:

– Попа! попа!

Подбежавшие молодые солдаты:

– Оркестр! оркестр!..

Оркестр одолел.

Конные стали слезать с лошадей.

– Ну, шо ж, зовите оркестр.

Нескончаемо идут беженцы, солдаты, и торжественно, внося печаль и чувство силы, мрачно и медленно звучат медные голоса, и медно сияет солнце.

34

Казачьи были разбиты, но Кожух не трогался с места, хотя надо было выступать во что бы то ни стало. Лазутчики, перебежчики из населения, в один голос говорили – казаки снова сосредоточивают силы, организуются. Непрерывно от Екатеринодара подходят подкрепления; погромыхая, подтягиваются батареи; грозно и тесно идут офицерские батальоны, все новые и новые прибывают казацкие сотни, – темнеет кругом Кожуха, темнеет все гуще огромно-скопляющаяся сила. Ох, надо уходить! Надо уходить; еще можно прорваться, еще недалеко ушли главные силы, а

Кожух... стоит.

Не хватает духу двинуться, не дождавшись отставших колонн. Знает, не боеспособны они; если предоставить их своим силам, казаки разнесут их вдребезги – все будут истреблены. И тогда в славе, которая должна осенить будущее Кожуха, как спасителя десятков тысяч людей, это истребление будет меркнущим пятном.

И он стал ждать, а казаки накапливали темно густеющие силы. Железный охват совершался с неодолимой силой, и в подтверждение, тяжело потрясая и степь и небо, загрела вражеская артиллерия, и без перерыва стала рваться шрапнель, засыпая людей осколками, – а Кожух не двигался, только отдал приказание открыть ответный огонь. Днем над теми и другими окопами поминутно вспыхивали белые клубочки, нежно тая; ночью чернота поминутно раззевалась огненным зевом, и уже не слышно было, как шумит река.

Прошел день, прошла ночь; гремят, нагреваясь, орудия, а задних колонн нет, все нет. Прошел второй день, вторая ночь, а колонн

все нет. Стали таять патроны, снаряды. Велел Кожух бережней вести огонь. Приободрились казаки; видят – реже отвечать стали и не идут дальше, – ослабли, думают, и стали готовить кулак.

Три дня не спал Кожух; стало лицо, как дубленый полушубок; чует, будто по колена уходят в землю ноги. Пришла четвертая ночь, поминутно вспыхивающая орудийными вспышками. Кожух говорит:

– Я на часок ляжу, но ежели что, будите сейчас же.

Только завел глаза, бегут:

– Товарищ Кожух! Товарищ Кожух!.. плохо дело...

Вскочил Кожух, ничего не поймет, где он, что с ним. Провел рукой по лицу, паутину снимает, и вдруг его поразило молчание, – день и ночь раскатами гремевшие орудия молчали, только винтовочная трескотня наполняла темноту. Плохо дело, – значит, сошлись вплотную. Может, уже и фронт проломан. И услышал он, как шумит река.

Добежал до штаба – видит, лица переменились у всех, стали серые. Вырвал трубку –

пригодились грузинские телефоны.

– Я – командующий.

Слышит, как мышь пицтит в трубку:

– Товарищ Кожух, дайте подкрепление. Не могу держаться. Кулак. Офицерские части...

Кожух каменно в трубку:

– Подкрепления не дам, нету. Держитесь до последнего.

Оттуда:

– Не могу. Удар сосредоточен на мне, не выд...

– Держитесь, вам говорят! В резерве – ни одного человека. Сейчас сам буду.

Уже не слышит Кожух, как шумит река: слышит, как в темноте раскатывается впереди, вправо и влево ружейная трескотня.

Велел Кожух... да не успел договорить: а-а-а!..

Даром, что темь, разобрал Кожух: казаки ворвались, рубят направо-налево, – прорыв, конная часть влетела.

Кинулся Кожух; прямо на него набежал командир, который только что говорил.

– Товарищ Кожух...

– Вы зачем здесь?

– Я не могу больше держаться... там прорыв...

– Как вы смели бросить свою часть?!

– Товарищ Кожух, я пришел лично просить подкрепления.

– Арестовать!

А в кромешном мраке крики, хряст, выстрелы. Из-за повозок, из-за тюков, из-за черноты изб вонзаются в темноту мгновенные огоньки револьверных, винтовочных выстрелов. Где свои? где чужие? сам черт не разберет... А может, друг друга свои же бьют... А может, это снится?..

Бежит адъютант, в темноте Кожух угадывает его фигуру.

– Товарищ Кожух...

Взволнованный голос, – хочется малому жить. И вдруг адъютант слышит:

– Ну... что же, конец, что ли?

Неслышанный голос, никогда не слышанный Кожухов голос. Выстрелы, крики, хряст, стоны, а у адъютанта где-то глубоко, полусознанно, мгновенно, как искра, и немножко злорадно:

«Ага-а, и ты такой же, как все... жить-то хо-

Чешь...»

Но это только доля секунды. Темь, не видно, но чувствуется каменное лицо у Кожуха, и ломано-железный голос сквозь стиснутые челюсти:

– Немедленно от штаба пулемет к прорыву. Собрать всех штабных, обозных; сколько можно, отожмите казаков к повозкам. Эскадрон с правого фланга!..

– Слушаю.

Исчез в темноте адъютант. Все те же крики, выстрелы, стоны, топот. Кожух – бегом. Направо, налево вспыхивающие язычки винтовок, а саженой на пятьдесят темно – тут прорвались казаки, но солдаты не разбежались, а только попятились, залегли, где как попало, и отстреливались. В черноте можно разглядеть перебегающие спереди ступки людей, все ближе и ближе... залегают, и оттуда начинают вонзаться вспыхивающие язычки, а солдаты стреляют по огонькам.

Подкатили штабной пулемет. Кожух приказал прекратить стрельбу и стрелять только по команде. Сел за пулемет и разом почувствовал себя, как рыба в воде. Направо, нале-

во трескотня, вспышки. Вражеская цепь, как только солдаты прекратили стрельбу, бросилась: ура-а-а!.. Уже близко, уже различимы отдельные фигуры: согнувшись, бегут, винтовки наперевес.

Кожух:

– Пачками!

И повел пулеметом.

Тырр-тырр-тырр-тыр...

И, как темные карточные домики, стали валиться черные сгустки. Цепь дрогнула, подалась... Побежали назад, редая. Снова непроглядная темь. Реже выстрелы, и, постепенно нарастая, стал слышен шум реки.

А позади, в глубине, тоже стали стихать выстрелы, крики; казаки, не поддержанные, постепенно рассеялись, бросали лошадей, залезали под повозки, забирались в черные избы. Человек десять взяли живьем. Их рубили шашками через рот, из которого пахло водкой.

Чуть посерел рассвет, взвод повел на кладбище арестованного командира. Вернулись без него.

Поднялось солнце, осветило неподвиж-

но-ломаную цепь мертвецов, точно неровно отхлынувший прибой оставил. Местами лежали кучами – там, где ночью был Кожух. Прислали парламентаря. Кожух разрешил по-добрать: гнить будут под жарким солнцем – зараза.

Подобрали, и опять заговорили орудия, опять нечеловеческий грохот сотрясает степь, небо и тяжело отдается в груди и мозгу.

Рвутся в синеве чугунно-свинцовые осколки. Живые сидят и ходят с открытыми ртами – легче ушам; мертвые неподвижно ждут, когда унесут в тыл.

Тают патроны, пустеют зарядные ящики. Не двигается Кожух, не слышать подходящих колонн. Созывает совещание, не хочет брать на себя: остаться – всем погибнуть; пробиться – задним колоннам погибнуть.

35

Далеко в тылу, где бескрайно по степи повозки, лошади, старики, дети, раненые, говор, гомон, – засинели сумерки. Засинели сумерки, засинели дымки от костров, как это каждый вечер.

Нужды нет, что это десятка за полтора

верст, за далеким краем степи, а земля целый день поминутно тяжело вздрагивает под ногами от далекого грохота; вот и сейчас... да привыкли, не замечают.

Синеют сумерки, синеют дымки, синеет далекий лес. А между лесом и повозками синеет поле, пустынное, затаенное.

Говор, лязг, голоса животных, звук ведер, детский плач и бесчисленно краснеющие пятна костров.

В эту домашность, в эту мирную смутность долетело, родившись в лесу, такое чуждое, далекое в своей чуждости.

Сначала потянулось отдаленное: а-а-а-а!.. оттуда, из мути сумерек, из мути леса: а-а-а-а!..

Потом зачернелось, отделившись от леса, – ступок, другой, третий... И черные тени развернулись, слились вдоль всего леса в черную колеблющуюся полосу, и покатила она к лагерю, вырастая, и покатило с нею, вырастая, все то же, полное смертельной тоски: аа-а-а!..

Все головы, сколько их ни было, – и людей и животных, – повернулись туда, к смутному

лесу, от которого катилась на лагерь неровная полоса, и по ней мгновенно вспыхивали и никли узкие взблески.

Головы были повернуты, костры краснели пятнами.

И все услышали: земля вся, в самой утробе своей, тяжело наполнилась конским топотом, и заглушились вздрагивающие далекие оружейные удары.

...А-а-аа!..

Между колесами, оглоблями, кострами заметались голоса, полные обреченности:

– Козаки!.. козаки!.. ко-за-а-ки-и!..

Лошади перестали жевать, наострили уши, откуда-то приставшие собаки забились под повозки.

Никто не бежал, не спасался; все непрерывно смотрели в сгустившиеся сумерки, в которых катилась черная лавина.

Это великое молчание, полное глухого топота, пронзил крик матери. Она схватила ребенка, единственное оставшееся дитя, и, зажав его у груди, кинулась навстречу нарастающей в топоте лавине.

– Сме-ерть!.. сме-ерть!.. сме-ерть идет!..

Как зараза, это полетело, охватывая десятки тысяч людей:

– Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Все, сколько их тут ни было, схватив, что попало под руку, – кто палку, кто охапку сена, кто дугу, кто кафтан, хворостину, раненые – свои костыли, – все в исступлении ужаса, мотая этим в воздухе, бросились навстречу своей смерти.

– Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Ребятишки бежали, держась за подолы матерей, и тоненько кричали:

– Смелть... сме-елть!..

Скакавшие казаки, сжимая не знающие пощады, поблескивавшие шашки, во мгле стусившейся ночи различили бесчисленно колеблющиеся ряды пехоты, колоссальным океаном надвигающиеся на них, бесчисленно поднятые винтовки, черно-колышущиеся знамена и нескончаемо перекатывающийся звериный рев: сме-ерть!..

Совершенно произвольно, без команды, как струны, натянулись поводья, лошади со всего скоку, крутя головами и садясь на крупы, остановились. Казаки замолчали, при-

встав на стремяна, зорко всматривались в черно-накатывавшиеся ряды. Они знали повадку этих дьяволов – без выстрела сходиться грудь с грудью, а потом начинается сатанинская штыковая работа. Так было с появления их с гор и кончая ночными атаками, когда сатаны молча появлялись в окопах, – много казаков полегло в родной степи.

А из-за повозок, из-за бесчисленных костров, где казаки думали встретить беспомощные толпы безоружных стариков, женщин и отсюда, с тыла, пожаром зажечь панику во всех частях врага, – все выливались новые и новые воинские массы, и страшно переполнял потемневшую ночь грозный рев:

– Смерть!!

Когда увидели, что не было этому ни конца, ни края, казаки повернули, вытянули лошадей нагайками, и затрещали в лесу кусты и деревья.

Передние ряды бегущих женщин, детей, раненых, стариков с смертным потом на лице остановились: перед ними немо чернел пустой лес.

Четвертый день гремят орудия, а лазутчики донесли – подошел от Майкопа к неприятелю новый генерал с конницей, пехотой и артиллерией. На совещании решено в эту ночь пробиваться и уходить дальше, не дожидаясь задних колонн.

Кожух отдает приказ: к вечеру постепенно прекратить ружейную стрельбу, чтоб успокоить неприятеля. Из орудий произвести тщательную пристрелку по окопам неприятеля, закрепить наводку и совершенно приостановить стрельбу на ночь. Полки цепями подвести в темноте возможно ближе к высотам, на которых окопы неприятеля, но так, чтоб не встревожить, залечь. Все передвижения частей закончить к часу тридцати минутам ночи; в час сорок пять минут из всех наведенных орудий выпустить беглым огнем по десять снарядов. С последним снарядом в два часа ночи общая атака, полкам ворваться в окопы. Кавалерийскому полку быть в резерве для поддержки частей и преследования противника.

Пришли черные, низкие, огромные тучи и легли неподвижно над степью. Странно стих-

ли орудия с обеих сторон; смолкли винтовки, и стало слышно – шумит река.

Кожух прислушался к этому шуму, – скверно. Ни одного выстрела, а прошлые дни и ночи орудийный и ружейный огонь не смолкал. Не собирается ли неприятель сделать то, что он, – тогда встретятся две атаки, будет упущен момент неожиданности, и они разобьются одна о другую.

– Товарищ Кожух...

В избу вошел адъютант, за ним два солдата с винтовками, а между ними безоружный бледный низенький солдатик.

– Что такое?

– От неприятеля. От генерала Покровского письмо.

Кожух остро влез крохотно сощуренными глазами в солдатика, а он, облегченно вздохнув, полез за пазуху и стал искать.

– Так что взятый я в плен. Наши отступают, ну, мы, семь человек, попали в плен. Энтых умучили...

Он на минуту замолчал; слышно – шумит река, и за окнами темь.

– Во письмо. Генерал Покровский... дюже

уж матюкал мене... – И застенчиво добавил: – И вас, товарищ, матюкал. Вот, говорит, так его растак, отдай ему.

Играющие искорки Кожуха хитро, торопливо и довольно бегали по собственноручным строчкам генерала Покровского. «...Ты, мерзавец, мать твою... опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков, имей в виду, бандит, что тебе и твоим босякам пришел конец: ты дальше не уйдешь, потому что окружен моими войсками и войсками генерала Геймана. Мы тебя, мерзавец, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, то есть за свой поступок отделаться только арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ следующего содержания: сегодня же сложить все оружие на ст. Белореченской, а банду, разоруженную, отвести на расстояние 4–5 верст западнее станции; когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне, на 4-ю железнодорожную будку». Кожух посмотрел на часы и на темь, стоявшую в окнах. Час десять минут. «Так вот почему пре-

кратили огонь казаки: генерал ждет ответа». То и дело приходили с донесениями от командиров – все части благополучно подошли вплотную к позиции противника и залегли.

«Добре... добре...» – говорил про себя Кожух и молча, спокойно, каменно смотрел на них, сощурившись.

В темноте за окном в шум реки ворвался торопливый лошадиный скак. У Кожуха екнуло сердце: «Опять что-нибудь... четверть часа осталось...»

Слышно, соскочил с фыркавшей лошади.

– Товарищ Кожух, – говорил, с усилием переводя дыхание, кубанец, стирая пот с лица, – вторая колонна подходит!..

Неестественно ослепительным светом загорелась и ночь, и позиции неприятеля, и генерал Покровский, и его письмо, и далекая Турция, где его пулемет косил тысячи людей а он, Кожух, среди тысячи смертей уцелел, уцелел, чтобы вывести, спасти не только своих, но и тысячи беспомощно следующих сзади и обреченных казакам.

Две лошади, казавшиеся воронами, неслись среди ночи, ничего не разбирая. Черные

ряды каких-то войск входили в станицу.

Кожух спрыгнул и вошел в ярко освещенную избу богатого казака.

У стола, стоя во весь богатырский рост, не нагибаясь, прихлебывал из стакана крепкий чай Смолокуров; черная борода красиво оттенялась на свежем матросском костюме.

– Здорово, братушка, – сказал он бархатно-густым, круглым басом, глядя сверху вниз, вовсе не желая этим обидеть Кожуха. – Хочешь чаю?

Кожух сказал:

– Через десять минут у меня атака. Части залегли под самыми окопами. Орудия направлены. Подведи вторую колонну к обоим флангам – и победа обеспечена.

– Не дам.

Кожух сомкнул челюсти и выдавил:

– Почему?

– Да потому, что не пришли, – добродушно и весело сказал Смолокуров и насмешливо посмотрел сверху на низкого, в отрепьях, человека.

– Вторая колонна входит в станицу, я сам сейчас видел.

– Не дам.

– Почему?

– Почему, почему! Започемукал, – густым красивым басом сказал тот. – Потому что устали, надо отдохнуть людям. Только родился, не понимаешь?

У Кожуха, как сжатая пружина, упруго вытеснило все ощущения: «Если разобью, так один...»

И сказал спокойно:

– Ну хоть введи на станцию резерв, а я сниму свой резерв и усилю атакующие части.

– Не дам. Слово мое свято, сам знаешь.

Он прошелся из угла в угол, и на всей громадной фигуре и на добродушном пред этим лице легло выражение бычьего упорства, – теперь его хоть оглоблей расшибай. Кожух это понимал и сказал адъютанту:

– Пойдемте.

– Одну минутку, – поднялся начальник штаба и, подойдя к Смолокурову, сказал в одно и то же время мягко и веско: – Еремей Алексеич, на станцию-то можно послать, ведь в резерве будут.

А за этим стояло: «Кожуха разобьют, нас

вырежут».

– Ну, что ж... да ведь я-то... собственно, ничего не имею... что ж, бери, какие части подошли.

Смолокурова ничем нельзя было сдвинуть, если он на чем-нибудь уперся. Но перед маленьким нажимом со стороны, с которой не ожидал, сразу растерянно сдавался.

Лицо с черной бородой добродушно отмякло. Он хлопнул огромной лапой по плечу приземистого человека:

– Ну, что, братуха, как дела, а? Мы, брат, морское волчье, там мы можем, – самого черта наизнанку вывернем, а на сухопутье, как свинья в апельсинах.

И захохотал, показывая ослепительные зубы под черными усами.

– Хочешь чаю?

– Товарищ Кожух, – дружески сказал начальник штаба, – сейчас напишу приказ, и колонна будет двинута на станцию вам в резерв.

А за этим стояло: «Что, брат, как ни вертелся, а без нашей помощи не обошлось...»

Кожух вышел к лошадям и в темноте тихо

сказал адъютанту:

– Останьтесь. Вместе с колонной дойдете на станцию и тогда доложите мне. Тоже недорого возьмут и сбрехать.

Солдаты лежали, прижимаясь к жесткой земле, длинными цепями, а их придавливала густая и низкая ночь. Тысячи по-звериному острых глаз наполняли тьму, но в казачьих окопах неподвижно и немо. Шумела река.

У солдат не было часов, но у каждого все туже сворачивалась упругость ожидания. Ночь стояла тяжелая, неподвижная, но каждый чувствовал, как медленно и неуклонно наползает два часа. В непрерывно бегущем шуме воды текло время.

И хотя все этого именно ждали, совершенно неожиданно вдруг раскололась ночь, и в расколе огненно замигали багровые клубы туч. Тридцать орудий горласто заревели без отдыха. А невидимые в ночи казачьи окопы огненно обозначались прерывисто рвущимся ожерельем ослепительных шрапнельных разрывов, которые повторным треском тоже обозначали невидимо извилистую линию, где умирали люди.

«Ну, будет... довольно!..» – мучительно думали казаки, влипнув в сухие стенки окопов, каждую секунду ожидая, что перестанут мигать багровые края черных туч, сомкнется расколота́я ночь, можно будет передохнуть от этого утробно-потрясающего грохота. Но все то же багровое мигание, тот же тяжело отдающийся в земле, в груди, в мозгу рев, так же то там, то там стоны корчащихся людей.

И так же внезапно, как разомкнулась, темнота сомкнулась, погасив мгновенно наступившей тишиной и багрово мерцающие облака и нечеловеческий горластый рев орудий. На окопах вырос черный частокол фигур, и вдоль покатился другой, уже живой звериный рев. Казаки было шатнулись из окопов – вовсе не хотелось иметь дело с нечистой силой, и опять поздно: окопы стали заваливаться мертвыми. Тогда мужественно обернулись лицом к лицу и стали резаться.

Да, дьяволова сила: пятнадцать верст гнали, и пятнадцать верст пробежали в полтора часа.

Генерал Покровский собрал остатки казачьих сотен, пластунских, офицерских бата-

льонов и повел обессиленных и ничего не понимающих на Екатеринодар, совершенно очистив «боснякам» дорогу.

37

Напрягая все силы, глухо отбивая землю, размашистым шагом тесно идут опаленные порохом ряды в тряпье, с густо занесенными пылью, насунутыми бровями. А под бровями остро светятся точки крохотных зрачков, не отрываюся от знойного трепещущего края пустынной степи.

Тяжело громыхают спешащие орудия. В клубах пыли нетерпеливо мотают головами кони... Не отрываюся от далекой синеющей черты артиллеристы.

В огромном, не теряющем ни одной минуты гуле бесконечно тянутся обозы. Идут у чужих повозок, торопливо всплывая босыми ногами дорожную пыль, одинокие матери. На почернелых лицах блестят сухим блеском навеки невыплаканные глаза и не отрываюся от той же далекой степной синевы.

Захваченные общей торопливостью, тянутся раненые. Кто прихрамывает на грязно обмотанную ногу. Кто, приподымая плечи,

широко закидывает костыли. Кто изнеможенно держится за край повозки костлявыми руками, – но все одинаково не отрываются от синеющей дали.

Десятки тысяч воспаленных глаз напряженно глядят вперед: там – счастье, там – конец мукам, усталости.

Палит родное кубанское солнце.

Не слышно ни песен, ни голосов, ни граммофона. И все это: и бесконечный скрип в облаках торопливо поднимающейся пыли, и глухие звуки копыт, и густые шаги тяжелых рядов, и тревожные полчища мух, – все это на десятки верст течет быстрым потоком к заманчиво синеющей таинственной дали. Вот-вот откроется она, и сердце радостно ахнет: наши!

Но сколько ни идут, сколько ни проходят станиц, хуторов, поселений, аулов – все одно и то же: синяя даль отступает дальше и дальше, такая же таинственная, такая же недоступная. Сколько ни проходят, везде слышат одно и то же:

– Были, да ушли. Еще позавчера были, да заспешили, засуетились, поднялись все и

ушли.

Да, были. Вот коновязи; везде натрушено сено; везде конский навоз, а теперь – пусто.

Вот стояла артиллерия, седой пепел потухших костров, и тяжелые следы артиллерийских колес за станицей сворачивают на большак.

Старые пирамидальные тополя при дороге глубоко белеют ранами содранной коры – обозы цепляли осями.

Все, все говорит за то, что были недавно, были недавно те, ради кого шли под шрапнелями немецкого броненосца, бились с грузинами, ради кого в ущельях оставляли детей, бешено дрались с казаками, – но неотступно, недостижимо уходит синяя даль. По-прежнему спешные звуки копыт, торопливый скрип обоза, торопливо нагоняющие тучи мух, несмолкающий, бесконечный гул шагов, и пыль, едва поспевая, клубится над потоками десятков тысяч, и по-прежнему неумирающая надежда в десятках тысяч глаз, прикованных к краю степи.

Кожух, исхудалый – кожа обуглилась, – угрюмо едет в тарантасе и, как все, день и

ночь не отрывается тоненько сощуренными серыми глазками от далекой облегающей черты. И для него она таинственно и непонятно не размыкается. Крепко сжаты челюсти.

Так уходят назад станица за станицей, хутор за хутором, день за днем, изнемогая.

Казачки встречают, низко кланяясь, и в ласково затаенных глазах – ненависть. А когда уходят, с удивлением смотрят вслед: никого не убили, не ограбили, а ведь ненавистные звери.

На ночлегах к Кожуху являются с докладом: все то же – впереди казачьи части без выстрела расступаются, давая дорогу. Ни днем, ни ночью ни одного нападения на колонны. А сзади, не трогая арьергарда, опять смыкаются.

– Добре!.. Обожглись... – говорит Кожух, и играют желваки.

Отдает приказание:

– Разошлите конных по всем обозам, по всем частям, щоб ни одной задержки. Не давать останавливаться. Иттить и иттить! На ночлег не больше трех часов!..

И опять, напрягаясь, скрипят обозы, натя-

гивают веревочные построжки измученные лошади, с тяжелой торопливостью громыхают орудия. И в знойную полуденную пыль, и в засеянную звездною россыпью ночную темноту, и в раннюю, еще не проснувшуюся зорьку тяжелый незамирающий гул тянется по кубанским степям.

Кожуху докладывают:

– Лошади падают, в частях отсталые.

А он, сцепив, цедит сквозь зубы:

– Бросать повозки. Тяжести переключивать на другие. Следить за отсталыми, подбирать. Прибавить ходу, иттить и иттить!

Опять десятки тысяч глаз не отрываются от далекой черты, и днем и ночью облегающей жестко желтеющую после снятых хлебов степь. И по-прежнему по станицам, по хуторам, пряча ненависть, говорят ласково казачки:

– Были, да ушли, – вчера были.

Глядят с тоской – да, все то же: похолодевшие костры, натрушенное сено, навоз.

Вдруг по всем обозам, по всем частям, среди женщин, среди детей поползло:

– Взрывают мосты... уходят и взрывают по-

сле себя мосты...

И баба Горпина, с остановившимся в глазах ужасом, шепчет спекшимися губами:

– Мосты рушатся. Уходят и мосты по себе рушатся.

И солдаты, держа в окостенелых руках винтовки, глухо говорят:

– Мосты рвутся... уходят вид нас, рвутся мосты...

И – когда голова колонны подходит к речке, ручью, обрыву или топкому месту – все видят: зияют разрушенные настилы; как почерневшие зубы, торчат расщепленные сваи, – дорога обрывается, и веет безнадежностью.

А Кожух с надвинутым на глаза черепом приказывает:

– Восстанавливать мосты, наводить переправы. Составить особую команду, которые половчей с топором. Пускать вперед на конях с авангардом. Забирать у населения бревна, доски, брусья, свозить в голову!

Застучали топоры, полетела, сверкая на солнце, белая щепка. И по качающемуся, скрипучему, на живую нитку, настилу снова потекли тысячные толпы, бесконечные обозы,

грузная артиллерия, и осторожно храпят кони, испуганно косясь по сторонам на воду.

Без конца льется человеческий поток, и по-прежнему все глаза туда, где все та же недостижимая черта отделяет степь и небо.

Кожух собирает командный состав и спокойно говорит, играя желваками:

– Товарищи, от нас наши уходят з усией силы...

Мрачно ему в ответ:

– Мы ничего не понимаем.

– Уходят, рвут мосты. Долго так мы не сдюжаем, лошади падают десятками. Люди выбиваются, отстают, а отсталых козаки всех порубают. Пока мы им учебу дали, козаки боятся, расступаются, все их части генералы отводят с нашей дороги. Но все одно мы в железном кольце, и, если так долго буде, оно нас задушит, – патронов небогато, снарядов мало. Треба вырваться.

Он поглядел острыми, крохотно суженными глазками. Все молчали.

Тогда Кожух сказал раздельно, пропуская сквозь зубы слова:

– Треба прорваться. Если послать кавале-

рийскую часть – кони у нас плохие, не выдержат гоньбы, козаки всех порубают. Тогда козаки осмелеют и навалятся на нас со всех сторон. Треба инако. Треба прорваться и дать знать.

Опять молчание. Кожух сказал:

– Кто охотник?

Поднялся молодой.

– Товарищ Селиванов, возьми двух солдат, берите машину и гайда! Прорывайтесь во что бы то ни стало. Скажите им там: мы это. Чего ж они уходят? На гибель нас, что ли?

Через час у штабной хаты, залитой косыми лучами, стоял автомобиль. Два пулемета смотрели с него: один вперед, другой назад. Шофер в замасленной гимнастерке, как все шоферы сосредоточенный, замкнутый, не выпуская из зубов папиросы, возился около машины, заканчивая проверку. Селиванов и два солдата – с лицами молодыми и беззаботными, а в глазах далеко запрятанное напряжение.

Запорскала, вынеслась и пошла чертить воздух, запылила, засверлила, все делаясь меньше, сузилась в точку и пропала.

А бесконечные толпы, бесконечные обозы, бесконечные лошади текли, ничего не зная об автомобиле, текли безостановочно и мрачно, то с надеждой, то с отчаянием вглядываясь в далекую синеющую даль.

38

Гудит несущаяся навстречу буря. Косо падают по сторонам, мгновенно улетаая, хаты, придорожные тополя, плетни, дальние (церкви. По улицам, в степи, в станицах, по дороге люди, лошади, скот не успевают выразить испуга, а уже никого нет, и только бешено крутится по дороге пыль, да сорванный с деревьев лист, да подхваченная солома.

Казачки качают головами:

– Должно сбесился. Чей такой?

Казачьи разъезды, патрули, части пропускают бешено несущийся автомобиль, – первый момент принимают за своего: кто же полезет в самую гущу их! Иногда спохватятся – выстрел, другой, третий, да где там! Лишь пошверлит воздух вдали, растает, и все.

Так в гуле и свисте уносится верста за верстой, десяток за десятком. Если лопнет шина, поломка – пропали. Напряженно смотрят впе-

ред и назад два пулемета, и напряженно лоят несущуюся навстречу дороге четыре пары глаз.

В грохоте, сливая безумное дыхание в тонкий вой, неслась и неслась машина. Было жутко, когда подлетали к реке, а там расщепленными зубами глядели сваи. Тогда бросались в сторону, делали громадный крюк и где-нибудь натыкались на сколоченную населением из бревен временную переправу.

К вечеру вдали забелелась колокольня большой станицы. Быстро разрастались сады, тополя, бежали навстречу белые хаты.

Солдатик вдруг завизжал, обернув неузнаваемое лицо:

– На-аши!!

– Где?.. где?! что ты!!

Но даже рев несущейся машины не мог сорвать, заглушить голос.

– Наши! наши!! вон!..

Селиванов злобно, чтоб не поддаться разочарованию ошибки, приподнялся и:

– Уррра-а-а!!

Навстречу ехал большой разъезд, – на шапках, как маки, алели звезды.

В ту же секунду над самым ухом знакомо, тоненько, певуче: дзи-и-и... ти-и... ти-и... И еще и еще, как комариное удаляющееся пение. А от зеленых садов, изза плетней, из-за хат прилетели звуки винтовочных выстрелов.

У Селиванова екнуло: «свои... от своих...» И он мальчишески тонко закричал сорвавшимся голосом, отчаянно мотая фуражкой:

– Свои!.. свои!!

Чудак... Как будто в этой буре несущейся машины что-нибудь можно услышать. Он и сам это понял, вцепился в плечо шофера:

– Стой, стой!.. Задержись!..

Солдатики попрятали головы за пулеметы. Шофер со страшно исхудавшим в эти несколько секунд лицом затормозил вдруг окутавшуюся дымом и пылью машину, и всех с размаху ссунуло вперед, а в обшивку впились две цокнувшие пули.

– Свои!.. свои!.. – орали четыре человеческих глотки.

Выстрелы продолжались. Разъезд, срывая из-за плеч карабины, скакал, сбив лошадей в сторону от дороги, чтобы дать свободу обстре-

ла из садов, и стреляя на скаку.

– Убьют... – сказал окостенелыми губами шофер, отшатываясь от руля, и совсем остановил машину.

Подлетели карьером. С десятков дул зачернелось в упор. Несколько кавалеристов с искаженными страхом лицами смахнулись с лошадей, сверхъестественно ругаясь:

– Долой с пулеметов!.. руки вверх!.. вылезай!..

Другие, скидываясь с лошадей, кричали с побледневшими лицами:

– Руби их! чаво смотришь... ахвицерье, туды их растуды!

Режущие сверкнули выдернутые из ножен сабли.

«Убьют...»

Селиванов, оба солдата, шофер моментально высыпались из машины. Но как только очутились среди взволнованных лошадиных морд, среди занесенных сабель, прицелившихся винтовок, разом отлегло – отделились от приводивших в неистовство пулеметов.

И тогда, в свою очередь, посыпали отборной руганью:

– Очумели... своих... в заднице у вас глаза. В документы не глянули, уложили б, потом не воротишь... расперетак вас так!..

Кавалеристы остыли.

– Да кто такие?

– Кто-о!.. Сначала спроси, а потом стреляй. Веди в штаб.

– Ды как же, – виновато заговорили те, садясь на лошадей, – на прошлой неделе так-то подлетел бронированный автомобиль ды давай поливать. Такой паники наделал! Садитесь.

Сели опять в машину. К ним влезли двое кавалеристов, остальные осторожно окружили с карабинами в руках.

– Товарищи, вы только не пущайте дюже машину в ход, а то не успеем, кони мореные.

Добежали до садов, завернули по улицам. Встречавшиеся солдаты останавливались, отборно ругаясь:

– Перебейте, так их растак! Куды волокете?

Косо тянулись неостывшие вечерние тени. Где-то орали пьяные песни. По дороге из-за деревьев зияли высаженными окнами разбитые казачьи хаты. Павшая неубранная ло-

шадь распространяла зловоние. Всюду по улицам ненужно наваленное, раскиданное сено. За плетнями оголенные, обезображенные, с переломанными ветвями фруктовые деревья. Сколько ни ехали по станице – на улице, на дворах ни одной курицы, ни одной свиньи.

Остановились у штаба – большой поповский дом. В густой крапиве около крыльца храпели двое пьяных. На площади возле оружий солдаты играли в трынку.

Гурьбой ввалились к начальнику отряда.

Селиванов, волнуясь от счастья, от пережитого, рассказывал о походе, о боях с грузинами, с казаками, не успевая всего рассказывать, что просилось, перескакивая с одного на другое:

– ...Матери... дети в оврагах... повозки по ущельям... патроны до одного... голыми руками...

И вдруг осекся: начальник, забрав длинные усы и щетинистый подбородок в ладонь, сидел сгорбившись, не прерывая и не спуская с него чужих глаз.

Командный состав, все молодые, загоре-

лые, кто стоял, кто сидел, без улыбки, с каменными лицами, чуждо слушали.

Селиванов, чувствуя, как наливается шея, затылок, уши, резко оборвал и сказал вдруг охрипшим голосом:

– Вот документы, – и сунул бумаги.

Тот, не глядя, отодвинул к помощнику, который нехотя и предрешенно стал рассматривать. Начальник раздельно сказал, не спуская глаз:

– У нас совершенно противоположные сведения.

– Позвольте, – все лицо и лоб Селиванова налились кровью, – так вы нас... вы нас принимаете...

– У нас совершенно иные сведения, – спокойно и настойчиво сказал тот, все так же держа в щепоти длинные усы, подбородок, не давая себя перебить и не спуская глаз, – у нас точные сведения: вся армия, вышедшая с Таманского полуострова, погибла на Черноморском побережье, вся перебита до единого человека.

В комнате стало тихо. В распахнутые окна из-за церкви доносилась густая брань и пья-

ные солдатские голоса.

«А у них – разложение...» – со странным удовлетворением подумал Селиванов.

– Так позвольте... вам мало документов... Что же это, наконец, такое: с невероятными усилиями, после нечеловеческой борьбы про-рваться к своим, и тут...

– Никита, – сказал опять спокойно началь-ник, выпустил из рук подбородок и поднялся, расправляя тело, длинный, с длинными, об-висшими по сторонам усами.

– Что?

– Найди приказ.

Помощник порылся в портфеле, достал бу-магу, протянул. Начальник положил на стол и, не нагибаясь, как с колокольни, стал чи-тать. Тем, что стал читать с такой высоты, как бы небрежно подчеркивал предрешенность своего и всех присутствующих мнения. ПРИ-КАЗ КОМАНДУЮЩЕГО N 73

Перехвачена радиотелеграмма генерала Покровского к генералу Деникину. В ней сооб-щается, что с моря, с туапсинского направле-ния идет неисчислимая орда босяков. Эта ди-кая орда состоит из русских пленных, вернув-

шихся из Германии, и моряков. Они превосходно вооружены, множество орудий, припасов и везут с собою массу награбленных драгоценностей. Эти бронированные свиньи на своем пути всех бьют и все сметают: лучшие казачьи и офицерские части, кадет, меньшевиков, большевиков. Длинный прикрыл, опираясь о стол, ладонью бумагу, пристально посмотрел на Селиванова, повторяя раздельно:

– И боль-ше-ви-ков!

Потом принял ладонь и, все так же стоя, стал читать: Ввиду этого приказываю: продолжать безостановочное отступление. Рвать за собою мосты; уничтожать все средства переправы; лодки перегонять на нашу сторону и сжигать без остатка. За порядок отступления отвечают начальники частей. Он опять пристально посмотрел в лицо Селиванову и, не дав ему раскрыть рта, сказал:

– Вот что, товарищ. Я ни в чем не хочу вас подозревать, но войдите же и в наше положение: мы видимся... в первый раз, а сведения складываются, вы сами видите... Не имеем же мы права... ведь нам вверены массы, и мы были бы преступниками...

– Да ведь там ждут! – с отчаянием вскрикнул Селиванов.

– Я понимаю, понимаю, не волнуйтесь. Вот что: пойдёмте перекусим – чай, голодны, и ваши ребята пусть...

«Порознь допросить хочет...» – подумал Селиванов и вдруг почувствовал: неодолимо захотелось спать.

За обедом красивая степенная казачка поставила на голый стол горячую миску с подернутыми жиром щами, от которых и пар не шел, и низко поклонилась:

– Кушайте, родимые.

– Ну, ты, ведьма, пожри-ка сначала сама.

– Ды что вы, батюшка!

– Но, но!

Она перекрестилась, взяла ложку, черпнула вдруг задымившиеся щи и, дуя, стала осторожно схлебывать.

– Жри больше!.. Какую моду взяли: несколько человек отравили наших. Зверье! Подать вина...

После обеда условились: Селиванов на машине едет назад, а с ним для проверки отправляется эскадрон.

Сдержанно бежит машина, отходят в обратном порядке знакомые станицы, хутора. Сидит Селиванов с двумя кавалеристами, – у них напряженные лица и наготове револьверы. А кругом: спереди, сзади, с боков, то дружно в один раз, то вразнобой грузно поднимаются и падают солдатские зады на широкие седла, и бегут под ними, мелькая копытами, кавалерийские лошади.

Сдержанно порскает машина, не спеша бежит с нею поднимаемая пыль.

У сидящих в машине кавалеристов понемногу напряженность отпускает лица, и они начинают доверчиво рассказывать Селиванову под сдержанный гул неторопливо бегущей машины горестную повесть. Все ослабло, разболталось, боевые приказы не выполняются, бегут пред небольшими кучками казаков; из разлагающихся частей пачками разбегаются, куда глаза глядят.

Селиванов никнет головой.

«Если наскочим на казаков, все пропало...»

39

Ни одной звезды, и от этого мягкий бархат все глотает, – не видно ни плетней, ни улиц,

ни пирамидальных тополей, ни хат, ни садов, булавочными уколами рассыпаны огоньки.

В мягкой темной громаде чувствуется невидимо раскинувшаяся живая громада. Не спят. То загремит задетое в темноте ведро, то загрызутся, затопают разодравшиеся кони и – «тпру-у, сто-ой, дьяволы!..» То материнский голос мерно, однотонно качает двумя нотами: а-ы-ы!.. а-ы-ы!.. а-ы-ы!..

Далекий выстрел, но знаешь – свой, дружеский. Разрастается гомон, голоса, не то ссора, не то дружеская встреча; уляжется – опять только темь.

– По-сле-едний но-неш-ни-ий... – сонно, с усталой улыбкой.

Отчего не спится?

Далекое, не то под окном, шуршанье песка, хруст колес.

– Эй, та ты ж куда? Наши вон иде стали.

А никого не видно – черный бархат.

Странно, разве не устали? Разве уж не всматриваются день и ночь в далекую черту неотрывающиеся глаза?

Как будто и этот сентябрьский бархат, и невидимые плетни, и запах кизяка – как буд-

то свое, домашнее, родное, кровное, так долгожданное.

Завтра за станицей братская встреча с войсками главных сил. Оттого ночь полна текущего движения, звука копыт, голосов, шороха, хруста колес и улыбки, сонно засыпающей улыбки.

Полоса света из приотворенной двери узко ложится по земле, ломается через плетень, далеко убегает по вытоптанному огороду.

А в казачьей хате кипит самовар. Белеют стены. Расставлена посуда. Белый хлеб. Чистая скатерть.

Кожух без пояса на лавке; волосатая грудь видна. Посунулся плечами, повисли руки, опустилась голова. Так хозяин вернется с поля, — целый день шагал, отваливая отбеленным лемехом черные жирные пласты, и теперь удовлетворенно гудят руки, ноги, и женщина готовит ужин, и на столе еда и со стенки, слегка коптя, светит жестяная лампочка, — по-хозяйски устал, трудовой усталостью устал.

Брат возле, тоже без оружия. Беззаботно снял сапоги и сосредоточенно рассматривает

совершенно развалившийся сапог. Домовитым движением жена Кожуха приподнимает крышку над самоваром, – вырывается бунтующий пар; вынимает тяжелое, горячо дымящееся полотенце, выбирает яйца, разложила на тарелке, и они кругло белеют. В углу темнеют иконы. На хозяйской половине тихо.

– Ну, садитесь!

И, точно резнуло, все трое повернули головы: в полосе света знакомо мелькнули одна, другая, третья круглые шапочки с ленточками. Матершинная ругань. Грохнули приклады.

Алексей, не теряя ни секунды (эх, револьвер куды...):

– За мной!!

Как буйвол ринулся. Приклад пришелся в плечо. Покачнулся, но удержался на ногах, и под его литым кулаком хрустнула переносица, и со стоном и остервенелой бранью рухнуло чье-то тело.

Алексей перескочил.

– За мной!!

Вырвался из света, разом окунулся в тьму и понесся сажеными скачками по грядам,

ломая высокие стволы подсолнечника.

По ринувшемуся за ним Кожуху без промаха прищлись приклады. Он свалился за плетнем, а кругом заветренные морские голоса:

– Ага!.. вот он, лупи!..

Непогасимым криком стояло сзади остро-пронизывающе:

– Помогите!..

Кожух удесятерил силы, избиваемый, выкатился из полосы света в темноту, вскочил и понесся за братом, на слух. А за самой спиной, наседая, катился тяжелый топот, и сквозь то-ропливо-хриплое дыхание:

– Не стрелять, а то сбегутся... бей прикладами!.. Вот он, гони!..

Чернее темноты вырос забор. Затрещали доски. Алексей перемахнул. Упруго, как юноша, перемахнул Кожух, и оба разом свалились в невыразимую кашу криков, ударов, ругани, прикладов, штыков, – с той стороны ждали.

– Бей ахвицерье!.. подымай на штыки!..

– Ня трожь!.. ня трожь!..

– Попались сволочи!.. Коли на месте!..

– Беспременно в штаб – там допросить...

пятки поджарим...

– Бей зараз!..

– В штаб! В штаб!

Голоса Кожуха и Алексея смыло бушующе-черным водоворотом, они сами себя не слышали в буйно вращавшемся клубе.

С непадающим криком, шумом, говором, бранью повели, сгрудившись, толкаясь в тесноте; лязг, колыхание темных штыков, матерная ругань.

«Никак выплыл?» – жадно стояло в голове Кожуха: он не отрывался от света, который лился из окон большого двухэтажного дома училища – штаб.

Вошли в полосу света – все разинули рты и вытаращили глаза.

– Та це ж батько!!

Кожух спокойно, только желваки играли:

– Шо ж вы, сбесились?!

– Та мы... та як же ж воно!.. Та це ж матросня. Приходять, сказывають, двоих ахвицерьев открыли, шпиены козацкие. Кожух хочуть убить, треба их застукаты. Мы, кажуть, выгоним ахвицерьев, а вы караульте позадь забора. Як вони зачнуть сигать, вы им пид зад

штыки, нэхай сядуть. А в штаб не треба водить, – там изменьщики есть, отпустють. А вы их тихомолком, тай годи. Ну, мы поверили, а темь...

Кожух спокойно:

– В приклады матросню.

Солдаты бешено ринулись в разные стороны, а из темноты спокойный голос:

– Разбежались. Чи дураки – будут ждаты соби смерти.

– Пойдем чай пить, – сказал Кожух брату, вытирая с разбитого лица кровь; – Поставить караул!

– Слушаем.

40

Кавказское солнце – даром, что запоздалое – горячо. Только степи прозрачны, только степи сини. Тонко блестит паутина. Тополя задумчиво стоят с редющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колокольня.

А за садом в степи бесчисленное людское море, как тогда, при начале похода, такое же необозримое людское море. Но что-то новое покрывает его. Те же бесчисленные повозки

беженцев, но отчего же на лицах, как отражение, как живой отблеск, печать непотухающей уверенности?

Те же бесчисленные отрепанные, рваные, голые, босые солдатские фигуры, – но отчего, как по нитке, молчаливо вытянулись в бесконечные шеренги, и выкованы из почернелого железа исхудалые лица, стройно, как музыка, темнеют штыки?

И отчего лицом к этим шеренгам стоят такие же бесконечные ряды одетых и обутых солдатских фигур, но врозь, куда попало, покачнулись штыки, и оттиснулись на лицах растерянность и жадное ожидание?

Как тогда, необозримая громада пыли, но теперь она осела осенней отяжелелостью, и отчетливо прозрачна степь, и отчетливо видна каждая черта на лицах.

Тогда среди безграничного взбаламученного людского моря зеленел пустой курган, и чернели на нем ветряки; а теперь среди людского моря пустая полянка, и на ней темнеет повозка.

Только тогда буйное разливалось по степи человеческое море, а теперь затаилось и мол-

ча стояло в железных берегах.

Ждали. И молчаливая, без звуков, без слов, торжественная музыка разливалась над необозримой толпой в синем небе, в синей степи, в золотом зное.

Показалась небольшая толпа людей. И те, что стояли в шеренгах с железными лицами, узнали в этой подходившей кучке своих командиров, таких же исхудалых, почернелых, как и они сами. И те, что стояли рядами против них, узнали своих командиров, одетых, с здоровыми обветренными лицами, как и у них самих.

И шел среди первых Кожух, небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босяк, и на ногах шмурыгали разбитые, с разинутыми почернелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рваными полями когда-то соломенная шляпа.

Они подошли и сгрудились около повозки. Кожух взобрался на повозку, стащил с головы ошметку соломы и оглядел долгим взглядом и железные шеренги своих, и бесчисленно терявшиеся в степи повозки, и множество пе-

чальных безлошадных беженцев, и ряды главных сил. Было в них что-то расшатавшееся. И у него шевельнулось глубоко запрятанное, в чем и сам бы себе не признался, удовлетворение: «Разлагаются...»

Все, сколько их тут ни было, все смотрели на него. Он сказал:

– Товарищи!..

Все знали, о чем здесь будут говорить, но мгновенная искра пронизала смотревших.

– Товарищи, пятьсот верст мы йшли, голодные, холодные, разутые. Козаки до нас рвались, як скаженнии. Нэ було ни хлеба, ни провьянту, ни фуража. Мерли люди, валились под откосы, падали под вражьими пулями, нэ було патронов, голыми руками...

И, хоть знали это – сами все вынесли, и знали другие по тысячам их рассказов, – слова Кожуха блеснули неиспытанной новизной.

– ...дитэй оставляли в ущельях...

И над головами, над всем над громадным морем пронеслось и впилося в сердце, впилося и задрожало:

– Ой, лишенько, диты наши!..

От края до края колыхнулось человеческое

море:

– ...диты наши!.. диты наши!..

Он каменно смотрел на них, выждал и сказал:

– А сколько полягло наших под пулями в степях, в лесах, горах, поляглы навик вики!..

Все головы обнажились, и до самого края бесчисленно поплыло могильное молчание, и, как надгробная память, как могильные цветы, в этой тишине тихие женские рыдания.

Кожух постоял с опущенной голо дои, потом поднял, оглядел эти тысячи и поломал молчание:

– Так за що ж терпели тысячи, десятки тысяч людей цьи муки? за що?!

Он опять посмотрел на них и вдруг сказал неожиданное:

– За одно: за советску власть, бо вона одна крестьянам, рабочим, нэма у них билш ничего...

Тогда вырвался из груди неисчислимый вздох, стало нестерпимо, и скупно поползли одинокие слезы по железным лицам, медленно поползли по обветренным лицам встре-

чавших, по стариковским лицам, и засияли слезами дивочьи очи...

– ...за крестьянскую и рабочую...

«Так вон оно що! так вот за що мы бились, падалы, мерлы, погибалы, терялы дитэй!»

Точно широко глаза разинулись, точно в первый раз слышали тайную тайну.

– Та дайте ж, людэ добрии, мени казаты, – кричала, горько сморкаясь, баба Горпина, продираясь к самой повозке, цапаясь за колеса, за грядку, – та дайте ж мени...

– Та постой, бабо Горпино, нэхай же батько кончае, нэхай росказуе, а тоди ты!

– Та не трожьте мене, – отбивалась локтями старая и цепко лезла – никак ее не стянешь.

И закричала, расхристанная, с выбившимися седыми клочковатыми волосами, с сбившимся платком, закричала:

– Ратуйте, добрии людэ, ратуйте! Самовар у дома вкинули. Як мени замуж выходить, мамо в приданое дала тай каже: «береги его, як свет очей», а мы вкинули. Та цур ему, нэхай пропадае! нэхай живе наша власть, наша ридна, бо мы усю жисть горбы гнулы, та радости

не знали. А сыны мои... сыны мои...

И захлюпала старая старыми слезами не то неизбывного горя, не то смутной, самой ей не понятно блеснувшей радости.

И опять по всему людскому морю взмыло тяжким и радостным вздохом и побежало до самых до степных до краев. А на повозку хмуро, молча лез Горпинин старик. Ну, этого не стянешь, – здоровенный старина, насквозь проеденный дегтем, земляной чернотой, и руки как копыта.

Вылез и удивился, что высоко, и сейчас же забыл это, и, обветренный, стоеросый, как немазаная телега, захрипел голос:

– Во!.. старый коняка, а добрый був возовик. Цыганы, сами знаете, наскрозь лошадей видють, скрозь ему лазили, и у роти, и пид хвост, кажут, дэсят годив, а ему два-ад-цать три!.. Смоляной зуб!

Засмеялся старик, в первый раз засмеялся, собрал вокруг глаз множество морщинок-лучинок и хитро засмеялся детским, шаловливым, так не вязавшимся с его глыбисто-земляной фигурой смехом.

А баба Горпина потерянно хлопнула себя

по бедрам:

– Боже ж мий милий! Бачьте, добрии людэ, чи сказився, чи що! Мовчав, мовчав, цильый вик мовчав; мовчки мене замуж узяв, мовчки любив, мовчки бив, а тут забалакав. Що таке буде? Чи с глузду зъихав, бодай его, чи що!..

Старик сразу согнал морщинки, насунул обвисшие брови, и опять на всю степь захрипела немазаная телега:

– Побилы коняку, сдох!.. Все потеряв, що на возу, пропало. Ногами шли. Шлею зризав и ту покинув; самовар у бабы и вся худоба дома пропала, а я, як перед истинным, – и заревел стоеросовым голосом: – не жали-ю!.. нэхай, нэ жалко, нэхай!.. бо це наша, хрестьянска власть. Без нэи мы дохлятина, як та падаль пид тыном, воняемо... – и заплакал скучными собачьими слезами.

Валом взмыло, бурей прошлось из конца в конец:

– Га-а-а-а!.. Це ж наша громада-а! наша ридна власть!.. Нэхай живе... бувай здорова, советска власть!..

Из конца в конец.

«Так от воно, счастья?!!» – огненно обожгло

в груди Кожуха, и челюсти дрогнули.

«Так от яке воно!.. – нестерпимо радостно своей неожиданностью зажглось в железных шеренгах исхудалых, в тряпье, людей. – Так от за вищо мы голоднии, холоднии, замученнии, нэ за шкуру тилько свою!..»

И матери с незаживающим сердцем, с невысыхающими слезами, – нет, не забыть им никогда голодно-оскаленных ущелий, никогда! Но и эти страшные места, страшная о них память претворялись в тихую печаль и тоже находили свое место в том торжественном и огромном, что беззвучно звучало над бескрайно раскинувшейся по степи человеческой громадой.

А те, что стояли одетые и сытые множеством рядов лицом к лицу с железными шеренгами исхудалых, голых людей, те чувствовали себя сиротами в этом неиспытанном торжестве и, не стыдясь просившихся на глаза слез, поломали ряды и, все смывая, двинулись всесокрушающей лавиной к повозке, на которой стоял оборванный, полубосой, исхудалый Кожух. И покатилося до самых до степных до краев:

– Оте-ец наш!! Веди нас, куды знаешь... и мы свои головы сложим!

Тысячи рук протянулись к нему, стащили его, тысячи рук подняли его над плечами, над головами и понесли. И дрогнула степь на десятки верст, всколыхнутая бесчисленными человеческими голосами:

– Урра-а! урра-а! а-а-а... батькови Кожуху!..

Кожуха несли и там, где стояли стройные ряды; несли и там, где стояла артиллерия; пронесли и между лошадьми эскадронов, и всадники оборачивались на седлах и с восторженно изменившимися лицами, темнея открытыми ртами, без перерыва кричали.

Несли его среди беженцев, среди повозок, и матери протягивали к нему детей.

Принесли назад и бережно поставили опять на повозку. Кожух раскрыл рот, чтоб заговорить, и все ахнули, как будто увидели его в первый раз:

«Та у его глаза сини!»

Нет, не закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущение а у него глаза действительно оказались голубые, ласковые и улыбались милой детской улыбкой, –

не закричали так, а закричали:

– Урр-а-а нашему батькови!.. Нэхай живе!.. Пидемо за им на край свита... Будемо биться за совитску власть. Будемо биться с панами, с генералами, с ахвицерьем...

А он ласково смотрел на них голубыми глазами, а в сердце выжигалось огненным клеймом:

«Нэма у меня ни отца, ни матери, ни жены, ни братьев, ни близких, ни родни, тильки одни эти, которых вывел я из смерти... Я, я вывел... А таких миллионы, и округ их шеи петля, и буду биться за их. Тут мой отец, дом, мать, жена, дети... Я, я, я спас от смерти тысячи, десятки тысяч людей... Я спас от смерти в страшном положении...»

Выжигалось огненно в сердце, а уста говорили:

– Товарищи!..

Но не успел сказать. Раздвигая толпу солдат направо-налево, бурно рвалась матросская масса. Всюду круглились шапочки, трепетали ленты. Могуче работая локтями, лилась матросская лавина все ближе и ближе к повозке.

Кожух спокойно глядел на них серыми, с отблеском стали глазами, и лицо железное, и стиснутые челюсти.

Уже близко, уже тонкий слой расталкиваемых солдат только отделяет. Вот наводнили все кругом; всюду, куда ни глянешь, круглые шапочки и ленты полощутся, и, как остров, темнеет повозка, а на ней – Кожух.

Здоровенный, плечистый матрос, весь увешанный ручными бомбами, двумя револьверами, патронташем, ухватился за повозку. Она накренилась, затрещала. Влез, стал рядом с Кожухом, снял круглую шапочку, махнул лентами, и хриповато-осипший голос – в котором и морской ветер, и соленый простор, и удаль, и пьянство, и беспутная жизнь – разнесся до самых краев:

– Товарищи!.. Вот мы, матросы, революционеры, каемся, виноваты пред Кожухом и пред вами. Чинили мы ему всякий вред, когда он спасал народ, просто сказать, пакостили ему, не помогали, критиковали, а теперь видим – неправильно поступали. От всех матросов, которые тут собрались, низко кланяемся товарищу Кожуху и говорим сердечно: «Вино-

ваты, не сер чай на нас».

Такими же просоленными морскими головами гаркнула матросская братва:

– Виноваты, товарищ Кожух, виноваты, не серчай!

Сотни дюжих рук сволокли его и стали отчаянно кидать. Кожух высоко взлетал, падал, скрывался в руках, опять взлетал – и степь, и небо, и люди шли колесом.

«Пропал, – всю требуху, сукины сыны, вывернут!»

А от края до края потрясающе гремело:

– Уррра-а-а-а-а нашему батькови!.. Уррра-а-а-а-а!..

Когда опять поставили на повозку. Кожух слегка шатался, а глаза голубые сузились, улыбаются хитрой улыбкой.

«Ось, собаки брехливые, выкрутылысь. А попадись в другом мисти, шкуру спустють...»

А громко сказал своим железным, слегка проржавевшим голосом:

– Кто старое помяне, того по потылице.

– Го-го-го!.. хха-ха-ха!.. урра-а-а!..

Много ораторов дожидаются своей очереди. Каждый несет самое важное, самое глав-

ное, и если он не скажет, так все рухнет. А громада слушает. Слышат те, которые густо разлились вокруг повозки. Дальше долетают только отдельные обрывки, а по краям ничего не слышно, но все одинаково жадно, вытянув шею, наставив ухо, слушают. Бабы суют ребятишкам пустую грудь, либо торопливо покачиваются с ними, похлопывая, и тянут шею, боком наставляя ухо.

И странно, хотя не слышат или хватают с пятого на десятое, но в конце концов схватывают главное.

– Слышь, чехословаки до самой до Москвы навалились, а им там морды дуже набилы, у Сибирь побиглы.

– Паны сызнову заворушилысь, землю им отдай.

– Поцилуй мени у зад, и тоди нэ отдам.

– Слыхал, Панасюк: в России Красна Армия.

– Яка така?

– Та красна: и штани красны, и рубаха красна, и шапка красна, сзаду, спереду, скрозь красный, як рак вареный.

– Буде брехать.

– Тай ей-бо! Зараз аратор балакав.

– И я слыхав: солдатив там вже нэма, – вси красноармейцами прозваються.

– Мабудь, и нам красни штани выдадуть?

– И дуже, балакають, строго – дисциплина.

– Тай куды дуцей, як у нас: як батько схо-
тив всыпать пид шкуру, вси, як взнузданнии,
стали ходить. Гля, як идуть в шеренге – аж як
по нитке. А по станицам проходили, никто
вид нас не плакав, не стонав.

Перекидывались, хватая у ораторов обрыв-
ки, не умея высказать, но чувствуя, что отре-
занные неизмеримыми степями, непроходи-
мыми горами, дремучими лесами, они твори-
ли – пусть в неохватимо меньшем размере, –
но то самое, что творили там, в России, в ми-
ровом, – творили здесь, голодные, голые, бо-
сые, без материальных средств, без какой бы
то ни было помощи. Сами. Не понимали, но
чувствовали и не умели это выразить.

До самой до синевы вечера, сменяя друг
друга, говорили ораторы; по мере того как
они рассказывали, у всех нарастало ощущение
неохватимого счастья неразрывности с
той громадой, которую они знают и не знают

и которая зовется Советской Россией.

Неисчислимо блестят в темноте костры, так же неисчислимы над ними звезды.

Тихонько подымается озаренный дымок. Солдаты в лохмотьях, женщины в лохмотьях, старики, дети сидят кругом костров, сидят усталые.

Как на засеянном небе тает дымчатый след, так над всей громадой людей неощутимым утомлением замирает порыв острой радости. В этой мягкой темноте, в отсвете костров, в этом бесчисленном людском море погасает мягкая улыбка, – тихонько наплывает сон.

Костры гаснут. Тишина. Синяя ночь.

1924

Комментарии

В шестой том вошли произведения, написанные в канун Великой Октябрьской социалистической революции и в первое послеоктябрьское семилетие. Это период большой творческой активности писателя-коммуниста, который отдал все свои силы делу победы революции. В этот период Серафимович пишет рассказы, очерки, корреспонденции, статьи, пьесы, наконец он осуществляет замысел большого эпического полотна, создает героическую эпопею «Железный поток». При всем разнообразии жанров произведения этих лет отличаются большим внутренним единством, что обусловлено характером задач, которые ставил перед собой и последовательно, целеустремленно решал писатель. Он всегда писал с убеждением, что «с ними нужно жить, с теми, кого описываешь, с ними и жизнь нужно делать...» («Черной ночью»). Теперь это убеждение получило новый смысл. «Живое творчество масс – вот основной фактор новой общественности», – говорил В. И. Ленин на заседании ВЦИК. 17 ноября 1917 г.

(Сочинения, т. 26, стр. 254). Серафимович отдается живой работе, идет заведовать агит-массовым отделом Моссовета («Тут сходились все нити тогдашней общественно-политической жизни». Собр. соч., М. 1948, т. VIII, стр. 425)[4] охотно берет на себя поручение Моссовета поехать на юг, чтобы давать материал для печати, становится корреспондентом «Правды» на фронтах гражданской войны. С ноября 1917 года начинается систематическое сотрудничество Серафимовича в большевистской печати, сначала в «Известиях Московского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г. Москвы и Московской области», а через год в «Правде». Он находится в центре борьбы, в гуще событий, на фабрике, в армии, в деревне, как бы «снизу» наблюдая строение новой жизни и одновременно чувствуя себя активным его участником. Москва, Харьков, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Козлов, Бобров, Задонск, Валуйки, Арзамас, Симбирск, Владикавказ, Петроград, Гомель, Могилев, Иваново-Вознесенск – через эти и многие другие пункты революционной России пролегли корреспондентские марш-

руты писателя, который обогащался знанием «колоссального, невиданного до того в мире созидания народной власти... по всему лицу земли русской...»

Его интересовало все: и стройка, и бои, и митинги, и красные праздники. Очерки и корреспонденции, входящие в данный том, не исчерпывают всей газетной работы писателя периода революции, гражданской войны и начала 20-х годов, но и на основании этой избранной части отчетливо видна широта охвата революционной действительности и политическая чуткость художника. В его очерках и корреспонденциях затрагивались самые злободневные вопросы, всесторонне освещаемые на страницах советских газет, поэтому они органично включались в газетную полосу.

Одной из важнейших проблем в эпоху революции была проблема привлечения интеллигенции на сторону советской власти. В связи с тем, что в это время значительная часть интеллигенции саботировала, печать повела наступление на саботажников. «Известия» ввели рубрику «Учителя и революция», печат-

тали материалы, осуждающие измену интеллигенции прежним демократическим идеалам. В этом контексте становится особенно понятным широкий общественно-политический смысл статей Серафимовича «В капле», «Братья-писатели», непосредственным толчком для которых послужил факт биографии самого писателя.

В начале 1919 года широкую огласку в печати получает вопрос о транспорте. «Правда» ввела специальную рубрику «Все на работу по продовольствию и транспорту». Очерк Серафимовича «В теплушке» оказался в ряду других выступлений на эту тему, а высказанное им предложение о специальных контролерах для борьбы с саботажниками на транспорте предвосхитило постановление, вводившее там рабочий контроль.

Очерки «Тридцать лет назад», «Дети», «Голодные, холодные» печатались в газетах, наполненных материалами, посвященными борьбе с голодом.

Такая же злободневность характеризует и военные корреспонденции Серафимовича. В ноябре 1918 года «Правда» ввела специаль-

ный раздел «Советская трехмиллионная армия» и приглашала армейцев присылать деловые статьи и заметки о том, что надо сделать для создания великой советской армии, а также сообщать, что делается на местах в этом направлении и каковы недостатки в этой работе. В «Правде» появляется ряд статей о роли комиссаров и их взаимоотношениях с командирами, о просветительной работе с бойцами, о подъеме внутрипартийной работы. Именно эти темы и составили содержание корреспонденции Серафимовича с Восточного фронта, печатавшихся на страницах «Правды» в ноябре-декабре 1918 года.

То же можно сказать и об очерках с польского фронта: «На панском фронте», «Белопанская армия» и др. Когда весной 1920 года после небольшой передышки белополяки снова начали наступление на Украину, в «Правде» появились статьи с разъяснением особых задач Красной Армии в этой войне. На ее страницах также было опубликовано обращение ВЦИК к польскому народу и польским солдатам. «Правда» вскрывала классовый характер войны, которую вели польские паны

в своих собственных интересах, в интересах русских помещиков и мировой буржуазии (см. «Правду», 1920, № 98). Разоблачая врага, совершающего злодеяния, «Правда» при этом разъясняла красноармейцам, что солдаты польской армии – это рабочие и крестьяне, обманутые своим панством. Нужно помочь им понять этот обман, чтобы ускорить окончание войны. Поэтому красноармейцы должны щадить пленных солдат польской армии. Был даже издан специальный приказ по армии о великодушии к пленному и раненому врагу. Совершенно закономерно в связи с этим в очерках Серафимовича с польского фронта центральное место занял вопрос об агитации среди пленных солдат и о средствах, способных ускорить раскрытие обмана, «которым сумели опутать польский народ паны-помещики, паны-ксендзы... А как только раскроется, в эту дыру все провалится: и прекрасная организованность армии и снабжения, и всяческая помощь Антанты, и паны, и ксендзы, и страшное кровавое рабство польского народа» («Тайное станет явным»).

Всем своим характером очерки Серафимо-

вича отвечали программе большевистской печати. В статьях В. И. Ленина «Очередные задачи Советской власти» (апрель 1918 г.), «О характере наших газет» (сентябрь 1918 г.) содержались руководящие указания для советской печати. Ленин призывал к конкретному изучению фактов действительного строительства новой жизни. «У нас мало внимания, – писал он, – к той будничной стороне внутрифабричной, внутридеревенской, внутриполковой жизни, где всего больше строится новое, где нужно всего больше внимания, огласки, общественной критики, травли негодного, призыва учиться у хорошего» (Сочинения, т. 28, стр. 80). Очерки и корреспонденции Серафимовича были конкретны, основывались на проверенных, типичных фактах, были непримиримо критичны по отношению ко всему, что мешало революционному созиданию, и вместе с тем всегда заостряли внимание читателя на рождении нового: нового отношения к труду, новой армии, новых взаимоотношений между людьми, наконец, новых людей. Характеризуя свою работу в качестве военного корреспондента, Серафи-

мович писал: «Я знал, что самое главное и важное – быть правдивым. Советскому читателю не нужно никакого приукрашивания, но надо, чтобы он вполне верил корреспонденту, – тогда затраченная энергия не пропадет даром. Советский военный корреспондент должен сам побывать в самых дальних закоулках, все лично обследовать, рассмотреть. И, перво-наперво, он должен быть в непрерывном, непосредственном общении с красноармейской массой» (т. VIII, стр. 426). Это характерно для всей газетной работы Серафимовича первых послереволюционных лет. Строгое исследование фактов, абсолютная достоверность их передачи, глубокая обоснованность выводов являются неотъемлемыми чертами Серафимовича – советского очеркиста.

Если в своей дореволюционной корреспондентской деятельности он только изредка пытался подсказывать какие-либо мероприятия, понимая, что большие вопросы русской жизни никак не могут быть решены государственными учреждениями царской России, то теперь он апеллирует к органам советской

власти, к партийному руководству, к руководящим органам Красной Армии. Он мыслит по-государственному; огромный жизненный опыт, знание дела, подлинно партийная совесть дают ему право чувствовать себя «советчиком» по важнейшим вопросам. В корреспонденции с Восточного фронта «Фабрика», исходя из того, что «воистину, коммунистическая партия несет армии жизнь», Серафимович обращает внимание на необходимость внутрипартийной работы, на важность связи между партийными группами, внутренней групповой жизни, которая «всех объединит, подтянет слабеющих, осмыслит всю работу».

В очерке с Западного фронта «Ни то ни се» анализ отношения крестьянского населения прифронтовой полосы к советской власти служит доказательством огромного значения коммунистов, призванных обслуживать ближайший тыл армии. И Серафимович не только выдвигает идею создания летучих отрядов коммунистов, самых надежных и испытанных, но развертывает целую программу их конкретных действий, необходимых для достижения цели.

В очерке «Дон», снова обращаясь к разъяснению огромной ответственности, которая ложится на плечи коммунистов – «одухотворяющего авангарда армии», он доказывает необходимость специальной их подготовки для работы с донским казачеством. Он не боится во время побед Красной Армии обратить внимание на то, что может угрожать в будущем поражением («Дон»), но в моменты временных неудач Красной Армии предрекает победу («Белопанская армия»). Он чуждается общих нейтральных слов, он хочет «быть действительно полезным», опираясь в практических предложениях не только на свои личные наблюдения, но и на опыт других.

Серафимович не страшился называть свои произведения этой поры агитками. И на вопрос о том, почему и как стал их писать, он отвечал недвусмысленно. Лжи и клевете классового врага «надо было непременно противопоставить нашу агитацию. Надо было непрерывно внедрять в массы правильное представление о советской власти и делать это убедительно» (т. VIII, стр. 425). Он нередко подчеркивал поучительность фактов и собы-

тий, составлявших содержание его очерков. Рассказав, например, о том, как рабочие сами, своими руками восстановили фабрику, он заканчивал очерк словами: «Приходите же, товарищи, посмотреть и поучиться, как надо строить новую жизнь» («Новая стройка»). Агитационную целенаправленность имели и его рассказы этой поры. На фронте, беседуя с красноармейцами, он убеждался, что потребность в доходчивой художественной агитационной литературе у них огромна. Рассказы о прошлом, вроде «Потерянного завтрака», «Как он умер» и др., или антирелигиозные рассказы были обращены именно к такому массовому читателю; они должны были дойти до солдатских окопов, до станка, в деревенскую избу газетным листом или в обложке тонкого журнала (такими и были «Безбожник у станка», «Город и деревня», «Красная нива»), отдельной брошюрой или маленькой дешевой книжечкой-сборником. Это был новый читатель, требовательный и благодарный. Серафимович не мог не думать о нем, поэтому писать «старался попроще и поясней». Это не значит, однако, что он упрощал тему, подла-

живаясь под массового читателя. Но писатель знал, что отвлеченная, абстрактная мысль, вялый книжный язык не найдут дороги к его уму и сердцу, вот почему очерки и корреспонденции Серафимовича – это маленькие картинки, в них действуют живые люди, слышна колоритная народная речь; писатель стремится прежде всего к яркому изображению, и это делает его мысль, вывод непреложными и убедительными.

Голос публициста богат оттенками, то деловит и серьезен, то лиричен, ему не чужда патетика, иногда он убийственно ироничен, а иногда полон гнева. Но всегда этот голос остается голосом страстного борца.

Очерки Серафимовича – яркие и правдивые страницы летописи величайшей эпохи. Художник революции умел видеть и понимал суровую красоту и грандиозность совершающегося. За сотнями разнообразных фактов, за множеством пестрых и противоречивых явлений он отчетливо увидел главное – творческую силу пробудившегося к активной исторической деятельности, освобожденного народа. И о чем бы ни писал Серафимович в

первые послереволюционные годы, он неизменно заострял внимание на многообразных свидетельствах духовного выпрямления народа. На этой основе вырастают и крупные произведения писателя: пьеса «Марьяна» и «Железный поток». Газетная работа Серафимовича явилась для них надежным и необходимым фундаментом.

Но и сама по себе она не утрачивает своей ценности. Признанная партией, Лениным нужной для своего времени, она не может не волновать сегодняшнего читателя, помогая ему глубже проникнуть в эпоху горячей и трудной молодости нашего Советского государства.

Пауки и кровососы*

Впервые – Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948.

Очерк является частью брошюры «Рабочее движение в России». Выпущенная в 1917 году московским издательством «Книга и жизнь» в серии «Популярная общественно-политическая библиотека», эта брошюра стояла в одном ряду с другими агитационными брошюрами Серафимовича, написанными по зада-

нию Московского Совета рабочих депутатов в предоктябрьские месяцы 1917 года. По свидетельству самого Серафимовича, этот «очерк» («Рабочее движение в России». – Г. Е.) «в дни Октябрьской революции... имел широкое хождение среди рабочих московских заводов и фабрик, а также на фронте» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, М, ГИХЛ, 1948, стр. 426).

Трещина*

Впервые – газ. «Известия», 1917, 27 августа (9 сентября).

«Эту классовую трещину – вернее, пропасть – я отмечал в газете уже в августе 1917 года, т. е. до Октября, – вспоминал в 1948 году писатель. – Я уже тогда отдавал себе ясный отчет, что трещину ничем не заполнить и что социальная революция будет доведена большевиками до конца...» (А. С. Серафимович. Собр. соч., 1948, т. VIII, М., ГИХЛ, стр. 427).

Как он умер*

Впервые напечатано в газете «Известия», 1917, 6(18) декабря, № 223(230). При включении в сборник «Рассказы», М. 1918 (стр. 3–9), в

тексте были сделаны большие сокращения, несколько дополнен конец, усилен драматизм последней сцены характеристикой состояния солдата, прибежавшего за бельем и одеждой Науменко.

В капле*

Впервые – газ. «Известия», 1917, 12(25) декабря, под рубрикой «Впечатления».

Море*

Впервые напечатано под рубрикой «Впечатления» в газете «Известия», 1918, 6(19) января, № 4(252). В основу очерка положен действительный факт, вечер происходил 31 декабря 1917 года. В газетной редакции очерка фигурировали имена участников вечера: В. Н. Подбельского (1887–1920), большевика с 1905 года, одного из членов «Партийной пятерки», руководившей Московским восстанием в дни Октября, с 1918 – наркома почт и телеграфа; Ем. Мих. Ярославского (1878–1943), виднейшего деятеля КПСС, одного из руководителей вооруженного восстания в Москве в октябре 1917 года, в годы гражданской войны работ-

ника политического просвещения Красной Армии; Венцеля, секретаря Будапештского Комитета социал-демократической партии, и др.

В последующих изданиях (в «Поли. собр. соч.», М. 1928, т. XIV, в «Сочинениях», М. 1934) текст очерка печатался с сокращениями. Значительной переработке он подвергся в последнем прижизненном собрании сочинений.

...исполнена легенда Венявского. – Г. Венявский (1835–1880) – польский композитор и скрипач-виртуоз. «Легенда» является одним из самых популярных в России его произведений.

...песня о «кузнецах»... – Имеется в виду популярная в те годы песня на слова Ф. Шкулева «Мы кузнецы».

Братья-писатели*

Впервые напечатано в газете «Известия», 1918, 12(25) января, № 7(255). Травля Серафимовича буржуазной печатью, начатая после Октябрьского переворота, не прекращалась. Редакция сборников «Слово», издаваемых

«Книгоиздательством писателей в Москве», отказалась печатать повесть Серафимовича «Галина». Статья «Братья-писатели» явилась ответом Серафимовича на этот отказ.

Место свято*

Впервые напечатано в газете «Известия», 1918, 14(1) февраля, № 24 (272). Содержание рассказа взято «Из врезавшихся на всю жизнь детских и отроческих впечатлений... Описываю я здесь монастырь около Усть-Медведицкой станицы (теперь город Серафимович). В этот монастырь я часто хаживал ребенком» (т. VIII, стр. 438).

Тамбовский мужичок в Москве*

Впервые напечатано в газете «Рабочий край» (г. Иваново), 1918, 8 марта, № 4. В собр. соч. включается впервые.

В Ростове-на-Дону они одержали маленькую победу. – Ростов-на-Дону был взят каледицами 2(15) декабря 1917 года и находился в их руках до 10(23) февраля 1918 года. В ночь на 11(24) февраля был занят советскими войсками.

Остров «порядка и свободы»*

Впервые напечатано в газете «Известия», 1918, 19 марта, № 49, под рубрикой «Впечатления». Находится в ряду корреспонденции, написанных в период поездки на юг, в Харьков, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, куда Серафимович был послан Московским советом в качестве корреспондента «Известий» в марте – апреле 1918 года. О задачах этой поездки Серафимович позднее писал: «Надо было поглядеть, как там разворачивается революция, как строится советская власть, как идет реорганизация хозяйства, и материал об этом дать в печать» (т. VIII, стр. 425–426. См. также очерки: «Только уснуть», «Город», «Юг и север», «В царстве угля», собранные в сб. «Впечатления», 1918).

...в туманное утро 9 февраля советские войска вступили в Ростов. – Здесь допущена неточность: см. прим. к предыдущему рассказу.

На родине*

Впервые напечатано в газете «Известия»,

1918, 10 апреля (28 марта), № 68(316) под рубрикой «Впечатления». Из той же серии, что и предыдущий очерк.

...Парамонова, известного когда-то издателя «Донской речи». – Газета «Донская речь» издавалась в Новочеркасске в 1887–1908 годах. В 1898–1902 годах в ней сотрудничал А. С. Серафимович.

Не ожидал*

Впервые напечатано в газете «Известия», 1918, 1 мая (18 апреля), № 85(333). Позднее Серафимович писал о рассказе: «Тип полицмейстера составлен „из кусочков“ отдельных полицейских держиморд, с которыми мне приходилось сталкиваться на Дону после ссылки, во время нахождения под надзором полиции. Я не шаржировал своих героев: такими фарсовыми они и выглядели в жизни. И они-то были опорой царизма» (т. VIII, стр. 436).

Красный праздник*

Впервые напечатано в газете «Известия», 1918, 5 мая (22 апреля), № 88(336) в специальном номере газеты, посвященном столетию

со дня рождения Карла Маркса. «Мне было поручено, – вспоминал Серафимович, – дать описание широкой демонстрации в честь великого вождя мирового пролетариата. Я объезжал в течение дня на автомобиле оживленные районы столицы и дал в печать свои впечатления, стараясь показать общенародный характер праздника» (т. VIII, стр. 428).

Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат – строки из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».

Василий Блаженный, старенький и седенький, смотрит, не понимая... – Храм Василия Блаженного на Красной площади построенный в XVI веке.

Черной ночью*

Впервые напечатано в журнале «Творчество», 1918, май, № 1, стр. 3–9. Комментируя позднее этот рассказ, Серафимович писал, что мытарствам начинающего писателя в дореволюционной печати был посвящен автобиографический рассказ «В номере» (1910), но в 1918 году вернуться к этой теме его побудили «не только мотивы автобиографические: хотелось показать советским поколениям чита-

телей, как позорно равнодушны были царский строй и буржуазная общественность к писателям и как отдавали их на расправу буржуазным редакторам, которые казнили и миловали по произволу, по „настроению“, уродовали и увечили, движимые эгоизмом, а больше всего страхом перед „сильными мира сего“. Немало талантов погибло. Только немногие писатели выживали и пробивались. Я сам еле уцелел. Лучшие годы ушли на бессмысленную борьбу с редакторами, с цензорами и с непроходящей нуждой и лишениями. Туберкулез нажил. Скитался как неприкаянный, неуверенный в завтрашнем дне.

В новой разработке этой темы мне хотелось еще – при самодержавии это было невозможно – подчеркнуть, как жутко одинок был революционный писатель, как он был фактически оторван от широких масс, от людей труда и, стало быть, лишен основного, что необходимо писателю, – сферы наблюдения» (т. VIII, стр. 435–436).

...Вый-де-ем на бе-ерег... – Неточно цитируется стихотворение А. Н. Плещеева «Песня» (1845), поставленное П. И. Чайковским эпи-

графом к «Баркароле» («Июнь» из цикла «Времена года»).

...можешь оказаться в язвах и голый, как Иов. – Иов – герой библейской легенды; был подвергнут богом испытаниям, лишился богатства, детей, заболел проказой; за безропотность все ему было возвращено.

Из мрамора творящий жизнь*

Впервые – журн. «Творчество», 1918, май, № 1, под псевдонимом «Курмаярский».

Как мы читали Карла Маркса*

Впервые – журн. «Творчество», 1918, май, № 1.

Сосланный на далекий Север, в глухой заштатный городок Мезень, Серафимович сблизился с отбывающим там же ссылку рабочим-революционером Петром Моисеенко. Вместе с ним и еще несколькими ссыльными поселенцами они создали коммуну, столярничали, зарабатывали на жизнь, а в свободное время штудировали «Капитал». «Ссылка была для меня „вторым университетом“. Изучение Маркса на всю жизнь определило на-

правление моего писательского пути» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 428).

Без билета*

Впервые напечатано в журнале «Творчество», 1918, июнь, № 2, стр. 12–14.

Проводил*

Впервые напечатано там же, стр. 13–15. О реальной основе рассказа Серафимович писал: «Рассказ написан с натуры. Случай произошёл с моим младшим сыном Игорем. Дети, особенно дети рабочего района Пресни, где я жил с семьёй, близко принимали к сердцу исход выборов в Учредительное собрание и со всем пылом и усердием агитировали за список № 5 – большевиков. Дети жили интересами своих родителей-рабочих, которые, конечно, были на стороне большевиков» (т. VIII, стр. 436).

Памятник*

Впервые напечатано там же, стр. 16–21. В комментариях к рассказу Серафимович пи-

сал: «В Тамбовской губернии крестьяне рассказали мне о том, как в одной деревне крестьянская комсомольская молодежь разоблачила антисоветские проповеди местного попа. Случай, подобный этому, я и описал в своем рассказе. Я только заменил комсомольца его „белым дедом“, от которого он все знал о помещике» (т. VIII, стр. 438).

Ненависть*

Впервые под заглавием «Ночь», под рубрикой «Впечатления», напечатано в «Правде», 1918, 15 ноября, № 247.

Тающие церкви*

Впервые под рубрикой «Впечатления» напечатано в «Правде», 1918, 17 ноября, № 249. В основу очерка легли впечатления от Арзамаса, в котором Серафимович, по собственному свидетельству, «побывал по дороге на Восточный фронт» (т. VIII, стр. 438). В качестве корреспондента журнала «Творчество» и газеты «Правда» писатель был командирован на Восточный фронт во второй половине сентября 1918 года.

...мещанство, верой и правдой служившее его степенству ссыпщику, тархану... – Тархан – скупщик холста, льна, пеньки, шкур, торговец мелочным товаром.

Фабрика*

Впервые под рубрикой «Впечатления» напечатано в газете «Правда», 1918, 19 ноября, № 250. Открывает серию военных корреспонденции с Восточного фронта. Вспоминая о своем пребывании там, Серафимович в примечаниях к другой корреспонденции этого же периода писал: «Штаб тогда был расположен в Симбирске. Положение к моему приезду было неважное: белогвардейцы сильно напирали, в штабе меня как корреспондента „Правды“ подробно ознакомили с создавшимся положением. Я просил поскорее перекинуть меня на передовые позиции.

Когда ехал на фронт, я думал – наберу там материала для будущих вещей, изучу обстановку, накоплю побольше фактов. Но, попав на фронт, я понял, что мои личные планы надо припрятать подальше. Надо было прежде всего помочь делу гражданской войны, по-

мочь Красной Армии. Для этого нужно было осведомлять тыл о том, что делается на фронтах.

На передовых позициях, когда я туда приехал, наступило затишье, боев не было. Ждали, что скоро начнем наступление. Красноармейцы меня хорошо встретили.

Приходилось мне много кочевать, и писать можно было только урывками. Материал для корреспонденции я брал в штабе. Но я материалами штаба, конечно, не ограничивался и частенько, кроме того, пользовался рассказами красноармейцев.

Восточный фронт оставил во мне в общем бодрое настроение. Я увидел своими глазами, что защита Октябрьской революции в надежных руках, что красноармейская масса знает, за что дерется а что теряет в случае поражения» (т. VIII, стр. 433).

Кверху ногами*

Впервые под рубрикой «Впечатления» напечатано в газете «Правда», 1918, 23 ноября, № 254. Относится к периоду пребывания писателя на Восточном фронте. «Я остановился в

Симбирске, когда ехал на колчаковский фронт: там был штаб» (т. VIII, стр. 428).

...всеобщие выборы по четверохвостке. – Так иронически называли выборы в Учредительное собрание, – всеобщие, прямые, равные, при тайном голосовании.

Самоисцеляющая сила*

Впервые под рубрикой «Впечатления» опубликовано в газете «Правда», 1918, 24 ноября, № 255. В авторском комментарии к очерку Серафимович писал: «Комиссаров, подобных описанному в очерке, я наблюдал на Восточном фронте. Функции их были так разнообразны и многосложны, что нельзя было не удивляться, как может их осуществить одно лицо. Каждое их слово было – действие. И умели они окружить себя опытными и знающими людьми и полностью использовать их опыт и знания» (т. VIII, стр. 432).

...куда же подевались великолепные поезда земского и городского союзов? – Имеются в виду санитарные поезда, созданные либерально-помещичьей организацией – «Всероссийским земским союзом помощи больным и

раненым воинам» и организацией городской буржуазии – «Всероссийским союзом городов». Эти организации возникли летом 1914 года, в июле 1915 года были объединены, 4(17) января 1918 года упразднены, а имущество их национализировано.

Бой*

Впервые под рубрикой «Впечатления» опубликовано в газете «Правда», 1918, 11 декабря, № 269. Характеризуя реальную основу очерка, Серафимович писал позднее: «Коммунистический полк, о котором я рассказываю в очерке, действительно существовал. Это был замечательный полк; „отчаянные“ ребята подобрались, необычайной храбрости. Кидались напролом туда, где, казалось, ничего уж не сделаешь. Бились, как фанатики» (т. VIII, стр. 432–433). Правдивость нарисованной картины подтверждена свидетельством одного из участников событий, описанных в очерке, бывшего начальника пулеметной команды Ф. А. Боброва, который, будучи уже полковником РККА, 6 марта 1937 года писал:

«Добрый день, дорогой писатель т. Серафи-

мович!

Девятнадцатый год пошел с тех пор, когда наш отряд познакомился с Вами. Знакомство наше происходило в не совсем обычной обстановке, а в момент горячей схватки с заклятым врагом Революции – Каппелем, когда каждый партизан-боец заменял в бою десятых, а может быть, и больше человек, чему Вы сами были живым свидетелем.

Я, бесчисленное число раз перечитывая Ваше сочинение, перелистывая лист за листом Ваших боевых воспоминаний о гражданской войне, наткнулся на отрывок под названием «Бой».

И вот у меня перед глазами невольно всплыло поле боя, где кипел ожесточенный бой с каппелевцами, и в памяти моей восставилось все так ярко, как будто бы происходило только вчера, и лязг штыков в рукопашной схватке и непрерывная трескотня пулеметов не утихли еще и сегодня в моих ушах. Такое сильное впечатление может сложиться только тогда, когда автором – Вами – вскрыта вся глубина героизма горстки действительных храбрецов отрядов «ЦИКа».

Эти отряды не один раз встречались с белобандитами Каппеля и не один раз восстанавливали положение на фронте, и вот в третий раз под деревней Байраки произошел тот бой, где пулеметы отряда «ЦИК» «строчили страшную строчку смерти»... как Вы пишете.

Дорогой г. писатель, жаль только одно, что о боевой деятельности этих отрядов «ЦИКа» в издающейся «Истории гражданской войны» ни слова не пишется. И вообще в литературе ничего не сказано, за исключением воспоминаний в Ваших сочинениях» (ЦГАЛИ, фонд № 457, оп. 1, ед. хр. 378, л. 9-10).

Командование было вручено маленькому Макензену, полковнику Каппелю. – В. О. Каппель – офицер генерального штаба царской армии; в период гражданской войны – командующий колчаковской армией в Поволжье, на Урале и в Сибири. Макензен, с которым он сравнивается, – один из видных генералов германской армии периода первой мировой войны.

Обошедшее перед тем все газеты известие, что Белебей взят советскими войсками, было тогда ложно, – он взят был, позже... – Изве-

стие о взятии Белебея 12 ноября 1918 года было опубликовано 13 ноября.

На позиции*

Впервые напечатано под рубрикой «Впечатления» в газете «Правда», 1918, 12 декабря, № 270. Корреспонденция с Восточного фронта. См. прим. на стр. 643.

...два последние номера журнала «Творчество». – «Творчество» (1918–1922) – журнал литературы, искусства, науки, жизни – издавался Московским Советом Рабочих и Красноармейских депутатов. В 1918 году Серафимович входил в состав редакции журнала.

Я прочел из журнала стихотворение... – Цитируется стихотворение Лая Лаича «Второй роты дозор», опубликованное в журнале «Творчество», 1918, октябрь, № 6, стр. 12.

...не шлют журналов: нет ни «Пламени», ни петроградских, ни провинциальных... – «Пламя» – еженедельный общедоступный научно-литературный и художественно-иллюстрированный журнал, издавался в Петрограде в 1918–1920 годах под редакцией А. В. Луначарского.

Три митинга*

Впервые напечатано под рубрикой «Впечатления» в газете «Правда», 1918, 13 декабря, № 271. «Это очерк с натуры. Был восемнадцатый год. Белогвардейцы вели в оккупированных ими районах (они заняли тогда большую часть России) бешеную пропаганду против большевиков. Красноармейцы были не только воинами, но и первыми советскими гражданами, которым пришлось раньше других встретиться с жителями оккупированных районов. Политвоспитательная роль Красной Армии поэтому была очень велика» (т. VIII, стр. 433).

Политком*

Впервые напечатано под рубрикой «Впечатления» в газете «Правда», 1918, 24 декабря, № 280. В автокомментариях к очерку Серафимович рассказывал: «В качестве корреспондента газеты „Правда“ я на передовых позициях больше всего встречался с красноармейцами, но часто и с командным составом. Собирались мы обычно при полевом штабе, тол-

ковали о политике, о литературе. Красноармейцы очень интересовались, что делается в тылу, – я им подробно рассказывал. В свою очередь красноармейцы тоже охотно рассказывали немало любопытного о боях и о бойцах. Свои рассказы и очерки из эпохи гражданской войны я большей частью писал с натуры, ничего не „сочиняя“. Политком тоже описан с натуры. Я его нисколько не приукрасил.

Хотелось, чтобы образ моего политкома послужил примером, образцом, чтоб ему следовали и в других частях» (т. VIII, стр. 433–434).

Львиный выводок*

Впервые напечатано под заглавием «Волчий выводок» в газете «Правда», 1918, 29 декабря, № 285. Заглавие было изменено в последнем прижизненном собрании сочинений. Этот очерк, как и другие с Восточного фронта, имеет реальную основу. В декабре 1940 года Серафимович получил письмо от П. А. Монича, который был председателем комитета коллектива коммунистов изображаемо-

го в очерке отряда «ЦИКа». Монич писал: «Верно, что я рабочий, но не петроградский, мне кажется, что я никогда не был неуклюжим».

Секретарем, который Вам показывал церковную книгу, а внутри – коммунистическая партия, – был Гацкевич, казначеем Комитета коллектива был Богданов – петроградский рабочий, путиловец, высланный по волчьему паспорту из Петрограда после революции 1905 года.

Богданов был ранен разрывной пулей под Белебеем, с тех пор мне ничего о нем неизвестно, оставшуюся на память его шахматную доску с шахматами не удалось сохранить.

О Гацкевиче я слышал в 1925 году, что он работал в Уфе; связи с ним не имею, в 1933 году я встретил Козлова А., бывшего ком[андира] роты, но с 1935 года связь потерял» (ЦГА-ЛИ, фонд № 457, оп. 1, ед. хр. 378, л. 25).

Упомянувшийся в письме Монича Козлов сообщал также Серафимовичу, что они вместе с Моничем с апреля 1918 года находились в Краснопартизанском отряде имени ВЦИК,

состоявшем исключительно из красногвардейцев, участников Октябрьских боев. «При образовании Тульской губернской военной организации в июне или июле месяце 1918 года тов. Мониц входил членом комитета, а когда в августе месяце отряды отправились на Чехословацкий фронт, то был избран отрядный комитет, председателем которого являлся Мониц...» (там же).

Очевидно, Серафимович ответил Моницу на его письмо, так как во втором письме от 8 февраля 1941 года тот благодарил писателя за ответ.

...в университет Шанявского. – Имеется в виду народный университет (1908–1918) в Москве, содержащийся на средства А. Л. Шанявского (1837–1905), известного общественного деятеля в области народного образования.

В теплушке*

Впервые напечатано в газете «Правда» под рубрикой «Впечатления», 1918, 1 января, № 287.

Ему на Горячее поле в Питере. – Так назы-

валось место городской свалки в Петербурге, находившееся перед Путиловским валом и бывшее пристанищем городского «дна».

Потерянный завтрак*

Впервые напечатано в газете «Правда», 1919, 1 мая, № 92. В автокомментариях к рассказу Серафимович писал: «Праздник Первого мая мы торжественно праздновали каждый год с самого начала Октябрьской революции. В этот праздник я всегда ходил по улицам, переполненным народом. И, всматриваясь в многолюдные шествия со знаменами и песнями, я невольно вспоминал наши старые дореволюционные тайные „нелегальные“ маевки где-нибудь в лесу за городом или в балке. Контраст был разительный – и я хотел его довести до сознания свободного советского гражданина, чтобы еще сильнее была его радость. Хотелось еще подчеркнуть горячую веру дореволюционных рабочих в близкое торжество революции» (т. VIII, стр. 436).

К. А. Тимирязев*

Впервые, под названием «Пророчество», –

газ. «Правда», 1919, 17 августа.

Под развесистой клюквой*

Впервые напечатано в газете «Правда», 1919, 7 сентября, № 198. Вспоминая об эпизоде, изображенном в очерке, Серафимович писал: «Редакция большой английской газеты, если не ошибаюсь – либеральной „Манчестер гардиан“, командировала в Москву своего корреспондента. Ему у нас разрешили осматривать все, что он хочет. Нам тогда было очень важно их собственными устами опровергнуть дикую клевету и ложь о советской жизни.

Мне в редакции „Правды“ предложили с ним поехать. Поехали мы с англичанином (к сожалению, забыл его фамилию) осматривать водопровод в Рублево. За границей писали, что большевики его разрушили. Англичанин внимательно все осмотрел: вода – чистая, отстойники и все прочее – в полном порядке. Он аккуратно записывал себе в книжечку. Ему через переводчика давались объяснения. Он остался доволен осмотром и „чаем“, который нам устроили рабочие, и обещал осветить советскую жизнь вполне объективно.

Рабочие, хоть он им и понравился, все-таки побаивались, говорили:

– Пройдоха... Бог весть, что написать может про нас...

Однако англичанин, вернувшись в Англию, к нашему удивлению, расписал все в газете без восторга, но в общем правильно и непредубежденно» (т. VIII, стр. 429–430).

Дон*

Место и время первой публикация не установлено. Очерк написан на основе наблюдений, сделанных писателем во время поездки на Южный фронт в июне-июле 1919 года. В удостоверении от уполномоченного ВЦИК Советов и Центрального комитета РКП по Воронежской губернии от 18 июня 1919 года говорилось, что Серафимович как представитель редакции «Правды» «командирован в Воронежскую губернию с целью освещения местных условий советской работы в жизни местного населения» (ЦГАЛИ, фонд № 457, оп. 1, ед. хр. 434). Объясняя твердость и непреклонность тона, которым написан очерк, Серафимович вспоминал:

«В роли военного корреспондента я вообще-то был как бы на положении „военного советника“. Но если в некоторых случаях я не всегда был вполне уверен в себе, то в отношении Дона я по праву считал себя „спецом“. И поэтому выступал твердо и непреклонно. Могу сказать, что кое-какие мои указания были приняты тогда во внимание» (т. VIII, стр. 429).

...специальный экспедиционный корпус подавлял восстание на Дону. – Реввоенсовет экспедиционного корпуса Южного фронта, как это явствует из удостоверения, выданного 5 июня 1919 года, поручал Серафимовичу «ознакомиться с историей возникновения и военными эпизодами, сопровождающими работу особого корпуса Южного фронта» (ЦГАЛИ, фонд № 457, оп. 1, ед. хр. 434).

В огне*

Первая и третья главки очерка были впервые напечатаны в однодневной газете «Коммунистический субботник» 11 апреля 1920 года под заглавием «Два воскресника». В сборнике «Бабья деревня», изд. «Красная новь», М. 1923, к первой главке очерка была дописана

вторая; третья в сборник не вошла. В таком виде очерк перепечатывался до последнего прижизненного собрания сочинений, в которое был включен в составе всех трех главок.

На панском фронте*

Впервые напечатано под рубрикой «Впечатления» в газете «Правда», 1920, 22 мая, № 109. Относится, как и следующие четыре очерка, к периоду пребывания писателя на польском фронте, куда он был послан «Правдой» весной 1920 года. В связи со своей поездкой на Западный фронт Серафимович вспоминал: «На польский фронт я был командирован „Правдой“ в трудный момент. Поляки заняли Киев и сильно теснили нас со всех сторон. Однако среди красноармейцев не было уныния. Ждали, что подойдут подкрепления» (т. VIII, стр. 434).

Белопанская армия*

Впервые напечатано под той же рубрикой в газете «Правда», 1920, 23 мая, № 110.

Тайное станет явным*

Впервые напечатано под той же рубрикой в газете «Правда», 1920, 26 мая, № 112.

Красная Армия*

Впервые напечатано под той же рубрикой в газете «Правда», 1920, 29 мая, № 115. При включении очерка в Полн. собр. соч., т. VI, «Федерация», 1932, Серафимович снял упоминание конкретных имен, а в последнем прижизненном собрании сочинений также некоторые практические советы в конце очерка.

Кто сказал: это – Верден? – Верден – крепость на северо-востоке Франции, с 21 февраля по 2 сентября 1917 года немцы вели развернутую наступательную операцию по овладению Верденским укрепленным районом.

Ни то ни сё*

Впервые напечатано под той же рубрикой в газете «Правда», 1920, 30 мая, № 116.

Горное утро*

Впервые напечатано под рубрикой «Впечатления» под заглавием «Кверху ногами» в газете «Правда», 1920, 27 августа, № 189. Новое

название дано в последнем прижизненном собрании сочинений, где текст очерка был существенно переработан,

В автокомментариях Серафимович писал: «Очерк был написан во время моего пребывания во Владикавказе, когда я работал там в парткоме.

Поехал я по поручению комитета партии в район на съезд Советов и там выступал, меня переводили.

Культура в том районе стояла тогда на очень низком уровне. Там сохранился еще родовой быт, хотя и в не совсем чистом виде. Были там и кулаки и бывшие офицеры: население их скрывало.

В целом, однако, местные жители советскую власть поддерживали, особенно бедно-та.

Главной задачей очерка „Горное утро“ было показать, что Ленин уже тогда пользовался на окраинах большой популярностью и любовью. Тогда это было очень важно подчеркнуть, и я зарисовал одну из своих встреч» (т. VIII, стр. 436–437).

Несите им художественное творчество*

Впервые напечатано под рубрикой «Впечатления» в газете «Правда», 1920, 12 сентября, № 202.

По поводу данного очерка Серафимович позднее писал.

«Объезжая различные фронты, я все более убеждался, что художественная литература служила на фронте хорошим агитационным материалом. Она принималась красноармейской массой лучше докладов и агитационных бесед» (т. VIII, стр. 434–435).

...поставим в школе «Марата» и «Мстителя». – «Марат» – пьеса Антона Амнуэля, написанная в мае 1919 года и опубликованная в журнале «Грядущее» (1919, № 5–6, стр. 8–14). «Мститель» – написанная В. Плетневым инсценировка рассказа французского писателя Н.-Л.-Ш. Клоделя (1868–1955), опубликована впервые московским Пролеткультом в 1920 году. Обе пьесы в те годы входили в обычный репертуар театров Пролеткульта.

Гниющая язва*

Впервые напечатано под рубрикой «Впе-

чатления» в газете «Правда», 1920, 19 сентября, № 208. Поясняя события, изображенные в очерке, Серафимович писал: «Махновцы в ту пору сильно вредили нам на врангелевском фронте. Надо было разоблачать их предательскую роль и показать, что их поддерживают только кулацкие слои населения. Доброжелательное отношение жителей прифронтовой полосы было для нас весьма важно и с точки зрения чисто военной: надо было помешать махновским „мобилизациям“ в занятых ими районах и рассказать, как мы их бьем и гоним. Мне на этот счет было дано специальное поручение редакцией „Правды“» (т. VIII, стр. 435).

Засадили и меня писать листовку. – Действительно, Серафимович по поручению Политического отдела 2-й Конной армии написал листовку «К махновцам». Текст ее опубликован в книге «А. С. Серафимович, Сборник неопубликованных произведений и материалов». М. 1958, стр. 320.

...смотрели «Марата» и «Мстителей» – см. примечание к предыдущему очерку.

Новая стройка*

Впервые напечатано в газете «Текстильщик к станку», 1921, 23 марта, № 1, с подзаголовком «С натуры». В последнем прижизненном собрании сочинений очерк ошибочно отнесен к 1918 году.

Граф Строганов и рабочий Демид*

Впервые напечатано в газете «Правда», 1921, 1 мая, № 93. Серафимович собирался написать пьесу на эту тему. В архиве писателя сохранился листок, озаглавленный «Темы» (подчеркнуто Серафимовичем. – Л. Г.), относящийся, вероятно, к 1921 году. На этом листке читаем:

«Написать пьесу. На заводе графа Стенбок-Фермора рабочий Демид Векшин проработал 15 лет. За 1 день прогула все 15 лет была вычтены из срока на пенсию.

Векшин снова проработал 25 лет и погиб в тюрьме.

Трое его сыновей проработали на том же заводе в общей сложности 18 лет и все трое погибли от несчастных случаев. В итоге: 58 лет работы и 4 жизни.

В семействе осталась в живых старуха – жена Демида Векшина, которой заводское управление назначило пенсию 1 р. 72 к. в год.

Во время революции граф арестован, сидит в тюрьме за решеткой. Спит. Задняя стена раздвигается, видение: Демид Векшин, его сыновья работают, погибают... вдова... 1 р. 72 к. в год... Другие видения... балы... декольтированные дамы, блестящие мундиры и проч.» (ЦГАЛИ, фонд № 457, оп. 1, ед. хр. 73, л. 9)

Пьеса осталась ненаписанной, но конспект ее содержания стал основой рассказа.

Тридцать лет назад*

Впервые напечатано в газете «Правда», 1921, 23 июля, № 160. В автокомментариях к очерку Серафимович обращал внимание на острую актуальность очерка для того времени:

«В Поволжье свирепствовал голод. В обращении к международному пролетариату товарищ Ленин тогда писал («Правда», 1921, 6 августа, № 172, стр. 4): «В России в нескольких губерниях голод, который, очевидно (у В. И. Ленина: „по-видимому“, см. т. 32, стр. 477. – Л.

Г.), лишь немногим меньше, чем бедствие 1891 г.

Это – тяжелое последствие отсталости России и семилетней войны, сначала империалистской, потом гражданской, которую навязали рабочим и крестьянам помещики и капиталисты всех стран.

Требуется помощь...»

Советские газеты выходили с большими отделами на первой странице: «На помощь голодающим», «На голодном фронте». Был образован специальный Комитет помощи голодающим – «Помгол».

Очерк «Тридцать лет назад» был напечатан в специальном расширенном номере «Правды», посвященном борьбе с голодом. Номер открывался большой статьей М. И. Калинина «Нужна всенародная помощь». С большим «подвалом», на двух страницах газеты, «Почему у нас в России голод и как с ним бороться» выступил Ем. Ярославский. В том же номере была напечатана статья А. Вышинского: «Общественное питание и борьба с голодом».

Я поставил себе задачей показать в своем

очерке, что голод у нас искони бытовое явление царско-буржуазного строя и что советская власть энергично борется с этим наследием и изживет его» (т. VIII, стр. 430).

Борьба с голодом была для Серафимовича одной из важнейших тем. К ней он возвращается в ряде опубликованных и неопубликованных статей. В архиве писателя сохранился также план брошюры «Голод России», замысел которой относится к 1918–1919 годам.

Дети*

Впервые напечатано в газете «Правда», 1921, 12 августа, № 177.

При включении в последнее прижизненное собрание сочинений текст очерка подвергся сокращениям.

«В жуткую годину голода и разорения, — писал Серафимович по поводу этого очерка, — я считал своим долгом прежде всего обратить внимание советской общественности на положение голодающих детей, оставшихся беспризорными после гибели в годы империалистической и гражданской войн их родителей. И могу засвидетельствовать: мои очерки на-

ходили живой отклик и у представителей советской власти и советской общественности. Быстро оказывалась помощь. Но она – увы – была крайне недостаточна. Положение тогда было катастрофическое. Однако мы с честью вышли из безысходного, казалось, тупика» (т. VIII, стр. 430).

Работники земли Советской*

Впервые – газ. «Правда», 1921, 25 декабря.

«Тогда открывался в торжественной обстановке IX съезд Советов, – вспоминал Серафимович. – С большим докладом выступил товарищ Ленин. Редакция „Правды“ поручила мне дать „впечатления“ о съезде. Я горжусь теперь тем, что мой очерк был напечатан в газете под общей „шапкой“ перед докладом Ильича. Этот очерк мне дорог, как память об Ильиче, о его широком убеждающем жесте, о его ораторской силе, которая внушала веру и бодрость в самые трудные моменты существования советской власти, когда нам сжимали горло „цивилизованные“ варвары» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 430–431).

В этой связи представляет большой интерес и запись Серафимовича о выступлении В. И. Ленина на VIII Всероссийском съезде Советов.

«22 декабря 1920 г. ...Ленин. Торопливо, немножко неуклюже. Слегка хриповатый, картавый голос, и странно убедительный, и обаятельный. И в этой картавости странный аристократизм. Движения и жесты тоже неуклюжи, часто некрасивы и в то же время страшно обаятельны, ибо удивительно сливаются с сущностью речи. Некоторая гортанность говора тоже. Принуждение на убеждении.

Голос как будто и не особенно громкий и ненапряженный, а слышно в самых далеких углах, и интонация живая, не подавляемая напряжением, усилием» (А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов. М., ГИХЛ, 1958, стр. 492).

Голодные, холодные*

Первая часть очерка под заглавием «Мечь» впервые напечатана в газете «Правда», 1922, 17 января, № 12, вторая под заглави-

ем «Глянули», 1921, 3 октября, № 221. В переработанном виде под общим новым заглавием эти две части были объединены в один очерк при включении его в «Полн. собр. соч.», 1929, т. XV, стр. 97-105.

В автокомментариях к очерку Серафимович вспоминал: «Этот очерк, как говорила мне Марья Ильинична Ульянова, работавшая тогда в „Правде“ секретарем редакции, Владимир Ильич прочитал, одобрил и сказал:

– Хорошо бы давать такие агитки.

Изображает эта агитка то, что я видел во Владикавказе (теперь город Орджоникидзе) в 1921 году. Партия тогда уделяла большое внимание борьбе с голодом. Газеты были полны материала о голодающих. Старался и я внести свою лепту» (т. VIII, стр. 431).

Долговязый*

Впервые напечатано в «Красном журнале для всех», 1922, ноябрь, № 1, стр. 5–8.

О жизненных впечатлениях, легших в основу рассказа, Серафимович писал: «У меня был брат, второй по счету, Сергей. Он управлял маленькой сельской аптечкой на стан-

ции Котельниково на вновь строившейся тогда, в 1907–1909 годах, железнодорожной ветке Царицын (Сталинград) – Тихорецкая. До работы в Котельниково Сергей плавал матросом на судах по Черному морю, совершая постоянные рейсы между Одессой и Батумом. Поведанные им истории и были для меня главным источником рассказов из жизни моряков.

Матросов я наблюдал еще и сам лично в Севастополе. Жил там мой друг, революционер Панасенко. Я у него гостил. Он служил в морском ведомстве и много знал историй о жизни на кораблях. Он-то и рассказал, как матросы поймали шпиона, сунули в мешок и выбросили в море.

До Октября мой рассказ не мог увидеть света. После революции я его переработал и напечатал» (т. VIII, стр. 437). В свидетельство Серафимовича вкралась неточность: строительство Царицынско-Тихорецкой ветки происходило в середине 90-х годов.

Чудо*

Рассказ впервые напечатан в журнале

«Безбожник», 1923, № 1, стр. 11–12.

На эту тему Серафимович еще до революции написал рассказ («Человек в скуфейке», см. т. 3, стр. 207 наст. изд.).

...полезь на подловку.. – Подловка, искаженное «подволока», – чердак (донск., воронежск),

У текстилей*

Впервые напечатано в газете «Голос текстилей», 1923, 27 января, № 3(49). Очерк был написан тогда же, в январе 1923 года. О событии, вызвавшем появление очерка, Серафимович писал: «Я получил приглашение от ЦК профсоюза текстильщиков принять участие в чествовании Петра Анисимовича Моисеенко, с которым я в 1887–1888 годах жил в ссылке (в Мезени, бывшей Архангельской губернии).

Во время чествования Моисеенко вспоминали отдельные моменты из славной жизни юбиляра. Я тоже выступил с воспоминаниями. Сам Моисеенко поделился некоторыми подробностями из истории знаменитой морозовской стачки в Орехово-Зуеве, организатором которой он был.

В очерке я стремился попутно отдать должное текстильным рабочим, которые работали, не щадя сил, в труднейшей обстановке разрухи и хаоса» (т. VIII, стр. 431–432).

Город рабочих*

Впервые напечатано в «Рабочей газете», 1923, 24 февраля, № 42. Очерк написан по живым впечатлениям от поездки в Иваново-Вознесенск, где Серафимович был в первых числах февраля 1923 года (уехал из Иваново-Вознесенска 6 февраля).

По этому поводу Серафимович вспоминал: «Я был приглашен в Иваново-Вознесенск сделать несколько литературных докладов в клубах текстильных фабрик. Попутно знакомился с производством... Иваново-вознесенские рабочие проявляли себя истинными ударниками восстанавливающейся промышленности. Их пример должен был соответственным образом воздействовать на ткачей других отстающих фабрик» (т. VIII, стр. 431).

Промысел божий*

Впервые напечатано в журнале «Безбож-

ник у станка», 1923, № 2, февраль, стр. 11–12, с подзаголовком «В вагоне».

Помните Иова? – См. примечание к рассказу «Черной ночью» (стр. 641).

Две божьи матери*

Впервые напечатано в журнале «Безбожник у станка», 1923, март, № 3, стр. 5. В «Высказываниях автора» Серафимович сообщал: «Рассказ построен на материале, который я собирал, живя до революции на Пресне, в районе Трехгорной мануфактуры. Во дворе, где я жил с семьей, было много рабочих. Я вел с ними знакомство и постоянно наблюдал их быт. И всегда поражала меня их жизнь. Работа каторжная, изматывающая зверски, – а живут нищенски, в отрепьях, ребятишки мерзнут, женщины ходят как замученные клячи с безысходной тоской в глазах.

А во дворе Трехгорки стоял белый директорский дом. Тут жила директорская семья. Этот белый дом хорошо врезался мне в память. И врезались еще в память подвалы и полуподвалы, деревянные руины, темные и сырые, в которых прозябали рабочие семьи.

Об этом я и написал для „Безбожника“» (т. VIII, стр. 438–439).

Животворящая сила*

Впервые напечатано в газете «Правда», 1923, 17 апреля, № 83, стр. 1.

В статье суммированы впечатления, отразившиеся в очерках 1920 года: «Несите им художественное творчество» и «Гниющая язва».

Навыворот*

Впервые напечатано в журнале «Город и деревня», 1923, апрель, № 1, стр. 6–7.

В автокомментариях к рассказу писатель сообщал: «Рассказ относится к периоду зарождения селькоров в деревне в начале двадцатых годов. Селькоры тогда переносили много обид и ущемлений со стороны кулаков и попов, а иногда и со стороны местных властей, когда указывали в печати на их промахи и злоупотребления.

Избиение селькора было тогда нередким явлением. Я, однако, не хотел изобразить изувеченного селькора. И показал, как произошло это „навыворот“» (т. VIII, стр. 437).

Председатель областного суда*

Впервые напечатано в газете «Правда», 1923, 1 сентября, № 196, под рубрикой «Революционные портреты».

Анисимович*

Впервые – газ. «Правда», 1923, 2 декабря.

Бабья деревня*

В данной редакции рассказ впервые напечатан в сборнике «Бабья деревня», изд. «Красная новь», М. 1923, стр. 5-16. По воспоминаниям писателя, этому рассказу предшествовал очерк: «Чудесная деревня», предназначенный для газеты, «...потом для книги переработал подетальнее, в ином плане, прибавил красок, и вышла вот „Бабья деревня“». В основе рассказа лежит реальный факт: «Я слышал, что кое-где крестьянки затеяли вместе печь хлеб и собирать ребятешек в одну хату. Нельзя сказать, что делали они это сознательно: просто нужда заставляла» (т. VIII, стр. 437–438).

Таинство святого причащения*

Впервые напечатано под заглавием «Святое причащение» в журнале «Безбожник у станка», 1923, № 9-10, стр. 20–21. «В моей памяти, – писал Серафимович позднее, – сохранилась история, которую мне рассказывали в Тульской губернии про соседнюю деревеньку. В деревне этой была масса сифилитиков. Сифилис был там бытовой. Болели не только взрослые, но и дети и младенцы. Заражали друг друга. Эпидемия приняла повальные формы, грозила переброситься на соседние деревни. Царские чиновники и земцы переполошились и прислали врачей. Те установили, что начало эпидемии положил пришедший с фронта больной сифилисом солдат. Он был богомолен, говел, прикладывался к иконам, причащался. Заявился солдат в деревню весной, под пасху, и пошла болезнь гулять по всей деревне. Об этом я и решил написать рассказ» (т. VIII, стр. 439–440).

Гуси*

Впервые под заглавием «На севере» напечатано в журнале «Охотничье дело», 1924, № 1–3, январь-март, стр. 8-11.

Рассказ имеет автобиографический характер. «Автобиографическая страничка из моей жизни (1887–1888) в ссылке, в Мезени, бывшей Архангельской губернии. Вопреки запрещению властей, я иногда уезжал на оленях в тундру или уходил в лес с ружьем. Страстным охотником я никогда не был, – меня больше интересовала северная природа, которая произвела на меня неотразимое впечатление и послужила материалом для моего первого рассказа „На льдине“» (т. X, стр. 446).

«...всевыносящего русского племени много-страдальная мать» – цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «В полном разгаре страда деревенская...» (1862).

Ежедневно творимое*

Впервые под заглавием «Истинное чудо, ежедневно совершаемое» напечатано в журнале «Безбожник у станка», 1924, № 4, стр. 17–18.

О жизненной основе очерка Серафимович через двадцать с лишком лет писал: «То, что рассказано в очерке, случилось под пасху, недалеко от Рязани, в селе Жерновицах, Спас-

ского уезда. Наткнулся я на заметку об этом случае в газете „Русское слово“ и использовал для „Безбожника“, сделав из газетной хроники очерк» (т. VIII, стр. 440).

Очевидно, память изменила писателю, так как заметки, на которую он ссылается и которую даже цитирует, в «Русском слове» нет. Там 30 марта (12 апреля) 1912 года помещена заметка под заглавием «Гибель 20-ти человек», в которой сообщалось о гибели на реке Проне близ Рязани лодки с двадцатью пассажирами; немного ниже была заметка о катастрофе, случившейся с церковным причтом, но уже на реке Свияге близ Симбирска. Очевидно, в сознании писателя произошло соединение двух событий, описанных в двух соседних заметках.

Маленькие жизни*

Впервые напечатано в газете «Правда», 1924, 20 июня, № 137.

«Одна моя хорошая знакомая, – вспоминал писатель, – была воспитательницей детдома. Она мне много рассказывала о беспризорных детях и о том, как советская власть борется с

этим мрачным наследием царского строя.

По ее приглашению я зашел в детдом, заинтересовался и стал потом ходить по детским домам – и даже выступал там» (т. X, стр. 446).

История одной забастовки*

Впервые – журн. «Безбожник у станка», 1924, № 7–8. «Я изобразил в нем рассказанный мне когда-то случай из рабочей жизни в Иваново-Вознесенске. Художник Д. Моор дал рассказу яркие иллюстрации», – писал Серафимович (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 445).

Митька*

Впервые напечатано в журнале «Красная нива», 1924, 2 ноября, № 44, стр. 1054–1057, с подзаголовком «Из октябрьских воспоминаний».

По признанию Серафимовича, «Митька – тип собирательный. В нем воплощены черты пресненских рабочих ребят, из которых потом выросли настоящие преданные революционеры» (т. X, стр. 447).

Бунт*

Впервые напечатано в журнале «Безбожник у станка», 1924, № 12, стр. 9-23.

Тише вы, галемяки!.. – Галемяки – крикуны, от глагола галчить (южн.) – гомонить, галдеть.

...Горя реченька, горя реченька бездонная... – из стихотворения Н. А. Некрасова «Орина – мать солдатская» (1863).

Рыжий поп*

Место и время первой публикации не установлено. В последнем прижизненном издании рассказ был напечатан с машинописной копии, имеющей пометку «1924 г.».

Марьяна*

Впервые напечатано в 1923 году издательством «Новая Москва» по серии «Театральная библиотека». Но пьеса написана была еще в 1919 году. В основу ее лег рассказ «Прошное», напечатанный в журнале «Рабочая жизнь», 1919, № 1, стр. 8–9, и написанный в конце 1918 года. «Материал для нее, – как об этом свиде-

тельство сам автор, – взят из жизни одной, крестьянской семьи, в которой я жил во время пребывания на Восточном фронте за Бугульмой» (т. VIII, стр. 440). Однако в образе главной героини Марьяны есть черты героини (тоже Марьяны) пьесы 1907 года «На мельнице», созданной на основе одноименного рассказа 1906 года. В этой Марьяне уже намечены черты облика крестьянки, которая под влиянием революционера начинает понимать правду революции (Пьеса «На мельнице», см. в книге «А. С. Серафимович, Сборник неопубликованных произведений и материалов», М. 1958, стр. 99-121). Связь между образами двух героинь более отчетливо видна в набросках чернового варианта пьесы, сохранившихся в записной книжке за 1918–1919 год. От окончательного текста в них наиболее сильно отличается конец пьесы. Героиня, как и Марьяна из пьесы «На мельнице», кончает жизнь самоубийством. Когда Степан грозит «возить» ее вожжами, она бежит. И затем в избу, где все спят, издали доносятся крики Степана.

«**Степан.** Караул!.. Помощи...Помощи! По-

могите!.. Суды!.. Народ, суды... помогите (*потом приближающийся его топот, вскакивает, кричит*):

– Утопла! – утопла!

Луша (*вско[чив]*). Чего такое?!

– Господи!.. Марьяна, слышь, чего такое?!

– Иде она?..

Степан. Скореея... бежите за неводом... под мельницу кинулась. Братцы... Помогите. Спасите... (*Издали слышны его крики.*)

Старик

Старуха

Луша рыдает.

– Да вставайте, Марьяна утопилась.

Стар. Вот послал господь несчастье, а работница какая была». (ЦГАЛИ, фонд. № 457, оп.1, ед. хр. 170, л. 113 об., 114 и 114 об.)

Однако Серафимович в окончательном тексте пьесы отказался от мотива самоубийства, по-видимому, не желая ослаблять значительность духовной эволюции, пережитой героиней.

В наброске вступительного слова к пьесе, очевидно, подготовленного к постановке «Марьяны» во Владикавказе, Серафимович писал:

«В сегодняшней пьесе перед вами развернется кусок новой жизни. В пьесе нет отдельных театральных героев, тут герой – вся трудовая масса, ее мысли, чувства, новое сознание, которое пробивается в темноту деревни, и новые пути, по которым это сознание, эти новые мысли проникают в деревенскую толщу» (А. С. Серафимович, Сборник неопубликованных произведений и материалов, М. 1958, стр. 298).

Большой московской сцены пьеса не увидела. Серафимович с полным основанием видел в этом проявление саботажа со стороны некоторых режиссеров и артистов, препятствовавших созданию революционного репертуара. Впервые пьеса была поставлена во Владикавказе в 1920 году передвижной труппой, находившейся в распоряжении политотдела армии. С реввоенсоветом Кавказского фронта 1 августа 1920 года был заключен договор на право постановки «Марьяны» во всех военных театрах в пределах Кавказского фронта (см. ЦГАЛИ, фонд. № 457, оп. 1, ед. хр. 437). Пьеса ставилась в Пятигорске, Ростове-на-Дону, Харькове; в Москве она шла толь-

ко в рабочих клубах – в Лосиноостровском и Сокольническом.

Именины в 1919 году*

Впервые напечатано отдельным изданием в Московском театральном издательстве в 1924 году. Время написания точно не установлено. В последнем прижизненном собрании сочинений пьеса датируется 1919 годом, в предыдущем – 1920 годом.

Замысел пьесы появился не позднее 1919 года, ибо в «Записной книжке» 1918–1919 года после черновых набросков «Марьяны» идут наброски будущей пьесы «Именины в 1919 году», или по крайней мере заготовки к ней.

«В этой одноактной комедии, – сообщал Се-рафимович комментируя пьесу позднее, – я хотел заклеить тогдашних хамелеонов из буржуазной интеллигенции, которые, в зависимости от колебаний положения сторон на фронтах гражданской войны, моментально перекрашивались то в белый, то в красный цвет, в душе благословляя Деникина и страстно ожидая от него „избавления“ от большевиков. Конечно, такая пьеса в тот напряженный

момент борьбы не могла

быть поставлена большими московскими театрами, которые в девятнадцатом, году не успели еще перестроиться и всецело находились в плену „старых традиций“. А в рабочих клубах и на народной сцене моя пьеска все-таки имела неизменный успех» (т. VIII, стр. 440).

Когда я был аркадским принцем. – Из арии аркадского принца в оперетте Оффенбаха «Орфей в аду».

Примечания

Цены 1921 года. *(Прим. автора.)*

[^^^]

Цены 1921 года. *(Прим. автора.)*

[^^^]

3

Зерцало – небольшой трехгранный, покрытый сусальным золотом ящик, на котором были написаны три указа Петра I и который ставился на судейском столе. (*Прим. автора.*)

[^^^]

В дальнейшем при ссылках на «Высказывания автора» будет указываться только том и страница собрания сочинений 1940–1948 гг.

[^^^]